

ИВАН
ФРАНКО



ІВАН ФРАНКО

Твори
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



Том другий

ОПОВІДАННЯ І ПОВІСТІ

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Москва 1956



**ИВАН
ФРАНКО**

Сочинения
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



Том второй

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

*Издание осуществляется под общим наблюдением
А. И. Белецкого, М. Ф. Рыльского, Б. А. Турганова*

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Редактор тома
Б. А. Турганов

*Бориславские
рассказы*

1876—1899

НА РАБОТЕ

1. При входе

Что ж это такое? Сколько в Борислав хожу, а под землей еще не бывал! Знай только ворот верти, глину таскай да воздух в колодец накачивай! Да и какой у меня заработок! Восемь шисток в день! Живи на них или подыхай, что хочешь, то и делай, — хозяину наплевать!

А вот Матвей под землей работает, — в штольне... Ну, правда, говорит, угарно там, задохнешься, такое дело... Ишь, маменькин сынок! А сколько берет! Полтора серебром в день! Ну, да мне, ей-богу, не жалко. Только я-то хуже, что ли? Чем плох? Чего не хватает? Бояться — не боюсь, хоть самому черту в зубы пойду! Вот угарно там. Ничего, авось выдержу. А не выдержу, черт побери, так вылезу. Испытать все надо. А то как же? Восемь недель в Борислав хожу, а под землей и не бывал!

Вот поглядите только, как этот ворот проклятый вертится. И скрипит, несчастный, и ездит то туда, то сюда. Покамест бадью глины на-гора, на пятьдесят сажений, подашь, глаза на лоб вылезут! Верти да верти. Дух спирает, руки затекают, словно их ножом отрезало: нет, не бросай — верти дальше! Черта с два, стану я вертеть! Хоть бы поскорей завтра пришло. Завтра воскресенье. Ей-богу,

наймусь в колодец, в штольню! Век, что ли, тут за гроши работать?

А что там Федорова Марина поплачет, как доведается, — эге, прах ее возьми! Какое мне дело? И дома деньги нужны, и тут человеку как-то надо жить в компании, — а на эти злосчастные восемь шисток кой черт выдержит?

Ну, слава бсгу, суббота кончилась. Ох, рук не чую! Собака Иван, какой тяжелый! Побей его бог. Пока это горе-горькое из колодца вытянешь, подохнуть можно! Ну, да, может, я его в последний раз, каторжного, тащил!

А хозяева себе прохаживаются. Черт бы вам головы свернул! Руки, сучьи дети, на брюхе сложили, нарядились и прохаживаются между колодцами, смотрят, как люд христианский мучается, калечится, на них работаючи! Эх, правда, правда, где ты запропала? Не сидишь ли ты ненароком у этих нехристей в кармане?..

II. Договорились

— Здорово, Матвей! А Матвей и не повернется! Ишь, какой гордый! Думает, если по пятнадцать шисток в день гребет, так уж и пан! Ишь ты! Пятнадцать не пятнадцать, — двенадцать и я получу!

Эге! Хозяева-то, евреи — мудрые головы. Они, вижу, норовят человека до нитки обобрать, — так, чтоб и не приметил. Ну, а я какой? Разве не такой же? Да что уж — пропало, согласился за двенадцать, придется за двенадцать работать. Одно меня злит, что вот этому умнику по пятнадцать дают, а мне только по двенадцать. А почему? Разве я слабей его? Разве он лучше работает? Как бы не так!

Однако прихожу я к хозяину. «Что, Гриня?» — «Ничего», — говорю. «Зачем же ты пришел?» — «Так и так, — говорю, — хотел бы работать в колодце». — «Ну, хорошо! — говорит. — Работай, — говорит, — в колодце. — «А сколько дадите?» — спрашиваю. — «Как другим, так и тебе, двенадцать шисток». — «А чтоб вас, — говорю, — как по двенадцать? Я вот вижу, у вас по пятнадцать работают!» — «Кто работает? Где работает?» — спрашивает хозяин.

«А вот, Матвей, — говорю, — мой земляк, — говорю, — по пятнадцать берет». — «Какой Матвей? Что за Матвей?» — спрашивает хозяин. — «Да Матвей, — говорю, — из нашего села, вот тут, в пятой шахте с краю. Сказывал, по пятнадцать, говорит, беру». — «Не знаю я никакого Матвея! — говорит хозяин. — Он, верно, врет! Все по двенадцать получают, не по пятнадцать. Видно, твой Матвей нахвастал тебе».

Вот и толкуй с ним, как хочешь! Уперся — и ни с места, ни шистки не прибавляет. Что было делать? «Ну, — говорит хозяин, — не хочешь по двенадцать, — не иди! Я тебя не неволю! Верти ворот, — по восемь плачу!»

Верти ворот за восемь или за двенадцать в колодец лезь! Горе мое! А ворот мне страх как не хочется вертеть! Восемь недель я вертел ворот, и уж мне сдается — голова у меня кружится день и ночь, и свет кружится, и все. Да куда там — знай, верти да верти, крути да покручивай.

«Что ж, — думаю. — Так или иначе работать надо». Вот и согласился на двенадцать шисток. Чтоб тебя задавило! Подавился тремя шистками!

А он-таки — ну и собака, хозяин-то! — сбрехал. Все берут по пятнадцать. Обманул меня, нехристь, чтоб он пропал! А я только после обеда разузнал. Теперь уж поздно другое место искать, — все конторы заперты! Ну, уж это напоследки ты меня провел!..

III. После всех хлопот

Черт бы побрал этого брехуна! Нашел дурака! Ха, ха, ха!

«Не лезь, — говорит, — Гриня, в колодец, там угарно, не вылезешь живой!» — «А как же ты живой вылезешь?» — спрашиваю его. — «Я — другое дело! Я привык», — говорит Матвей. — «А пока привык, как было?» — «Да так было, — говорит он мне, — спрашивай, не спрашивай, — сам узнаешь!» Да еще: «Погоди, страху натерпишься один под землей на такой глубине! Такое будет тебе, приятель, что родная бабушка увидится!»

Ха, ха, ха! Ну и пройдоха Матвей! Толкует так, словно никого сильнее его нет! Я, мол, выдержу, а у вас силы не хватит! Ах, чтоб тебе, прямо чудеса!

Да еще допрашивает меня, как мальчишку: «А ты умеешь штольню копать? Крепить умеешь? А умеешь то-то? А умеешь то-то?» Пропади ты пропадом! Точно я на свете не жил! Я дома сам и сарай ставил и клеть пересыпал, — плотничал не раз и не два! А он думает, проклятый, будто кроме него никто ничего не понимает!

Эге-ге! И правда, чудный обычай у этих нефтяников! Посмотрите только, как они меня принимали к себе! Кто бы думал, что они, черти, такую комедию умеют ломать?.. Ха, ха, ха!

Как узнали, что я уже под землей работаю, сразу меня окружили, как воронье. «А, коли так, надо тебя посвятить, в рабочий круг принять! Айда к Кирницкому!»

Пришли мы, — пришлось пять кварт сивухи выставить для всей компании. Что делать? Выпили. «Ну, теперь, — говорят, — надо тебя окрестить, дружище!» — «Как окрестить?» — спрашиваю. «Э, ты больно шустрый, много будешь знать — скоро состаришься! Давайте платок, лоскут какой-нибудь!» Дали. «Ступай сюда!» — говорит Матвей. Я подошел, а он какой-то тряпкой завязал мне глаза. Фу, душно, едва дышу, да что поделаешь? «Становись на колени!» Я стал. «Кто ты такой?» — кричит мне Матвей. А другой шепчет: «Говори — нефтяник!» — «Нефтяник!» — говорю я. «Кто ты такой?» — «Нефтяник». — «Врешь, дурень! — закричало человек десять. — Разве ты на нефтяника похож? Вот разве теперь, так еще туда-сюда!» И с этими словами какой-то оборванец хлюп мне что-то густое на голову. Господи! Что это! Я вскочил, как ошпаренный. А они — в хохот. Я разозлился, платок срываю, вот тебе на, — нефть по мне течет. И рубаха белая, руки и волосы — все, все, точно из печи вынул.

— Что вы, взбесились или обалдели? — кричу в сердцах. А они хохочут еще громче:

— Ну, теперь ты настоящий нефтяник! Крещеный, как полагается. Эй, пан Кирницкий, водки, пива сюда! Обмыть нового товарища! Ха, ха, ха!

IV. Странный сон

Погоди-ка! Погоди-ка! Что это за чушь мне снилась нынче ночью? А ведь что-то страшное. Тьфу, так в голове и вертится, а вспомнить не могу. На окно, что ли, глянул, вставая?¹ Нет... Ага, ага, вспомнил, ей-богу, вспомнил!

Вот будто я стою над колодецем и смотрю вниз, в глубину. А он такой бездонный, такой темный, — прямо страшно. А меня уже обвязывают канатом, и вокруг бедер опоясали, становлюсь в бадью... «Ну!» — зовет кто-то (и кто его знает, откуда он!). Ворот только гур-гур-гур! Смотрю, а это я спускаюсь вниз, в глубину, да так медленно, едва колышусь в воздухе.

А надо мной и передо мной, вокруг меня всюду и подо мной все светлей, шире, просторнее. Дышать легко, свободно. И угара нефтяного ни капельки не слышать. Ничего. Смотрю, а я уже на лугу зеленом. Цветы вокруг меня пахучие и трава высокая, мотыльки летают, пчелы жужжат на цветах; кузнечики трещат, и птички покачиваются на бурьяне. Хорошо, просторно, весело. Солнышко греет с погожего неба. Так бы и пошел далеко-далеко, быстро, да не могу. Посмотрю на себя, а на мне все тот же канат, запачканный воском и нефтью, каким меня обвязали, когда спускался в колодец. А я стараюсь сбросить его, так стараюсь, так мучаюсь — и не могу.

А тут, откуда ни возьмись, какая-то женщина. Здоровая, красивая, а невеселая.

— Ну, — спрашивает меня, — как тебе понравилась наша сторона?

— Да что, — говорю, — хорошая сторона, луга зеленые, трава густая, хорошая.

— А тебе, — говорит она, — тут хорошо?

— Да хорошо было бы, — говорю, — кабы мог двигаться. А то вот, видите, мучаюсь, мучаюсь, а веревоч проклятых никак с себя не скину.

— А знаешь ты, — спрашивает, — что это на тебе за веревки?

— Ну, — говорю, — веревки, канаты! А что?

— Глупый ты, — говорит, — потому и не знаешь! Слепой ты, оттого и не видишь. Это, сердечный, хозяй-

ские руки, хозяйская хитрость тебя опутали. Вот посмотри, здесь теперь всюду пусто, а вначале тут народу много бывало. А знаешь, где они теперь?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— Ну, так идем со мной, я тебе покажу.

Пошел я с ней. Уже и своих пут не чувствую. Иду. Смотрю, а передо мной у самых ног — колодец; такой глубокий, темный, страшный, даже мороз у меня по всему телу прошел. А из колодца так нефтяным духом бьет, что, господи твоя воля, и выдержать невозможно.

— Тут они, — сказала женщина, но теперь как-то грозно. Я пуще перепугался.

— А знаешь ты, кто их сюда отправил? — спросила она.

— Нет, не знаю.

— Я.

— Вы? А кто же вы такая? — спросил я.

— Так ты меня не знаешь? Ну, так знай. Я — Душительница. А знаешь ты, кто теперь пойдет в эту западню?

— Нет, — говорю, — не знаю. — А сам дрожу, как осиновый лист.

— Ты пойдешь! — крикнула она, да как толкнет меня в колодец.

— Господи! — вскрикнул я, падая, и проснулся. А, чтобы ты пропала, проклятая, осиновый кол тебе в спину! Христос его знает, что он значит, этот сон?

У. В г л у б и н у!

Ну, так завязывай канат поживей! Да покрепче, любезный, а то как сорвусь да упаду, — беда тебе будет!

Ну, чего смеешься, дурень? Лучше посмотрел бы, в порядке ли насос, хорошо ли воздух качает? А лампочка где? Думаешь, у меня кошачьи глаза и я без лампочки буду видеть на такой глубине? (И верно, глубина,—господи! Волосы шевелятся, как глянул вниз! Бррр! А как темно! А какой дух оттуда бьет!.. Пресвятая богородица, помилуй! Сначала трудно, потом человек привыкнет!)

Ну, и дурак! Зачем ворот отпускаешь? Не видишь разве, что я еще с краю стою? Дай в бадье хорошо стать,

не спеши! Подай сюда кирку! И заступ здесь, хорошо! Топор и долото надо будет в руки взять! Ну, пошел! Да медленно верти, слышишь? Медленно! А как зазвоню, — вытаскивай живо! (Кто знает, что с человеком может стать? Чуть что, сейчас же зазвоню! Черт бы побрал этот канат! Какой, собачья душа, тонкий. А я хлопец не из легких; что, как лопнет на полпути? Эх, да ведь Иван тяжелей, а под ним не лопался!) Ну, с богом! Верти!

У-у-у! Как качает! Где, что, как, что со мною? Темно в глазах, сруб чего-то завертелся, что это он так быстро вверх летит?.. А что там, наверху? Не то канат заело или что другое случилось, отчего меня не спускают?.. Почему здесь, в колодце, ветер дует, а наверху его не слышать?.. Господи, как темно, как страшно! А где же дно? Нет его...нет! Одна темнота и угар! Какой воздух спертый! Как тяжело дышать! И почему они не качают воздух?.. У, какой ветер снизу, какой ветер, все кружится, летит... Правду сказал Матвей, страшно!.. Где я? Уж так давно лечу, а все дна нет! Да уж и лампочка — одна слава, что горит. Где дно? Господи, они ввали, это неправда, что колодец в пятьдесят саженей глубиной. Я за это время уже четверть мили пролетел... Ох, как сердце колотится! Что со мной будет? Теперь, если начну задыхаться, так пока меня вытащат, десять раз окачурюсь!.. Пресвятая богородица, помилуй! Святой Никола, не дай погибнуть!.. Нет, нет! Я лечу! А как скоро! Дух захватывает!.. Кровь ударяет в голову. А дна все нет. Все сруб — бревна да бревна. А что, ежели воск надавит на них, вырвет и завалит меня сверху? Не с одним так случалось. Вот из нашего села Сень Яцыхин так погиб. В лепешку раздавило... Святой боже, не дай грешной душе погибнуть!

А это что со мной? Лечу еще? Нет, будто остановился. Посветить... Я на дне! Слава тебе, господи! Вот оно — дно, дно!

Ой, какая высота надо мною! Мороз пробирает... А это что? Там ночь уже? Какое небо темное... Вот тебе раз, свечки это или в самом деле звезды на небе видать?.. Ведь еще утро было, когда я спускался. Отчего звезды видны? А может, это мне мерещится?.. Сгинь, наваждение!..

VI. В штольпе

Как здесь тесно! Как здесь темно, душно, страшно!..

Моя лампочка, словно сдавленная тьмой, еле-еле мерцает. А что это здесь темное, как печь, будто вход в лисью нору?.. это и есть штольня?.. Как же в нее лезть, а работать как в ней? Господи, да тут придется горбу-ном стать, пока меня угаром задавит.

Э, нет! Дальше она пошире. Начинаешь привыкать к потемкам. Ей-богу, у человека будто кошачьи глаза отрастают. Видать, Иван здесь позавчера копал. Тут, видно, и мне становиться. Гм, а кто знает, скоро ли воск покажется?..

Гм, за работой словно и не так страшно. Надо вовсю работать, хотя, ей-богу, для такой собаки-хозяина не стоит и раз киркой ударить. Пусть знает, как бедному работнику урезывать плату! Однако вижу, лучше, когда двигаешься. Только тяжело очень, душно, ох, как душно!.. Почему они там, эти дурни, плохо воздух качают?..

Какой Матвей дурень, а хвастун!.. Умею ли крепить? Эх ты, дурень! Хотел бы я знать, чьи крепления лучше — твои или мои? Найди мне такую силу, чтобы с моим креплением справилась!..

А как он меня страшал! Думал — испугаюсь! А я тут, как дома... (А все же тяжело!.. Гм! И мороз то и дело по спине проходит. Но это пустое!)

А ну, кирка! У тебя клюв острый, у тебя зуб железный, как у бабы-яги... (Почему они так плохо воздух качают, мне все тяжелей!..) А ну, приятель, покажи свое искусство! Раз-два-три! Бумм!.. Что это так загудело? Первый раз, как в подушку ударил. Глухой звук был! А теперь загудело, будто в пустой бочке. А ну, еще раз. Гудит, еще громче гудит. Что такое?.. (Эге, это у меня в ушах шумит! Это ничего. Почудилось. Но почему сердце как молотком в груди — тук-тук-тук?.. А кровь чувствую, в голову ударяет...)

Нет, ничего. Вот тут надо еще прокопать малость, а потом буду дальше крепить. Как чудно топор блестит при лампе! Словно беда смеется, кажет свой железный зуб. Тьфу ты, сгинь, пропади!..

А с этим бревном что? Тоже гудит? Или стонет, будто при смерти?.. Чудно в этой штольне!.. Точь-в-точь так же выглядел колодец, куда меня нынче во сне столкнула Душительница. Душительница! Что ж? Может, в самом деле такая есть, которая душит нефтяников? А может, я подкапываюсь в ее подземное царство, поэтому так стена и гудит?..

Господи! Что такое? Будто кто-то схватил меня холодной рукой за шею! Хочу обернуться — не могу! Хочу вырваться — не могу! Не могу, не могу!..

— Кто тут?.. Ох, это ты? Что тебе нужно?.. Душительница, что тебе нужно... от меня?

Дзинь-дзинь-дзинь! Спасите! Спасите! Дзинь-дзинь-дзинь!.. Спасите!

VII. Душительница и ее царство

Целая неделя! Боже правый, а мне казалось, что и суток не прошло! А где я побывал, что видел! Сто лет рассказывать, а всего не расскажешь! И что это: снилось ли мне, или в самом деле я куда летал, — вот этого не скажу! А все-таки мне думается, что это правда. Ведь все это я видел, вот как вас. Ну, а вы говорите, меня вытащили бездыханного, неживого, так, так... Говорите, после того, как меня отгёрли, я целую неделю в горячке лежал? Диво дивное, и только. Матвей, почему ты не сядешь? Садись вот тут, а ты, Марунька, поближе, здесь, возле меня! Так. Я вам расскажу, что я видел.

Вы знаете, как я спустился в колодец. Ну, страшно было сначала, трудновато, но все это пустое. Я начал копать, крепление поставил, копаю. Мне все тяжелее, все что-то будто на грудь давит, и сам не знаю, что со мной. Стараюсь, работаю, а в голову всякая чертовщина лезет, басни, каких наслушался в детстве, потом вспомнил, будто женщина есть такая — Душительница... Как раз в ту ночь она мне снилась. Только вспомнил — и вдруг чувствую, прямо чувствую: кто-то хватить меня за шею, да такой холодной рукой, такой холодной, как

лед. Я так и застыл. Хочу обернуться, а не могу. Все-таки как-то повернул голову. Боже милостивый, она самая — Душительница, стоит передо мною. Точнехонько такая, как во сне видел. Говорит мне, да так сердито, отрывисто:

— Что тебе тут нужно?

Я перепугался насмерть. Ни слова не могу выговорить.

— Мало тебе того, что я показывала ночью? Помнишь? Тогда я тебя простила, но теперь кончено! Поздно! Ты мой!

Я чувствовал, как моя рука судорожно старается схватить бечевку от звонка, — она тут, рядом со мной болтается. Куда там, я был, как скованный. Чувствовал еще, что стараюсь крикнуть «Спасите!», но голос застрял у меня в горле. Что-то давило мне на грудь, точно камень тяжкий или что-то еще.

— Нет, милый, — говорит Душительница, — и не старайся. Напрасный труд! Кто мне в руки попался, того уже не отпущу никогда! Ступай за мной.

Взяла меня на руки и понесла.

Мне стало как будто легче. Я уже мог повернуть голову и осмотреться.

«Что за чудеса! — думаю. — Тут, где я только что два-три раза кайлом ударил, теперь такая широкая яма, хоть пару волов через нее веди».

А Душительница прямехонько несет меня в эту яму. Темно, холодно... Летим, летим долго. Тихо всюду. Я тут расхрабрился и спрашиваю:

— Куда вы меня несете?

Не отвечает. Опять молчим. Потом спрашивает:

— А сколько тебе лет?

— Двадцать три, — говорю.

— А есть у тебя отец, мать?

— Есть, — говорю.

— Богатые они, зажиточные?

— Нет, — говорю. — Разве полез бы я в этот ад, кабы не нужда да не необходимость. Знаете, человек жить хочет, какое бы горькое житье не было!

— Ага, — говорит она. — Так тебе жить хочется?

— А кому бы не хотелось? Хочется.

— И трудно тебе с жизнью расставаться?

— Как же не трудно? — говорю. — В нужде вырос, нужда и сюда привела, когда мне было пожить-то? Вот думал, сколочу какую ни на есть мелочишку и поженюсь, может, бог смилуется, не будет человек такую нужду терпеть.

— Ага, — отвечает она. — Так, так.

Снова замолчала.

— Ну, — говорит немного погодя, — конечно Теперь ты в моих руках. Идем, я тебе покажу свое царство.

И понесла меня по воздуху, да так быстро, что у меня голова закружилась. Смотрю, а передо мною луг цветистый, широкий. Тот самый, какой я во сне видел. Пригорки небольшие, поля на них, нивы. Светло, весело, тепло, прямо сердце радуется.

— Это ваше царство? — спрашиваю.

— Нет, — говорит она, — это моей старшей сестры царство. Его осмотрим потом. Мое царство вот тут.

Очутились мы над глубоким темным колодецем, таким, какой я во сне видел. Угар вился густым черным столбом. А самое страшное было то, что в колодеце этом стоял такой крик, плач и стон, словно там в муках погибали тысячи людей.

— Что здесь такое? — спрашиваю задрожав.

— Лезь, увидишь! — говорит она. — Это мое царство!

И понесла меня в темную, отвратительную глубину.

VIII. Доля нефтяников

Очутился я, скажу вам, в такой страшной западне, какой я отродясь не то что наяву, а и во сне не видывал. Сперва одна гьма кромешная вокруг. Только крики какие-то, и писк, и визг, даже мороз пробирает. Потом пригляделся. Смотрю... Что такое? Будто это штольня темная, тесная, длинная или что-то вроде. А людей полно, все нефтяники. И все такие черные с лица, такие изможденные — глянуть страшно. Тот с заступом бродит, тот с мотыкой, тот с киркою. Копшатся, ползают, будто чего-то ищут.

— Что они ищут? — спросил я Душительницу, стоявшую рядом.

— Посмотри, узнаешь, — сказала она.

И вот неподалеку крик раздался. Присматриваюсь. Нефтяник. Что это он так вопит? Присматриваюсь лучше... Господи! Что с ним! Правая рука и правая нога у него вовсе размолоты. Кровь застыла, кости поломанные торчат. А он ковыляет да все вопит: «Отдай мне мое здоровье, окаянный хозяин! Возьми себе этот проклятый мой заработок! Возьми себе мои деньги кровавые, все возьми! А здоровье отдай! У меня дети малые! Без руки не заработаю! Моя хата далеко! Без ноги не дойду!»

Я окаменел, прислушиваясь к этому воплю.

— Что с ним такое? — спросил я.

— Ничего, — сказала Душительница. — Работал два месяца в колодце, а перед выплатой хозяин, будто не нарочно, пустил на него доску сверху. Ну, он и попался мне в руки.

Я не дослушал ее слов. Другой голос отозвался рядом. Это ребенок полз по земле. Едва я разглядел. Ползет, бедный, а все пищит: «Ма-ма! ма-ма!.. хлеба! хлеба!..»

Задрожал я.

— А этот бедняжка? Что с ним? — спрашиваю.

Душительница оглянулась.

— О ребенке спрашиваешь? Да у меня их тут тысячи! А ты как думал? Голод, и холод, и болезни, и всякое другое отдают их в мои руки!

Господи! Теперь я стал лучше видеть. Сколько людей в этой пропасти! Сколько хлопцев, дивчат, баб, деточек малых, мать божья! На любого глянешь — ужас берет. Тут лицо, исхудалое от болезни и голода, там распухшее тело, словно бы утопленника («И немало их тут тонет! — заметила она. — Видишь колодцы, который пустой, тот стоит открытый, вода в нем наберется, ну, а упасть разве трудно?»), другие люди — черные и страшные, как головни на пожарище. («Ну, — сказала Душительница, — и огонь мне не раз хорошо служил, разве не так? Ему лишь бы в колодец пробраться! Там он дома!»)

И страшно мне стало и жалко тех людей.

— Значит, — говорю, — все они в колодцах погибли?

— А как же.

— И много их тут?

— Сам видишь, — немало. Да это еще не все, идем дальше!

Мы полетели по этой штольне. Штольня перед нами расширялась, а все-таки духота была страшная. Вдруг мы остановились. Снова присматриваюсь. А это что? На земле, насколько видно глазу, всюду люди лежат, и все больше парни молодые, статные, словно яворы роскошные. Лежат вповалку, тесно, около них кирки да заступы. Лица синие, кулаки сжаты, глаза широко раскрыты.

— Что с ними? — спрашиваю.

— С этими-то? Задохлись в колодцах. Не правда ли, многовато? Как ты думаешь?

Она усмехнулась, да так страшно, что я весь задрожал.

— Каково? Вижу, тебе не очень приятно в моем царстве. А знаешь, среди них и тебе место было приготовлено. Но я милостива к тебе, приятель. Не одного из них я забрала, едва в первый раз полез в колодец. А для тебя смилостивлюсь... Нынче отпущу. А ежели еще раз полезешь, тут тебе и конец.

У меня даже зубы от страха застучали.

— А вот, — говорю. — Матвей что ни день в колодце, а ему ничего.

— И ему готово место. Не замешкается, сердечный, придет и он.

Я так и замер, просить начал, — ей-богу, Матвей, даже плакал, так просил... Нет и нет.

— Оставь, — говорит, — меня в покое! Не я тут распоряжаюсь. Есть надо мною старшие, их слушаюсь. А вот, чтобы ты не думал, будто видел уже все мое царство, покажу я тебе еще.

— Так это еще не все? — вскрикнул я в отчаянии. Оглянулся... Господи владыка! Далеко, далеко тянется проклятая штольня. Калеки и уроды, погубленные голодом, стужей, огнем, хитростью, всякими способами заморенные нефтяники наполняли ее. И это еще не все! У меня потемнело в глазах. Я прямо обеспамятел

IX. Жизнь нефтяников

— Ну, смотри и знай! — проговорила Душительница громко над самым моим ухом. Я пришел в себя. Кругом темно. Холодом тянет. Смотрю, а это я уже наверху, в Бориславе. Да, это Борислав!

— Ну, что? — спрашивает она. — Видишь? Узнаешь, где мы?

— Узнаю, — говорю. — Мы уже наверху, не в колоде.

— Вот видишь! И тут моя власть велика. Идем, я тебе покажу!

Мы вошли не то в дом, не то в сарай огромный. Из щелей тянуло холодом. Сырая, влажная земля под ногами. На земле друг подле друга тьма-тьмущая людей. Многих я видел раньше, кто на вороте работал, кто воздух накачивал, кто воск выбирал, кто при складе был или еще где. Настоящие нефтяники, кто под землей работает, не ставят их ни в грош, смотрят на них свысока и называют «капцанами» — голодранцами. Было тут немало девушек и парней, немало старух и стариков, всякие люди были. Они спали все вместе. Порой кто-нибудь вскрикивал во сне или надолго закашливался.

Долго мы смотрели на них. Потом Душительница первая проговорила:

— Видишь, сколько их? Все — мои!

— Господи! — крикнул я. — Всем им тут погибать!

— Рано или поздно. Раз ты в сени вошел, входи и в хату. Это мои сени. Может, думаешь, они даром работают, ничего не зарабатывают? Видишь, вон тот старичок все стонет и мечется, да ему руки прижали: не может подняться. Он разве что до завтра тут задержится. Да что он! И других немало... Недолго протянут здесь. Всех заберу к себе. Ты говоришь: неужто даром работают? Я тебе отвечу: хуже, чем даром! Не столько здоровья и силы они тут положат, работаячи (сам хорошо знаешь, сколько положить надо, хотя бы ворот ворочая), а во сколько им обойдется их заработок.

— Как так? Почему? — стал я допытываться.

— Не видишь, что ли, как они тут спят? Земля сы-

рая, холодно, душно. Думаешь, долго здесь человек здоровым останется?

Что ей ответить? Не то что человек, и скотина в такой норе живо изведется.

— Слушай, как дышат! — сказала она. — У доброй половины из них уже чахотка, никакой доктор не вырвет их у меня! Да еще, сам знаешь, за этот ночлег они должны хорошую деньгу отдать из своего заработка! Вот подсчитай. Те, кто воск выгружает, и складские получают в день по шестьдесят, а кто при вороте, — по восемьдесят крейцеров. Так или нет?

— Так, — говорю.

— Ну, выплата еженедельная. В неделю одни зарабатывают три гульдена и шестьдесят крейцеров, другие — четыре и восемьдесят. Так или нет?

— Выходит, так, — ответил я.

— Вот видишь! Ну, а за еду сколько платят в неделю? Самое малое по тридцать крейцеров в сутки, за семь дней выйдет два гульдена и шистка. Ночлег, даже такой плохой (а лучшего, сам знаешь, не найти), по шистке за ночь, в неделю — семьдесят крейцеров, так?

— Так.

— Ну, подсчитай все, много ли останется?

— Да я, — говорю, — хорошо знаю эти расчеты. В печенках они у меня сидят. Складским остается восемь шисток, а тем, кто на вороте работает, — два гульдена.

— Так как же ты думаешь, разве это не даром — неделю мучиться в таком аду за восемь шисток?

Так она тоскливо и печально сказала, что я запнулся и уж не знал, что и отвечать.

— Погоди, — начала она вновь, — я считала тридцать крейцеров в день на еду. А какая это еда? Сам видишь, хлеб тут дорогой, дороже чем где-нибудь. Хозяева видят, что народу много, и дерут. На двадцать кр[ейцеров] в день одного хлеба надо. Ну, а вздумай он вечером, после тяжелой работы, выпить водочки, вздумай хоть два-три раза в неделю поесть чего-нибудь горячего, — и денег нет. Известно, одним хлебом, да еще таким, какой тут продают, жив не будешь. Ну что ж, видишь теперь, за что люди работают? Да одни харчи, и то ни-

кудышные! Да еще за такой вот ночлег! Разве это заработок? Разве это жизнь?

— Ну, — сказал я через минуту, — складские так живут, а при вороте можно все-таки кое-что отложить. У них-то в неделю остается все же два гульдена чистого заработка.

— Погоди, приятель! — сказала она. — Вот ты работал на вороте восемь недель. Ну, скажи, много ты отлежил? Ведь у тебя должно быть теперь шестнадцать г[ульденов]. Где они?

Мне, по совести сказать, стыдно стало.

— Да что, — говорю, — на то, на се, как-то и ушло. Нету ничего! Сперва еврей хозяин давал понемногу, сколько было нужно. Ну, даст там на день пять шисток, а то и восемь, — все и уйдут. Знаете, то одно понадобится, то другое — и купишь. А потом хозяин в отлучке был. Почти с неделю приходилось брать в долг у Кирницкого. Пришла выплата, ушли все деньги за долг, еще и не хватило. Так вот, видите, и не удастся сколотить деньгу.

— Вот видишь, — сказала она, — к чему оно клонится! И ты думаешь, у одного тебя так? Нет, любезный! Никто не отложил ни крейцера. Бывали бережливые такие, да перевелись! Поняли хозяева: ежели станут нефтяники богатеть у них, обзаведутся своей земелькой, — некому будет работать в шахтах. Хозяева хотят, чтоб вы оставались в бедности, тогда в работниках не будет нехватки, а от этого хозяевам снова прибыль: больше рабочих — меньше плата! Привалит народу много, ну, они плату и снижают. Нанимайся за столько, больше не дам! Не хочешь — как хочешь. Народу много. Желающие найдутся. А ты идешь, от одного к другому — и всюду то же самое. Ну, и приходится тебе с пустыми руками, голодным возвращаться либо наниматься за столько, сколько дают. Видишь, главное дело в том, что все они меж собой стакнулись. «В первую голову, — говорят, — так сделаем, чтобы рабочие не могли поднакопить денег, чтобы не могли никогда выбиться из нужды!» Вот они и понаставили кабаков без счету, стали обманывать всячески, выплачивать по частям, давать в долг, а потом больше взыскивать, чем вы задолжали. Чего уж

больше! Хлеба стали меньше возить — цена и подско-чила. За ночлег требуют по десять кр[ейцеров] (а прежде платили по пять), и так вот, как видишь, добились своего. Теперь все вы у них в руках. Сёла всё нищают и нищают, — и там арендаторы и прочие пиявки не спят. Рабочих валит в Борислав все больше и больше. Вот хозяева плату и снижают. А все это им в карман, сам видишь!

— Господи боже! — даже вскрикнул я, услышав это. — А у нас никто и не догадается, отчего такое творится. Нужда все сильнее одолевает. — «Ну, говорят, карает нас господь милосердный за грехи наши». А дело-то вот в чем.

— В том-то и дело! Вы, дураки, думаете: вот пойду, заработаю в Бориславе, соберу деньжат! Эх, головы недогадливые! Разве станут вам спекулянты помогать! Нет, не помощь, а гибель ждет вас тут! Да прикинь еще вот что. Все рабочие руки из села идут сюда. Значит, и поле некому хорошо обработать, и за хозяйством присмотра нет. Значит, ты тут потеряешь здоровье понапрасну, даром, а дома в это время все разваливается!

— И то правда, и то правда! Господи милосердный! Последние времена! — сказал я. — И неужто никакой помощи нет? Нет способа вырваться из этих сетей проклятых?

Она замолкла и долго молчала.

Х. Т р и с п о с о б а

— Есть способы, — сказала, наконец. — Есть три способа, дружище. Да я не могу их тебе открыть. Не в моей это власти. Думай сам, думай — может, и додумаешься. Одно тебе скажу. Не надейся, что, «бог даст, лучше будет!» Вот видишь, сначала за работу в колодцах брали по пятнадцать шисток. А теперь и таких много развелось. Не боятся погибнуть или калеками стать. Лезут. Вот хозяева и им плату снизили — три шистки урвали.

— Разве не мне одному? — спрашиваю.

— Тебе первому, а теперь уже всем. Сговорились

Как у одного, так и у всех! Беги же отсюда, бедняга, беги! Тут добра не дождешься. И другим то же скажи.

— Ну, а куда же мне податься?

— Куда хочешь. Ступай в батраки, работай. И там барыша не много, да по крайней мере для своего человека работаешь. Не помогаешь врагу. А теперь мне пора. Будь здоров!

Она исчезла,— я очнулся,—и, как видите, очутился среди вас...

— Ну, как это вам покажется? Вправду, чудеса. Но, видать, все это верно, если вот и вы говорите, что уже всем вам плату урезали! Что ж нам делать? Нет, ты, Матвей, не смейся! Горячка не горячка, а я все-таки вижу, — Душительница эта, или кто она там была, словечка не соврала. Я тебя не удерживаю, поступай, как знаешь, только я больше не полезу в колодец ни за что на свете. Лучше в самом деле батрачить пойду, а тут не останусь!

Одно меня смущает. О каких способах она толковала? «Три,—говорит,—способа. Думай—может, додумаешься!» А как думать, ежели у человека такое в голове, будто его дубиной огрели! Думай! Старайся, сколько хочешь, ничего в голову не идет! Пока она со мной говорила, все было так ясно и понятно, а сам умом раскинуть не могу! Эх, бедность наша, бедность! Другие дети в школы ходили, а я деревенское стадо пас, чтобы с голоду не распухнуть!

— Что, Маруня? Что такая невеселая сидишь? Ой-ой-ой, как ты исхудала! А я сперва и не заметил! Ну как? Уйдем отсюда вместе! Пропади пропадом эта напасть! Лучше какую угодно нужду терпеть, чем тут задаром свое здоровье драгоценное тратить! А вы, товарищи, как полагаете? Задумались над тремя способами? Думайте, думайте, в добрый час! Может, господь пособит стряхнуть с себя недолю тяжкую, хозяйские пути!

НЕФТЯНИК

I

— Иван, Иваночко, сокол мой дорогой!

— Что тебе?

— Да ты нынче сердитый, неприветливый какой-то...

— Говори, что нужно?

Осенний ветер шумел и свистел в узких улочках Борислава и раскидывал мокрую глину, выбранную за день из колодцев. Ночь была темная.

— Ну, долго мне ждать твоих слов? Говори, зачем вызвала меня сюда на улицу в такой ветер?

— Я хотела поговорить с тобой... как прежде, бывало... помнишь, в селе.

— Так! Нашла время и место! Говори скорей, что тебе нужно! Не видишь, я весь прозяб!

— Вижу, вижу! — Ее голос дрожал, она продрогла гораздо больше Ивана. — Ты, Иван, вижу, уже не любишь меня... или любишь не так, как прежде.

— Вот тебе раз! Почему так думаешь?

— А эта Ганка круглолицая... Ты с ней все вечера водишься...

— Да ну тебя! Я с ней?.. Сама за мной бегаешь. Как ей запретишь, если сама ко мне пристает?

— А мне зачем запрещаешь?

— Э, ты все себя вперед выставляешь! Чего тебе

надо? Не хватает тебе чего? Говори, ведь знаешь, я никогда не отказывался помочь тебе в нужде.

Девушка вздохнула.

— В нужде! Боже, если б ты видел мою нужду.. Да что говорить... Одного мне недостает, Иваночко.

— Чего?

— Тебя.

— Вот я перед тобой.

— Да что, если сердце твое ко мне не лежит! Если ты забыл меня, не любишь меня! С тобой я бы никакой нужды не боялась. Ради тебя всякую беду перенесла б...

— Эх, глупая ты, — прервал ее Иван, — глупая, да и только. Думаешь, я по этой Ганке сохну, а у меня о Ганке и мысли нет.

Потом, подойдя совсем близко и привлекая ее к себе, он прибавил мягче и тише:

— Не бойся, Фрузя! Я тебя не забуду! Помнишь, как я клялся тебе там, под липою! Господь бог это слышал, и он мне свидетель. Еще немного потерпим оба... Разве я не знаю, что тебе тяжело? Так ведь и мне нелегко. Еще неделя. другая... А теперь успокойся. Пора домой. Ты вся дрожишь, ты озябла... Идем со мною сюда, в шинок. Идем, обогреешься. Ведь тебе далеко на ночлег.

— Да я...

— И не говори, идем!

И он почти насильно затащил ее в шинок, где было полно народу, рабочих и работниц, полно шума, духоты, вони от измазанных нефтью рубах и полотнянок, громкого хохота и запаха водки. Никто не обращал на них внимания. Они сели за стол поближе к печке, и Фрузя быстро обвела глазами комнату, — нет ли в шинке Ганки, ее злейшего врага, ее соперницы в Ивановом сердце. Ганки не было, и она вздохнула свободней. Выпив рюмку вишневки и согрившись, она заговорила весело, начала вспоминать село и знакомых, наконец, пригнув голову Ивана к себе, прошептала:

— А у меня новость!

— Какая?

— Жду гостя.

— Гостя? Какого?

— А ну, угадай.

— Я? Откуда мне знать, кто к тебе в гости собрался?

— Должен знать.

— Должен? Тьфу, да что это за гость такой?

— Ах ты, недогадливый!

И она подергала его за ухо, улыбаясь:

— Ребенок! Твой ребенок, Иван!

Она старалась выговорить эти слова свободно, весело. но ей не хватило ни смелости, ни голосу. Сердце заби-лось, затрепетало в груди. Фрузя знала, что от того, как примет Иван это известие, зависит очень многое, может быть вся жизнь ее. И она, почувствовав себя ма-терью, больше всего боялась этой минуты, когда придется сказать обо всем Ивану. Что ответит он? А теперь, когда все было сказано, она сидела бледная, испуганная, слов-но в чем-то тяжко согрешила, словно ждала от него какого-то страшного приговора.

А Ивану, казалось, было совсем-совсем все равно. Он отвернулся, уставился в потолок и начал потихоньку насвистывать, а потом, кинув взгляд на Фрузю, спросил ее как бы нехотя:

— Ну что, выпьешь еще рюмочку?

— Нет, не хочу, — ответила девушка едва слышно.

Иван заказал себе кружку пива и не говорил ни слова. Она сидела как неживая. «Все пропало! Все пропало! — вертелось у нее в голове. — Не любит он меня! Вот тут и бросит, в этом аду, в этой грязи».

Шинок гудел и клокотал. Ей стало душно, будто что-то сжимало грудь. Она встала.

— Идешь уже?

— Иду.

Он не тронулся с места, не просил ее подождать, а все еще разглядывал что-то на потолке. У Фрузи выступили слезы на глазах, но она собралась с силами и прогло-тила рыданье.

— Доброй ночи тебе!

— Доброй ночи!

На улице ветер схватил ее в свои холодные объятия, дергал за полы, швырялся в лицо комочками глины, но она ничего не замечала.

У нее на сердце было еще холоднее, еще темнее, чем в закоулках Борислава.

II

На самом краю Борислава, на пустыре, стоял большой склад, где хранился горный воск, добытый из колодцев, — собственность хозяина Линденбаума. Это было большое деревянное строение. Его окружали колодцы, а под его стенами были навалены груды пустой породы — серой глины, поднятой из колодцев. Только узкие тропинки, проторенные тачками, бежали со всех сторон между этими грудями к воротам склада.

Позади, напротив ворот склада, жил сторож в пристроенной хибарке, разделенной пополам. Эта пристройка почти скрывалась за высокими грудями глины, так что солнце редко когда и заглядывало внутрь сквозь узкие оконца. Сторож был вдовец, детей своих пораздавал людям на воспитание и, желая заработать хоть что-нибудь сверх того, что платил ему Линденбаум, сдавал одну каморку под ночлег работницам, а сам довольствовался второй — все равно он почти не спал ночью, должен был сторожить: полиции в Бориславе тогда еще не было.

Поздняя ночь. В тесной, грязной, душной каморке полно работниц. Стены каморки голые, дощатые, едва побеленные известкой, на одной прилеплена какая-то картинка и осколок зеркала, в одном углу топчан, сбитый из трех досок и прикрытый сенником и плахой, а у окна маленький столик на трех высоких ножках — окно высоко. Вот и все, что можно было увидеть в комнате. Ни печи, ни кухонной посуды, ни одеяла и подушки, ни сундука. На топчане не было никого, зато на полу жались, как сельди в бочке, какие-то человеческие существа, громко, тяжело дышащие, но в сумрачной комнате казавшиеся грудой грязного тряпья, свиток, платков и сапог. Так ночуют работницы. Старухи, девушки, молодые женщины, которых из дальних сторон пригнала сюда нужда, натрудившие себе за день грудь и руки, стоя у ворота или опоражнивая бадьи и выбирая воск, теперь лежат вповалку на холодном деревянном полу, кулак под головой, прижавшись друг к другу, во-первых, из-за тесноты, а во-вторых, потому, что так теплей.

Их лица поблекли от нужды, руки словно обросли глиной и горным воском, одежда их — лохмотья, едва державшиеся на теле. Старческие, недугами и заботами изрытые лица видны рядом с молодыми, еще не утратившими следов красоты, хотя цвет их давно уже увял от преждевременной тяжелой работы, от нужды и порока. В комнате тихо, порою только кто-нибудь из спящих вскрикнет, или взмахнет рукой, или пробормочет какое-нибудь ругательство, или во сне обнимет соседку (ей, верно, снится, что обнимает любовника). Но всех тревожнее спит вот эта старая бабуся — когда-то первая в селе хозяйка, теперь мало чем отличающаяся от нищенки. Нароботает она за день немного, силы в старых костях меньше, чем у ребенка, сидит разве в углу сарая да перебирает землю, поднятую из колодца. Платят ей три шестки в день, и за это должна бога благодарить. Зато ночью она словно оживает. Кажется, тогда воскресает в ее душе жизнь, проведенная в лучших условиях. Она хриплым голосом бормочет свои девичьи, давно забытые песни, обдергивая на себе лохмотья, будто поправляет свои наряды перед зеркалом; потом важно покачивает головой, словно беседует с былыми соседками и хватается новыми бусами, а то причмокивает губами, будто пробует водку, подогретую с медом. А там пойдут проклятья, тяжелые всхлипы, стоны и снова обрывки песен — и так всю ночь. Ее соседка не раз проснется от этих ее снов, выругается и толкнет старуху в бок, чтобы спала тихо, но это не помогает. Старуха, проснувшись, не помнит своих снов, а спокойно спать не может.

На маленьком столике под окном горит свечечка, слепленная из желтого, неочищенного горного воска. Дрожит ее свет и мигает неровно, бросая неверные блики на спящих работниц. Склонившись над столом, сидит девушка — единственный человек во всем доме, которого не берет сон. Ее печальные, тоскующие глаза следят за быстрыми движениями иглы. Она шьет рубашонку — малюсенькую-премалюсенькую, шьет старательно, по ночам, ведь днем — другая работа.

«Сказал, что о Ганке и мысли нет, — думает она свою невеселую думу. — Может, и правда. А ведь не сказал,

любит меня или нет. Да и зачем говорить? Разве я сама не вижу? Нет, не любит он меня, не думает обо мне! Забыл он свою клятву, хоть на словах и вспоминал о ней. Что слова? Ветер — и только. А господь бог с неба не слезет, палкой бить не станет. Так Иван думает и, верно, в кулак смеется надо мной. Смеется над глупой, а она-то ради него оставила отца, мать, родную хату, отдала ему свою добрую славу. Все, все я отдала ему, оставила ради него! А теперь, когда уже нечего с меня взять, я ему не нужна, опостылела!»

На ее глаза снова набежали слезы, но теперь она их не сдерживала, не глотала их, и они полились крупными каплями на ее шитье.

— Боже, боже! За какие грехи ты так тяжко наказал меня? — простонало ее измученное сердце.

Игла остановилась. Фрузя, сама не зная почему, смотрела на пламя свечи. Синий чад поднимался над пламенем и стоял густым туманом под потолком. У нее болела голова. На дворе свистел ветер, дул сквозь щели в комнату и обдавал девушку холодом.

Она выплакалась, и ей стало легче.

— Нет, он любит меня. Я умерла бы, если бы он меня разлюбил. Что я ему сделала такого, чтобы он мог забыть меня? Да и что я делала бы без него с малым ребенком, который скоро появится на свет, с этим незванным гостем, перед которым не замкнешь двери?

Правда, Фрузя не знала также, что будет делать с ним, с Иваном, когда родится ребенок. Видела ведь она, какое кислое лицо сделал Иван, как он отвернулся, услышав, что она ждет ребенка. Знала, что денег у него нет, что он день-деньской на работе и что для нее самой не остается ничего, кроме больницы. Фрузя видела это ясно еще час назад, когда, съездившись и стуча зубами, шла из шинка в ночлежку. Но теперь она не думала об этом. Ей было страшно думать об этом, и подобно тому, как утопающий хватается за прутик, за соломинку, так она ухватилась за мысль: если б он любил меня! Если бы он был со мной! С ним мне ничего не страшно; он во всем поможет!

Она невольно обманывала себя этой мыслью, внушая ее себе, и теперь была почти уверена, что все так и будет.

Должно так быть! Разве нет бога над ними? Ведь недаром оставила она ради Ивана отца и мать, недаром столько бед испытала! Ведь недаром он обещал ей, что немного еще остается погоревать, а потом все будет хорошо. все несчастья пройдут. Что он задумал? Она не могла догадаться, но чувствовала, что у нее на сердце становится весело, легко, словно травке, которая весной пробивается из-под снега.

Она смотрела на свечку, которая вот-вот должна была догореть и не давала света, а дымилась и наполняла каморку чадом. Сердце Фрузи билось часто-часто. Ей казалось, что игла у нее в руке летает быстро — ворот вертится легко, споро. Усталости, озноба нет и следа. Музыка слышна, блестит что-то, будто длинная солнечная дорога среди зеленых хлебов. Щекочет что-то, словно прикосновение мягких, любимых рук... Ее голова склонилась на стол, и она заснула.

А издалека, из Борислава, доносил ветер глухие крики и песни. То кричали и пели нефтяники, вышедшие из шинка. И среди всех голосов самый громкий — голос Ивана выводил:

А я тебе, моя мила, не покину,
Положу ты на ліжечко, як дитину*.

III

Утром Фрузя проснулась раньше остальных работниц. У нее болела голова, ее лихорадило, тошнило, но она и не думала об этом. Наскоро умывшись, она побежала в шинок, где ей давали завтрак, оплаченный за всю неделю вперед: горшочек горячего молока и кусок хлеба. Но еда не шла ей в горло. Насилу выпив молока, она спрятала хлеб за пазуху и побежала. Куда? Она и сама не понимала хорошо. На работу было еще рано. Ей хотелось увидеть Ивана, но она знала, что едва ли встретит его на улице, а где он ночевал в эти дни, —

* А я тебя, моя милая, не покину, Уложу в постельку, как ребенка (украинск.)

не знала. И вот она шла наугад, шлепая по густой, липкой грязи, ежась от ветра, стараясь усталостью и ходьбой заглушить тревогу, бушевавшую у нее в сердце.

Борислав начинал оживать. Из темных нор, из затхлых, душных и тесных хибарок вылезали грязные, заspanные люди. Они начинали день руганью и ссорами, не умывшись и не перекрестясь, тащились в кабак, а отсюда, выпив по стаканчику водки, закусив черствым хлебом и сунув за пазуху того же черствого хлеба, кусок колбасы или головку чеснока, шли на работу. В сараях звякали звонки, кричали приказчики, скрипели вóроты. По мостовой тянулись подводы с дровами, мешками картошки, с хлебом и прочими припасами. А над всем этим серое, насупленное небо думало какую-то невеселую думу, а вдалеке, на склонах Дила, зеленел высокий пихтовый бор.

Шлепая по грязной улице, Фрузя окидывала взглядом все закоулки, заглядывала в раскрытые двери кабаков, в знакомые сараи, но Ивана не было нигде. На углу, возле гостиницы Кирницкого, которая была главным средоточием рабочей жизни и ночного веселья, она встретила Ганку. Это была девушка из той же деревни, откуда были Фрузя и Иван. Большая, краснолицая, с глазами навывкате и толстыми губами, она казалась настоящим силачом по сравнению с худой, бледной Фрузей. Неся на коромысле полные ведра, она твердо ступала по мокрой глине босыми красными ногами. Ее черные косы были обвиты вокруг головы, а черные блестящие глаза смеялись здоровьем и силой, которую, видно, никогда не точил червь душевных забот. Это была одна из тех грубых натур, у которых до души не доберешься. Бедствуя, тяжело грудясь, они, по сути говоря, не знают беды, не знают горестей, порождаемых неудовлетворенным желанием, беспокойством чувств, противоречием между желаемым и возможным. Они, кажется, предназначены для тяжелой работы, как вол для ярма; их горе начинается лишь с той поры, когда они теряют свое, обычно железное, здоровье.

Фрузя и прежде не любила Ганку, а теперь, увидев, что Иван при ней делается веселым, шутит, танцует

с ней, она возненавидела ее всем сердцем. Вчерашние Ивановы слова, что Ганка сама бегаёт за ним, кипятком заклокотали у нее в сердце.

— Слушай ты, Ганка, — сказала она, не здороваясь и подходя ближе.

— Чего тебе от меня надо?

— Ты у Кирницкого служишь?

— Ну да, четвертый день.

— А был там мой Иван вчера?

— Твой Иван? Какой твой Иван? — насмешливо проговорила Ганка.

— Сама знаешь, какой! — сказала Фрузя, подавляя в себе злобу.

— Такой же он твой, как и мой. Даже мой больше, — тебя он и видеть не хочет, а со мной ему весело.

— Врешь, судомойка! — крикнула Фрузя. — Врешь, врешь! Не смей у меня волочиться за ним! Он сам сказал, что ты за ним волочишься. Слушай, если я еще раз увижу тебя с ним, я тебе глаза выцарапаю.

— На стену лезь, чучело! Чего ты ко мне лезешь!

— Не смей! Не смей! — кричала Фрузя, задыхаясь. — Не смей его баламутить!

— А вот посмею, что ты мне сделаешь? И вчера я была с ним, и нынче буду, и когда захочу — буду. А ты хоть лопни со злости, мне все равно.

Фрузя, не помня себя, бросилась на Ганку с кулаками, но та только взмахнула ведром и окатила ее целым потоком воды.

Захохотали нефтяники, гурьбой стоявшие на улице и слушавшие громкий разговор двух соперниц.

— Славно, Ганка! Купай ее! Пусть поостынет! — кричали одни.

— А ну, Фрузька, хватай ее за косы! Как она смеет у тебя милого отбивать? — подстрекали другие.

Фрузя не помнила себя от стыда и злобы. Она была вся мокрая и тряслась от холода, но гнев взял верх. Она бросилась на Ганку и, схватив ее за косы, начала дергать и бить. Ганка, все еще державшая коромысло с ведрами на плече, мгновение казалась беспомощной, не знала, держать коромысло или за-

щищаться. Но быстро опомнилась, опустила коромысло и свободной рукой ударила Фрузю в грудь с такой силой, что та сразу повалилась и выпустила из рук ее косы.

— Ха, ха, ха! — хохотали нефтяники. — Вот девка, что твой солдат! Так ее!

— Иван! — кричали другие Ивану, который как раз вышел из шинка. — Иди сюда! Погляди на комедию.

— Что там? — спросил Иван.

— Иди, тут две девки из-за тебя друг дружку убивают. Иди, хоть поглядишь! Вот счастливый парень, из-за него девки дерутся.

Иван подошел и сразу понял, что творится.

— Ганка, — сказал он грозно, — что ты делаешь?

— Вот, — закричала Ганка. — Это чучело ко мне лезет. Прицепилась по дороге, да и срамит при всех.

Фрузя, едва дыша, поднялась с земли. У нее ныла от боли грудь, теснило дыхание.

— Иван! — проговорила она.

— Иди ты к черту, — буркнул Иван. — Что ты лезешь ко мне, да еще на улице при всех срамишь? Ступай да переоденься, — ишь, вся мокрая.

— Это я ее окатила, чтоб глотку залить, — издевалась Ганка. — Пускай другой раз знает, как меня задевать.

И, подхватив ведра на коромысло, она убежала. Иван, плюнув со злости, тоже отвернулся и пошел вместе с прочими нефтяниками на работу. Фрузя осталась одна. Она вся дрожала, чувствовала себя слабой, несчастной, покинутой. Зачем ей жить? Ведь теперь ей все ясно, теперь нет никакого сомнения, никакой надежды. Она не помнила, как и когда добралась до своего жилья, сбросила мокрую одежду, переделась, но, вместо того чтобы идти на работу, легла на свой топчан и так лежала и тихо стонала. В доме не было никого. Фрузя ощущала страшную головную боль, страшную усталость во всем теле. Ее жгла жажда, и она с трудом сползла с постели, принесла себе воды, напилась и обмотала голову мокрым полотенцем. Потом легла и заснула.

Вечером, в тот же день, Иван зашел к Кирицкому выпить кружку пива. Ганка поставила перед ним заказанное пиво и отошла, не говоря ни слова. Иван тоже не обращал на нее внимания и, попивая пиво, тихо сидел и не то дремал, не то думал о чем-то. Ганка несколько раз проходила мимо, бросала на него взгляд исподлобья; видно было, что ей хотелось его задеть, но она не задевала. Уже когда Иван заказал вторую кружку, она, ставя кружку на стол, промолвила ядовито, будто нехотя:

— Ну, а где же твоя?

— Какая твоя?

— Ну, твоя невеста?

— Моя невеста? Нет у меня невесты.

— Ври больше! А Фрузька на что? Она уже не то что невестой, а женой держится: «Не смей мне моего Ивана баламутить!»

— Ха, ха, ха! — засмеялся Иван, но делано, как говорится, сквозь зубы.

— Скажи ей, — говорила Ганка быстро, со злобой, — пусть меня не трогает. Я не ее судомойка! Нечего мною командовать. А ежели она меня еще раз зацепит, так и не посмотрю на постную ее рожу, в кровь изобью, зубы вышибу, пусть знает! Понял?

— Да отстань ты от меня! — сказал Иван. — Говори ей сама, что хочешь сказать. Это ваши счета, а мне дайте вздохнуть свободно.

Ганка отошла. Иван сидел и пил пиво. Но вот в шинок ввалилась целая ватага нефтяников. Увидев Ивана, они начали подшучивать над ним:

— А! Иван! Слыхали, бросаешь Борислав?

— Я? И во сне не снилось.

— Женишься на Фрузе, идешь в приймаки?

— Что вы, с ума спятили?

— Да ты, видно, сам с ума спятил, если хочешь вольную бориславскую жизнь променять на воловье ярмо.

— Хлопцы! — крикнул Иван, рассерженный этими словами, и стукнул кружкой об стол. — Сукин сын тот кто мне это говорит!

— Да мы не сами это говорим. Так нам сказывали

девки, которые ночуют с твоей Фрузей. А им она говорила, будто все уже между вами условлено.

— Рехнулась девка, что ли? Что меж нами условлено? Правда, она несколько раз подбивала меня бросить Борислав, а я, лишь бы отвязаться от нее, сказал как-то: «Ну, ладно, ладно, еще недели две обождем, а там посмотрим». Только всего и разговору было.

— Ха, ха, ха! — хохотали нефтяники. — Ловко сказал: «Недели две обождем, а там посмотрим!» То-то и оно! А через две недели будет то же, что и теперь.

— Ну, понятно. Ведь господь бог не сойдет с неба, не сотворит чуда ни для меня, ни для нее. Сами знаете, у меня своего богатства-хозяйства нет, что заработаю, то и имею.

— Ну, Иван, а все ж было когда-то, — намекнул один из тех, кто лучше знал Ивана.

— Э-э-э! То ли было, да с водой уплыло! — сказал Иван, махнув рукой. — Что мне с того, что отец был богач на все село. А что мне оставил?

— Одну оскомину! — крикнул кто-то из компании.

— Правильно! Одну оскомину. А ведь оскоминой никто сыт не будет. Ну, а у Фрузи что есть? Она-то говорит, будто ради меня покинула отца и пришла сюда, но мне ведь лучше известно. Покинула, потому что пришлось, потому что дома тесно, у отца еще две девки, надо их замуж выдавать, а не на что. Всего богатства — две полоски поля да хатенка. Еще с полосой земли кто-нибудь девку возьмет, у кого своей земли хоть малость, да если девка здоровая и работающая. А уже если на трех делить, так никто и смотреть не станет. Да еще ежели девка дохлая, — ни на охоту, ни на работу, вот как эта Фрузя! Ну, какая из нее работница! При достатке, да если ее приодеть, если дышать над ней, как над младенцем, может и была б она на человека похожа, а при бедности, живя своими трудами, взять да жениться на этакой — так лучше камень на шею да в омут с берега.

— Что правда, то правда, — говорили нефтяники, уже не шутя.

В эту минуту из-за большой печи в углу комнаты показалась бледная, вся съежившаяся фигура, которая сидела там уже несколько минут, пробравшись в шинок

черным ходом и никем не замеченная среди гама и пьяного веселья. Это была Фрузя. Она тряслась в лихорадке, ее глаза блестели, губы почти побелели и растрескались от жара. Нетвердым шагом пробравшись сквозь толпу нефтяников, она вышла на середину комнаты и, остановясь перед Иваном, поклонилась ему, коснувшись рукой пола. Все затихли и глядели на нее.

— Спасибо тебе, Иван, — проговорила она, — спасибо, что ты хоть раз сказал открыто и честно все, что думаешь. Теперь я знаю, что меня ожидает. Не бойся, я тебе больше не перейду дороги, не буду докучать тебе, ничем не попрекну. Живи, как знаешь, и бог тебе в помощь.

И она еще раз поклонилась ему. Иван сидел за столом, как на иголках.

— А то, что ты клялся да обещался мне, что возьмешь меня, выкупишь свою землю, станешь снова хозяином, пусть бог это забудет! Я теперь знаю, что ты лгал, но до сих пор верила тебе. Только ты неправду сказал, будто мой отец выгнал меня в Борислав. Это ты лжешь, дружок! Отец даже не знал, куда я делась. Никто не знал. Одна я знала да бог, который подал мне эту мысль, верно за тяжкие грехи. Но когда я услышала, что ты тут болен, лежишь в пустом холодном чулане, что некому тебе за целый день воды подать, тогда словно ударило меня в сердце: «Все же мы любились с тобою. Все же ты мой жених перед богом, хоть и не перед людьми». Я и собралась и пошла сюда. Богу, видно, понадобилось зачем-то мое страданье, раз он мне его отмерил полной мерой. А ты нынче дополнил доверху, перелил через край. Спасибо тебе еще раз. Будь здоров!

И она в третий раз поклонилась ему и вышла.

Нефтяники молчали минуту после этого неожиданного происшествия. Но быстро пришли в себя. Посыпались грубые, циничные шутки:

— Вишь, оса, как жалит!

— Холера — не девка.

— В работе человеку не поможет, а языком и слезами сердце источит.

— Женишься на такой — будет у тебя своя больница дома.

Один Иван молчал и сидел, опустив голову.

Выйдя от Кирницкого, Фрузя, не останавливаясь, побрела по улице, сама не зная куда и зачем. Было холодно, темно, мелкий дождь бил прямо в глаза. Улица, мокрая и грязная, была скорее одной широкой канавой, чем улицей. Фрузя шла, с трудом вытаскивая сапоги из липкой грязи, едва переводя дух. Что-то жгло в груди, но на глазах не было слез, а в голове мыслей. Только неясное, но непобедимое чувство: прочь отсюда! бежать! скрыться! — гнало ее вперед. Скрыться, но где? От кого? Она не понимала, что ей хотелось скрыться от самой себя, от собственной боли.

Не прошла она и ста шагов, как рядом с ней неизвестно откуда появилась Ганка. Откуда она взялась? Должно быть, услышав Фрузины слова и видя, что она вышла из шинка, Ганка тихонько оделась и незаметно выбежала ей вдогонку. Она так неожиданно очутилась рядом с Фрузей, что та даже испугалась, увидев ее, вскрикнула и перекрестилась.

Ганка засмеялась тихо.

— Испугалась? — сказала она. — Не бойся, это я, Ганка.

— Чего ты хочешь от меня? — едва проговорила Фрузя.

— Ничего. Иду по улице. Нельзя идти рядом с тобой, что ли?

— Но тебе сюда не по дороге!

— И тебе тоже. К себе на квартиру ты должна идти в другую сторону.

— Мне все равно, — сказала Фрузя.

— Ну, а мне туда нужно, — проговорила Ганка.

Минуту обе шли молча. Вокруг было пусто, только из шинков доносились крик и песни, да черный великан Дил шумел и стонал от осенней непогоды.

— Ну что, щелкнул тебя по носу твой Иван? — сказала Ганка злобно.

— А ты и рада!

— Я? Мне все равно. Я это давно знала.

— Что знала?

— То, что услышала теперь. Что Иван не любит тебя,

что он обманывает тебя и не думает на тебе жениться.

— Он сам тебе говорил?

— А кто же другой?

— Значит, он любит тебя?

— Меня? Откуда я знаю? Мне все равно.

— А почему же ты бегаешь за ним, пристаешь к нему, как репей к кожуху?

— Ха, ха, ха! И во сне мне это не снилось. Он сам увивается за мной, говорит мне всякую всячину, но я понимаю все очень хорошо.

— Понимаете вы друг друга, как лошади, — с презрением сказала Фрузя.

— Это и лучше. Я знаю: если он увивается за мной, — значит, видит в этом свою пользу, а он знает, что если я на него зубы точу, так не от большой любви, а тоже ради своей пользы.

— Тьфу! — с негодованием сплюнула Фрузя.

— Плюй, не плюй, а я скажу — так лучше. Ты от большой любви дошла до того, что теперь куда-то бежишь сломя голову, а я сыта, здорова и всем довольна. И ему от этого тоже неплохо.

— Ему?

— Понятно. Сама видишь, со мной он веселый, разговаривает, шутит, поет, а с тобой киснет да сердится.

— Ты приворожила его. Дала ему зелья.

— Нет, милая! Не я приворожила, а ты глупа, ума у тебя нет! Вот что! Не умеешь с парнями водиться. Ты прицепилась к одному и думаешь, — только и свету, что в окошке. Ха, ха, ха! Знала бы ты, как другие живут! Как поступают! Чтоб я сохла по нем да плакала? Не дождетя он того! Пусть он по мне сохнет!

— А если я не могу!

— А не можешь, — сама на себя пеняй, а не говори, что я приворожила. К чему мне ворожба? Он и без ворожбы нынче ночью будет спать у меня.

Фрузя при этих словах даже не вскрикнула, только схватилась за сердце, покачнулась и упала б, если бы Ганка не подхватила ее в свои объятия.

— Что ты? — вскрикнула она в первое мгновение. — Фрузя! Фрузя!

Но Фрузя не отвечала. Ее голова повисла на руке Ганки; Фрузя была, как мертвая.

— Вот тебе на! — пробормотала Ганка, держа потерявшую сознание девушку на своих руках, точно вязку соломы. — Без памяти или вовсе померла?

Она наклонила голову и прислушалась:

— Не дышит, бедняжка! Что тут делать с ней? Крикнуть? Может, кто придет, пособит привести ее в себя?

И Ганка огляделась. Было темно, хоть глаз выколи. Они свернули в какую-то боковую улицу. Вокруг не было ни домов, ни шинков, ни даже сараев — одни высокие холмы глины с обеих сторон. Присмотревшись, Ганка узнала, где они. Это было место, где когда-то начали копать первые колодцы. Но, вычерпав всю нефть, забросили их; работы были перенесены в другой угол, а тут остались лишь груды глины и пустые колодцы, — одни прикрытые досками, другие так и брошенные или залитые водой.

— И какой черт услышит меня тут на ветру? — бормотала Ганка, все еще держа Фрузю на руках. — Да и что я, с ума сошла, приводить ее в чувство? Брошу тут посреди дороги, пусть сама очухается! Ишь какая шустрая! «Судомойка!» — говорит мне. За косы хватает! Ах ты, дохлятина! Я тебе покажу, с кем ты связалась.

Бешеная злоба закипела в Ганкином сердце. Она еще раз оглянулась, прислушалась и, не видя никого, как собака бросилась в сторону от дороги, взобралась на груды глины, все еще с бесчувственной Фрузей на руках, потом еще раз оглянулась; осторожно спустилась в воронкообразную впадину, центром которой был колодец. Нащупывая землю ногой, она дошла до сруба. Колодец был забит двумя досками, но одну кто-то отломал. Ганка нащупала руками отверстие, дернула сильно вторую, давно сгнившую доску, прибитую к срубу двумя гвоздями, оторвала ее, а потом, как следует упершись ногами, наклонилась над срубом и тихонько опустила потерявшую сознание Фрузю вниз головой в темную пасть колодца. Колодец почти до самого верху был полон воды, так что Фрузя без всплеска, тихо, не вскрикнув, как комочек глины, пошла на дно.

— И где ты, Ганка, шляешься столько времени? — бранилась пани Кирницкая, когда Ганка через полчаса вся мокрая, забрызганная грязью и бледная, как мертвец, вошла в кухню.

— Где шляюсь? Ходила по воду.

— Врешь, ведра в сенях были.

Ганка не пробовала больше врать, но выбежала на кухню, подхватила ведра и побежала за водой. Хозяйка еще немного поворчала и перестала сердиться. Какое ей дело, где пропадает Ганка! Она знала, что так или иначе, а прислуге в Бориславе шляться не запретишь.

Было уже за полночь, когда нефтяники, пьяные и веселые, выходили от Кирницкого. Они шли рядом посреди улицы, смеясь, громко разговаривая, горланя песни. Только Иван был будто сам не свой. Он мало пил в этот вечер, сидел, как сыч, словно думая о чем-то, а на самом деле ничего не соображая. В его сердце поднималось нечто, похожее на тоску по растроченным напрасно молодым годам, по брошенной родной земле, которую он промотал, испробовав ленивой бориславской жизни. Фрузины слова дрожали в его сердце тяжким укором и отбивали охоту есть, пить, шутить, петь.

— Ивану все не по вкусу сегодня, — смеялись над ним товарищи и вскоре бросили его.

Теперь он один, будто в беспамятстве, шел позади всех, как вдруг Ганка схватила его за руку. Иван даже вздрогнул, тем более что впотьмах не мог разглядеть, кто это привязался к нему.

— Ой! Кто это? — вскрикнул он.

— Это я, Иван! — прошептала Ганка.

— Ты? Что тебе нужно?

— Ты сердишься на меня?

— Я на тебя? За что?

— Ей-богу, я ни в чем не виновата, — быстро, с какой-то лихорадочной поспешностью шептала Ганка, не выпуская его руки из своей. — На что мне задевать ее? Она сама задела меня, начала ссору, а потом бросилась на меня. Ну скажи, что мне было делать?

— Разве я тебе что говорю! — невесело ответил Иван.

— Иваночко, — говорила Ганка быстро, задыхаясь, — какой ты добрый! Так ты не сердись? А что ж ты такой грустный? И в шинке сидел сам не свой? Ну, скажи мне.

Она шла рядом с ним, не выпуская его руки из своей, прижимаясь к нему, будто страшась одиночества и темноты.

— Э, что там говорить! — ответил Иван и хотел отнять руку.

— Нет, нет! погоди! Куда идешь? — говорила Ганка.

— Иду к себе, спать.

— Идем ко мне. У меня тебе будет лучше.

— Не хочу.

— Да идем! Не бойся, у меня можно.

— Не хочу.

Иван однажды уже ночевал у Ганки. Она спала отдельно, в клетке, служившей Кирницкому складом для товаров. Там, среди тюков и мешков, стоял широкий топчан; у Ганки было две собственных подушки и теплое одеяло, и хотя клетка не отапливалась, все же там было теплее, чем в бараке, где ночевал Иван с другими нефтяниками. Но теперь, сегодня, ему почему-то не хотелось идти к Ганке. Худое, бледное лицо Фрузи как бы стояло перед ним, ее глаза, казалось, умоляли его, жаловались на что-то.

Но Ганка не выпускала его руки, другою рукою обнимала его за талию, тащила, упрасивала и умоляла, чтоб шел с ней.

— Иваночко, голубчик! Сделай это для меня сегодня! Не знаю, что со мной, но боюсь, страшно боюсь одна остаться! Нет, я не отпущу тебя, не останусь одна! Идем!

Она дрожала, как в лихорадке, при мысли, что может остаться одна.

— Тьфу! — сказал Иван. — Да что ты, дитя малое, что ли! Боишься одна спать? Вот еще!

— Ой, боюсь! Ой, боюсь! Ни за что на свете в эту ночь не останусь одна. Бей меня, режь, а я не отстану.

Не хочешь ко мне идти, я пойду с тобой туда, где ты почувешь.

— Ты с ума сошла? Там хлопцев полно.

— А мне-то что! Я их не боюсь, только одна быть боюсь... потемок боюсь... той боюсь...

— Кого?

— Той... Твоей... Как она кланялась тебе! Ты видел ее лицо, когда она выходила из шинка?

Упоминание о Фрузе в Ганкиных устах поразило Ивана прямо в сердце, словно грубое прикосновение к самому больному месту.

— Оставь меня в покое! Не напоминай про нее! — говорил он и, поддаваясь ее уговорам, пошел с ней в ее каморку. Ганка не то вела, не то тащила его, не отпуская, без умолку говорила и тряслась.

— Да что с тобою, девка? — наконец, сказал Иван. — Промокла ты, простудилась? Знобит тебя, что ли, или ты вовсе расхворалась? Трепещешь, как рыба, руки холодные, как лед, а голова горячая и говоришь, будто сама не своя.

— Это ничего, Иваночко, ничего! Пойдем ляжем, выспимся — все и пройдет.

Но оно не прошло так быстро, как хотелось Ганке. Напрасно она прижималась к Ивану. Как только он засыпал, ей становилось страшно, и она будила его.

— Иваночко, не спи! Говори со мной! — шептала она, плотно закрывая глаза, чтоб не видеть грозного мрака.

— С ума ты сошла? — бранился Иван. — Я устал, хочу спать. О чем я буду говорить с тобой?

— О чем-нибудь! О чем-нибудь! Только не спи! Мне так страшно.

— Почему тебе страшно?

— Не знаю, почему! Боюсь... не знаю, почему. Не могу заснуть.

Она расплакалась. Ей хотелось все рассказать Ивану, но что-то останавливало ее, и она стискивала зубы, до крови кусала губы и не сказала ничего. Только под утро, когда на дворе начало светать, она заснула.

Прошло несколько дней. Иван работал, пил, пел в шинке, ночевал у Ганки, не думая о Фрузе. Ганка успокоилась и не боялась уже ночи, но не решалась спать одна и потому каждый вечер всячески подлаживалась к Ивану, чтобы затащить его к себе на ночь. Иван, который прежде сам не раз напрашивался к ней, теперь ходил к Ганке неохотно, чувствовал какое-то отвращение к ней. Он злился, когда она прижималась к нему, ругал, когда она начинала дразнить его или ласкаться, и с отвращением отодвигался, когда она засыпала рядом. Но скоро эти ночевки еще более опротивели ему. Ганка засыпала быстро, но ночью начинала стонать, охать или вскрикивать так страшно, что Иван просыпался, ощущая какую-то глухую тревогу.

«Что ей такое снится? Отчего она так кричит?» — думал он, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию после вскриков. Но она спала затем спокойно, пока Иван, промучившись с полчаса, снова не начинал дремать, а тогда над ухом у него снова раздавался страшный крик и будил его снова.

— Ганка, какой дьявол мучает тебя во сне, что ты так страшно кричишь?

— Я? — говорила, содрогаясь, Ганка и стискивала зубы. — Я ничего не знаю.

— Ну так пусть в другой раз пес у тебя ночует, а не я, — ворчал он сердито. — Крикнешь вот так не своим голосом и сразу отобьешь у меня сон.

Ганка хохотала:

— Ха, ха, ха! Не своим голосом. Ну-ну-ну, Иванюня, ну, скажи, как я кричу?

— Так, будто с тебя шкуру дерут.

— Ну, а что говорю?

— Разве можно разобрать? Ревешь, как скотина.

— Это у меня всегда было.

— Ну, врешь. Я прежде не слыхал, чтоб ты так кричала.

— Да это так, временами находит на меня, а потом ничего. Ты не бойся, Иваночко, это пройдет.

— Пройдет или не пройдет, только ты меня больше не заманишь на ночь в свою проклятую кладовку!

— Ну, видишь, ты уже сердисься. Фу, Иван! — говорила Ганка, а вечером снова подлаживалась к нему, просила, покупала ему пива и водки, пока опьяневший Иван не соглашался снова идти ночевать к ней. Напившись сильно, он спал лучше, и ее вскрики не будили его. Поэтому Ганка взяла за обычай каждый вечер напавать его допьяна и даже с собой в клеть брала бутылку водки и клала ее Ивану под подушку. Проснувшись, ему довольно сунуть руку под подушку, выпить — и ничего, заснет снова. Правда, после такой ночи Иван вставал бледный, почти зеленый, с головной болью, но Ганке было все равно, да и ему самому некогда было смотреться в зеркало; понутив голову, он шел на работу. Только одно заметно было: он стал грустный, его веселость пропала, ему было не до песен и шуток.

— Ой, Иван, тебе словно не по себе, — говорили товарищи.

— Да, вроде того, — печально отвечал Иван.

— Что с тобой? Не болен ли?

— Как будто нет. По утрам голова болит, да это, верно, от водки.

— Э, нет, от одной водки не станет болеть. А вот что ты водку мешаешь с пивом — это плохо. От этого скорей всего голова болит.

— И правда, может, от этого. Больше не буду смешивать.

VIII

Однажды в полдень, когда Ивана вытащили из колодца и он, едва живой от угара, лежал в сарае на груде глины, тяжело дышал и время от времени подкреплялся стаканчиком водки, в сарай вошла бабка Орина — та работница, которая ночевала вместе с Фрузей и днем будто дремала, а оживала ночью, во сне. Она знала Фрузину историю, знала Ивана и поэтому, поздоровавшись с рабочими, направилась прямо к нему.

— Слушай, Иван, — сказала она. — Ты не знаешь, куда девалась твоя Фрузя?

— Моя? — буркнул Иван. — Какая она моя?

— Да уж какая ни на есть. Верно, больше твоя, чем моя. Так вот я хотела спросить тебя, где она?

— Разве я хожу за ней следом?

— Э, какой ты! Я тебя спрашиваю по-хорошему... Ты бы должен старухе вежливо ответить, еще и водочкой угостить старую...

Иван, не говоря ни слова, налил рюмку и подал бабке. Она выпила, скривила дряблые губы, утерлась грязным рукавом и, подсев поближе к Ивану, сказала тихо:

— Вот за это спасибо! В самую душу пошло. Да, что я хотела сказать... Ага, о Фрузе. Знаешь, уже две недели, как она не ночует у нас. Я подумала, может, вы устроились где-нибудь вместе, да и хотела передать ей, чтоб взяла свои тряпки. Там у нее сундучок с тряпьем, заперт, не бойся, никто ничего не тронул, упаси боже! Пусть придет и возьмет.

Иван сидел, как оглушенный. Нефтяной ли угар в колодце так ошеломил его, или утренняя головная боль, или услышанное от старухи, но сейчас он, казалось, ничего не понимал и слушал болтовню старухи, будто сказку.

— Ага, ага! — пробормотал он, кивая головой. — Верно, пусть возьмет. Только где ж она?

— А ты не знаешь?

— Я не видел ее уже две недели.

— И не знаешь, куда она ушла?

— Куда ушла? Стойте! Это было вечером... у Кирницкого... мы малость поспорили... она ушла, и я уже больше не видел ее.

— А когда же это было?

Иван не мог вспомнить — когда.

— Ну, раз вы поспорили, так, может, она рассердилась и где-нибудь в другом месте стала на работу, чтоб тебе не показываться на глаза. В другом месте и ночует, чтобы ты не знал, где она. Но ты бы, милый, поискал ее, а то сторож, у которого мы ночуем, платы требует. Мы ведь за нее платить не будем. Так как бы он не продал за долги ее тряпья.

— Ладно, ладно, я спрошу... Наведаюсь потом к вам.

Старуха ушла, а Иван еще долго сидел, не то размы-

шляя о чем-то , не то просто в забытьи. Потом взялся за еду — скоро надо было снова лезть в колодец.

Вечером Иван спросил Ганку, не знает ли она, куда делась Фрузя. Ганка уставилась на него своими выпученными глазами, побледнела страшно и, точно давясь словами, пробормотала:

— Нет, не знаю.

Иван ее не спрашивал больше, пробовал разведать у нефтяников, но расспросы не привели ни к чему. С того дня, как Фрузя подралась с Ганкой на улице, Фрузи никто больше не видел. Мысль об этом колола Ивана. Именно в тот день, вечером, он «поспорил» с Фрузей в кабаке.

Он еще раз спросил Ганку:

— Слышишь. Ганка, ты ругалась с Фрузей на улице, помнишь?

— Ну да. Она первая привязалась ко мне.

— Вечером в тот день она была у Кирницкого.

— Я не видела ее.

— Не видела? Ой, не ври!

Ганка снова побледнела, но быстро овладела собой:

— Что ты пристал?

— Да вот видишь, девчонка куда-то пропала с того самого вечера.

— А ты без нее дышать не можешь?

— Какое мне дело до нее! Но...

— Ну, пропала, и слава богу! Не бойся, черт ее не возьмет. Увидала, что тебе на шею не повиснешь, и пошла себе домой

— А все свои вещи оставила.

— Ну так что ж! Сколько у нее вещей-то! Вся им цена полторы шистки.

— Э, нет, там платья ее.

— Ну, тогда объявится.

Иван успокоился немного. И правда, вполне возможно, что Фрузя, расстроенная в тот вечер, уйдя от Кирницкого, бросила Борислав и ушла домой. Он не расспрашивал больше о ней, а в воскресенье пошел к сторожу, на ее квартиру, и, заплатив, что следовало, взял Фрузины вещи к себе. Он решил на рождество сходить в родное село и отнести ей вещи. Не то чтоб ему хотелось

повидать ее или жениться на ней, но за эти дни, расспрашивая про нее, он начал ощущать какую-то тоску и беспокойство, будто и в самом деле был в чем-то виноват. Бориславская жизнь быстро заглушила этот минутный порыв. Ни Ганка, никто другой больше не вспоминали о Фрузе, и Иван тоже забыл про нее. Однако что-то, казалось, беспокоило его. Он ходил словно сам не свой, потерял охоту к выпивке, гульбе и песням и — неслыханное дело для нефтяника — начал беречь деньги. В первую неделю он истратил только половину своего заработка; целая пятерка осталась у него в кармане. Она, словно червь, начала беспокоить и точить его. Нося эту пятерку при себе, завязанную в тряпице, он начал строить планы. Бориславское житье, правда, свободное, но разве это человеческая, хозяйская жизнь? Да и какая тут свобода? Только и есть той свободы, что в воскресенье да в праздник. А в будни ты рабочий вол, — нет, хуже! Ты полный раб хозяина колодца или его приказчика. Под землей ты каждую минуту опасешься за свою жизнь, а наверху каждую минуту ждет тебя брань, толчки, понуканье. И вечно смрад, грязь, духота, пьянство до одури. Неужели так и пройдет его жизнь до самой смерти, до старости? У него пробежала холодная дрожь по спине при этой мысли. Ему вспомнились зеленые поля, пестрые луга, серые волы, чисто выбеленные хатки и привольные сады его родного села; он услышал бляенье овец, шипенье гусят, скрип колодезного журавля и едва не заплакал от волнения. Неужели он мог с легким сердцем променять такой рай на этот ад? И прошли в его воображении длинной чередой сцены сельской жизни: покрикивают пахари, скрипят телеги, нагруженные снопами, блестят косы на лугу, и с легким шелестом стелется рядами росистая трава; семья садится ужинать в святой вечер на пахучем сене; раздаются выстрелы, веселые возгласы «Христос воскрес!», церковные песнопенья... «Пасха красная, пасха господняя!» — это куличи святят у церкви, детвора катает крашенки, парни столпились и глядят, как стреляют из глиняных пушек.

И непосредственно от этих воспоминаний он перешел к мыслям о Фрузе. Ведь она тоже была отрадой и

украшением его деревенской жизни. Ведь если скрип журавля над колодцем так сладко оживает теперь в его памяти, — это потому, что под таким журавлем стояли они с нею по вечерам, сначала пересмеиваясь и поддразнивая друг друга, а потом тихо, любовно беседуя. А в сенокос, неся отцу завтрак, разве она не выискивала самую дальнюю тропинку, лишь бы пройти по лугу, где косил Иван, лишь бы сказать ему своим милым голосом: «Бог в помощь», лишь бы подать ему из серого глиняного кувшина холодной воды напиться! А когда колядовали... а на пасху... а тогда... а тогда... Неугомонная память приводила ему сотни, тысячи минут, когда Фрузя была неотъемлемой частью радостей его сельской жизни, и его сердце ныло, в нем шевелилась тоска, поднималась печаль. Фрузя была права. Он должен как можно скорее бросить Борислав и вернуться назад, в село! Правда, он в несчастном ослеплении растратил свое имущество, промотал свой тихий рай, оттолкнул от себя Фрузю. Но ведь он молод, силен, здоров, и все еще можно вернуть. Вот теперь он за неделю скопил пятерку. Но мог скопить и восемь гульденов! А ведь это в год целых четыре сотни. А за четыре сотни можно купить четыре морга земли! И он решил, не говоря никому ни слова, начать новую жизнь, не тратить денег, а откладывать заработанное, а там видно будет.

IX

На рождество Иван и в самом деле выбрался в родное село. Он нес за пазухой пятьдесят гульденов, завязанных в тряпицу, а в голове готовый план — выкупить хоть часть своей земли.

Зашел прямо к корчмарю, которому когда-то продал отцовскую хату с огородом, садом и тремя моргами прилегающей земли. Корчмарь купил это не для того, чтобы хозяйничать, у него была мысль завести в хате шинок и при этом заняться ростовщичеством и другим ремеслом. Но это ему все как-то не удавалось. В селе уже было четыре шинка, и на пятый нельзя было получить разрешения. С ростовщичеством также выходило

неважно — уже было несколько других пивов, которые «портили интерес». Вдобавок корчмаря обокрали, так что он вместо того, чтобы разбогатеть, вовсе обеднел, приобретя Иванову землю и хату. «Несчастливое место», — говорил он и носился с мыслью перепродать это место и перебраться на какое-нибудь другое. Понятно, что Иван со своим планом выкупа отцовской земли был для него очень приятным гостем, тем более что пришел не с пустыми руками. Они и договорились, что Иван за всю усадьбу, проданную корчмарю за триста гульденов, заплатит четыреста гульденов в течение ближайших полутора лет, и, пока не заплатит всего, корчмарь будет сидеть на его земле. Иван на другой день поехал с корчмарем в город, они заключили договор у нотариуса, и Иван тут же сделал корчмарю первый взнос, пятьдесят гульденов, и только тогда вздохнул свободнее. У него теперь была цель впереди, и он охотнее работал, чувствовал в себе какую-то новую силу.

О Фрузе он в эти дни мало думал. От корчмаря он узнал, что в деревне ее нет и не было и что ее отец, доведавшись недавно, что ее нет и в Бориславе, ходил в полицию, просил разыскать Фрузю, но до сих пор не получил никакого ответа. Ивану это было неприятно, ему не хотелось встречаться со стариком, и он, не возвращаясь в свое село, прямо из города направился назад в Борислав, через кого-то передав старику Фрузины платя.

Х

Шли дни за днями, недели за неделями. Полицейские расспрашивали про Фрузю и Ивана, и Ганку, и других рабочих и работниц, вывели все, что было, вплоть до памятного вечера, но больше не могли узнать ничего, и через несколько дней все затихло. Неизвестно, кто пустил слух, будто Фрузя поступила где-то на работу: одни видели ее в городе, другие слышали, что она где-то в горах, в какой-то немецкой колонии, а третьи говорили, что она уехала с какими-то господами в Стрый или Станислав. На этом все и успокоилось.

С Ганкой Иван разошелся еще перед рождеством. Не то чтобы поссорились, но она как-то опротивела ему, стала неприятной, и он не мог ее видеть. Сперва ей было все равно. Вот еще, не хочет ее Иван — не велика беда! Меньше хлопот. Одна жила, обходилась без него, и дальше обойдется. Но за несколько недель она побледнела, пожелтела, осунулась. Снова на нее напали страхи, она не могла одна спать, вскакивала ночью и кричала. Наконец, однажды она попросила бабушку Орину, ту самую, которая жила вместе с Фрузей, чтобы та сняла с нее испуг. Старуха считалась ворожеей и знахаркой. Она согласилась сделать это и осторожно стала выпытывать у Ганки, с каких пор у нее такой испуг, почему да отчего? Ганка сразу призналась, что с Покрова (в ту пору исчезла Фрузя), но больше ничего не хотела сказать. Старуха начала шептать над водой, расплавила кусок олова и вылила над Ганкиной головой в миску с водой, а потом, взглянув в миску, вскрикнула:

— Ой, девонька! Несчастливая ты, сирота! Ничто тебе не поможет!

Ганка окаменела от ужаса.

— Что такое?

— Смотри, милая! Олово разбежалось по воде мелкими каплями.

— А что ж это значит?

— Эх, что там говорить! Лучше не говорить, не годится и вспоминать об этом.

Ганка не допытывалась больше, а старуха не уходила и все всматривалась в миску с водой и брызгами олова, покачивала головой и шевелила дряблыми губами, будто безмолвно разговаривала с кем-то. Глядя на нее, Ганка ощутила в сердце холодный ужас; ей казалось, что старуха разговаривает с каким-то призраком, заглядывает ей в душу своими полуугасшими глазами и читает там ее страшную тайну. Она выхватила у бабушки миску с водой и выбросила в окно на помойку. Бабушка спокойно смотрела на Ганку и усмехалась так же безмолвно.

— Неладно с тобой, девонька, неладно! — заговорила она. — Это у тебя не испуг, милая, ой, нет!

— А что ж такое?

— Что-то у тебя на сердце лежит, девонька. Ой, лежит, лежит. Я уж знаю. И не будет тебе легче, пока не признаешься.

Ганка вспыхнула.

— Что вы, бабка, толкуете! В чем мне признаваться? Что я, убила кого-нибудь или обокрала, что ли?

— Откуда мне знать, — сказала старуха, пожимая плечами. — Не мое дело, сирота, не мое дело. Я тебе не по своему разумению говорю: водица святая показывает. А ты как знаешь, так и поступай.

Старуха собралась уходить. Ганка чувствовала, что теперь, после воровбы, ее тревога еще увеличилась и что теперь она ни за что не заснет одна. И она решила попросить бабку перебраться к ней (у Ганки уже была своя отдельная каморка с печью и топчаном) и ночевать у неё. Старуха сначала отказывалась, но Ганка не уступала, и в конце концов старуха согласилась в тот же самый день перебраться к Ганке.

XI

Не иначе — околдовали Ивана. И не узнать человека. Ни слова, ни полслова. Живет, как медведь в берлоге, в шинок не ходит, пить не пьет, все о чем-то думает, что-то шепчет, а скупой стал! Для самого себя жалеет. Живет, как собака, не водится ни с кем, сам в себя ушел, как улитка в скорлупу. Прежде любил погулять, попеть, от девок не бегал, а теперь — ни-ни! Не иначе — околдовали Ивана.

Так толковали между собой нефтяники. Уж они и так и сяк подступали к Ивану, и открыто, и с насмешками, и с шутками — все равно ничто не помогало.

— Оставьте меня в покое! Что вы знаете! У вас свое в голове, у меня свое, — другого ответа от него не слышали.

И отходили, пожимая плечами. Одни говорили, что он задумал жениться, другие, что продал душу нечистому, а теперь кается, но Ивану все было безразлично.

Наконец, каким-то образом дознались, что он задумал выкупить отцовскую землю. Сам Иван никому не говорил

об этом, но кто-то из его краев принес это известие в Борислав.

— Ага! Вот зачем он деньги откладывает! Ну, погоди! А от нас таится, будто бог весть с каким секретом!

Через несколько дней над Иваном «подшутили»: у него ночью украли деньги. Немного денег было, всего около восьми гульденов, а все-таки жаль. Иван поднял шум, но деньги пропали.

— Иванюня, слышал, вас обокрали, — сказал ему приказчик.

— Да, — буркнул Иван.

— Слышал, что вы откладываете деньги, хотите купить землицы? — продолжал приказчик.

— Да, хочу.

— Отлично! Дай вам бог! Я вижу, вы порядочный человек. Деньги — большое дело. Заработать их трудно, а спустить легко. А зарабатывать для того, чтобы пускать деньги на ветер, — напрасный труд. Все равно, что свою жизнь, свои силы пускать на ветер. Зачем? Придет старость, придет болезнь, — деньги понадобятся.

Дельно говорил приказчик, сердечный был человек, и Иван под конец доверил ему свои мечты. Приказчик хвалил его очень, а потом сказал:

— Я вам что-то скажу, Иванюня. Зачем вам носить деньги при себе, чтобы у вас пьяницы их выкрадывали? Оставляйте их у меня. Заведите себе книжечку. При каждой выплате я вам дам, сколько вам нужно, а остаток держите в кассе: я запишу у себя, а вы у себя, чтобы не было ошибки, а когда вам надо будет платить за землю, я вам сейчас же дам. Будьте спокойны, никто не украдет.

Иван сперва раздумывал. Хотя приказчик дельно говорит, но верить ему нельзя. Но, с другой стороны, выхода нет. Один раз украли деньги, украдут и второй раз. Лучше сделать так, как советовал приказчик. И Иван согласился.

Упаси боже, он не мог жаловаться. Едва набралось пятьдесят гульденов, он сейчас же взял их, а приказчик еще и посоветовал ему послать деньги почтовым переводом нотариусу, у которого заключали договор.

Иван был доволен собой и приказчиком, был почти уверен, что все пойдет по-хорошему. Еще только заговенье, а он уже уплатил четвертую часть!

Он жил теперь почти исключительно мыслями о своем селе. Работал ли Иван на воротах, или копал землю в глубоком колодце, или в темной штольне — мечтой он купался в светлых солнечных лучах, пахал, косил, возил снопы, молотил на току, чувствовал себя хозяином. Бориславская жизнь казалась ему темными сенями, из которых вот-вот он выйдет на широкий светлый двор, где зеленеет пахучая мурава, цветут яблони, шипят гусята и блеют овцы.

XII

На первой неделе великого поста приехал в Борислав Фрузин отец. Он узнал, где работает Иван, и пошел к нему.

— Иван, где моя дочка? — с такими словами обратился он к нему. Он очень изменился с того времени, как Иван видел его, осунулся, поседел. Ивану стало жаль старика.

— Не знаю, — ответил он.

— Не знаешь? Должен знать. Ты подговорил ее идти с тобой в Борислав, ты должен знать, где она.

— Пока была в Бориславе, я и знал, а как ушла, — не знаю.

— Куда ушла?

— Не знаю, куда. Думал, ушла к вам. А может, нанялась на работу в другом месте?

— Нигде не нанималась. Я уже узнавал. Полиция искала, посылали депешу в Стрый и в Станислав. В Дрогобыче я давал объявление. Нигде нет ее. Теперь явился к тебе: отдай мне мое дитя.

— Я ее не прятал, — спокойно ответил Иван.

— В могилу ты ее упрятал! — грозно закричал отец. — Ты убил ее. Она, говорят, ждала ребенка от тебя. Ты хстел от нее избавиться. Ты убил ее!

— Бог свидетель, нет, — сказал Иван и побелел, как стена.

— Хоть тысячу чертей в свидетели поставь, а я тебе не поверю.

— Поступайте, как хотите. Хоть вешайте, а я вам одно скажу: не знаю, куда она делась.

Старик понемногу смягчался, стал плакать и хвататься за голову. Собрались нефтяники, приказчики, начали утешать его.

Ему рассказывали о том вечере у Кирицкого, когда в последний раз видели Фрузю, о ее размолвке с Иваном, о том, как она прямо из шинка пошла куда-то и как Иван долго еще, до самой полуночи, сидел в шинке. Приказчик хвалил Ивана, как хорошего работника, который не пьет, не мотает денег, и старик в конце концов сам не знал, что и думать. Он в Дрогобыче добивался в полиции, чтобы немедленно арестовали Ивана, но теперь начал думать иначе. Нетрудно арестовать парня, но будет ли это справедливо? Вдруг Фрузя, рассердившись, действительно ушла куда-нибудь в горы, подрядилась там, не дает о себе знать нарочно, потому, что стыдится. Все может быть, вот и полицейские говорили ему, чтоб не терял надежды. Заподозрить кого-нибудь в убийстве — не шутка. Другое дело, если б отыскался хоть какой-нибудь след того, что Фрузю на самом деле убили. Но такого следа до сих пор не было.

С этим отец Фрузи и поехал домой, всецело положившись на бога.

ХІІІ

Прошла пасха. Потеплело. В долинах цвела, благоухала, красовалась весна, хотя Дил еще дышал холодом. Борислав казался бездонной ямой, полной жидкой глины, взбаламученной грязи, смешанной с нефтью; он казался озером нечистот и смрада посреди зеленого Подгорья.

Была суббота. Солнце смеялось на чистом, безоблачном небе. По сухим, пустынным лужкам, между Бориславом и Котовской Баней, шли по тропинке два приказчика в праздничных бекешах и куньих шапках и разговаривали.

— Заботу имею, Мендель, такую заботу, прямо мозг сохнет в голове, — говорил один приказчик.

— Из-за того человека, который упал в колодец?

— И это тоже. Черт его понес, пьяного, в сарай! Черт его дернул сесть над колодцем! И черт его толкнул туда!

— Была комиссия?

— Была.

— Ну, и что же?

— Назначили мне двадцать гульденов штрафа.

— За что, Хаим, за что?

— За неосторожность. Я неосторожен! Я недоглядел! Слышал ты такое? Я должен был ходить за ним, как за малым ребенком. Еще хорошо кончилось. Хорошо, — другие подтвердили, что он сам полез в колодец и сам упал. Не будь свидетелей, адъюнкт² сказал бы, что нарочно бросили его в колодец.

— Строгий адъюнкт?

— Такой пуриц* строгий, упаси боже! Уже хотел закрыть колодец и арестовать кого-то.

— Это тот новый пуриц?

— Новый. Уж я дрожал, Мендель, так дрожал! И богу молился, чтоб избавил меня от этой напасти!

— Ох-ох! Бог милостив, Хаим! Зачем ему псылать такую напасть на невинного человека?

— Ох, не говори так, Мендель! Бога не разберешь. За что он послал мне такой убыток? Ты слышал? У меня на складе самое меньшее на пятьдесят гульденов! А кто виноват? Неизвестно. А кто должен платить? Хаим!

— Нет, я ничего не слыхал. Что случилось?

— А чтоб у него кишки лопнули, у хозяина! Купил два новых троса и передал мне на склад вместе с другими вещами. Ну, я положил их на место. И черт его знал, что там, на той же самой полке, стояла бутылка с серной кислотой. Знаешь, серная кислота нужна для очистки воска... Так я ббльшую часть из бутылки выдал, а остаток хранился на складе. Немного ее и было, — две мерки

* Пуриц — барин (еврейск.)

всего, и того меньше. Стоит себе бутыль, заткнута стеклянной пробкой, на черта она нужна. Один раз понадобился трос для колодца. Я иду на склад, беру трос с полки и как-то недоглядел, зацепил рукавом эту бутыль. Она и упала. Ой, я перепугался! Хвать бутыль голой рукой — два пальца обжег! Ну, пока я ставил бутыль на место, пробка выскочила, и малость этой чертовой кислоты, может две-три капельки, брызнуло на трос. Поднял я пробку, заткнул бутыль и поставил в угол. А пальцы у меня печет, как огнем. Я сейчас же обложил их мокрой глиной, завязал платком. Несу трос во двор, смотрю, а в том месте, где брызнула кислота, точно кто ножом мой трос перерезал! Так в руках у меня целый круг и распался надвое.

— Ай-ай! — вскрикнул Мендель.

— Чтоб я так жил! Уж никому и не говорю ничего. Придется самому заплатить за трос — и все.

Мендель причмокивал и охал, высказывая Хаиму свое сочувствие. Когда добрались до Борислава, он нарочно зашел с Хаимом в склад посмотреть на пережженный кислотой трос. Он долго смотрел на него, причмокивал и качал головой, а когда Хаим отвернулся, он в маленький пузырек отлил себе из бутылки несколько капель серной кислоты — немного, всего с наперсток. Хаим не видел этого. Они вышли из склада. Хаим запер дверь на засов, и оба приятеля, пожелав друг другу счастливой субботы, разошлись.

XIV

Прошло еще несколько месяцев. Вокруг Борислава уже началась жатва. Стояла летняя жара. Иван жил все время, как в лихорадке. С каждым днем ему становилось все тяжелее в Бориславе. Земля горела под ним. Его душило что-то, толкало, гнало прочь из Борислава. Он думал лишь о том, как бы поскорее вырваться отсюда. Мысль, что ему надо еще работать под землей до осени, а то и до зимы, чтобы выплатить корчмарю весь долг, наполняла его каким-то диким страхом. «Нет, я не выдержу!» — повторял он не раз и считал дни и часы.

У него уже было отложено новых двести гульденов; они лежали у приказчика, и Иван думал на Илью взять их и навеститься «домой» да отдать корчмарю. Но чем ближе было к Ильину дню, тем чаще Иван останавливался на другой мысли, хватался за нее, как утопающий за бревно. «Сто гульденов уже заплачено, — думал он. — Двести заплачу теперь и брошу Борислав. Уйду и не вернусь больше сюда. Четвертую сотню на уплату долга как-нибудь заработаю или займу, а тут не останусь!» Эта мысль, сперва далекая мечта, принимала в его душе все более отчетливые формы. Он прикидывал так и этак: «Женюсь. У самой бедной невесты — и то сотня в приданое найдется. А может, еще и землицы раздобудусь». В другой раз он задумывал купить пару лошадей и заняться извозом, или наняться к помещику, или пойти в удельные леса дроворубом. Куда угодно, как угодно, лишь бы только заработать деньги, выплатить остальное корчмарю и стать хозяином — хоть бедным, хоть последним, а все же хозяином, в своей хате и на своем клочке земли! Иван никому не поверял своих мыслей. Только за неделю до Ильи он вечером сказал приказчику:

— Послушайте, Мендель, вы можете через неделю выплатить мне все мои деньги?

— Почему нет? — ответил Мендель. — А что, хотите послать?

— Нет, хочу на Илью пойти сам.

— Зачем вам ходить самому? Можно послать.

— Тянет повидать свое село. Не знаю, может, и совсем останусь там.

— Как, хотите бросить нас?

— Хотел бы, да не знаю... кабы нашелся какой ни на есть заработок, чтоб заплатить корчмарю...

— Ну, как знаете, — сказал Мендель, прекращая на этом разговор. — Я вам деньги выплачу в пятницу. Когда ваш Илья?

— В воскресенье.

— Ну, вот и хорошо. В субботу можете себе идти после работы.

Так и порешили. Больше разговора у Ивана с Менделем об этом не было.

В пятницу вечером Иван должен был работать в ночной смене. Это было бы его последнее посещение подземного царства, царства тьмы. У него было легко, радостно на душе, но неожиданный случай испортил его радость.

Он уже шел на работу, выпив стопку водки и закусывая булкой, когда к нему подошла бабка Орина — та, которая первой принесла ему когда-то известие, что Фрузя пропала. Бабка шла, будто крадучись, и Иван не заметил ее, но она сзади протянула свою тощую черную руку и схватила его за плечо.

— Ой, что это! — вздрогнул Иван. Он шел задумавшись и теперь точно проснулся от сна. Обернувшись, он увидел прямо перед собой страшное, желтое, сморщенное бабкино лицо, которое как-то холодно усмехалось ему, широко растягивая синие губы и выставив беззубые десны. Иван перекрестился. Первой невольной мыслью было: «Это смерть заглядывает мне в глаза». И его охватила холодная, суеверная тревога.

— Вот ты крестишься! — обрушилась на него старуха, и с ее лица исчезла усмешка, а вместо нее появилось какое-то хмурое, сердитое выражение. — Что я тебе, нечистая сила, что ли? Некрещеная душа? Ну, посмотрите на него! Крестится, точно я черт! Словно никогда не видел меня!

Иван узнал старуху и начал оправдываться:

— Простите, бабка! Я не узнал вас. Иду задумавшись, а тут вы как раз... Хоть бы окликнули...

— Ага! Вот видишь! Нет, чтобы самому на старуху глазом кинуть, да поклониться, да старуху рюмкой водки угостить! Пусть старая подышает, если самой купить не на что.

— Ну-ну, небось еще не подышаете! — усмехаясь, ответил Иван. — Но у вас, кажись, было дело ко мне?

— Есть, милый, есть! Да не дело, а так... Даже не знаю, как тебе сказать. Думаю, раз ты из одной деревни с ней, так, может, тебе лучше знать.

— Из одной деревни с кем?

— Да с Ганкой. Знаешь, я у Ганки ночевала, а теперь она уже и совсем расхворалась, так я у нее и днюю и ночую.

— Расхворалась? Что же с ней такое?

— Откуда мне знать, сыночек! Я думала сперва, не женская ли хворь, — нет. Что-то другое. Я и сама не знаю, что с ней, совесть, что ли, мучает?

— Совесть мучает? Кричит по ночам?

— Э, теперь уже кричит не только ночью, а и днем. Только немного заснет, что-то ей такое померещится, она как заверещит — ушам больно. И сейчас же вскочит с постели, куда-то бежит, убегает, прямо на стену лезет. Я уж думала — нечистый, прости господи, вселился в девку.

— Ну, а не пробовали вы лечить ее?

— Как не пробовать! Пробовала, сынок! Все, что знаю, все делала, ничего не помогает. Ну, да и не может помочь, — у нее совсем другое на душе. Я сперва будто и догадывалась, только, правду говоря, не туда метила. Думала: девка в Бориславе, немудреное дело, заработала ребенка и погубила его, а теперь детская душа к ней во сне является, покою не дает. Ганка божилась, чем хочешь клялась, что нет. Ну, так я уж и не знала, что думать. Не один раз пробовала я ночью слушать, что она кричит, да нельзя разобрать. Одно-два слова разберешь: «Вон там, в колодце! В воде! В грязи! Лезет, лезет, лезет!», а кто, где, откуда — ничего не понять. Уж я допытывалась у нее, — упорная! Не хочет сказать. Как щепка стала, почернела, как головня, прямо на ладан дышит, а какая девка была еще зимой, что твоя пушка! И видит сама, что ей недолго жить, что не на что ей надеяться, а молчит.

— Так вы думаете, у нее вправду что-то есть на душе, что она скрывает?

— Где там — думаю! Теперь уже не надо и думать. Теперь знаю точно.

— Что ж вы знаете?

— Да то, милый, что она убила твою Фрузю.

— Фрузю? Она? Господи! Да когда? Как? За что?

— Спроси — за что! Так — черт попутал. Он, чтоб ему пусто было, видно, давно на нее точил зубы. Слушай же, как дело было.

Старуха пошла рядом с Иваном по улице, но не могла идти так быстро, как он, и, ухватив его за полу, остановила:

— Да постой! Видишь, задохлась! Не спеши на работу! Не много потеряешь. Стой тут да слушай.

— Мне пора на работу! Слышите, уже звонят на ночную смену.

— Плюнь на свою ночную смену! Не ходи нынче на работу, пойдем со мною к Ганке. Тут дело поважней.

Иван колебался одно мгновенье.

— Нет, бабка! Нынче поздно уже. Зачем я пойду к Ганке? Завтра сразу после работы приду и подумаем, что делать дальше. Но скажите, как и что вы узнали?

— Да что, — сказала старуха, — прошлую ночь она не могла заснуть ни на минуту. Мучилась так, что не дай господи. А нынче утром смотрю на нее, лежит, как с креста снятая, только глаза светятся.

— Ганка, — говорю ей, — может, тебе попа позвать?

Она даже подскочила, словно кто укусил ее.

— Попа? Зачем?

— Как зачем, милая! Сама видишь, недолго тебе по свету гулять. Надо душу очистить.

— Нет, не хочу, — ответила она. — Мне полегчает, я поправлюсь!

— Эй, девонька, не шути с богом! Не говори так и не обманывай себя. Вижу, недолго уж тебе жить на свете. Пойду позову его преподобие.

— Нет, не надо, — ответила она. — Когда будет нужно, я сама скажу. Не уходите, я засну малость.

Только задремала — снова как заверещит, как вскочит:

— Ой, лезет, лезет! Ой, протягивает руку! Ой, хватает меня. Держит! Не пускает! Ой-ой-ой! Спасите! Бабка, спасите!

И соскочила с постели, вцепилась в меня, вся трясется, как осиновый лист, и все озирается вокруг и кричит, визжит, как перепуганный младенец.

— Свят, свят, свят! — говорю ей да крещу. — Кто лезет? Кто тебя держит?

— Да она, она! Разве не видите? Смотрите, рука совсем сгнила и мясо отвалилось, одна кость, а держит — как клещами!

— Бог с тобою, Ганка! Что с тобою? Кого ты видишь?

— Да ее, ее! Фрузьку!

— Какую Фрузьку?

Но она уже уперлась. Дрожит вся, жметесь ко мне, но ни слова от нее больше не добьешься. Кое-как успокоила ее, уложила в постель, утешаю, говорю, а тут у меня в голове словно ниточка за ниточкой начинает распутываться, ясней становится. Уж я ей и то и другое говорю. Сварила ей кусочек мяса, накормила. Лежит она и не отпускает меня от себя.

— Сидите! Не оставляйте меня! Говорите, чтоб я не заснула, а то боюсь: только засну, она снова тут будет.

— Да чем она тебе так страшна? — спрашиваю ее. — Что она может сделать тебе?

— Ой, бабушка! Ой, голубушка! Если б вы знали, какая она страшная! Вся кровь во мне стынет! Не могу смотреть на нее, а должна. Точно прикованы мои глаза к ней.

— Значит, она у тебя на душе, Ганка?

Молчит.

— Признайся, милая! — говорю строго. — Видишь, ты думала — утаишь все. А какая тебе польза, что утаила от людей, если бог все знает? Видишь, он дотронулся до тебя перстом — и что с тобой нынче? Хоть бы даже тебя повесили на виселице, — не знала бы и десятой доли той муки, которую вытерпела!

Она слушала, слушала, а потом как расплачется... Как малый ребенок рыдала.

— Ой, бабенька, правда ваша! Ой, я окаянная! Ой, я проклятая! Я убила ее! Она ослабла, упала мне на руки, а я ее, обеспамятевшую, бросила в колодец. Я думала, никто не будет знать, и Иван женится на мне... Ой, бабуся, посоветуйте, что делать!

У Ивана мороз пошел по коже от этих бабкиных слов. Он был словно пришиблен. В его памяти живо вставали события того вечера, уход Фрузи, ночь, проведенная с Ганкой в клетки, Ганкина тревога. Он вспомнил даже слова Ганки, что она «боится ее», и только теперь ему все стало ясно. Подавленный тяжелыми чувствами, он вздыхал и шептал непрестанно: «Боже, боже!»

А старуха продолжала рассказывать о Ганкиных признаниях, где она бросила Фрузю в колодец, как потом что-то гнало ее на это место уничтожить следы и как едва не заметил ее тогда кто-то из нефтяников, как

Фрузя начала ей во сне являться, как он, Иван стал, для нее немилым и ненавистным.

— Ну, и что же она делает теперь? — прервал Иван бабкин рассказ.

— Выплакавшись, заснула. И уже не вскакивала во сне, спит спокойно. Я посидела возле нее, а потом подумала, что хорошо бы сказать тебе обо всем. Посоветуй мне, сердечный, что делать?

Иван слушал, точно остолбенев. У него внутри переворачивалось что-то, рвалось, кричало, словно тоска, словно тяжкий упрек, словно сознание какой-то вины.

— Откуда я знаю, что делать, — проговорил он глухо. — Надо бы заявить. Но это — страшное дело!

— Может, к войту сходить?

— Сходите, сходите! — проговорил Иван живо, ухватясь за бабкины слова.

— Может, и ты пошел бы со мной? Я что-то боюсь.

— А чего же мне с вами идти? Еще меня заподозрят. Идите одни. Я наведаюсь завтра, сразу после работы. Идите, идите!

Старуха ничего больше не сказала, перекрестилась и пошла.

XVI

Подходя к сараю, в котором работал, Иван встретил приказчика Менделя. Он шел куда-то, разговаривая с нефтяником с другого промысла.

— Добрый вечер, Иван! — сказал Мендель. — Идете на работу?

— Иду, — сказал Иван, едва соображая, кто и о чем говорит с ним.

— А завтра уходите?

— Ухожу.

— Ну-ну, как знаете. Имеете готовые деньги.

Иван, не говоря ничего больше, направился в свой сарай. Мендель продолжал разговаривать с рабочим, который завтра должен был стать на работу вместо Ивана.

— Тут вам будет хорошо! — говорил Мендель. — Я не такой, чтоб кому-нибудь зла желать. Спросите вот этого Ивана. Он иной раз даже денег при выплате не брал у меня, а оставлял, пока не наберет пятьдесят или

сто гульденов, а потом брал все сразу. Видите, завтра он от нас уходит. И знаете куда? На свое хозяйство!

— На свое собственное? — удивлялся нефтяник. — Да откуда у него хозяйство? Давно спустил!

— Давно спустил, а теперь выкупил. Как раз вчера взял сотню, чтоб сделать последний взнос корчмарю, а завтра возвращается к себе в село, покидает нас навсегда. И кто ему посоветовал это? Спросите его самого! Мендель, не кто иной!

В эту минуту из сарая донесся крик, потом топот ног. Рабочий, который был при вороте, бежал по улице и кричал, задыхаясь:

— Господин приказчик! Господин приказчик!

— Что такое? — отозвался Мендель.

— Идемте в сарай! Скорей! Скорей!

— Да что там такое? — едва проговорил Мендель и, не ожидая ответа, побежал на участок. Только что нанятый нефтяник побежал за ним.

— Ну, что случилось? — каким-то хриплым шепотом спросил Мендель рабочего, поровнявшись с ним.

— Несчастье!

— Что за несчастье?

— Ой, сам не знаю! Идемте в сарай, сами посмотрите! Ой, господа, душа из меня вон! Еще не слышал такого и не видал.

Не расспрашивая больше, все трое побежали к сараю. Там было совсем темно, только одна висячая лампочка слабо освещала внутренность дощатой будки. Рабочий, накачивавший воздух, стоял над колодцем и дергал за канат, совсем свободно свисавший с вала.

— Ну, что случилось? Говори, — сказал Мендель, озираясь вокруг, словно желая найти то, что так испугало рабочих.

— Трос лопнул.

— Что? Как это может быть?

— Откуда я знаю? Взгляните сами!

Рабочий, стоявший над колодцем, снова дернул за канат, помахал им, и канат, словно кнут, хлестнул стены колодца, обшитые досками.

— Ну, а Иван? Где Иван?

— В колодце.

— Как в колодце? Спустился на место?

— Наверно, на место, да только неживой. Видите, не больше десяти метров каната размоталось.

— Да как же это было? Что? Как? Рассказывай по порядку! — говорил Мендель: он все еще не мог понять, что случилось.

— Ой, господи! Да откуда же я знаю, как это случилось? Иван пришел, привязался, и я начал опускать его. Верчу, верчу, как вдруг на десятом метре чувствую, будто в руку мне ударило, а на ворота стало легко. И в этот самый миг в колодце только гур-гур-гур! И один страшный крик, и тихо. Вот и все. Лопнул трос, а Иван загремел на дно, с сорока саженей.

Мендель, не отвечая ничего, начал рвать на себе волосы и бегать по сараю, как сумасшедший.

— Ой-ой! Ой, беда! Ой несчастье! Но молчите! Может, он еще жив. Слушайте, Дмитруня, — он обратился к вновь нанятому нефтянику, — как думаете, может, он еще жив?

— Может быть. Ведь на дне камней нет?

— Нет, глина.

— Ну, если не упал на кирку или не разбил себе голову по дороге, так, может, жив.

— Тогда бы он кричал, стонал, — вставил рабочий при воротах.

— Мог потерять сознание, могло его похитить. — говорил Дмитро.

— Лезьте. Дмитруня! Чтобы вы здоровы были! Лезьте, может еще спасете его!

— Я бы полез, — сказал Дмитро, — только что ж это за трос у вас, что лопнул под ним?

Он подошел к колодцу, взял трос, конец которого свисал на каких-нибудь два метра в колодец, вытащил и начал рассматривать при свете лампы. Это был старый нефтяник, знающий свое дело, но тут и он стоял дурак дураком. Такой штуки он еще никогда не видел! Он долго осматривал трос в том месте, где лопнул, трогал пальцами, рассматривал его на свет и все покачивал головой, будто не мог понять чего-то. Мендель тревожными глазами, весь бледный и с замирающим сердцем, следил за каждым его движением.

— Не понимаю! Никак не пойму, что случилось с тросом. Как он мог лопнуть?

— Может быть, перержавел? — несмело сказал Мендель.

— Похоже на то; ведь если б нарочно перерезали канат, было бы видно, был бы ровный надрез. Должно быть, перержавел.

— Ой! Старый трос. Надо было сменить! — торопливо подхватил Мендель. — Ой, господи! Недаром меня нынче утром что-то толкало: Мендель, перемени трос! А потом я подумал: «Ну, в пятницу не буду менять. Придет воскресенье, тогда и переменим!» А тут — на тебе! Ну, кто же его знал, что он не выдержит!

Но Дмитро все еще осматривал трос и качал головой.

— Слушайте, Мендель! Не может этого быть! Он как-то неспроста перержавел! Черт его перержавит! У меня в деревне навес вот уже пять лет на таком тросе держится. И дождь его мочит, и снег на него валит, и ржавеет не так, как тут, а вот держится до сих пор. Да ведь то навес — не то, что человек.

— Ну, Дмитруня, там он висит себе спокойно, а тут день и ночь то наматывается, то разматывается. А от этого проволока скорей всего лопаается.

— Это правда, — сказал, подумав, Дмитро. — Но тогда лопался бы понемногу, один пучок проволоки, другой, третий... А тут все сразу. И не гладко, а так, будто, прости господи, мышь перегрызла. Да! С тех пор как живу, не видал такого.

Мендель тем временем принес со склада новый трос, его намотали на вал, и Дмитро приготовился к спуску и полез в колодезь. Через каких-нибудь полчаса вытащили обоих — Дмитра и Ивана. У Ивана были сломаны обе ноги и голова разбита о сруб. Он, верно, и не долетел живым до дна.

XVII

На другой день, до рассвета, бориславский войт — тогда войт был еще из крестьян — с понятым и двумя полицейскими стражниками пришли в ту каморку, где жила Ганка. Она еще спала, после долгих бессонных

дней и ночей впервые спала глубоким, почти мертвым сном. Старуха открыла дверь, все вошли и, взглянув на мертвенное, высохшее Ганкино лицо, истерзанное страшной внутренней мукой, не решились будить ее.

— Ну-ну, пускай спит, — тихо сказал войт. — Мы подождем на дворе.

— Невелики у нее расчеты с людьми, — проговорил один стражник.

— Господь бог не ждал людского суда. Сам осудил и сам покарал ее, — прибавил другой.

Как только они вышли, Ганка проснулась.

— Вы тут, бабка? — спросила она.

— Тут, милая, тут.

— Снилось мне, или здесь был кто?

— Да кому здесь быть?

— Мне казалось, какие-то люди... стражники...

— Да, были, сирота.

— За мной? — проговорила Ганка, поднимаясь.

— За тобой.

— Знают всё?

— Знают.

Ганка пристально поглядела на старуху, а потом протянула ей свою худую руку.

— Спасибо вам, бабка, — сказала она. — Я уже не один, а сотню раз собиралась пойти и признаться во всем, да никак не могла решиться. А теперь — конец. Теперь я спокойна.

И она с трудом поднялась с постели. Бабка помогла ей одеться.

— Ну, а теперь позовите их.

Вошел войт с понятым, вошли стражники.

— Ну, что ты, сердечная? — сказал войт. — Хвораешь?

— Хвораю.

— Есть у тебя, что сказать нам?

— Есть.

И она спокойно рассказала обо всем, происшедшем в тот вечер. Один стражник записывал. Потом ее повели на место преступления. Крючьями вытащили по частям из колодца сгнившее тело несчастной Фрузи и перенесли

его в мертвецкую, а Ганку посадили на подводу и отвезли в Дрогобыч, в следственную тюрьму. Там она не дождалась даже первого протокола.

А у стражников после этого дела сейчас же возникло другое. Им донесли, что на ближнем промысле лопнул трос, рабочий упал в колодец и разбился.

Надо было осмотреть место, осмотреть труп, допросить свидетелей...

— Что-то мне это не нравится, — сказал один стражник помоложе старшему — начальнику поста.

— Хозяйская небрежность. Трос перержавел.

— Нет ли тут чего похуже? Что говорит Дмитро о тех деньгах...

— Так что же думаешь — тут убийство? Нарочно кто-то перервал трос?

— Очень возможно. Деньги могут быть причиной. Приказчик говорит, что Иван взял у него деньги, а их при Иване нет.

— Поищем у него на квартире.

Но на квартире, то есть в шинке, где ночевал Иван вместе с несколькими другими нефтяниками, никто ни о каких деньгах не знал и не слышал. Стражники выяснили, что с тех пор, как однажды у Ивана украли деньги, он всегда носил их при себе и прятал так, чтоб никто не знал, где они. С другой стороны, показания Менделя о том, что Иван посылал деньги за купленную землю нотариусу в Дрогобыч, нотариус подтвердил депешей, а другое показание, что последние сто гульденов Иван взял еще накануне своей гибели, подтвердил Дмитро, слыхавший, как Мендель говорил Ивану: «Имеете готовые деньги», и видевший, как Иван кивнул головой. Значит, получив деньги, Иван должен был спрятать их где-нибудь, чтобы взять с собой. А если так, то не было причины и покушаться на его жизнь.

На том дело и кончилось, только Менделя за недосмотр и пользование ржавым тросом оштрафовали на двадцать гульденов.

Ивана похоронили в одной могиле с останками его Фрузи.

ОБРАЩЕННЫЙ ГРЕШНИК

I

Василь Пивторак был когда-то одним из первых хозяев, богачом на весь Борислав. Земли у него было достаточно, скота, и хлеба, и всякого добра — тоже, да и деньжата нашлись бы. Работающий, бережливый был, любил порядок, — вот у него все и шло, как надо, и всего хватало.

Было у Василя три сына, — хлопцы, что маков цвет. Здоровые, крепкие, обычаем да нравом капля в каплю в отца удались. Отца с матерью любили, старших уважали и от работы, какая ни на есть, не отлынивали. И если б жизнь человеческая не зависела от случайностей, если б обстоятельства вокруг нас не менялись, жил бы Василь Пивторак и донныне счастливо, покойно, внуков за печкой качаючи.

Но не так на свете ведется. Что прежде не менялось и за сто лет, теперь и через десять другим стало. Теперь не то, что в старину. Жизнь течет скоро, перемены приходят быстро. Надо следить, куда течение идет, надо и самому следовать за ним. А не остережешься, останешься на месте, — того и гляди первая попавшаяся волна нахлынет, первая попавшаяся перемена застанет, свалит тебя, собьет с ног — и ты погиб. Теперь жить трудно. Жизнь — борьба вечная, постоянная. Враг со всех сторон подстерегает. Не защитишься здесь, с другой стороны нагрянет — и тебе конец.

Так случилось и с Василём Пивтораком.

Было это как раз в ту пору, когда в Бориславе стали добывать нефть. Любители наживы слетались в Борислав, как мухи на мед. Целыми роями они толклись по селу, сновали по полям, по хатам. К каждому хозяину приставали, как репей к кожуху. «Продавай да продавай землю, хозяин! Вот я тебе за участок столько-то... а я столько-то... а я еще больше!.. Нам всего не надо — нам и части хватит!» Вынимают деньги, в руки их суют, магарыч ставят и на уговоры не скупаются. И не одного уговорили, не одного несчастного заманили. Но не пошел на уговоры Василь Пивторак. Он любил свою землю, которую его семья с деда-прадеда орошала своим потом. А к тому же думал: «Да что ж? Деньги возьму, а они круглые, раскатятся. То на то, то на это — и нет их. А земля святая останется!»

Ну, скажете, хорошо поступил Василь? Умно рассудил? Хорошо, да не очень! Умно, да не совсем!

Начали спекулянты рабочих нанимать, начали копать колодцы. Нефть показывается, — деньги текут в карманы спекулянтов. Все больше их прибывает, все больше тесноты в Бориславе. Продают хозяева участок за участком, что ни день, прямо на глазах беднеют. Как-то в воскресенье собрался мир. Что делать, как быть? Говорит Василь Пивторак:

— А что, господа мужики! Копают чужие, будем копать и мы! Выжимают из нефти деньги, и мы будем выжимать!

Ну, скажете, разве не разумно советовал Василь? Разумно, да не совсем!

Начали наши бориславцы рыть-копать свои родимые земли. Да не было у них свободных денег, чтобы нанять рабочих. Приходилось самим копать. Не быстро подвигалась работа, не быстро барыши давались. А хозяйство тем временем приходило в упадок; разрытое поле не родило. Не хватало хлеба. А нефти нет как нет. Что было делать? Снова продавать евреям-спекулянтам участок за участком, чтобы с голоду не пропасть, — вот что!

Сотня их принялась копать. Только шесть-семь добились кое-чего. А остальные? Остальные после копали

на своих же землях колодцы, добывая нефть и воск — для захожих спекулянтов-евреев.

Почему так случилось? Почему везло спекулянтам, а не везло хозяевам? Рассудите, если ума хватит.

II

Василь Пивторак, дав такой мудрый совет односельчанам, начал и сам умом раскидывать. «А что, — думает, — у меня три сына, я четвертый. Теперь в поле работы горячий нет. Начнем и мы копать. На один колодец двоих хватит: тот копает, тот на вороте. У меня вон за клуней делянка скошена: заложим там два колодца сразу. Не будет в одном, будет в другом!..»

Как придумал, так и сделал. Оставил старуху на хозяйстве, а сам с сыновьями — за клуню. Захватили заступы, ушаты, веревки, наладили ворота — и айда копать. Ну, ничего. Копают день, копают другой. Возле ям холмики глины растут да растут. Младший сын, Михайло, — в одной яме, а отец — при вороте. Старший, Сень, — в другой яме, а средний, Иван, — на другом вороте. Прокопали сажень, да и другую, да и третью, и глубже. Дошел Сень до песчаного пласта, начала вода показываться. Знай, черпай воду ведром, а воды все больше и больше.

— Тату, — говорит Сень, — брошу я этот колодец: вода подступает.

— Как это так? — говорит Василь. — Вычерпай воду, да и копай!

Мучается Сень неделю, мучается другую. Все воду вычерпывает, норы закладывает и дальше копает. Да и копать не тяжело. Известно — песок.

И вот как-то раз Иван поднял над колодцем страшный крик. Прибежал отец, сбежались кое-кто из посторонних: «Что такое? Что такое?»

— Песок сдвинулся, завалил Сеня!..

Василь Пивторак стоял, как громом пораженный, услышав эти страшные слова.

— Скорей в колодец, хлопцы, разгребать песок! — крикнул не своим голосом.

Бросились, разгребли песок. да не сразу. Отрыли Сеня уже неживого.

Господи, как бедная мать и причитала, и убивалась! И плачет и отца проклинает, что, дескать, погубил ее дитя. А отец, бедняга, стоит, словно приговоренный, бледный-бледный, ни слезы не уронит, ни слова не выговорит.

Похороны подошли. Надо было справить «как бог велит». А поп и говорит: «У вас, Василь, еще и земли, и деточек работающих, и добра — слава богу, так дайте двадцать золотых за погребение. Это дело господа угодное, не пожалейте за упокой душеньки усопшего!» Что было делать? Отказать нельзя. Торговаться, как из-за скотины, когда скорбь тяжкая на сердце легла, — хуже этого нет. А денег свободных не имеется. Продавай участок, а то получастка — вот ту половину, на которой этот колодец несчастливый. Покупатель тотчас нашелся, деньги тотчас заплатил, мир христианский немало охался и наугощался на похоронах, — а поп грустно так, жалобно выводил с дьячком: «Господи помилуй» да «Слава тебе, господи».

Разошлись добрые люди, кончились деньги. Василь остался без Сеня, как без правой руки. Старуха бранится, плачет; сыновья ходят, как в воду опущенные. Да нельзя бедному хлеборобу долго тоске-горю предаваться. Работа ждет, десять работ ждут его. За работой и тоска забывается, и горе из сердца исчезает.

Медленно, невесело шли жнива. Лето кончилось, настала осень, — урожай был плохонький. Ну, а все же, что было, то было — и над тем надо повозиться, помучиться. Свез Василь с сыновьями хлеб на ток.

Ну, теперь пора немного и отдохнуть. А на досуге и старое горе в сердце оживает. Снова тоскливо стало в хате у Василя. Старуха-мать еще не все слезы выплакала по своему сыночку любимому.

III

Злая доля не спит. Надо было Василю ходить мимо того лужка, который он продал под колодцы? Нет, не надо. А вот пошел — то ли от нечего делать, а может,

из любопытства захотелось взглянуть, что там захожий спекулянт делает? Словом, пошел.

А тот не сидел сложа руки летом. Нанял двух работников, тоже бориславских парней, которые по бедности своей пошли на заработки, — и ну копать. Да еще какую собаку, штуку выдумал! Говорит: «Э, да тут песчаный пласт; тут этого песком завалило. А я вот что: прикажу поставить плетень из хвороста, колья хорошие, укреплю этим плетнем стенки, как срубом, и ни черта песок не сделает!»—«Ну, что? Умно придумано? Будь я поумней, да будь у меня денег побольше (а то не на что купить хворосту и кольев!), я бы тоже попробовал. Смотрите, безопасно, чего еще надо? Не обвалится! А теперь этот вор, жидюга, песок-то прорыл, докопался до глинки — и нефть добыл!»

Так рассуждал Василь, стоя над колодцем. Завистливым глазом смотрел горемыка на чужую работу.

— Эё-эх, господь милостивый! Моя родная земляца, а теперь нехристю тысячи в карман гонит! Ишь как, паршивец, скачет, как радуется, как руки потирает от удовольствия. Еще бы — богатство! Бадью за бадьей тащат из колодца, руки себе отрывают, а все для него! А ведь не пошли мне доля такое несчастье, кто знает, может, и я бы теперь денежки греб да руки потирал!

Долго стоял Василь над колодцем, присматривался к работе, глядел да завидовал. Потом пошел и на свой колодец взглянуть. С весны никто в нем не работал. Столбы от ворота торчали над ним; ворот был снят. Для безопасности приказал Василь еще летом заложить колодец досками, чтобы никто в него не упал ночью. Странно как-то забилося его сердце, когда посмотрел он на холмик выбранной глины, постучал по доскам, закрывавшим отверстие колодца.

— Кто знает, — думал, — может, тут богатство ждет меня! Может, сажень-другую прокопать — и нефть покажется! Кто знает! Господь карает, господь и милует!

— А кто знает, — шептал ему другой голос, — может быть, тут еще большее несчастье ждет тебя! Может, бог разгневался на тебя, что ты портишь да тревожишь святую землю, и еще тяжелей покарает, если не одумаешься после первой кары?

День за днем шел, неделя за неделей проходила. Василь все ходил, все думал. Размышлял, горемыка, терзал сам себя, не знал, как поступить, с чего начать. Даже осунулся, а боялся или не решался сказать, что у него на уме. «Вот и старуха начнет плакать, поминать покойника, отговаривать», — думал он. Но искушение не оставляло его. «Вот господь бог не народил хлеба, нечем дышать. Сено сгнило, нечем скотинку прокормить до весны. Что поделаешь? Денежки пригодились бы, а то прямо смерть... И подати не плачены. А, может, малость всего и прорыть — и сразу нефть ударит? Кто знает?.. Вон тот колодец не на много глубже! Эх, будь на все господня воля, попробую... Что ж, пускай баба и поплачет немного! На то она баба. А голову с меня не снимет. А я уж теперь как следует возьмусь за ум; весь колодец плетнем огорожу для безопасности!»

Так придумав, Василь решился, наконец, приступить к делу. Для начала обсудил, что надо, с сыновьями. Михайло не отказывался от работы в колодце. «А что ж, — говорит, — тату! Я и сам вижу, что нам эту зиму с одного хозяйства не перезимовать! Попробуем! Бог даст, нам теперь посчастливится! А для безопасности сделаем так, как вы говорите: плетнем огородим!»

Что за добрая душа этот Михайлик! Никогда он не перечил родителям ни в чем! Дай боже ему талан-долю золотую и век долгий!

Но тут возник другой вопрос: откуда взять денег на канаты, на хворост и другие надобности? Отец с сыновьями душа в душу: «Нечего делать, — говорит, — заложу часть поля, — не продадим, заложим на время, а придут деньги, — и отдадим, выкупим поле назад!»

Как порешили, так и сделали. Старуха мать только тогда обо всем дозналась, как начали работу. У несчастной не хватало духу ни проклинать, ни бранить отца. Заплакала горько. Сердце у нее сжалось, словно беду какую-то предчувствовала, когда она заглянула в темную пасть, в которую отец опускал на канате родное дитя.

— Эх, Василь, Василь, — сказала она через несколько дней. — Ступил ты на неверную дорогу, ищешь ты прибыли в гробах. Гляди, старый, не закопай своего счастья и своей души в этих колодцах!

— Эх, и чудная ты, старуха! — сказал Василь, махнув рукой. Только всего и разговора между ними было.

Между тем работа шла медленно. Хворосту нельзя было и докупиться. Что навезут из соседних сел, — одним духом раскупят. Вдвоем взялись дальше копать, а как выкопают, сейчас же плетнем огораживают. Тянется работа неделю, а то и две. Михайло уже докопался до твердого глинистого песчаника. Трудно было работать быстрее. Заступ уже не годится, надо кирку. Иван в это время то хлеб на гумне молотит, то плетни ставит, а мать прядет в хате одна-одинешенька и не раз горько заплачет, поглядывая в оконце, не идут ли сыновья обедать.

IV

Медленно подвигается работа в колодеце. Чем глубже Михайло копает, все как-то труднее ему, будто душно в колодеце. «Но это ничего», — думает он. А Василь ждет да ждет: вот-вот покажется нефть, может нынче, может завтра. Хоть ворот руки отрывает, хоть на дворе все холоднее становится, хоть денег, взятых под залог поля, с каждым днем меньше, — он ни о чем не думает. Вот-вот нефть потечет, тогда всем бедам конец!

И верно, потекла!

Однажды услышал Василь из колодца крик. Крик был странный, сперва веселый, потом тревожный. Наконец, оборвался глубоким, глухим воплем отчаяния. Все длилось не больше двух минут. Василь заглянул в колодец. Он весь похолодел, он задрожал, как в лихорадке, от ожидания и тревоги. В колодеце было темно, как в печной трубе.

— Что там, Михайло, что там? — крикнул отец в колодец.

Вместо ответа Михайло стал дергать за канат, но очень слабо.

Отец не знал, что случилось, что нужно Михайлу, почему он не отвечает.

Канат задержался снова. Отец догадался, что, может быть, это сын дает знак вытаскивать его.

«Но почему он затих, почему не говорит, что случилось?» — думал отец, изо всех сил работая воротом.

Ух, как тяжело ворот идет! Почему-то тяжелей обычного. Или это его руки старые изнемогли от долгой работы, от томительного и тревожного ожидания? Медленно поднимается груз, медленно выплывает из непроглядного мрака, который залег внизу. Продолжая вертеть, Василь наклоняется над колодцем... Господи! Что это? Густой запах нефти ударил его, как обухом! «Дал бог! Дал бог!» — крикнул Василь. В эту минуту он почувствовал такую радость, такую силу. Он заглянул в глубину... А это еще что?.. В бадье сидит его Михайло, не обвязавшись канатом, как обычно, а лишь одной рукой за него держится. Другая рука свисла. Голова бессильно опустилась на грудь, какие-то судороги подбрасывают ее... Но судороги все слабее, реже... Вот уже голова совсем поникла... минута страшного колебания...

Вторая рука выпустила канат, бадья накренилась — и Михайло со страшным, глухим воплем повалился в пропасть и исчез в густой тьме. Из глубины только доносилось, как он бултыхнулся, словно бревно, в нефть. И ничего больше не слышать...

И все это произошло так быстро, так неожиданно, что Василь долгое время не мог пошевелиться, склонившись над колодцем, не соображая, что все это означает. Стоял в каком-то беспомоществе, не выпуская рукоятки ворота. Ни о чем не думал, ничего не понимал, не чувствовал, не видел... Но вот густой запах нефти, поднимавшийся из колодца, как из печи, вернул ему сознание. Память понемногу возвращалась, а с нею и страшное сознание. «Погиб хлопец! Вот тебе и счастье!» — были первые его слова.

А когда совсем опомнился, его начала трясти лихорадка. Казалось ему, будто чья-то сильная невидимая рука толкает его в глубину, будто чей-то голос кричит над ухом: «Прыгай и ты, погибай с ним вместе! Какая твоя жизнь будет теперь? Прыгай, прыгай!.. И несчастный отец ощущал в себе неистовое желание прыгнуть в эту темную, адскую бездну и погибнуть вместе с сы-

ном Но когда уже совсем наклонился над колодезем, оттолкнула Василя от него какая-то другая сила — рука природы, которая всегда и всюду бережет свое создание.

Наконец, у несчастного отца мелькнула мысль: «Что сделаю один?» Только этот вопрос заставил его понять все. Как сумасшедший бросился он по огороду к хате, крича изо всех сил: «Помогите! Помогите!»

Сбежались на крик и свои, и соседи. Никто не знал, что случилось, кого спасать. Лишь материнское сердце тотчас же поняло все. Несчастливая мать заломила руки над головой, ахнула и упала без памяти там, где стояла.

Что было делать? Как спасти несчастного? Сперва никто не хотел лезть в колодезь. Боялись угара. Только отец настаивал: «Пустите меня, пустите! Спасу его, спасу, а нет, — пускай и сам с ним пропаду!» Едва удержали бедного Василя.

— Тату, таточко! — говорил Иван. — Где вам лезть? И ему не поможете, и сами угорите! Я полезу. У меня голова крепче, скорей выдержу!

На том и порешили. Двоих, самых сильных, приставили к вороту. Ивана хорошенько обвязали канатом и опустили вниз. Угар в колодезе был велик, но хлопцы быстро справлялись, и вскоре Иван крикнул снизу, — это был знак, что он нашел брата. Они теперь еще быстрее потащили бадью наверх.

А пока это происходило, другие приводили в чувство мать. Мало-помалу она пришла в себя.

— Мой сын, мой Михайлик! Что с ним? Где он? — были первые ее слова.

Бедная мать! Лучше не допытываться! Лежит твой сын страшный-страшный, весь залитый мерзкой густой жидкостью, будто смолой. А лицо, еще недавно такое хорошее, и приветливое, и милое, теперь посинело и вздулось от страшных предсмертных мук! Бедная мать! Беги от этого проклятого места без оглядки! Не смотри на того, кто еще так недавно назывался твоим сыном! Его, сердечная, не спасешь, только сердце тосковать заставишь!

Кое-как обмыли бедного Михайлика да и положили на лавку под окном в старой хате отцовской. Лежит бедный хлопец, красивый да рослый, как явор широколистый. Только личико его милое, синее-синее, как сирень, свидетельствует о страшной муке, какую он вытерпел, умирая.

А где же старуха мать? Почему не вопит, не голосит по покойнику, слезами обмывая морщинистое, доброе лицо свое? Или она меньше любила его, чем других? Или печали о нем не знает? Ой, не меньше других любила она своего Михайлика, и печаль ее, — один господь знает, как тяжка. Лежит старуха мать в клети на постели, не может головы поднять, не может и рукой пошевелить! Последнее несчастье добило ее. Как увидела своего сыночка мертвым, да еще таким, как его из колодца вытащили, упала без стопа, без голоса, как былинка подкошенная. А Василь Пивторак, глядя, как она лежала, словно мертвая, рядом с мертвым Михайликом, прошептал лишь: «Вот тебе и счастье! Еще доведется двое похорон сразу справлять!»

Отходили Василиху и внесли в клеть. Лежит бедная мать, как колода, — худая, несчастная, без сил. Желтое сморщенное лицо лишено выраженья; глаза мутны и запали, еле светятся, как догорающий каганец, синие губы едва шевелятся... «Михайлик мой!» — шепчет бедная мать и всхлипывает, как дитя. Только и всего...

А ее Михайлик лежит в горнице спокойный, безразличный. Не тревожит его тяжкая мука отца, которую тот, словно змею, в сердце скрывает, не тревожит его и немощь и отчаяние материнское; напрасны печальный шепот и молитвы соседей, которые столпились в сенях, головами покачивают, руками помахивают да словами тихо перекидываются: «Ну, и кто бы подумал! Правду кто-то сказал: счастье в хату — и хате конец! А какой хлопец был! Господи, да будет твоя воля над нами, грешными!»

А Василь Пивторак, словно его чем оглушило, побрел к попу.

— Слава Иисусу, батюшка!

— Вовеки веков слава! Что у тебя, Василь? Слышал я, ты нефть добыл?

— Добыл, ваше преподобие!.. Да вот беда... Сына у меня задушило...

— Ага, так, так! Вот видишь, какой ты неосторожный... Что же ты насос не раздобыл да свежего воздуха не накачал в колодец? Видишь!

— Вижу, батюшка, вижу на свое горе!

— Ну, и что же у тебя слышно?

— Да ничего, ваше преподобие... Я пришел, чтобы грешное тело землеце предать.

— А, так, так! Святой долг, послушное дитя было... Знаю, знаю! Ну, Василь, но ведь ты теперь богач!

— Да какой там, ваше преподобие!

— Как какой? Нефть добыл... видишь, господь благословил.

— Ой, ваше преподобие, не говорите — благословил! Лучше бы никогда так не благословлял! На что мне та нефть проклятая, если мой сыночек в ней могилку себе нашел?

— Так, так, верно! Хорошо ты говоришь! Ну, любезный, ты теперь можешь и церкви божьей помочь. Все равно эти деньги тебе не милы. Правду я говорю?

— Правду, батюшка.

— Вот видишь, дружище! А мне за похороны пятьдесят золотых. Ну как? Это теперь для тебя пустяки!

— Ой, ваше преподобие, многовато! Побойтесь бога, у меня теперь такое горе, где мне торговаться?

— Что тут толковать, любезный! Раз нужно, то нужно. Ничего не поделаешь!

— А тут еще и моя старуха, бедная, догорает, еле-еле дышит! Кто знает, протянет ли еще с неделю. Опять расход, а денег, батюшка, нету!

— А тогда поговорим сразу о двух похоронах! Дашь восемьдесят золотых, милый!

— Упаси боже, ваше преподобие! Что вы говорите! — вскрикнул несчастный Василь, пораженный до глубины сердца этими словами. — Чтоб я для живого христианина наперед похороны заказывал?

Он не мог больше говорить. Что-то будто сдавило его

горло. он наклонился и поднял шапку, лежавшую на полу.

— Ну-ну, я пошутил, — сказал улыбаясь поп. — Нет в этом ничего дурного. Ну-ну, ступай, любезный, а я уж завтра загляну. Видишь, надо с честью тело похоронить, надо еще из Попелей священника пригласить. Уважь и ты меня. А для тебя пятьдесят золотых теперь, что пальцами щелкнуть, дружище.

— Храни вас бог, оставайтесь здоровы! — едва проговорил Василь, выходя.

— Будь здоров, любезный! Гм-гм, так, так!

VI

— Кум Василь! Бог дал, бог и взял, — его святая воля!

— Святая воля божья. куманек милый, зачем тоске предаваться?

— Будто что-нибудь поможет! Сделанного не переделаешь!

— Тоской поля не измерить, говорил мой отец покойный!

— Дай, боже, душенькам умершим рай светлый, блаженный, а нам, грешным, жизнь счастливую.

— Не тоскуйте, кум Василь! Вот смотрите, ваша старуха, сердечная, тоже уже догорает! Что будет с хозяйством, со всем? Крепитесь! За ваше здоровье!

Так утешали соседи, простые души, Василя Пивторака, сидя за столом и выпивая. Василь ничего не говорил, только сидел, подперев тяжелую от забот голову руками.

— Э, куманек милый! Поберегите себя, не тоскуйте! Всем нам та же дорога предстоит рано или поздно. Вот выпейте с нами еще малость, забудется беда. Смотрите, скоро и его преподобие придут панихиду править. Будет вам убиваться, надо в хате прибрать.

— Боже, великий боже! Лучше бы ты мне веку укоротил, а не его взял. Зачем мне теперь на свете жить?— проговорил глухим, упавшим голосом Василь.

— Э, куманек, не грешите! Избави нас господь от

всяких зол! Как стало, так и стало. Зачем волка из лесу кликать? Злая доля не спит.

— Ой, не спит, не спит! — простонал Василь. — И мне не давала спать. Все шептала: «Иди копай, увидишь, что там будет!» Я, глупый, послушался, пошел, и вот до чего докопался! Михайлик мой милый, сыночек мой сладкий! На то ли я тебя холил, лелеял, как соколика, чтобы теперь на такую свадьбу снаряжать?..

Крупные слезы покатались по лицу Василя и повисли на его подстриженных, с проседью, усах. Соседи, приятели снова начали утешать его, приговаривать, охать... Василь понемногу разговорился в их кругу, выпил рюмку подогретой медовой, потом вторую, третью... Незаметно кровь быстрее потекла в его жилах, мысли незаметно стали мешаться, сталкиваться, вытеснять и перебивать одна другую, а на сердце как-то тепло становилось, боль меньше докучала, скорбь скорее растворялась в слезах, горе таяло от этого тепла, как снег от весеннего солнца.

— Эх, Михайлик, сыночек мой! — приговаривал с ударением, словно спотыкаясь, бедный отец, опрокидывая рюмку за рюмкой. Слезы все чаще капали на дубовый стол. Соседи разговаривали тихо, неторопливо, и в ушах Василя их беседа отдавалась все слабее, словно всплеск воды у брода, словно шелест листвы осенью. Его рука помимо воли наливала красный, горячий напиток и опрокидывала рюмку в горло, словно раскаленные уголья, которые все сильнее горячили в нем кровь, будили воспоминания.

— Эх, Михайлик мой, сыночек мой! — лепетал он, словно в беспамятстве, утирая слезы рукавом.

— Кум Василь, подымайтесь, перестаньте плакать! — зашумели соседи. — Вот смотрите, его преподобие пришли панихиду служить. Идите в хату!

— Вечный покой его душеньке! Идем! Михайлик, сыночек! — лепечет Василь и плетется в хату.

В хате свет падает на покойника, и мужиков полно, и два попа правят панихиду, и два дьячка хрипят и блеют козлиными голосами церковные песнопения. А Василь стал у косяка и смотрит, и слушает, а все не может разобрать, что к чему? Свет как-то неясно колеб-

лется перед его глазами, посиневшее лицо покойника ежеминутно меняется, как только отец хочет приглядеться к нему, а на сердце у него как-то легко, словно и впрямь снаряжает он сына на свадьбу, а не в «последний путь». Только чувствует, что слезы все еще капают, а люди печально на него поглядывают и шепчут: «Бедный отец! Сердце у него разрывается! Слыханое ли дело, двоих сыноей — ясных соколов — раньше срока схоронить! Хорошо еще, что третий остался, а то бы, несчастный, совсем погиб!»

Василь слышал эти слова, но сам он знал, что ему не так уж тоскливо, как прежде, что его мысли, блуждая в других местах, все реже напоминают о Михайле. Однако слезы все текли и текли у него из глаз, хоть мысли блуждали неведомо где.

Кончилась панихида, и священник велел внести гроб и положить в него покойника. Василь удивленно смотрел на двух парней, которые пододвигали тяжелый гроб, сколоченный из толстых досок, и суетились возле покойника. Свечки отставили, крест, стоявший в головах у покойника, отодвинули, сняли холст, которым было покрыто тело, а потом приподняли его и положили в гроб. Василь, который до этого времени стоял тихо и как бы не сознавая происходящего, почувствовал теперь, словно его что-то кольнуло глубоко в сердце, и вскрикнул громко:

— Михайлик мой! Сыночек мой!

Крик этот вырвался так неожиданно резко среди общей унылой тишины, что в одно мгновение целая толпа женщин и мужчин окружила Василя, утешая, уговаривая его не тосковать. Парни тем временем закрыли гроб крышкой, взяли своего товарища и понесли из хаты, отвесив вместе с гробом на обоих воротах по три поклона. Гроб глухо загудел, словно говорил:

— Будьте здоровы! Забудьте меня, пусть память обо мне на смущает своей печалью счастливых мгновений вашей жизни! Будьте здоровы, счастливы, веселы!..

На самое кладбище проводила Василя большая толпа народу, утешая и ободряя его. Но Василь не жаловался, не плакал, не говорил ничего, а шел, будто деревянный, будто ничего не соображая. Лишь иногда губы его шеве-

лились немного, что-то пробежало по его лицу, но это больше походило на смех, чем на печаль. А когда после похорон добрые люди привели его домой, он все еще двигался, будто деревянный, не говорил, не плакал, не вздыхал, только глаза его были неподвижно устремлены вперед. А когда дома сказали ему, что и его жена отдала богу душу в ту самую минуту, когда выносили из хаты ее сердечного Михайлика, он тоже стоял, будто деревянный, не говорил, не плакал, не вздыхал, только глаза его были неподвижно устремлены вперед.

Соседки и соседи снова утешают, снова беседуют, снова угощаются. Василь сидит между ними, — чарка, идя по кругу, не обходит и его, — и чем больше он пьет, тем заметнее оживляется. Уж и говорит, и плачет, и вокруг посматривает... Ночь настала. Василь, всхлипывая, упал на постель и крепко заснул. На другой день проснулся, словно весь избитый, и немало удивился, снова увидев гроб на лавке. А ему ведь мерещилось, будто сквозь сито, что вчера у него были похороны. Даже тоску острую почувствовал опять в сердце, ту же, которая охватила его вчера, когда поднимали тело с лавки. Или, может, это сон был? Откуда же этот мертвец?..

VI

И снова в хате у Василя теснится народ, снова шум, и вздохи, и шепот кумушек. И снова к нему, бедному, протискиваются со всех сторон званые и незваные приятели, утешая, жалея и приговаривая. И снова чарка ходит по кругу, и пение попов и дьячков разносится по хате, по сеням, по скотному двору; клубы дыма поднимаются из кадил и вьются под потолком над головами людей. Василь не успел опомниться, как вся эта давка и шум валом провалили мимо, а когда он на другой день после похорон проснулся, оглядел хату и увидел, что остался один-одинешенек, среди мертвой пустоты, — сначала подумал, что все это был дурной сон. Но немного погодя, очухавшись и видя во всех углах следы вчерашнего, убедился, что это правда сущая, что он сирота, круглый сирота.

Сирота? А у него ведь еще сын остался, Иван. Где он, что с ним? Почему отец, свое сиротство вспоминая, не вспомнил о нем, о своем единственном теперь утешении?

Странное нередко творится с людьми. Вот бывает у родителей несколько детей — и хорошие все, послушные, работающие, покорные. Казалось бы, чего еще желать? Любовь родительская, как солнце, всем одинаково светит. Оказывается, нет! — не так это. Вот посмотри — и увидишь. Отец больше любит старшего, мать младшего или кого там, а средний сын живет меж ними и работает, и ни отец, ни мать его не замечают, не приласкают, не похвалят никогда. И растет он дома, как чужой, привыкнув к одиночеству и молчанию, а родители смотрят на него, когда он проходит мимо, а сами видят другое — более любимое дитя перед собою.

Так было и с Иваном. Вот если б спросить Василя про Ивана: «Иван, — скажет Василь, — мой Иван? А он у меня дитя тихое. Зато посмотрите, какой Михайлик крепкий хлопчик! Золото — не хлопец!» А спросишь, бывало, покойницу Василиху: «А что, Василиха, ваш Иван делает?» — «Да что ему делать? Верно, в клуне копается. А Михайлик вот пошел за сеном, и не знаю, вернется ли, бедненький, к обеду. Вот хлопец из него вышел — цветок! Моя отрада, мой сыночек...» — так всюду и всегда бывало. Отца ли, мать ли спросить про Ивана, — все на Михайлика свернут. Иван был средним их сыном, и хотя был он тихий, послушный, родителям не перечил, они все как-то не замечали его. И братья, хотя всю свою жизнь в мире и согласии жили, а все-таки по примеру родителей и сами невольно начали смотреть на Ивана свысока, считать его слугой, ниже себя. Ивану не раз горько было выслушивать приказания младшего брата и не раз из-за этого доходило у них даже до небольших размолвок. Но никогда не приходило в голову бедному хлопцу глубже взглянуть на причину этого, никогда он не брался рассудить, как и почему так с ним обращаются родичи.

Впрочем, нельзя было сказать, чтобы они его не любили! Храни господь! Ведь Иван был их ребенок, как и другие, ведь никогда он не обидел их ни поступком, ни дурным словом. А все же его любили не так, как

старшего и младшего. Но однажды везли они сено по крутой дороге над рекой. Михайло волов погонял, а Иван с отцом воз поддерживали, чтоб не опрокинулся. И вот, где не надо, выбоина попалась, воз накренился в Иванову сторону, как раз над страшным обрывом. Старый отец, не дожидаясь крика Ивана, стрелой кинулся к нему. И видите, если бы хоть чуточку позднее подоспел, опрокинулся бы воз, и бедняга Иван нашел бы свою смерть под его тяжестью. А тут вдвоем схватились за телегу, а Михайлику крикнули, чтобы поскорей волов гнал, и одним духом промчались над обрывом к броду. А когда стали на броне волов поить и Иван снял рубашку и промывал окровавленное плечо, которое в эту страшную минуту ободрал сучковатой жердью, старый Василь сплюнул, перевел дух и, измерив взглядом оставшуюся позади опасность, проворчал сердито: «Чтоб тебя, нечистая сила, пропади ты пропадом! Черт уж с ними, с телегой и сеном, тут я чуть хлопца не потерял! Чтоб тебя!..»

Вот видите? Разве Василь не любил Ивана?

Но теперь, когда не стало обоих его любимчиков-сыновей, когда не стало старухи, которая постоянно бродила везде и всюду, будто оживляя и наполняя хату, каким круглым сиротой почувствовал себя Василь! Тяжелым, мертвым сном проспал он ночь после тяжелых похорон, а когда проснулся, уже солнце поднялось высоко в небе. Посмотрел вокруг: в хате ни души. Иван еще вчера сговорился с двумя хлопцами и уже давно ушел на работу. Надо было заняться найденной нефтью, чтобы денег раздобыть да расплатиться за заложенное поле и с попом за похороны. Иван, привыкший сызмальства к постоянной работе, не ждал отцовского приказа и не хотел будить его. Сам устроил все с евреями-спекулянтами, которые наперебой спешили купить у него нефть. Сторговались быстро, и старый Василь, встав, должен был лишь подписать договор. Иван в это время, получив задаток на руки, тотчас поспешил к «механику» (был это простой столяр из Дрогобыча, который под этим громким именем думал заработать тут денег) и купил воздушный насос для колодца. Накупил еще бочек, в которых, согласно договору, должен был достав-

лять нефть на недавно выстроенный нефтеочистительный завод (в «лютрунок», как говорили рабочие), и принялся черпать и добывать из глубин богатства земли.

Быстро шла работа. Нанятые рабочие разговаривали, шутили, а Иван молча работал. А в это время Василь едва-едва поднялся с постели, стал посреди хаты и, увидев запустение и беспорядок вокруг, горько заплакал, как на пожарище. Долго сидел несчастный под окном на лавке, на том самом месте, где так часто видел свою покойницу за прялкой или за какой-нибудь другой работой.

Печально, медленно, тяжело тянулось время в осиротевшей хате. Не было кому даже ложку еды сварить. Василь точно совсем потерял голову, бродил из угла в угол, как в тумане, не работал, не говорил ничего — все думал да думал. Иван опять за работу, — все хозяйство взял на себя. Не мог, не решался бедный хлопец заставить отца что-нибудь делать, — видел его горе тяжелое. Не знал он, что работа — лекарство от сердечной боли и тоски, и давал этой боли все дальше расти в сердце старого отца. Но частенько, возвратясь вечером домой, заставлял Василя необычайно плаксивым и говорливым, — это означало, что старый сирота с тоски да печали начал напиваться, чтоб залить «червяка» в сердце. Не хватало у Ивана решимости укорять отца: поужинав, чем придется, ложился он спать и засыпал быстро, крепким сном, не слыша, как Василь до самой полуночи разговаривает: то плачет, то снова говорит.

И соседи, и родственницы частенько наведывались к Василию, хотел он или не хотел, докучая ему утешеньями да советами, беспокоя его своей громкой болтовней, хотя иногда кое в чем и помогали в домашнем хозяйстве. Не раз, не заставая Василя в хате, шли искать его в клеть. Тут стояло еще нетронутым смертное ложе его покойницы, а в другом углу, в сусеке, обычно стояла баклажка с водкой, которой бедняга Василь старался заглушить свою боль и тоску. И не раз соседки слышали, как ходил он по клетке тяжелыми шагами, всхлипывал, как ребенок, или громко говорил что-то, повернувшись в угол, хотя слов его сквозь стены нельзя было разобрать. И соседки качали головами да перешептывались меж собою, — дескать, «это покойница ходит». И вскоре

— как в колокол ударили — пошел по всему Бориславу слух, что Василиха по ночам навещает к мужу в наказание за то, что он по собственной воле погубил напрасно двух своих сыновей.

Но Василь не слыхал и не догадывался, что говорили о нем в селе.

VIII

Иван, договариваясь со спекулянтами, сколько нефти и в какой срок он должен сдать, ошибся, преувеличив богатства своего колодца. Немало помогли этому и спекулянты, с которыми он подписывал договор. Они ему говорили, что колодец богатый, что нефть будет идти все время, так что за день он едва успеет вычерпать то, что накопится за ночь. А между тем не прошло и недели, как нефти не стало в колодце, а новая не хотела набираться. Нефти, по условию, требовалось еще много, а больше добыть было нельзя. Иван ждал день, другой, третий — нефть не набиралась. Надо было или копать глубже, или предпринимать что-нибудь другое; иначе беда, — спекулянты каждый день насаждают, почему не додает остаток. Бедному Ивану пришлось круто, хоть пропадай. Из денег, причитавшихся по договору, отец взял половину; заплатил долги, — ну и не осталось за душой даже столько, чтобы можно было продолжать копать. Иван это хорошо знал, потому никогда и не заводил с отцом разговора про эти дела, а ждал с нетерпением, когда нефть пойдет.

Но нефти нельзя было дожидаться.

А тем временем быстро подходил срок договора. Почти до отчаяния доведенный тем, что надежды все обманывали его, хлопец в конце концов решился поговорить с отцом обо всех делах. Однажды вечером, когда на дворе ветер выл и хлестал в глаза мелким холодным дождем, Иван, вернувшись из клуни, повесил шапку на колок, разложил огонь в печи и приготовил миску картошки, чтобы спечь ее на углях, — отцу и себе поужинать.

Василь, у которого ноги от чрезмерного употребления водки отказывались служить, а лицо горело, сел

на лежанку и, не говоря ни слова, поднес руки к огню.

— Тату, — начал Иван несмело, — знаете, беда у нас...

— Ой, верно! истинно беда, мать померла! — лепетал Василь, утирая рукавом глаза.

— Нет, тату! Померла мама, ну пошли ей господь царство небесное! что поделает человек против бога? А тут еще другая беда. Покупатели нефти требуют, а в колодце — ни капли.

— Отдай им! Отдай им всю, что есть! И колодец, и все пусть себе берут! Это кровь моего Михайлика бедного.

— Ну, а нам как быть? Чем жить будем?

— Как быть? Бога хвалить! — сказал Василь твердо и замолчал. Напрасно Иван пробовал добиться от него чего-нибудь, посоветоваться. Василь упорно молчал, лишь время от времени всхлипывая, как ребенок, хотя слез не было видно на его лице.

Со двора донеслось шлепанье по грязи, точно кто-то пробирался по глубокой жидкой глине; двери в сенях закрипели, и в хату вошел высокий, худой, с гноящимися глазами еврей Шмило. Полы его длинной бекешы, изъеденные грязью, обтрепались и висели как лохмотья, бились о худые, забрызганные грязью икры. Рыжие волосы лишь кое-где выбивались из-под мятой шапки, а красная, как жар, острая борода торчала огненным клином.

— Дай боже! — сказал он коротко, входя в хату и прикасаясь своею худой, измазанной нефтью рукой к шапке.

— Дай боже здоровья! — хмуро ответил Иван.

Василь встрепенулся, увидев Шмила: повернув к нему свое исхудалое лицо, блуждающим взглядом глядел на него с выражением какого-то бессознательного, детского ужаса.

— Ну что? — спросил тот, подходя к Ивану.

— Что? Беда!

— Какая беда? Почему беда?

— Не идет нефть — и все. Что делать? Я думал копать дальше, да вот денег нет.

— Ну, а что ж будет с нами? Вы знаете, условие послезавтра кончается...

— Знаю, а что я могу сделать? Вот разве одно... Вы дали отцу половину денег, будто за пятьсот ведер... так или нет?

— Ну, так, — сказал еврей и кивнул головой, а его длинная шея вытянулась, словно у kota, который готовится неожиданным прыжком наброситься на мышь.

— А я вам доставил уже восемьсот ведер, — выходит, по условию, только двухсот не хватает. Знаете что, заплатите вы мне еще за триста ведер, а я с этими деньгами начну дальше работать и сдам вам остальное.

Шмило лукаво усмехнулся.

— Хе-хе-хе, какой вы, Иванюня, умный, дай вам бог здоровья! — сказал он и потрепал Ивана по плечу. — А только так дело не пойдет! Не так мы договаривались. Послезавтра ваши триста ведер пропадут, потому что вы нарушили договор. А я еще из города приведу панов и потребую с вас остальное. Знаете ли вы это? А?

— Шутите на здоровье! — сказал Иван, стараясь улыбнуться, хоть на самом деле эти слова укололи его глубоко в сердце, и какой-то холодок пробежал по его спине, словно он притронулся к змее.

— Я не шучу, ей-богу, нет! Зачем мне шутить? Мои деньги пропадают, мне не до шуток! — говорил Шмило, а бедный хлопек всматривался тем временем в его сухое, костистое, пожелтевшее лицо, словно не понимая этих слов или надеясь, что вот-вот более добрые чувства блеснут на этом выцветшем лице, которое так жестоко усмехалось.

Но лицо Шмила не менялось. Иван отвернулся от него и поглядел на отца, который во время этого разговора прислонился головой к печи, обнял руками колени и задремал.

— Тату! — сказал Иван, слегка прикоснувшись к его плечу, — тату!.. Вы слышите? Вот Шмило пришел, требует нефти. Что делать? Посоветуйте.

— Все ему отдай, все пусть себе берет! — пробормотал полусонный Василь. — Это проклятая работа! Два сына у меня погибли из-за нее, старуха померла!.. Проклятая работа! Счастья не принесет...

Лицо Шмила озарилось бледною искрой радости.

— Вот видите, Иванюня, ваш папаша не такой уж упрямый, как вы! Знаете, что? Зачем лишние хлопоты

на свою голову? Продайте мне колодец! Он вам все равно теперь не приносит прибыли, а станете копать, деньги уйдут, а кто знает, будет ли что! А так лучше. Я вам еще доплачу сто гульденов! Ну, что еще вам нужно?

— Нет, тому не бывать, — твердо проговорил Иван. — Делай что хочешь, а участка не продам.

— Нет, так я сам куплю, без вас... Думаете, если панов приведу, — ваша правда будет? Увидите, и нефть потеряете, и колодец мой будет. А так возьмете сто гульденов и избавитесь от хлопот. Верно?

Иван не знал, что делать. Он хорошо понимал, что Шмило не слишком преувеличивает, говоря про панов и про их правду; он издавна, сызмальства, как все крестьяне, ощущал огромный страх перед этими страшными людьми, которые имеют право (и бог знает, откуда у них это право!) в любое время прийти, отсудить или присудить, что им понравится, и бедный мужик ничего не сможет сделать, какую бы обиду он ни претерпел. Но, с другой стороны, видел Иван, что и Шмило обманывает его немилосердно, что участок с колодцем стоит в десять раз больше того, что он дает. Что было делать? Иван снова начал расталкивать отца, и тот насилу понял, в чем дело. И Шмило не стоял в стороне, а время от времени вставлял свое словечко, указывая Василию то на страшные суды панские, то на выгодность своих условий. Долго они спорили. Иван твердо стоял на том, чтобы не продавать участка, но Василь каждый раз портил дело, и в конце концов хитрый еврей поставил-таки на своем.

— Ну, Василь! — закончил Шмило разговор, — вы добрый человек, а ваш сын такой твердый, прямо не подступись. Но какое мне дело до него? Вы пока тут хозяин, вам и распоряжаться. Вы завтра зайдите к писарю, там мы и напишем все условия. А я сразу выплачу, что там придется. Так?

— Да так, так! — сказал лениво и неохотно Василь.

— Ну, будьте здоровы! Доброй ночи!

— Доброй вам ночи! — сказал Василь, и Шмило вышел, заскрипел дверями и исчез в темноте. Только глухое шлепанье по грязи свидетельствовало о том, что он ушел.

Огонь едва-едва мигал в печи, отбрасывая кровавый отблеск на лежанку. Иван стоял молча, опершись о печку, а Василь начал есть печеную картошку, не сказав ни слова сыну. Тяжелое раздумье нависло над Иваном, не легче, видать, было и Василию. Но пока оба молчали, и в хате было так тихо, так грустно, так мертво, будто именно сейчас наступила минута, когда души мертвых незримо обходят дом и от этого умолкает все, стихает, гложет, замирает...

IX

Долго сидели отец с сыном, не говоря ни слова. Наконец. Иван первый нарушил молчание.

— Тату, — сказал он, — вы очень худо поступили, что так легко дали себя уговорить.

Василь молчал, понурился и неподвижным взглядом смотря на пламя.

— Не надо было продавать участка, кто знает, может...

— А не заткнешь ли ты свою глотку? — вдруг крикнул Василь. — Или еще и ты будешь меня грызть? Мало у меня своего горя?

Впервые после двойных похорон какое-то живое чувство зашевелилось в его душе. Но на этот раз оно владело им только минуту, и Василь снова припал лбом к краю печи и молча глядел на угли, которые мерцали, угасая понемногу. Но не то было с Иваном. Досадуя, что отец так легко отдает свое добро, он, помолчав минуту, начал снова спокойным, ровным голосом:

— Не сердитесь на меня, тату! Я правду говорю. Зачем правду скрывать? Любой вам то же скажет. Участок с колодцем стоит самое малое восемьсот гульденов, а вы отдали его за сто двадцать.

— Тоже нашелся оценщик! А почему ты из этого колодца не начерпал столько нефти, чтоб не надо было его продавать?

— Разве моя в том вина? Чем я виноват? — возразил Иван.

— Молчи, дурак! — крикнул разгневанный Василь. — Пока я жив, не смеешь мне под нос тыкать: так делай или этак. Помру, тогда давись всем, а пока помалкивай!

— Может, и так, — возразил Иван твердо, — но ежели и дальше будете так хозяйничать, — ни черта после вас не останется.

— А не помолчишь ли ты, щенок проклятый? Мало мне своего горя, чтобы еще ты меня попрекал?..

Василь грозно оглянулся вокруг, словно искал, чем бы поудобней выколотить свой гнев об Иванову спину. Но ничего не было под рукой. А Иван стоял у печки смелый, но с печальным лицом и словно не замечал отцовской угрозы.

— Я смолчу, тату, я знаю свое место. Но помните, что все на вашей совести лежит, что за каждый клочок родительской земли, которую вы отдадите в поганые руки, придется вам перед богом трудный отчет давать!

Сказав это, Иван вышел из хаты и пошел ночевать в сарай.

Василь остался один и долгое время, как и перед тем, смотрел неподвижным взглядом на угли. Лишь кровь быстрее ходила по жилам, а глаза играли гневом который угасал так же медленно, как жар в печи.

Странная была у Василя натура. Пока обстоятельства жизни, казалось, обходили его, оставляли в покое, до тех пор он жил, как в тумане, тосковал в одиночестве и забывал про свет и людей. А когда мысль о былом счастье и нынешнем сиротстве и о страшной гибели двух любимых сыновей слишком глубоко вонзалась в его сердце, он заливал этого неумолимого, грызущего червя единственным лекарством наших бедных хлеборобов— водкой. Но теперь жизнь снова начала его задевать, и как раз нынче задела самую больную сторону его сердца, коснулась памяти о Михайле, напомнила его гибель. Уступая спекулянту, бедный Василь тяжело страдал душой и порою не помнил даже, что говорил. А тут еще твердые, спокойные и печальные, к тому же, как он сам это чувствовал, правдивые слова Ивана ранили его еще глубже и раздули пламя гнева. Он сам не знал, на кого он больше злился: на Шмила, на себя или на Ивана. Что они вообще хотят от него? Почему не оставят его в покое? Разве он лезет к ним или добивается чего-то от них?..

Такие мысли сновали у Василя в голове и не оставляли его, как назойливые мухи, пока сон его не одолел и сплошная темнота не залегла в хате.

А у Ивана в голове разве не сновали мысли?

Василь, сидя у печи и всматриваясь в угли, верно, и не подумал, что, может быть, его сыну горько придется в эту ночь, что, может быть, старуха-тоска и у него засела в голове! А так оно и было. Беспокойно ворочался Иван на соломе в сарае. Он всем телом дрожал от холода и не мог согреться. А мысли его бродили по всему «отцовскому» хозяйству, по усадьбе, по полю. И везде видел он закравшиеся беспорядок и запустение. Навоз на поле и не начинали возить, а тут уже зима настаёт. Только один клин приготовлен под яровую пшеницу и всего-навсего один клочок под горою засеян озимым. Ну, чем будем год начинать? А в сарае пусто, в кладовой пусто: в прошлом году не уродило. А отец вдобавок ко всему участок продает! Да еще с колодцем! кто знает, может, если б еще несколько сажений прокопать, снова нефть объявится? Кто знает, от какого богатства отказался отец за сто двадцать гульденов... «Эх, голова старая, неразумная!..» — процедил Иван сквозь зубы.

Долго еще ворочался, не зная, с чего начать, чтобы хоть оставшееся поле сберечь. Наконец, решил пойти завтра, в воскресный день, к попу, рассказать все, как есть, и просить совета. На том и заснул.

Х

Было святое воскресенье. Небольшая, старая бориславская церковка грустно стояла на пригорке за селом. Не давали ей тени вековые, развесистые липы, как обычно бывает в других селах. Кладбище с провалившимися могилками стояло голое и виднелось издалека, словно бездушное, увядшее лицо смерти, грозящей всему, что она только заметит. Полуразвалившаяся покойницкая прислонилась к старой, раскидистой вербе, ветви которой подымались над ней вместо крыши. По другую сторону торчала островерхая колокольня, которая вся тряслась, когда на ней звонили. Да и колокола-то гудели

как-то грустно и нескладно, будто вправду только и дела у них — голосить по покойникам. Только что они прозвонили к обедне, и из села идут по улицам и переулкам женщины и мужчины в церковь. Его преподобие еще не пришел, и потому церковь не отперта. Сельчане столпились на кладбище, переговариваются, смеются да вздыхают тяжело — кто о чем...

Но вот с пригорка сошел священник с пономарем, да еще с каким-то третьим человеком.

— Ого, зачем это Пивтораков Иван к попу ходил? — сказал кто-то в толпе.

— Верно, старый побил его с пьяных глаз, — сказал второй.

— А вы слышали, кума, что покойница Пивторачка каждую ночь ходит к мужу? Ой, не говорите, да ведь Микитишин Петро своими глазами видел, как она шла. Да вот и Калинчина Гапа сказывала: иду, мол, я на берег глину копать, меня мать вечером послала, смотрю...

Важная, степенная хозяйка не кончила своего рассказа, так как в этот миг подбежал пономарь, опережая батюшку, пробился сквозь толпу к дверям и, отпирая их, крикнул:

— Тихо, бабы! Тут не корчма, а дом божий!

Подошел его преподобие, и прихожане выстроились перед дверью в два ряда, и каждый брал руку почтенного пастыря, и все целовали ее по очереди, «как бог велел».

Началась служба. Иван стоял в углу и отбивал поклоны, громко стучаясь лбом об пол, словно хотел заглушить сердечную тоску. Немного спустя пришел и Василь и стал у клироса. Глаза его ввалились глубоко и смотрели сонно и мутно из-под опухших век. Глубокие морщины на лбу ясно свидетельствовали, что несчастье надломило этого, некогда сильного и смелого, человека. Сгорбленный, молчаливый, он казался много старше своих лет.

Перекрестившись раз пяток и сделав три земных поклона, Василь начал кланяться на все стороны. Несколько удивило его то, что дьячок и пономарь словно не замечали его, а последний еще время от времени как-то

странно поглядывал на него из-за боковых дверей алтаря, помахивая ореховым гасильником. Но вот и евангелие. Пономарь выносит пучок свечей, которые церковное братство во время чтения держит зажженными. Если кто-нибудь из братства не получал в церкви свечку, было это для него большим позором и каждый считал, что, видно, в чем-то немало провинился, если «его преподобие не велели ему свечки дать». Василия как будто толкнуло: а ну, дадут мне свечку? Смотрит, пономарь начинает с другой стороны, раздает свечи одну за другой, кому прямо ткнув в руки, кому через других передавая, кому через головы и плечи протягивая. Уже кончил одну половину, другую начал, уже вот-вот около него... дал Сеню Гавранюку, Миките Благому, Олексе Витишину... теперь его очередь — нет, пономарь отвернулся и ткнул свечку в руку дьячку, который как раз выводил гнусаво тоненьким голосом: «Слава тебе, господи, слава тебе».

Кровь сразу закипела в груди у Василия. «Кто я такой, — подумал он, — чем я провинился, кого убил или поджег, чтобы меня перед всей общиной на позор выставляли?» Вчерашнее раздражение ожило с большей силой, и у него в голове начали мелькать бог знает какие странные догадки. «Э, обидно им, что не могут меня совсем по миру пустить, как липку ободрать! Вот и думают: хоть на людях опозорим его!» И казалось Василию, что все, сколько ни есть народу в церкви, смотрят на него, покачивают головами и шепчут: «Э, видать, Пивторак что-то натворил, коли его пономарь свечкой обошел». За этими мыслями Василь не слышал «евангелия». Опомнился, только когда его начали толкать и отодвигать назад те из сельчан, кто обычно во время проповеди выходил из церкви поболтать с соседом под колокольной. Василь пришел в себя, поднял глаза к алтарю и встретил взгляд его преподобия, который, казалось ему, пристально следил за ним. Он перекрестился торопливо и начал слушать проповедь.

Его преподобие, как каждую проповедь, так и сегодняшнюю начал вот какими словами: «Да воскреснет бог, и да расточатся врази его... Слова эти записаны у святого евангелиста... гм, гм, гм...». На этом месте

батюшка обычно закашливался и сейчас же после такого вступления удивительным ходом мыслей переходил на другое; сегодня он говорил о пьянстве и слабости родителей, которые не заботятся о своих детях, о их нынешней и будущей жизни, а предаются пагубной склонности, лишь бы угодить своему чреву. Батюшка говорил долго, голос его не раз становился громче и грохотал, будто кто-то неожиданно высыпал на церковную крышу целый мешок камней, и они тарахтят, катясь вниз. Особенно при словах: «Горе вам, пьяницы-нерадивые! Под вашими ногами ад горит, ибо в своей отвратительной и пагубной склонности вы не помните даже о своих христианских обязанностях. Недостаточно вам того, что ваше хозяйство идет как попало, дети живут без присмотра, не ведают страха божьего, вы, даже вы сами, нахлеставшись до беспамятства вином, ложитесь, не перекрестясь, а пробудясь, вместо того чтобы осенить себя святым крестом, тянетесь к стакану. Скажите же мне, достоин ли такой человек (его преподобие, в порыве вдохновения, указал пальцем на Василя, и все глаза обратились на него, будто первый раз в жизни им довелось его увидеть), достоин ли, говорю, такой человек называться человеком? Нет, он как скот, хуже скота, потому что и тот, встав утром, прежде всего обращает свое воздыханье ко господу, а уж потом принимается за пищу!»

Во время всей проповеди бедный Василь чувствовал себя как на иголках. Какие мысли сновали в его несчастьями и стыдом оглушенной голове, один лишь бог ведал. Но все ясно видели, что бедняга даже изменился в лице и сам не знал, что делать, когда глаза всей общины безжалостно обратились на него. Настало время великого выхода. У Василя был свой трисвечник, который он обычно нес при великом выходе. Сегодня его трисвечник нес Трохим Паруха, старый, седой дед, а Василь, бледный, стоял на своем месте. Вот и служба кончилась. Василь даже легче вздохнул, взял шапку хотел уходить, но пономарь тронул его за плечо и шепнул:

— Кум Василь, пойдемте, чего-то вас его преподобие кличут.

Что делать? Съежился Василице и идет за понома-

рем, ожидая еще большего позора. Неизвестно почему, вспомнилась ему поговорка: «Пойду я, мама, в церковь, но черта с два стану я богу молиться!» Василь не знал, откуда она возникла в его памяти, и бессознательно повторял ее, сам не зная, почему.

Священник сидел в кресле, в ризнице, и пил кофе, который ему принесли в церковь после обедни.

Василь поклонился низко и стал в дверях, ожидая, пока батюшка кончит завтракать.

— Что ж ты, Василь, — начал священник строго, — так плохо ведешь себя!

Василь молчит.

— Был у меня сегодня твой сын, жаловался, что поле продаешь, ни о чем не заботишься, только водкой наливаешься!

Василь — ни слова.

— Ступай же, ступай, да помни, чтоб это я в последний раз о тебе слышал. Фу, постыдился бы! Такой почтенный хозяин, который должен всему селу пример подавать, а он вот что вытворяет! Стыд, позор!

Батюшка сделал знак рукой, и Василь вышел, не сказав ни слова.

«Скотина какая-то, гадина, не сын! — думал бедняга, идя по селу домой. — Попу набрехал на своего родного отца! Погоди, щенок этакий, я тебя проучу!»

Для того ли, чтобы забыть свой нынешний позор, или чтобы набраться сил против выроodka-сына, или по какой-нибудь другой причине (кто знает, может быть, дурные и мерзкие наклонности от рождения свойственны этим мужикам), но Василь по дороге зашел к Шмилу в корчму, где уже сидело несколько человек и шла круговую чарка.

XI

— А, паныч, — обратился вечером Василь, хорошо подвыпив, к сыну, — так это ты меня так опозорил перед всем обществом?

— Как опозорил? — спросил Иван неохотно. Ему горько было вспоминать обо всем, что произошло за последние два дня.

— Как опозорил? Щенок проклятый! Спрашивает, точно не знает? Ты бегал к попу языком брехать про меня?

— Не знаю, что я набрежал! — тихо буркнул Иван.

— Ах, ты, проклятая скотина, негодяй этакий... про своего отца, который тебя выкормил и воспитал? Так-то ты мне на старости лет платишь, что мне из-за тебя и людям показаться нельзя... что все теперь на меня пальцами тычут. Смотрите, говорят, пьяница, распутник, мот!.. Так вот что ты мне теперь устраиваешь?

Василь, произнося эти слова, впадал все в большее озлобление. Его маленькие глаза загорались более живым, зловещим блеском, на лице выступал лихорадочный румянец, жилы на лбу наливались кровью, а зубы стискивались от злобы. Молчание Ивана, который в это время не то спокойно, не то несмело сидел в углу, только увеличивало его гнев.

— Вот, пригрел гадину полосатую за пазухой, а! Хорош сынок, — хочет, чтобы все отца чурались, чтобы все на него плевали, пальцами показывали, будто на диво какое! Хорош у меня сынок, а!

— Тату, — отозвался Иван твердо, хотя и несколько дрожащим голосом, — тату, лягте, проспите, а завтра и разговор будет по-трезвому. Правда — правдой, я виноват в том, но вы — еще больше.

— Как ты, змееныш, как ты мне, своему отцу, смеешь указывать, меня обвинять?

Злоба Василя, которая так внезапно взорвалась и окрепла за последние два дня, искала непрестанно, на кого бы обрушиться всей своей силой. И вот случай представился: перед ним был незадачливый Иван. Василь в запальчивости подскочил к нему и со всего размаху треснул его кулаком по уху.

— Тату, — вскрикнул Иван, вскакивая, — что вы делаете?

— Молчи, выродок проклятый! Знай, как отца уважать!

Он снова ударил, у Ивана кровь потекла изо рта.

— Тату, не троньте меня! — крикнул он, выходя, наконец, из своего деланного безразличия. — Не троньте, не то плохо вам будет!

— Что? Что, грозить мне? На, вот тебе наука!

И снова удар. Лицо Ивана посинело. Он тоже вышел из себя и кулаком толкнул отца в грудь так сильно, что тот не удержался на ногах и грохнулся посреди хаты.

— А, дрянь! — ревел пьяный, разъяренный Василь, стараясь подняться и хватаясь за топор. — Ты уже на меня руку поднимаешь? Рад меня поскорей в гроб уложить, чтоб самому всем подавиться!.. Не дожدهшься, бродяга проклятый, не дожدهшься, мерзавец, нет! Вот!

Василь старался достать топор из-под лавки.

— Тату! — проговорил в это время Иван твердо, хотя голос его и дрожал, — пусть господь не помянет вам того, что вы мне говорите и как со мною поступаете! А чтоб не думали вы, будто я позарился на ваше добро и жду вашей смерти, так будьте здоровы! Я отказываюсь от всего. Живите себе, помогите вам господь, сколько вам суждено, делайте со воим добром, что хотите, откажите его после своей смерти кому вам угодно, но меня вы уже больше не увидите в своей хате! Лучше с голоду пропасть, лучше руки на работе лишиться, чем знать, что родной отец такое думает о своем дитяти! Прощайте!

Дверь скрипнула, и фигура Ивана только мелькнула за окнами и исчезла. Василь стоял в это время посреди хаты с топором в руке и долго не мог понять, что произошло. Его злость, неистовая и слепая, понемногу прошла, он начал спокойнее вникать в суть дела.

«Тьфу, что я наделал? Родное дитя из дому выгнал! А за что? За то, что мне поп не велел в церкви свечку дать? Тьфу, какой соблазн! И откуда он? Да, как захочет бог человека покарать, так первым делом разума лишит! Как бы мне тот разум пригодился!..» Василь долго размышлял и к ночи дошел даже до того, что начал плакать, сидя впотьмах и припав головой к печке, в которой уже не горел нынче огонь, — некому было его разжечь, не было Ивана.

Василь думал сперва, что Иван, сгоряча обронив такую угрозу, вернется на другой день. Ночь прошла для него очень тревожно: дурные сны мучили его до самого утра. То видел он сразу всех своих сыновей, как

они тонут в глубоком-глубоком колодце, в зловонной нефти, и тщетно зовут его на помощь. Потом снился ему Иван, как он пьет в корчме с черными, грязными, измазанными нефтью людьми, на которых даже глядеть тошно. Видит Василь, что и Иван понемногу становится, таким же, как они, кричит, поет и бранится, как и они, пьет и валяется в грязи, а потом наливает рюмку водки, насыпает в нее какого-то порошку и подносит ему: «Пей, дескать, старик, на здоровье». Но Василь будто знает, что водка отравленная, что Иван хочет его поскорей упрятать в могилу, чтобы завладеть его добром. «Прочь, негодник! — кричит он во сне и швыряет рюмку на пол. — Черта с два получишь ты из моего добра хоть самую малость! Нет, ты и веревки не стоишь, чтобы тебя на ней повесить!»

Такие сны мешались в голове Василя всю ночь. Наконец, рассвело. Настал один из тех серых, пасмурных зимних дней, когда на дворе снег валит так, что даже деревья трещат под его тяжестью, а в хате, да еще одинокому, и холодно и хмуро, темно и грустно-грустно, как в гробу. Василь поутру надел кожух, чоботы и пошел обряжать скотину. Потом вернулся в хату, ворча с досады, и начал разжигать огонь в печи — немного обогреть хату, чтобы хоть окна оттаяли.

— И куда это хлопец запропастился? — говорил Василь сам с собой. — Того и гляди, не спятил бы хлопец с ума, не бултыхнулся бы в какую-нибудь дыру. Пропади ты пропадом такая работа!

А уж известное дело, если человек неопытный и к тому же раздосадованный, каким в эту пору был Василь, возьмется растапливать печь, — ни за что не добиться ему толку. Ничего у него не клеится; куда ни повернется, все ему мешает. Сырые дрова не хотят гореть, только шипят и дымятся. Тут воды нужно, а коромысла не найти, там то, а тут другое, и дойдет человек до того, что света не взвидит, а если кто нетерпелив, тот бросит все, еще и плюнет, и ногой разотрет. Вот так поступил и Василь. Злой на весь мир и на самого себя, он сел на лавку, побросав поленья под шесток. В хате было полно дыму, холод пронизывал Василя сквозь одежду. Наконец,

бедняга не выдержал — сплюнул, запахнул кожух и пошел в корчму, ворча: «Чоб тебя громом побило с такой работой!»

Долговязый, рыжебородый Шмило еще вчера закончил торг с Василем и выдал ему на руки половину условленной суммы. Сейчас Василь не застал Шмила, как обычно, за прилавком, но, идя по выгону, заметил, как корчмарь суетился в своей лисьей шубе около его колодца, — и метель ему нипочем! — и, размахивая руками, отдавал приказания уже нанятым рабочим. Никакими словами не передать, как горько стало у Василя на сердце, когда увидел он Шмила на своем родительском поле да еще вспомнил, что из-за этого поля он вчера так обидел своего сына. Затрепетало старое, измученное сердце, невольно вспомнились Ивановы слова: «Тату, пусть господь не помянет вам того, что вы мне говорите и как со мною поступаете!»

XII

Печальная жизнь пошла теперь у Василя. Иван не возвращался, и некому было позаботиться о старике, хоть немного прибрать дома, утешить, посоветовать, поговорить с ним. А зимние деньки — хмурые, зимние вечера и утра — большие, как море... Корчма одна привлекала его, тут хоть с каким-нибудь нефтяником поговорит, а то и в вине хоть на часок утопит свою тяжелую, неусыпную муку. Мучила его очень мысль об Иване. Что с ним? Не угопился ли, или как-нибудь иначе не загубил ли себя, что не возвращается?.. Но Василь надеялся и был почти уверен, что Иван слишком тверд, слишком умен, чтобы на себя руки наложить. Значит, поступил где-нибудь на работу. «Ну, — подумал Василь, придя к такому выводу, — пусть немного побудет у чужих людей. Прижмет его беда как следует, вернется не такой гордый». И, успокоенный этим, Василь даже не спрашивал о сыне. Водка все больше отбивала у него память, все реже он мог разумно рассуждать, а обычно сидел в корчме или бродил по селу, как лунатик, проваливаясь в глубоком снегу.

Шмило умел заманивать его к себе, с тех пор как сын ушел из дому. Хитрый еврей видел, что у Василя хозяйство большое, хоть и заброшенное, и возился с Василем, советовал, утешал, ободрял — и понемногу высосал из Василя все, что только мог высосать. Василь вскоре растратил деньги, которые ему дал Шмило за проданный участок, продал скотину и хлеб, даже не сознавая хорошо, что делает. Шмило покупал все при людях, писал и подписывал условия, он боялся, что вот-вот Иван вернется и не только не позволит отцу дальше расточать имущество, но и проданное задумает отобрать. Шмило, правда, знал также, что Иван недалеко ушел, а, тяжело переболев и отлежавшись у одного хозяина в Попелях, нанялся у него же работать, жестоко обиженный тем, что отец ни разу даже не наведалься, когда он болел, ни словечка ему не передал, чтобы он возвращался...

— Отрекся от меня, ну, как хочет! Пусть себе хозяйничает, как угодно, а я и тут поживу, погляжу.

Прошла зима. Хата Василя стояла в запустенье: Василь чаще всего бывал у Шмила, дневал и ночевал у него. Зато у Шмила былолюдно и весело и в праздник, и в будни. Немало было тут бориславских хозяев, которые дошли до того же, что и Василь, — ведь и такие попадались, особенно из бездетных, у кого не оставалось уже земли, кроме какого-нибудь огородишки, да еще клочка, на каком хата стояла. Несмотря на оживление, печаль какая-то нависла над всем Бориславом в ту весну. На полях редко-редко где виднелись плуги и бороны, зато, словно муравьи, всюду сновали спекулянты, громоздились груды хвороста для плетней, торчали вёроты, насосы, заступы, кирки. И возле хат шум не умолкал. Тут пильщики пилят тес на высоких козлах, там плотники постукивают, как дятлы, обтесывают и пилят: это строят новый склад — широкое, низкое здание для хранения нефти. Там бочары под открытым небом строгают клепку для бочек. Всюду движение, шум, крики, визг пил, стук топоров, но это не живая, свежая подвижность деревенской, весенней жизни, — это зловещие голоса, предвестники новой жизни, тяжелой, грязной, нерадостной жизни, на которую обречен

с этой поры бедный Борислав. И Шмило начал теперь копать «на широкую ногу». Еще зимой он нанял рабочих и занялся только что купленным колодцем Василя. Предположения Ивана оправдались до мелочей. Прокопав две сажени, Шмило напал на нефтяную жилу, которая за одну неделю дала более ста двадцати гудьденов чистой прибыли. Но с весны Шмило начал на закупленном участке копать три новых колодца, а пока что вертелся и суетился около Василя, не давая ему ни на минуту ни протрезвиться, ни опомниться; вишь, хитрый корчмарь хотел выдурить у него остаток земли. Да, по правде сказать, как раз в пору. Василь все больше опускался: тоска и пьянство быстро подтачивали его рассудок и здоровье.

Кто знает, что могло стать, найди бедняга Василь меж людей искренний совет, теплые, приветливые и отзывчивые сердца. Но так не случилось, — не оттого, что у Василя и раньше не много было приятелей, и не потому, что это были приятели дурные или неверные. Нет, наш крестьянин еще не знает, и, наверно, бориславцы тогда еще не знали, что значит оставить соседа в беде. Но с таким же открытым сердцем, с каким спасали они своего соседа в несчастье, верили они, бедняги, во все то, о чем говорили им в церкви в проповеди, и не так в самые чудеса и догматы, упоминавшиеся в проповеди, как в то, о чем говорилось после проповеди. Таких частных поучений, разумеется, ни один священник не избегает, ощущая настоятельную необходимость, кроме вещей «божественных», вспомнить и о близких всем земных делах. Так вот и наш батюшка не пропустил ни одного воскресенья, чтобы ясно не намекнуть на Василя и на его грешную и безбожную жизнь, на ад, ожидающий его после смерти, на то, как позорит всю общину хозяин, которого еще недавно считали одним из самых уважаемых. Легко представить, как горько было бедному Василю слушать такие поучения, зная, что глаза всех в церкви обращены на него, что бабы шепчутся не о ком-нибудь, а о нем. Постепенно, видя, что поп не оставляет своих намеков, Василь вовсе перестал ходить в церковь, чтобы не выслушивать каждый раз, как его поносят. Поучения стали еще резче, а в конце концов дошло до

того, что священник открыто назвал Василя «позором всего села» и запретил верным прихожанам иметь дело с закоренелым грешником.

А бедный Василь не раз, сидя у Шмила в углу, робко поглядывал на своих соседей, которые пили и беседовали за столом, а к нему и не обращались. Он видел, что все посматривают на него косо и сторонятся его, как зараженного, а если кто и заговорит с ним, то как-то холодно, торопливо, без той сердечности и теплоты, с какой беседуют добрые приятели, сойдясь за чаркой. Василь становился все более нелюдимым, просиживал по целым дням молча в корчме и никак не мог собраться с мыслями, которые беспорядочно, в каком-то тумане, сновали в его голове. Понемногу его лицо приобрело унылое, рассеянное выражение, свойственное идиотам, у которых постепенно исчезает все человеческое и остаются одни чисто звериные, растительные инстинкты.

ХІІІ

Вечер. Майская ясная ночь легким покровом ароматов, свежести, теплых испарений и холодной росы ложится на землю. В корчме у Шмила мигают две лампочки, озаряя бледным светом множество людей. Некоторые в потертых, испачканных нефтью рубахах и с такими же лицами едят хлеб, держа его такими грязными, неопрятными руками, что гадко на них смотреть. Это нефтяники, которые целый день копали и добывали из колодцев нефть. Они получили теперь плату за всю неделю, и каждый думает про себя: «Эх, отведу я нынче душу! И так всю неделю жевал один хлеб да воду хлебал!» Но покамест все сидят тихо, приказали подать хлеба, мяса и пива и едят быстро, торопливо, словно в один раз хотят наверстать за всю неделю.

За главным столом расположилась вторая группа людей. Они выглядят представительней и аккуратней, разговаривают степенно, смеются громко, ведут себя, как дома. Это бориславские обыватели, которые пришли к Шмилу подкрепиться и потолковать. Не один в душе дрожит, ожидая, какую прочтет ему жена проповедь за

то, что последний крейцер пускает на ветер, когда дети дома есть просят, — ведь еще далеко до нового хлеба! Пробегают у бедняги мурашки по спине, но что поде-лаешь: на глазах у людей надо и разговаривать весело, и смеяться, и шутить!

А там, за стойкой, сидит долговязый, рыжебородый Шмило. Он только что вернулся из своей каморки, где ужинал, в жилетке, обшитой тесьмой, и в субботней шапке. Ему не сидится спокойно на лавке под стеной, глаза у него, как у вора, все время бегают вокруг. На бориславских обывателях его взгляд не задержался: это «голодранцы», с ними много не наторгуешь. Внимательней и веселей поглядывал он на тот угол, где сидели нефтяники, кончающие ужин. За их столом уже начали гулять стаканчики, беседа их стала громче, хохот чаще, а шутки все грубей. Это обычное вступление «к танцу». Шмило знает хорошо, что вскоре молодая кровь разыграется под этими заплатанными, засаленными рубашками, и тогда все прочь с дороги! К черту деньги, к черту здоровье, к черту сон! Живи, пока живется, пей, пока пьется... Шмило знает, что и нынче так будет, без этого не проходит ни одна суббота, и он весело потирает руки.

Но вот его глаза нашли Василя. Старик сидел возле печки на лавке, съезжившись, словно ожидая тяжелого удара, который вот-вот должен обрушиться на его плечи. Он уставился глазами в одну точку на полу и медленно посасывал короткую трубочку.

— Василь, Василь! Идите-ка сюда! — позвал Шмило.

Василь, услышав голос корчмаря, медленно поднялся и подошел к стойке.

— Ну, что вы так сидите, почему не закажете себе что-нибудь? Выпьете рюмочку?

— Д-да! — ответил Василь, двинув плечами. Корчмарь налил ему водки, и Василь выпил ее единым духом.

— Ну, идите сюда, садитесь рядом... зачем вам одним сидеть? Может, еще рюмочку?

И, не ожидая ответа, Шмило налил и подал Василю, а потом еще несколько раз, пока не удостоверился, что теперь можно с Василем начинать и про «гешефт».

— Слушайте, Василь, я вам кое-что хотел сказать, — начал Шмило тихим голосом, который терялся в общем шуме.

Василь подпер голову рукой и молча уставился в пустую рюмку. Шмило наполнил ее, а Василь машинально поднес ко рту...

— Видите, я вам хотел сказать, что... кто знает, как там будет, а, может, для вас было б лучше, если бы вы продали мне половину своей земли. Зачем она вам теперь, если не с кем ее обрабатывать? А я вам денег дам — хватит до конца дней ваших. Ну, что же, будем магарыч пить?

Шмило при этих словах взял Василя за плечи и встряхнул как следует, словно хотел вывести его из состояния дремоты. И в самом деле, бог знает, расслышал ли Василь слова Шмиля; только слово «земля» поразило его притупившееся сознание и разбудило в нем какую-то темную, неясную и неопределенную тревогу. Он взглянул на корчмаря, будто первый раз его увидел, и, покачав головой, проговорил:

— Нет, нет! Этому не бывать! Не хочу, слышишь? Не хочу!

Случается, дитя малое упрется, само не знает почему: не хочу да не хочу! А почему не хочет, отчего не хочет, — и спрашивать напрасно.

— Ну, как хотите, я вас не неволю! Мне все равно, пусть ваша земля так пустой и лежит, какое мне дело? — говорил хитрый Шмило, наливая Василю еще рюмку. У него в голове уже составилась другой план, ме ее опасный и более верный. Но только было собрался он снова заговорить с Василем, как за столом, где сидели нефтяники, поднялся такой крик и шум, что Шмило подпрыгнул, как на пружинах, и побежал наводить порядок.

— Что тут такое? Что тут такое? — раздавался его пискливый голос среди общего шума. Водка уже начала ударять нефтяникам в голову. Они повскакивали с мест, размахивали руками и говорили громко; за шутками следовали споры, и уже доходило до драки, когда Шмило вмешался, разнимая полупьяных парней.

— Ну, что вы делаете? Не шумите, разве нельзя ве-

селиться тихо, как бог велел! Зачем драться и за волосы друг друга таскать?

— А ты, гнусная твоя морда, чего к нам лезешь? — раздалось сразу несколько грубых голосов. Шмило продолжал говорить, а те зашумели еще сильнее, потом и кулаки загремели по столу, и бутылки зазвенели об пол. Шум поднялся невероятный. Шмило притворно кричал и вспил, что это «разбой», но в душе смеялся и радовался, зная, что теперь вырвет у пьяных все, что они имеют.

А Василь под этот шум и гам уронил на грязный стол голову и заснул крепко, как ребенок.

XIV

Медленно, однообразно тянулись дни в Бориславе. Спокойный порядок деревенской жизни был нарушен. Грохот, стук, крики, ссоры да песни не умолкали ни днем, ни ночью. В полях не раскинулись широко зеленыя, как прежде, волнуясь и шелестя под теплым ветром. А вместо свежей пахучей зелени все больше вставало холмиков серой глины, под которыми в темной удушливой глубине за кварту водки работали по целым дням парни и мужики, забрызганные грязью, нефтью, работали горько, добывая несметные богатства своим угнетателям.

Прошло лето, сжали хлеб, да немного по этому поводу песен раздавалось в Бориславе. За холмами в Тустановичах, Попелях и в других соседних селах копен стояло в поле — что звезд в небе, а на бориславских землях лишь кое-где снопики виднеются. Уже второй год — наказание господне, да и только!

Василево поле засевал Шмило. Василь ни к чему не притрагивался. Но хитрый шинкарь смотрел за ним, как за ребенком, опекал, кормил, а больше поил и внимательно следил за тем, чтобы Василь как можно меньше ходил по селу. Да и Василь, правду сказать, не очень стремился к этому, — к кому ему было пойти? В селе все его избегали, хоть многие были ничем не лучше его.

Дело было около Покрова. Василь сидел в корчме, у печки, какой-то невеселый. Правда, его лицо не

выражало печали, оно вообще уже ничего не выражало; но его губы шептали, как сквозь сон: «Михайлик мой, сыночек любимый, где ты? Почему не наведаешься? Смотри, меня тут обижают, гонят из хаты, на позор выставляют, а я ведь хозяин, богач на все село! Видишь, сыночек, видишь!»

Страшно смотреть на человека, у которого вместе с упадком всего организма пришли в расстройство и духовные силы. Страшно слышать, как такой несчастный, взволнованный чем-нибудь, бессознательно выражает свои впечатления словами, в которых сам не может дать себе отчета, но которые все же не что иное, как отголоски самых сильных впечатлений его предыдущего существования, оставивших след в его памяти. Слова льются из уст, но по глазам такого человека видно, что его душа, его внимание заняты чем-то иным, неясным, неуловимым. И невольно приходит мысль, что это говорит не человек перед нами, а за него говорит кто-то другой, чужой, незнакомый до сих пор, какая-то иная душа.

Но слова Василя были связаны с действительностью. С некоторых пор Шмило, повидимому осуществляя свои планы, заметно охладел к нему, начал обходиться с ним, как со слугой, а потом и как с дармоедом. Василь, бедняга, долго не замечал ничего. Все для него было хорошо, была бы ему рюмка-другая водки да лавка под печкой для ночлега. Но еврей, уверенный в своей добыче, уже не думал больше ухаживать за Василем и опекать его и решил как можно скорей от него избавиться. Вот сегодня утром, когда Василь встал и, не говоря ни слова, как обычно, подошел к стойке и протянул руку, Шмило показал ему кукиш. Но Василь посмотрел на него, как ребенок, который не понимает, что ему говорят, и его рука попрежнему была протянута над стойкой.

— Ну, что надобно, пьяница? — крикнул шинкарь, отвернувшись.

— Водки! — сказал Василь, показывая рукой.

— Не дам! Иди к черту! Довольно мне дармоеда держать!

— Ну, давай, давай! — продолжал Василь, не слушая того, что ему говорилось,

— Оставишь ли ты меня в покое, собачья вера, пьяница! Нет у меня бесплатной водки! Заплати мне за все, что съел и выпил! Давай деньги.

Василь, широко вытаращив глаза, уставился на Шмила и стоял ни два, ни полтора. Корчмарь потерял терпение: он выскочил из-за стойки и изо всех сил толкнул Василя к печке. Ударился бедняга Василь локтем о стенку и без сил сел на лавку, понунив голову. И именно в то время, когда шинкарь ворчал себе под нос всяческие угрозы и ругательства по адресу Василя, тот проговорил вышеприведенные слова о Михайлике. Дрожащий голос Василя раздался в пустой, просторной корчме, как голос мертвеца, а самые слова были столь неожиданны, что даже у Шмила мурашки по спине забегали.

— Ну, что? Уже с ума спятил? — прошептал он.

В эту минуту открылась дверь, и на пороге появился хорошо одетый стройный парень с котомкой за плечами.

— Дай боже доб... — начал он, снимая шапку, поглядывая вокруг, но осекся на полуслове, увидав Василя на лавке. Он впился глазами в его бледное, одутловатое лицо, следил за неуверенными, бессознательными движениями его рук и головы и стоял некоторое время молча, будто силился в этой страшной развалине узнать еще недавнего Василя Пивторака.

А Шмило тоже уставился кошачьими хитрыми глазами на парня. Сперва на лице Шмила изобразилось некоторое беспокойство, но сейчас же его зеленоватые глаза загорелись радостью. Он узнал Ивана и догадался, что тот, пррслужив три четверти года, вернулся к отцу, чтоб его спасти, но Шмило понял тут же, что Иван пришел слишком поздно.

XV

Иван молча повел отца в старую, опустевшую хату. Господи, что творилось в душе у несчастного хлопца, когда он увидел все хозяйство заброшенным, запущенным, разрушенным, когда увидел, что тут, где еще недавно текла тихая, покойная, полная довольства жизнь, теперь нет ни скотинки, ни травинки, что все покрылось пылью, доросло осотом и крапивой!.. Он даже за голову

взялся, осматривая все это разрушение и запустение, но отцу не говорил уже ничего. Василь в это время сидел на своем старом месте на лежанке, хотя в печи и не горел огонь, а от стен тянуло тем неприятным, до костей пронизывающим холодом, которым тянет от всякого заброшенного жилья.

Вечерело. Солнце закатилось за тяжелые серые тучи; с запада подул холодный ветер; погода портилась; целая туча густого, удушливого нефтяного угара легла на Борислав, словно нищета и горе придавили его своей широкой грудью. Иван, оглядев всю усадьбу, погоревав и подумав, что делать, пошел к Кирницкому купить хлеба и жареной колбасы на ужин себе и отцу. Вернувшись с купленным, Иван застал Василя на том же самом месте, где оставил его; он сидел и дрожал от холода. Иван затопил печь и положил перед отцом хлеб и колбасу.

— Закусите, татуня, вы нынче проголодались.

Василь потянулся к хлебу и колбасе, но как-то неловко, словно чужими руками. Отрезал краюшку и долго держал ее в дрожащей руке, искоса поглядывая на сына.

— Что с вами, татуня? Почему не едите? — спросил Иван, кончая свою долю.

Василь ничего не ответил, оглядел хату каким-то странным взглядом, заглянул под лавку, поднес краюшку ко рту и снова искоса глянул на сына, украдкой, робко, будто хотел ему что-то сказать и сам этого стыдился. Иван, со свойственной всем беднякам догадливостью, сейчас же заметил, чего отцу недостает. Лицо его стало печально, и как человек, который принимает на себя великую тяжесть, он поднялся и, не говоря ни слова, направился к выходу.

— Нет, нет... не ходи, не надо... не буду больше, ей-богу, не буду! — прошептал Василь, тоже догадавшись, что сын задумал, но Иван был уже в сенях, а через мгновение скрипнул дверью и вышел на улицу.

«Вот какое у меня счастье! — думал Иван, направляясь в шинок. — Думал, застану отца при работе, дома, на хозяйстве, здорового, как господь велит, а вот как вышло! И что с ним теперь делать? Как за ним присматривать?»

ривать, как его опекать? Видать, от выпивки так легко не отвыкнет, ежели без водки и кусок хлеба ему в горло не идет!.. А тут еще и хозяйство прахом пошло, хоть расшибись! Ну, как тут быть?..»

Иван совершенно справедливо полагал, что отцу не отвыкнуть быстро от водки. Его старый, страданиями надломленный организм, сожженный чрезмерным употреблением алкоголя, тем только и держался, что проклятая жидкость придавала ему силы. Василь погиб бы, если б кто-нибудь сразу захотел отучить его от пагубного, жгучего напитка.

Быстро вернулся Иван с четвертой водки и снова засел с отцом кончать прерванный ужин. После двух рюмок оживилось слегка лицо Василя, в глазах заблестели слабые искорки, но разговор как-то не клеился, да и эл Василь очень мало, как ни заставлял его Иван.

— Ну, татуня, что ж мы теперь будем делать? Чем тут помочь? — начал Иван, прибрав остатки ужина и поставив бутылку с водкой в угол на полку. Василь все еще продолжал сидеть на лежанке и, видимо, старался не глядеть на бутылку, отворачивался, вздыхал и не знал, куда деть свои руки. А когда Иван взял ее с лежанки, он лишь украдкой взглянул на полку, где теперь стояла бутылка, и снова робко отвернулся. Иван не замечал этого. Его мучили мысли, как привести в порядок хозяйство.

— Вот видите, мой заработок невелик, всего тридцать гульденов, ну, на первое время и это пригодится. Ну, а после зимы придется-таки где-нибудь тут стать на работу.

— Так, сынок, так, — сказал Василь.

Долго еще говорил Иван, стараясь не помянуть ни словом о том, что отец свел хозяйство на нет, а Василь все поддакивал, то дремал, а то поглядывал украдкой вверх, на потолок, а потом на полку, где стояла в углу бутылка с водкой.

— Ну что ж, не пойти ли нам спать? — сказал под конец Иван, увидев, что от отца не добиться живого слова.

— Так, так, пойдем спать, — живо подхватил Василь, — устал небось сердечный?

Иван, не отвечая ничего, начал вечернюю молитву, одновременно с тем и раздеваясь и отыскивая всякие лохмотья, чтобы постлать их отцу.

Иван долго не мог заснуть, оттого ли, что лежал на голой печи, одной только свиткой укрытый, или оттого что в хате тянуло резким холодом, а может быть, не давала ему спать тяжелая тоска, мучившая его неотступно весь нынешний день, с тех пор как он увидел отца и хозяйство в таком плачевном состоянии. Бедный хлопец и не догадывался, что состояние это гораздо хуже, чем ему на первый взгляд показалось! Василь лежал спокойно, повидимому спал. Но около полуночи, когда Ивана стала охватывать первая дремота, разбудил его какой-то странный шелест на отцовской постели. Дремота прошла сразу. Иван съежился, затаил дыхание и насторожился. Вот он слышит шлепанье, словно кто-то ходит по хате босиком, потом глухой шелест, словно кто-то ощупывает стены и лавки. Сперва Ивану пришли в голову глухие слухи о покойнице-матери, будто она ночью ходит по хате, и волосы поднялись у него на голове от невольного суеверного страха. Но вот слышит — звякнула миска на полке. скамья загудела под тяжелыми ногами, и Иван, изо всех сил всматриваясь в темноту, разглядел темную, неясную фигуру отца, который стоял на лавке и одной рукой держался за верхнюю полку, а другой, повидимому, шарил в углу. «Что такое? Что он ночью там ищет?» — было первой его мыслью, но через секунду какое-то бульканье все объяснило ему и показало, что искал старый Василь. Гнев и отвращение овладели Иваном одновременно. «Старый пьяница!» — проворчал он, но сейчас же почувствовал глубокое сердечное сожаленье к отцу, — не по своей же воле он таким стал, и, может, в этом и его, Ивана, вины немало. Зачем он оставил отца в то время, когда тот, измученный, надломленный, бедой пришибленный, не мог не рассердиться на него за такой поступок, за такие слова? Почему не смолчал, не простил отцу минуту забытья? «Что с ним теперь делать? На кого оставить, если придется мне на целый день уходить на работу? Ох, царю небесный за что ты меня так тяжело караешь?» — Такие мысли ползли, как тяжелые осенние тучи в Ивановой голове.

А бутылка долго-долго булькала, пока, наконец, видно, не опорожнилась до дна; Василь нетвердою рукой поставил ее на полку, а сам снова, тихонько шаря вокруг и ступая по хате, полез на постель, с тяжелым, глубоким вздохом упал на нее и тотчас заснул как убитый. Так проспал он всю ночь, даже не шевельнувшись, только из его груди время от времени вырывался зловещий, как при астме, хрип, который наши селяне обозначают печально-юмористическим выражением: «Христос в груди играет».

XVI

Нельзя рассказать, как горько и стыдно было на другое утро Ивану встречаться взглядом с отцом. И Василь, проснувшись, тоже, повидимому, стыдился своей вчерашней слабости, а когда сын первый взглянул на него как только мог спокойней, ему показалось, что это — гнев и угроза, и несчастный отец затрясся всем телом, как малое дитя перед розгой, и едва слышно пролепетал:

— Иваночко, в последний раз... не буду больше, ей-богу, не...

Но едва успел Иван освоиться и немного поприбрать в хате, как в хату вбежал пономарь, низенький, сухой человечек с седыми висками, но для своих лет очень живой и подвижный.

— Слава Иисусу!

— Во веки веков слава, — ответил Иван.

— Иван, Иван, — быстро заговорил старик, — вот хорошо, сынок, что я тебя застал, а то бегу и думаю: «А вдруг он уже ушел!» Оказывается, нет! Хорошо, сынок, что тебя вижу: меня его преподобие послали, чтоб ты сейчас же шел к ним, что-то тебе хотят сказать.

— Мне?

— Ага, ага! Да вот и кума Василя просили. Кум Василь, собирайтесь, зачем-то вас его преподобие просят. Вчера, как узнали, что Иван вернулся, так и сказали: «Ну хорошо, надо будет с ним поговорить». Идите, да поскорей!

Говоря эти слова быстро, словно горох рассыпая,

пономарь вертелся и скакал по хате от Ивана к Василию, размахивая ореховой палкой, как гасильником. Иван немало удивился, услышав о неожиданном приглашении. «Что он мне скажет? Может, снова даст такой же совет, как в прошлом году?» — подумалось ему. А Василь сидел, не говоря ни слова, и кивал головой, как во сне, но его исхудалое, несчастное и старое лицо не выражало ни любопытства, ни удивления, ни вообще какого-нибудь чувства.

— Ну что, тату, — сказал Иван после ухода пономаря, — надо нам пойти к попу; кто знает, что ему от нас нужно.

— Как же, сынок, как же, — сказал Василь, поднимаясь.

Иван натянул на него кожух, запахнул свитку, и пошли они вдвоем по грязи после вчерашнего дождя.

Пора мне, во избежание всяких недоразумений и упреков, сказать здесь несколько слов о характере и намерениях батюшки.

Бориславский священник был человек средних лет, среднего роста и вообще средний, обыкновенный человек, каких много встретить можно. На лице его нельзя было найти ни одной резкой, типичной черты, в характере ни одного ярко выраженного, смелого штриха, ни одной сильной страсти. Такие люди встречаются у нас очень часто среди так называемых образованных слоев нашего народа. Их холодная, спокойная кровь никогда, или очень редко, восстает против их разума, — значит, и разум их, не зная сильного противника, обычно не поднимается над уровнем повседневной спокойной жизни, а поднявшись выше, чувствует себя не совсем уверенно. Таким людям легко стать честными и порядочными в обычном, будничном понимании этих слов, а если им случится быть начальниками, пастырями, руководителями, их подчиненные бывают ими довольны, вот и все. И бориславский священник был честным человеком, искренне желал добра своим прихожанам, но, занятый домашними делами и однообразным течением повседневной жизни, никогда не имел времени даже подумать, достижимо ли это добро и как его достичь. Он ограничивался предписыванием правил, которым его научили в семинарии, то есть дидактическими проповедями, и за

пределы абстрактной науки о морали не выходил. Грешно было бы сказать, что его слова когда-нибудь были нарочито направлены против определенного лица, что в его поступках скрывалась корысть или злоба, или что-нибудь подобное. Если и случалось ему требовать с более зажиточного более высокой, чем обычно, платы за какую-нибудь потребу, то вызывалось это скорее правилом «с имущего много и спросится», чем алчностью или корыстолюбием.

Но с некоторых пор священник заметил, что прихожане беднеют, что спекулянтов прибывает в село все больше и что из-за этого даже и его доходы значительно уменьшились. Вот он и начал больше внимания уделять приходу, вызывал к себе не раз того или другого в свободное время, чего прежде никогда не бывало, и поучал, разумеется не с практической, а больше с моральной, церковной точки зрения. Такое поучение ожидало нынче Василя и Ивана.

Дрожащий, испуганный предстал Василь перед батюшкой, как крестьянский хлопчик, который, первый раз придя в школу, видит усатого учителя с тростью в руке. Его неустойчивые и неясные мысли окончательно перепутались, шапка выпала из рук на пол, и Василь долго смотрел на нее, наклонился, начал шарить рукой, будто хотел поднять, но тут батюшка заговорил, и Василь невольно обратил глаза на него и долго стоял, наклонившись, и шарил рукой по полу, не будучи в состоянии поднять оброненную шапку.

Священник сперва обратился к Ивану. Неизвестно почему, но сначала он сделал вид, что не заметил Василя: может быть, хотел еще больше унижить и пристыдить «закоренелого грешника», отдавая предпочтение молодому перед старым, сыну перед отцом.

— Ну, что там, Иван? Ты уже отслужил? — спросил он, важно смерив парня взглядом с головы до ног.

Ивану самому было не лучше, чем отцу; он поклонился еще раз и отступил на шаг, чтобы батюшка обратил внимание на Василя.

— Да, отслужил, ваше преподобие. А вот нынче утром пономарь приходил и сказал, что его преподобие хотят с отцом поговорить; а они что-то ногами болеют, так и я уж с ними сюда пришел.

— А, правда, и вы тут, Василь! — воскликнул священник, будто только теперь заметив старика и удивляясь. — Так, так... давно мы не виделись, верно? Что-то вы на нас очень прогневались! А-а! Ни в церковь не изволите ходить, никуда! Ну, видать, прогневили мы вас!.. А может, правду говорят: в церкви ничего не дают, а у Шмила можно за меру жита рюмку водки получить! А, и это возможно!..

Василь стоял и теперь, как раньше, уставившись мутными глазами на батюшку и тщетно стараясь нашарить на полу свою шапку. Тупое и бессмысленное выражение его лица свидетельствовало о том, что он вовсе не понимал, чего хочет от него его преподобие.

— Ну что, Василь, рассказывайте, как вы жили-поживали все это время? — продолжал батюшка насмешливо, но, увидев, что Василь не собирается отвечать, быстро отвернулся от него и снова заговорил с Иваном:

— Ага, ага, я и забыл спросить тебя, как там у вас? Хозяйство в порядке или нет? А то, знаешь, уже староста мне говорил, и другие люди, что в твое отсутствие Шмило слишком у вас хозяйничал: все, что мог захватить, таскал из усадьбы...

Иван при таком неожиданном обороте разговора не знал, что и сказать. Священник затронул самый больной вопрос, и Иван долго колебался, рассказать ли его преподобию все как есть, или нет? Потом решил: «Что делать, таиться нечего, коль беда за плечами, к тому же отец в таком положении, что ни оставить его одного в хате, ни к какой-нибудь работе приспособить нельзя. Теперь самое лучшее для него было бы — покой да приглядеть хороший, а что я могу сделать?.. Вот если б его преподобие...»

Удивительная мысль мелькнула у Ивана в голове. Он попросил священника разрешить отцу сесть, а сам пошел с ним в другую комнату. Тут рассказал он священнику о всех своих горестях, о разоренном хозяйстве и отцовском несчастном недуге, пожравшем все его силы. Рассказав, Иван попросил батюшку помочь ему.

— Гм-гм... — сказал батюшка, покачивая головой, — видишь, любезный, видишь, к чему это приводит! Берегись вина, любезный, как геенны огненной! А помочь?

Чем же я тебе могу помочь? Что я могу тут сделать
Скажи сам, что я могу сделать?

— Вот, знаете, ваше преподобие, что? Возьмите вы отца к себе... Пусть побудет немного здесь: у вас на глазах он будет все же... знаете... как на привязи, лишнего себе не позволит... такого... Ну, а за ложку еды да за ночлег мы с вами рассчитаемся. Вот только, если б он хоть малость исправился, а я за это время хозяйство кое-как на ноги поставлю и, может, господь милосердный даст, чего-нибудь и добыюсь!

Священник, услышав такое удивительное предложение, теперь и сам раскрыл рот и вытаращил глаза, как это делает и наш брат, простой человек. У него была впечатлительная натура, и эти слова поразили его. Он начал думать и соображать, как и что, да пособишь ли этим, да кто знает, что может статься, да не будет ли неудобства в доме от такого человека. Но Иван уверен был, что это лучший выход, что это лучшие руки, каким можно было бы доверить отца, и начал просить и умолять так, что батюшка в конце концов согласился.

Иван, довольный этим, пошел сказать отцу обо всем.

— Ну что ж, татуня, — кончил он, — как же вы? Его преподобие хотят, чтобы вы тут остались и прожили до весны под их присмотром. Согласны?

Василь с трудом понял, о чем речь.

— Его преподобие хотят? — спросил он через минугу.

— Да, — ответил Иван. — Ну что ж, останетесь?

— Нет, — сказал Василь и резко покачал головой.

— А почему нет?

— А ты что будешь делать? — спросил Василь.

— Я? Обо мне не беспокойтесь. Мне даже лучше будет, если вы здесь останетесь.

Василь странным образом сразу вдруг понял эти слова. Глубокая, жгучая боль охватила его сердце; это были последние, дотлевавшие уже искры — чувства подлинно отцовские. Он не сказал ни слова, но так печально, так жалобно искривился его рот, как у ребенка, которого незаслуженно ударили; его исхудалое, пожелтевшее лицо как бы говорило: вот до чего я дожил, — собственное дитя от меня отрекается. Иван понял это и быстро добавил:

— Нет, татуня, не поймите меня так, будто вы мне не милы или как там! Избави бог! Хороший бы я был сын! Я это лишь к тому говорю, что теперь придется мне изо дня в день то на работу, то сюда, то туда, а вы какие? И больны, и немощны, что вам одному делать в хате? Вот потому-то я и просил его преподобие... Знаете, тут за вами скорей кто-нибудь присмотрит...

— Значит, ты его преподобие просил?..

— Я... А что?

— Ничего, ничего... Уж если так...

— Что если так?

— Так уж лучше мне остаться!

— Оставайтесь, татунцю, оставайтесь. Только до весны... А я в это время приведу в порядок кое-что, вы поправитесь, да и заживем снова вместе, любо, мило, как бог велел...

Много еще говорил Иван, но все напрасно. Василь не слушал его: раненое сердце не так быстро заживает у старых, к тому же больных людей. И всякая рана, даже самая пустячная, для них в десять раз мучительней, чем для сильного и здорового. И расставанье их было печально и невесело. А священник в это время прохаживался взад и вперед по соседней комнате, обдумывая, с чего начинать с Василем и каким образом быстро и верно исправить закоренелого грешника. Надо еще и то принять во внимание, что священник болезненный идиотизм Василя принял за упрямство и жестокосердие, присущее всем тяжким, закоренелым грешникам, и потому решил теперь попробовать всеми способами это упрямство вылечить и смягчить окаменевшее во грехе сердце Василя.

XVII

Когда ушел Иван, Василь в первый раз осмотрелся вокруг и, увидев, что он один в чужой комнате, ощутил какую-то неясную тревогу, некий страх, словно близость огромной опасности. Белые, чистые стены поражали его непривычный к этому взгляд; за окнами виднелся небольшой сад с желтыми листьями и заросшими дорожками, а дальше за нешироким, уже сжатым полем, шумел

темнозеленый сосновый бор карпатский, который жители Подгорья называли Дилом. Этот вид показался Василию таким роскошным и прекрасным, таким новым и свежим после душной шмиловский корчмы, что он тут же захотел освежиться на этом холодном осеннем воздухе. Вошел священник.

— Так вот, Василь, ты у меня остаешься.

— Так, так, ваше преподобие, — сказал Василь, кивая.

— Но знаешь, у меня нельзя даром хлеб есть, будешь делать, что сможешь.

— Буду, ваше преподобие.

— А Шмила, любезный, надо вовсе забыть: я буду строго за этим следить.

Василь, неизвестно почему, повесил голову и не сказал ни слова.

— Ну, — сказал священник, — сегодня возьмешь заступ и грабли, будешь в саду дорожки чистить. Умеешь?

— Умею, ваше преподобие!

— А теперь ступай на кухню, пусть дадут тебе чего-нибудь поесть.

Василь только теперь поднял шапку с пола и пошел нетвердым, нерешительным шагом в кухню.

Двигутся по небу серые тучи из-за Дила на долину и кропят ее мелким холодным дождиком. Дует влажный ветер в саду и стряхивает сухой лист с веток. Серо, печально, тускло на свете. Какая-то тяжесть нависла над землей и, кажется, давит все живое, мешает дышать, останавливает движение, гонит мысли веселые. Нависла она, видно, и над Василём. Ковыляет он, сердечный, по крутым дорожкам сада и, хоть одет хорошо, дрожит от холода. Свежий воздух вовсе его не освежает, — наоборот, все больше пронизывает холодом, давит на грудь, как камень. Роскошный вид совсем его не радует — наоборот, навеивает на него, после того как он присмотрелся к нему, скуку какую-то и тоску, будит в сердце какое-то страшное, давно заснувшее горе. Напрасно старается бедняга быстрее двигаться, согреться, работая, напрасно хватает дрожащими руками то заступ, то грабли, силы его оставили, все тело как-то немеет. «Эх, согреться бы самую малость», — подумал Василь, но сейчас же испу-

гался и оставил эту мысль, вспомнив слова священника: «Буду строго следить...» Но пока он так думал, из рук его уже выпали грабли, выпал заступ, все словно исчезло у него перед глазами. «Как холодно! Надо согреться, обязательно надо... Тогда за работу, тогда и сил прибудет!»

Такие мысли сновали в голове у Василя, а тем временем неизвестная какая-то, темная, сильная рука гнала его дальше и дальше в конец сада к перелазу, за которым утоптанная тропинка поворачивала в село. «Нет, я не пойду, надо удерживаться, взять себя в руки... А что его преподобие скажут?» — промелькнуло в голове у Василя, но он в это время уже перебрался через перелаз и что было духу спешил по тропинке через поле в Борислав.

Священник был занят в клуне и только после обеда заметил, что Василя нет в саду. Сразу начал расспрашивать слуг, где он, но никто не заметил, как он исчез. Старый слуга Климко говорил даже — дескать, «кто знает, не угодил ли бедняга в болото да и не погиб ли, дескать, по глазам было видно, что недолго ему на свете жить». Но батюшка нетерпеливо махнул рукой в ответ на такую болтовню и возразил: «Толкуй себе! Пьяница негодный! В корчму потащился! Я по глазам его вижу, не бойся! А ну, ступайте кто-нибудь в село, не найдете ли его в каком-нибудь шинке! Сейчас же привести мне его сюда!»

Сказав так, батюшка пошел в комнату, а старый Климко покачал головой, будто очень не хотелось ему верить словам его преподобия. «А впрочем, — проговорил он через минуту, — какое мне дело? Ну, Сень, собирайся да сбегай, раз его преподобие приказали... посмотрим!..»

Сеню, двадцатилетнему крепкому хлопцу, повторять не надо было. Быстро запахнул он свою полотняную куртку, подпоясался узким ремешком и побежал в село, надвинув на лоб небольшую барашковую шапку. Ему очень нравилась эта прогулка: в селе была у него зазноба, которую он не увидел бы до самого воскресенья. А кроме того, тянуло его и рюмку водки выпить: священник у себя дома даже видеть ее не мог. Нечего говорить, что Сень, действительно, быстро добрался до самого центра села, но тут немалое время развлекался у вдовы

Гнатихи, разговаривая то со старухой, то со своей подружкой Оленой, как раз собиравшейся трепать лен в сенях.

Но под конец Сень вспомнил, зачем послал его ба-тюшка.

— Эх, Гнатиха, — сказал он, — вот память! Я и забыл, зачем пришел! Не видали ли вы старого Пивторака?

— Пивторака? А зачем он тебе?

— Да вот его преподобие послали меня сейчас же привезть Пивторака на поповский двор.

— Пивторака на поповский двор? А зачем? Тьфу!.. Спрашиваешь, не видала ли я его? Видела, видела! Перед полуднем притащился в село, да и пошел к Шмилу. А я еще и думаю: вот старый Пивторак идет пропивать последний клочок земли! А тут слышу, крик поднялся возле шинка. Выбегаю, смотрю, а Шмилиха дерется посреди улицы с Василем. И кричит, и визжит, и все бедного Пивторачища кулаками молотит, а он все упирается, все поглядывает на шинок. «Тьфу, что такое?» — думаю. Побежала я туда, другие сбежались: что такое, что такое? Шмилиха ничего, только еще громче визжит: «Пьяница, не хочу его и в глаза видеть! Чего он лезет в мой дом!» Тут люди к ней: «Постой, баба, не бей его, говори, что случилось?» А она как раскроет пасть и нам: «А вам какое дело, мужики, гаврилы, хомуты? А не пойдете ли вы к чертовой матери?» Чтоб тебя, думаю, холера взяла! И спрашиваю Василя: «Что случилось?» А он стоит столбом, ни два ни полтора, а потом плюнул, вздохнул, да и побрел вон туда, к Мошке в шинок...

— Куда? Говорите, к Мошке? — спросил Сень.

— Ага, туда, к рыжему Мошке. Там, видно, и до сих пор сидит, я не заметила, чтобы оттуда вышел.

Сень не дослушал ее слов и что было духу побежал по грязным переулкам в Мошкин шинок.

А с Василем вот как дело было. Выйдя из поповского сада, он с трудом поплелся к Шмилу, ворча всю дорогу, что «про Шмила, любезный, надо вовсе забыть», и что его преподобие очень будут гневаться, если он напьется, и что Иван, дурное дитя, не любит своего отца, хочет его выгнать из родной хаты и пустить по миру. Но,

несмотря на все эти мысли и слова, Василь шел и шел дальше, не стараясь даже понять, куда и зачем идет. Он вовсе не удивился, очутившись перед шинком Шмила, а потом, ни минуты не колеблясь, напрямик вошел в шинок, молча стал около стойки и протянул руку Шмилихе, прося обычную порцию водки.

Шмила не было дома. Он еще весной докопался до нефти в колодце у Василя, а летом черпал ее уже из трех других, вырытых на купленном участке. Разумеется, Шмило теперь орудовал уже немалым капиталом. Но ему и этого недостаточно было. Он долгое время трудился над тем, чтобы добиться большего, — и теперь его цель была достигнута. Он поехал в Дрогобыч, чтобы оформить, что надо, с начальством. Шмилиха, конечно, не знала, что это за дело, но хорошо знала, что Василю незачем уже угождать. Она, увидев протянутую руку Василя, очень рассердилась и начала, по обычаю всех шинкарок, кричать, бранить и позорить Василя. Но тот, не обращая никакого внимания на ее проклятия, продолжал стоять молча, неподвижно, с протянутой над стойкой рукой, пока рассвирепевшая шинкарка не вскочила и не толкнула его изо всех сил в грудь. Василь, который и так едва держался на ногах, покачнулся, потерял равновесие и повалился навзничь. К несчастью, позади него стоял стол с пустыми бутылками и рюмками, — и Василь упал на него. Стол пошатнулся, бутылки и рюмки опрокинулись и со звоном попадали на пол, разбившись вдребезги, но Василь остался невредим. Зато шинкарка, оглушенная звоном, пришла в страшную ярость, подняла шум на полсела и вытолкала бедного Василя из шинка на улицу.

Очутившись таким образом опять на вольном воздухе, Василь стоял некоторое время, ничего не сознавая, ни о чем не думая, среди людей, которые завели перебрашку со Шмилихой, а потом пошел по грязному переулку. Из окна одной хаты, более грязной и ободранной, чем другие, окликнул его кто-то. Он оглянулся, уставился на хату и на веху над дверями, которая у нас означает шинок, и, не понимая, кто и зачем его зовет, вошел. Это был шинок под названием «У рыжего Мошки» — один из самых жалких и омерзительных шинков в мире. Гни-

лой пол покрыт был толстым слоем жидкой грязи, — на грязных лавках и под столами лежали оборванные люди в черных, залитых нефтью лохмотьях, с землистыми, страшными лицами, на которых оставили свои следы и недуги, и переутомление, и лень, и нужда, и бог знает, какие еще «смертные грехи». Только два человека стояли посреди корчмы и хриплыми, надорванными голосами недружно пели какую-то несвязную песню. Василь, очутившись в шинке, забыл совсем, что кто-то его звал, и прямо подошел к стойке и протянул руку так же, как у Шмилихи. Рыжий Мошка хорошо знал Василя и его теперешнюю жизнь, знал, что денег на водку у него нет, но, увидев на нем еще довольно хороший кожух, сообразил быстро, что кварту водки он стоит, и, налив большую рюмку, поднес ее Василю.

— А, Пивторак! А, видишь, пришел! А то, вижу, плетется, черт знает куда, думаю, позову человека!..

Василь, вытаращив глаза, смотрел на нефтяника, к нему обращавшегося, но не мог узнать, кто это и что от него хочет. Выпив одну чарку, он протянул руку с рюмкой над стойкой, и шинкарь быстро налил ему вторую, за ней пошла третья, четвертая, и понемногу Василь почувствовал, что у него в груди начинает шевелиться какое-то тепло, — он сел на лавку у стены и, опрокидывая рюмку за рюмкой, поводил блуждающим взором вокруг.

.....

Не очень торопился Сень покидать Гнатику. Но, услышав, что случилось с Василем, быстро побежал к Мошке, вспомнив, что пора возвращаться на поповский двор. Но тут он увидел, что Василь уже без памяти и без кожуха лежал на лавке. «Ну, хваткий казак, — подумал он, — быстро наугощался! И с чего тут начинать, как с ним, сердечным, дотащиться до попа? А впрочем, тьфу, там увидим!..» Так подбодрив себя, он выпил немалую чарку для храбрости и принялся будить Василя.

— Эй, Пивтораче, вставай! А ну, шевелись да поживей: пойдем, горемыка, на веселую горку.

Долго встряхивал Сень старика, пока тот хоть немного опомнился. Сень не стал долго разговаривать,

подхватил Василя и потащил по селу, увязая почти по колени в густой грязи, и чуть не до смерти измучился, пока добрался до поповского дома.

Батюшка даже за голову схватился, увидев Василя в таком состоянии. Он сперва рассердился, начал кричать и укорять, но вскоре сообразил, что крик и укоры не помогут, так как Василь вовсе не понимает, что ему говорят.

— погоди, — крикнул священник, — я за тебя иначе возьмусь! Положи его тут на лавку, Сень, а сам ступай, освободи чулан на чердаке. Ничего, там будет ему хорошо, накормлю его, пусть немного посидит; а то еще раза два-три так нальется — и поминай как звали!

Василь сидел на лавке в сенях, прислонясь к стене. Его мускулы ослабли и голова плохо держалась: она то падала на грудь, то раскачивалась во все стороны. Мутные, глубоко ввалившиеся глаза то и дело слипались, а синие, потрескавшиеся губы вздрагивали от жара. Священник ходил большими шагами по сеням, а его долгополая ряса развевалась за ним в воздухе. Время от времени он поглядывал на Василя, и лицо его выражало то печаль о заблудшей «овце», то гнев, то бог знает какие еще праведные чувства.

Вот и Сень пришел, — чулан для Василя был готов. Священник велел парню поднять Василя с лавки и под руки отвести на чердак в предназначенную ему комнатку. Немало намучился Сень, волоча вверх по лестнице ввалившегося в беспамятство старика, который все время спотыкался и терял равновесие, так как не мог занести ногу на необходимую высоту, чтобы стать на следующую ступеньку. Но в конце концов Василя все же устроили на старом топчане, наскоро застланном чистым рядном; были тут и подушка, и одеяло. Сень раздел его, разул и уложил спать, священник сам принес ему кувшин воды, хлеба и еще кое-чего поесть и, уходя, запер за собою дверь на ключ. А Василь Пивторак не чувствовал ничего, что с ним делали, и в ту минуту, когда запирали дверь, уже спал глубоким, но тревожным сном нездорового человека, чей больной организм пожирает страшная горячка.

Ночь. Густая тьма залегла в убежище Василя. Сквозь щели в стене тянет холодом. Снизу доносится храп работников, которые спят на кухне, время от времени вскрикивая во сне. Василь лежит, как колода, на своей постели, лежит и не шелохнется, только сопит тяжело, только дышит неровно, а из глубины груди вырывается глухой астматический хрип, подобный дребезжанию разбитого горшка.

Внезапно Василь заворочался. Одеяло сползло и упало на пол; Василя, будто железными клещами, охватил холод, он проснулся. Рукою машинально провел по себе, — во сне ему показалось, что он врастает в сырую землю, земля давит его и душит, а он тщетно старается выкарабкаться из этой живой могилы. Холодный пот выступил у Василя на лбу, он тяжело дышал, хрипя пуще прежнего, а зубы вовсю стучали, — неизвестно, от страха или от холода.

Он таращил глаза, шарил руками вокруг, желая убедиться, где он; изо всех сил напрягал свою больную память, чтобы припомнить, что с ним случилось. Но тщетно! Он не нащупал ничего, кроме дощатой стены, глаза ничего не могли увидеть в глубоком мраке, а в голове у него шумело, как в старой ветряной мельнице, визжало и скрежетало, словно ножом по стеклу проводили; в горле у него пересохло, жажда жгла и давила его, как горячий камень, — он чувствовал ясно, что кровь подступает к его глазам и нажимает на них изнутри, словно хочет их выдавить. Вдобавок, заворочавшись, Василь сразу же ощутил голод: у него со вчерашнего полдня, кроме водки, ничего во рту не было, а утром на кухне у его преподобия он как-то стыдился много есть. Тысячи мыслей, путаных, неясных, мелькали у него в голове: «Где я? Что со мной? — этот вопрос мучил его больше всего. — Неужто я в самом деле ухожу в землю?» Он пробовал встать с топчана, но не мог. Эта слабость укрепила в нем страшную уверенность, что он падает в бездонную пропасть, на тот свет. Жар и жажда пригоняли к его голове все больше крови; в голове у него все смешалось, вытаращенные глаза

различали во мраке огромные, черные, каменные стены, они, казалось, все мчались над ним в высоту: значит, он падает в ад! Господи! Спаси грешную душу! Он хотел крикнуть, но его будто за горло схватили, словно собственным голосом подавился. Он начал биться в отчаянии, извиваться, как в конвульсиях, а потом без сил, без чувств упал навзничь на свой топчан.

Но его обморок продолжался только мгновение: холод и жажда быстро привели его в чувство, призвали назад к жизни, к новым мучениям. Громко стуча зубами, он вновь начал делать попытки подняться. Его наболевшее, распаленное горячкой тело ощущало гораздо острее, чем прежде, всякое прикосновение, всякую боль; густая тьма, словно замурававшая ему глаза, будила болезненную фантазию. И вот ему кажется, что он уже упал на самое дно ада, что подскакивают к нему страшные, отвратительные существа, дергают его, рвут и вытягивают из него внутренности, бьют железными молотами по голове, выдалбливают раскаленными долотами глаза. Ему казалось, что его колесуют на зубчатом колесе, что его поят кипящей смолой. В страшных образах представлялись ему теперь все наказания, о которых не раз говорилось в проповедях, как о предназначенных для пьяниц. Долго он лежал беспомощно и стонал, как тот, кто погибает, терпя страшную боль, если и не в полной мере физическую, то во всяком случае вызванную горячечной фантазией. Жар в горле становился все сильнее, шум в голове заглушал все мысли, превращая их в самые отвратительные, самые страшные голоса, когда-либо слышанные им на своем веку. Тут и ворот скрипел, как в тот день, когда Василь в последний раз поднимал своего сына из колодца, и слышалось глухое падение тела, тяжело бултыхнувшегося в глубокую пропасть, и страшные вопли матери, и все, все, что, как тараном, разбило его счастье, как громом развалило его жизнь, повергло его, уважаемого, зажиточного хозяина, так глубоко в бездну нужды, болезней и отчаяния.

И чудится несчастному Василю — все бывшие мгновения, все люди, дорогие его сердцу, встают, поднимаются отовсюду: лица у них не синие, а черные, как уголь, глаза налились кровью, нужда и отчаяние наложили

печать на их лица. Впереди идут его сыновья, все трое, за ними их мать, потом множество знакомых, сверстников, некогда таких же, как и он сам, зажиточных хозяев бориславских, которым он посоветовал рыть колодцы и которые, как и он, превратились в нищих или погибли, как его дети... Отовсюду они тянутся к нему, стонут, плачут, пищат, хохочут, и все теснее его обступают, наступают ему на ноги, на грудь, давят, толкают; их прикосновение, холодное, как лед, пронизывает его до костей, тяжело давит его, как нависшие горы. У него захватывает дух, смертельный пот заливает глаза, и вдруг из глубины измученной души вырывается страшный крик: «Смилуйтесь надо мною! Чем я виноват перед вами? Разве я желал вам несчастья? Разве я счастливее вас?»

И, собрав последние силы, он забился на топчане и глухо грохнулся на пол, бездыханный, недвижимый...

На другое утро Сень, войдя в каморку, увидел Василя на полу, завернувшегося в одеяло, скрюченного. Сперва он испугался, решив, что Василь помер. Но, услышав, что тот дышит, поднял его и уложил на топчан, оправив подушку. Даже грустно стало Сеню, когда увидел он синие, потрескавшиеся губы Василя, его глубоко ввалившиеся глаза, его лицо в синих и желтых пятнах. «Ой, недолго ему место на свете занимать», — подумал хлопек, закутывая Василя в одеяло. Василь открыл глаза и прохрипел едва слышно:

— Водицы, водицы!

Сень подал воды, и Василь долго-долго не отрывал запекшихся губ от посуды. Слышно было даже, как у него в горле глухо булькает: глотки воды падали, точно камешки в порожнюю бутылку.

— Может, покушаете горячего? — спросил Сень.

Василь кивнул головой. Голод мучил его страшно. Через минуту работница принесла миску хорошего, жирного борща, и Василь с аппетитом начал глотать ложку за ложкой.

— Не заболели ли вы часом, Василь? — спросил Сень.

Василь не сразу понял, о чем его спрашивают, а в

эту минуту Сеня позвали зачем-то, и хлопцу некогда было дожидаться ответа. Он взглянул, не надо ли чего Василию, и, увидев, что есть и вода, и хлеб, и горячая печеная картошка, и соль, — быстро вышел и запер дверь за собой.

Василь еще долго лежал на топчане, ни о чем не думая, уставясь в одну точку на стене у двери. Пережитая ночь со всеми ее ужасами и муками шумела у него в голове неясным воспоминанием. Он так ослабел, ощущал такую докучливую боль во всем теле, что боялся даже пошевелиться, чтобы не почувствовать, как болят кости. Весь день пролежал он так; вставал лишь два-три раза, чтобы взять кусок хлеба, или две-три картофелины, или воды напиться. Воды пил он в этот день очень много — у него была после вчерашнего страшная изжога, и он хотел залить ее водой.

Около полудня наведалься к нему священник; он нашел Василя на топчане.

— Ну-ну, лежи, не вставай, — проговорил батюшка, видя, что Василь силится встать. — Ну, что это с тобой вчера приключилось?

Василь не ответил. Ему стало тяжело и тоскливо, неизвестно почему.

— Ну, куда ж это господь носил тебя вчера? — спросил батюшка насмешливо. — Где-то, видать, хватил ты немало!..

— Прошу прощения у вашего преподобия... — залепетал было Василь, но не кончил, заметив, что лицо его преподобия начинает хмуриться.

— Василь, — сказал священник строго и твердо, — я полагал, что ты честный человек, что твоему слову верить можно. Я полагал: вот возьму его к себе, тут будет ему спокойней, тут и присмотрят за ним, может быть, думаю, человек поправится, перестанет позорить весь приход. А вижу — куда там! Не к тому дело клонится. Мой Василь едва из дому — и айда к Шмилу! А если так, плохо будет нам. Я этого не хочу! Знай я, что так выйдет, я бы вас вчера обоих с сыном за обе двери выставил! Фу, Василь, стыд, позор! Я не могу тебя и на улицу выпустить теперь, я не желаю, чтобы ты с пьяницами таскался. Посиди тут, под замком. Тут тихо, спокойно,

сюда тебе и есть носить будут, все... Ну, как с тобой быть? Иначе нельзя! Тьфу!..

И священник, посмотрев, все ли в порядке в каморке у Василя, вышел и запер за собой дверь. Василь остался наедине со своими путаными мыслями, с болью во всем теле, с горячкой и кашлем. До вечера еще было сносно. Он не совсем ясно понимал, что все это означает, его арест еще не надоел ему. Только горячка жжет, пить хочется. Он пьет холодную воду: пока пьет, — кажется, будто вода холодит, будто ему легче, но пройдет минута-другая, — жжет внутри, как прежде. Но все же Василь был спокоен в этот день, даже вздремнул немного под вечер. На ужин похлебал жидкой овсянки с молоком. и на минутку ему будто полегчало. Настала ночь, длинная, бессонная, страшная ночь. Только Василь глаза закроет — его каморка сейчас же наполнится, населится отвратительной нечистью, всякими страшилищами. Тут шинкари с рыжими бородами, словно огромные пиявки, ползают, сосут его кровь, бросают в жар... И явственно чувствует Василь этот жар нестерпимый в себе, ужас сжимает ему горло, лишает его сил, кровь приливает к глазам, кашель рвет ему грудь. На другое утро Василь совсем изнемог.

— Не больны ли вы, Василь? — спросил его Сень.

— Э, — ответил Василь, взглянув на него, но это «э» могло означать все, что угодно. Сень ушел, и весь день никто не навевывался к Василю. В полдень ему стало значительно легче. Воду перестал пить, даже чувствовал к ней некоторое отвращение, хотя жжение внутри не проходило. Ему надоело лежать, и хотя был он слаб, однако встал и начал нетвердыми шагами ходить по своей каморке. Взор его блуждал по стенам, будто искал что-то, а что — он и сам не знал. Ночью нечисть уже не показывалась, но горячка давала себя знать. На другой день он ходил по комнате. Чрезмерная слабость вызывала в нем странное, неприятное ощущение, будто все его тело деревенеет, ссыхается, как гриб в горячей печи. Ему казалось, что его кожа прилипает к костям, что кровь не доходит до рук и ног и не оживляет их и что вся она, горячая как кипяток, приливает к голове.

Целых две недели страшных дней и страшных ночей провел бедняга Василь в этой каморке. Скука, одиночество, горячка, ужасы, которые в конце концов начали чудиться ему и среди белого дня, — все это мучило его, жгло, пожирало, подрывало остатки жизненных сил в старом организме. Он стал кричать по ночам, метаться по чулану; его глаза пылали диким, странным огнем, а веки почернели, словно жар, бивший из глаз, превратил их в уголь. Священник часто навещал его, давал какие-то лекарства, даже приказывал Сеню спать с Василём. Но лекарства не помогали, а Сень, намахавшись за день цепом, спал ночью, как убитый. Наконец, Василь перестал метаться, перестал кричать, последние силы исчезли, последние искры жизни начали, по видимому, угасать... Он лежал на своем топчане желтый, с исхудавшим лицом, его голова пылала жаром, грудь высоко поднималась, кашель душил его все больше, в горле начало хрипеть, и, кроме глубокого, страшного стога, ничто не вырывалось из его уст.

Священник увидел, что совсем круто пришлось Василию, и послал Сеню отыскать Ивана. «Пусть позовет отцу доктора из Дрогобыча. Я бы тебя послал, — сказал батюшка работнику, — да надо работу кончать. Завтра воскресенье».

Сень пошел прямо к хате Пивторака, но, подходя к его усадьбе, даже ахнул от удивления. От хаты Пивторака и следа не осталось.

XIX

Иван, оставив отца у священника, с облегченным сердцем спешил домой, раздумывая дорогой, как начать хозяйничать сызнова и чем продержаться зиму. «Прежде всего, — рассуждал он, — обязательно надо теперь же купить зерна, чтобы без хлеба на зиму не остаться, а главное, чтобы хватило к весне посеять. Весной покупать — недокупишься: дороговизна. Ну, одежонку кое-какую надо справить для отца, сапоги и прочее». Вот он на другой же день и собрался в Дрогобыч, купил несколько мерок ржи, свитку и сапоги отцу, положил все это соседу на воз, а сам пешком направился домой.

Недобрые предчувствия шевелились в Ивановой душе, когда он пробирался по тропинкам, по жидкой грязи в Борислав. Еще идя в город, он встретил Шмила с какими-то панами, ехавшими на подводе в Борислав, и неясная мысль о несчастье, беде и гибели пронизала его душу. Теперь он спешил, весь в поту, запыхавшийся, забрызганный грязью, бежал домой, точно боялся, чтобы хата не загорелась или воры не похитили из нее бог знает каких сокровищ.

Дурные предчувствия не обманули Ивана. Подходя к усадьбе, он увидел Шмила и господ на дворе. Они за день уже обошли все его поле, а теперь осматривали постройки и огород. В руках у них были бумаги, и они все писали что-то, говоря со Шмилом по-немецки.

«Что такое?» — подумал Иван и робко вышел из-за хаты на двор.

— Слава Иисусу! — сказал он, низко кланяясь господам.

Господа обернулись и принялись мерить его глазами с ног до головы. Шмило что-то сказал им, указывая на удивленного парня.

— Ты Иван Пивторак? — спросил один из них на ломаном украинском языке.

— Я, прошу пана.

— А где твой отец?

— Прошу пана, у его преподобия, хворает.

— А ты знаешь этого господина? — тут говорящий указал на Шмила.

— Знаю, это Шмило, — ответил Иван и стал мять шапку в руках.

— А тебе известно, что он от твоего отца хочет?

— Нет, прошу пана. А что такое?

— Он говорит, что целый год кормил, поил, одевал твоего отца, присматривал за ним. Правда это?

— Не знаю, прошу пана, я в то время был на работе. А вот люди мне передавали, будто правда.

— Вот, господин Шмило показывает письма, условия, говорит, что твой отец ему продал, сколько у него денег взял, сколько наел, напил... На это все свидетели есть. Мы их расспрашивали, говорят, — все правда.

А теперь, любезный, господину Шмилу следует с вас триста гульденов, знаешь?

— Триста гульденов! — вскрикнул Иван в страшном волнении. — Господи милостивый, а где ж нам взять триста гульденов? Прямо... страх подумать!

— Видишь, — сказал чиновник, — господин Шмило не может ждать, власти присудили продать вашу хату и поле и заплатить долг. И все так должно быть!

Иван остолбенел, услышав это. Он, как сложил руки на груди, так и остался стоять безмолвный, несчастный, забрызганный грязью, — образ безнадежности и отчаяния.

— Смилуйтесь, панове, — насилу проговорил он, наконец, захлебываясь горячими слезами, подступившими к горлу. — Что ж я буду делать без хаты, без крова?

— Как что? Работай, служи... Нас это не касается! — ответили господа.

— Но у меня отец старый, больной, работать не может... Куда я с ним денусь?

— Не пил бы, паскуда! — проворчал Шмило.

— Нас это не касается! Долг должен быть заплачен, — ответили господа и пошли с Шмилом к старосте, чтобы закончить оценку и перевести имущество на шинкаря.

Иван остался дома разбитый, уничтоженный, без мысли и надежды. Услышанные слова были для его сердца острыми ножами, которые резали и кололи его без жалости. Но подобно тому, как смертельно раненный обычно со всей остротой чувствует не самую тяжелую, не самую страшную рану, а более легкую, так и Ивана сильнее всего кололи насмешливые слова Шмила: «Не пил бы, паскуда!» Эти слова не выходили у него из головы, извивались в его сознании, как щипящие змеи, тревожили и волновали, лишая его покоя, пожирая надежду, сея отчаяние и муку. Долго-долго он стоял посреди двора, смотря вокруг блуждающими глазами, а затем пошел в хату, упал на лавку и горько заплакал над своей несчастной долей.

На другой день староста, понятой и Шмило чуть свет пришли в хату к Пивтораку. Староста постоял минуту, покрутил усы и сообщил Ивану, постукивая окованной

черешневой палкой по лавке, что господа оценили всю его землю с постройками в двести восемьдесят гульденов, а в счет остального надлежит Шмилу взять у него, что будет можно. Потом важный-преважный начальник осмотрел хату, увидел на жерди купленную вчера свитку и зерно на лежанке, моргнул понятому, и тот в один миг перекинул свитку на руку, а другую руку, в знак своей власти, положил на мешок. Распорядившись так, староста повернулся к Ивану и объяснил ему, что теперь ему нечего здесь делать и что от Шмила будет зависеть, позволит ли он Ивану перезимовать в хате. Шмило, ясное дело, не позволил. «Еще тут засидится, — сказал старосте, — потом и выгнать его нельзя будет, не надо мне такого гостя». Бедному Ивану не оставалось ничего другого, как сейчас же навсегда убираться из родной хаты. На другой же день Шмило продал ее какому-то другому еврею, тот быстро нанял рабочих, старое жилище Пивторака сломали, бревна перевезли на другое место и построили из них склад; только разваленная печь свидетельствовала о том, что тут было человеческое жилье, что тут разыгрывалась одна из картин вечной, великой драмы жизни со всеми ежедневными ее проявлениями, с проблесками счастья и радости, с тучами тоски, горя и несчастья...

Всю эту печальную историю рассказала Сеню вдова Гнатиха, к которой тот побежал, увидев разрушение усадьбы Пивтораков. Он слушал и ушам своим не верил. Потом спросил про Ивана. Но Гнатиха не видала его уже недели две и даже не слыхала о нем ничего. «Разве у людей мало своего горя, сыночек? — сказала она. — Так-то вот... верно говорят: «Узнаешь о чужой беде, жди беду и к себе». Некогда было, видишь, и спросить про Ивана. Надо полагать, здесь он, при каком-нибудь колодце. Иди, может, и найдешь его. Нынче как раз суббота, работа раньше кончается».

Сень пошел искать Ивана, но нелегко ж было найти его среди сотен грязных, перепачканных лиц, среди сотен нефтяников, толпившихся по шинкам, таким же грязным, как и они сами, полным дыма, оглушительного крика, шума, гама, ругани и песен. До самого вечера ходил он по Бориславу, месяц грязь и тяжело дыша от усталости,

спрашивал, допытывался у других нефтяников об Иване Пивтораке, но хотя некоторые и знали, при каком колледже он состоит, но знали также, что он нынче не работает, а наверно, если получил плату, пьет напропалую, да еще бог весть в каком шинке. Сень принужден был вернуться ни с чем на поповский двор, и солнце как раз село за синий Дил, когда он добрался до дому.

А Иван в самом деле пил напропалую. После того, как выгнали его с его родной земли, он долго не знал, что делать. Пойти и рассказать обо всем отцу — было первой его мыслью. «Да зачем, — подумал он сейчас же, — что я ему скажу? Пользы от того никакой: что с воза упало, то пропало, а старика такая новость убить может! Так рассудив, он решил идти работать на первый попавшийся промысел. «Может, мне черт быстро голову свернет, меньше горя узнаю, а может, что-нибудь и заработаю». Недолго пришлось искать работы, он нанялся к Шереру в колодец за гульден в день, с недельной выплатой и задатком. Но тоска неусыпная пожирала во время работы Иванову душу, и в первую же субботу, дорвавшись до денег, он почти бессознательно очутился в кабаке. Началось пьянство страшное, беспробудное. «Пропади все пропадом!» — то и дело кричал несчастный хлопец. Смех, крики, похвальба, похлопывание товарищей оглушали его, волновали в нем кровь, кружили голову. Мертвецки пьяный, под утро он свалился на землю, проспал все воскресенье, а в понедельник утром встал, подсчитал оставшиеся деньги (всего осталось два гульдена), вздохнул тяжело и, повесив голову, снова пошел на работу.

Но сегодня Ивана уже не тянуло к вину. Молодая, здоровая натура невольно отворачивалась от этой отравы. Он желал покоя и счастья, а не одури или минутного забвения. Уже наступила полночь, а он все еще сидел в углу, в тяжелой задумчивости, не притрагиваясь к стакану, стоявшему перед ним.

— Эй, Иван! — крикнул над его ухом товарищ-нефтяник — он только что вошел в шинок, хотя, видно, где-то уже хорошо наугощался, — какого черта ты прячешься? Тут о тебе люди спрашивали-спрашивали, а тебя не найти!..

— Какие люди? — спросил Иван.

— Да поповский хлопец. Сказал, чтобы ты туда пришел, видно отец твой женится, что ли!

— Как, как? — спросил Иван.

— Эх ты, садовая голова! Ему говори — все равно что лопатой в голову клади! Отец болен, понимаешь теперь?

И рабочий начал протискиваться к стойке и быстро затерялся среди толпы.

Иван понял, что, должно быть, дело плохо, если его преподобие даже слугу послал искать его. Ему хотелось тут же пойти к попу, разведать, расспросить, что случилось. «Но, — подумал, — может, и не так уж плохо, а я пойду среди ночи, разбуду весь дом, еще рассердятся. Лучше завтра утречком сбежать».

Долго еще сидел Иван в углу за столом и думал о своей судьбе и горевал, и некому было с ним поговорить по-хорошему, утешить, развеселить, хотя тут, вокруг него, шумело множество человеческих голосов. Да что из того? Это были голоса таких же, как и он, горемык, без роду, без племени, которые этим криком неистовым да воплем хотели заглушить в своих сердцах неусыпную тоску и жгучее горе.

На другой день Иван проснулся позднее, чем хотел, и быстро пошел на поповский двор. Проходя мимо церкви, увидел на кладбище множество людей. Они обступили кого-то в потертой куртке, и он говорил им что-то, размахивая руками. Любопытство заставило Ивана взглянуть, кто это такой; он подошел к церковной ограде и даже остолбенел от удивления и радости. Среди толпы крестьян стоял и оживленно о чем-то рассказывал не кто иной, как его отец.

XX

С Василём Пивтораком действительно чудо произошло. Священник и все домашние не могли надивиться тому, что с ним случилось. Еще вчера вечером видели его смертельно больным, еще ночью сквозь сон слышали тяжкий кашель и стоны, а тут вдруг Василь утром встает совершенно здоровый и просит батюшку пустить его в

церковь. Что с ним такое? Как это он так быстро поправился? Нет, все домочадцы в один голос решили, что тут без чуда не обошлось.

Чуда, по правде сказать, не было тут никакого: и священник это сразу бы понял, если бы внимательней присмотрелся к лицу Василя, а особенно к глазам. Они пылали таким обжигающим, неестественным огнем, губы так часто, нервно вздрагивали, руки и колени так дрожали, что, даже не будучи слишком хорошим врачом, можно было понять, что отнюдь не выздоровление подняло Василя с постели, а страшный приступ горячки; что это возбуждение — последнее усилие организма, как последняя живая вспышка света, который вскоре совсем погаснет. Но у батюшки не было времени присматриваться к Василю, он вскоре ушел служить утреню, а затем присел обдумать немного проповедь.

Василь тем временем попросил Сеня проводить его до церкви, так как он, видно, еще не совсем выздоровел и ему трудно держаться на ногах. Как все, он твердо верил в свое чудесное исцеление. На кладбище обступили его крестьяне любопытной толпой, и Василь начал им подробно рассказывать о своих былых грехах, о своей болезни, об ужасах, которые ему мерещились, о муках, которых он натерпелся. «Но мать божья смилостивилась надо мной. По ее молитве, хозяева почтенные, поднял меня господь. Вот слушайте. Нынче утром лежу я — не сплю... Чувствую, открывается дверь, да так тихонько, что и не слышать. Смотрю, входит женщина, вся в белом, а от нее такое сияние, что глазам больно. Вот она подходит ко мне, а я лежу и трясусь, да все молитвы творю. Она, братцы, положила мне руку на грудь, и сменя будто бы жернов сняли, так сразу легко стало. «А что, лучше тебе?» — спрашивает меня. «Лучше», — говорю. «Видишь, не надо грешить; господь бог за грехи еще строже будет карать. Ступай, сердечный, и три дня лежи крестом перед царскими воротами, потом исповедайся и все грехи тебе отпустятся».

Василь долго еще говорил; народу все больше и больше собиралось вокруг него, старые друзья пожимали ему руки, видя над ним явную благодать божью. Наконец, тоскливо зазвонили колокола к обедне, и народ

двинулся к церкви, набожно крестясь и целуя черный деревянный гвоздок, которым были прибиты Христовы ноги на большом распятии перед церковной дверью. Иван не мог пробраться к отцу, хотя и очень рад был бы поговорить с ним. От кого-то он услышал, о чем рассказывал Василь, и сам не знал, что об этом и думать. Он старался верить всему, о чем ему говорили, но в глубине души что-то шевелилось и шептало: «Нет, это не так». Однако он решил хотя бы после обедни поговорить с отцом и вошел в церковь, где уже началась служба. Перед самыми царскими воротами, на полу, лежал его отец в грязной рубаше, затрепанной куртке, нечесаный, жалкий; лежал ничком, с раскинутыми в обе стороны руками — настоящий образ разбитого, уничтоженного человека, покорного своему победителю. Люди со всех сторон с любопытством поглядывали на него, матери подносили маленьких детей, чтобы им показать «чужого дяденьку на полу», а когда кто-нибудь из ребят начинал плакать, пугали, что и ему так же прикажет «боженька» лежать, если не затихнет. Старухи шептались, вздыхали благоговейно, воздевали глаза к небу и покачивали головами, только дьячок монотонно пел тонким голосом и во время каждой более длинной молитвы батюшки доставал из рожка табак.

Лежит Василь Пивторак и не шевелится. Холодный пол, кажется Василю, дышит под ним, поднимается и опускается, как грудь великана. Холодный пол, кажется Василю, принимает в себя нестерпимый жар его тела, смиряет своим холодом горячку, смягчает удушливый кашель, — ему легче, все легче и легче. Он не может вспомнить молитв, да до молитвы ли ему теперь?.. Перед его душой промелькнула вся его жизнь, — не жизнь, понимаемая как собрание случайностей, несчастий и бед, а жизнь чисто растительная, вегетативная. Ему кажется, что тело тяготело на нем, как камень, давило и связывало его, как железные оковы, долго, с тех пор как он себя помнит. Вот ему кажется, что оно еще и теперь давит его частью своей тяжести, сковывает его последним звеном цепи... Скорей вперед, сбрось с себя остаток ноши! Скорей вперед! Оборви последнее звено цепи! Свобода, свобода! Как легко без слов, как радостно! Светло, хорошо

на свете без камня на груди! Скорей вперед! Скорей вперед!..

А тем временем церковная служба идет своим чередом. После евангелия его преподобие приступает к проповеди. Лицо его сияет необычайной радостью. После обычного и только очень громко и, повидимому, сегодня от всего сердца произнесенного возгласа: «Сей день, его же сотвори господь, возрадуемся и возвеселимся в оны», — священник приступил прямо к рассказу о блудном сыне, подробно и выразительно объяснив, что больше радости в небе ради одного раскаявшегося грешника, чем ради десяти праведников. «И вот, христиане, — кончил священник, — перед вами лежит такой расточительный сын, такой грешник, который по молитве святых божьих теперь снова обращен на путь истины. Ныне в небе радость великая, ныне пастырь добрый нашел заблудшую овцу, ныне и наш приход вернул своего честного прихожанина. Возрадуемся и утешимся, христиане, ибо нет большей радости, чем увидеть своего ближнего, возвращающегося с дурного пути на дорогу вечного спасения!»

А раскаявшийся грешник, блудный сын, заблудший баран, лежал тихо, неподвижно на полу и не пошевелился ни разу во время этих слов. А когда после службы люди хотели его поднять и вывести из церкви, к немалому своему ужасу подняли они с пола бездыханное, холодное уже и застывшее тело «обращенного грешника»...

ЯЦЬ ЗЕЛЕПУГА

Картинка бориславской жизни

Яць Зелепуга был мужик ледащий. Кто лет тридцать тому назад бывал в Бориславе, тот мог быть уверен, что либо в корчме, либо где-нибудь неподалеку от корчмы услышит пьяный хриплый голос, выводящий одну и ту же меланхолическую песенку:

Ой, не жалуй, моя мила,
Що я п'ю,
Тогда будеш жалувати,
Як я вмру*.

Любопытный мог увидеть и самого певца, который или сидел за столом в корчме, свесив голову, и стучал кулаком по столу в такт своему напеву, или бродил по улице, выписывая ногами «мыслете» и прерывая свое пение короткими монологами — такими, например:

— Проклятые чужаки! Знаю, чего вам хочется! Но, го-го! Не дождетесь! Яць Зелепуга вам не мякиш, чтобы из него что хочешь лепить!

Остановится на минуту, широко расставив ноги и стараясь удержать свое тело в равновесии, и снова затянет хриплым голосом: «Ой, не жалея, моя милая!..» — но тут же и оборвет:

* Ой, не жалея, моя милая, Что я пью, Тогда пожалеешь,
Как я умру (*украинск.*)

— Эге, не жалеј! То-то и есть, что некому и пожалеть. Пошла моя милая к господу богу на склад, а мне теперь все равно. Немного добра осталось, да и на кой черт оно мне! Кому мне свое добро оставлять? Родни у меня нет, женина родня... хе-хе, не дождетесь, богатеи, не придется вам моей нищетой тешиться! Лучше все сквозь горло пропущу... и скотину, и хозяйство, и землю! Пускай пропадает, лишь бы вам не досталось! Небось залили вы нам сала за шкуру, сучьи богачи!

Снова оборвет и затянет песню, помахивая сжатыми кулаками:

Єден багач у другого
Та й питаєся:
За що тая голотонька
Напиваєся?
Ой, най тобі, багачику,
В очах не стає,
Що голота гірко робить,
Та солодко п'є!*

Ледаший мужик был этот Яць Зелепуга. Правда, пока жена жива была, жилось ему нехудо. Хоть было у него всего только шесть моргов плохой земли, а не ходил ни к кому за хлебом. Двое их было: что наработали, тем и жили. Жили бережливо и тихо, трудились на своей земле, и соседи их уважали. Деточек у них было несколько, да поумирали: последняя дочь умерла уже восемнадцати лет. Смерть этой дочери была первым ударом, пробившим брешь в счастливой до этого времени жизни Зелепуги. Жена его была из богатого рода, у нее было в Бориславе три брата, зажиточные хозяева. Принесла она своему мужу в приданое еще шесть моргов земли, борозда в борозду с его собственной. Но после смерти последней дочери шурья-богачи стали всячески приставать в Зелепуге и его жене, чтобы отдали им назад «родительскую» землю.

— К чему вам! — говорили ласково. — Вы уже оба стары, детей у вас не будет, доживете свой век и на шести моргах, которые вам останутся, а у нас у каждого детей много.

* Один богач другого спрашивает: «На какие деньги эта голь Напивается?»—«Ой, пусть тебе, богатею, Не будет завидно, Что голытьба горько трудится, Да сладко пьет!» (украинск.)

Послушалась Евка, подписала злосчастную «цессию»³, отобрали братья у нее земельку отцовскую — и тут же продали евреям под нефтяные промыслы. Такая хитрость до глубины души возмутила обоих Зелепуг.

— Как же это, панове шурья, — говорил им Яць, повстречав их как-то в корчме, — разве по-божески да по-людски поступать так, как вы с нами поступили? Разве для того мы вам надел ваш родительский отдали, чтобы на нем чужаки колодцы копали, а вам было б на что пить?

— Ступай, старый дурак! — ответил один из шурьев. — Вы нам при людях землю уступили, а зачем уступаете, о том речи не было. А коли вы уступили, то поле наше. А коли оно наше, нам вольно поступить с ним, как нам понравится.

— Неправда! — отрезал Яць. — Мы только для того вам уступили, чтобы вашим детям было где поместиться. А чужакам продать — невелика штука, каждый может.

— Видать, что не каждый, — смеясь, ответил другой шурин, — если не вы догадались, а мы.

— Смейтесь, смейтесь, я этого так не оставлю.

— А что сделаешь?

— Уж я знаю, что сделаю, только одного не знаю, сладко ли вам от этого будет!

— Ну, ступай, старик, ступай, не валяй дурака, — сказал третий шурин, похлопывая его по плечу. — Лучше сядь с нами да выпей по стопке, а что с воза упало, то пропало.

— Сесть-то я сяду, — резко ответил Яць, — и выпить... тоже выпью, а от правды не отступлюсь. Созову народ, созову свидетелей, пускай они нас рассудят, справедливое ли ваше дело.

— Ну, что же, зови, пускай судят! — сказал один из шурьев. — Только наперед тебе говорим, наплевать нам на этот суд. Что нам сделают? Словам да землю назад выкупят, что ли?

На самом деле Яць Зелепуга о земле и не думал. Обижала его только «неправда» и хитрость шурьев, и хотел он это доказать «перед народом и перед свиде-

телями», но получится ли от этого какая-нибудь польза, даже и думать не пробовал. Поэтому слова шуриновы были для него, как удар кулаком между глаз. Зашатался и окинул всех троих подозрительным взглядом:

— А вот оно как! Плюете на людей, на общество! Иуды этакие!.. Проплюетесь! Отцовскую землю жидам продали и смеются! Чтоб вас та земля святая, как помрете, из гробов повыкидала!

Слово за слово, и между Яцем и шурьями дошло до драки, причем шурья так обработали старого Зелепугу, что и в самом деле пришлось звать и народ, и свидетелей, и баб-знахарок. Плача и проклиная, побежала Яциха по хатам своих братьев, чтобы восстанавливать жен против их мужей. Те стали на ее сторону, видя, что с той поры, как пошла эта несчастная история с землей, их мужья из кабака не вылезают. Началась настоящая война семейная, со всеми последствиями, с бранью, проклятиями, криком на все село и драками. То, что женам в этой войне больше всего доставалось, об этом и говорить не приходится. Одна в приступе гнева обварила своему мужу кипятком босые ноги, так что два месяца не мог встать с постели, и хорошо сделала: все же спасла остаток денег за проданную землю, не дала до конца растратить. У другой удача с неудачей сходились: когда муж был трезв, он побеждал и бил жену, а когда напивался, жена побеждала мужа и на великую радость всей корчме вела его за чуприну из корчмы домой, читая ему мораль и, чтоб лучше помнил, подталкивая его кулаком то в спину, то в затылок. Хуже всего пошло дело у третьего шурина: там муж с женой так перегрызлись, что жена убежала от мужа внаймы, детей с собой взяла и людям пораздавала, а муж в два года пропил и спустил все свое хозяйство, скотину и землю и нанялся копать колодцы к тому самому спекулянту-еврею, которому продали часть Яцихиной земли.

Страшно и тяжело было слушать, что творилось между братом и сестрой в ту пору. Выйдет, бывало, брат утром на работу, конечно уже под хмельком, в грязной, измазанной полотнянке, с лицом черным, как земля, сгорбленный и словно пришибленный, а сестра глянет из своей хаты, выбежит на двор да как начнет плакать,

как начнет браниться, господи боже! И брата ей жаль, хоть дурно с нею обошелся, и земли отцовской жаль: сама не знает, о чем плакать, на кого у господина кары просить.

— Лучше бы мне, братец, видеть, как тебя самого в эту землю закопали, чем смотреть, как роешь ты ее да копаешь для нехристей! Ну, копай, проклятый, копай, может докопаешься до косточек покойного отца и деда. Присмотрись к ним хорошо — верно, оба в гробах на другой бок перевернулись, услышав, как вы их память, их землю кровную чтите! Да не забудь сказать покойничкам, в какой ты теперь чести у еврея-шинкаря пребываешь, как спишь в шинке под лавкой, ешь вместе, с шинкарскими собаками и как шинкарские ребятишки возле корчмы на тебе, будто на лошади, для забавы ездят! Скажи им об этом, скажи!

А потом вдруг как заломит руки, как заголосит, как зарыдает, словно по покойнику:

— Братец ты мой, сокол сизый! Я ли тебя не любила! Я ли за тобой не ходила, когда ты еще маленьким был, когда мы, как мелкие зернышки, без мамы остались! Сколько ночей я не спала, за тобой ходючи, когда ты хворал! Думала ли я, несчастная, какая беда с нами случится, что буду я на тебя кары господней просить? Не дай, боже, легкой смерти тому, кто тебя на такую дорожку направил, кто тебя на посмешище людям, на позор выставил!..

Проклятья брат выслушивал молча, склонившись, как вол, который, опустив голову, принимает удары. Но слезы и воспоминания о детских годах рвали его душу, терзали сердце, жгли его пуще огня жгучего. И как-то, выпив более обычного, не мог он стерпеть ее причитаний и, крикнув: «А не замолчишь ли ты, старая ведьма!» — швырнул в сестру «камешком». Сам он утверждал, что был этот камешек не больше, чем с кулак, но камень, видно, был потяжелее, или бросил он его с немалой силой, так как сестра не только сразу же замолчала, но тут же и упала на землю с глухим воплем. На этот вопль выбежал Яць из хаты и поднял жену: один глаз у нее был выбит и на лбу была кровавая рана от левой брови до самых волос. Яциха не кричала, не стонала долго,

только все слабела. Полуживую повезли ее в Дрогобыч; доктора сказали, что не только левый глаз вовсе погиб, но к тому же еще и череп проломлен. Промучившись несколько дней, Яциха умерла, а брата ее забрали в тюрьму. Там он и умер, не дождавшись суда.

С той поры Яць Зелепуга стал пить запоем. Опостылела ему хата, опостылело хозяйство, опостылели люди. Когда ему молодичи советовали второй раз жениться, он только рукой махал, будто хотел навсегда отогнать от себя эту мысль. Не сразу, но мало-помалу дошло до того, что жестяная кружка стала единственным существом на свете, о которой он заботился.

Так прошло два года после Яцихиной смерти. Вконец извелся Зелепуга. Хозяйство было заброшено и сведено на нет, скотину забрал шинкарь за водку, хлеб давно был продан, плетни сломаны, даже ббольшая часть домашней утвари перекочевала из хаты в корчму. Яць Зелепуга только на ночь приходил домой — по целым дням просиживал в корчме. Пил мало, но для его ослабленного и истощенного организма достаточно было двух-трех рюмок, чтобы голова у него затуманилась. Ел он еще меньше. Единственной живой струной, беспрестанно в нем звеневшей, была ненависть к «богачам», хотя, правду говоря, эти богачи с каждым днем все больше теряли почву под ногами, уступая землю спекулянтам, которых все больше и больше набивалось в Борислав, куда гнала их жажда скорых и легких барышей на нефтяных промыслах.

Порою, однако, будучи трезвым, Яць Зелепуга ясно видел, к чему идет дело. Накинув свитку на плечи, в смужковой шапке, заложив руки за пазуху, не раз шел он нетвердым шагом по бориславской улице, тревожно поводя глазами и сплевывая время от времени, как человек, которого мучит жажда.

— Боже мой, что тут делается, что тут творится! — шептал он. — Воистину бог карает наше селенье. Ну, гляньте, гляньте, сколько сюда этой нечисти налезло, как муравьев! У Пилипа Буняка пять колодцев копают, у Матвея — четыре, у моего премудрого шурика уже пол-усадьбы купили, перед самыми его окнами целую гору глины насыпали! И там тоже, и там, и там,

и там! Всюду копают, роют, черпают проклятую «кипячку»*, чтоб она у них горлом пошла! — На участке, уступленном его покойницей-женой братьям и проданном ими евреям, было уже чуть ли не десять шахт и колодцев нефтяных, некоторые еще только по пять-шесть саженей глубиной, а некоторые уже по двадцать и по двадцать пять саженей. Мендель Шехтер, купивший за бесценок этот участок, теперь уже был богачом, совладельцем первого бориславского нефтеочистительного завода и хозяином еще двух участков земли с двадцатью новыми шахтами. Однако нигде ему так не везло, как на земле покойницы Яцихи. На остальных, также за бесценок купленных землях, шахты были уже по десять, по пятнадцать и двадцать саженей глубиной, а «ропы»** не было. Два колодца на двадцать пятой сажени пришлось даже вовсе бросить, такие сильные открылись в них подземные ключи. Яцихина земля была истинно золотой жилой для Менделя. И не удивительно, что Мендель давно уже точил зубы на такую же землю Яця Зелепуги, которая граничила с его участком. Не раз уже подъезжал он к Яцю, чтобы тот продал ему свою землю, но Яць и слышать не хотел ни о чем. Да и не до того ему было: он обычно пил или опохмелялся. И то сказать: пока было на что пить, ничто не заставляло его расставаться с землей.

Но теперь пошло по-иному: не на что уже было пить, а в шинке вырос у Яця долг значительный, несколько гульденов. Время, по мнению Менделя, было самое подходящее для «гешефта», тем более что Яць в последние дни как-то реже стал заглядывать в корчму, ел больше и все время ходил по селу печальный и задумчивый.

— Добрый день вам, пан Яцентий! — сказал однажды Мендель, подходя к Яцю, который, будто размышляя о чем-то, стоял посреди своего участка земли с палкой в руке.

— А, добрый день! — ответил Яць, едва взглянув на него.

— Ну, что подельваете? — спросил Мендель.

— А что же мне делать? Дышу!

* Неочищенная нефть (местн.)

** Нефть (украинск.)

— Ну, все мы слава богу, дышим, это еще не дело, — сказал Мендель усмехаясь. — Я спрашиваю, что думаете с землей делать?

— С землей? А что же мне с ней делать? Пусть лежит. Земля есть не просит.

— Сущая правда, что земля есть не просит, но вам, пан Яцентий, есть и пить надо.

Яць посмотрел на еврея большими глазами, а потом сказал, будто нехотя:

— Это уж мое дело! У вас просить не стану!

— Ну, пан Яцентий, — ласково ответил Мендель, — какой же вы! Будто я об этом! Я говорю, зачем земле пропадать, что она вам даст? Работы по горло, а хлеба все равно не будет. Я вам заплачу по-человечески, хватит вам на старость.

— Гм, а сколько бы вы дали?

— А сколько у вас всей земли?

— Без той, что под хатой и двором, шесть моргов.

— Ну, так я вам дам за все триста гульденов.

— Это почем же за морг?

— По пятьдесят. Мало? Человеческая цена, ей-ей, человеческая.

— А сколько бы вы, Мендель, хотели за те два морга, которые вы у моих шурьев купили, вот тут, рядом с моей землей?

— Гм, — усмехнулся Мендель, — я этого поля не продаю.

— Понятно, вы на нем клад выкопали; хоть и смердит, а все-таки золото. Ну, а кто поручится, что и у меня того же самого нет?

— Ну, Яць, какой вы человек! — сказал Мендель. — Вы думаете, стал бы я покупать вашу землю, зная, что в ней ничего нет? Или думаете, я не имею другого дела, как сеять овес на ваших пустырях?

— Награди вас бог за вашу правду, пан Мендель, — ответил на это Яць. — А если господь бог на самом деле и в мою землю клад вложил, так какой же я дурак за даровщинку его из рук выпускать?

— Как это за даровщинку? А пятьдесят гульденов — это не деньги?

— Нет, Мендель, это собачьи деньги!

— Го, го, kück ihm up*, какой большой пан!— воскликнул обиженный Мендель. — Ступайте и поищите их себе на дороге, раз это собачьи деньги!

— И на дороге не стану искать, сами ко мне придут! — сказал Яць и направился к своей хате.

— Пан Яцентий! — кричал ему Мендель вслед, — пан Яцентий!.. Да подождите же!

— Что там такое? — сказал Яць, останавливаясь.

— Знаете, что я вам скажу, — говорил Мендель, снова подходя к нему, — я вам дам по восемьдесят гульденов за морг.

— Э, пустое говорите, — ответил Яць и махнул рукой. — Зачем мне вам отдавать за восемьдесят, если другие по сто дают?

— По сто гульденов за морг — вскрикнул Мендель. — Побойтесь бога, Яць, кто вам дает по сто гульденов?

— Это уже мое дело, кто дает! Только вы не думайте, что старый Яць из ума выжил и не знает, что делает. Дурак-то я дурак, признаюсь, но кое-что еще понимаю и с кашей съест себя не дам.

— Ну, пан Яцентий, неужто вы обо мне думаете, будто я вас хочу с кашей съест! Я только спрашиваю, кто вам дает по сто гульденов за морг земли?

Яць долго, пристально смотрел Менделю в глаза, потом отвернулся, сплюнул и, не говоря ни слова, пошел к своей хате.

— А, dimmer Goj!** — ворчал Мендель после его ухода. — Думает меня на мякине провести! Сто гульденов! Подождешь, пака я тебе дам сто гульденов за морг.

Но время это пришло скорее, чем Мендель полагал. Через несколько дней после этого разговора еще один Менделев колодец залило, а другой завалился и засыпал троих рабочих: кроме понесенных убытков, пришлось Менделю платить да платить членам комиссии, чтобы они единогласно постановили, будто рабочие погибли по собственной неосторожности. Расходы были значительные: менее состоятельного могли бы вовсе разорить.

* Смотри на него (еврейск.)

** Дурак иноверец! (еврейск.)

Единственной надеждой Менделя были нефтяные жилы, открытые на участке Яцихи, поэтому вдвойне хотелось ему как можно скорее выторговать у Яця смежную со своим участком землю, тем более что вследствие большого наплыва покупателей цена на нефтеносные земли довольно быстро поднималась и сотня за морг никого уже не удивляла. Не прошло и недели после предыдущего разговора, как Мендель, захватив бутылку доброй водки, направился к зелепугиной хате. Яць сидел дома и чинил бадью.

— Дай боже добрый день! — сказал еврей, прикасаясь к шапке.

— Дай господи! — ответил Яць.

— Бог помощи! — сказал Мендель.

— Дай боже! Спасибо на добром слове.

Мендель уселся на лавке и стал разглядывать хату. В хате было пусто и печально: голые стены, голые полки, печь, давно не топленная, а в ней одни щербатые черепки. Пахло запустением.

— Нехорошо тут у вас, пан Яцентий, — сказал Мендель, минуту помолчав, — плохо на старости лет так жить.

— Может, даст бог, когда-нибудь и у нас лучше будет, — сказал Яць, яростно наколачивая обухом обручи на бадью.

— Дай боже! Дай боже! А что вы такое делаете?

— А вот бадейка развалилась, чиню.

— Зачем вам бадейка? Вы же свиней не держите.

— А может, и буду держать. Все лучше, ежели бадья целая, чем ей так пропадать. Ведь она денег стоит!

Мендель снова замолчал, держа бутылку под полой. Он как-то не решался приступить прямо к делу.

— Что это такое, пан Яцентий, — сказал он через минуту, — Мошко корчмарь жаловался, что вы уже целую неделю не были у него?

— А зачем мне бывать? Пить не хочется, а денег, которые я ему должен, еще отдать не могу.

— Упаси боже — вскрикнул с благородным негодованием Мендель, — разве он от вас денег добивается? Не деньги хочет он видеть, а вас!

— Награди его господь за доброту, — сказал Яць, — но я дал слово не ходить к нему больше без денег. Хоть он сам и не напоминает, но, знаете, задолжать легко, отдать трудно.

— Фу, пан Яцентий, что это за долг! Пятнадцать гульденов! Стоит об этом говорить! Только знаете, что? Зачем нам так всухую говорить! На то бог человеку горло дал, чтобы его почаще промачивать... А ну, поищите какую-нибудь посудину, какую-нибудь мерку! — и с этими словами он достал бутылку и поставил на стол. Глаза Яця живей заиграли, когда он увидел водку, даже топор выпал у него из рук. Хотел уже встать и поискать рюмки, но словно чья-то сильная рука остановила его. Огромных усилий стоило это бедняге, который за долгие годы привык к выпивке; даже голова опустилась и руки задрожали, но все же не сдвинулся с места.

— Награди вас господь, пан Мендель, за ваше доброе желанье, — сказал он надломленным голосом, — но не знаю, по какому случаю нам магарыч пить. А втемную пить не годится.

— У-у-у, какой же вы человек, к вам и не подступись, — воскликнул Мендель. — А если я без всякого интереса, просто соседа хорошего уважить пришел?

— Ну, это уж вы кому другому рассказывайте, а не мне, — сказал Яць. — Еврей без интересу шагу не ступит.

— Что за интерес! — сказал Мендель. — У меня один интерес, знаете какой. Сторгуемся насчет земли!

— Трудно будет! — коротко отрезал Яць.

— Боже сохрани! Отчего трудно? С божьей помощью все легко.

— Почем даете за морг?

— Что ж вы спрашиваете? Вы знаете мое слово: восемьдесят бумажек.

— Э, коли так, нечего и говорить! И за сто не отдам.

— Ого, как быстро у вас цена растет! Подумаешь, у вас в сундуке бог весть какие богатства, что так дорожите.

— В сундуке не в сундуке, — ответил Яць, — но

в этой самой земле, верно, богатства есть. Зачем же мне их вам даром отдавать?

— А конечно, — с усмешкой процедил еврей, — зачем отдавать такие богатства? Лучше пойти и самому их загрести.

— А вы думали как? Копаете вы, почему бы я не мог копать?

Мендель даже с места сорвался и широко вытаращил глаза на этого некудышного, жалкого мужика, который осмеливался так говорить.

— Что... что... что вы говорите?

Яць спокойно поглядел на него и сказал с усмешкой:

— Что то вас, видно, уколело, пан Мендель, что вы так вскочили? Ведь слова мои — пустая болтовня, правда?

— Верно, что пустая болтовня, — с горячей убежденностью воскликнул Мендель. — Вы думаете, так легко пойти и взять из земли дар божий? Ага! Не знаете, чего это стоит? За рытье плати, а еще неизвестно, добудешь что-нибудь из земли или нет. Вот у меня уже три колодца залило, а знаете, что каждый колодец стоил мне самое малое сто гульденов! Ну, откуда вы столько денег раздобудете? Да если и раздобудете, ох, не вашего ума это дело, ей-богу, не вашего ума!

— Это уж как бог даст, там посмотрим, — сказал Яць. — Не весь же вы разум съели, может какая кроха и для нас осталась! Попробуем!

Мендель с возрастающей тревогой посматривал на Яця.

— Неужели вы это серьезно, пан Яцентий? Не шутите?

— Почем я знаю, — сказал тот хмуро, — может, и шучу.

— Ну, а как же будет с землей? Продаете?

— Цена будет подходящая — продам.

— А какая ваша цена?

— Да вот видите. У меня шесть моргов: два тут близко, возле хаты, а четыре — вон там, подальше, на Волянке. Те четыре я готов вам продать по сто пятьдесят гульденов за морг.

— Те четыре? А на кой бес мне те четыре? На Волянке никто не копает.

— А кто знает, авось и там богатства лежат.

— Э, я на «авось» не покупаю. Ну, а эти два почему?

— Эти два не продаю. Эти два себе оставляю.

— Как? Себе? А вам они на что?

— Это уж мое дело.

— Да вы, пан Яцентий, не шутите! Что хотите за эти два морга?

— Нет, покупайте те четыре.

— На что мне те четыре? Пустошь, чертополох, что я с ней делать стану? За эти два дам по сто гульденов.

— За те четыре возьму, только с вас, по сто сорок, — сказал Яць с подлинно мужицким упорством, — а об этих двух даже говорить не стоит.

— Ну, и ожидай, дурень, черта лысого, он тебе по сто сорок даст! — крикнул, расвирепев, Мендель, схватил свою водку и выбежал из хаты.

Мужик спокойно продолжал набивать обручи. А через минуту, отдышавшись, Мендель снова вернулся.

— Ну, пан Яцентий, чтоб с вами говорить, надо сперва гороху наестся. Скажите по правде: почему хотите за эти два морга?

— За те четыре по сто сорок, а эти два пока не продаю.

— А когда продадите?

— Я и сам не знаю. Когда войдут в цену.

— А когда же они, по-вашему, войдут в цену?

— Откуда мне знать! Посмотрим.

— Это последнее ваше слово?

— Последнее.

Мендель ушел, кляня про себя мужицкое упрямство.

А Зелепуга и в самом деле решил вступить в состязание со спекулянтами-евреями. В его старой, не привыкшей думать голове лишь неясно вырисовывался план, как это сделать, но решение было твердое... «Ну, что же, буду копать сам — и все», — подумал сперва, но вскоре убедился, что самому копать вовсе неудобно, что самое меньшее нужны три человека для одной шахты. Нанять двоих — было бы хорошо, но откуда взять

денег? У самого нет ни денег, ни хлеба, ни скотины, нечего даже продать, кроме земли. А тут какой-то могучий внутренний голос все время шепчет ему: «А ну, берись за работу! Бог вложил тебе богатство в землю, грех им пренебречь!» А зачем ему, одинокому и старому, богатство — об этом не думал. Иногда только фантастические картины возникали в его воображении: «Церковь поставлю, красивую, каменную... часовню воздвигну над жинкой... буду жертвовать на божьи дела, пусть господь будет милостив ко мне», — дальше этих набожных грез мысли его не шли.

Посещения Менделя доказывали, что дело с этим кладом действительно должно быть верное, и это сразу же направило его мысли на практическую дорогу. Несколько часов просидел он в своей хате над починенной бадьей, раздумывая о том, что делать. Потом встал, собрался и пошел в село. Пока что он решил прежде всего преодолеть свою ненависть, помириться с двумя шурьями, еще оставшимися в живых.

Когда он вошел в хату одного из шурьев, пять лет прошло, как он в ней не был, — уже в дверях его поразила одна мысль:

«Что я, с ума спятил или ослеп, когда считал его богачом?..»

В самом деле, хата была большая и, очевидно, в хорошие времена построенная, но заброшенная и запущенная. Ни хозяйственных орудий под навесом, ни сусеков с зерном в больших сенях, ни сундуков с холстом и одежей в незапертой клети, ни кожухов на жерди, ни подушек на постели — ничего не было.

Вдобавок Зелепуга застал в хате настоящее светопреставление: плач и вопль жены и детей шуриновых.

— Что у вас такое, кума? — спросил он, поздоровавшись и садясь на грязную лавку.

Шуринова жена взглянула на него красными от слез глазами и, отвернувшись, сказала:

— А вам что? Какая беда вас сюда принесла?

— Да бог с вами, кума, — возразил Яць. — Не беда меня сюда принесла. Ведь мы свои. Грешно нам чураться друг друга. Я пришел вас проведать, посоветоваться...

— Ага, может снова хотите моему кусок земли уступить? А, пусть вас бог покарает за то доброе дело, которое вы тогда сделали!

И бедная женщина заломила руки и залилась слезами. Дети — за ней.

— Но, кума, побойтесь бога, моя ли вина, что ваш муж обдурил мою покойницу, выманил у нее отцовскую землю, а потом продал?

— Пусть вас всех, всех бог покарает за мои слезы, за мою нужду, за жизнь отравленную!.. Чем я виновата перед вами, чем виноваты эти бедняжки, что должны гибнуть из-за пьяницы проклятого?

— Но что случилось? Что он натворил? — допытывался Яць, вовсе не чувствуя себя задетым ее проклятьями, в которых видел проявление одной только боли.

— Продал, язычник, продал последнюю землю чужакам. Продал, и не знаю, за сколько. Уже вторую неделю пьет где-то в Дрогобыче, чтоб ему там и голову оторвало! Ой, доля моя, доля горькая! Я и сама, несчастная, не знаю, за что взялся. Еврей со старостой и понятыми уже и землю взяли, колодцы начали копать, а его нет как нет!

«Вот тебе и раз! — подумал Яць, — тоже на богача напал! Э, тут, как я посмотрю, еще больше горя, чем у меня».

И, обратившись к шуриновой жене, начал ее утешать как мог и умел.

— Не плачьте, кума, успокойтесь, как-нибудь обойдется. Господь бог поможет.

— Скорей вам всем поможет скovyрнуться, чтоб с вами так и было, аминь! — закричала шуринова жена, снова заламывая руки, и, повернувшись к детям, плакавшим и кричавшим, начала над ними причитать, как над покойниками:

— Деточки мои, сиротки малые! Дал вам господь отца-нехристя, он о вас не думает, он душу черту продал, а чужакам земельку! Куда вы теперь денетесь? Кто вас выкормит и в люди выведет? Поникнут ваши головушки по чужим полям! Прольются ваши слезки по чужим углам, горемычные мои! Высохнете, как бурьян

в поле! Уж лучше б отец ваш так высох до того, как я его узнала!

«Ну, тут ни я помощи не найду, ни мое пустое утешение не пригодится», — подумал Яць и потихоньку убрался из хаты.

«Что им мое утешенье, — думал он дорогой, — тут нужна помощь — не утешенье. Вот если бы мне докопаться до нефти на своем поле, деньгу сколотить, ну тогда всех их приютить можно будет. Правда, шурин плохо со мной обошелся, но его баба и дети ни в чем не виноваты. Нет, нет, надо за что-то приниматься, надо искать помощи, может господь милосердный смилуется над нами».

В грязной, заброшенной и политой слезами хате шуриновой Яць неожиданно нашел то, чего там, конечно, не искал: нашел близкую цель для своих грез и замыслов. Богатство природное, скрытое в его земле, приобрело для него еще большую цену, когда Яць почувствовал, что богатство это нужно ему не только для постройки церкви и не для того, чтобы справлять церковные ризы, но чтобы помочь развалившейся, обедневшей шуриновой семье.

Его мягкое сердце в одно мгновение связало все это вместе крепкими и прочными узлами. Как только определилась цель его жизни, у него сразу, кажется, прибыло и сил, и энергии, и смелости, и, словно помолодев на десять лет, он быстро зашагал к хате другого шурина, — того самого, которому жена кипятком ноги обварила и которого поэтому во всем Бориславле звали Недоваренным. Жил он на другом конце Борислава, под самым Дилом, где уже не было нефтеносных земель, и был в самом деле зажиточный хозяин. Только с тех пор, как его ошпарили, ноги ему плохо повиновались, ходил он с палкой и среди беседы вдруг начинал шипеть, когда плохо залеченные раны начинали гореть и чесаться. Особенно перед переменной погоды ощущал он в ногах сильную боль и тогда бывал зол и раздражителен, как голодный медведь.

На беду Яця, как раз сегодня было такое время.

— А, шурячок дорогой... ссс! — крикнул Недоваренный, издали заметив идущего Зелепугу. — Какая беда тебя ко мне несет, душа твоя нищенская, а? ссс!

Яць Зелепуга только головой покачал. На высоте своих грез и замыслов он чувствовал себя недостижимым для такого рода приветствий.

— Эх, шурин, шурин, — сказал он, подойдя ближе и приподымая шапку, — много ли я твои пороги обивал, прося у тебя милостыни, что ты меня так встречаешь? Фу, стыдно тебе, что ты так загордился в своем богатстве!

— Вишь, какой учитель нашелся, ссс! — крикнул Недоваренный. — А я голову даю в заклад, что ты за милостыней ко мне идешь. Чем больше у нищего нужды за плечами, тем больше чванства на языке. Ну-ка, скажи, зачем притащился?

— Привели меня сюда два дела, — спокойно сказал Зелепуга, садясь на колоду против шурина. — Одно дело не мое, а шурина Чапли.

— Этого жидовского дружка и пьяницы? Знаю, знаю. Пропил последний ум, продал последнюю землю, а теперь проживает деньги в Дрогобыче. Так ему, дурню, и надо.

— Что ж, я про него и не говорю, бог ему судья. Но его баба — она вашей и моей покойнице сестра! И дети малые, чем они виноваты? А все остались без хлеба, без земли. Что с ними будет?

— А мне какое дело? Я, что ли, их отец? Я на них обязан работать, ссс?

— Побойтесь бога, шурин! — закричал Яць. — Не дадим родной крови напрасно гибнуть. Только что был я там: содом, скажу вам. Старуха плачет — прямо сердце разрывается.

— Пускай себе плачет! — злобно ответил шурин. — Поплачет, да и перестанет. Моя хата с краю, ничего не знаю. Не мое просо, не мои воробьи, ссс!

Говоря это, он все время шипел и стискивал зубы. Казалось, чужие муки доставляли ему в эту минуту какое-то особенное, странное удовольствие.

— Ну, это одно дело, — сказал, минуту помолчав, Недоваренный, — А какое другое?

— Бог с вами, — ответил Яць. — Вижу, что я со своими делами не на ту улицу попал. Лучше перестанем толковать о том.

— Смотри, уже и рассердился, ссс! Вот уж нищенская натура! Откажи ему в претензии, сразу постную рожу скорчит и мямлит: бог тебе заплатит! А в душе думает: чтоб тебя черт побрал! Ну, ну, говори, какое там второе дело. Хочу знать, ссс!

— Чтобы вы не думали, что я вправду сердит, я скажу вам. Купите мою землю на Волянке, четыре морга в одном куске. Дешево вам продам.

— А зачем мне земля на Волянке?

— Как зачем? Земля к земле всегда пригодится, хоть бы и пустая лежала, — либо коней попасете, либо сдадите кому под овес, все же доход.

— А почему ты сам того же не сделаешь?

— Сделать бы я сделал, только мне сейчас деньги нужны.

— Зачем тебе деньги? Верно, не на что пить, так тоже землю продаешь? Эх вы, голь нелатаная! Меня подбивает тому помогать, а и сам не лучше, ссс! Ну, говори, на что тебе деньги?

— Э, что вам говорить! Это уж мое дело!

— Не хочешь со мной говорить — и я с тобой не буду.

И Недоваренный зашипел и отвернулся.

— Ну, коли не хотите земли, — сказал, ничем не пренебрегая, Яць и понизил голос, — так знаете что: вступайте со мной в компанию.

— В какую компанию?

— Ну, вижу, вам все нужно рассказать. Так слушайте! В земле, что вам моя покойница уступила, еврей-спекулянты отрыли нефть, вот уже год черпают и деньгу сколачивают. Метили и на мой клочок, он с их участком рядом: верное дело, что и в моей земле должны лежать такие же клады.

— Что ж из этого? Ну и продай им!

— Вы так думаете? — медленно произнес Зелепуга. — А я думаю, что это грешно. Дал бог сокровище в наши руки, немного потрудись, и бери, и черпай... Нет, мы должны даром отдать его спекулянтам и сами идти внаймы!

— Ха-ха-ха! Клад! Ссс! — засмеялся и зашипел от боли Недоваренный. — Что это за клад: проклятая

нефть вонючая! Человеку христианскому грешно и возиться с ней. Это спекулянтское ремесло.

— А не грешно христианскому человеку копать и черпать ее внаймах у еврея-спекулянта?

На это Недоваренный не мог ответить — правда была чересчур очевидна. Но все же нашел другую зацепку.

— Ну-ну, не очень ты горячись! Откуда знаешь, что как раз в твоей земле нефть? Я думаю, раз Мендель соседнюю землю перерыл, то и с твоей давно уже все к нему в колодцы стекло.

— А я думаю, что Мендель чует, где можно попользоваться, и недаром мои пороги обивает, чтобы я ему землю продал.

— Э, и Мендель так же вслепую спекулирует, как и ты! Ну, а чего же ты, собственно говоря, хочешь от меня? В какую компанию меня зовешь?

— Хочу сам копать на своей земле и уверен, что докопаюсь до нефти, на рытье понадобится гульденов сто, а у меня теперь... ищи-свищи! Вот я и думал...

— И не думай даже, ссс! — перебил его Недоваренный. — Нестоящая твоя спекуляция, а у меня ни денег, ни охоты нет влезать в такую историю. Еще и спекулянты на меня могут взъесться, а что им стоит сжечь меня или убить? Кто им помешает?

Яць Зелепуга печально повесил голову: было основание так говорить. За последние годы спекулянты в Бориславе стали силой. Волны всяческого общественного отребья, все время прибывавшие, сделали всякий общественный порядок совершенно невозможным. Подкупы, спаивание и мошенничество деморализовали общественное управление и превратили его в послушное орудие наиболее богатых промышленников. Полиции не было никакой. Спекулянты делали, что хотели, а уездные власти дрогобычские, видно, на все рукой махнули, чувствуя, что они бессильны завести в Бориславе хоть какой-нибудь порядок. Поэтому-то любой мог опасаться за свое добро и даже жизнь. Многочисленные несчастные случаи на промыслах проходили для собственников шахт безнаказанно, а под статьей «несчастный случай на промысле» сходило кое-что и

такое, в чем перепуганные бориславские обыватели видели явные преступления, даже убийства.

— Значит, думаете, из этого ничего не выйдет? — спросил Яць шурина.

— Разумеется, не выйдет, — ответил тот, но уже значительно мягче. — Вот скажи ты мне, твоего ли это, или нашего мужицкого ума дело? А хуже всего то, что придется войну начинать со спекулянтами... Нет, нет, ничего из этого не выйдет.

Зелепуга еще минуту посидел на колоде, повесив голову, но немного погодя взгляд его прояснился, голова поднялась, он встал и, стукнув палкой о землю, сказал упрямо:

— А я вам скажу, что все-таки выйдет! Хоть бы мне пришлось голову сложить, а я своего добыю. Вступаете в компанию?

— Иди, иди, старый дурак, — ответил ему шурина. — До сих пор я думал, что ты просто глуп, а теперь вижу — пропил ты и ту каплю разума, который тебе мать дала.

— Так, не вступаете в компанию?

— И во сне не снилось.

— Воля ваша. И без вас обойдемся. А я вам говорю, пожалеете. — И, не простившись, решительным шагом направился к своей хате. А шурина еще долго сидел на завалинке и думал:

«Гм, дурак этот Яць, вот уж дурак. Сам хочет копать, да еще меня в компанию тянет. Знаю я, что эти компании значат. Дай ему в долг денег, одни пропьет, другие закопает... вот тебе и компания. Нет, на мякине ты меня, братец, не проведешь... ссс!»

«А этой голи вправду помочь надо, — подумал потом. — Верно Яць говорит: чем виновата жена, чем виноваты дети, что такой отец у них? Надо будет навеститься к ним нынче. Надо будет со старухой посоветоваться, баба в таких делах лучше разбирается, чем мужик. Вот несчастье! Запьянствовал, бестия, и память ему отшибло: забыл, что семья у него!»

И зашипел, вспомнив, что с ним могло бы произойти то же самое, если бы жена его на обварила.

«А с той компанией, — вновь вернулся он к первой мысли, — ничего не выйдет. Не сегодня, завтра продаст

землю чужаку, зря бы я с ним только связался. К чему мне хлопоты?»

Пошел в хату, чтобы посоветоваться с женой, как помочь сестре и сестриным детям. Но мысль о богатстве, вложенном богом в зелепугину землю, то и дело снова пробуждалась в его голове и преследовала его беспрестанно. После обеда еще раз тщательно все обдумал.

— А что, — сказал он в конце концов, — ежели Яць не такой дурак, как кажется?.. Война со спекулянтами? Ну, так что ж? Война, так война, надо беречься да на бога надеяться. Может быть, и выдержит человек, потому... волков бояться — в лес не ходить! А чтоб Яць денег не пропил, можно будет и самому следить, самому расплачиваться, ему денег в руки не давать. Только есть ли что-нибудь в той земле? А коли есть, и наверно должно быть, хватит ли наших денег, чтобы добраться до этого богатства? Гм, а дело вовсе не такое пустое, как мне сперва показалось. Надо будет как-нибудь сходить поглядеть на ту землю, может кое-что и удастся заработать. Только б Яць дурака не сваял да не продал ее кому-нибудь! Да где там, упрямый мужик, видать по нему, — не скоро отступится. А коли так, то и без моей компании не обойдется; кто еще ему поможет?

И, успокоенный этим, Недоваренный приказал запрягать, взял хлеба, муки, круп и кое-какого тряпья, сел с женой на телегу и поехал к ее сестре — жене шурина.

А Яць тем временем сидел один в своей пустой хате. Две мысли мучили его: мысль о нужде шуриновой семьи и о собственной неудачной попытке сговориться с другим шурином. Намерение его — самому начать работать на собственной земле — не покидало его ни на минуту. Бился бедняга, как рыба в неводе, ища способ, как добиться своего без помощи богатеев.

«Сам буду копать, дело верное, только чем жить все это время? Может, взять в компанию тех горемык, которые что ни день ходят по селу, ищут работы и хлеба? В компанию они бы пошли, понятно, да где я хлеба для них добуду?»

Пока бедный Яць так мучился со своими мыслями, дверь его хаты робко приоткрылась, и в нее просунулась

сухая, сторбленная фигура Юдки, общеизвестного в Бориславе Юдки Лыбака. *

Это был еще не старый еврей, так лет сорока, но уже сторбленный и сморщенный, как старик. Его высохшее лицо, покрытое редкой, как жар красной, растительностью, коротко остриженные волосы, большие глаза с красными воспаленными веками и грубый, неприятный голос — все это делало его вовсе не симпатичным. Но сердце у Юдки было мягкое, человеческое: он всегда был готов помочь, поделиться последним куском с бедным.

Юдка, уже несколько лет занятый в Бориславе своим горьким лыбацким ремеслом, жил у крестьянина и в свободные часы охотно помогал людям в крестьянской работе. Смеялись над его неуклюжей фигурой, но любили его за доброту, и никто из обитателей Борислава не отказывал ему в небольшой помощи: то отвезет в город собранную им нефть, то подарит горшок картошки или пару яиц, составлявших вместе с луком Юдкину скудную пищу. Зато и человек уверен был, что в сенокос или во время жатвы, когда так трудно срабочей силой, Юдка по первому зову оставит свой конский хвост и пойдет к сену или снопам, не требуя платы, за одно только «спасибо».

— Хороший человек этот Юдка! — говорили о нем бориславские хозяева.

— Оттого и голодранец такой, — прибавляли другие. — Не бывало еще, чтобы хороший человек голодранцем не помер.

А все же Юдке не суждено было умереть голодранцем.

— Добрый вам день, пан Зелепуга, — сказал он, входя и низко кланяясь.

— Доброго здоровья! — ответил Зелепуга. — Это ты, Юдка? Садись, гостем будешь.

— Всему доброму место! — ответил Юдка и все стоял, опершись о край печки, и мял в руках рваную, грязную шапку.

— Что у тебя нового, Юдка? — спросил Яць

* Лыбаками звались прежде в Бориславе те, кто конскими хвостами снимал с поверхности воды, с луж и ручьев бориславских «кипячку» (то есть неочищенную нефть) и продавал ее на смазку для телег. (Прим. Ив. Франка.)

— Да что? Все, слава богу, по-старому.

— Сказать мне что хочешь, что так шапку мнешь? — спросил Яць, добродушно улыбаясь.

— Да оно... того, — заикался Юдка, словно ему смелости не хватало. Наконец, поборол свою робость и сделал два шага к лавке, на которой сидел Зелепуга.

— Знаете что, пан Зелепуга? Говорил мне Мендель, — вы хотите продать свою землю на Волянке.

— Землю на Волянке? Верно, продал бы.

— Ну, так продайте мне.

— Тебе? А тебе зачем?

— Так. Надо. Есть у меня немного денег, вот я и думаю, не заработает ли человек на вашей земле.

— Ну что же, бог тебе помогай, Юдка! — искренне сказал Яць. — Раз у тебя такие деньги есть, тогда, конечно, лучше на земле работать, чем конским хвостом по лужам махать.

— А какая ваша цена?

— Тебе разве Мендель не сказывал? Сотня за морг.

— Это для меня дорого, — сказал Юдка. — Я вам дам по восемьдесят, хорошо?

— Пускай будет и по восемьдесят. Другому еврею я и за сто не отдал бы, но тебе отдам за восемьдесят, я-то ведь знаю, ты мужицкой работы не чураешься.

Юдка сладко улыбнулся при этих словах и вытащил из-за пазухи кварту водки.

— Ну, тогда выпьем магарыч! — сказал Юдка — Помогите вам господь во всем добром!.. И сейчас же к писарю пойдем, контракт составим.

— А когда деньги выплатишь!

— Сейчас же, как только контракт при свидетелях подпишем.

Яць Зелепуга слушал и ушам своим не верил. Юдка Лыбак землю покупает! И наличными платит! Видать, конец света приходит!..

Зелепуга несколько раз недверчиво поглядывал на безобразное, хотя и повеселершее, Юдкино лицо: не думает ли он его насмех поднять. Да куда там! Юдка совершенно серьезно брался за дело и вообще не любил шутить.

Выпили по нескольку рюмок и пошли к писарю. Пи-

сарь был дома, договор заключили тотчас же, Юдка дал писарю целый гульден за труды, подписали договор и сейчас же поспешили на Волянку, где Зелепуга собственноручно передал Юдке, при людях, свою землю в полное владение, а от Юдки, также при людях, получил целых триста двадцать гульденов новыми кредитками.

Получив деньги, Зелепуга, несмотря на то, что уже вечерело, побежал прямо к шуриновой жене. Как удивился он, найдя перед хатой на улице телегу Недоваренного, а его самого с женой в хате.

— А, и шурячок тут! — крикнул Недоваренный, увидав Зелепугу, и, следует добавить, крикнул гораздо веселее, чем утром: — Ну-ну, иди сюда!

— Не ожидал я вас тут застать, — сказал Зелепуга, останавливаясь в открытых дверях.

— Ага, ты думал, что я вроде турка, что во мне христианской души нет? Ах вы, голытьба, голытьба! Все думаете, вы одни добрые, и честные, и милосердные, все бы с дорогой душой вы отдали — только нечего отдать!..

Зелепуга тем временем кивнул шуриновой жене, отвел ее в сторону и всунул ей «пока» пять гульденов, сказав, что, если ей что понадобится, пускай прямо к нему обращается. Бедная женщина взглянула на него удивленными глазами, даже поблагодарить забыла. Но Зелепуга уже нахлобучил шапку и заторопился домой.

— Погоди, шурячок, погоди! — крикнул ему из хаты Недоваренный.

— Что вам нужно? — сказал Зелепуга, неохотно возвращаясь к дверям.

— Ну, как, ты не оставил еще сумасбродного замысла — копать нефть на своей земле?

— Нет, не оставил.

— А когда начинаешь?

— Завтра.

— Что? Завтра! Ну, а кого же ты в компанию приманил?

— Никого не приманил, и никого мне не надо приманивать. Один управлюсь, это самое лучшее. Знаете, как говорится: сам пасусь, сам себя на луг выгоняю. Доброй ночи!

И Зелепуга быстро ушел, оставив Недоваренного в большом недоумении. Как так? Неужто это правда?

Сможет ли этот дурень Зелепуга в самом деле начать работу, и на какие деньги? Недоваренный долго над этим размышлял, а затем решил на другой день лично проведать Зелепугу и поговорить с ним «по душам».

Ого, какую баталию застал на другой день Недоваренный на земле Зелепуги! Целая толпа спекулянтов-евреев, мужиков, рабочих и всяких проходимцев, крик, шум, брань и шутки. Что такое? Да это Яць начал рыть колодцы на своей земле. Первый мужик взялся за такое дело, которое до сих пор пришельцы считали своей исключительной привилегией. И не удивительно, что едва Яць привел партию рабочих и наметил четыре места под четыре колодца, как сбежалась целая толпа спекулянтов со всей околицы. Первым прилетел Мендель и, увидев, в чем дело, даже посинел от злости.

— Вы тут хотите копать? — спросил он Яця полуживо, полугрозно.

— Хочу, — сказал Яць.

— А кто вам позволил?

— Сам себе на своей земле позволяю.

— А я вам запрещаю! — крикнул Мендель, не в силах дальше сдерживаться и почти не соображая, что говорит.

— А ну, попробуй! — ответил Яць.

Мендель подскочил к нему и хотел вырвать у него из рук заступ, но Яць толкнул его в грудь так сильно, что Мендель отлетел и повалился навзничь. Громким смехом приветствовали все присутствующие забавное начало истории, но Мендель, не поднимаясь с земли, начал кричать изо всех сил, будто его резали. Спекулянты сбежались на этот крик, и кто знает, не досталось ли бы Яцю тут же, в начале его работы, на орехи, не вступись за него мужики. Однако крик и шум продолжались больше часу. Мендель побежал жаловаться в правление, но, очевидно, ни в чем там не успел, потому что быстро прилетел назад. Спекулянты начали бурно совещаться, но Яць уже не обращал на них никакого внимания и принялся за работу. Недоваренный поглядывал со стороны на эту кутерьму; злость и упорство Менделя ничего доброго не предвещали.

— Э, опасное дело! — сказал он, махнув рукой, и, даже не поздоровавшись с Яцем, пошел домой.

Новая жизнь началась с этого дня в хате у Зелепуги. Работники, рывшие колодец, жили с ним вместе; жена шурина им готовила; соседи забегали порой то водки выпить, то так себе поболтать да на работу поглазеть. Кое-кто думал и сам взяться за такую же работу и только ждал, как она у Яця пойдет.

А Яць и днем и ночью об одном только и думал — докопаться до земных богатств. Обнес свою землю высоким плетнем, даже трех здоровенных псов привязывал на ночь возле колодцев, чтобы охраняли его от всяких напастей. Вскоре четырех рабочих оказалось мало, ведь копать приходилось одновременно четыре колодца. Кое-кто советовал Яцю оставить на время три колодца и копать только один, а когда в нем добудет нефть, — можно и за другие взяться. Но Яць даже слушать об этом не хотел. Вообще в душе его в последние дни произошёл какой-то перелом. Казалось, весь остаток его энергии, сил духовных и фантазии сосредоточился на одной мысли — добыть нефть на своей земле. Что будет потом — это уже его не касалось. За этим столбом пограничным виделись ему какие-то розовые поля, какие-то луга, благоухающие цветами, ничем не потревоженное счастье и бесконечная радость. Только бы до «кипячки» добраться!

День и ночь он думал только о нефти, переживал мгновения невыразимой тревоги. А вдруг не на хороших местах копают? Прикладывал ухо к земле, не услышит ли чего-нибудь; думал — какие принять меры предосторожности. Не раз вскакивал ночью и с крепкой палкой в руках обходил свои колодцы. Оказалось, что предосторожность была не напрасна: евреи несколько раз подсылали своих рабочих уничтожать срубы, засыпать колодцы, резать канаты. Но благодаря чутким псам и не менее чуткому Яцю это им ни разу не удалось. Как любящая мать издали слышит сердцем плач своего ребенка, точно так же Яць сердцем чувствовал, когда его колодцам грозила опасность, вскакивал и рабочих с собой звал.

Озлобленные спекулянты отравили однажды ночью всех трех псов, но себе же на беду. На другую ночь Яць с рабочими засел за плетнем и поймал у своих колодцев

двоих чужаков, что-то ломавших. Заташили их в хату, накрыли головы мешками и «сквозь мокрый холст» так отколотили палками, что те закаялись и ногой ступать на его землю. И пожаловаться бедняги на другой день не могли: после такой «холодной бани» даже следов не было. Но слово сдержали: оставили Яця в покое.

Колодцы достигали уже десяти саженой глубины, а нефти еще и капли не было. Тогда лишь спохватился Яць, что от его денег очень мало осталось. Страшная тревога охватила его. Не спал целую ночь, весь день ходил как сумасшедший. Не мог даже представить себе, что когда-нибудь придется перестать копать. Перестать копать — это для него значило то же самое, что перестать жить. А тем временем небольшой остаток полученных от Юдки денег ясно говорил ему, что миг этот уже очень близок и необходимо что-то придумать. Поэтому утром чуть свет, поставив рабочих на работу, побежал Яць к шурина Недоваренному. Застал его еще в постели: полевые работы уже кончились, хотя погода стояла хорошая, еще теплая и ясная.

— Шурин, — начал Яць, не поздоровавшись, — пришел я к вам по важному делу.

— По какому? — спросил Недоваренный, не поднимаясь с постели.

— Помните, вы когда-то любопытствовали насчет моих колодцев, спрашивали, кого я в компанию принимаю. Дурак я был тогда, думал, что мне моих денег хватит...

— А теперь поумнел, закопав свои деньги, да еще и меня хочешь втянуть в свое дурацкое дело! — гневно крикнул Недоваренный. — Уходи из хаты, темная твоя голова! Уходи, не то прикажу на тебя собак спустить! Ступай к своему Юдке, которого ты за триста гульденов богачом сделал, а не ко мне!

— Богачом? Каким богачом? — пробормотал Яць.

— Разве не знаешь, — Юдка на твоей земле, на Волянке, уже четыре источника нефти открыл, всю неделю черпает да черпает по сто бочек в день, и все конца нет? Видишь, какой ты умный? Ступай к нему, прося его, может быть войдет с тобой в компанию, а меня оставь в покое.

И Недоваренный, у которого в груди прямо клокотал гнев, повернулся на другой бок, спиной к остолбеневшему Зелепуге. Тот посидел еще мгновенье молча, а затем вышел, шатаясь.

— Бсже правый, что же это творится на свете? Неужели вправду судьба прокляла человека христианского, а только этим спекулянтам улыбаются? Ну, кто же мог подумать, что богатство ждало его не тут, а на Волянке? И что теперь делать? — Горячие слезы подступали у Яця к глазам. Сам не зная зачем и для чего, пошел он на Волянку взглянуть на злосчастную землю, которая нанесла такой тяжкий удар его мечтам и силе его воли.

На Юдкином участке действительно работа кипела. Двадцать рабочих работали у колодцев, черпали нефть, сливали в бочки, грузили на подводы или устанавливали в большом, наскоро выстроенном сарае. Тут же бочары сколачивали из досок бочки, кузнецы набивали на них обручи, плотники кончали сарай — одним словом, на недавнем пустыре клокотала настоящая фабрика. А посреди всего этого клекота, как муха в кипятке, извивался Юдка, радостный, счастливый, выпрямившийся и прилично одетый, будто переродившийся. Двадцать других рабочих копали новые колодцы.

— Бог помощи! — уныло сказал Яць. идя среди этого занятого работой, шумного и подвижного народа.

— Дай боже! — ответил Юдка. — А, пан Зелепуга! — воскликнул он, обернувшись и увидев Яця. — Как поживаете, пан Зелепуга?

— Плохо, Юдка! — ответил Яць. — Вот тебе бог счастье послал, а я твои деньги в землю зарыл и ничего не имею.

— Глубоко уже? — спросил Юдка.

— У меня четыре колодца по двенадцать сажений.

— А мне бог дал на шестой сажени, — сказал Юдка. На то божья воля. Надо вам копать дальше, и у вас будет, наверно будет.

— И я так думаю, что будет. Да вот только не на что мне рыть дальше.

— Не на что? Это плохо!

Юдка задумался. Яць тем временем завистливым

взглядом осматривал поле, которое недавно принадлежало ему, которое не раз в гневе он проклинал за бесплодие. «И вот мои проклятья на меня самого обрушились! — подумал бедняга и впрямь заплакал. — Все это могло быть теперь моим, да бог, видно, не хотел. Земля отдала свои богатства, но не мне!»

— Ну, не горюйте, Яць — сказал Юдка погодя. — Может, господь даст, и у вас все будет хорошо. Знаете, что я вам скажу?

— Ну, что такое?

Юдка отвел Яця в сторону, за сарай, и сказал:

— Купил я у вас эту землю, награди бог вас за нее! Купил ее дешево, по восемьдесят гульденов за морг. Знаете, как старый лыбак, я лучше знал, где быстрой до нефти дорыться. И не ошибся. Мог бы вам сразу дать по сто гульденов за морг, как вы хотели, но все-таки торговался. Ну что ж, человек — всегда человек, а кроме того, боялся: а вдруг денег на рытье не хватит. Теперь другое дело. Грешно было бы мне не помочь вам в вашей беде. Вот вам еще восемьдесят гульденов к прежним деньгам. Какую цену вы сами назначили за землю, такую вам и даю, чтобы вы на меня в обиде не были.

Эта доброта Юдки до глубины души взволновала Яця. Хоть и не любил он «спекулянтского племени», а все же в порыве благодарности поцеловал руку Юдке, когда тот подал ему пачку кредиток.

— Наградит вас господь сторицей, Юдка! — сказал мужик. — А я вашей доброты до смерти не забуду.

— Только знаете, что я вам посоветую, Яць, — сказал Юдка. — Не разбрасывайте вы этих денег на четыре колодца? Забейте пока три и копайте только один, так скорей до нефти дойдете.

На этом они расстались. Юдка побежал к своим колодцам, а Яць, полный новых надежд, полетел домой. Как ни трудно было ему решиться забить три колодца, но все же тяжелый опыт с нехваткой денег и небольшая сумма, остававшаяся на дальнейшие работы, заставляли сжаться. Забив три колодца, он рассчитал большую часть рабочих, оставив лишь двоих. Распределил полученные деньги по дням и с лихорадочно бившимся

сердцем подсчитывал, сколько дней ему еще придется работать.

А работа шла теперь медленно. После мягкой глины натолкнулись на твердый сланец, тут пришлось взяться за кирку — заступ уже не брал. В колодце на такой глубине воздух был уже тяжел: пришлось купить насос, и он сразу же поглотил значительную сумму денег. Медленно, уныло шла работа, а Яцева лихорадка все усиливалась. Ведь каждое мгновение, каждый удар кирки мог принести ему спасение, мог пробить вход к желанному богатству. Все время хотел сам находиться в колодце, почти силой приходилось вытаскивать его оттуда, чтобы шел есть или спать. И спать не мог. Каждую ночь слышал сквозь сон характерное шипенье и бульканье и с безумно радостным криком: «Есть! Есть!» — вскакивал с постели, бежал к колодцу и, не видя ничего в темноте, прикладывал ухо к деревянной, на колок запертой крышке, — не услышит ли, как шипят, булькают подземные духи. Но духи молчали, как проклятые, не появлялись, не обращая внимания на молитвы, брань и слезы Яця, которого с каждым днем все больше мучила и пожирала лихорадка.

— Боже мой! — вскрикнула однажды жена шурина, увидев его, когда он вылезал из колодца, — шурина Яця! Как вы выглядите! Лица на вас нет.

— Как так нет? — коротко, не вдумываясь в сказанное, спросил Яць.

— Бледный вы, худой, желтый, краше в гроб кладут. Или не едите ничего?

— Нет ем.

— Ну, тогда, должно быть, больны.

— Бог с вами, кума, я здоров.

— Ну, тогда, может, вас каким зельем опоили, что так страшно худеете. Или, может, не дай господь, сглаз?

— Э, пустое! Не бойтесь, поправлюсь быстро. вот только «кипячку» добудем.

И быстрым, но нетвердым шагом, будто опоенный чемерицей, Яць пошел с рабочими обедать. Шуринова жена варила им у себя и редко приносила обед сама, чаще посылала старшую, четырнадцатилетнюю дочку с кошелкой, в которой наставлены были горшочки. По-

этому было не удивительно, что, не видя Яця несколько дней, она едва узнала его и вполне справедливо заподозрила, что он, должно быть, захворал. Но Яць ни на что не обращал внимания. Вся его жизнь, все мысли и чувства сосредоточились на одном, а этим одним был колодец — упрямая, глубокая пропасть, которая, несмотря на двадцатисаженную глубину, не хотела отдать ни капли скрытых в ней богатств.

Для Яця колодец стал каким-то мыслящим, чувствующим и разумным существом. В минуты отчаяния заводил он с ним страстные разговоры, обвинял землю, что она угождает спекулянтам, а настоящему хозяину противится, молил о милосердии, о простой справедливости, — вернуть хотя бы те средства, которые он в нее вложил. Но колодец упорно молчал...

Прошла еще неделя. Колодец достиг глубины в двадцать две сажени, а в кармане у Зелепуги осталось всего-навсего двадцать два крейцера. А колодец ни гу-гу. Яць ходил как помешанный. Едва не на коленях умолял рабочих остаться и работать у него в долг. Рабочие, недовольные скупыми в последние дни харчами и неаккуратно выдаваемой платой, помянули его родителей и ушли. Яць остался совершенно один.

Неужели и последние его надежды лопнут, как пузырь на воде? Побежал к Недоваренному — тот спустил на него собак. Побежал к Юдке — Юдки не было в Бориславе: поехал заключать договор на поставку нефти с каким-то нефтеочистительным заводом и работу на это время прекратил, колодцы запер и охрану к ним приставил. Как затравленный зверь, бросился Яць с Волянки к себе домой, но перед самым перелазом остановился, не зная, что делать дальше.

За плетнем стоял Мендель и, злобно посмеиваясь, глядел на него.

— Ну, пан Яцентий, как поживаете? — сказал тот. Яць стиснул зубы, увидев Менделя.

— Что же, — ответил он с глухим упрямством. — Слава богу, мне всего хватает.

— Хе-хе-хе! — сухо засмеялся Мендель. — Вам всего хватает! Ну-ну, слава богу! А что, не продадите мне свои колодцы?

— Нет, пока еще не продам.

— А когда же продадите?

— Когда время придет.

— А когда время придет?

— А там увидим.

И Яць хотел уже идти в хату.

— Слушайте, пан Яценгий, — сказал Мендель, — я не шучу. К чему вам несчастья, хлопоты и траты? Видите, ту землю продали вы Юдке. Теперь Юдка богач, а вы денежки в землю закопали и не имеете ничего. Прекратите вы эту работу, не крестьянское это дело. Я вам дам за каждый колодец по сто гульденов, и зачем вам хлопоты на свою голову? Вы уже немолоды, с вас достаточно!

Вся кровь ударила Яцю в голову. Эти слова кололи его больнее самых обидных упреков, может быть потому что в глубине души он чувствовал: если раскинуть по-простому, по-крестьянскому, умом, — Мендель правду говорит.

— Иди ты к черту! — крикнул сердито. — Иди, если не хочешь, чтобы я тебе в голову камнем запустил!

— Что такое? Камнем в голову? А за что? Ты дурак! Думаешь, я боюсь и твои колодцы больше стоят? Подожди, сам ко мне придешь и будешь просить, чтобы я эти дыры купил!

— Не дождешься! — крикнул Яць. — Уж лучше я в них смерть свою найду!

И, нахлобучив шапку, дрожа от какого-то невыразимого волнения, побежал Яць к шуриновой жене, которая ему готовила.

Шуринова жена теперь уже в самом деле перепугалась, увидев его.

— Всякое дыхание да хвалит господу! — воскликнула она. — Кум, шурин, что с вами? Не гонятся ли за вами, или, может, несчастье какое?

Яць даже не обратил внимания на ее слова. Без сил опустился на лавку, даже шапки не снял и проговорил быстро, почти одним духом:

— Кума, на вас одна надежда; кончились мои деньги, оставили меня рабочие, а колодец рыть надо. Должен до нефти добраться. Погибну, а дела не оставлю. Помо-

гите, кума! Не для себя стараюсь. Своего добыюсь — хватит и вам, и детям вашим. Приходите сами, у вас уже большая девочка, вдвоем станете к вороту, младший хлопец может воздух качать, а я полезу в колодец, буду рыть, пока силы хватит. Чувствую, уже немного осталось рыть. Несколько раз киркой клюнуть. Кто знает, может, всего раз по счастливому месту ударить... Не откажите, кумушка!

Шуринова жена стояла удивленная. Не так поразила ее просьба Зелепуги, как его голос — странно звонкий, мягкий и дрожащий. Колебалась минуту — ведь, кроме двух старших, было у нее еще трое младших детей, которые требовали постоянного присмотра.

Яць понял, почему она колеблется.

— А о меньших не тревожьтесь! — сказал он. — Возьмите их с собой в мою хату, там они будут недалеко от вас. Потом, как спустите меня в колодец, у вас будет полчаса свободных пока я копать стану. А дети будут в это время воздух качать.

Но, видя, что жена шурина продолжает колебаться, Яць вдруг залился слезами и упал ей в ноги.

— Кума! — умолял, обнимая ее колени. — Богом вас заклинаю, не отказывайте в моей просьбе! Не отказывайте, а то ума лишусь! Чувствую хорошо, что, как только подумаю оставить работу, какой-то злой дух в меня вселяется, и я готов наделать беды, большой беды!

— Бог с вами, шурин! — вскрикнула испуганная слезами Яця женщина, поднимая его. — Бог с вами! Какие вы страшные слова говорите, господь сохрани вас и помилуй! Успокойтесь, все будет хорошо. Все пойдем, будем копать, будем бога молить, может, бог смилуется над нами, бедными, и пошлет нам свой дар великий. Только не плачьте!

— Награди вас бог! Награди вас бог! — шептал Яць, всхлипывая, как малый ребенок. — Я спокоен, о, совсем спокоен... Только сил маловато. Ко сну клонит.

— Засните, засните, вам легче станет. А то, боже мой, выглядите, как с креста снятый.

И подвела Яця к постели: к охапке соломы, покрытой грубой дерюгой. Без сил, будто пьяный, упал Яць на постель и тотчас заснул глубоким сном. Жена шурина

сперва даже подумала, не пьян ли он, но, наклонившись над ним, не услышала водочного запаха.

— Сердечный! — вздохнула. — Так его эта проклятая кипячка захватила, что и вздохнуть не дает. Боже милосердный, защити его от всякого лиха! Пусть лучше мой нехристь себе голову сломит, а не эта добрая душа.

Сон Яця был продолжителен, но тревожен. Несколько раз ночью Яць вскакивал, прислушивался, кричал сквозь сон: «Есть! Есть!» — и снова без сил падал на постель и засыпал.

Но все же на другое утро встал несколько окрепший и с новой энергией начал помогать жене шурина укладываться и переносить жалкие остатки имущества и харчей в свою хату. Что-то влекло его к колодцу. Бегом бежал до самой усадьбы своей, а там все бросил посреди дороги и побежал заглянуть в колодец, не набралось ли за ночь нефти. Спустя долгое время вернулся печальный.

— Пусто, нет ничего! Но знаю, скоро, скоро будет. Должно быть! Разве .. разве только бога над нами нет!

— Побойтесь бога, шурин, что вы говорите! — вскрикнула жена шурина. — Слушать страшно!

— Сам уже не знаю, что говорю! — сказал Яць, опустив голову. — Но пойдем, пойдем работать! Надо спешить! Чувствую, что-то гонит меня, тревожит, будто смерть моя близко, а мне перед смертью надо еще многое сделать.

Женщина ничего больше не сказала, только перекрестилась при этих словах. Ясно видела, что у Яця начал мутиться ум, но чем она могла помочь? Идя за Яцем, она только тихо шептала молитву. Вместе со старшей дочерью стала на вороте и полегоньку, осторожно спустила Яця в колодец, хоть Яць из глубины то и дело кричал: «Скорей! Скорей!» Мальчик тем временем изо всех сил накачивал в колодец свежий воздух.

Когда Яць очутился на дне, жена шурина пошла в хату, оставив детей у колодца. Яць придумал, как без ее помощи вытаскивать бадью с глиной. Сам снизу, на особом канате, поднимал бадью наверх, а дети только опирались на нее и снова спускали. Принял разные меры предосторожности, чтобы кто-нибудь из детей не упал в колодец. Мать могла быть совершенно спокойна за них.

Сперва работа спорилась. Яць работал с нечеловеческой силой. Крушил киркой сланец, будто это был его злейший враг. Бадью за бадьей отправлял наверх, даже о свежем воздухе не очень заботился, так как в колодце угара не было никакого, да и дети качали воздух достаточно хорошо. На случай же, если начнет показываться нефть, Яць решил: не ждать, пока дети позовут мать и вытащат его в бадье, а лезть вверх по срубам, хотя бы на несколько сажень, и там уже дожидаться бадьи: он боялся, чтобы внезапно хлынувшая нефть не залила его или угаром не задушила.

Но нефти не было и следа. После нескольких часов тяжелой работы Яць ослабел, начал чувствовать острую боль в крестце, руках и ногах, почувствовал недостаток воздуха, какой-то стук в висках, головокружение.

«Что, может быть, эта духотища кипячку предвещает?» — подумал он, обрадовавшись, и трижды дернул за шнурок от звонка. Это означало, что дети должны звать мать и вытаскивать его наверх.

— Ну, что? Есть? Будет? — спрашивала шуринова жена, когда Яць, стоя в бадье, перевязанный канатом, вынырнул из темного отверстия колодца.

— Слава богу, кажется, будет, — ответил Яць, тяжело дыша и с трудом вылезая из бадьи.

Отвязали его, привели в хату, накормили и снова уложили спать. Но надежда оказалась преждевременной. Одурь была, но нефть не показывалась. Тревога и лихорадочная торопливость не оставляли Яця. Отдохнув немного, начал настаивать, чтобы снова спустили его в колодец. Но шуринова жена ни за что на свете не хотела этого делать.

— Сами себя погубите, шурин! — говорила. — Отдохните лучше, наберитесь силы. Колодец не уйдет.

— Нет, нет, надо кончить скорей! — настаивал на своем Яць. — Что вам от этого, если будете меня мучить? Все равно я не усую, не улежу на месте. Уж лучше спустите меня в колодец!

Едва смогла женщина упросить его, чтобы подождет до полудня.

Так прошло два дня — скорее в тяжких муках, чем в работе. Яць за эти дни состарился лет на десять,

сгорбился, поседел, лицо и лоб покрылись морщинами. Одни старые глаза сверкали живым огнем, и энергия его не только не ослабевала, наоборот, с каждым днем все увеличивалась. Сон почти вовсе покинул его: разве только днем, утомленный тяжелой работой, задремлет на минуту. Ночи были для него мучительнее дней.

И вдруг третий день принес ему несчастье, которого он меньше всего мог ожидать. Как раз в полдень, когда Яць только что пообедал с детьми, а жена шурина растилала солому, чтобы он хоть на минуту заснул, распахнулась дверь и в хату, как гром с ясного неба, влетел шурин-пьяница.

— Ага, нашел-таки свою жинку! — крикнул он и, не говоря ничего больше, ударил остолбеневшую женщину кулаком по лицу так сильно, что она, обливаясь кровью, повалилась на землю.

Целых полчаса бушевала буря в Яцевой хате. Сынались удары, раздавался крик и плач детей, вопль женщины, звон разбитой и растоптанной посуды и голос Яця. Попало и ему, хотя, надо сказать, он смело вступил в бой и нанес шурина несколько ударов таких метких, что в значительной мере охладил его воинственный пыл.

Полчаса длилась баталия, а потом началось печальное отступление: жена шурина с детьми и со всем своим недавно принесенным скарбом попрощалась с гостеприимными стенами Яцевой хаты. Муж ее, бранясь и крича, завершал это плачущее, избитое и окровавленное шествие. Яць остался один в хате, без сил, без помощи, без надежды. Что же произошло? Откуда налетела эта буря? Был ли это сон ужасный или подлинная правда? Не знал. Чувствовал только, как в голове у него шумело и глаза меркли, ощущал глухую боль во всем теле; сознание его мутилось... Сам не помнил, когда и как запер дверь и заснул на соломе, постланной посреди хаты.

Проснулся уже под утро. Светало. Серыми пятнами вырисовывались узкие оконца во мраке. Яць сразу вскочил, поднялся и начал собираться с мыслями, стараясь сообразить, что с ним произошло и что делать дальше.

Первой мыслью его было: надо пойти взглянуть — может быть, есть что-нибудь в колодце. Он уже бросился

к жерди, чтобы снять кожух, когда внезапный проблеск памяти сразу напомнил ему о его теперешнем положении.

— Боже мой! Да ведь я теперь один-одинешенек, как былинка в поле! Как же мне быть теперь?

В немом ужасе долго стоял несчастный, заломив руки. Казалось ему, что он падает в какую-то бездну и тщетно машет руками, стараясь за что-нибудь ухватиться. Но источник его надежды и энергии еще не был до конца исчерпан. В его больном воображении начали сновать какие-то фантастические, счастливые случаи, когда судьба внезапно поправляла все; на фундаменте неверного словечка «авось» быстро воздвигались воздушные замки будущего. Охваченный этими мечтами, бессознательно натянул кожух, взял лампу и бечевку с камнем для пробы и пошел к колодцу. Мало сказать — пошел. Побежал, полетел, подгоняемый какой-то властной силой. Снял крышку, заглянул в колодец — темно. Опустил бечевку с камнем — через несколько добрых секунд камень легко ударился о сланец. Вытащил камень — сухонький, ни следа нефти. У Яца даже руки опустились.

Только теперь почувствовал он всю огромность своего одиночества, своего бессилия. К чему был весь его пыл, его труды и муки? Зачем зарыл он все, что имел, в эти проклятые колодцы? Завистливая судьба, очевидно, поднимает его на смех, обогащает Юдку почти без труда, а его давит, как червяка. И где причина такой страшной неправды?.. Яць чувствовал, как что-то страшное шевелится у него в груди, подступает к горлу, захватывает дух. Мгновение стоял немой, полумертвый, посинелый, будто боролся с невидимым врагом, а потом как стоял, так и рухнул на землю, грыз ее зубами, бил кулаками и кричал неистовым голосом.

— На, на, вот тебе, проклятая! Вот тебе, предательница!

Утомился и минуту лежал, словно окаменев, а потом, подымаясь и обращая лицо к покрытому тучами, серому небу, крикнул изо всех сил:

— Боже, боже, чем я перед тобой провинился? За что ты меня так тяжко караешь? Негодным людям, пиявкам человеческим наше добро отдаешь, а со мной играешь, как с кошкой, пока не доигрался вот до чего!

Боже, неужели ты все видишь? Неужели такова твоя святая воля?

Замолчал, тяжело дыша, будто вместе с этими словами тяжкий камень свалился с его груди. Но Яць не успокоился, только на мгновенье нервы его притупились от чрезмерной боли.

— Что же мне теперь, несчастному, делать? За что приниматься? — жаловался он вслух, сев на землю и обеими руками схватившись за голову. — Броситься ли вниз головой в проклятый колодец, руки на себя наложить? И верно, ничего другого мне не остается. Ой, земля, матушка моя, прими меня к себе, чтобы мне больше не мучиться!

И, обливаясь слезами, с распростертыми руками кинулся пичком на землю и замер так, не то в немой молитве, не то в оцепенении. Только рыдания потрясали его тело и свидетельствовали о том, что это не труп, а живой человек лежал на земле.

Вдруг вскочил, словно змея его ужалила. Что такое? Сон это? Или наваждение? Но ведь фантазия его была подавлена, сломлена, бессильна. Нет, это гораздо сильнее, чем наваждение. Яць весь дрожал, охваченный несказанным волнением. Долгое время стоял, протирая глаза, не зная, с чего начать. Потом подхватил бечевку с камнем и снова закинул ее в колодец. И камень снова упал на дно с сухим стуком. Вытащил камень, еще не веря самому себе, — сухонький! Значит, и на этот раз он ошибся, значит, бульканье, которое он так явственно слышал, припав к земле, было обманом, было последней диковинной насмешкой судьбы над его несчастьем! Будь же ты проклята, судьба! Прощай ты, свет неблагодарный, ты, жизнь постылая!

Яць отступил на несколько шагов, чтобы с разбегу броситься в колодец. Но едва отступил от колодца, снова послышалось то же тихое бульканье. Напряг слух, как только мог — так и есть! Бульканье не было его фантазией. Отступил еще на два шага — еще сильнее слышать. В эту же минуту в нос ему ударил густой запах нефти.

Что это? Откуда? Оглянулся — боже! Ведь он стоит около своего старого, заколоченного и дерном заложеного колодца. Одним махом был он на самом колодце.

В первый же миг целое облако нефтяных испарений, поднимавшихся из-под дерна, и отчетливое бульканье под землей убедили его, что цель его достигнута, сокровище найдено — там, где он меньше всего ждал его...

Но Яць еще сам себе не верил. Дрожа, задыхаясь, почти не сознавая того, что делает и что с ним делается, сбросил с себя кожух, упал на колени и начал руками отдирать дерн, откидывать глину, раздвигать толстые брусья, которыми был заложен колодец. С лихорадочной поспешностью, работая изо всех сил, отвалил одно бревно. Солнце, которое уже немного поднялось над горизонтом, искоса заглянуло в колодец; его луч, словно в гладком металлическом зеркале, отразился на поверхности густой черной жидкости, наполнявшей колодец до краев.

То, что Яць в эти минуты не сошел с ума, не свалился от радости в колодец, было настоящим чудом. Очевидно, сам он понял, что с ним может что-нибудь случиться: обливаясь холодным потом, он откинулся назад от разверстой пасти колодца, словно искал безопасного места, заглянув прямо в глаза страшной загадке бытия.

Но после минутного оцепенения он пришел в подлинное неистовство. Бросился к другому заложенному колодцу, откопал его, открыл — полон! К третьему — то же самое! Значит, его не обманывали сны, в которых все время что-то нашептывало ему: «Есть, есть сокровище, которого ты добиваешься!» Только его собственная слепота была причиной, что так много мук пришлось ему испытать. А нарекания и проклятья на судьбу — ох, как бы не вздумали они теперь упасть на его собственную голову!

Но нет! Прочь всякие черные мысли! Цель достигнута! Сокровище добыто! Ценой здоровья, страданий, унижений и разочарований, но добыто... Что с ним теперь делать? Об этом Яць не заботился. Это само собой определится.

Почти не раздумывая — предыдущими ночами он так часто обдумывал это, — Яць побежал к Менделю. Застал его, когда он торговался с рабочими. Не здороваясь, не говоря ни слова, Яць подбежал, схватил Менделя за плечи и поволок.

— Ну, что такое? — кричал Мендель. — Яць, вы с ума сошли? Что вы хотите от меня?

— Иди, иди! — хриплым голосом кричал Яць, задыхаясь, не отпуская Менделя.

— Куда? Зачем? — спрашивал Мендель.

— Иди, иди, сам увидишь! — кричал Яць и тащил его дальше.

Он спотыкался на грудях глины и камня, но это для него ничего не значило. Мендель сперва вырывался — Яць его не отпускал. Потом еврей понял, что должно было случиться что-то необычайное, и пошел охотнее. Яць — еще быстрее. Оба почти бежали наперегонки. К первому колодцу.

— Смотри!

Мендель не успел прийти в себя, а Яць тащил его уже ко второму колодцу.

— Смотри!

И дальше — к третьему.

— Смотри!

Мендель остолбенел.

Яць без сил опустился на землю, тяжело дыша, не в состоянии и слова вымолвить. Хорошая минута прошла в молчании.

— Ну, и что же? — сказал, наконец, Мендель, обращаясь к Яцю.

— Купи! — коротко сказал Яць.

— А много хотите?

— Миллион!

— Опомнитесь, Яць! Что вы говорите? Кто вам даст миллион?

— Ты дашь!

— Да знаете ли вы, что такое миллион? Сколько это денег?

— Знаю, что много. А как будут в руках, то и сосчитать смогу. А ты думал, я тебе даром отдам?

— Я не хочу даром. Но назначайте человеческую цену!

— Миллион!

Мендель захохотал во все горло:

— Ну, что с ним говорить! Одно словечко выучил и повторяет! Но, Яць, где же я вам миллион возьму?

— Это твое дело.

— А что вы с ним сделаете?

— Это мое дело.

Еврей снова расхохотался во все горло. Вдруг стал серьезным. Его осенила счастливая мысль.

— Ну, знаете что, Яць, — сказал, подходя к нему ближе. — Вижу, вы не такой человек, чтобы с вами шутить. Да будет божья воля, дам вам миллион за ваши колодцы.

— Я так и знал, что дашь, — спокойно сказал Яць.

— Но уже за все четыре?

— Разумеется.

— И за всю остальную землю?

— А то как же?

— Так идти за писарем и свидетелями?

— Иди.

К двенадцати часам дня хата Яця Зелепуги была полна народу. Мендель приказал поставить перед окнами наскоро сколоченные из досок столы и скамейки; на них уселось немало людей, — это были свидетели. И все время новые прибывали.

По всему Бориславу пошла весть, что Зелепуга откопал три колодца нефти и продает их Менделю за миллион. Евреи спекулянты подсмеивались, мужики вздыхали, крестились святым крестом, прикидывали так и этак, что будет делать старый, одинокий, полупомешанный Яць с такой силой денег. Но все бежали к его хате, зная, что угощение там будет немалое.

Собравшиеся затихли. За столом сидят и войт, и староста церковный, и пан присяжный — это главные свидетели. Пан писарь только что кончил писать договор, посыпал написанное песком и громко побрякивает в знак того, что хочет начать чтение. Яць стоит против писаря немой, желтый, как воск, с горящими глазами и смотрит ему в рот.

— «Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь! — начинает резким голосом писарь, и все присутствующие крестятся благоговейно. — Я, нижеподписавшийся, хозяин Яць Зелепуга, в присутствии свидетелей: пана войта бориславского Якима Дуригрошева, и пана присяжного Олексы Бовты, и пана старосты церковного

Гриця Тумана, с присутствующим тут Менделем Лямпенлихтом заключил условие, или контракт, в следующем: что я продаю этому Менделю землю мою собственную, отцовскую, смежную на западе с собственной землей того же Менделя, а всего два морга, вместе с находящимися на той земле колодцами нефтяными и со всем, что в ней и на ней, и передаю эту землю тут же при свидетелях вышеупомянутому Менделю в вечную и неограниченную собственность.

А Мендель обязуется перед тем, как я передам ему землю, при этих же свидетелях вручить мне стоимость купленного, всего миллион... валюты австрийской».

— Чего, чего? — перебил чтение Яць.

— Валюты австрийской, — повторил писарь. — Это значит, денег австрийских, императорских, понимаете?

— А, понимаю! Да это ясно, других денег я и не возьму. Ну, читайте дальше!

Дальше чтение пошло быстро. Договор подписали — разумеется, как Яць, так и все свидетели поставили только кресты. Тогда выступил Мендель и положил на стол целый мешок с деньгами. Развязал его и начал вынимать пачку за пачкой ассигнации. Каждая пачка сложена была из мелких кредиток, преимущественно из бумажных шисток или гульденов, крест-накрест перевязанных ниткой.

— Тут сто, тут сто, тут сто, тут сто! — молот языком Мендель и доставал пачку за пачкой, так что у всех прямо дух захватывало. Несколько минут прошло, пока он выложил все, что было в мешке.

— Вот вам ваш миллион, пан Яць! — сказал он, гордо поглядывая на Яця.

Яць стоял ошеломленный. Такой уймы денег не видел он никогда в жизни, а теперь все это принадлежало ему!

— Гм, а кто знает, хорошо ли тут подсчитано? — сказал он, опомнившись. — Надо бы пересчитать.

— Я присягнуть могу, что хорошо подсчитано, — сказал Мендель. — Но вы можете не верить, это ваше дело. Только миллион пересчитать не так легко, как вам кажется. А чтобы вы меня не упрекали, будто я вас

надул, — я вам вот что скажу. Сложим эти деньги обратно в мешок, завяжем и запечатаем их при свидетелях, и пусть вам кого угодно из общества назначат, чтобы помог пересчитать. А если хотя бы одного гульдена не хватит, я обязуюсь возвратить вам вместо одного — десять.

— Добро, добро! — закричали хором свидетели, — сразу видно, — человек честный, не хочет вас обидеть, кум Яць!

— Согласен, — сказал Яць. — Но мешок с деньгами должен остаться у меня.

— Само собою разумеется! — быстро подхватил Мендель. — Ведь деньги ваши!

И быстро сложил все пачки кредиток в мешок и запечатал его с двух сторон большой общественной печатью, которую войт всегда носил при себе за голенищем.

— Ну, теперь это дело кончено, кум Яць. Теперь ваш черед: передать Менделю землю и колодцы. — Присутствующие встали и пошли. Отдав все Менделю, Яць успокоился. Началось угощение и благодаря необычайному Менделеву гостеприимству продлилось до позднего вечера. Только пан писарь, вручив Менделю подписанный договор и о чем-то долго с ним пошептавшись, ушел домой, не дожидаясь выпивки. Было у него еще много работы сегодня, а к тому же чувствовал он себя не совсем спокойно. Правда, заработал он нынче хорошо. Кроме обычных пяти гульденов «за труды», получил он от Менделя целых сто гульденов, да и то за самый малый пустяк. Только черт его знает, не обратится ли этот пустяк в большие неприятности. Проклятая разница уж больно велика. Правда, Мендель уверил его, что тут бояться нечего, что он нарочно так много свидетелей пригласил, чтобы все сделать обдуманно и со всеми предосторожностями, так что никто не посмеет назвать договор фальшивым, и даже у нотариуса его утверждать не надо, — хорошо, кабы все так и было! Но беда не спит, а спекулянту, кто его знает, можно ли верить? Несмотря на все заверения Менделя, пан писарь был неспокоен и стремился как можно скорей оставить место, где он ради бумажки в сто гульденов допустил этот проклятый... пустяк.

Что же это был за пустяк?

А был этот пустяк действительно невелик! Между словом «миллион» и словом «валюта» писарь в договоре написал, а при чтении утаил всего только одно слово «крейцеров». Правда, это одно словцо громкий Яцв миллион превращало в довольно малую сумму, в десять тысяч, но и это еще слишком большая сумма для такого глупого мужика, как Яць Зелепуга,—думал пан писарь. И с этой суммой Яць не будет знать, что делать. Яць тем временем наслаждался сознанием, что у него миллион. Что с ним делать, как им распорядиться — подумать об этом будет время завтра, послезавтра, поздней. Теперь ничто от него не убежит, счастье у него в руках. Этот мешок с кредитками — мощный фундамент и основа каких угодно, хотя бы самых смелых, мечтаний. Миллион! Разве это не величайшее богатство, о котором только в сказках рассказывается! Уже была глубокая ночь, когда от Яця ушли последние гости: войт, присяжный и староста церковный. За их здоровье Яць должен был выпить несколько рюмок сладкой водки, которую Мендель принес уже в самом конце, когда все прочие разошлись. И сам Мендель, отдав Яцю остаток водки, попрощался с ним и пошел спать.

Когда разошлись последние гости, Яць почувствовал себя таким счастливым, таким спокойным и сильным, как никогда. Какое-то роскошное тепло разлилось по всему его телу. От лихорадки, пожиравшей и мучившей его беспрестанно, не осталось и следа. Сидел на лавке, положив локти на стол, сжимая в объятиях свои осуществленные мечты, свой миллион, лежавший вот тут, в опечатанном мешке. Улыбался и что-то несвязно бормотал. Старался припомнить что-то, но долго не мог. Наконец, вспомнил все же, что следовало бы за гостями дверь запереть, но не в силах был подняться.

«Э, что там для меня дверь, — подумал. — У меня миллион, миллион, миллион!..»

И, шепча эти слова, уронил голову на мешок с деньгами и заснул. Каганец стоял против него на столе и своим мигающим огоньком напрасно старался заглянуть ему в глаза...

Через минуту тихо-тихо открылась дверь и, осторожно ступая босыми ногами, вошел Мендель.

Подошел прямо к Яцю, посмотрел на него, а потом спокойно поднял его локти, вынул из-под них мешок и подложил круглое полено, лежавшее под лавкой. Потом взял мешок подмышку и направился к двери. Но вскоре вернулся, взял со стола каганец и поставил на пол, где еще со вчерашнего дня был рассыпан сноп соломы. Много соломы лежало и под лавкой, на которой сидел Яць.

— Так лучше будет, — прошептал Мендель. — Следа не останется.

И быстро вышел из хаты, запер в сенях наружную дверь, вышел во двор черным ходом и запер за собой дверь посредством веревки, привязанной к засову и пропущенной наружу через отверстие, пробуровленное в стене. Задвинув засов, он как следует дернул и отсрвал веревку, так что каждому должно было казаться, будто и эта дверь была заперта изнутри. А потом исчез в темноте.

— Осторожно с огнем! — заунывно кричал общественный сторож, проходя по улице. И поглядел на хату Зелепуги, стоявшую на отлете, в каких-нибудь ста шагах от улицы.

«Что такое старый хрен там делает? — думал старик. — Печь, что ли, топит так поздно?»

Но в то же мгновение размышления его прервались. Могучий свет, наполнивший хату Зелепуги, вдруг огромным кровавым языком вырвался на крышу из окон, из дверей, охватил всю хату, которая сразу же вспыхнула, как свеча ярого воска.

— Горит! горит! — завопил сторож изо всех сил и кинулся на колокольню ударить в набат.

На другое утро толпа снова окружила Яцеву хату, но теперь вместо хаты было черное пожарище: одна глиняная, четырехгранная печь торчала среди печальных развалин. Из печи выгребли люди и полуобгоревший труп Яця Зелепуги. Очевидно, покойный, проснувшись среди огня, хотел спрятаться в печь, но не успел. Залез только до половины; ноги и нижняя часть туловища торчали из печи и стали жертвой огня. Зато лицо, прижатое к земле, и руки были совсем целы. В руках, вместо мешка с деньгами, было толстое полено.

— Несчастный! — толковали люди, — задремал, верно, над деньгами и столкнул каганец со стола в солону. А когда проснулся — в растерянности, вместо того чтобы спасти деньги, схватил полено. Деньги же все сгорели. Видно, сам бог не дал ему счастья с этим богатством!

А мертвый Зелепуга лежал перед хатой, и после смерти сжимая полено в своих объятиях так крепко, что его нельзя было у него отнять. Посиневшее, испуганное лицо Яця обращено было к небу, будто сквозь эти судорожно стиснутые зубы вот-вот должен был вырваться вопрос:

— Боже, неужто ты все это видишь: Неужто такова твоя святая воля?

[1887]

РАДИ ПРАЗДНИКА

I

Было это в августе 1880 года, во время поездки императора⁴ по Галиции.

Большая фабрика парафина и церезина (земляного воска) недалеко от Дрогобыча шумела, как улей. Только что прозвонили «фаерант»*, и рабочие высыпали из разных построек на широкий фабричный двор, где в живописном беспорядке валялись: тут разбитая бочка из-под жидкого топлива, там ржавый обломок железной машины, тут жестяные ведра с зловонными остатками нефти, там какие-то невыразимо грязные, вонючие клочья, всякий инструмент, возок со сломанным дышлом и тому подобные украшения. Лица и одежда выходявших рабочих совершенно соответствовали окружавшей их обстановке; здесь фоном служили грязные, облупившиеся стены фабричных строений, затем высокий дощатый забор, которым была обнесена вся фабрика, а вдали — прекрасный ландшафт Подгорья, холмы со сжатыми нивами и золотистыми полосами спелой ржи. На запад от фабрики,

* От немецкого Feierabend — вечернее время, когда кончается работа. (Прим. Ив. Франка.)

за мелкой, хотя довольно широкой речкой Тисменницей и расположенным над нею небольшим селом Млынки, подымался на невысоком пригорке могучий дубовый лес — Тептюж, к которому из Дрогобыча, мимо фабрики, через речку без моста и через Млынки, вело прямое, как по линейке проведенное, казенное шоссе. Долина Тисменницы, извиваясь, как змея, около фабрики поворачивает на юг, а потом на восток между дрогобычскими холмами, а еще дальше, к западу над долиной, как фантастическая темносиняя, слегка волнистая стена, стоит строгий, нередко закрытый туманом, словно задумавшийся, Дил, а у подножия его дымится множеством фабрик и щетинится множеством острых нефтяных вышек Борислав — главное гнездо галицкого нефтяного и парафинового промысла с его десятью тысячами колодцев и десятью тысячами спекулянтов.

Но лица и одежда фабричных вполне гармонировали с ближайшим грязным и зловонным окружением. Работавшие у котла были почти голые, в порванных рубахах, и многих из них душил кашель — следствие ядовитых испарений, которыми приходилось дышать при фильтрации и очистке земляного воска. Работавшие при печах также были в одних рубахах и казались ошпаренными: глаза их налились кровью, обожженные лица побагровели от пылающих топков. Подносчики озокерита⁵, казалось, были сплошь залиты зловонной смолой. Шли еще из бондарни, со клада, с других вспомогательных работ — все оборванные, несчастные, усталые, явно желавшие одного: перекусить как можно скорей и как можно скорей упасть где-нибудь в углу на солому, на щепки или голую землю, лишь бы заснуть и проспать мертвым сном до ближайшего звонка.

— Ожидать, ожидать! Не расходиться! — кричал директор фабрики; он, в сопровождении двух надсмотрщиков, вышел как раз из своей канцелярии и остановился в воротах, загораживая выход.

— Что там такое? Что случилось? — спрашивали стоявшие ближе.

— Пускайте! Чего столпились? Нам есть хочется! — кричали стоявшие дальше, не знавшие причины задержки.

— Обождите! Обождите! — закричали громовыми голосами надсмотрщики. — Спокойно! Спокойно!

— Что там за черт? Чего нам ждать? — кричали рабочие.

— Пан принципал* приехал. Хочет вам что-то сказать! — крикнул директор толпе.

— Пан принципал! Пан принципал! — зашумела толпа, которая господина принципала, известного дробычского капиталиста, видела только в дни выплаты. Но сегодня не был платежный день. Что же может понадобиться от них господину принципалу?

Толпа понемногу стала отодвигаться от ворот, собираясь перед фабричной конторой, откуда обычно показывался принципал. И действительно, через несколько минут, когда шум затих, в дверях конторы показалось полное, обросшее черной подстриженной бородой лицо господина Гаммершляга; он, по обыкновению, полувезжливо, полупрезрительно улыбался и хитро щурился. Движением руки он приветствовал толпу рабочих, которая стояла тесными рядами, смотря на него с выражением пассивного ожидания, и вовсе не ответил на их приветствие.

— Ну, как поживаете? — спросил хозяин.

— Да как, — будто нехотя ответил один рабочий, стоявший ближе к хозяину, — неважно живем! Обижают нас надсмотрщики, плохо кормят; сегодня одному из котельной всю руку ошпарило.

— Лучше б смотрел! Я тут ни при чем! — крикнул один из надсмотрщиков.

— Молчать! Молчать! — закричал сразу директор и другие надсмотрщики. — Не об этом теперь речь. Скажете при выплате.

— Как же молчать, — огрызнулся рабочий, — если пан принципал спрашивает, как мы поживаем.

— Да не тебя спрашивает, дурак! — отрезал надзиратель.

— А не замолчишь ли ты сам, жидовский прихвостень! Помалкивай, хам! — закричали возмущенные рабочие по адресу услужливого надсмотрщика.

* Хозяин (от латинск. *principalis* — главный).

Пан принципал с олимпийским спокойствием выслушивал эти выкрики, стоя на высоком крыльце конторы; он молчал, пока крики не умолкли.

— Ну, видите, какие вы, — проговорил, наконец, с легкой усмешкой. — Всё вы недовольны, никак на вас не угодишь, постоянно на что-то жалуетесь. А я знаю хорошо: если приглядеться получше к вашим жалобам, ни одна не подтвердится. И одного вы не можете понять, почтенные господа рабочие, одной чрезвычайно важной вещи. Если б не фабрика и не я, на чьи деньги она существует, что было бы с вами? Ну, скажите, что было бы с вами тогда?

Рабочие на неожиданный для них вопрос ответили молчанием.

— Вот видите, позатыкало вам рты, — говорил уже более ласково пан принципал. — Раз вы молчите, я отвечу за вас. Вы дошли бы с голоду друг за дружкой. Благодарили б бога, видя один раз в день шелуху от картошки и щепотку соли. А теперь у вас и хлеб, и сыр, и мясо каждую неделю, и водка, и голодных дней не знаете, а всё недовольны, никак на вас не угодишь, всё жалуетесь. Обдирают вас, говорите. Ну, ну, — прибавил он с иронической улыбкой, окинув взглядом их оборванные фигуры, — немного с вас сдерешь.

— Кровь нашу пьете! Шкуру с нас дерете! Салом нашим жиреете! — ответил крик из толпы.

Пан принципал стрельнул огненным взглядом в ту сторону, откуда крикнули, но не мог найти в толпе крикнувшего, только в памяти отметил несколько подозрительных фигур для будущего расследования, а сейчас сделал вид, что не слышал ничего, и спокойно продолжал:

— Ну, видите, вы всё так! Вместо благодарности жалуетесь и выдумываете всякую всячину. Не думаете о том, что, чем лучше мне, тем лучше будет и вам; вы меня и фабрику считаете своими врагами!

Рабочие стояли молча, а некоторые, может быть, даже сконфузились, не будучи в состоянии взвесить, сколько правды в словах господина принципала.

— Ну, слушайте, почтенные господа рабочие, — говорил все ласковей, уже почти сердечно, пан принци-

пал. — Через две недели у нас на фабрике будет великий праздник. Должны к этому отнестись серьезно, слышите? Наш всемилостивейший монарх, наш император будет проезжать через наш город. Я приложил все старания, чтобы он проездом побывал и на нашей фабрике и осмотрел ее. Понимаете, конечно, какая это великая честь не только для меня, но также и для вас всех, как велика доброта нашего монарха.

Рабочие молчали, словно их зачерствелые сердца не чувствовали ни чести, оказываемой фабрике «нашим всемилостивейшим монархом», ни его доброты.

— Но, сами понимаете, к приему такого гостя надо хорошо подготовиться. Ведь не покажем ему фабрики и сами не покажемся в таком отвратительном виде, как сейчас. Надо тут навести порядок.

— Это пана принципала дело, не наше, — проговорил один рабочий.

— Как мое? Как так не ваше? — мгновенно подхватил пан принципал. — Не бойтесь, я хорошо знаю свое дело. Обо мне не беспокойтесь. Я в грязь лицом не ударю. Но вы также должны постараться. Разумеется, я не имею права заставлять вас, но вы должны сделать это не для меня, а для нашего милостивого монарха. Видите, здесь все надо привести в порядок, выбросить мусор, очистить двор от грязи, убрать все ненужное. Ведь это свинство не я наделал, а вы. Надо двор посыпать гравием, это нетрудно, река под боком, времени у нас достаточно. Ну, стены велю оштукатурить и побелить, а в ваших бараках, где ночуете, надо тоже навести порядок, — вдруг наш всемилостивейший государь захочет заглянуть и туда. Знаете, какой он добрый монарх, как заботится о благе своих подданных, больше, чем отец о своих детях. Он всем интересуется. Но, заметьте, все это нужно сделать вам, специальных рабочих не буду нанимать. Ежедневно после фаеранта поработаете часок-другой, и все будет чисто, как зеркало. Хорошо, хлопцы?

Глубокое молчание было ответом на эту речь.

— Ну, не думайте, что я хочу всего этого от вас даром. Посмотрите только на самих себя, как вы выглядите. Ведь в таком виде ни один из вас не захочет показать-

ся своему императору. Надо вас приодеть как-нибудь поприличней. Так вот слушайте, сделаем так. Завтра пришлю вам сюда нескольких портных, сошьют вам мундиры, чтобы у вас было во что прилично одеться. А за это вы сделаете здесь все, что понадобится.

— Да, если так, тогда другое дело, — отозвался кое-кто из рабочих.

Пан принципал принял этот нерешительный отклик за знак согласия и сказал совсем спокойно:

— Ну и хорошо. Пан директор распорядится обо всем. Придется украсить фабрику. Лес близко, зеленых веток там много, можно приготовить венки и гирлянды из листьев дуба. На воротах надо вывесить флаги. Это уже все пан директор обдумает подробно. Только поживей, хлопцы, дружнее принимайтесь за работу, и я даю вам свое честное слово, мы все будем довольны, все будет хорошо.

«Хлопцы», среди которых было немало взрослых, бородатых и усатых мужчин и даже несколько седых стариков, выслушав речь своего хозяина, не проявили особенной радости; некоторые вздыхали печально, а другие стали молча расходиться. Только у младшего поколения слова хозяина вызвали веселое настроение. Молодым улыбалась надежда парадировать перед императором в новых мундирах. Поэтому, едва пан принципал, сопровождаемый директором, повернулся к рабочим спиной и направился к двери фабричной конторы, кое-кто из молодежи, может быть не без поощрения со стороны надсмотрщиков, подбросил шапки в воздух и закричал:

— Виват! Да здравствует наш всемилостивейший монарх!

II

— Виват! Да здравствует наш всемилостивейший монарх! Виват! Виват!

Так кричали бесчисленные толпы празднично разодетых людей, преимущественно евреев, занимавших всю площадь перед большой фабрикой парафина и церезина в ту минуту, когда император в сопровождении наместника и многочисленной свиты прибыл из Дрогобыча.

Длинный ряд блестящих экипажей медленно двигался между тесными рядами приведенной в восторг толпы и остановился у фабричных ворот. Сегодня, однако, это были не те ворота, которые две недели назад скрипели на ржавых железных петлях, сбитые из старых досок, снизу забрызганные грязью, а сверху украшенные нецензурными рисунками и надписями *al fresco** нефтяной жижей. Сегодня от этих ворот осталось одно только широкое отверстие в заборе, а над этим отверстием поднималась до высоты второго этажа оригинально, почти художественно, в стиле рококо исполненная триумфальная арка из глыб разноцветного земляного воска.

На основаниях из зеленоватого, желтого с прожилками, необработанного озокерита, а также из черных, как смола, глыб перетопленного воска поднимались в небо массивные колонны из белого как снег парафина с изящными капителями, колонны поддерживали красиво выгнутый и тысячами цветочков-завиточков из того же самого материала украшенный фронтон. Это был замысел директора фабрики, бельгийца Ван-Гехта, выполненный, очевидно, не кем другим, как самими фабричными под руководством одного дрогобычского инженера.

В воротах стоял сам хозяин во фраке, с шапокляком подмышкой, с золотой цепочкой от часов через живот, и приветствовал императора краткой речью на немецком языке, которую кончил, выкрикнув во все горло:

— *Seine Majestät der Herr Kaiser lebe hoch!***

— *Lebe hoch! Niech żyje!**** Многая лета! — подхватила толпа на шоссе и во дворе фабрики. А во дворе, чистеньком, как бомбоньерка, посыпанном гравием и украшенном зеленью, стояли выстроенные длинными рядами рабочие. Вымытые, выбритые, в новых мундирах, они выглядели совсем прилично, тем более что в первых рядах, ближе к воротам, поставили молодых, наиболее сильных и здоровых, а более пожилые, больные, согнутые вдвое или с недавно залеченными ранами должны были стоять дальше от входа.

* По методу фресковой живописи, то есть выведенные по еще сырой, свежей штукатурке (от итальянск. *fresco* — свежий).

** Да здравствует его величество император (немецк.)

*** Да здравствует! Да здравствует! (немецк. и польск.)

— Вот мои рабочие! — радостно и гордо проговорил господин Гаммершляг, вступая в роль хозяина, которому надлежало сопровождать достойного гостя по всем отделам фабрики.

Император подошел к шеренге рабочих, и тогда снова послышались крики в его честь. Монарх поблагодарил, махнув рукой, потом спросил стоявшего в первом ряду рабочего, как его зовут, второго — давно ли работает на фабрике, третьего — женат ли и сколько у него детей. На этом окончился осмотр рабочих. Обращаясь к хозяину, который в эту минуту чувствовал себя как на иголках, терзаемый мучительным страхом, и то бледнел, то краснел, боясь, чтобы кто-нибудь из рабочих не ляпнул невежливое или бунтарского слова, монарх проговорил добродушно:

— Sie haben tüchtige, gesunde und ordentliche Leute. Sind Sie mit ihnen zufrieden?

— Vollkommen, Majestät! Wir sind wie eine Familie.

— Es freut mich sehr, — ответил император и, повторяя медленно: «Sehr gut, sehr gut» *, пошел дальше, чтобы осмотреть станки, аппараты, а также фабричные постройки.

Тут все пошло как по маслу. Машины и все оборудование блестели как зеркало, в помещениях и комнатах пахло сосновой смолой и можжевельником, а в бараках, где спали рабочие, было чисто, светло и опрятно, так как ради праздника здесь нарочно прорубили несколько окон и привезли из Дрогобыча койки; режиссеры этой комедии сделали так, будто бы для каждого рабочего было тут отдельное, отгороженное досками помещение с постелью, матрацем, подушкой набитой стружками, и с жестким одеялом.

— Primitiv, primitiv, aber hygienisch**, — сказал император, осмотрев одну такую спальню.

— Ach, Euere Majestät, — воскликнул в глубоком волнении господин принципал, — dies ist ein Paradies

* У вас превосходные, здоровые, порядочные люди. Довольны вы ими? — Совершенно, ваше величество. Мы как одна семья. — Это меня очень радует. Очень хорошо, очень хорошо! (немецк.)

** Прimitивно, примитивно, но гигиенично (немецк.)

im Vergleich mit dem, was diese Leute einst in ihren Bauernhütten hatten. Sie sagen es selbst.

— Freut mich sehr! Freut mich sehr* — проговорил император, направляясь к выходу.

— Виват! Виват! Да здравствует наш все милостивейший монарх! — закричала толпа еще оглушительней, когда император и его свита сели в экипажи, чтобы проехать несколько сот шагов к ближайшей железнодорожной будке, где дожидался императора придворный поезд, который должен был отвезти его в Борислав. Блестящие экипажи медленно двинулись, провожаемые непрерывными криками толпы; но только они отъехали от ворот фабрики, — все на ее территории почувствовали, что прекрасные мгновения праздничного дня ушли безвозвратно.

III

Прошло несколько недель. Фабрика быстро утратила свой опрятный и праздничный вид. Арка из воска, на которую еще несколько дней ходила смотреть любопытная публика из Дрогобыча и окрестных селений, была разобрана и пошла на свечи. Гравий, которым был посыпан двор, после первого же дождя сотнями рабочих ног и тяжелых колес был превращен в прежнюю грязь и исчез почти бесследно. Из барачков, где ночевали рабочие, давно уже были вынесены перегородки, дверцы, кровати и белье. Все это было изготовлено на время или взято взаймы, и теперь рабочие снова спали на голой соломе и стружках, на досках или на голой земле, где кто свалился. Они так уже привыкли к этому, что перемена вовсе их не удивляла. Ведь они знали, что не каждый день пасха, а что для императора надо было устроить парад. Одно только утешало их, оставшись как память о праздничном дне, — новые мундиры, которые у них не отобрало фабричное управление, и поэтому рабочие с благодарностью вспоминали о приезде императора.

* Ах, ваше величество, это рай по сравнению с тем, что эти люди когда-то имели в своих крестьянских хижинах. Они сами это говорят. — Очень рад! Очень рад! (немецк.)

Но однажды вечером после фаеранта снова позвали их к конторе, объявив, что господин принципал хочет им что-то сказать. Весело переговариваясь и шутя, рабочие собрались перед конторой. Им пришлось ждать довольно долго — пан принципал все не выходил и не выходил.

— Ого, что-то, видать, испортилось, если насос не фыркает, — шутили рабочие, между собой называвшие хозяина насосом.

Но насос и не думал портиться. Пан принципал вышел веселый, почти лучезарный, держа в руках какую-то бумагу с огромной печатью.

— Ну, хлопцы, — проговорил он, указывая на бумагу и даже не поздоровавшись с рабочими, — видите?

— Видим, — ответили удивленные рабочие.

— А знаете, что это такое?

— Откуда нам знать? Может, завещание пана принципала?

— Тьфу, тьфу, тьфу! Чтоб тебе лопнуть! Что ты плетешь? — крикнул пан принципал, который страх как не любил думать о «последних минутах». — Ты с ума сошел? Посмотри ближе, дурак! Тут стоит подпись императора, а тебе чудится завещание! Тьфу, тьфу, тьфу!

Отфыркавшись, пан принципал снова распогодился, лицо его прояснилось.

— Это указ, хлопцы! Указ все милостивейшего государя, который за заслуги мои перед этим краем даровал мне титул барона. Понимаете, что это значит? Теперь я для вас не просто пан принципал, а господин барон. Понимаете? Так должны меня звать.

— Да здравствует господин барон Гаммершляг! — заверещал один надсмотрщик, стоявший среди рабочих, а вслед за ним и некоторые рабочие, стоявшие поближе к новоиспеченному барону.

Однако, едва затихли крики и господин барон, поглаживая бороду, начал обдумывать свою дальнейшую речь, как вдруг выступил вперед один рабочий и, низко поклонившись, выпалил, будто из ружья, на своем ма-зурском диалекте:

—А może by ta pan barun psy takij urocystosci racyli nam troche podwyssyć podzienne?*

Господин барон ушам своим не поверил, услышав такие слова.

— Что, что, что? Проклятые мазуры! Съесть меня хотите вместе с костями, что ли, вовсе замучить? Разве вы не знаете, что фабрика не приносит мне почти никакого дохода, что я ее держу только из чести, только для вас, чтоб вы, дармоеды, не подошли с голоду? И откуда я найду средства повесить вам поденную плату? Из каких капиталов? Хотите, чтоб я докладывал на вас? Ах, неслыханное дело! Это, это ... ах, тапе Munes**, — пропадешь с такими людьми!

Рабочие стояли сконфуженные. Господин барон как сумасшедший бегал по крыльцу, махал руками, строил разные гримасы и выливал целые потоки выкриков, желая излить все свое негодование по поводу неслыханных претензий рабочих.

— Я не то еще хотел сказать вам, — проговорил он, наконец, решительно и грозно. — Знаете, дураки, сколько стоит мне этот титул? Впрочем, откуда вам знать? Больше десяти тысяч убухал я на него, а вы хотите еще с меня что-то получить? Ну, откуда мне взять? Рвите меня на части, выматывайте жилы, но денег у меня не вырвете. А тут еще эти ваши мундиры. Какая мне польза от того, что одел я вас, как порядочных людей, чего, собственно говоря, даже не был обязан делать? Разве вы чувствуете какую-нибудь благодарность? Где там, ни капли! Но погодите! Если вы не чувствуете благодарности по отношению ко мне, и я не стану с вами церемониться. Пан кассир! Суммы, истраченные на мундиры, записать каждому на его счет, разложить на полгода и высчитывать еженедельно при выплате!

Работники стояли ошеломленные.

— Получили, что хотели? — грозно кричал господин барон, хотя никто и не пробовал возражать. — А теперь ступайте! Но запомните одно! Теперь я уже не просто Лейб

* А может, господин барон по случаю такого торжества малость повесит нам поденную плату? (польск.)

** Клянусь (еврейск.)

Гаммершляг, но господин барон Leo von* Гаммершляг. Сам все милостивейший император наградил меня за мои заслуги. Пан староста и полиция должны будут теперь повнимательней прислушиваться к моим словам. Вы меня понимаете? Держитесь потише, не заставляйте растолковывать вам это ясней. А ну, марш!

И господин барон махнул рукой. Но рабочие все еще стояли, будто остолбенев. Из-за этих несчастных мундиров, которые были как бы платой за кровавую, сверхурочную работу по уборке фабрики, их заработок теперь уменьшится! Их жалкий заработок будет из-за этого подарка, которого они не просили, урезан почти на полгода! Вдобавок, что же оказывается? А оказывается, они своей работой только помогли возвышению пана барона, укреплению его авторитета, и это в первую очередь обратится против них же самих. Все эти мысли, мгновенно пришедшие в голову даже самому тупому, самому забитому рабочему, дохнули на них какой-то тяжелой, душной атмосферой. Какой-то смутный логический процесс заставил их мысли обратиться к недавней праздничной встрече императора на этой фабрике. Тогдашний блеск, тогдашняя радость, тогдашние крики воодушевления — все это казалось им теперь таким далеким, таким фантастическим и невозможным в действительности, что контраст, словно разверстая пасть пропасти, повлек их к себе. И вдруг несколько шапок полетело вверх, и из нескольких десятков ртов вырвался крик, подхваченный тотчас же всеми рабочими этой фабрики: «Виват! Да здравствует наш все милостивейший монарх! Виват!»

[1891]

* Лео фон. (немецк.)

ПОЛУЙКА

Рассказ старого нефтяника

I

Да, теперь наш Борислав вовсе на нет сошел! И спекулянты бранятся, и хозяева бранятся, и рабочие бранятся. Всем худо. Работают люди, как лошади в упряжке, долбят землю святую, черпают нефть, добывают воск. Сказал бы: дар божий! Золото! Богатство! А присмотреться — куда-то все девается, так что и следа нет. Будто черт всем этим давится. Чем больше этого «божьего дара» добывают из земли, тем больше все беднеют. Не пойму, как это делается, а все же это так. И заработков прежних нет, и веселья, и гульбы нет, как бывало, а идет человек в Борислав, будто скотина на бойню; нынче, дескать, моя очередь голову сложить! А не пропаду, так все равно много не заработаю, только бы перебиться. А о том, чтобы бедный человек из этого заработка купил что-нибудь для хозяйства или вовсе на ноги встал, из работника сделался хозяином, как прежде бывало, — об этом нынче нечего и думать. Нищета, и только!

А в мои молодые годы не так было. Этак лет тридцать тому назад следовало бы вам заглянуть в Борислав. Тогда было на что посмотреть, было что послушать! Этого теперешнего, так сказать, городка плачевного еще вовсе не было, одни колодцы над ручьем, и то неглубокие. Этих нынешних головоломных шахт по сто

да по полтора метра тогда и во сне не видывали. Прокопаешь, бывало, пять, шесть саженей, а как десять, двенадцать, — так уже и великий праздник, и уже чувствуешь: угар подымается, на дне колодца выступают пузыри, слышать какой-то клекот, шипенье, — ого, значит, пора забивать колодец! Забьешь на одну ночь, на другой день откроешь — полный колодец нефти, только бери да черпай!

Посмотрели бы вы, как чужаки-спекулянты скакали над таким колодцем, как причмокивали, как увивались около нас, рабочих! Только что рук не целовали, а как потчевали да приговаривали:

— Иванюня! Дай вам бог здоровья! Ну, выпейте! А как полагаете, забьем нынче колодец?

— Нет, еще надо копать.

— Ну, а может, нынче забить?

— Да забивай, коли хочешь, а я тебе говорю — напрасно забьешь!

И так было, как рабочий говорил. Э, тогда все чужаки перед нами заискивали, обращались с нами не так, как нынче, потому что сами еще были маленькие, еще, как говорится, только начали пробовать шилом патоку!

А тогдашние рабочие! Что это за хлопцы были! Не та шушера, какая нынче в Борислав лезет. Тогда шли самые первые парубки, даже хозяйские сыны, а чаще беднота, батраки, круглые сироты, те, что век свой прожили внаймах, в тяжкой работе, не имели за всю свою жизнь гульдена в кармане. не пробовали ничего, кроме борща, да кислой капусты, да водки. А тут тебе гульден в день! И твое все, никому не давай отчета, ни с кем не делись, ни на кого не оглядывайся! Никто на тебя не смотрит, никто тебя не знает, никто тебе в руки не заглядывает. Один ты в компании таких же, как ты, — делай, что хочешь, живи, как знаешь! И жили хлопцы! Работа работой, но после работы, вечером, как пойдет гульба, было на что посмотреть! Нынче о такой гульбе и думать нечего! Крики, песни, пьянство, драки, разное баловство и шутки, лишь бы деньгам глаза промыть. Настоящему нефтянику стыдно было не пропить в воскресенье все, что заработал за неделю. Там заплатил за харчи или нет, отложил или не отложил про черный день, а в шинке

среди товарищей он был пан. Водка, пиво, вино, жаркое— все ему подай.

— Начхать мне на все! Завтра или послезавтра, может, черт меня заберет! Гуляй, хлопцы, пока гуляется, пока наша пора!

В воскресенье, да и в понедельник стояла в Бориславе такая ярмарка, такой шум и гам, будто сто синагог в одну кучу свалили. Пьем, гуляем, а потом, взявшись за руки, стеной валим по дороге среди бараков — таков был тогдашний Борислав; село поодаль, а тут, где нынешний Борислав, здесь была посредине дорога, а по обеим сторонам бараки, кое-где только начали строить дома, — так вот идем по дороге и ревом нечеловеческими голосами:

Ой, не жалуй, моя мила,
Що я п'ю!
Тоді будеш жалувати,
Як я вмру!*

Покажись только хозяин да скажи:

— Иванюня, пора и на работу!

Ну-ну! Достанется ему! Сейчас его обступят, словно хорошие приятели. Этот в бочку с нефтью руку сунет да сзади на бекешу вклеит ему здоровую пятерню! Другой в бочку руку сунет и нафабрит ему всю бороду, третий такую же рукою пейсы ему подкрутит, четвертый обе руки положит ему на плечи да еще и скажет:

— Мошко! Чего тебе торопиться? Нас черт возьмет и тебя возьмет. Мы погибнем нефтяниками, ты сдохнешь богачом. Не бойся, твое не уйдет! Пойдем выпьем с нами! Ох, и красиво же ты выглядишь! Ай-ай, твоя родная Сура тебя не узнает!

Еврей будто улыбается, а сам со злости чуть не лопається. Но что поделаешь? Мужики, как медведи, да еще пьяные. Ни полиции, ни стражников тогда еще в Бориславе не было, хозяева носы не очень задирали.

Скоро они этому научились!

* Ой, не жалей, моя милая, Что я пью, Тогда пожалеешь, Как я умру! (украинск.)

Ага, о чем это я хотел рассказать вам? Да, полуйка! Теперь уже про нее мало кто и помнит, а тогда это было для нефтяников все равно, как для ребенка калач, который мать привозит из города.

Видите, был такой обычай: когда в колодце показывалась нефть, то первая бочка шла рабочим, работавшим в нем. Они могли ее взять и продать, кому хотели, или хозяин должен был выкупить ее у них. Небольшие это были деньги — десять, позднее пятнадцать гульденов, — но для четырех человек, работавших в колодце, это была хорошая сумма. И, как только проходил слух, что в том или другом колодце докапываются до нефти, поднимался шум на всех промыслах:

— Ого, у Гершка или там у Мошки послезавтра полуйка будет.

Ну, и говорить вам не надо, что это означало. Это означало — пьянство такое, что все эти деньги на месте должны остаться. Оттого и сбегались нефтяники на полуйку, как свахи на свадьбу.

Не знаю, кто установил такой обычай, но думается, не хозяева. Они очень косо смотрели на него, но не могли ничего поделать. Раз уж так повелось, то нефтяники разнесли б хозяину весь промысел и его самого с головой в бочку всадили бы, не пожелай он дать им полуйки. Сперва хозяева, пока были победней, охотно ее давали; потом, как разжились малость, морщиться начали, потом доходило до ссор, а, наконец, после большого пожара тысяча восемьсот семьдесят четвертого года, и совсем упразднили этот обычай.

Так вот с этой полуйкой на моих глазах была история.

Работали мы — я и Гриць Хомик, он теперь войтом в Запалом, и Иван Карапуз, покойник, — в одном колодце у Ионы. Какая-то странная у него была фамилия, но мы называли его «Иона с тремя бородами» — борода у него была разделена на три пряди, к тому же средняя прядь была черная, а две по краям седые. Выглядел точь-в-точь как темноперый гусак. Давно уже дуба дал, из-за этой самой полуйки жизни лишился, о которой я вам

хочу рассказать, а вот сын его Борух совсем обнищал, извозом занимается теперь в Дрогобыче.

Этот Иона недавно явился в Борислав откуда-то с гор. Говорили, сколотил деньгу, торгуя волами, а теперь хотел разбогатеть в Бориславе. Сразу же у одной бабы приобрел участок, — не скажу, чтобы дешево, тогда пришлось бы ей кое-что дать, а прямо-таки даром: за две квартиры сладкой водки. Баба была одинокая, старая, была у нее хата да клочок земли далеко за селом, на мочажине. Часть земли муж ее перед смертью пропил. Вот она и рада была избавиться от оставшейся части и, выпив водочки и проспавшись, сшила себе торбы, перекрестилась и пошла по миру. А Иона сейчас же начал рыть два колодца на том клочке.

Как-то ему не везло. Видно было по нему, что прямо трясется, так хочет поскорей разбогатеть, бегаёт, нюхает, подгоняет рабочих, заглядывает в колодцы. А наши нефтяники страсть этого не любили. Обманывали его. Возьмут, принесут откуда-нибудь ушат нефти, вечером выльют в колодец, а утром, как поднимут глину из колодца, наш Иона прямо пляшет:

— Ого, есть уже, есть! Есть нефть у меня! Иванюня, а много ее там? — кричит он вниз рабочему.

— Столько, что и не видать.

— Как это? Как это? А вот на глине есть.

— Так это, Иона, земля слюни пускает! — отвечает тот из колодца.

— Как так пускает? Я еще не слышал, чтобы земля слюни пускала.

— Да так нефть еще глубоко, а пока только пена проступает.

— Ну, а скоро будет нефть, Иванюня? Скоро будет?

— Да сказывала, что будет, только подождите! — сердито ответит рабочий и изо всех сил стукнет киркой о твердый грунт.

— Ну-ну, в добрый час! — приговаривает Иона и отходит, — и не идет, а бежит к другому колодцу, чтобы и там услышать, что в колодце «земля слюни пускает, а нефть сказывала подождать».

Сколько раз так дурачили хлопцы Иону, а сами смеются, со смеху прямо на карачках ползают. Однако

им смех, а Ионе начинает уже терпенья не хватать. И не столько терпенья, сколько денег. Их у него было в запасе не очень много, а два колодца сразу рыть и срубы ставить — это каждый день денег стоит. Доят его колодцы, всю доят, а дохода нет. Как-то в пятницу он, видно, подсчитал кассу, пришел после полудня на участок, ходит, заглядывает в колодцы, причмокивает и пальцами пощелкивает да свои три бороды расправляет, а потом и говорит мне, — я как раз одну смену воздух качал:

— Слушайте, Иванюня, как вам кажется, скоро будет у нас нефть?

— А кто же ее знает! — ответил я.

— А земля слюни пускает в колодце?

— Что-то перестала.

— Угар слышать?

— Что-то не слышать.

— Может, мы не на добром месте начали копать?

— Все может быть.

— Может, начать в другом месте?

— Откуда я знаю.

— Я думаю, вон там, в той ложбинке... Как вы полагаете, Иванюня, скорее бы там пошла нефть?

— А кто ее знает.

— А я думаю, что там была б, если не на пятой, так на шестой сажени.

— А почему вы так думаете?

— Видите, Нута Грауберг рядом, в той же ложбинке копает.

— Да что с того, что копает? Еще ни до чего не докопался.

— Жижа показалась.

— А, раз она показалась, наверно скоро будет и нефть.

— Так что ж, может, и мы начнем там один колодец?

— Как хотите.

— Но здешние жаль бросать.

— Жаль.

— Кабы знать, что тут скорее будет!

— Э, кабы знать!

Так советовался со мной Иона. Упаси боже, нельзя сказать, чтобы я склонял его в ту или другую сторону. Я так же знал, где копать, а где не копать, как и он.

Еще несколько дней Иона ходил, бормотал что-то, прикидывал так и этак, советовался с другими евреями, а потом сказал:

— Будет, хлопцы! Забывайте эти колодцы! Начнем новые в другом месте.

Нам все равно. Начнем так начнем. Нам еще лучше, наверну легче работать.

III

Нута Грауберг был ближайший сосед и злейший враг нашего Ионы. На самом ли деле так было, или только казалось Ионе, что Нута делал ему все назло. Назло ему купил участок тут же, рядом с Иониным, и так же почти даром, как и он. Назло ему тоже начал копать два колодца, только был осторожней и один колодец рыл на пригорке, там, где были Ионины оба, а один в ложбинке, где теперь собирался копать Иона. Оба соседа ненавидели друг друга страшно. Иона, утром встретив Нуту, плевал ему вслед, а если он сам попадался Нуте на пути, то Нута никогда не забывал буркнуть от чистого сердца:

— А Richn da'n Tat'n aran!*

Но если Иона был жаден, суетлив, лебезил, но быстро выходил из себя, то Нута был спокоен, любил подшучивать и подтрунивать, а с рабочими обращался, как с добрыми соседями. Иногда он становился около своего сарая и, видя, как Иона возится у своих колодцев, и зная, что нефтяники издеваются над ним, тоже начинал подшучивать.

— Иона! — говорил он.

— Что? — отвечал Иона.

— Пускает слюни твой колодец?

— Лопнули бы твои кишки! — отвечал Иона и отходил к колодцу. Повертится там, будто забыл что-то, и

* Черт бы побрал твоего отца! (еврейск.)

идет прочь, а через минуту слышим уже издалека, как Иона говорит:

— Нута!

— Ну?

— Прикажи своим людям, чтобы не ссыпали твою землю на мой участок.

— Загороди свой участок, — отвечает Нута.

— Я тебе сперва рот загорожу.

— Bist meschüge? Чего пристаешь? — кричит Нута.

— Сам ты meschüge!* Сам пристаешь ко мне!

Ссоры с каждым днем случались все чаще, пока в конце концов оба противника не сошлись на одном: сообща разгородить свои участки высоким забором. Но все-таки мира между ними не было. Иона завидующим оком смотрел на Нуту, ежедневно желал, чтобы его колодцы засыпало, чтоб у Нуты «лопнули кишки» и чтобы ему никогда не видать его даже в глаза. Кажется, и Нута платил Ионе той же монетой. Когда же у Нуты в колодце, вырытом в ложбинке, показалась черная жижа с нефтяным запахом, но для выработки нефти непригодная, разве только для колесной мази, Иона не мог заснуть, не мог успокоиться, пока не забил оба колодца на пригорке и не начал рыть два новых в ложбинке.

— Иона, — издевался из-за забора Нута, — пускают слюни твои колодцы?

— Так же, как твои.

— А когда будет полуйка?

— Вместе справим.

— Приготовил уже бочки под нефть?

— Будет нужно, найдутся.

— Верно, это твой бондарь пошел сегодня в лес за обручами?

— Такой же мой, как и твой.

— А я тебе очень благодарен, Иона.

— За что?

— За то, что ты уступил мне пригорок.

— Я тебе?

— Ну да. Ты выкопал десять сажений, и я десять.

* Ты с ума сошел? — ... сумасшедший! (еврейск.)

Теперь я прокопаю еще две — и вся нефть из твоего колодца стечет в мой.

— Бери ее себе! Дай боже, чтобы у тебя всю жизнь было столько, как в моем колодце!

Нута шутил, а Иона от всего сердца желал ему того, о чем говорил. А тем временем судьба иначе подшутила над обоими. Не прошло и двух дней, как у Нуты в колодце на пригорке показалась нефть. Нута первый справлял полуёку и нас пригласил на угощение. Иона едва не извелся от злости.

— Ай-вай! Что я наделал! Зачем мне было бросать свои колодцы! — кричал он и рвал на себе пейсы. — У меня уже была бы нефть, а теперь этот тrefняк* вычерпает ее всю! Его колодец глубже, с моей земли все стечет к нему.

— Не бойтесь, Иона, — говорил я, — раз у Нуты показалаась, и у вас будет. Прорыл он двенадцать сажень, проройте вы четырнадцать, тогда из его колодца потечет в ваш.

— Правда ваша, Иванюня, правда ваша! — закричал Иона. — А ну, хлопцы! Бросайте новые колодцы, возвращаемся к старым.

— Слушайте, Иона, — говорю я ему. — Не так вы сделайте. Оставьте одну партию здесь, пусть роют один колодец, а другая пусть идет туда.

— Правильно говорите, Иванюня, правильно говорите, — лебезил Иона. — За ваши хорошие советы, только у нас нефть покажется, я вам такую полуёку справлю, такую полуёку!..

— Да уж мы надеемся, что вы не из таких... Нас не обидите. Видели ведь, какую Нута полуёку справил.

— Что Нута? При чем тут Нута? Нута голодранец, паскуда! Что он понимает? Я еще увижу, как он побежит отсюда с сумой!

А Нута тем временем черпает из своего колодца нефть да черпает, в день по двадцать бочек вывозит на нефтеочистительный завод. А Иона стоит у своего сарая, считает Нутины бочки и прямо задыхается, прямо зубами

* Тот, кто ест *тrefное*, — пищу, запрещенную еврейскими религиозными правилами.

скрежешет от злости и зависти. У Нуты на участке шум, крик, полно подвод и лошадей, а у Ионы пусто да печально, только слышен скрип ворота, поднимающего бадью с грунтом, да визг насоса, которым качают в колодец свежий воздух.

— Иона! — кричит из-за забора Нута.

— Что тебе? — отвечает Иона.

— Верно, что ты завтра забиваешь свой колодец?

— Дай боже, чтобы твое слово было сказано в добрый час.

— А я хотел тебе что-то сказать.

— А что такое?

— Если завтра не забудешь, так продай его мне.

— Подавись своим.

— Ну, зачем сердиться? Я тебе верну все затраты и дам пять шисток отступного.

— Чтоб тебе твой язык вывернуло из твоего тrefного рта!

— А знаешь что, Иона?

— И знать не желаю.

— Я вижу, ты добрый человек. Как зардешь все свои деньги в землю, поступай ко мне в приказчики.

— А ты, когда нищим станешь, приходи ко мне по два раза в неделю, каждый раз получишь «феник»*.

— Хорошо, Иона! Запомню, а ты запомни, что я тебе сказал. Да не забудь, как соберешься продавать колодцы, так уж по соседству обратись ко мне первому. Хорошо заплачу.

— Чтоб тебе не дожидаться платить, а мне получать с тебя! — кричал рассвирепевший Иона и прятался в свой сарай.

IV

И все, о чем шутя говорил Нута, должно было исполниться. Эта перебранка происходила в четверг, а в пятницу после полудня работаю я смену в колодце, чувствую — угарно становится, и все сильнее, сильнее,

* Испорченное *пфенниг* — мелкая немецкая монета.

начинает мне память отшибать Звоню я тому, который при насосе, чтобы качал вовсю.

— Что там, Иванюня? — кричит сверху Иона. — Есть угар?

— Да, есть.

— А пускает слюни колодец?

— Нет, не видать.

— А не булькает?

— Нет, не слышать.

Только сказал, а тут — смотри! Чуть ударю киркой по глине, а из-под кирки — пшш! Угар идет, словно из кузнечного меха дует. А потом начинает проступать что-то вроде пены, будто пузыри.

«Э, — думаю, — быть завтра полуйке! А то еще и сегодня будет. Но не Иона даст нам ее справить. Хорошо, что у него скоро шабес начинается! Справим мы полуйку сами, да такую, что будет о чем вспоминать».

Думаю так и прислушиваюсь. А подо мной будто что-то живое в земле шевелится, булькает, кажется — вот-вот вырвется и зальет. И угар душит меня, хотя тот, что при насосе, качает изо всей силы.

Остановился я, соображаю, что тут делать, а Иона уже кричит сверху:

— Ну, Иванюня, что ж ты стоишь?

— Измучился, и угар душит.

— Может, слюнится?

— Где там слюнится!

— А может, булькает?

— Булькает, булькает.

— Ой, правда? Ну, Иванюня, скажи!

— Булькает, только у меня в животе, поздно обедал сегодня.

— Чтоб ты всегда шутил, а не хворал. Ну-ну, долби, пусть бадья не ждет.

«Чтоб ты задубел, жидюга!» — подумал я. А тут чувствую — еще разок долбану как следует, сразу же нефть забьет. Разумеется, хозяин увидит, поднимет шум, поставит сторожей — и наша полуйка пропала, получим самую каплю. А мне очень этого не хотелось. Вот я и принялся долбить, только не дно, а по сторонам колодца. Да только и тут отовсюду из-под кирки пшшш.

пшш! Что за диво! Вдруг будто пудами пригнало эту самую нефть, так и слышно, что со всех сторон напирает, давит. Я уже и так, и сяк, и вожусь, и ковыряюсь, чтоб дотянуть до вечера, а все подаю в ведре одну сухую глину без следа нефти. Потом начала моя лампочка чихать. Угар в колодце слишком большой. У меня голова хоть крепка, а тоже начала сдавать. Все кружится, перед глазами круги забегали, сперва зеленые, потом красные, тошнит, словно в горло засунули сухую ложку, — нет, больше немоготу! Звоню я, чтоб меня вытаскивали.

— Ну, Иванюня, — кричит Иона сверху, — что там?

— Тащите, плохо мне! — кричу. И, схватив обеими руками кирку, я изо всех сил всадил ее в уже склизкую от нефти глину на дне колодца, а к концу ручки привязал тонкую, но крепкую веревку, которая была у меня за поясом на всякий случай.

— Тащите! — кричу еще раз.

Потащили меня наверх. Пока тащили, я помаленьку отпускал эту веревку из-за пояса, а конец ее привязал к сучку на срубе уже перед самым выходом из колодца. В колодце темно, им сверху этого не видать, а я себе свое знаю.

Вытащили меня, и я сразу повалился на землю, как мертвый.

— Ой-ой, — закричал Иона, — он угорел! Иванюня! Иванюня! Что с тобой? Ты слышишь меня?

Я слышу хорошо, но притворяюсь мертвым. Надулся, посинел. Еврей даже руками всплеснул:

— Ай-ай! Спасайте! Оттирайте! Воды!

— Водки! — крикнул тот, который воздух качал.

Иона бросился доставать из своего мешка водку. Пока меня терли, да приводили в чувство, да подкрепляли, уже начало смеркаться. Мне только того и надо.

— Ну что, Иванюня, — допытывается Иона, наклоняясь надо мной с водкой, — есть что-нибудь в колодце?

— Черт с лапами есть! Один угар.

— А нефти нет?

— А сгори она там вся, и ты вместе с ней!

— Ну-ну, зачем так говорить? Она все-таки дар божий.

— Чертов, не божий! Еще ничего нет, а я едва душу не погубил

— Ну, а как думаешь, будет что-нибудь?

— Конечно, будет, да неизвестно когда. Угар есть, а нефти не слышно.

— Она подойдет, Иванюня, она подойдет, — радостно говорит хозяин.

— Сама не подойдет. Надо прокопать еще с сажень, тогда, может, и подойдет.

— Ой, — закричал Иона, как ужаленный. — Еще сажень? А я думал сегодня на ночь забивать.

— Можешь забивать, коли хочешь. Но от этого одна корысть — в колодце наберется столько угара, что завтра придется до полудня в два насоса работать, пока человек сможет сунуть нос в колодец.

Иона стоял в нерешительности. Он прямо трясся, его била лихорадка от нетерпенья, но, с другой стороны, он знал хорошо, что я тоже не привык бросать слова на ветер. Еще минуту он пробовал спорить.

— Эй, Иванюня, а не обманываешь ты меня?

— Ну, тогда сам лезь в колодец и попробуй!

— Ну-ну, я ничего! Разве я что? Пусть будет так, как вы говорите! Так, по-вашему, нынче еще нельзя забивать?

— Наоборот, надо оставить колодец открытым, чтобы угар выходил. До нефти еще не близко.

— Но вы тут ночуйте! А вдруг ночью нефть пойдет? А если б что случилось, слышите, Иванюня, дайте мне знать!

— Да уж вы, Иона, не беспокойтесь, — говорят нефтяники. — Иван и хотел бы уйти, да не уйдет никуда — слаб.

— Вы уж не оставляйте его одного.

— Что, еще и нам всем ночевать у вашего колодца? Да пропади он пропадом! Видано ли это, чтобы нефтяник, имея деньги в кармане, не пошел прогуляться? Слышите, вон уже у Менделя в бараке играет музыка. Давайте деньги!

— Нет, — говорит Иона. — Знаете, дорогие мои, ночуйте нынче здесь! Я вам завтра заплачу, не посмотрю, что шабес. А нынче я вам ничего не дам, чтобы вас не

тянуло гулять. Принесите себе сюда хлеба, водки, колбасы, я сейчас прикажу Менделю, чтобы прислал вам всего побольше, а сами не ходите никуда. Прошу вас, уж эту ночь не уходите. Постерегите колодец! Мне все кажется, будто этой ночью случится что-то. А ежели, в добрый час будь сказано, случится что, прошу вас — хоть поздно ночью, но сейчас же дайте мне знать.

Он говорил без умолку, старался нас задобрить, уходил, и снова возвращался, и упрашивал, и лебезил. Видно было, что страх как не хотелось ему уходить. Ежеминутно подходил к колодцу, заглядывал в его темную пасть, нюхал тяжелый нефтяной угар, валивший из колодца клубами, и все слушал, не булькает ли внутри. Так и тянуло его взять лампу, чтобы при свете заглянуть в колодец, но это была опасная забава — мог произойти взрыв. Я все еще лежал, будто больной, в углу сарая на охалке соломы, служившей постелью тому, кто оставался ночевать у колодца. Лежу и мучусь: а вдруг чертова нефть забьет в эту минуту, зашипит, заклокочет, забулькает! Не раз мне даже слышался этот клекот, но это только казалось. Наконец, кое-как Иона ушел. В небе замигала первая звезда, ему было пора садиться за субботний ужин. Я поднялся с соломы и далеко проводил Иону глазами. Он жил с женой и детьми в селе, в доброй четверти мили от колодца.

Ну, ушел! Не видать! Теперь уж, понятно, не вернется...

v

— Эй, хлопцы! — крикнул я своим нефтяникам. — Сюда! Ко мне!

— А что такое?

— Будет полуйка!

— Когда?

— Сейчас.

— Как сейчас? Разве есть кипячка?

— Нет еще, но если я захочу, сейчас будет. Сбегайте кто-нибудь к Нуте. Сдается, он еще на своем участке.

— Я слышал, еще галдит там со своим приказчиком, — подтвердил один нефтяник.

— Бегите к нему, зовите его сюда, но так, чтобы никто не знал, зачем.

Один вскочил, перемахнул, как собака, через забор и побежал искать Нуту, а я тем временем ощупью полез к колодцу.

— Хлопцы! Двое ко мне! Держите меня за ноги! Да покрепче!

Они, не говоря ни слова, схватили меня за ноги. Тогда я, перевесившись через край колодца, сполз по срубам так, что одни ноги торчали наружу, нащупал на сучке веревку, которую привязал к нему, когда меня вытаскивали наверх. Угар из колодца душил меня, но мне было все равно. Крепко обмотав веревку вокруг руки, я шепнул своим хлопцам:

— Тащите!

Потацили. Я сильно дернул за веревку, вырвал кирку, которую всадил в дно колодца, и ее острие — я чувствовал это — отвалило добрый ком глины. И в тот же миг в колодце засвистело, зашуршало, зашипело, словно три десятка лютых змей, а потом забулькало, заклокотало, как кипятик в большом котле. Мои товарищи поняли:

— Нефть!

В ту же минуту в сарай вбежал Нута:

— Ну, что у вас?

— Слушайте, Нута!

Он недолго и слушал.

— Ну, в добрый час, в добрый час! — сказал он так, словно почувствовал оскомину. — А зачем вы меня звали?

— Не знаете зачем? Это наша полушка. Купите ее.

— А!

Он вскрикнул так радостно, будто нашел на дороге сто гульденов.

— Хорошо.

— Почем даете?

— Как обычно: десятка за бочку.

— Сколько у вас бочек порожних?

— Те, что на подводах, все двадцать пустые. Мой колодец вычерпали; я забил его.

— Ладно. Готовьте деньги. А мы, хлопцы, за работу!

Сейчас же мои хлопцы бросились, разобрали часть забора, прикатили подводу с бочкой, положили в ведро тяжелый камень, опустили в колодец. Недолго и шло оно вниз! Через минуту вернулось полным. Тотчас же мы принесли от Нуты еще три ведра, прицепили все четыре на один вал, на два каната — и ну черпать! Через полчаса бочка полная — назад с ней на Нутин участок! Новую давай!.. Через полчаса эта полная — назад с ней! Новую давай!..

Поработали мы так до самого утра. Нуты при этом не было, но его приказчик, отпустив сторожа, сам сидел всю ночь в своем сарае. Ни свет ни заря — все двадцать бочек Нуты были полны. Тогда мы забор назад поставили, следы загребли, навели на своем участке порядок и, получив — нас было восьмеро — по двадцать пять гуденов на рыло и еще сверх того десятку на водку, легли спать как ни в чем не бывало.

Мы и минутки не пролежали, не успели и задремать — бежит наш Иона.

— Что слышно? — были первые его слова. И, не ожидая ответа, он — прямо к колодцу. Не надо было и заглядывать в него: вóроты, канаты, сруб — все было черно, со всего так и капала нефть.

— Иван! Иван! — закричал он не своим голосом, тряся меня за плечо.

— Что там? — буркнул я, будто спросонок, хотя не спал и слышал все хорошо.

— Что случилось?

— Да сами видите.

— Есть нефть?

— А есть.

— А почему вóрот мокрый? Почему сруб мокрый?

— Это нефть забила и все забрызгала.

— Ой-ой! Забила! Так уж сильно забила!

— Видите, нас всех обляпала.

— Вас всех? Как это так?

— Да так, только начало в колодце шипеть да свистеть, мы проснулись и бросились к нему. А в этот миг как забьет нефть, так нас всех и обляпало.

— Ну, Иванюня, этого не может быть! Вы меня обманываете!

— Поглядите на меня, как я выгляжу!

И правда, я выглядел как черт, весь перемазанный в нефти. Мы ночью об этом и не подумали, а теперь приходилось отбредиваться. Но если хозяин вчера был как в лихорадке, сам не свой, то сегодня, уверенный в успехе, стал хладнокровней, будто его облили холодной водой.

— Эй, Иванюня, что-то мне не верится! Я еще не слышал, чтобы нефть так била.

— А я слышал и своими глазами видел.

Тем временем на участке становилось все светлее, и стало видно, что земля свежо взрыта и залита нефтью, виднелись и следы колес, которые вели к самому забору Нуты. Иона так и пожирал глазами эти следы.

— Иванюня, а что это за следы?

— Какие?

— Да вот, будто тут телеги въезжали и выезжали с участка.

— Вы, может, и лошадиные копыта увидите? Верно, черт в карете заезжал и вам богатство в колодец бросил.

— Нет, Иванюня, не шути! Что это за следы?

— Да это от наших тачек следы. Мы еще вчера вечером вывозили глину из сарая.

— А! А почему тут всюду нефтью накапано?

— Да что вы, Иона, выдумываете? Что вы пристаёте? Накапано, потому что нефть забила и накапала. Ведь мы вашу нефть не украли. Возьмите ее себе! Вон там ее, верно, полный колодец.

— А может, вы ее украли, Иванюня, а? Знаете, я не хочу сказать ничего худого, но мне сдается, что вы уже немного черпали ее.

— Ага! — закричали нефтяники, которые, все еще лежа в сарае, молча слушали этот разговор. — Теперь мы вас поняли, Иона! Вы говорите так, чтобы не дать нам полушку.

— Конечно, не дам! — закричал Иона, даже подпрыгнув от злости. — За что мне давать? Вы сами ее справили, вы не известили меня! Вы меня обокрали! Вы целую ночь черпали мою нефть. Караул! Воры! Караул! Разбойники! Что мне делать?

Иона начал кричать и метаться по сараю, как сумасшедший.

— Успокойтесь, Иона, — сказали мы ему тихо, но выразительно. — Успокойтесь, вам же будет хуже. Есть ли у вас хоть один свидетель того, о чем говорите?

— Я найду!

— Найдете, тогда и говорите. Жалуйтесь на нас в суд. А теперь успокойтесь! И заплатите нам за работу.

— Заплатить? За что вам платить? Вы обокрали, ограбили меня, а я еще должен вам платить?

Это было уже для нас слишком. Вижу, мои хлопцы зубы стиснули, а это дурной знак. Если человек натошак зубы стискивает, — берегись.

— Хлопцы! — обращаюсь к ним. — Успокойтесь, Иона шутит.

Но Ионе было не до шуток. Его глаза, как мыши, все время бегали по следам колес, от сарая к забору и обратно. Потом он не выдержал, выскочил из сарая, как кот вскарабкался на забор и посмотрел на ту сторону.

— Ай-ай! А тут что! А тут что! — закричал он, схватился за пейсы, и тут же как грохнется с забора...

— Да что там, Иона?

— Я сейчас же бегу в Дрогобыч! Подаю в суд. Пошлю за полицией. Это кража! Разбой на большой дороге! Да тут, как на ладони, все видно, куда мою нефть возили. Целые лужи налито!

— Не будьте дураком, Иона! Ведь при вас же вчера Нута возил нефть, свою, не вашу. Еще как раз под забором одна бочка лопнула. Вы сами видели, сами смеялись! — так говорили Ионе нефтяники. Но Иона не переставал охать.

— Слушайте, Иона, — обратился я к нему, когда он вошел в сарай, — не пробуйте на нас отыгаться. Заплатите лучше нам за работу, дайте нам на полуйку, что следует, и расстанемся по-хорошему.

— Расстанемся?

— Ну, конечно! — закричали нефтяники. — Ежели вы ни за что ни про что обозвали нас ворами, мы у вас больше работать не станем! Ищите себе других рабочих.

— Ова! И найду! — закричал Иона.

С болью в сердце он выплатил нам, что полагалось, еще с полчаса нам пришлось торговаться с ним из-за полуйки, и мы едва вырвали ее у него, как у собаки из зубов, и тогда распрощались с ним.

— Прощайте, Иона! Дай бог, чтобы этот колодец был так же щедр к вам, как вы к нам! — крикнул ему один уходя.

— И чтобы вам не дожидаться больше кому-нибудь полуйку давать! — поправил другой.

А Иона все еще стоял в сарае, потихоньку охал и со страхом и любопытством присматривался к плохо затертым следам, которые вели из его сарая к забору Нуты.

VI

Ну, не смешно ли? Как ему пожелали нефтяники, так все точь-в-точь и вышло!

Всю ту субботу шнырял Иона по участку, бормотал, причмокивал, охал, а потом собрался и отправился к равнину. Пожаловался на Нуту. А я у Нуты стал на работу, поэтому все знаю от него самого. Пожаловался равнину на Нуту, что тот обокрал его, а Нуте плевать. Смеется. Что ему равнин сделает? Нута на нашей полуйке заработал чистых пять сотен — ему горя мало!

Начал Иона на улице приставать к Нуте, начал браться на него, совсем обезумел. Видно было, что человек понемногу с ума сходит. А все одно твердит: обокрали меня, ограбили!

Да и колодец, в котором показалась нефть, принес ему убыток. Иона нанял новых рабочих, начали черпать, начерпали что-то около пяти бочек нефти — и все. Забил Иона колодец, переждал день — пусто, переждал второй — пусто. А у Нуты хоть не такой глубокий колодец, нефть идет да идет. Я, работая у Нуты, вижу, бывало, как Иона ходит около своего сарая, разводит руками, бормочет что-то, остановится и снова бежит, заглядывает в колодец и сам не знает, что с собой делать. Не раз у меня язык чесался подшутить над ним, но опять-таки и жалко мне его было. Мы, по правде сказать, немного

обидели его. Но кто же знал, что колодец так быстро иссякнет?

— Иона, — говорю ему однажды из-за забора.

Он даже вздрогнул, услышав мой голос, будто бы его внезапным выстрелом разбудили.

— Не бойтесь! Это я, Иван.

— Ну, что тебе надо?

— Послушайте вы меня, Иона, — говорю ему от чистого сердца, — бросьте вы этот колодец, ройте вон там, в ложбинке.

Он не ответил ничего, но в самом деле послушался. На другой день его рабочие заколотили этот несчастный колодец и принялись рыть другой, начатый в ложбинке. Работали там несколько дней. Казалось, Иона успокоился немного, только глаза у него блестели каким-то безумным огнем, и на улице, когда шел, не узнавал никого.

И однажды слышим: кричат на Ионином участке. Нефтяники бросили работу и кличут Иону. А он как раз тогда сидел, а может быть, дремал в том самом сарае, где мы справляли полулку.

— Хозяин! Хозяин! — кричат нефтяники в ложбинке. — Идите-ка сюда!

Был как раз полдень. Мы отдыхали, в колодце не было никого, поэтому, услышав крик, выбежали из сарая.

— Ого, — говорю я, — у Ионы сегодня полулка будет!

В этот миг выбежал Иона из сарая и, должно быть, услышал мои слова, потому что на бегу крикнул в нашу сторону:

— Ага, черта получите, а не полулку!

Мы расхохотались, влезли на забор и смотрим, что будет. А Иона, еще не добежав до колодца, кричит изда- лека:

— А что, есть нефть?

— Есть.

— А не бьет?

— Нет.

— А много?

— Да уже с полколодца.

И, полушутя, полурадостно, один прибавил:

— То-то полуйка будет!

Тут Иона вовсе обезумел. Бросился на бедного рабочего — и хлоп его по лицу!

— Вот тебе полуйка! А, голодранцы! А, разбойники! И вы хотите меня обокрасть? Не дам! Не дам! Ничего не дам!

И он, совершенно ошалев, бросился к колодцу и, раскинув руки крестом, упал на него, чтобы закрыть собой источник своего богатства. Жерло колодца было довольно узкое; стоя на коленях над самым срубом и ухватившись широко раскинутыми руками за его края, Иона закрывал собой колодец, будто у него хотели его отобрать, и все кричал:

— Не дам! Ничего не дам! Караул! Помогите! Разбойники!

Отсюда начали сбегаться люди и, увидев над колодцем Иону и не понимая, чего он хочет, думали, что произошло какое-нибудь несчастье, что кто-нибудь упал в колодец или задохся. А у меня прямо сердце похолодело.

— Хлопцы! — крикнул я рабочим, стоявшим вокруг колодца. — Он рехнулся! Оттащите его от колодца! Живо!

— Пусть его черт возьмет! — буркнул, не двигаясь с места, рабочий, ни за что получивший пощечину.

И в тот же миг Иона, угорев от испарений, валивших из колодца, схватился обеими руками за грудь, так как ему не хватало воздуха, и, потеряв опору, — только мелькнул, взмахнул туфлями и, как галушка, бултыхнулся в колодец. Нефть, которая должна была обогатить его, принесла ему смерть. А полуйки своим нефтяникам так и не дал справиться.

Его вытащили только через три дня, — к колодцу из-за угара нельзя было подступиться.

Ч А Б А Н

На глубине ста метров под землей в десятиметровой штольне, в духоте и нефтяных испарениях трудится рабочий. Непрестанно ударяет он киркой в глинистый грунт, отбивает от него куски. Но глина твердая, скупая и только по небольшому кусочку дает отрывать части своего тела. Она глухо гудит и стонет под ударами кирки, словно плачет, словно угрожает; она покрывается зловонным потом, но не поддается, упрямо охраняет скрытые свои, потайные клады. Рабочий, здоровенный парень, недавно прибывший с гор в Борислав на работу, начинает злиться.

— Г-ге! — приговаривает он, ударяя изо всех сил в ямку, в которую ударял уже три раза, но никак не мог отколупнуть ни кусочка породы. — Ах, мать честная! Долго ли ты будешь держаться? Пусти!

И он изо всех сил ударил киркой в ямку, чтобы оторвать кусок. Кусок, наконец, поддался, и рабочий взял его обеими руками и бросил в бадью.

— Вот еще собака! Ступай на свет! Попробуй солнца! — приговаривал он. — Ну-ну, сердечный! Я не шучу! Со мной шутки плохи, справлюсь и не с таким! Ты не знаешь, что значит семьсот овец. Это тебе не грудка-другая глины, а я и с овцами справлялся.

И он берет бадью с породой, несет ее к шахте, подвешивает к канату и звонит, чтобы тащили, а сам с пустой бадьей возвращается назад в штольню и принимается снова долбить землю. Его мысли бегают вслед за овцами по пастбищу, и он, чтобы преодолеть одиночество и темноту, упивается своими мыслями, говорит о них и с глиной, и с киркой, и с пустой бадьей, и с топором — вот и все его общество тут, в этой бездне.

— Ты думаешь, милый, это пустяк — семьсот овец! Да ведь все они живые, у каждой свой разум. Небольшой умишко, конечно, тварь бессловесная, а все-таки и он богом дан. Вот в лес овца зайдет или на пастбище — уже и держится стада. Не разбегаются одна туда, другая сюда, как коровы или быки. А всё вместе. Г-ге!

— А медведь-ворюга только и ждет этого. Ого, он тоже разумный! Да еще как! Недаром медведь — пан Кулаковский! Сидит за колодой и ждет, пока целый гурт овец не появится среди бурелома, а тогда только — скок, и все — его, как в овчарне. И всех задерет, до одной. А они, бедняжки, даже не блеют, только собьются в кучу и тихо ждут своей смерти. Г-ге!

— Палка в руке, ружье через плечо, дудка за поясом — так я, милый, каждое утро выходил с овцами. Три пса! цу-цу! Перед отарой один, два по бокам, а я сзади. Иду, иду и стану. Овечки, как рой пчелиный, рассыпались по зеленому. Черная кучка, белая кучка, черная кучка, белая кучка. Тут щипнет травки, там щипнет — и дальше, и дальше. Не пасется, как скотина, только щиплет, будто ребенок, будто играет, будто спешит куда-то. А впереди бараны, командиры. Отару не надо заворачивать, только их. А бир-бир! А дря-у!

Пастушьи крики раздаются в темной штольне, сливаясь с глухими ударами кирки.

— А хорошо там у нас, в горах, на пастбище! Ой, хорошо! Красиво! Не так, как тут у вас, чтоб вам...

Он хотел выругаться, но ударил себя ладонью по губам. Его душа была теперь в атмосфере поэзии, среди живой природы, чуткой и зрячей, и он боялся оскорбить ее — подвластный ей.

— Хорошо там у нас! Ой, господи! Сколько человек внаймах ходил, мытарствовал, на чужих работал, а все-таки не жаль вспомнить. Выйдешь на поляну, зелено вокруг, только «головатни»* прижались к земле своими белыми головками, словно любопытные глаза выглядывают из травы и мха. Холодно. Ветер дует. Дышишь широко, полной грудью. Все вокруг благоухает, все так и дышит на тебя здоровьем и силой. Внизу лес окружает поляну черной стеной, а над тобой поднимается круглая вершина. Тихо вокруг, только овцы шуршат папоротником, изредка где-нибудь пес твякнет, зеленый дятел застучит в лесу или закричит белка. А я иду себе потихоньку, стану, сопилку из-за плеча да как заиграю, как зальюсь песней, как заведу, — прямо сердце в груди пляшет или слезы на глаза наворачиваются. Г-ге! Чтоб тебе! Пусти! Г-ге!

Звонк сверху. Прибыла пустая бадья. Рабочий берет свою полную, относит к шахте и отправляет наверх, а сам возвращается с порожней. Возвращается в воинственном настроении, потому что начинает ощущать голод. Яростно бьет киркой, отрывает глину большими кусками, в мечтах борется с медведем.

— Го-го! Дядя медведь! Нет, не будет по-твоему! Одна овца будто и ничего, но сегодня ты зарезал одну, завтра зарежешь две, а послезавтра передушишь мне полстада. Нет, дружок! Такого уговора у нас не было. Ты думаешь, я ружье только для вида ношу? Го-го! Уж я не пожалею ночи, уж я подкараулю тебя в буреломе! Мне все одно, смерть или жизнь, а с тобой должен свести счеты.

Он ударил раз-другой и остановился, отдыхает, опираясь на кирку.

— Ворюга, медведь! Три ночи промучил меня! Будто пронюхал — не приходил. Но меня не проведешь! Уж раз я взялся — не выпущу. На четвертую ночь таки пришел. Темно, хоть глаз выколи. Ветер стонет в верхушках пихт. Ручей шумит внизу, а я, притаившись среди корней огромного дерева, — глаз на мушке, —

* Горный будяк, низкорослый, так что его цветы, величиной с кулак, торчат у самой земли. (Прим. Ив. Франко.)

сизу, жду, слушаю. Уже слышу — идет, знаю — должен пройти мимо меня, и сизу, затаив дыхание. Хрусь-хрусь, уже близко. Таращу глаза — идет дядюшка, как копна сена в темноте. Морду поднял, нюхает, идет медленно, осторожно. У меня глаза чуть на лоб не вылезли, так присматриваюсь, чтобы угодить ему прямо под левую лопатку. Почуял порох. Поворачивается на месте, стрекача задать, а в ту минуту — бух-бух! Из обоих стволов картечь так и всадил. Даже пасти не разинул дядюшка, как громом его поразило, грохнулся наземь. Да только на минуту. Через минуту вскочил, зарычал, поднялся на задние лапы — да прямо на меня. Видно, не попал я ему в сердце. А я уже сизу, не шевелюсь. Бежать некуда, заряжать — времени нет. «Ну, думаю, если я плохо стрелял, только задел его, — тут мне и конец. А впрочем, божья воля. Один раз помирать». Пока что, у меня еще топор за поясом. Сплюнул в горсть, схватил топор, перекрестился, стал как следует, чтобы ноги в корни упирались, плечами прижался к комлю упавшего дерева, который, словно стена, торчал в небе, стиснул зубы, наклонил голову, чтобы лучше видеть, и жду дядю. А он уже вот-вот Хватается лапами за корни, нюхает и рычит, как рассерженный пьяница, который не может сказать слова разумного, только понимает, что зол, и рычит, и лезет вперед. Вот он нанюхал мою ногу и провел по ней лапой. Так, будто ожег крапивой, не больше. А в тот же миг острие моего топора по самый обух врезалось в медвежью башку, разворотило ее вконец. Он еще раз застонал, так тяжело, так жалобно, как грешная душа в муках, и повалился наземь, исчез в глухой тьме, в яме под буреломом. А я и топор не успел вытащить, так с медведем и покатился вниз. А потом как выскочу из бурелома, да чашобой, да на тропу, да лесом, да на поляну, да над обрывом, можжевельником, — духом очутился на пастбище, возле кошары. Стучу. «Это ты, Панькó?» — спрашивает из кошары старший. «Да я, отворите». Поднялся он, зажег фонарь, отворил. «Ну, что?» — «Да ничего», — говорю. «Был медведь?» — «Да, был». — «И ушел?» — «Нет, не ушел». — «А где ж он?» — «Лежит». — «Что ты. — старший не докончил. — Ой, миленький, а что у тебя с ногой?» — крикнул.

«С ногой?» Я и сам не знал, что у меня с ногой, и только теперь, взглянув, увидел, что лапоть, и вся онуча, и завязки в крови, и кровь заливает следы. Раз, только разок мазнул меня дядюшка-медведь когтем по ноге и сразу разодрал и обувь, и онучу, и ногу до самой кости. Когда размотали онучу, я сомлел, крови много вытекло. Но старший, спасибо ему, умел заговорить, остановить кровь, приложил какой-то мази, и через неделю я был уже здоров. А медведя на другой день нашли мертвым, с моим топором в башке.

Снова звонок, снова тащит рабочий полную бадью породы к шахте и приносит новую и, вновь копая, разговаривает сам с собой, наполняет глухое подземелье не только стуком своей кирки, но и звуками своих слов, поэзией своих лесов и пастбищ. По мере того как голод его возрастает и он слабеет от усталости и тяжелого воздуха, его мысли становятся более грустными. Он вспоминает овсяные коржи, картошку и жидкую овсяную похлебку, которые составляют зимой всю его еду, скучную молотьбу и еще более скучное ничегонеделанье в великом посту, голодные дни перед новым хлебом, болезни, ссоры из-за ломтя хлеба или недопеченной картошки. Он вспоминает о том, как теперь овчарский промысел хиреет из-за того, что пастбища скупили спекулянты, — им выгодней пасти волов, чем овец. А при волах уже не та служба, как при овцах. О, тут тяжелая, плохая служба! Тут уж не покушаешь ни сыворотки, ни свежего творога, ни брынзы, ни кулеша из кукурузы на овечьем масле. Живи, как пес, и сторожи, как пес! И он вскоре оставил эту работу, послушался товарища, который посоветовал ему идти в Борислав, заработать денег, пойти в приймаки (с деньгами теперь всюду примут!), жениться и хозяйничать. И он припомнил даже песенку, которой научил его этот товарищ:

Ой, піду я в Буриславку
Грошей заробляти —
Повернуся з Буриславки,
Буду газдувати*.

* Ой, пойду в Борислав Деньги зарабатывать, Ворочуся из Борислава, Обзаведуся хозяйством (украинск.)

Он попробовал спеть эту песню громко, как он, чабан, обычно пел, — но нет, как-то не выходило. Как-никак, а в штольне, на глубине ста метров под землей, не пелось.

И он с каким-то остервенением продолжает долбить землю. Он уже ненавидит ее, эту темную, тяжелую, немилосердно твердую землю, которая так упорно не поддается его кирке.

— Ну, и тверда ж ты, святая земелька! — говорит он. — И бог тебя знает, святая ты или нет?

Он останавливается, выпрямляется и начинает размышлять над этим вопросом, будто он невесть какой важный.

— Да и правда, святая ли она тут? Наверху, там, конечно, святая. И воду святят, и кропят, и божье слово на ней читают. Но тут? Ведь с тех пор как мир пошел, сюда, наверно, ни капли святой воды не попадало, ни одного божьего слова. Недаром тут такой угар. Наверно, это не от святого, а от проклятого. Ведь из этого воска нельзя делать свечей для церкви, видать, что это нечистое, поганое! Прости, господи, грехи мои! Человек в такое место лезет, собирает нечистое. А пойдет ли это ему впрок? Ой, нет, миленькие, нет! Не впрок оно идет! Вот товарищ, что мне советовал сюда идти, разве не погиб в такой же самой штольне? Засыпало его, задавило, даже тела не достали. Подавился им нечистый! Ой, господи!

И он крестится и начинает еще упорней долбить. По урчанью в животе он чувствует, что уже скоро полдень, и ждет тройного звонка, минуты, когда ему прикажут вылезать. А тем временем его фантазия работает без устали, разворачивает перед ним все новые образы, и прежде всего прекрасные, тихие, светлые образы пастбищ, лесов, овечьей отары и всех нехитрых происшествий чабанской жизни. Брошенный судьбою в глубокую подземную штольню, он чувствует, что эти давние дни минули бесповоротно, что его дорога повернула в другую сторону, что он из давней патриархальной жизни перешел в новую, незнакомую его дедам и прадедам, на первых порах страшную и диковинную, но кое в чем более свободную, привольную, широкую, чем старая. Но эта

старая жизнь живет в его воспоминаниях; от нее осталось как раз столько, чтобы поэтическим очарованием заполнить и оживить мрак и одиночество новой жизни. Так порою солнце зайдет за тучу, и от всей пышности летнего дня, от всего богатства света и красок останется лишь столько, чтобы золотым сиянием облить краешки тяжелых туч, нависших на западе.

[1899]

*Boa Constrictor**

Повестъ

1878

* Удав (латинск.)

I

Герман Гольдкремер встал сегодня очень сердитый. Он всегда такой, если ему случается ночевать в Бориславе. А случается это каждую неделю, по пятницам, когда он приезжает сюда из Дрогобыча осмотреть промыслы и расплатиться с рабочими. Герман Гольдкремер, хотя капитал его доходит до миллиона, никогда не доверяет надзору чужому глазу, а выплаты — чужим рукам. У него в Дрогобыче свой каменный дом — красивый, новый, светлый, ничего не скажешь. А здесь приходится ему ночевать в деревянном домике, среди складов, заваленных бочками мазута и огромными кучами воска. Правда, этот домик, выстроенный на его средства, все-таки самый удобный и лучший во всем Бориславе, но нечего и сравнивать его с дрогобычскими домами. Стены, правда, белые и окна светлые, но вид вокруг печальный, тоскливый, отталкивающий: кучи хвороста, кучи глины, грязные склады и еще более грязные жилые постройки. Ни зелени свежей, ни человеческой улыбки не увидишь. Воздух удушливый, насквозь пропитанный запахом нефти; у Германа от него всякий раз голова кружится, как от дурмана. Да к тому же и люди, что шныряют вокруг его дома, среди грязных сараев, среди холмов глины, что, как муравьи, снуют без устали вокруг шахт, — тьфу, да разве это люди? Разве такие бывают люди на свете? Черные с ног до головы от нефти и глины, как вороны; на них обшарпанные лохмотья — не то кожа, не то какое-то ветхое рядно, от них

за сто шагов несет невыносимым духом грязи, смрада, кабака, разложения! А их голоса — нет, это не человеческие голоса, а какой-то крик, глухой, хриплый, как дребезжание разбитого горшка. А какой взгляд у этих людей — дикий, зловещий! Несколько человек, направлявшихся к шахтам, уже под хмельком, несмотря на ранний час (трезвому не выдержать там, в глубине!), заглянули в окно и увидели Германа. От их взглядов ему стало не по себе. «Такие люди, — подумал он, — если бы увидели меня в трясине, не только не вытащили бы, а еще толкнули бы поглубже». И в такой вот компании приходится ему, аристократу, проводить целых полтора дня. Он сплюнул через раскрытое окно и отвернулся. Его глаза быстро обежали комнату — чистенькую, веселую. Гладкий, натертый пол, крашенные стены, круглый столик орехового дерева, комод и конторка — вот что прежде всего бросалось в глаза. Все блестело, светилось от восходящего солнца, а оно бросало первые лучи через окно в комнату и золотисто-кровавыми переливами играло на блестящих предметах.

Но глаза Германа отвернулись от них — он не переносил яркого света. На боковой стене, напротив двери, в полутьме висела большая картина в золоченой раме, — на ней остановились глаза Германа. Это был довольно хорошо и верно написанный пейзаж тропической местности в Индии. Вдали, овеянные синеватой дымкой, дремлют огромные тростники — бамбуковые леса Бенгалии. Кажется, видишь, как от этого далекого зеленого моря поднимаются облака горячих испарений, разносящих по свету заразу. Кажется, слышишь, как в этой чаще с легким шумом ветра сливается жалобный вой тигра-кровопийцы. Ближе к переднему плану картины тростник исчезает, лишь отдельными купами устремляется ввысь буйный яркозеленый папортник, а над ним высятся живописными группами стройные широколистные пальмы, цари растений. На самом переднем плане, несколько сбоку, именно такая группа — пышная, стройная. Под нею — несколько газелей, они, как видно, пришли попасись. Но неосторожные животные не заметили, что среди огромных зеленых листьев притаилась страшная змея — удав, пряталась, подстерегая

добычу. Они смело, беспечно подошли к пальмам. Змея сразу молнией метнулась вниз, — минута смертельного испуга — один вскрик пойманной газели, один и последний — и все стадо в дикой спешке мчится в разные стороны, только одна, самая большая — как видно, мать остальных — осталась в объятьях змеи. Художник уловил именно то мгновение, когда газели разбежались, а змея, высоко подняв голову, изо всех сил сжимает своими могучими кольцами добычу, чтобы раздробить её кости. Удав обвил ее шею и хребет, и среди петель его пестрого сверкающего тела видна голова бедной жертвы. Большие глаза, вылезшие из орбит в предсмертной муке, блестят, словно от слез. Жилы на шее напряглись; голова — кажется, воочию видишь это — еще дергается в последних судорогах. Зато глаза змеи сверкают таким злорадным, демоническим огнем, такой уверенностью в своей силе, что невольно мороз пробегает по коже, если хорошо всмотреться. Удивительная вещь! Германа Гольдкремера странным, непонятным образом тянуло к этой картине, а особенно любил он целыми часами всматриваться в страшные, искрящиеся сатанинским огнем глаза змеи. Он уже давно, когда в первый раз ездил в Вену, увидел эту картину на выставке, и она сразу так понравилась ему, что он немедленно купил две копии и повесил одну у себя в комнате в Дрогобыче, а другую — в Бориславе. Не раз показывал картину гостям, подшучивая над глупой газелью, которая сама полезла в змеиную пасть. Но, оставаясь наедине, он почему-то уже не мог шутить. Он ощущал какой-то смутный суеверный страх перед этими глазами, — ему казалось, что змея когда-нибудь оживет и принесет ему что-то необычайное — великое счастье или великое горе.

Постепенно рассеялся густой холодный туман, нависший ночью над Бориславом. Герман Гольдкремер напился кофе, подсел к конторке и достал огромную расчетную книгу, чтобы подвести счета за всю неделю. Но потоки солнечного света, вливавшиеся в комнату, утренний холодок и глухой, отдаленный гомон рабочих, — все это убаюкивало его мысли и обессиливало, усыпляло их. Организм, утомленный вчерашней поездкой и домаш-

ними заботами, ощутил какое-то минутное отвращение к этой книге в холщовом переплете и к цифрам, расположившимся в ней огромными столбцами, и к перу с резной ручкой из кости, — ему стало как-то сладостно, ни одна мысль не шевелилась, только дыхание равномерно вздымало грудь. Он оперся головою на ладонь и хотя вовсе не принадлежал к числу людей задумчивых, много рассуждающих (таких людей вообще среди евреев очень мало), однако теперь, впервые после долгих-долгих лет, и сам не заметил, как дал волю воспоминаниям всей своей жизни, — они ожили в памяти, прошли живо, четко перед его глазами...

Перед ним пронеслись, как темная туча, первые годы его юности. Страшная бедность и нужда, встретившие его тотчас при появлении на свет, до сих пор бросают его в холод, дрожь. Какой бы горькой ни казалась ему порой теперешняя жизнь, однако он никогда не желал и не пожелает, чтобы вернулись его молодые годы. Нет! Эти молодые годы висели каким-то тяжким проклятьем над его головой: проклятьем нужды, проклятьем, глушившим в зародыше все добрые душевные качества. Не раз ощущал он это проклятье в чаду своих наибольших спекулятивных триумфов, не раз призрак давней нужды отравлял ему самую большую радость, добавлял горечи-полыни в сладкие напитки богатства и роскоши. Он до сих пор ясно помнит ту полуразвалившуюся, подгнившую, сырую, грязную и запущенную хатку на Лану¹ в Дрогобыче, где он увидел свет. Стояла она над самым ручьем, напротив старого и еще более отвратительного кожевенного завода, откуда раз в неделю двое рабочих, покрытых струпьями, с гноящимися глазами, выносили охапками отработанную, вымоченную кору, распространявшую на весь околоток кислую, удушливую, убийственную вонь. Рядом с хатой его матери стояло много таких же. Все они были так скучены, крыша у каждой была такая неровная, гнилая и ободранная, что весь поселок походил больше на одну жалкую развалину, на одну большую кучу мусора, грязи, гнилого теса и тряпья, чем на человеческое жилье. И воздух тут был всегда такой спертый, затхлый, что даже солнце как-то сумрачно заглядывало сквозь щели в стенах и крышах во внутрен-

ность домов, а зараза, казалось, плодилась тут и отсюда разносилась на десять миль вокруг. В каждой из этих хаток жило по несколько семейств, то есть по несколько сварливых, ленивых и крайне неряшливых евреек, и возле каждой роилось, пищало и верещало не меньше пяти малышей. Мужчины — рыжие евреи с пейсами — заглядывали сюда редко, не чаще одного раза в неделю, в пятницу вечером, чтобы справить субботу. Это были большей частью бедняки: нищие, менялы, тряпичники, сборщики костей и всякие, бог знает чем промышлявшие люди. Одни жили в городе постоянно, другие бывали здесь очень редко. Первые старались провести ночь где-нибудь в корчме на лавке, в кустах под открытым небом, на холоде, лишь бы не дышать спертым, нездоровым воздухом и не слышать крика, ссор и оглушающей ругани жен и детей.

И мать Германа была не лучше, если не хуже других. Хотя и молодая еще женщина — ей могло быть двадцать, самое большее двадцать два года, — однако она уже, так сказать, вросла, влилась в тот тип евреек, столь обычный в наших городах, на формировании которого сказывается и плохое, нездоровое жилище, и скверное воспитание, и полное отсутствие образования, и преждевременное замужество, и лень, и сотни других причин. Герман не может припомнить ее оживленной, свежей, веселой, приодетой, хотя на ее лице заметны были кое-какие следы красоты. Лицо, когда-то круглое и румяное, поблекло, изъеденное грязью и нуждой, обвисло, как пустой мешок; губы, прежде полные, румяные и резко очерченные, посинели, вздулись, глаза помутнели и стали гноиться. Четырнадцати лет от роду она вышла замуж, через три года развелась с мужем, который не хотел больше ее содержать и кормить. Старшего сына он забрал с собою бог знает куда (он был тряпичник и ездил на одноконной повозке по селам, выменивая иголки, зеркальца, шила и всякие хозяйственные мелочи на тряпки); младший, Герман, остался с матерью. Ему было полтора года, когда его родители разошлись; он не запомнил ни отца, ни старшего брата, а потом случайно узнал, что оба они умерли от холеры в открытом поле, где их и нашли чуть ли не через неделю околодохлой

лошади. Вообще, вырастая в такой пагубной и нездоровой атмосфере, он развивался очень медленно и тупо, болел часто, и самым ранним впечатлением, врезавшимся ему в память, был его огромный живот, в который другие дети часто били, как в бубен. Детские игры в толпе голых, измазанных, распухших детей вспоминаются ему неясно, как сквозь сон. Дети бегают по тесному дворику между двумя хатами, взявшись за руки, и визжат изо всех сил, — бегают, пока голова у них не закружится, и тогда плашмя падают на землю. А то бродят по лужам, барахтаются, как стая лягушат, в гнилой, вонючей воде ручья, дочерна покрашенной отработанной корой, пугая огромных длиннохвостых крыс, которые шмыгают у них под ногами, спасаясь в свои норы. Отчетливо помнит Герман, как он не раз скатывался с другими детьми на животе с берега в ручей и как взрослые евреи, стоя на мосту, хохотали до слез над его толстым буро-синим пузом, к которому, как две палочки, прицеплены были худые, длинные ножки. Еще глубже врезались ему в память ночевки в тесном, смрадном закутке вместе с десятком таких же, как он, малышей, — ночи, проведенные на сыром полу, на соломе, наполовину сгнившей и кишевшей червями и бог знает какой нечистью; страшные ночи, наполненные заглушенным смехом и плачем детей, пинками, драками и криком женщин; бесконечные ночи, которые он проводил, свернувшись клубком от холода, после которых он вставал по утрам с загноившимися глазами, воспаленный, красный, с телом, искусанным паразитами! Ох, эти страшные ночи детских лет, которые другим светят до старости ангельскими улыбками и поцелуями матери, тишиной и радостью, первым и последним счастьем жизни, — для него они были первым и тягчайшим мученьем! Они до старости обдавали его жаром и холодом; от одного воспоминания о них у него захватывало дух, сердце наполнялось отвращением, глухой, смертельной ненавистью ко всему бедному, оборванному, нищенскому, поверженному в грязь, придавленному несчастьем. Он сам не понимал, в чем здесь причина, не знал, что такое детство должно у каждого притупить нервы, заглушить чувства до того, что горе и слезы другого не смогут его тронуть, что вид нищеты будет вызы-

вать в нем лишь отвращение, а не милосердие. Впрочем, Герман Гольдкремер никогда и не думал об этом, не пытался разбираться в причинах своего поведения, и не раз, когда бедные обиженные работницы с изможденными лицами, в лохмотьях, пропитанных нефтью, плакали перед ним, добиваясь полной выплаты, он плевал, отворачивался и приказывал слуге вышвырнуть их за дверь.

Он вспоминает, как его мать, бывало, целыми днями сидит перед домом с чулком и клубком в руках и повторяет хриплым голосом ругательства, лишь бы перекричать одну из соседок, которой на этот раз пришла охота сцепиться с нею. Вязанье в ее руках очень медленно подвигалось вперед, хотя на первый взгляд могло показаться, что она вяжет непрерывно. Часто она целыми месяцами таскала один и тот же чулок и один и тот же клубок, и, наконец, чулок, еще не довязанный, и клубок, еще не оконченный, приобретали такой же цвет, как все вокруг, — грязносерый. Не раз она гонялась подолгу за каким-нибудь мальчишкой, разъярившим ее дерзким словом; шлепала по лужам, запыхавшаяся, охрипшая, посиневшая от злости, а изловив бедного мальчонку, хватала за волосы и колотила немилосердно по спине, пока ребенок не падал на землю. Не раз и Герману доставалось от нее, и очень сильно. Она была, как все лентяи и бедняки, очень вспыльчива и зла и в сердцах не разбирала, кого бьет, чем и по какому месту. Герман хорошо помнит, как однажды мать ударила его по голове башмаком так сильно, что он упал, обливаясь кровью. Тогда она схватила его за волосы, подняла, залепила рану жеваным хлебом, плюнула ему в рот, чтобы унять плач, и вышвырнула его за дверь, как скулящего щенка. Чем жила его мать, на какие средства содержала себя и его — Герман не знал. Знал только, что хата, в которой они жили, не их, а снята внаем, — и еще припоминает высокого, толстого, седобородого еврея, который не раз приходил, кричал на его мать за то, что она так неопрятна, и уходил ее с собой, но куда — Герман не знал. Часто по вечерам мать и одна уходила куда-то и возвращалась только под утро — приходила измученная, злая, словно после бессонной ночи, и приносила немного денег. Позднее

Герман узнал, на какие заработки **выходила** его мать, но это его мало трогало. Теперь он старался никогда не думать о ней.

Такова была жизнь будущего миллионера Германа Гольдкремера до десяти лет. Правда, ростом и видом он походил на семилетнего ребенка, да и то плохо развитого. Силы и детской живости у него не было. К этому времени он почувствовал сладость лени и часто сидел в дремоте целыми днями на лавке в хате, хотя мать гнала его в город продавать спички мужикам или искать какого-либо иного заработка, как это делали другие мальчики.

Это было летом 1831 года. Страшная, неслыханная прежде эпидемия посетила наш край. Долго носились глухие слухи в народе, что близится «**божья кара**», долго тревожился крещеный мир, ожидая, что вот-вот придет неизбежная, внезапная смерть. И вот она пришла, в сто раз более страшная, чем ждали. Целые села опустошались, вымирали, целые семьи исчезали с лица земли, как воск на огне. Один не знал о смерти другого и сам ждал смерти. Брат отворачивался от брата, отец от сына, чтобы не увидеть на нем страшного клейма смерти. А кто еще оставался в живых, тот шел в корчму, пил и горланил песни в диком беспамятстве. Некому было утешать отчаявшихся и осиротевших, и некому было спасать больных, которые не раз молили о глотке воды, умирая в страшных судорогах. Среди простых людей ходили страшные рассказы об упырях, которые хватают людей, а в некоторых селах пьяные, обезумевшие толпы начали даже сжигать на кострах тех, кого они считали упырями.

И Дрогобыча не минула холера. Особенно пострадал от нее Лан, больше, чем другие предместья, оттого ли, что тут затхлый, нечистый воздух способствовал распространению заразы, или, быть может, оттого, что люди, скученные в домах, легко заражались друг от друга. Мужчины, женщины, а больше всего дети падали, как трава под косою, умирали незаметно, тихо по углам и закуткам. Сколько их там умерло — один бог знает. Кто был побогаче, уехал от приближающейся заразы в горы, на чистый воздух, но зараза и там их догнала и вернулась лишь сотая часть. Но у матери Германа денег не было, заработка не стало, не стало и хлеба, ничего,

Среди всеобщей тревоги она слонялась около хаты, обезумевшая от страха и голода, не раз принималась кричать дурным голосом, пока и сама не упала на землю, зараженная. Герман ясно помнит, как он подбежал к ней и с детским любопытством приблизился к этому телу, посиневшему, скорченному, ждущему лютой смерти. И сейчас перед его глазами стоит ее лицо с выражением такой безграничной боли, такое искаженное, изменившееся, что даже у него, малыша, мороз пробежал по коже. Он помнит каждое ее движение, каждое ее слово в те страшные мгновения вечной разлуки. Прежде всего она махнула рукой, чтобы он не подходил к ней близко, — материнская любовь, хоть и под грубой оболочкой, не угасла в ней и проявилась в минуту тягчайших страданий. Ее протянутая рука бессильно упала на землю, и Герман видел, как все жилы, все суставы в ней то стягивались, то выпирали судорожно, как она дрожала от холода, а под кожей все яснее и яснее выступали синие и зеленые пятна.

— Герш... — прохрипела она, — не подходи... ко... мне!..

Мальчик стоял, как в тумане. В эту минуту он очень плохо, очень неясно соображал, что происходит. Судорожно дергаясь, тело матери начало метаться во все стороны. На один миг Герман увидел ее глаза: они сразу налились кровью и готовы были вылезти из орбит от натуги.

— Герш!.. честно живи! — простонала несчастная, едва дыша. И в ту же минуту уткнулась лицом в землю.

Герман стоял, боясь подойти к ней и в то же время боясь убежать.

— Воды! воды! — прохрипела умирающая, но Герман не мог сдвинуться с места, память у него отшибло. Сколько времени он стоял так, в двух шагах от посиневшего, коченеющего тела матери, этого он не знает. Не может даже вспомнить, кто и как вывел его из оцепенения, когда и куда убрали труп: все это поглотило вечное забвение, вечное беспмятство.

Он очнулся ночью на улице. Голод рвал его внутренности, жажда жгла горло, тревога, словно клещами, сжимала грудь. А вокруг тишина, глубокая, глухая, темная, безмолвная. Только порой из какого-нибудь

далекого угла, словно из-под земли, доносится приглушенное всхлипывание или стон умирающих. В домах, где еще есть живые люди, светится огонь, мерцающая в отдалении и, словно острый нож, прорезая тьму. Маленькому Герману становится еще страшнее, глядя на этот огонь, — вот теперь он чувствует всю бездну своего одиночества, своего сиротства, — его зубы невольно стучат, колени дрожат и подкашиваются, мир начинает вертеться перед ним. Но вот подул холодный ветер с востока, освежил его немного. Он бродит по улицам в великом страхе, поминутно оглядываясь. Но голод не перестает напоминать о себе, прогоняет постепенно все остальное, прогоняет и страх и подсказывает ему новую, смелую мысль. Герману некогда долго раздумывать, — он тихими шагами, как кот, крадется к первому попавшемуся дому, в котором не видно огня, где, значит, все вымерли. Первый, к которому подошел, был заперт, ломиться — напрасный труд, сил нет. Он пополз к другому. Тут последний живой человек только что умер. Дверь была распахнута настежь, и Герман вошел внутрь. Первым делом полез на полки, в посудный шкаф, везде обшарил, чтобы найти хоть что-нибудь съестное. Ему посчастливилось найти большой ломоть хлеба. Схватив его, он даже вздрогнул и в безумном страхе пустился бежать. Но на беду, удирая, наткнулся на мертвеца, лежавшего на полу, и с размаху ударился лицом о землю, не выпуская, однако, из рук своей драгоценной добычи.

Утолив голод, мальчик забрался под какой-то плетень в лопухи и заснул как убитый. Наутро проснулся значительно окрепший, — особенно успокоил его ясный, теплый солнечный день, при котором исчезали всякие страхи. Он побежал по улицам, почти не обращая внимания на крики и плач со всех сторон. Мысль о том, что и он может умереть, не приходила ему в голову, а от вчерашнего хлеба еще порядочный кусок лежал у него за пазухой — голода не боялся. Но вот он попал на одну улицу, по которой возили трупы из мертвецкой на кладбище — далеко за город. Он стал с любопытством приглядываться ко всему. Телега за телегой тянулись по улице длиннейшей вереницей, нагруженные гробами, наскоро сколоченными из неоструганных досок. В гробы засунуто по

два-три трупа, потому что на всех не хватало гробов. Сквозь щели и из-под отстающих крышек висели и торчали руки, ноги — то голые, отвратительно позеленевшие, то в лохмотьях, а то и в приличной одежде. Крик и причитания осиротевших не умолкали; толпами шли люди разных состояний по улице, многие зараженные падали тут же на дороге. Германа охватила дрожь, когда он посмотрел на эту страшную, бесконечную процессию; он во весь дух помчался прочь от этой улицы, сам не зная куда, лишь бы забежать подальше, в глушь. Но потом еще долго ему чудился стук гробов, наваленных грудями на дощатые дроги, тянущиеся по ухабистой каменистой улице; чудился этот неистовый, болезненный плач и пугал его не раз в тишине ночи.

Где бродил он до конца того дня, как провел следующие — он толком не помнит. Необычайные, а для его молодого организма слишком сильные впечатления притупили его память. Он помнит только, что много раз пробирался в пустые дома, подгоняемый голодом, и шарил в темноте по углам, пока не находил какую-нибудь еду или кусок хлеба; что не раз натыкался на холодные, уже покрытые слизью трупы, и они вызывали у него отвращение, словно лягушки; что однажды гнались за ним мальчишки (должно быть, такие же, как и он, сироты, с голоду взявшиеся за тот же промысел) и что ночевал он обычно под заборами, в бурьяне или под деревьями на какой-нибудь базарной площади. Впрочем, чем дальше, тем больше притуплялась его память, становилось горячо в голове, в груди, перед глазами часто вертелись красные колеса — наконец, все исчезло, темно...

Он очнулся в какой-то большой комнате, в которой почему-то было очень холодно. Он лежал на койке, укрытый одеялом, и дрожал. Солнце, как видно, как раз заходило и освещало косыми лучами блестящую лакированную черную дощечку над его головой. Вокруг него много других коек — стоны, оханье... Какая-то старая женщина в черном тихо-тихо ходит и заглядывает в койки. Он очень ее испугался и закрыл глаза. Снова забытье...

Словно сквозь сон, до его ушей доносится пискливый, несносный голос, который долго-долго однотонно напе-

вает что-то. Он почему-то знает уже, что это больница, но как он здесь очутился и почему — не знает.

Герман и поныне не знает, сколько он пролежал в больнице, чем болел, где его подобрали и по чьей милости. Впечатления тех дней мелькают в его голове, как вспышки далеких зарниц.

Стоял тоскливый осенний, ненастный день, когда его выпустили из больницы. Выйдя после долгой болезни в первый раз на свежий воздух, он почувствовал себя таким слабым, всеми покинутым, не знающим, за что теперь взяться, что страх охватил его на широкой пустынной улице, как когда-то ночью при виде огоньков, там и сям светившихся в окнах. Он едва мог вспомнить, что с ним было до болезни. Ему хотелось плакать, но он кое-как сдержался и пошел куда глаза глядят, шлепая ножонками по уличной грязи.

— Герш, Герш! Поди-ка сюда! — крикнул кто-то сбоку ему по-еврейски. Мальчик обернулся и увидел невысокого косоглазого еврея с редкой рыжеватой бородкой. На еврее была рваная бекеша и сапоги, густо облепленные грязью по самую щиколотку. Герману сначала показалось непонятно, чего от него хочет этот незнакомый человек, и он нехотя подошел к нему.

— Не узнаешь меня? — спросил еврей.

Герман мотнул головой и вытаращил на него глаза.

— Я Ицик Шуберт, знаешь? Моя жена жила там, с твоей мамой. Знаешь?

Герман едва-едва припомнил Ицка, но, вспомнив мать, сам не зная почему и о чем, заревел во весь голос.

— Ну-ну, не плачь, — сказал еврей слабым, мягким голосом. — Видишь, и мои умерли. Что поделаешь? Все умерли, все до одного, — прибавил он грустно, словно про себя, — и Тауба, и бухер*, все! Ну-ну, ша, тихо, бедняжка, слезы не помогут. А я думал, что и тебе капорес **, а ты, оказывается, еще жив!

Герман ничего не говорил, только всхлипывал и вытирал глаза рукавом.

* Парень (еврейск.)

** Конец (еврейск.)

— Знаешь что, Герш, — сказал Ицик, — идем со мной.

Герман уставился на него, словно не понимая, что он говорит.

— Куда?

— В Губичи! Там у меня хата есть, лошадь есть и возок. Поедем весною тряпье менять. Хочешь? Ей-богу, хорошо так жить, — и твой отец так жил, только умер, бедный!

Герману некуда было возвращаться, негде было переночевать, а Ицик не хотел его бросать и в тот же день повел к себе домой. Холера пошла на убыль, как только начались осенние холода и ненастье, но люди еще не успели опомниться после страшного бедствия. На улицах обычно редко можно было встретить человека, а если и появлялось человеческое лицо, то такое напуганное, жалкое, грустное и позеленевшее, что, казалось, люди эти только-только вышли из тюрьмы, где долгие годы томилась в сырости, холоде, полумраке и всяких мученьях.

Путь до Губичей был неблизкий, да к тому же дорога размокла, глинистая земля прилипала к ногам, тяжелая, как кандалы, так что у наших пешеходов дух захватывало от натуги. Но они, хоть и с трудом, ползли потихоньку и помаленьку, как улитки. Ицик еще туда-сюда, но маленький Герман после болезни! Он чуть богу душу не отдал, пока добрался до Ицкого жилья. Его добродушный опекун и нес его на руках и вел, вернее волочил за собою, и уговаривал, стараясь подбодрить. Поздней ночью они добрались до цели, и Герман, как только дошел до лавки, повалился и заснул как убитый.

Губичи — довольно большое село, расположенное вдоль реки Тисменницы, на полдороге между Бориславом и Дрогобычем. На север от села поднимается высоко в гору отлогая равнина, а с юга еще более высокие холмы переходят в другую возвышенность, на которой пышно красуется небольшим четырехугольником дубовая роща Тептюж. Самое село расположилось на низкой равнине, шириной примерно в тысячу шагов, которая тянется от бориславского взгорья вдоль Тисменницы до самых Колодрубов, а там сливается с большой Днестровской долиной. Окрестности Губичей отличаются той, свойствен-

ной Подгорью, красотою, равной которой не встретишь больше нигде. Не увидишь здесь ни острых шпилей высоченных Бескидов, ни голых, ободранных скал Черногоры, ни отвесных глинистых обрывов гор Заднепровья. Тут пейзаж в удивительной гармонии показывает вам чарующую заманчивость и разнообразие горной местности, и необъятную ширину, и однотипность низменностей Подолья. Приятное, не величественное и страшное, а какое-то домашнее, близкое сердцу разнообразие красок, предметов, сочетаний, очертания всё круглые, мягкие, гармоничные, речки небольшие, быстрые, чистые, воздух здоровый, как в горах, но без той горной резкости, которая так быстро становится неприятной, — и при всем этом широкий вид на далекие, волнистые равнины, на сотни нив, перелесков и человеческих селений, разбросанных то рядами, то живописными группами, то в пестром шахматном порядке...

Жизнь Германа пошла теперь действительно по-новому. Ицик был человек добродушный, не слишком сильного характера, привыкший с малых лет склонять голову перед каждым человеком «своей веры». С «гоями»* он обращался, как всякий другой, — ругал и поносил одних последними словами, подлизывался к другим, мошенничал и обманывал каждого, как только мог, считая это делом обычным. Вообще Герман тут впервые узнал, что за народ «гои», и его детский ум быстро подметил, что у каждого человека «еврейской веры», так сказать, два лица: одно, то, которое обращено в сторону мужика, у всех одинаково: брезгливое, насмешливое, грозное или хитрое, а другое — обращенное к своим единоверцам, и оно ничем не отличается от лиц прочих людей, то есть бывает у каждого свое: доброе или злое, хитрое либо искреннее, сердитое или ласковое. У Ицка это «свое» лицо было действительно искреннее и доброе, и маленькому Герману, который на своем веку не знал ни ласки, ни забот, ни ухода, теперь только открылась новая, более светлая сторона человеческой жизни. Уже само пребывание на чистом, здоровом воздухе было для него большим счастьем. Он, который долгие годы — пер-

* Иноверец (еврейск.)

вые свои годы — задыхался в затхлом, нездоровом воздухе перенаселенного, грязного предместья, теперь полной грудью, вволю дышал чистым деревенским воздухом, так что кровь живее начинала играть в его жилах и в глазах все вертелось, как у пьяного. Ицик устроил ему удобную постель — сухую, теплую, просторную, и Герману этот топчан с простым сеником и старой бекешей вместо одеяла казался бог весть каким пышным ложем еще и потому, что у самого опекуна не было лучшего. Пищу Ицик варил сам, а маленький Герман помогал ему, как мог, — и хоть приготовлена она бывала иной раз и не слишком хорошо, все же казалась им очень вкусной, так как была приправлена голодом. В общем Ицик обращался с Германом, как с равным, видел его ловкость и старательность и советовался с ним, как со старшим, перед каждым делом. Сама его натура, мягкая и податливая, не допускала и мысли с том, чтобы прибрать мальчика к рукам, приучая его к беспрекословному послушанию, как это любят делать другие спекуны, которые, будто бы намереваясь вывести своего воспитанника на хорошую дорогу, окончательно забивают и оглушают бедного ребенка, а когда он, придурковатый и лишенный собственной воли и живости, подчиняется беспрекословно их причудам и нелепым выдумкам, хвастаются: «Вот мы каковы! У нас должен быть порядок!», а то еще вдобавок попрекнут ребенка своим хлебом: «На чем, собака, возу едешь, того и песню пой!»

Зимой Ицик начал учить Германа читать и писать, разумеется по-еврейски, потому что иначе и сам не умел. Ученье шло довольно туго. Герман вырос в условиях настолько неблагоприятствовавших развитию духовных способностей, что только врожденное упорство помогло ему преодолеть первоначальные трудности. Его ум, быстрый и понятливый в повседневной жизни, в обычных вещах, в науке оказался таким тупым, беспамятным и неповоротливым, что даже терпеливый и добродушный Ицик не раз выходил из себя, бросал книжку и на несколько часов прерывал урок. Однако, несмотря на его терпение и старательность Германа, они в течение зимы не много успели при трудном механическом способе обучения.

Зато когда наступила весна, стало тепло, солнечно, вот тогда началась жизнь для Германа. Ицик запрягал в возок лошадь, накупал в городе всякой мелочи, нужной крестьянам, — и айда с этим добром по селам! Какая радость для Германа была сидеть на возу сзади на сундучке — спереди и сзади груды тряпок и всякой рвани, и из этих куч едва выглядывает маленькая головка мальчика в рваной шапчонке, со здоровым румянцем на щеках, кудрявая, веселая. Вокруг пышные зеленые поля, шумящие рощи, блестящие, серебристые реки, а над головою — ясное голубое небо, и тепло, тихо, приятно вокруг, птичьи голоса сливаются с треском кузнечиков, шелестом зеленой листвы, журчанием ручьев в одну бесконечную, стройную гармонию счастья, величия и покоя.

Эх, не раз вспоминает еще и теперь Герман Гольдкремер, миллионер, те времена своей веселой, свободной, поистине цыганской жизни! Он вспоминает их не то чтобы с какой-нибудь особой радостью, он свысока смотрит теперь на тогдашнюю нищету, на погоню за какими-нибудь двумя крейцерами, на радость, когда им удавалось выменять много тряпья, — его даже злит эта тихая радость, это удовлетворение, которое он испытывал тогда; но все-таки какой-то тайный, неведомый голос шепчет ему, что это была самая счастливая пора его жизни, что тихое счастье, мирные, спокойные дни, прожитые им в бедности, на Ицковом возу, не вернутся для него никогда.

А то едут, бывало, дорогою среди полей: вокруг ни живой души, рожь еще не поспела, легкий ветерок волнами-волнами клонит тяжелые колосья созревающих хлебов. Усатый ячмень тут и там выделяется яркозеленой полосой, а озимая пшеница гордо покачивается на своих стройных гладеньких стеблях. Куда ни кинь глазом, не видно жилья — село в долине. Далеко-далеко на востоке разлился зеленым пахучим озером луг, и оттуда ветер доносит звон кос да видны издалека ряды как бы больших белых мошек, шевелящихся на зелени, — это косари. Ицкова лошадь и та, кажется, рада этой величественной тишине, теплу и ароматам, плетется нога за ногу по мягкой «польской» дороге, срывая время от времени головку клевера на ходу. Ицик мурлычет под нос какую-то

еврейскую песенку, должно быть «Finsterer batyguteh»*, кнут засунул за пояс и медленно раскачивает головой налево, направо, словно отдает поклоны этим прекрасным благословенным нивам, далеким лугам и синему Дилу, который на востоке выставил высоко в небо свою тяжелую массу, круглые лесистые вершины и неясно виднеется вдалеке, величественный, спокойный, неуловимый, словно кусок неба, которым природа для большего великолепия украсила наши горы. А маленький Герман в это время сидит среди груд тряпья, строгают что-то и ведет сам с собой разговоры, словно он — тряпичник, а к нему приходят бабы и торгуются с ним за свои тряпки.

Но вот они спустились с горы, за ними поднялось облако пыли, перед ними зеленеют вербы, вишни; серебрится речка в просветах между хатами, играют дети за околицей, бродит скотина в загонах, — село. Герман соскакивает, чтобы отодвинуть плетень, и быстро закрывает его, как только возок проехал, и бежит за ним, потому что уже слышит вокруг лай, — уже с завалинок повскакивали псы и бегут стаей приветствовать гостя. Странная одежда и еще более странный возок тряпичника вызывают у них лютое ожесточение, а каждый раз, когда Ицик или Герман протяжным, пронзительным голосом кричат: «Меняй тряпки, меняй!» — псы прямо заливаются, даже землю роют лапами от сильной ярости. Они стаей бегут вокруг возка: часть из них бросается на лошадь, которая мотает головою во все стороны, словно раскланивается с добрыми знакомыми, а если какой-нибудь пес слишком уж наскокивает на нее, она фыркнет, вздернет голову кверху и бежит дальше. Другие нацеливаются на тряпичника — бегут около воза, хватают зубами за колеса, но все напрасно. Герману доставляет огромное удовольствие эта бессильная ярость псов, он дразнит их прутом и голосом и хохочет до упаду, если какой-нибудь посмелее поднимется на задние лапы, чтобы вскочить на воз, а воз тем временем махнет дальше, и бедный песик даже перекувырнется с разгона в пыли.

Но вот начинается в хатах, во дворах возня, шум,

* «Злосчастный балагула» (еврейск.)

крики, беготня... Бабы, мальчишки, малые ребята — все бегут наперегонки на улицу, догоняют менялу. Но тряпичник словно не видит их, не слышит, как кричат: «Хозяин! Обожди-ка!» Он видит, что их еще мало, едет дальше, где на мостках и у ворот поджидают другие, и еще раз заводит свое протяжное: «Меняй тряпки, меняй!» Теперь только он останавливает лошадь, кидает ей клок сена и оборачивается, чтобы достать сундучок со всяким добром, на которое селяне выменивают тряпки. Вот тут начинается жизнь шумная, веселая, говорливая! Тут и для Германа работа. Желающих менять — большая толпа: одни отходят, другие подбегают, Ицку со всеми не управиться. Герман и за возом следит и сам кое-чем торгует; на его попечение Ицик сдал сельских ребятишек, от которых трудно отделаться, но которых легче всего обмануть. Герман еще и сейчас с улыбкой вспоминает, как ловко он шнырял среди сельских мальчишек, как быстро умел их спровадить, как ловко умел подсунуть каждому то, чего ему хотелось, и брал с него тряпок втрое больше, чем стоил товар. И сколько там бывало ссор, криков, проклятий на этих сельских выгонах! Особенно с женщинами было трудно поладить. Упрется та или иная и не отступится: давай ей то-то и то-то за столько-то тряпок! Но тут Ицик бывал уже совсем не тот, что дома: упрется и он, и накричит на бабу, и всю ее родню обругает, а поставит-таки на своем. Долго тянутся торг и перебранки. Ицик потихоньку погоняет лошадь вдоль села, все время сопровождаемый толпою сельских хлопцев и дивчат, у которых нет тряпок; они с завистью смотрят на ножички, перстеньки и ленты, которые выменяли другие.

Медленно продвигаясь по селу, возок тряпичника все больше наполняется тряпками, Ицик поглядывает на растущие груды и потирает руки, — знает, что скоро наберется у него центнер и можно будет везти к скупщику в Дрогобыч. И вот они в центре села, напротив широкой каменной корчмы. Ицик заворачивает лошадь на грязное широкое подворье. Арендатор Мошко его знакомый. Тут он пообедает — разумеется, за деньги — и поговорит «со своей верой», тут и лошадь попасет и тряпье в сарае сложит на время, потому что ему невыгод-

но с ним возиться. Его принимают радушно, ему так приятно посидеть в тесной каморке, заваленной чуть ли не до потолка перинами, ему так приятно поболтать под писк детишек корчмаря и отрывистый разговор двух селян, которые широко расселись в корчме на лавке, выпили по полкварти, закурили трубки и, попыхивая ими, время от времени перекидываются несколькими словами. И Герману приятно и весело побегать во дворе с арендаторскими мальчишками, покричать, побороться, поваляться на мягкой траве. Солнце как раз в зените. Жарко, даже душно. Комары и оводы докучают Ицковой лошади, она тщетно фыркает и обмахивается хвостом, поедая душистую, свежую траву, кинутую ей сыновьями арендатора. Детям жаль лошадь, — они принимаются отгонять от нее оводов, а когда им это надоест, наломают зеленых развесистых ветвей вербы и обтычут ими лошадь, чтобы кое-как ее защитить.

Солнце клонится к закату. Ицик отдохнул, подкрепился, напоил лошадь, тряпки отнес в сарай арендатора и сложил их в свой собственный мешок, который приготовлен там специально для этой надобности. Пора собираться. Пустой возок легко катится и грохочет по дороге. Ицик живо подгоняет лошадь и снова затягивает свое: «Меняй тряпки, меняй!» Начинаются давешние сцены: торговля, крики, беготня, и снова возок тряпичника едет, как на параде, наполняясь медленно тряпками. Уже солнце низко спустилось, пока Ицик успел поладить с бабами, — вот и селу конец. Снова Герман бежит открывать плетень; на этот раз они проезжают тихо, псы утихомирились давно. Им снова придется ехать в гору, посреди поля, далеко-далеко по глинистой дороге. Но дорога сухая, возок тарахтит по кочкам, Ицик погоняет лошадь, потому что к вечеру им надо остановиться в другом селе у знакомого арендатора на ночь. «Вйо-у, лошадка! Вперед, вйо-у!» — покрикивает по временам Ицик и опять начинает мурлыкать под нос протяжную песенку «Finsterer batyguteh». И дальше, дальше, дальше! От села к селу, с горы в долину, через речку, вверх по холмам, среди полей, через леса катится медленно их тарахтящий возок,

разносится одиноко пронзительный голос Ицка. Перемена за переменной, а жизнь все та же! Окрестности сменяются, а край все один, красота все одна — вечная, ненаглядная, спокойная красота чудесного Подгорья...

II

Воспоминания убаюкивали Германа. Он чувствовал, как внутри него словно таял какой-то давний, многолетний холод. Целые годы носил он его в себе, целые годы; с тех пор как женился, он чувствовал, как будто судорога свела все его внутренности и притупила в нем всякие человеческие чувства. Теперь у него словно отлегло. Может быть потому, что так живо вспомнился ему безмятежный покой, теплые дни и тихие вечера в пору жизни у тряпичника? Но облегчение длилось недолго. Вскоре что-то, словно густой туман, начало обволакивать его мысли, постепенно судорога сжимала его душу все сильнее, по мере того как в его голове оживали дальнейшие картины его жизни.

Вчера вечером, по дороге сюда, он проезжал через Губичи. Ему пришлось проехать мимо давно знакомой, покосившейся и полуразрушенной Ицковой хаты. Теперь она уже в третьих руках после Ицка. Перед нею две раскидистые вербы и старый поломанный плетень. Стены покосились и ушли в землю, окна заткнуты тряпками. Несколько сот раз он проезжал мимо нее, но никогда ему не приходило в голову заглянуть за высокий плетень, узнать, кто тут живет. Вчера, неизвестно как и откуда, пришла ему такая мысль. Он велел остановить бричку и встал в ней, чтобы заглянуть через плетень. Трое еврейских детей играли во дворе, около небольшого заброшенного навеса, под которым когда-то стояла лошадь Ицка. Двое детей были толстые, круглолицые, черноглазые и очень веселые. Третий мальчик, немного постарше, держался как-то в стороне от них, играл, как видно, неохотно и делал все, что ему говорили младшие. Лицом он был совсем не похож на остальных, — должно быть, это был какой-нибудь подкидыш или воспитанник. Девочка лет шести часто сердилась на него,

теребила его за руку, за уши, щипала его лицо и издевалась над ним, но он не плакал, не кричал, даже не морщился, только жалобно смотрел на нее. Как видно, боялся и ее, и еще больше матери, которая в эту минуту кричала на кого-то в хате.

Герман не мог больше смотреть на такие игры детей. Он сел и велел погонять. Его живо поразили этот тревожный, болезненный взгляд мальчика, который не кричал и не плакал, когда другие над ним издевались. Теперь ему вспомнились его давнишние игры с селянскими детьми. Как они охотно принимали его, как весело было бегать с ними, плести венки из кувшинок коровам весной, ходить в лес по грибы и орехи осенью, когда Ицик не ездил по селам. Почему они чувствовали себя равными, а тут уже между малышами одной веры такая неприязнь? Но тут же вспомнился ему его собственный сын, который еще сызмальства любил сечь кнутом щенят до крови, который других детей без причины сталкивал в канаву, не раз забавы ради обрызгивал кухарку кипятком. Вспомнилась ему жена и все домашние мерзости — и лоб его нахмурился, а из сжатых губ вырвалось какое-то еврейское проклятье.

Но опять воспоминания далеких лет успокоили его. Теперь уже не тихая безнадежная бедность видна была в тех картинах, что проходили перед его глазами. Нет, — тут уже началась борьба за богатство, борьба страшная, упорная, повседневная. Тут Герман мог следить с самого начала, от ничтожных зародышей, как росли, развивались и множились его тысячи, пока не дошли до миллионов, как одолевали и пожирали бесчисленных противников, как опутывали и высасывали бесчисленных людей, как распространяли вокруг бесконечную нужду, нищету, разорение, а ему самому при всем достатке и роскоши так и не принесли того, что называется счастьем, удовлетворением. Когда-то успокаивали его первые удачи, в его груди временами что-то трепетало и прыгало от радости, но теперь не стало и этого. Его капитал рос и умножался, как заколдованный. Сегодня в первый раз он осмотрелся хорошенько, откуда он набирал соки, — испугался, испугался самого себя, испугался своего богатства! Не потому, что так уж сильно

тронула его судьба тех тысяч людей, у кого его капитал отнял насущный хлеб, подобно тому, как высокое дерево, вырастая, отнимает жизненные соки у мелкой травки вокруг себя. Нет, судьба этих несчастных не особенно занимала Германа. Не оттого ему стало страшно, что тысячи из-за него не имеют куска хлеба. Он был суеверен, и ему в эту минуту чудились только тысячи проклятий, которые они шлют на его голову. Богатство в эту минуту страшно тяготило его. Ему, неизвестно каким образом, пришла в голову мысль, что это богатство — чудовище о ста головах, которое пожирает, пожирает других, но — кто знает — может так же пожрать и его. Он невольно взглянул на картину, залитую теперь ярким солнечным светом. Газели словно исчезли куда-то, побледнели от яркого света, только кольца змеи сверкали, как золотые живые перстни, готовые вот-вот обхватить свою добычу, а глаза, эти колдовские, огненные глаза так и впились в Германа, так и пронизывали его. Ему стало жутко. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть света и страшного призрака.

Каким же образом Герман Гольдкремер добился такого огромного состояния? Три года прожил он у Ицка Шуберта. Здоровый воздух, покой, частые поездки совсем оживили его. Его лицо начало наливаться здоровым румянцем, движения стали живее, даже память и ловкость значительно увеличились. Природа начала сглаживать следы тяжелого детства, стала сглаживаться и память о нем. Ицик редко вспоминал свою Таубу и «бухера», — они, как видно, при жизни порядком успели ему надоесть. Правда, о холере Герман еще частенько слышал рассказы губицких селян и от этих рассказов его пробирал мороз. Не раз и самому еще снилась мать, посиневшая, страшная, умирающая в жесточайших судорогах, или бесконечная вереница нагруженных трупами телег, которые грохочут по каменистой дороге под крики и плач осиротевших. Но такие сны становились все реже; Герман рос, крепнул и поправлялся на диво, хотя следов первых лет оставалось еще немало во всей его натуре. Он нередко выходил из себя из-за какого-нибудь пустяка, нередко нападала на него былая лень, и он сидел, сложив руки, целыми днями на лавке,

не говоря Ицку ни слова. Но все это не портило их добрых отношений. И, наверное, Герман излечился бы и от этих недостатков, поживи он подольше в Губичах. Но обстоятельства сложились иначе.

Герман до сих пор еще помнит ту зимнюю ночь, в которую постигло Ицка несчастье. Он целый день сидел один в хате и нетерпеливо поджидал своего опекуна из Дрогобыча. Ицик поехал на базар. Днем мороз упал, солнце светило ярко, а с крыш капало, прямо любо. Но к вечеру напоззли серые тучи и снег повалил крупными хлопьями. Скоро ничего не стало видно. Сразу стемнело, а снег все валит и валит. Тихо вокруг, ветра нет. Герман затопил печь, сел на лежанке и ждет, но Ицка нет как нет. Дорога в село идет мимо хаты. Вот Герман слышит, покрикивают какие-то торговцы, возвращаясь домой. Он выбежал, чтобы расспросить про Ицка. «Должно быть, уже едет, мы его оставили еще в городе», — ответил селянин. Герман опять ждет. Огонь шипит и трещит в печи, — он достал гороху и начал варить его на огне, а для Ицка сварил несколько яиц. К ночи ударил мороз, разрисовал окна ледяными, диковинными цветами. Потом поднялся и ветер, начал швырять снегом в стекла, засвистел между крутыми берегами, стал теревить и вырывать пучки соломы на крыше. Огонь угасал, — Герману становилось страшно, он подкладывал дров и то и дело прижимался лицом к окну, не слышало ли, как бренчат подковы Ицковой лошади. Не слышать ничего. Сквозь щели в стенах тянет со двора холодом. Герману вдруг кажется, что где-то звонят, волосы дыбом встают у него на голове, мысль о пожаре проносится в мозгу. Он прислушивается — нет, не слышно ничего. Вот засвистел, заревел, завыл ветер сильнее, чем раньше, — словно стая бешеных волков мчится к селу среди вьюги, воя от голода и вздымая снежную пыль. От селянских детей Герман наслушался рассказов о разбойниках, которые в бурные ночи врываются в хаты, и вот ему кажется, что кто-то скрипнул дверью в сенях и тихонько ступает, пробирается, ощупывает руками стены, — ясно слышен шорох все ближе к дверям в хату... Герман хочет кричать, но чувствует, как что-то сдавило ему горло: он, сам не зная, что делает,

забился в темный, тесный угол за печью, — холодный пот выступил у него на лбу, все тело дрожит, он каждую секунду ждет, что вот-вот двери раскроются, а в них покажется страшное, обросшее лицо разбойника с огромной дубиной и широким сверкающим ножом за поясом. Но проходит минута за минутой — ничего не слышно, кроме унылого завывания бури. Дыхание понемногу возвращается к Герману, но он уже не смеет вылезть из своего угла. Разгоряченное воображение напоминает ему рассказы о «страчуках», в которых превращаются некрещеные дети, зарытые где-нибудь под забором, под вербою. Ему кажется, что кто-то медленно ступает по чердаку, — он тревожно поднимает глаза туда, где в потолке по старому обычаю вырезано маленькое оконце. Мороз пробежал по его телу! Ему чудится, что оконце шевельнулось, поднимается медленно-медленно вверх, а за ним виднеется черное глубокое отверстие. Он замер от страха, не в силах отвести глаз от оконца. У него зазвенело в ушах, — казалось, в нем самом, внутри него, шевелятся какие-то дикие, тревожные голоса, растет крик, смятение помимо его воли. Несчастный мальчик обезумел от страха и ожидания. Но голоса не унимаются, становятся все более резкими, громкими, какое-то отрывистое дребезжание пробивается сквозь беспорядочный шум. Герман еще с минуту сидел как мертвый, не зная, действительно ли этот шум поднялся в нем самом, или может быть, доносится снаружи. Но одной минуты оцепенения было достаточно. Он метнулся в каком-то отчаянии и одним прыжком очутился у окна. Шум раздавался уже в их дворе, — сквозь метель видны были какие-то черные тени, слышно позвякиванье конской упряжи, — ах, Ицик, Ицик приехал!

Шум возле хаты... Застучали в дверь. Герман побежал открывать и еще быстрее вбежал обратно в хату, — так страшно, темно, холодно было в сенях. Опять, что ли, ему почудилось, или это он в самом деле услышал глубокий, тяжкий стон где-то под землею? Он, судорожно трясясь, подбросил дров в огонь и, обернувшись лицом к дверям, ждал, кто войдет. Дверь открылась, и медленно, тяжелой поступью вошли четверо селян, неся окровавленного, еле живого Ицка, из груди которого

вырывался по временам глубокий, раздирающий стон боли. Герман застыл на месте от страха, увидев этот кровавый, страшный призрак. Он прижался к печи и не решался ступить ни шагу.

— Тихо, Максим, тихо! — говорил один селянин другому. — Осторожно держи за руку, не видишь, что кровь даже через бекешу выступает?..

— Ой-ой-ой, какую же это, наверно, боль терпит бедный Ицко, — отозвался Максим.

Ицик опять застонал, да так страшно, что у Германа волосы зашевелились на голове. Селяне, положив его опекуна на постель, принялись перевязывать его раны, как умели (цирюльник, за которым послали в Дрогобыч, не скоро придет в такую непогоду!), а Максим, грея обмороженные, окровавленные руки над огнем, начал шепотом рассказывать Герману, какое несчастье постигло Ицка.

— Ну, видишь, голубчик, — начал Максим, качая головой, — как беда может повстречаться человеку на гладкой дороге! Да еще какая! Спаси и защити, господь, всякого от такой беды! Вот, видишь, едем мы дорогой вдоль Герасимова берега, — ты знаешь, где он, там, за селом над рекой, берег крутой и высокий, — едем себе воз за возом, а тут ветер снизу ревет так, что господи!.. Снег так и лепит в глаза, кони еле ползут, страх! И вдруг кум Стефан, что ехал впереди, кричит: «Гей!» Мы все: «Что такое?» А Стефан отвечает: «Слушайте! Тут что-то страшное, какое-то несчастье!» Слушаем — и верно! Внизу, у берега, кто-то стонет, да так страшно, жалобно, что у нас кровь застыла в жилах. «Э-ге, — говорит Панько, — может, — дух святой с нами, — какая-нибудь нечисть тянет нас в западню?..» — «Что вы, кум, — отвечает Стефан, — тут, как видно, какой-то человек шел или ехал, не уберется, да и упал с кручи. Идемте, панове, надо спасти живую душу». Панько говорит: «Да я боюсь! Меня страх пробирает!» А стоны еще и еще снизу доносятся, словно грешная душа в пекле пить просит. Мы все сошлись в кучу: что тут делать?.. «Идем, — говорит Стефан, — а кума Панька оставим около коней». Пошли мы. Ну, а знаешь, какой крюк надо обойти, чтобы попасть на самый берег реки. Пока мы

туда добрались, с полчаса, может, прошло. Ветер прямо землю рвет из-под ног, прямо лед на реке трещит, а снегом бьет в глаза, как лопатой. Господи, вьюга такая, хоть сейчас пропадай! Темно, страшно... мы взялись за руки и идем ощупью туда, откуда стоны слышны. Смотрим — лежит что-то черное на льду и не шевелится. Мы подошли — конь среди обломков саней. Должно быть, кто-то с дороги сбился и полетел кувырком с обрыва. Ощупали коня — издох. Идем дальше, а твой бедный Ицко лежит на льду и уже еле-еле стонет! Господи твоя воля! Такое несчастье с человеком!

Максим, рассказывая, грел озябшие руки над огнем и попыхивал трубкой. Герман не плакал, только дрожал и посматривал искоса на постель. Его пугало это искалеченное, окровавленное, стонущее тело, которое было когда-то его опекуном. Он просил Стефана и Максима остаться с ним на ночь около больного, но хозяева обещали прийти, когда отведут лошадей домой. Ицик лежал без сознания, говорить не мог и, казалось, не узнавал никого. Герман один только раз украдкой посмотрел на него. Голова была перевязана платками, сквозь которые проступили огромные пятна крови. На бороде и волосах запеклась кровь, бекеша и рубашка в крови, губы посинели, глаза безжизненные, выражение лица страшное!

Уже под утро, когда буря немного утихла, приехал цирюльник из Дрогобыча и начал кричать и бранить селян за то, что они сами взялись за перевязку ран, не умея этого делать.

— Так ведь, пан, — ответил Стефан, — иначе человек уже пропал бы. Как-никак, а кровь мы остановили.

— Молчи, старый мешок! — крикнул сердито цирюльник. — Ты откуда знаешь, что пропал бы? Откуда ты можешь знать?..

Стефан, хотя и был довольно остер на язык, промолчал, а цирюльник начал осматривать раны и, несомненно, должен был признать в душе, что перевязка вовсе не так плоха, как он думал. При помощи селян, которые начали суетиться, словно речь шла о спасении их любимейшего родственника, раны были промыты, и только тогда удалось разглядеть, что именно покалечено у Ицка. Навер-

ное, падая с высокой кручи, он упал прежде всего левым боком (и то верхней половиной тела) на острый, торчащий камень, потому что левая рука была сломана ниже локтя и, кроме того, на самом плече была глубокая рана. Потом тело перевалилось направо, причем Ицик о другой камень страшно покалечил себе голову. Цирюльник увидел, что дело плохо, и когда люди, особенно женщины, которых набилась полная хата, спросили его, выздоровеет ли Ицик, он пожал плечами и сказал, что было бы большим чудом, если бы он дожил до завтра.

Цирюльник сказал правду: Ицик умер еще в тот же день, не приходя ни на минуту в сознание. Герман не плакал на его похоронах, — он все еще весь дрожал от страха после той ночи, страх вытеснял все остальные чувства. Он ночевал у губицкого корчмаря, который сразу взял опеку над имуществом Ицка, якобы, чтобы сберечь его для Германа. Герман пробыл у него до весны, не зная, что происходит с этим имуществом. А когда сельское общество вспомнило об этом деле, корчмарь показал какие-то счета, какие-то расписки Ицка, — хата и огород Ицка были проданы, и после уплаты долгов осталось для Германа девяносто два гульдена, которые корчмарь выдал ему на руки. Герман с этой суммой вышел из Губичей, пошел по свету искать счастья, и эта сумма была первым фундаментом его миллионов.

Так окончилась для Германа спокойная сельская жизнь. Теперь, сидя за конторкой перед расчетной книгой в Бориславе, он, практичный, деловой человек, не много значения придавал следам, которые оставила в его душе эта жизнь. Он даже старался смотреть на нее презрительно, свысока, мысленно подбирал насмешливые слова, чтобы ее характеризовать, но, помимо его воли, мысль снова и снова возвращалась к этим светлым дням, и, неизвестно почему, у него всегда становилось легче на сердце, когда он вспоминал губицкую жизнь. Он не тосковал о ней, не хотел, чтобы она вернулась, но чувствовал в то же время, что теперешняя жизнь среди достатка и роскоши вовсе не лучше той, если не хуже. Он сам не знал, почему каждый раз при воспоминании об Ицке и Губичах у него радостно становится на душе, как у человека, который, блуждая в густом лесу по

кривым тропинкам, выйдет вдруг на небольшую полянку, залитую ярким солнечным светом, теплом и запахами цветов. Он начал думать о своей дальнейшей жизни под этим впечатлением, и ему казалось, что он снова углубляется в темный лес, в котором ему суждено бродить безвыходно, а до каких пор, ради какой цели — кто его знает! Ему становилось все тяжелее, теснее, как-то душно и страшно. Несмотря на солнечное тепло, озноб пробежал у него по спине.

Он отправился в Дрогобыч, сам не зная зачем. У него не было четких мыслей о заработке, для которого к тому же у него не было ни умения, ни охоты. Несколько дней он жил кое-как на полученные деньги, но когда увидел, что деньги уходят, и подумал о том, что останется с пустыми руками, голый и голодный, очень испугался и твердо решил — лучше погибнуть, но этих денег больше не тратить. Разумеется, из такого решения ничего бы не вышло, если бы не счастливый случай, который натолкнул его на кое-какой заработок. В шинке, где он ночевал, собрались однажды вечером какие-то черные, страшные люди, от которых сильно пахло. Герман сначала боялся их, но, услышав, что они говорят между собою по-еврейски, подошел ближе и стал слушать. Это была молодежь, парни лет по восемнадцати — двадцати, которые завтра собирались в Борислав «лыбать» нефть. Герман долго слушал их разговоры об этом «лыбанье», но не знал, что это такое. Он спросил одного из них, и тот ответил ему, опрокидывая залпом стакан пива:

— Ну, а что? Разве ты не знаешь, что в Бориславе везде на воде и на болотах выступает черная нефть, такая, какой мужики возы мажут. Ну, так берут конский хвост, им водят поверх воды, эта нефть набирается на волос, а с него рукой ее сгоняют в ведро. Это и называется «лыбать».

— Ну, а куда же девать эту нефть? — спросил заинтересованный Герман.

— Носить сюда, в Дрогобыч, тут есть такие, что покупают.

— И хорошо платят?

— Почему нет! За ведро пять шисток... Ну, а если

постараться, так в день два ведра наберешь. Только вот носить — беда!..

Герман начал размышлять над тем, что услышал. Что же, заработок и правда неплохой. Работа хоть неприятная, зато легкая. А оплачивается хорошо. Почему бы и ему не взяться за нее? Он решил завтра же идти с лыбаками в Борислав, и, когда сказал им об этом, они обрадовались, но потребовали магарыч. Герман на радостях угостил их пивом, чтобы «обмыть» свое новое положение.

С этих пор началась для него новая жизнь, совсем другая, чем в Губичах. Она делилась между двумя городами — Бориславом и Дрогобычем. Дорога была неблизкая — лыбаки должны были каждый день отшагать туда и обратно: вечером с полными ведрами нефти на коромыслах в Дрогобыч, а утром — с пустыми назад, в Борислав. Первый день новой работы особенно глубоко врезался Герману в память. Он еще теперь живо вспоминает то холодное майское утро, когда он вместе с пятью другими лыбаками шел тропинкой через поля в Борислав. Они шли вёрхом через Тептюж, оставляя Губичи в стороне. Солнце взошло над Дрогобычем и облило кровавым светом ратушу, костел и церковь Святой троицы. Поближе вилась, блестя, как золотая змея, Тисменница и журчала вдали по камням. Дубы в Тептюже еще только начинали распускаться, зато внизу орешник уже шевелил своей широкой темнозеленой листвой. Они идут быстро, не разговаривают, конский хвост у каждого через плечо — кто молитву мурлычет, а кто напевает что-то про себя. У каждого на боку мешок с хлебом и луком — его пища на весь день. Вот они миновали Тептюж, перед ними поле зеленое, свежее, дальше — луг, украшенный цветами, опять холмик, по которому змейкой вьется тропинка, а вот и бориславская котловина. Не доходя до самого села, они разбрелись по лугам, по болотцам, — каждый выбрал себе место, и работа началась.

Бориславская котловина выглядела тогда еще совсем не так, как теперь. Бедное, подгорянское, обыкновенное село раскинулось группами домов у подножья Дила над ручьем. По склонам холмов от Бани и Тустановичей шли селянские поля, а ниже — луга и болота.

И при всем этом земля была какая-то необычная. Какой-то странный запах исходил от нее, особенно в теплые вечера. Весною, когда снег растает и глина размягчится, слышно было ясно какое-то движение в земле, словно какие-то вздохи, словно кровь пульсировала в глубоких невидимых жилах. В народе ходили слухи, что на том месте, где стоит Борислав, велись в далекие времена великие братоубийственные войны, что тут похоронено много людей, погибших невинно, и что трупы каждый год пытаются подняться из-под земли и будут пытаться до тех пор, пока не наступит их час. А тогда они проломают землю, разрушат весь Борислав и пойдут по свету воевать. Не знали бедные бориславцы, рассказывая друг другу зимними вечерами эту сказку, что она очень скоро сбудется, что страшное подземное чудовище скоро уже прорвет земную оболочку, разрушит их бедное мирное село и разорит дотла их и их детей! И еще меньше подозревали они, что чудовище это — вовсе не трупы древних воинов, а та противная, черная, вонючая жидкость, которая теперь выжигала их пастбища и которая скоро должна разойтись по всему миру очищенной нефтью на пользу и выгоду панам и торговцам, а им на горе и убыток.

Герман все еще думал о первом дне своей новой работы, и чем дальше думал, чем отчетливее вставала перед его глазами каждая подробность этого дня, тем тяжелее и тоскливее становилось ему. Это был такой же хороший, теплый, погожий день! Именно в такой день двадцать лет тому назад в первый раз окутали его удушливые нефтяные испарения и быстро погасили для него и солнце и ясный день, прогнали запахи цветов, заглушили пение птиц, обратили его в какую-то тяжелую глинистую массу, которая катится с горы, давя и пригнетая все, — одушевленная только жаждой денег, выгоды, богатства! Двадцать лет прошло с того первого дня, а удушливый запах нефти все еще не развеялся, все еще окутывает его, словно густым туманом, сдавливает его грудь, глушит и убивает добрые, человеческие порывы сердца!

— Ох, на волю, на волю из этой поганой вонючей тюрьмы! — прошептал он бессознательно, сам еще не

зная, что это за тюрьма и можно ли из нее вырваться на волю.

А воспоминания идут непрерывной чередой, рисуя перед ним картины прошедших лет, не спрашивая — радость ли остается от них в сердце, или печаль и горе. Он сразу стал хорошо зарабатывать. Из невидимых источников нефть прибывала беспрестанно и всплывала сверкающими кругами на поверхности мутной воды. Герман, лыбая целыми часами, удивлялся не раз, какая это сила гонит наверх эту желтоватую, остро пахнущую жидкость и где ее источник. Он думал о том, что если бы добрался до самого источника, то вот тогда мог бы разбогатеть. Но его товарищи говорили частенько, что это только так — земля «потеет», что никакого источника Герман не найдет, потому что его вовсе и нет, а что касается богатства, то долгонько еще придется ждать. Герман не любил насмешек и перестал говорить, а потом и думать об источниках нефти.

Тем временем, даже не добираясь до источников, он умел извлекать выгоду и из того, что было под рукой. Недолго таскал он нефть на коромысле в Дрогобыч и скоро увидел, что это — неприятное занятие. Но у него были деньги, — зачем ему мучиться, когда можно и себе облегчить работу и от других еще поживиться. И он, сговорившись с другими лыбаками, купил на свои деньги лошадь и телегу, чтобы возить нефть в Дрогобыч. Это принесло ему тройную пользу. Во-первых, ему не нужно было ежедневно таскать ведра в Дрогобыч на продажу, он мог возить их, да и то через день, — благодаря этому он и времени тратил меньше и мог больше собрать, да к тому же и другие лыбаки давали ему для перевозки и продажи свою нефть и за каждые пять ведер своей нефти отдавали ему шестое для него. Лошадь тоже стояла не много, потому что за ведро смазки, которой самим некогда было собрать, селяне давали Герману сена и впридачу позволяли ему поставить лошадь с телегой в свободное время под свой навес.

Так продолжалось несколько лет, и за это время капитал Германа не только не был истрачен, а при его ловкости и хитрости почти утроился. Он в это время жил очень бедно и бережливо: не пил ничего, кроме воды, ел мало

и плохо, а поэтому и силы его в нездоровом воздухе, среди болот, начали падать. Но Герман не обращал на это внимания. Жажда денег все сильнее овладевала им, все чаще он думал о том, каким бы способом здесь разбогатеть. Зимой он жил в Дрогобыче — обычно у того человека, который летом покупал у него нефть. Это был еще не старый, худой, неприглядный еврей. Он торговал колесной мазью, веревками, скобяным товаром и всякой всячиной, нужной селянам. Герман, находясь у него зимой, не раз помогал ему торговать, причем ему очень пригодился его прежний опыт тряпичника. Еврей обычно назначал цену на всякий товар, давая его Герману для распродажи, а что Герману удавалось взять сверх назначенной цены — оставалось ему. Разумеется, Герман был не из тех людей, которые из-за какой-то там честности готовы сами себе причинить убыток. Он обманывал покупателей и сдирал с них, сколько мог, а когда порой какой-либо селянин начинал ругаться и проклинать его, он, смеясь, выставлял его за дверь. Таким образом Герман копил деньги. Про эти деньги не знал никто, и все считали его простым приказчиком. У своего хозяина он выполнял зимою различную работу и немало натерпелся от его жены и от других евреев всяких обид, а то и побоев. Но он покорялся им, скрывая свою злость.

Само собой разумеется, такая жизнь ему опротивела, и он ждал весны, как спасения души. Весной открывался перед ним широкий свет, а жизнь в Бориславе, хоть и нищенская и невыгодная, все-таки шла как-то быстрее и веселее среди смеха и шуток других лыбаков. Но не этого хотел Герман. Он узнал цену денег в нужде, узнал, что без них живет плохо, что они одни могут избавить его от той бедности, грязи и унижений, которые так часто ему приходится переносить. Постепенно в его душе разгоралась страшная лихорадка, слепая жажда денег, она заглушала все остальные чувства, заставляла его не видеть никаких преград и манила его к одной только цели — богатству. Он с тревогой хранил свои деньги, сбереженные ценой лишений из Ицкова наследства и лыбацких заработков, пересчитывал их каждую неделю, прятал, как свою заветнейшую надежду, и не прогово-

рился о них ни одному из товарищей, опасаясь, как бы они не заставили его как-нибудь растратить их. Но он знал, что деньги лежат не растут, и потому внимательно осматривался, ловил всякие слухи, расспрашивал незаметно про выгодные «гешефты». Гешефт вскоре подвернулся. Правительство начало строить в Дрогобыче воинский склад и искало подрядчиков на поставки различных строительных материалов. Времена были бедные, подрядчиков находилось немного, а правительство, стремясь ускорить дело, назначило легкие и выгодные условия. Этого только и надо было Герману. Он подрядился поставлять лес и известь, но его собственных денег на это далеко не хватало. Он вертелся, мучился, бросался из стороны в сторону, но напрасно. Посторонней помощи ждать было неоткуда, и Герман был недалек от того, чтобы потерять все дочиста и идти снова лыбать нефть в Бориславе. Неожиданный, хотя и не совсем для него счастливый случай спас его на этот раз.

Еврей, у которого Герман жил несколько лет, узнав, что его слуга, простой лыбак, взялся поставлять правительству строительные материалы, сначала ушам своим не поверил, потом рассмеялся, а в конце концов, видя, что Герман не шутя берется за дело, — и задатку несколько сот гульденов внес, и лес и известьку возит, — рассердился очень на него, почему не сказал ему раньше, почему не взял его в долю; а когда Герман под конец начал просить у него несколько сот гульденов взаймы, гнев его дошел до того, что он не только не дал денег, но еще, выругав молодого спекулянта, выгнал его из своего дома.

— Марш, убирайся! — кричал еврей, рассвирепев. — Кто знает, откуда ты взял деньги? Может, они краденые, и мне еще беда будет! Вон, чтоб мои глаза тебя не видели!

Герман забрал свои пожитки и ушел. Его не так расстроили обида и гадкое подозрение, как зависть и отказ в ссуде. Что делать? Тут начальство торопит, чтобы быстро доставлять все, а тут не на что ни материалы дальше закупать, ни даже за подводы заплатить. Правда, материалы и перевозка были тогда в окрестностях Дрогобыча впятеро дешевле по сравнению с теперешним, но у Германа не было почти никаких денег.

Он крепко задумался. Если в срок не поставит всего, пропадет задаток, а тут и надежды нет на какую-либо помощь.

Уже вечерело. Надвигалась ненастная, холодная ночь. Герман шел, не думая ни о чем, кроме своего «гешефта», не обращая внимания ни на позднее время, ни на погоду. В руке он нес небольшой сверток. Мысли его, как испуганные воробьи в западне, метались в разные стороны, ища выхода. Холодный пот выступал у него на лице, когда мелькала в голове мысль, что «придется на все махнуть рукой, да и...» Махнуть рукой на то, на чем он долгие годы строил все свои надежды на будущее! Нет, этого не будет! Он должен найти способ, должен что-нибудь придумать! Понемногу стемнело, холодный дождь начал брызгать в лицо Германа. Мелкие, колючие, холодные капли упали так неожиданно на его разгоряченное лицо, что он на мгновение остановился и оглянулся вокруг, словно разбуженный от сна, припоминая, где это он и что с ним творится. Только теперь он вспомнил, что его выгнали из дому, что нужно искать где-нибудь ночлега.

«Нужно идти спать в шинок», — подумал он и стал оглядываться — в каком это он предместье?

— О, да ведь это Лан! — проворчал он про себя. — Куда это я зашел от самого Зварицкого предместья? Тьфу!

И он резко повернулся, чтобы возвратиться на Зварицкое и пойти там на ночь в знакомый шинок, в котором обычно собирались лыбаки. Поворачиваясь стремительно в конце улицы, он в сумерках зацепил локтем какого-то человека и чуть не столкнул его в глубокий ров у дороги.

— A Riech'an daanen Tat'n aran!* — крикнул ему звонкий девичий голос, и две мягкие руки обхватили его руку так неожиданно, что он задрожал всем телом и чуть сам не потерял равновесия.

— Nü wus is?* — спросил он, оборачиваясь в ту сторону, откуда угрожала опасность. Несмотря на неласко-

* Черт бы побрал твоего отца! (еврейск.)

** Ну, что такое? (еврейск.)

вые слова, с которыми обратилась к нему незнакомка, в голосе его не было ни гнева, ни раздражения. Прикосновение мягких рук произвело на него какое-то странное впечатление; он сам не знал, что это такое, и начал сквозь сумерки присматриваться к незнакомке.

Это была девушка еврейка лет двадцати, круглолицая, черноглазая, хоть и не особенно красивая. Подобных лиц Герман каждый день видел десятки на улицах, но тогда, вечерней порою, под влиянием мягкого прикосновения ее рук ему показалось, что это лицо чем-то привлекательнее других, глаза живее, голос приятнее; одним словом — он остановился как зачарованный и с глупым видом смотрел на незнакомую девушку. Даже теперь, вспомнив эту встречу и всю сцену на улице, Герман сплюнул от досады.

— Вот не знало горе, где меня поймать, так догнало, на гладкой дороге! — проворчал он, морща лоб. — Дураком я был, да и только!

Но тогда, во время первой встречи с Ривкой, Герман был очень далек от подобных неделикатных мыслей и возгласов. Впрочем, в первую минуту он вообще не мог собраться с мыслями, пока у него над ухом не прозвучал звонкий смех девушки. Смех этот протрезвил его.

— Ну, чего стоишь, глаза вытаращив? — проговорила она. — Смотри, дождь будет, беги!

Она хотела отойти, — Герман невольно, машинально схватил ее за рукав, ухмыляясь. Она бросила на него какой-то странный, полусердитый, полувызывающий взгляд. Герман осмелел, начал разговаривать, идя рядом с нею. Так завязалось их первое знакомство.

Ривка, как и Герман, была сирота. Ее родители тоже умерли в холеру, она осталась маленьким ребенком на попечении старой тетки, у которой жила и теперь. Эта тетка, бездетная вдова арендатора из Залесья, удочерила ее, обещая при выходе замуж дать ей пятьсот гульденов приданого и одежду. Ривка рассказала все это Герману в первый же вечер, пока дошли до ее дома. Герман, проводив ее до самых дверей, пошел, задумавшись, ночевать в шинок. «Счастливым случаем. — думал он, — если бы только удалось! Возьму женюсь на Ривке, а ее приданое может меня хоть как-то выручить!» Эта мысль

крепко засела у него в голове, и он твердо решил осуществить ее. К тому же и времени нельзя было тратить, — дело спешное, и Герман хотел как можно скорее добиться своего. На другой же вечер он подкараулил Ривку, когда она шла в город, и рассказал ей свой план. Она сначала засмушалась и угостила его своим обычным: «А Riech'an daanen Tat'n agan!», но, когда Герман рассказал ей обстоятельно про себя и свои заработки, стала немного милостивей, время от времени исподлобья поглядывала на него и, наконец, велела поговорить с теткой. Дело уладилось, хоть и не без обычных торгов и препирательств, а через две недели Ривка уже была женою Германа, и его «гешефт», подкрепленный Ривкиными деньгами, пошел живо вверх, принося Герману значительную выгоду. Женившись, Герман еще горячее ощутил жажду денег, он знал, что скоро на его шее будет содержание выросшей семьи, прокорм нескольких голодных и нетрудоспособных ртов. А ему так не хотелось впасть снова в прежнюю нужду, и к тому же еще с семьею. Холодная дрожь пробегала по его телу, когда он представлял себе нечто подобное, — и он вкладывал все свои силы в «гешефт», обирал всех и каждого, вертелся, изворачивался, обманывал правительство на качестве дерева, на весе известки, на всем, подкупал лесничих и половину бревен брал даром в помещичьих лесах, одним словом, поспевал всюду и драл лыко, где только чуточку отстанет. Такая работа, мелкая, утомительная, грязная, среди вечных ссор, проклятий, криков и унижений, пришлось как раз по вкусу Герману. Она отнимала все его силы, все мысли, не давала ему ни на чем остановиться, заглушала всякий внутренний человеческий голос, кроме неутомной, ненасытной жажды выгоды. Ривка и ее тетка (Герман жил в их домике) удивлялись его неутомимым хлопотам и радовались его смекалке и уму, когда тот вечером в субботу рассказывал им про свои штуки и махинации. Все трое жили по-прежнему крайне бережливо. Ривка и ее тетка занимались кое-какой работой, которая их подкармливала, да и Герману тоже нужно было немного. Таким образом, деньги накапливались, и вскоре Герман мог уже изъять из оборота приданое жены как чистую прибыль. Когда

строительству не требовалось больше ни дерева, ни извести, Герман взялся за поставку теса, жердей и других необходимых материалов и умел на всем получить прибыль благодаря своей ловкости и зачастую бесовскому обжуливанию «гоев» — ломовых извозчиков и лесничих. Строительство депо длилось целых четыре года, и за это время капитал Германа успел вырасти до значительной цифры в десять тысяч. Другой на месте Германа захлопал бы в ладоши от радости, что ему удалось так хорошо заработать, и, помня старую поговорку «не все коту масленица», спрятал бы денежки в надежное место, да и начал бы жить кое-как на проценты. Но Герман был не из таковских. Борьба из-за крейцера, из-за гульдена, а то и сотни гульденов, борьба тяжелая, упорная и беспрестанная разгорячила его. Он искал нового поля, на котором мог бы сейчас вступить в бой с новыми противниками. Такое поле уже существовало, и существовало не где-нибудь, а в Бориславе.

Домс, знаменитый прусский капиталист, которому Галиция почти в каждой отрасли промышленности обязана первым толчком, проезжая через Дрогобыч, обратил внимание на странную мазь, которую евреи разносили в ведрах по рынку, продавая селянам. Убедившись, что это нефть, засоренная землей и другими минеральными примесями, он пожелал увидеть то место, где добывают эту мазь. Ему тотчас указали бориславские болотца. Селяне рассказали ему, как она выступает на поверхности воды, как выжигает траву и всякую растительность, а кое-кто заговорил даже о подземных проклятых войнах, перегнившая кровь которых всплывает наверх. Домс, практичный человек, разумеется, не придал особенного значения этим небылицам, но быстро смекнул, что нефтяные залежи должны быть неглубоко, если нефть сама выходит наружу, и что они должны быть довольно богатыми. Он поехал в Борислав, осмотрел местность и решил тотчас же сделать первую пробу. У нескольких бедняков он за бесценок скупил участки поля и, наняв бориславских же парней, начал копать узенькие колодцы. На глубине трех-четырех саженей показалась нефть. Домс торжествовал. Он бросился скорее строить нефтеочистители, начал советоваться

с учеными инженерами и мастерами. А тем временем со стороны надвигалась новая туча, которая вскоре омрачила его надежды.

По округе среди людей зажиточных или стремящихся быстро разбогатеть разнеслась весть о находке Домса и о «чистом интересе», который сулит это дело. Все, а особенно евреи, лавиной хлынули в Борислав, кто с наличными деньгами, а кто и так, наудачу. Началась борьба, какой до того не знала Галиция. Скользкий, пронырливый еврейский элемент, как вода в половодье, проникал во все закоулки, во все щели, кишел, как тысячи червей, пролезал повсюду, где его и не ждали. Близкое знакомство с простыми людьми, умение эксплуатировать их, обманывать в мелочах на каждом шагу давали евреям большой перевес над немецкими капиталистами и людьми разных специальностей. Домс не мог выдержать их конкуренции и хотя продолжал оставаться в Бориславе, однако дело не приносило ему той выгоды, на которую он надеялся. Только евреи со своим «хищническим хозяйствованием» могли удержаться. Они не останавливались ни перед чем, лишь бы добыть нефть. Шахты копались узкие, огораживались хворостом, вентиляция с самого начала устраивалась мизерная, никакие правила безопасности и охраны здоровья не соблюдались, — тысячи и тысячи рабочих гибли ради ничтожного заработка, а евреи сколачивали тысячи и миллионы. Они и друг другу не спускали. Где один добыл нефть, там другой начинал копать рядом, залезал глубже, подкапывался под первого. Правительство не могло ничего поделать, потому что долгое время в Бориславе не было почти никакого правительственного контроля, почти никакого надзора за общественной безопасностью. Всякого рода нарушения, а порой и страшные темные делишки были обычным явлением. Село Борислав постепенно исчезало в этом неразличимом хаосе, как пена на воде. Древние побежденные «воины» встали из могил и, вставая, разрушили село, которое выросло над ними.

Герман Гольдкремер был одним из первых спекулянтов, которые слетелись к Бориславу, как хищное воронье на падаль. Вскоре у него было уже три шахты с «матками», то есть с головными нефтяными жилами.

Герман внезапно стал богачом. До сих пор он лишь боролся — теперь прочно стал на ноги. Капитал сам плыл ему в руки. Но еще долгое время его не оставляла та лихорадка, с которой он взялся за первую спекуляцию. Долго еще он носился по Бориславу целыми днями, заглядывал то в одну, то в другую шахту, ссорился, кричал, толкал рабочих, — одним словом, как говорили нефтяники, «торопился, словно завтра его уже потащат на кладбище». Сначала он, казалось, сам не верил своему счастью, боялся, что вот-вот оно растает, развеется, как дым. По вечерам он не раз заглядывал в темные, узкие жерла шахт, и дрожь пробегала по его телу. Он вспоминал свое житье во время «лыбацтва», вспоминал рассказы селян о человеческой крови в земле, о мерзких «псглавцах», которые лежат живьем в могилах и ждут, пока кто-нибудь выпустит их на свет. Ему становилось страшно. Его суеверная фантазия рисовала ему уродливых чудовищ, ему мерещились даже во сне стоны, которые якобы доносятся из ям среди тьмы и мертвой тишины. Но такие минуты не то раздумья, не то физической усталости и успокоения были очень редкими. Лихорадочная деятельность поглощала Германа, — он был точно слепой, точно лунатик, который под действием невидимой силы идет по краю пропасти и потому только благополучно обходит ее, что не видит ничего вокруг. Точно так же не видел и Герман в своей лихорадке некоторых важных вещей, которые тем сильнее дали о себе знать потом. Прежде всего он не видел того, как складывалась за эти годы его семейная жизнь. У него родился один сын, Готлиб, но Герману некогда было следить (впрочем, ни умения, ни способности к этому у него не было), как развивается, под каким влиянием растет его сын. Он знал только то, что на четвертом году жизни маленький Готлиб начал учиться у обыкновенного (немного, впрочем, почище одетого) учителя древнееврейскому языку и священному писанию, а на шестом году пошел в «немецкую» школу в Дрогобыче. Знал также и то (учителя частенько ему говорили об этом), что у Готлиба очень тупая башка и что он плохо учится. Но подумать обстоятельнее обо всем этом он не мог, ему было некогда, и поэтому он откупался деньгами:

платил хорошо учителям, которые «подучивали» его Готлиба частным образом, посылал вино и сахар отцам базилианам, в ведении которых была школа, — и Готлиб, медленно, с горем пополам, переходил из класса в класс.

Но недолго длилось учение Готлиба. Окончив четвертый класс, он решительно объявил отцу, что дальше «мучиться в этой проклятой школе» не собирается. Отец сперва удивился, потом рассвирепел и начал угрожать, потом, увидев, что все это не помогает, внял желанию сына и отдал его в склад учиться торговому делу. Там находился Готлиб и по сие время. Стычка с сыном по окончании начальной школы впервые раскрыла глаза отцу, увлеченному денежными спекуляциями. Он увидел, что его сын, при всей своей лени, при всей сонливости, почти идиот, умеет быть таким упрямым, таким настойчивым, что ему даже стало страшно. Долго стояла перед глазами Германа маленькая, толстенная задиристая фигурка его сына, с низким лбом, щетинистыми, торчащими волосами, с толстыми, посиневшими от злости губами, с маленькими серыми глазами, в которых горели такое тупое упрямство, такая злоба и ярость, каких он раньше никогда не видал у ребенка. Со сжатыми кулаками, со страшным визгом Готлиб бросался на него — да, бросался, лез на него, сам не свой. Припадок ярости у него почти походил на припадок эпилепсии.

Но спекулятивная лихорадка Германа тогда еще не прошла. Готлиб успокоился, поставив на своем, хотя с лица его — Герман увидел это только теперь — никогда не сходило выражение тупого упрямства кретина, которое по временам переходило внезапно в бессмысленную идиотскую веселость. Второе, что Герман удосужился теперь рассмотреть в своем сыне, была жажда денег, вернее жажда разбрасывать их. Он покупал различные игрушки и тут же портил их и ломал, учебники он за год изводил десятками, одежда просто горела на нем, — одним словом, Готлиб постепенно превращался в какого-то кобольда³, в какого-то духа-мучителя, которому все мешает, все преграждает дорогу и который старается смести и уничтожить все, что ему попадет в руки. Стены в его комнате были все в дырках, высверленных ножи-

ками, и часто в этих дырах еще торчали сломанные острия ножей. Для слуг и служанок он был чистым мученьем: он никогда не давал им спокойно пройти мимо, чтобы не хлопнуть палкой; не ударить камнем, не обдать грязью. Герман, который очень редко бывал дома и которого Готлиб вначале немного боялся, не знал или мало знал обо всем этом; и только сцена, описанная выше, открыла ему глаза. Но и тогда он особенно над этим не задумывался. «Что ж, ребенок, — подумал он, — известное дело, живой, впечатлительный». Он успокоился, отдав его в склад к своему знакомому торговцу шелком Менкесу. Но не долго длился его покой. Сын и тут не перестал быть тем, чем сделали его наполовину природа, наполовину воспитание матери, и очень часто Герману приходилось выслушивать жалобы приказчиков, а то и самого принципала на Готлиба, очень часто приходилось ему выплачивать значительные суммы за ущерб, который наносил его сын в разных местах.

Но вот постепенно, с ростом состояния, стала потухать спекулятивная лихорадка в крови Германа. Он теперь уже стал первым богачом среди всех бориславских капиталистов. У него было несколько сот собственных ям, десятка полтора нефтеочистителей, на него работало несколько тысяч рабочих, работало под надзором неумолимых бездельников евреев, которым Герман платил по сорок — шестьдесят крейцеров в день только за то, чтобы они заставляли рабочих работать с утра до ночи. За пятнадцать лет, с начала бориславской спекуляции, Герман скупил бориславские земли и еще несколько дворянских усадеб в окрестностях и стал уже помещиком. Но наряду с такой счастливой полосой, когда все это осуществилось, наступил в жизни Германа новый, сначала мало заметный, но все-таки важный поворот. Его глаза, до сих пор ослепленные только одною страстью, занятые только поисками одного — богатства, теперь, найдя его, начали оглядываться вокруг, начали внимательнее рассматривать всю обстановку, в которой протекала жизнь Германа. Этот, так сказать, критический поворот не произошел сразу, не был до сих пор слишком сильным, но все-таки многие впечатления, которых прежде Герман не воспринимал, теперь бро-

сались ему в глаза, привлекали его внимание, смущали понемногу покой и, падая медленно, незаметно, час за часом, как капли холодной воды на разогретое тело, глубоко поражали его, раздражали и переделывали весь его характер, все мировоззрение.

Кроме странной природы сына, которая первой привлекла его внимание, он вскоре заметил, что и его жена в своем роде не менее любопытное и грустное явление, и если темперамент сына нельзя было назвать иначе, как болезненным, то и она была развита не вполне нормально. Женившись на ней, Герман сразу окунулся в свои дела, потонул в них с головой и не видел, как живая, разговорчивая и довольно-таки приветливая девушка, на которой он женился, перерождалась, превращалась постепенно в совершенно другую, не похожую на первую. Она была совсем необразованна, и, пока еще необеспеченное положение Германа вселяло ей страх перед будущим и заставляло ее кое-как работать, она была похожа на человека. Но вскоре имущественное положение Германа улучшилось, ему незачем было думать о хлебе насущном; сам не зная, как и когда, он стал жить удобнее, в порядочном, хорошо обставленном доме, стал держать слуг, лошадей, потом приобрел в Дрогобыче несколько собственных каменных домов — и тут жизнь его жены пошла совсем иначе. Всякие занятия, всякую работу она бросила, стала есть вкусно и много, словно стремясь вознаградить себя за прежнее недоедание. Наряды занимали ее одно время, и она тратила на них немало денег. Но чем она становилась старше, тем делалась толще и ленивее. Целыми днями сидит она, бывало, в мягком, удобном кресле под окном и смотрит на рынок. Лицо у нее стало полное и одутловатое, глаза, когда-то черные, блестящие и привлекательные, теперь потеряли блеск и стали словно оловянными, голос сел, огрубел, а движения стали тяжелыми и неповоротливыми. Живой человеческий облик на глазах тонул в избытке мяса и жира. Госпожа Гольдкремер на каждого, кто ее видел, производила неприятное, даже отталкивающее впечатление.

Безграничная лень, физическая и духовная, породила и в ней упрямство, свойственное идиотам, которым

лень подумать о чем-нибудь, значит лень и решиться на какую-нибудь перемену, на какой-нибудь живой шаг. Она так боялась всякого движения, всякой перемены вокруг себя! Она и сыну своему передала эту идиотическую лень и тупость, только у Готлиба к этому прибавилась еще отцовская лихорадочность, проявлявшаяся в редких взрывах ярости и в вечной ненасытной жажде уничтожения, разрушения без всякой мысли и цели. Правда, школа, товарищи, в среду которых все же должен был войти Готлиб, обтесали немного его дикий характер, но не изменили его. Он проявлялся теперь реже, чем раньше, но все-таки проявлялся, как только что-нибудь извне давало для этого достаточно сильный толчок.

Герман не скоро пригляделся пристально ко всему этому. Сначала он не обращал на это достаточного внимания. Но постоянная неподвижность, праздность и умрямство жены раздражали его, лихорадочного, неугомонного дельца. Он часто затевал с нею ссоры, но напрасно. Она иной раз и отвечать ему не хотела или же отвечала на его слова полудобродушным, полуидиотским смехом. Герман свирепел и убегал из дому. Подобные сцены за последнее время происходили все чаще. Герману становилось дома все более противно, он чувствовал себя, как в сарае резника, пропитанном запахом свежей крови. Какая-то сила гнала его из дома, он сам не знал, куда ему деваться. На его счастье, он еще не вполне ясно видел, что это за люди, с которыми ему надо жить, что это за натуры — его жена и сын! Счастье его, что он не знал, почему они такие странные, капризные, упрямые, что он считал их здоровыми людьми! Если бы он знал, какая большая доля помешательства, психического недуга в их крови, он, наверное, не мог бы и одной ночи переночевать с ними под общей крышей! Правда, жизнь и природа — очень последовательны, они вскоре открыли ему эту сторону дела, но все-таки более пристальное внимание могло бы смягчить поворот, а то и вовсе перевести его на спокойный путь врачебного, психиатрического вмешательства.

И теперь, в минуты самого глубокого раздумья и воспоминаний, какие когда-либо переживал Герман, он не

задерживался долго на картинах своей семейной жизни, — настолько эта жизнь ему опротивела. Только вчера у него с женой была бурная ссора, в нее вмешался и сын, оказавшийся в это время дома. Герман теперь уже и не помнит, с чего началось, помнит только, что жена и сын так набросились на него, что он вынужден был бежать из дому. Жена ругала его, а сын угрожал, посинев от злости. Герман сплюнул от досады. «Будь проклята такая жизнь!» — прошептал он, берясь за работу. Вскоре перо закрипело по шершавой серой бумаге. Но мысль еще работала. Через минуту Герман остановился, глядя на длинные столбцы цифр, стоявших перед его глазами на бумаге.

— Для кого все это? — прошептал он. — Кто этим воспользуется? А ведь на это вся моя жизнь ушла, все мои силы!..

Но деловой, практичный человек тут же сказался в нем, и все ненужные размышления прекратились, спрятались, как малые дети при виде розги. Герман встал, прошелся по комнате, выпил стакан воды и сел за работу.

Было одиннадцать часов. Солнце припекало, и ветер через окно доносил в комнату разогретые нефтяные испарения и бесконечный шум, крики и говор рабочих. Герман все еще сидел и писал, не обращая ни на что внимания. Он умышленно хотел забить себе голову цифрами и счетами, чтобы прогнать иные, дурные мысли.

Внезапно дверь в его комнату с треском распахнулась и неожиданно, как молния, показалось широкое, разгоревшееся лицо его сына. Еще мгновение — и перед ним стоял Готлиб, запыхавшийся, покрытый пылью, со сверкающими глазами и сжатыми кулаками.

— Га, — произнес он, тяжело дыша и бессильно падая на диван.

Герман, испуганный и удивленный, вытаращил на него глаза.

— Ты зачем сюда прибежал? — спросил он через минуту.

Готлиб не отвечал. Видно было, что он пешком прошел всю дорогу от Дрогобыча, да к тому же не гуляя, а бегом. «Что такое случилось? Чего ему надо?» — думал

Герман, глядя на сына и ожидая его ответа. Ответа не было.

— Ну, в чем дело? — произнес Герман более ласково. — Зачем ты пришел?

Последний вопрос сразу встряхнул Готлиба, как электрическая искра. Он сорвался с места и, сжав кулаки, подскочил к отцу.

— Деньги давай, слышишь? Деньги! — крикнул он, хватая отца за грудь. — Денег давай, мне денег надо много, слышишь?..

Звуки с трудом вылетали из пересохшего горла Готлиба. Его руки дрожали. Герман побледнел от страха. Он не знал, что ему делать: звать ли на помощь, или уговаривать сына по-хорошему.

— Зачем тебе деньги? — спросил Герман спокойно. Он старался быть спокойным, хотя чувствовал, как к горлу у него подступает что-то, словно хочет его задушить.

— Нужно! Нужно! Не спрашивай! — кричал Готлиб, дергая его. — Давай скорее, у тебя их так много! Давай, или...

Голос Готлиба прервался. Герман взглянул на его лицо, в его глаза... Боже, что за дикость, что за страшная алчность! Ему стало жутко и противно, словно не его собственное дитя, а какая-то гадина прикасается к его телу. Изумление перешло в гнев. Он одним взмахом оттолкнул сына от себя так, что тот, шатаясь, полетел в угол, к стене.

— Что? — крикнул теперь Герман, трясаясь от ярости. — Ты откуда взялся? Кто ты такой? Разве так приходят с просьбой к отцу? А ты смеешь, негодяй, на меня поднимать руку? Не знаешь, что в писании сказано: «Отсохнет рука, которая поднимется на родителя!» Ты за деньгами? Сейчас же говори, зачем они тебе?

Готлиб как упал на диван, так и остался лежать, не говоря ни слова. Он только один раз взглянул на отца, но такими ненавидящими, злобными, упрямыми глазами, что Герман умолк и, сплюнув и пройдясь два-три раза по комнате, сел опять работать, не обращая внимания на сына.

Настал полдень. Служанка вошла и объявила, что обед готов.

— Ступай есть! — резко обратился отец к сыну. Готлиб, не говоря ни слова, встал и пошел обедать. Он ел, как обычно, много и жадно, — но это было Герману не в диковину. В диковину ему было то, что Готлиб с такой жадностью стакан за стаканом пил вино, стоявшее на столе. Герман видел, что глаза у Готлиба горят все больше, толстые, вишневого цвета губы шевелятся, хотя ни одно слово не сходит с них. Казалось, Готлиб беседует, советуется сам с собою никому не слышным голосом. Отец сперва хотел запретить ему пить так много, но потом подумал: «Пускай пьет — заснет скорее, и все пройдет». И действительно, Герману недолго пришлось ждать. Еще за обедом сон одолел Готлиба, он опрокинулся на диван и захрапел, разметав руки и ноги и широко открыв рот. Так он лежал перед Германом, неподвижный, только губы время от времени шевелились, словно таинственное совещание с самим собою не прекращалось у него и во сне.

III

Солнце перешло за полдень. Его горячие лучи сыпались искристым градом на бориславское взгорье, растекаясь по сугробам серой глины, добытой из огромных ям, раскаляя тонкие проволочные тросы, намотанные на лебедки, преломляясь и мерцая всеми цветами радуги в лужицах и ручейках, протухшая болотистая вода которых была покрыта сверху густым налетом нефти. Ясное погожее небо горело над раскаленным Бориславом и выглядело таким же серым, как вся развороченная окрестность. Ветер ни разу не шевельнул воздух, не повеял прохладой, не рассеял тяжелых густых испарений, которые, поднимаясь из ям, из глины, ручьев, грязных складов, нависли тучей над Бориславом, спирали дыхание в груди. И горы, на которых лес был вырублен, покрытые голыми, торчащими пнями или совсем выгоревшими, засыпанными галькой, каменистыми прогалинами, дополняли впечатление от этого тоскливого пейзажа. Голоса, раздававшиеся утром и сливав-

шиеся в один бесконечный шум, наполнявший все закоулки Борислава, — теперь умолкли. Какая-то сонная одурь царила вокруг. Только рабочие в своих пропитанных нефтью рубахах, сами покрытые по уши нефтью, лениво копошились около шахт, вертя рукоятки вóротов, да плотники равномерно стучали топорами по дереву, словно огромные дятлы. Каждое движение, заметное вокруг, каждый звук, который можно было услышать, — все напоминало скорее медленное, сонливое движение и грохот огромной машины, но только колесами, зубцами, винтами и гайками этой машины были живые люди из плоти и крови. Мысль, не находя ничего привлекательного ни на поверхности земли, ни над нею, невольно ныряла в эту темную, страшную глубину, где теперь, в эту самую минуту, мучаются, работают, роят тысячи людей, где кипит работа, оживает или замирает надежда, борется жизнь со смертью, борется человек с природой. Сколько тяжелых вздохов, тревожных мыслей, горячих молитв, пьяных выкриков разносится в недрах земли, но наверх не проникает ничего, кроме удушливых испарений, — все пожирает земля, бездна, тьма, как древнее божество пожирало собственных детей⁴. А солнце горит в небе, как раскаленное чугунное ядро, и, кажется, нарочно старается как можно скорее высушить всю силу, все живые соки в этих ослабевших рабочих и в этих голых, обнаженных, ощерившихся беззубыми черными пеньками горах.

Герман Гольдкремер не мог сегодня после обеда заснуть ни на минуту — так взволновали и потрясли его разнообразные впечатления нынешнего дня. Он вышел из своего дома и пошел на Новый Свет⁵, где было особенно много его самых крупных шахт. По пути он проходил мимо многих чужих разработок, но даже не оглядывался на них, старался ничего не замечать, ничем не отвлекаться, потому что чувствовал: всякие, даже самые обычные вещи странным образом тревожат его раздраженные нервы. Он был словно в лихорадке, когда всякое, хотя бы и легкое прикосновение к страдающему телу кажется больному сильным ударом. Герман сам не знал, что

с ним происходит сегодня. «Не то я не выспался, не то простудился — что это со мной такое?» — бормотал он про себя, ощущая эту странную, небывалую перемену. Ему казалось, что он на все нынче смотрит новыми глазами и что весь Борислав нынче для него — новый свет. Что это означало? Почему, например, худые, изможденные, черные лица рабочих, возившихся около шахт, сегодня так болезненно поражали его сердце, а обычно даже не привлекали его внимания? Почему их рваная, прогнившая, пропитанная нефтью одежда сегодня интересовала его гораздо больше, чем груды воска, которые они одну за другой извлекали из шахт? Откуда пришла ему в голову мысль, что человеку в яме, должно быть, невыносимо сидеть на такой глубине и в такой духоте целых шесть, а то и двенадцать часов, как это нередко случилось в его шахтах? Что за невидимая сила поставила перед ним вопрос: какова же должна быть жизнь этих людей дома, если они соглашаются идти сюда ради такого ничтожного заработка и так страшно бедствовать? «Ничтожный заработок», «Страшно бедствовать!» Да, именно эти фразы, над которыми он не раз так едко издевался, в истинность которых никогда не хотел верить, пробились теперь через самые тайные глубины его души, как черные тучи, предвестники бури. Что случилось с Германом? Каким чудом дошел он до подобных размышлений, он, твердый, практичный, расчетливый *Geschäftsmann**, он, у которого хватало жестокости за малейшее опоздание, малейшую нерадивость, даже за малейшее грубое слово урывать у своих рабочих часть заработка? Каким образом он сам теперь дошел до таких мыслей? Разве он не знает, что все это глупости, *dummes Zeug, woran ein Geschäftsmann nie denken darf*** , как он сам обычно говорил другим.

О, Герман знает все это очень хорошо и помнит очень хорошо свою собственную науку, но что поделаешь — значит, была какая-то скверная минута, если подобные мысли ударили ему в голову. Он старается насильно

* Делец (немцк.)

** Ерунда, о которой деловому человеку нечего и думать (немцк.)

прогнать их. Медленно идя по дорожке между колодцами, проходя мимо рабочих и евреев, которые с почтением кланяются «такому большому пану из наших», он хочет заставить себя заняться расчетами, деловыми комбинациями. Вот за последние недели шахты принесли ему на двадцать тысяч меньше дохода, чем обычно, — в его кассе начинает чувствоваться недобор, — рабочие обходятся дорого, потому что начался сенокос, а тут истекает контракт с различными фирмами. Правда, если как следует приналечь, можно еще наверстать упущенное, нужно только нанять побольше рабочих и пустить две шахты, которые он недавно вынужден был закрыть из-за нехватки рабочих рук. Но ведь что ж — и это риск. А что, если в шахтах покажется вода, а это легко может случиться, и так уже кое-где просачивается вода в штольнях. Тогда пропал весь труд, и понадобится много времени, чтобы вычерпать воду. На нефть нечего и надеяться, потому что источники ее уже почти исчерпаны, да к тому же она и не окупает себя, не выдерживает конкуренции с зарубежной. Беда! Вот если бы теперь наткнуться на порядочную жилу воска, это бы сразу помогло! Но тут Герман остановился. Его уже около недели преследовала мысль, что счастье начинает отворачиваться от него, а теперь он опять просит счастья — жилу воска! Напрасная просьба! Жилы он не найдет, убыток будет расти, вода зальет шахты, контракт пропадет, все, что он на протяжении долгих лет с такими мученьями, напряжением, трудом и лихорадочной собран и сложил воедино, — все пропадет, растечется, развеется, как пыль по ветру, потому что счастье отвернулось от него! Да, оно отвернулось, он в этом вполне убежден. Он знает по опыту, что пока счастье благоприятствует человеку, до тех пор тело его крепко, как железо, нервы тверды, как сталь, мысли ясны и уверенны, до тех пор человек весь похож на блестящую острую стрелу, выпущенную из лука и со свистом летящую прямо в цель. Герман был раньше — еще недавно — такою стрелой! Но теперь он уже не тот! Теперь он раздражен, измучен, изломан, теперь тоска точит его сердце, ослабляет его силу, путает его мысли, теперь счастье покинуло его, отвернулось от него!

Такие невеселые мысли носились в голове Германа. Они не заметил, как очутился около своей первой шахты. Сарай из досок и подпорок расположился над колодцем, как серый цыганский шатер, — внутри было грязно и душно, хотя сарай не запирался никогда; всякого, кто входил снаружи, ослепляла темнота; лишь спустя некоторое время можно было привыкнуть к ней и разглядеть толком все, что находилось внутри. Герман вошел.

Рабочие только что пообедали и принимались за работу. Их было четверо, всё молодые ребята. Один давно уже стоял около насоса и накачивал свежий воздух в шахту. Пока это не сделано, лезть в глубину нельзя. Другие два обряжали третьего, который должен был спуститься вниз. Они продели ему шлею подмышки и затем прицепили шлею к проволочному канату. Парень, обряженный таким образом, стоял над колодцем, не говоря ни слова.

— Что, можно уже спускать? — сказал один из тех, что опоясывали его. — Ну-ка, Микола, подай ему кирку и фонарь! Живей, голубчик!

— Ну, ну, нечего торопиться, время есть до вечера! — ответил тот, что стоял у насоса. При этих именно словах Герман вошел в сарай.

— Так, так, время есть! Прохлаждайтесь подольше! — крикнул он сердито. — Уже второй час, а ты еще наверху?

Рабочие не испугались, не прервали своей работы при появлении Германа, никто из них даже не взглянул на него. Микола равнодушно укладывал кирку и мотыгу в железную бадью, прикрепленную к концу каната, Семен продолжал нагнетать воздух, раскачиваясь при этом в обе стороны, как пьяный, а Степан привязал шнурок к пружине, на которой торчал звонок, потом зажег фонарь и дал его Григорию.

— Почему медленно работаете? — опять крикнул Герман, которого больше всего бесило это равнодушие, это деревянное спокойствие рабочих.

— Работаем, как можем! — ответил Семен. — Не спускать же его без оглядки! Сами знаете, восемьдесят сажень — это не шутка!

— Ну, Гриня, бери фонарь и ступай в добрый час,— сказал Степан.

Григорий взял фонарь и ступил одной ногой в бадью, а рукой взялся за канат. Степан и Микола взялись за рукоятку вóрота. Он медленно замахал своим крылом, и канат, как черная змея, начал соскальзывать с вала, на который был намотан. Григорий еще стоял на краю ямы. На его лице сквозь толстый слой глины и нефти можно было разглядеть какое-то беспокойство, тревогу и словно борьбу с самим собой. В его голове молнией пронеслась мысль о доме, о старухе матери, которая завтра, в воскресенье, ждет его к обеду. А тут вот перед ним эта глубокая восьмидесятисаженная пропасть, грязная, вонючая и тесная, как жизнь в нищете. А там, в глубине, сколько разных невидимых сил угрожает ему! Кто знает, не вытащат ли через час, через два его товарищи холодный труп? Кто знает, кто знает?.. Дрожь прошла по его телу, когда бак начал опускаться вниз, когда ему в лицо дохнул тяжелый подземный холод. Ему стало так тяжело, как никогда прежде. Вот он, стоя одной ногой в бадье, рукой держась за канат, перевесился в воздухе и закачался над западней. А ворот неустанно машет своим крылом, канат неудержимо соскальзывает с вала, — он тонет, тонет медленно, тихо... У него захватывает дух, — дрожащим голосом кричит он товарищам на прощанье обычное горняцкое приветствие:

— Glück auf!*

— Glück auf! — отвечают среди глубокой тишины три голоса — нет, не три! И четвертый, неуверенный, приглушенный голос Германа повторил тоже:

— Glück auf!

— Ступай с богом! — добавил Микола и умолк. Григорий потонул в темной пропасти.

В сарае тихо. Ни один голос не нарушает тишины. Все работают молча. Колеса, смазанные нефтью, вертятся неслышно, словно духи, среди полумрака. Канат тихо разматывается и качается. Всем как-то тяжело, словно на похоронах, когда опускают гроб в яму.

* В добрый час! (немецк.)

Странное дело! Ежедневно каждый из них видит то же самое: человек спускается в шахту, — и каждый день одно и то же тяжелое, гнетущее чувство сжимает сердце, каждый день возникает мысль: «Вот, спускаем в могилу живого человека!»

Герман стоял и смотрел, смотрел и молчал и сам не знал, что с ним творится. Как пристально, как внимательно следил он сегодня за выражением лица этих рабочих, а в особенности того, который утонул в глубине, «заживо погребенного»! И странно! Те самые чувства, которые шевелились в них, которые вызывали у них дрожь, и вздохи, и тревогу, — те же самые чувства бушевали и в его груди, но как сильно, как страшно! Все то, что промелькнуло в мозгу Григория, когда он стоял над ямой, — все это проносилось и в мыслях Германа, но как ярко, как живо, как тяжело! В его воображении рисовался не один образ нужды, отчаяния, нищеты, — не один, а тысячи, и все они сливались в одно бушующее море, в одно страшное половодье несчастья, в котором гремели и стонали какие-то неясные, глубокие голоса. О чем они гремели — он не мог понять, хотя знал, что о чем-то страшном. Он стоял в углу сарая, неподвижный, похолодевший, и старался избавиться от страшных призраков. Он широко раскрыл глаза, чтобы действительность прогнала видения. Но и действительность не могла ни успокоить его, ни развлечь. Разве его видения не были той же действительностью, только более живую, поднятую фантазией на высшую ступень? — «Glück auf! Glück auf!» — повторял он бессмысленно. — Дай вам бог счастья, потому что мы не знали счастья!.. Дай вам бог счастья, потому что мы погибали от нужды, мучились весь век! Дай вам бог счастья... — «Кому? — возник вопрос в его голове и заглушил целую бурю голосов. — Кому?.. Ну, кому же, как не нам, нам, Гольдкремерам, нам, которые могут спокойно стоять, смотреть на обороты рукояти, бег и покачиванье каната, могут спокойно подгонять этих людей, спокойно слышать их страшное, душераздирающее: «Glück auf!»

Герман вышел из сарая, не сказав больше ни слова рабочим. Ясный, солнечный день немного успокоил его, приглушил расходившиеся мысли. Он пошел дальше

осматривать шахты и старался по дороге стать как можно более спокойным и твердым. Он повторял про себя: «Собственно говоря, что же тут особенного? Лезет мужик в колодец, ну и берет за это плату — целый гульден! Если бы не захотел, не полез бы, — никто его силой не заставляет. А если там что-нибудь... того... ну, за это я отвечать не могу. Я, что могу, делаю для их безопасности. Сколько денег стоят сараи, воздушные насосы, лампы новой конструкции! В чем же меня можно упрекнуть? А то, что я за свои деньги хочу получать добросовестную работу, это и вовсе дело естественное. Значит, совесть у меня чиста, незачем так терзать себя! Даже думать об этом незачем!»

Так размышлял Герман, усмиряя ту невидимую силу, которая сегодня проснулась в нем и опрокидывала все его расчеты, нарушала весь его покой. И действительно, она, словно вняв доводам Германа, утихла. Герман успокоился, даже оживился и повеселел, как человек после болезни. Только время от времени легкая дрожь мускулов давала ему знать о том, что страшная, враждебная сила внутри него не умерла и что малейшее прикосновение, малейшее потрясение может снова разбудить ее.

Он подошел к другой шахте в веселом настроении. Ему хотелось захватить рабочих неожиданно, незаметно, чтобы убедиться, как они работают. Он знал, что его приказчика сейчас нет возле этой шахты, и поэтому теперь ему легко будет узнать, стоят ли эти люди тех денег, которые они получают. Он подошел неслышно к дощатым стенам сарая, беззвучно ступая по мягкой глине, и заглянул через дырку от выбитого сучка внутрь. Такой способ надзора был у него не внове, и почти все рабочие знали об этом, так как обычно при выплате Герман удерживал у них до четверти заработка, говоря: «А, ты всю неделю бездельничал и стоишь у колодца, как глиняный, а теперь за деньгами являешься!» И если бедняга рабочий начинал спорить и божиться, Герман весь наливался кровью, как индюк, грозил рабочему полицией и приказывал надсмотрщику тут же вышвырнуть его за дверь.

Герман заглянул через отверстие в сарай. Как раз напротив него был вход, через который внутрь прони-

кало немного света, отражавшегося от соседнего сарая, — поэтому Герману легко было рассмотреть все, что происходило внутри. Два парня стояли, как обычно, около вóрота, но не вертели его, — как видно, только что спустили человека вниз и ждали звонка, чтобы начать вытаскивать бадью с воском. Только третий рабочий, стоявший у насоса, размеренно вертел рукоять, раскачиваясь, словно сам превратился в машину. А возле входа сидел маленький замызганный мальчик-сортировщик, который обычно выбирал из глины мелкие комья земляного воска. Теперь, не имея работы, он дремал, прислонившись спиной к стене; его худые грязные руки бессильно висели вдоль тела, а ладони были погружены в глину.

Звонка не слышно, рабочие разговаривают.

— Послушай, что это нынче хлопец нашего пана летел, весь запыхавшись, к отцу? Можно было подумать, что за ним гонятся!..

— Да что, наверно, денег требовать! Это, брат, такой шалопай, не приведи господь! Я видел не раз в Дрогобыче, как он над людьми издевается, господи! А деньгами так и швыряет — где что увидит, сразу бежит, купит, ломает, попортит, да и опять бежит, опять покупает!

— Э, еще бы! Хорошо ему дурить, когда есть на что. Швыряет труды людские, расшвыряло бы ему кости!

— А знаете, — вмешался тот, что стоял у насоса, — я как погляжу на него, все думаю, что он не помрет своей смертью. Растренькает отцовы тысячи, да и пойдет людей убивать.

— Ох, верно, ждет его виселица! Да только заглянешь в его жабыи глаза, сразу мороз по коже дерет!

— Это бог старого Гершка наказал за людские обиды! Правду сказал кто-то: людская обида и на третьем поколении отомстится.

— Вбивайте клинья, вбивайте клинья! — крикнул спросонья задремавший мальчик и проснулся. Взгляд Германа упал на его жалкое лицо, преждевременно увядшее и изможденное, и перед ним пронеслось толстое, красное, надутое лицо сына. Он сам не знал, что так поразило его при этом воспоминании, но холод сжал его

грудь, ему стало так тяжело, так тревожно, словно уже увидел наяву то, что пророчили его сыну рабочие.

— Что такое, что Мирон не звонит? — спросил рабочий у насоса. — Ну-ка, крикните ему кто-нибудь, что с ним?

Один из тех, что стояли у ворота, нагнулся, припал к яме и крикнул изо всех сил:

— Мирон, Мирон!

Ответа не было. Работники переглянулись в молчаливом ожидании, колесо насоса завертелось с удвоенной скоростью, маленький сортировщик неверной, шаткой походкой подошел к шахте и вытаращил глаза, не вполне понимая, что происходит. Герман смотрел и слушал.

— Мирон, Мирон, ты жив, голубчик? Отзовись!

Снова минута молчания — из шахты не доносится ни звука. Холод охватывает рабочих, их лица бледнеют, они с тревогой переглядываются.

— Тяни вверх, скорей, может, не дай бог, несчастье!..

— Тяни, тяни!

Они дрожащими руками хватаются за рукоять, собираются с силой...

Дзинь-дзинь-дзинь! — раздается резкий, пронзительный звонок. Все облегченно вздохнули, ожили, словно гора свалилась у них с плеч.

— Слава тебе господи, жив... А мы уж думали...

— Э, не говори, далеко ли тут до беды?

Опять звонок — знак, чтобы тянули бадью наверх. Рукоятка завертелась, разговор прервался, и Герман долго не видел ничего, кроме равномерных взмахов рукоятки. Он отступил от стены и оглянулся, не зная, идти ему в сарай или нет. Но мысль о нерадивости рабочих вылетела из его головы. Он еще дрожал от того тревожного ожидания, которое предшествовало звонку, — в его голове, правда, не было бури, которая бушевала там недавно, но все впечатления менялись, путались, расплывались, как тени в пасмурный день. Даже то, что рабочие говорили о его сыне, как-то исчезло из памяти, больше того — эти слова как бы облегчили его душу, сняли с нее часть его гнева на «негодного бездельника», как он обычно называл дома Готлиба. «А все-таки он мой сын, и, когда станет хозяином, научитесь

его уважать», — сказал он сам себе твердо и решительно, будто стараясь убедить самого себя. Эта твердость утешила его, он с удовлетворением повторил несколько раз: «А все-таки он мой сын!» Между тем он как-то бессознательно шел дальше, к третьей шахте. Она была несколько в стороне от остальных. Высокий, до половины заросший травой холм вокруг нее указывал на то, что она выкопана уже давно. Сарая над нею не было, — она и строилась по-старому. Это была первая яма, составившая основной источник богатства Германа. Но уже несколько лет она пустовала, с тех пор как нефть в ней была исчерпана. Только недавно, когда воск стал оплачиваться лучше, чем нефть, Герман велел ее обновить и копать глубже, потому что раньше в ней было только тридцать саженей глубины. Когда вскрыли доски, которыми она была забита, оказалось, что внизу вода, и надо было прежде всего вычерпать воду. Черпали уже три дня, и как раз сегодня в нее должен был в первый раз спуститься старый рабочий Матвей, чтобы осмотреть, что надо починить и где копать штольни. Когда Герман подошел, он увидел, что рабочие только что начали тащить бадью из шахты, в которой уже больше часу сидел старый Матвей.

— Ну, что? — спросил Герман, подойдя к рабочим.

— Да ничего. — ответили они. — Вот Матвей позвонил чего-то, мы и тянем.

— Ну, что там может быть такое? — спросил удивленно Герман. — Тяжело?

— Нет, не очень. Что-нибудь нашел старик.

Герман, заинтересованный, остановился над колодецем, опершись о столб, и пристально смотрел в темную бездну. Солнце косо освещало ее отверстие, но в глубине ничего не было видно. Одно только поразило Германа — необычно неприятное гнилсе зловоние. Что это такое? Запах, как на свалке! — У Германа защипало в носу, но любопытство не давало ему отойти. Он пристально, как одержимый, смотрел в темноту шахты, а канат между тем медленно наматывался железными кольцами на деревянный ворот. Он посмотрел на эти кольца и вспомнил страшные петли огромной змеи на картине. Его суеверная, возбужденная мысль внезапно

связала с этим тросом ощущение какого-то несчастья. Вдруг плохо смазанный ворот скрипнул пронзительно— Герман опомнился, взглянул в яму и окаменел на месте. Из темной пропасти медленно появлялась на свет страшная, сгнившая, почерневшая голова трупа. Ее зубы и лишенные мяса щеки выдавались вверх, глазницы были полны черной глины, набившейся в них, прогнивший, почерневший в воде череп лежал поверх ребер и других человеческих костей, набросанных как попало в бадью. Этот отталкивающий страшный груз медленно полз вверх, а Герман стоял как мертвый и не мог оторвать глаз от этой картины, и в тревоге ясно видел нечеловеческую злобную усмешку на этих голых щербатых щеках, на лишенных губ устах, в огромных черных глиняных глазах. Он стоял, смотрел и дрожал как в лихорадке, дрожал от суеверного страха и отвращения.

И рабочие, вертевшие рукоятку, увидев такой страшный и необычный груз, вскрикнули в один голос и чуть совсем не выпустили рукоятки ворота из рук. Подобные случаи, в прежние времена вовсе не редкие в бориславских шахтах, теперь стали гораздо более необычными, — тем более им, молодым еще рабочим, не приходилось видеть ничего подобного. Но вот внизу сильно дернули звонок, и это отрезвило их от испуга. Они быстро подтянули бадью кверху и высыпали из нее кости на землю. Странно застучали эти кости, а голова, вывалившись из бадьи, покатила по холму и очутилась у самых ног Германа.

— Черт тебя поberi, разбойник! — крикнул Герман, отскакивая в сторону от прикосновения головы. — Как сыплешь?..

Но больше он не мог ничего сказать, — страх сжимал ему горло. Опять звонок снизу. Рабочие шепчут: «Господи, господи!» — и быстро начинают опускать бадью вниз. Герман как ошпаренный бежит от ямы. Он чувствует холод во всем теле, ощущает дрожь, слабость, а в голове его вертится, как жужжащее веретено, одна только фраза: *Gott's Fluch über mir! Gott's Fluch über mir!** Он и сам не знает, как и о чем сложилась эта

* Господне проклятье надо мною! (*еврейск.*)

фраза в его голове, и повторяет ее бессознательно, непрерывно, пробегая по тропинке между шахтами. Хотя голова прикоснулась только к его башмаку, но ему кажется, что у него вся нога в огне, что ее жжет что-то, давит и что оттуда по всему телу разливается какое-то отвратительное ощущение. Он бежит от колодца к колодцу, не сознавая, куда и зачем. Слышит за собою шум и крики: это рабочие и евреи-предприниматели сбежались вокруг вытасненных костей — осматривают их, догадываются, кто бы это мог быть. Но вот вылез из ямы старый Матвей и показывает всем руку трупа, совершенно сгнившую: только на одном ее пальце позеленевший медный перстень с красным стеклышком

— Да что ты, Дмитро, не помнишь этого перстня? — кричит он.

Дмитро присматривается издали и потом вскрикивает:

— Господи, да это же тот самый мой перстень, который я три года тому назад дал Ивану Пивтораку на обрученье!

Все ахнули, узнав, что труп этот — не кто иной, как Иван Пивторак, который два года тому назад исчез неизвестно куда, оставив молодую жену с ребенком.

— Смотрите, где пропал, бедняга, упокой, господа, его душеньку!

— Господи, и как это человека смерть настигнет, никто и не знает, где и как!

— Ой, что за человек был покойничек!

— О, да вы мне не говорите! Уж кто кто, а мы с ним жили, как родные братья! — говорит Дмитро и засаленным рукавом вытирает слезы.

Герман издали слушает этот разговор. Его обступили несколько евреев и тоже оживленно говорят о трупе, но он ничего не слышит. Его взволнованная кровь стучит, как молот, в груди. Он все еще с ужасом оглядывается в ту сторону, где увидел труп, хоть из-за людей не может ничего разглядеть. Но понемногу среди людского говора он успокаивается, по крайней мере старается быть спокойным, даже говорит с евреями, говорит бессвязно, без остановок, сам не зная что. Но приказ-

чикам-евреям и рабочим некогда долго заниматься пересудами. Наговорившись, повздыхав о покойнике, они разошлись, — кости сложены в кучу и присыпаны временно землей: «Пусть на солнышке божьем не лежат голые», — и прежняя работа начинается снова дружно, молча, тяжело, словно и перерыва никакого не было. Только временами рабочие у вóрота перекинутся между собой о сегодняшней новости: «Что скажет жена Ивана, как ей расскажут об этом?» Или: «И как это будут хоронить его грешные кости?», или еще что-нибудь.

Герман тем временем побежал дальше. Его испуг понемногу проходил. Он стал покрикивать на рабочих, если они работали лениво, кричал, набирался все большей смелости и силы, заглушал, подавлял все волнение. Под конец беспокойство, казалось, совсем улеглось, мысль обратилась к повседневным, практическим вопросам, Герман достал записную книжку и начал записывать имена рабочих, которым при сегодняшней выплате угрожало не получить полного заработка. Но все-таки он ощущал какой-то гнет. Не осмотрев всех колодцев, он побежал к складам, оттуда к нефтеочистителю, всюду вертелся, заглядывал, кричал, — одним словом, старался быть тем, кем он был недавно, — неугодным, практичным *Geschäftsmann*'ом.

— Herr Principal, Herr Principal*, — услышал он сзади голос доверенного, который нанимал рабочих, определял их пригодность и следил за ними в течение всей недели.

Герман обернулся. Доверенный, маленький, обтрепанный еврейчик, бежал за ним, запыхавшийся, красный, махал руками и головой, словно весь он был на пружинах.

— Nu, wus ist geschehen?»** — спросил Герман, не дождаввшись, когда тот заговорит.

— Ja, kommen Sie nur, kommen Sie nur***, — кричал доверенный и не переставая раскачивался всем телом в разные стороны.

* Господин принципал, господин принципал! (*немецк.*)

** Ну, что случилось? (*еврейск.*)

*** Да идемте же, идемте! (*еврейск.*)

Герман сделал два шага к нему и старался угадать, что так взволновало доверенного, обычно человека тихого и медлительного.

— Ja, kommen Sie nur, kommen Sie nur! — кричал тот, не унимаясь.— Im Schacht Nro 27 hat man a Matki gefunden, a soi a Matki, — Gott gerechter!*

При этом доверенный хватался за голову, махал руками, как бы показывая вес найденной матки ** и делал различные, с виду безумные и странные движения.

— А-ах! — вырвалось невольно из уст Германа. Так вот почему бежал за ним доверенный, вот что так взволновало его. Герман, хотя издавна привык слышать такие радостные вести, остановился на этот раз как вкопанный. Он думал, что счастье уже совсем отвернулось от него, а оказывается, нет! Счастье все еще служит ему, он силен попрежнему, он ничего не боится, ему не о чем печалиться! Что ему теперь пустая болтовня глупых рабочих, грубость сына, раздоры с женой! Счастье служит ему, а они все ничтожные черви по сравнению с ним — нет у них такой силы, чтобы отравить ему жизнь! Нет силы! Не то что жизнь — ни одной минуты не даст он себе омрачить всем этим ничтожествам! Это новое, неожиданное счастье хлынуло, как волна, в душу Германа. Его гордость, много раз сегодня униженная различными воспоминаниями, так сильно пошатнувшаяся под влиянием неумолимых размышлений ожила, окрепла снова, начала надуваться, задирать голову вверх. Ему начало казаться, что, собственно говоря, в нем нет ничего важного — в этом новом счастье. Природа должна была ему дать это счастье, — разве она не знает, какие контракты он подписал, какие убытки он понес бы, если бы она не подросла во-время со своими богатствами? Она знает это — и поспекает во-время. Она покорна его воле, служит ему так, как служит всякой силе. А он — сила, ему не нужно даже приказывать, достаточно только хо-

* Да идемте же, идемте! В шахте номер 27 нашли матку, такую матку, боже праведный! (*еврейск.*)

** Маткой называется главная жила или толстый пласт земляного воска. Такие пласты встречаются довольно редко, и кто до них докопается, может быть уверен в большой прибыли. (*Прим. Ив. Франка.*)

тет, его воля — закон природы, подчинение ей неизбежно, как неизбежно исполнение всякого закона!

Гордыми, смелыми шагами приблизился Герман к счастливой яме, около которой лежала огромная, только что добытая грудa воска — первая из найденной матки. Он радостно осмотрел это сокровище, а в это время неутомимый ворот уже вытаскивал наверх вторую такую же груду. С какой величественной важностью велел Герман отнести воск в склад и с каким царским великодушием обещал рабочим на этой шахте добавить к их недельному заработку по гульдену! С какой щедростью дал в порыве радости ошачтивленному доверенному тут же на месте пять гульденов внеочередного «тринкгельда»*. Он и действительно был в ту минуту в своих собственных глазах властителем, царем всемогущим, которому покоряются, которому подчинены не только весь этот народ, но и сама природа!

Солнце уже склонялось к западу над Попелевской горою. На небе не было ни облачка, во всей природе лежала тишина, нарушаемая только говором рабочего люда, который судачил о сегодняшней новости, то есть о вытасченных из шахты костях Ивана Пивторака. Жена Пивторака, работавшая в нефтеочистителе у Германа, ничего еще об этом не знала и беспокоилась только о ребенке, которого она оставила одного дома. Но сегодня был не обычный вечер, — сегодня день выплаты! Усталые, бледные, посиневшие лица рабочих сегодня оживлялись надеждой на эти горько заработанные гроши: люди, которые нередко целыми днями не говорили другим ни слова, сегодня становились разговорчивыми, шутили и приглашали товарищей пропустить стаканчик. Мертвый Борислав, чем ближе к ночи, тем больше оживал.

Поговорив о том о сем с доверенным и послушав, что говорят обрадованные рабочие, Герман пошел домой, чтобы подготовиться к выплате. Голова его была полна груд воска, контрактов, векселей, счетов, в руках позванивало серебро и золото, весь мир представлялся ему огромным рынком, на котором он — единственный

* Чаевые (немецк.)

законодатель, где он один собирает все барыши. Все тягостные, тяжкие впечатления нынешнего дня исчезли, словно никогда их и не бывало, ибо теперь, думал Герман, когда его счастье вернулось, когда дела идут хорошо, теперь вся эта ненужная тоска не имеет никаких оснований, никаких разумных причин. Она возможна только при несчастье и неуверенности, но не теперь. Так думал Герман и вполне в это верил и немало удивился бы, если бы кто-нибудь посмел ему сказать, что над совестью нет хозяина и что нет силы, которая могла бы ей приказывать. Ведь он сам был ей хозяином — он приказал, и совесть со всеми своими рассуждениями замолчала, исчезла, пропала!

Придя домой, он тотчас же спросил, что делает Готлиб.

— Спит еще, — ответила служанка.

— И не вставал с тех пор?

— Нет, не вставал.

— Ну, это хорошо, — пробормотал Герман и пошел в комнату, где находилась касса и где должна была происходить выплата. Это была большая, просто обставленная и почти ничем не украшенная комната. Посредине стоял крепкий дубовый стол, вдоль стен — скамьи, около стола пара кресел, а в углу — железная вертгеймовская касса. Герман велел принести сюда его счетные книги и медленно перелистывал их, выписывая какие-то цифры на чистый лист бумаги; по временам, отложив перо, он прохаживался взад и вперед по комнате, бормоча под нос какие-то вычисления, и снова брался за книги и перо.

Стемнело. Пришел доверенный, а за ним толпой повалили рабочие. Все сегодня разговорились, шум и гомон волной хлынули в тихую комнату. Доверенный начал с Германом разговор о работе за неделю. Он был сегодня тоже разговорчив и весел. Это был человек, смолodu выросший на чужих хлебах, смолodu забитый и униженный, проживший весь свой век по чужой указке и у которого не было ни своих мыслей, ни даже (по крайней мере на вид) своих радостей и печалей. Удача его хозяина радовала его, как своя собственная, хотя эта радость не была результатом какой-то там привязанности или любви к Герману. Герман не был ему ни свояком, ни

благодетелем, ни кем-либо еще, он платил ему за надзор так же скупно, как другим за работу, и доверенный чувствовал это очень хорошо и при случае не мог удержаться, чтобы не утащить в свою нору какой-нибудь кусочек от богатой трапезы своего хозяина. Но при всем этом он радовался его сегодняшней удаче, не раздумывая, отчего и почему. Это уже стало его второй натурой.

— Матвей, Матвей! — крикнул он, приоткрывая дверь, ведущую в сени. — Матвей, иди-ка сюда, хозяин зовет! Поскорей!

Матвей, старый нефтяник, был сегодня важной особой среди рабочих. Целая толпа, стоя в сенях и ожидая, когда их вызовут получать деньги, обступила его и Дмитра, слушая их рассказы о бедняге Иване Пивтораке, кости которого сегодня были вытащены.

— Говорите себе, что хотите, — закончил Матвей свой рассказ и, сидя на пороге, попыхивал трубкой с коротким чубуком, — говорите, что хотите, а я буду свое твердить — что бедному Ивану кто-то удружил!.. Чтоб мне провалиться на месте! Я буду не я, если его кто-то не столкнул в колодец, а то, может, и еще хуже!..

— Э, да что вы говорите, — зашумели вокруг рабочие, — как это может быть?

— Я уж знаю, что говорю, — ответил Матвей, сплевывая. — Мое слово — не собачья брехня!

— Да кто же это мог быть? — спросили рабочие. — Разве покойник провинился перед кем-нибудь?

— Да где там провинился, — отозвался Дмитро, стоявший подле Матвея, опершись о косяк двери, — но ведь что ж — будь ты хоть святой человек, а враги найдутся. Долго ли в наше время врага нажать?..

— Ох, недолго, — отозвалось несколько голосов, — чего другого не найдешь, а злого человека!..

— Матвей, идите-ка сюда, Матвей, — позвал доверенный, приоткрыв дверь. Но Матвей сидел неподвижно, попыхивая трубкой, и не слышал оклика. Он молчал. Его лоб морщился, брови хмурились, словно какие-то тяжелые воспоминания шевелились в его голове, а он старался собрать их воедино и извлечь из них что-то очень важное, очень страшное.

— Матвей, да ты оглох, что ли, что это с тобой? — пищал доверенный в дверях. — Сколько раз я должен тебя звать?

Матвей из-за шума и задумчивости и на этот раз не услышал его окрика, но Дмитро дотронулся до его плеча и сказал:

— Встаньте-ка, это Мошко зовет вас к пану!

— А, что б тебя, жидовская сова! — проворчал Матвей, вставая, рассерженный тем, что прервали его мысли. Когда он встал, его высокая, хотя и сгорбленная фигура поднялась над всей толпой рабочих. Они расступились, и Матвей спокойной, тяжелой поступью прошел в комнату Германа.

— Эге, старик, должно быть, что-то знает, — сказал Дмитро, когда доверенный закрыл за ним дверь. — Что-то он слишком брови хмурит, видно тут что-то есть!

— Да бог его знает! Может, и есть что... Да ведь он, говорят, давненько здесь, посмотрелся на здешние порядки!

— Да ничего из всего этого не выйдет, — отозвался какой-то немолодой уже рабочий из угла, — разве кто станет разбираться из-за бедного рабочего! Был вот жив, мучился, а пропал где-то, как собака, да и поминай как звали!

— Э, вы так не говорите, — возразил Дмитро, — а вот как Митерчуки упали в яму, когда канат перервался, так ведь приезжала комиссия? Всех подряд допрашивали, как это могло случиться, как это канат мог порваться, ну, и разве не посадили еврея в тюрьму?

— Ба-а-а! — отозвался рабочий из угла. — То было одно дело, а это дело другое. Матвей же своими глазами не видел, кто беднягу толкнул в шахту? Ведь если видел, так почему не сказал давно? А теперь, как ни раздумывай, что из этого выйдет? На суде ничего не докажешь, и из большой тучи будет малый гром.

А Матвей в это время стоял в комнате у порога и осматривался по сторонам, словно хотел убедиться, что всё на своих местах. Доверенный Мошко стоял у стола, а Герман сидел, повернувшись к нему спиной. Доверенный не знал, зачем Герман велел прежде всех позвать Матвея и о чем он хочет с ним беседовать.

— Ist schon gekommen, Herr Principal, ist schon gekommen der alte Matij*.

— Gut, gut**, — проворчал Герман, кончая подсчитывать, после чего обернулся к Матвею.

— Это ты был сегодня в колодце, когда нашлись те кости? — спросил Герман, сразу приступая к делу.

— Я, — коротко ответил Матвей, словно уже ждал этого вопроса.

— Я слышал... как ты там.. того... говорил другим, будто... будто знаешь, кто это был такой?..

Голос у Германа был неуверенный, — он чувствовал внутреннее волнение.

— Да, знаю. Это рабочий Иван Пивторак, который два года тому назад исчез куда-то, оставив жену с ребенком.

Произнеся твердым и резким голосом эти слова, Матвей оглянулся на доверенного. На том лица не было, стоял бледный как мел, колени его заметно дрожали, казалось, что он вот-вот упадет.

— А ты это почему знаешь? — продолжал спрашивать Герман медленно и довольно спокойно.

— Я узнал беднягу по перстню, который был у него на пальце.

— Так ты знаешь наверное, что это Иван, можешь присягнуть в этом?

— Могу сто раз — не раз.

Герман задумался. Уверенность Матвея начала его беспокоить. «Придется таскаться по судам, — подумал он. — Каким образом человек упал в шахту? Очевидно, неосторожность! Плохо, — придется платить штраф, вот еще забота!» Размышляя таким образом, Герман смотрел на Матвея и заметил в его лице что-то странное, словно старый нефтяник не договорил до конца.

— Что? Может быть, хочешь еще что-нибудь сказать? — спросил Герман, пораженный таинственным выражением лица Матвея.

— Да я... — начал Матвей уже неуверенно, — я...

* Уже пришел, пан хозяин, уже пришел старый Матвей (немецк.)

** Хорошо, хорошо (немецк.)

сказал бы пану еще пару слов .. нет, вру, хотел бы спросить кой о чем, но...

— Ну, спрашивай, в чем дело, почему не говоришь?

Матвей не отвечал, только смотрел на доверенного. Герман понял, что он хочет говорить с ним с глазу на глаз.

— *Geh nur a bissel weg**, — сказал он Мошке, не глядя на него. Мошко затрясся. Казалось, у него не хватит сил сделать даже один шаг. Изменившимся голосом он пролепетал:

— *A... aber warrum kann er... auch so... so... so... nicht?**

Герман резко обернулся, услышав этот сдавленный, прерывающийся голос. Что случилось с Мошкой? Что означает его смертельная бледность, эта дрожь, эта растерянность? Герман сидел как вкопанный и удивлялся.

— *Ja, aber was ist dir? Bist du krank?****

— *O ja... ja... ja... hab mich erkäl... tet*****, — пролепетал доверенный, забывая о сегодняшней жаре.

— *Erkältet?* — заметил медленно Герман. — *So? No, no, geh und schlaf dich aus!******

— *Abe... be... ber... bitte, ich ka... ka... kann noch... vielleicht... wozu bra...brauch ich gehen?******

— *Ich sag'dir, du sollst gehen! ****** — крикнул сердито Герман, которому становилось все более неприятно и жутко слушать этот загробный дрожащий голос. Доверенный, беспокожно оглядываясь, вышел. Матвей внимательно слушал весь разговор, пристально следил за каждым движением, каждым шагом доверенного. Лицо его становилось все мрачнее, все угрюмее.

— Ну, о чем хочешь спросить? Говори! — сказал Герман после ухода доверенного.

Матвей подошел ближе и сказал тихим голосом:

— Что, если бы пан посмотрел в своей книжке, как

* Выйди-ка на минутку (*еврейск.*)

** Но ... почему он не ... не может? (*немецк.*)

*** Да что это с тобой? Ты болен? (*немецк.*)

**** О да ... да ... да ... Я простудил...ся (*немецк.*)

***** Простудился? Вот как? Ну, ну, ступай просппись! (*немецк.*)

***** Но ... прошу, я мо... могу еще, может быть...зачем мне уходить? (*немецк.*)

***** Говорю тебе, ступай! (*немецк.*)

там записано, до какого времени работал Иван Пивторак у пана?

— А зачем тебе это? — спросил удивленный Герман.

— А так, я прошу.

Герман заглянул в главный журнал и в список рабочих.

— До осени, кажется так, постой, постой, — неделю после Покрова.

— Как, как? — живо подхватил Матвей. — Неделю, говорите, после Покрова?

— Да, так, Покров был в субботу, вот тут записано, а он еще в следующую субботу забрал деньги за целый квартал, семьдесят пять гульденов.

— Деньги забрал? — вскрикнул Матвей, но тотчас же успокоился и сказал тише: — Гм, неделю после Покрова! А я его в самый Покров в последний раз видел.

— Где?

— В трактире, у Кирницкого, он там пил с... с одним человеком.

— С кем?

— Да вот, право, забыл... Теперь уж пропало! Меня тогда маленько помяли пьяные рабочие, и я две недели пролежал без памяти, — потом, слышу, уже нет Ивана, говорят, отправился куда-то по свету.

— Ну, и что же из того, зачем ты у меня спрашивал?

— Да так, прошу прощенья у пана, но я думал...

— Что, что?

— Да ничего, ничего! Что я, глупый мужик, могу думать? Так, свои думки. Прошу прощенья у пана!

Матвей сказал это, сжался, сгорбился и пошел из комнаты, но весь его вид выражал огромное сожаление, огромное разочарование. Герман перестал его спрашивать, так как знал, что не добьется ничего больше от старика, и, не теряя времени, начал выплату...

— Ого, что-то с нашим паном особенное случилось, что забыл он вычесть у меня хоть шистку!

— Эге, верно, расстроился, что те кости нашли, — теперь комиссия будет, может еще какие неприятности, так ему уж не до вычетов.

— Или, может, сыночек ему что-нибудь такое ласковое сказал, не зря утром летел к нему что есть духу.

Так говорили рабочие, расходясь кто по домам, кто в шинок. Такого счастливого вечера они давно не помнили, а поэтому начались между ними различные догадки по поводу необычайной доброты хозяина. Даже те рабочие, которым Герман посулил нынче вычет и которые за это уже немало проклятий послали на его голову, вышли от него удивленные и довольные, — о вычетах не было и помину. Некоторые рабочие, получив деньги, начали высматривать Матвея, расспрашивать о нем, но его не было, среди общей сутолоки никто не заметил, куда он делся. И про доверенного Мошка было немало пересудов: все видели, как он вышел из «канцелярии» Германа бледный, дрожащий, с изменившимся лицом и как он, оглядываясь и поминутно останавливаясь, поплелся по улице. — Что все это значит? Что случилось? — расспрашивали друг друга нефтяники и ломали себе головы над всеми этими странностями, но никто не мог объяснить ничего толком.

И действительно, могло показаться, что Герман подобрел, хотя, повторяю, только показаться. Тот, кто внимательно присмотрелся бы к его движениям, выражению лица и всему поведению во время выплаты, тот мог бы заметить многое, но только не доброту. Нет, это была не доброта! Это оупение и растерянность, эти неуверенные движения, эти частые перемены в лице, задумчивость и очевидная борьба с самим собою, дрожь в руках, тусклый взгляд, напряженность всего тела, которое он старался держать прямо, глухой, прерывистый голос — все это означало нечто совсем иное, чем доброту. Какие-то темные чувства пробуждались в душе Германа, роились и пробивались наружу, подрывали его силу и гордость, — и Герман крайним усилием подавлял их, сдерживал, не давал им овладеть собой. Он сам еще отчетливо не понимал, чего ему не хватает, чего ему хочется, но ощущал какую-то неясную тревогу перед всем и перед каждым. Особенно страшила его наступающая ночь, какой-то голос шептал ему, что она не пройдет для него мирно.

— Тьфу, напасть какая! — прошептал про себя Герман, когда выдача денег была окончена и рабочие разошлись. — Слабость какая-то, я, должно быть, чем-то

болен! Надо завтра возвращаться в Дрогобыч, тут, в этой проклятой яме, не выдержать. Здесь на каждом шагу тебе чертова мать сует всякую погань под нос! Но что за дьявол, почему меня сегодня все так раздражает, так бесит? Я, должно быть, очень болен! Надо будет завтра сразу же пойти к доктору, первым делом!

В эту минуту пришла служанка и позвала его ужинать. Герман осведомился, что делает Готлиб.

— Спит, с самого обеда еще ни на минуту не просыпался.

— Может, разбудить его, чтобы поужинал?—спросил Герман.

— Зачем? Он и так устал, пусть отдохнет. А если проснется ночью и захочет есть, так я ему оставлю ужин!

— Ну, пусть будет так! — согласился Герман и пошел ужинать, все еще раздумывая о том, что с ним такое случилось и что ему делать.

IV

Ночь. Звезды горят и мерцают над сонным Бориславом. Холодно. Воздух очистился, прояснился, где-то на далеких Тустановских пастбищах залег туман. Горы дремлют во тьме, сквозь величественную тишину, не нарушаемую звуками людского несчастья и людского унижения, слышны лишь глухие, неясные отголоски какого-то глубокого, таинственного шума, словно дыхание спящей природы.

Герман спал крепким сном, убаюканный не столько спокойными мыслями или усталостью от дневной работы, сколько сытным ужином, который он залил изрядной порцией различных горячительных напитков. Герман не любил напиваться, но сегодня нужно было подкрепить свои силы, нужно было sprysнуть счастливую находку новой матки, нужно было, наконец, «заморить червяка», который неустанно копошился внутри него и пожирал его спокойствие. Сядя за ужин, он ощутил такую жажду, что ему даже трудно было дожидаться, пока служанка принесла привезенные из Дрогобыча бутылки с вином и разными ликерами. Чем больше Герман пил, чем силь-

нее играла в нем кровь, чем живее проносились мысли, тем больше ощущал он потребность вновь разогреться, забыться, раствориться в небытии, лишь бы только это забвение было приятным, радостным, легким... Его лицо налилось кровью, глаза блестели, руки сами шарили по столу, язык начинал бормотать что-то бессвязное и бессмысленное, служанка с трудом отвела его в кабинет, где заранее все приготовила и постлала постель. Утонув в пуховых подушках, Герман еще с минуту ворочался, бормотал, пытался даже думать, но в голове у него все смешалось, все мчалось и плыло куда-то, как вода через плотину, если сразу открыть все шлюзы и перемычки. Через минуту он затих и заснул мертвым сном.

Но нет! Кто это сказал, что Герман спит, что Герман пьян! Нет, он вовсе не пьян, он не спит! Может быть, когда-то.. Он даже припоминает, что был такой вечер, он пил много, напился и отяжелел. Но теперь ему легко, так легко, что так и полетел бы куда-то вдаль, в ту синюю ласковую беспредельность, которая так заманчиво маячит перед ним! Он теперь счастлив, вполне счастлив, как еще никогда не был! Вокруг него зелень, цветы, прозрачные воды, шелестящие леса, вдали фантастическими контурами рисуются розово-красные скалы, — ох, это не Борислав, не та проклятая западня, которая душила его своим затхлым воздухом и смрадным дурманом! Тут чисто, ясно, весело, — ох, как весело! Герман дышит полной грудью, легкими прыжками, как серна, движется по цветущим лугам, топчет душистые цветы, которые, когда их растопчешь, еще лучше пахнут и звучат так приятно, сладко звучат, что хватают его за сердце. Где он... где он слышал эти звуки? Он не может припомнить.

— Счастье, это твои звуки, твой запах, твой взгляд в этой зелени, в этой чистой лазури, в этих чудесных горах, потоках, дубравах! Счастье, ты мое! Ты отдалось мне, как любовница своему милому, ты открыло мне свое лицо, подало мне свою руку, я держу тебя крепко, крепко! Я узнаю тебя, чувствую твоё дыхание в своём сердце, чувствую, как твоё тепло согревает мою кровь, и она, звеня, как серебро, бежит прозрачными струями по моим жилам! Счастье, приди в мои объятия, отдайся мне совсем, навеки! Я силен, молод, красив! Я хочу

жить, любить, хочу радостей, покоя, ароматов, наслаждений! Иди ко мне, — я твой навеки!

Как легко, как привольно Герману! Каким сладким, чарующим и сильным голосом пропел он эту песню, это заклинание! Чу!.. Леса, дубравы, реки, и горы, и небо синее, и цветы ароматные — всё, вся природа звенит, отзывается эхом на его песню! Сколько сладости таит в себе каждое слово, каждый звук! Какое наслаждение дышать здесь, — нет, наслаждение волнами льется в его грудь, расширяет ее до бесконечности... Он распростер руки широко-широко над равниной. Он летит над нею, как огромный орел, а навстречу ему вся природа откликается:

— Счастье, я твой, я сильный, молодой, красивый, я хочу жить, любить, хочу наслаждений, покоя и радости! Счастье, приди в мои объятия! Счастье, отдайся, отдайся мне!

Безмерную, богатырскую силу чувствует в себе Герман! Он обнял руками всю землю от края до края. Грудью прилег к ее роскошной груди и чувствует биение сердца в ее глубине. Ведь это она сама — счастье, и он удивляется, как это он раньше не знал этого. Он, пьяный от наслаждения, прижимает любовницу к груди, ласкает ее, наливается ее теплом, ее силой, любит ее, как игрушкой, молится на нее, как на бога! Она для него все, он ничего не желает, овладевает ею, потому что теперь ничто не может разлучить его с нею. А она с божественной улыбкой на лице глядит ему в глаза, тает в его пламенных объятиях, слабеет, вянет, тает... Это судорога любовного наслаждения, это вершина счастья даже для счастья самого!..

— Любимая, ты богиня!.. Ты вечна, бессмертна, правда?

Что за улыбка, что за голос тихий, чарующий:

— Да, я богиня, я вечна, бессмертна, — я твоя.

С каким жаром прижал Герман к себе бессмертную возлюбленную! С какой силой, с какой жадностью пьет он ее огненные поцелуи! Больше жара! Больше огня! Больше наслаждения! Такая минута — это вечность! Еще, еще!.. Он теряет сознание, страсть покоряет его, мчится потоками лавы по его жилам, не дает дышать, не дает думать. Он весь — только одно чувство, — и

глаза зажмурил, чтобы только полнее, бесконечнее впитать в себя наслаждение всеми порами тела.

А она тает, слабеет, вянет в его объятиях... Душистые цветы поникли, потоки высохли, помутнели, словно от зноя. Но он этого не видит, не чувствует, а ощущает только одно, как страсть, сила, живость его все увеличиваются, растут, борются, словно переходят от нее к нему. И чем сильнее становятся его мускулы, чем быстрее переливается кровь в его жилах, тем и объятия и поцелуи его становятся крепче, безумнее, тем больше страсть охватывает все его существо.

— Ты вечна, бессмертна, — ты моя! — шепчет он.

А она тает, слабеет, вянет в его объятиях. Нет у нее уже сил, чтобы произнести слово, нет сил, чтоб улыбнуться. Она только слабо, сладко дышит в его объятиях, все слабее, все медленнее. Розовые горы почернели, как уголь, небо ясное, лазурное померкло, побледнело, почернело, страна счастья исчезла, как облако, как привидение. Медленно-медленно серый туман, удушливый, густой, начал сгущаться вокруг. Повеяло холодом, и последние следы счастья унесло с собою это первое холодное дуновение. Герман еще лежал в беспамятстве, еще был богатырем...

— Любимая, любимая, ты моя, правда? — шептал он. Но в эту минуту снова повеяло холодом — острым, сбжигающим, и он вздрогнул — вместо вечно молодой богини он увидел черный, ужасный труп! Он чувствовал, что страшный жар горит в его крови, разрывает грудь, но вокруг все было холодно, отвратительно, мертво...

— Счастье, счастье, где ты? — воскликнул он в страшной тревоге и отчаянии. Никто не отвечал.

— А, ты покинуло меня, ты отвернулось от меня, — воскликнул он. — Но погоди, ты от меня не уйдешь! Я силен, в моей крови целые вулканы огня, я смогу догнать, изловить тебя! Ты не уйдешь от меня, нет, ни за что!

И он бросается бешеным бегом куда-то в темную даль, не видя, куда и зачем. Его сила растет, но он чувствует, что нет уже в нем той легкости, что раньше. Он не может свободно взлететь вверх, как орел, не может ясным взором окинуть всю землю, чтобы увидеть, где скрылось счастье. Его горячее, тяжелое дыхание несется впереди него, как туча, и затуманивает его взгляд. Железные,

сильные его мускулы слабеют, становятся обыкновенным человеческим телом, хотя усталости в них он еще не чувствует. Он мчится без остановки. Пейзажи мелькают перед ним, как картинки, реки блестят, как жемчужные нити, они украшают землю, но не останавливают его в этой бешеной погоне.

— Счастье, где ты? Куда ты спряталось? Ты ведь отдалось мне, ты мое!.. — кричит он, но ответа нет.

Туман — он бросается в туман, как молния. Холод — он разжигает своим огнем все вокруг, как раскаленное железо. Деревья гнутся, где он ни пройдет, трава вянет, цветы превращаются в уголь. Но он не спрашивает, он летит дальше, он знает, что должен догнать счастье.

— Стойте, чудесные видения! — кричит он изнемогая. Страсть его начала остывать, тело ощущает усталость, в крови холод

— Стой, счастье! Ты ведь мое!

И оно остановилось. Из густого тумана вынырнула страна — красивая, сверкающая, зеленая. Где он видел такую страну? Это не та, где раньше засверкало его счастье. Это не та мягкая, приятная прозрачность, не то синее небо, не те розовые горы, не те цветы душистые. Тут все небо огнисто, багрово, словно отблеск огромного пожара. Тут гор нет, только море зелени темной, твердой, острой, а берега этого моря — густой туман, облаком поднявшийся над лесом высокого, гибкого тростника. Тут лесов нет, лишь одинокие группы высоких стройных пальм с кронами огромных листьев, которые раскачиваются в воздухе сами по себе, как крылья ветряной мельницы. И потоков серебристых тут нет, только далеко где-то слышен шум водопада, а в чаще тростника воют тигры и рычат носороги. Где он видел, где он видел эту местность? Почему она кажется ему такой знакомой? Почему какая-то печаль охватывает его, когда он ступает по этой раскаленной земле, по этим острым, колючим листьям? И ароматов не слышно, только влажное дыхание гнили. Где он? Куда занесла его бешеная погоня за счастьем?

Неуверенными, дрожащими ногами сделал он несколько шагов. Чу! Шорох в высокой траве! Это испугнутая его появлением газель прервала сон, помчалась

ловкими прыжками и исчезла. Но Герман уже не думает, не вспоминает, где он. Какая-то странная сила придавила его мысли. Какой-то жар охватил его, словно все его тело в огне, а в то же время на лбу выступает холодный пот. Он спешит вперед. Вот группа пальм манит его своей тенью, своими плотными зелеными листьями, которые и без ветра равномерно шевелятся, словно огромные опахала, движимые невидимой рукою. Он так спешит в тень, такой истомой наполняет его мысль об отдыхе, так заманчиво влекут его листья!..

Вот он под пальмой в тени, около живого, журчащего источника.

Но вдруг — легкий шорох, сквозь темную зелень мелькнула разноцветная молния, — Герман только почувствовал, что она мгновенно повалила его на землю. Он обезумел от страха и боли. Одно мгновение он не знал, что с ним произошло. Но когда оглянулся, то увидел, что страшная змея, тот самый *Boa constrictor*, который был изображен на его картине и которым он не раз любовался, — обвивал его своими мощными железными кольцами. Ах, что он наделал! Зачем пошел в проклятую тень!.. Герман чувствовал, что его смерть близка. Быстрыми движениями змея обвивалась вокруг него и одновременно прижимала его к стволу пальмы. Холод от тела змеи вливался в его кости, замораживал смелость и силу — он не мог ни крикнуть, ни бежать, ни защищаться. Его ноги уже были опутаны и сдавлены, словно клещами. Петли доходили уже до груди, до шеи. У Германа сперло дыхание в груди, — он чувствует, что удав обмотал его всего, он видит его голову, его страшные, играющие демоническим блеском, злорадством глаза как раз против своего лица, взгляды их встретились, и Герман похолодел. Словно ледяным ножом вонзился в его грудь этот змеиный взгляд! Вот пасть змеи раскрывается широко-широко, словно кровавая пропасть, — Герман видит, как под блестящей чешуей корчатся железные мускулы змеи, чтобы в последний раз сжать свою жертву, чтобы раздробить ей кости. Он чувствует страшное объятие, невероятную боль... Его глаза вылезают на лоб, раскрытый рот хрипит, тело холодеет и стынет. «О отчаяние! Гибнуть, — неужели мне суждено так по-

гибнуть? Счастье мое, неужели это ты меня завело сюда?» Эта мысль промелькнула в его голове в эту страшную последнюю минуту. Красные колеса завертелись у него перед глазами, залитыми кровью... Еще минута, еще один обхват... Но нет! Герман собрал последние остатки сил... нет, не собрал сознательно, потому что сознание покинуло его под этим страшным нажимом. Сам его организм напрягся в смертельной натуге, напрягся так сильно, так неожиданно, что петли ослабели, расширились, обвисли, и Герман, сразу проснувшись, вскочил на ноги, держа в судорожно сжатых руках... что? кого?..

— Будь ты проклят — не удалось! — прохрипел над ним свирепый, глухой голос.

Но Герман в нечеловеческом потрясении, не будучи в состоянии вполне прийти в себя после сна, страха и боли, сбрал все свои силы и с невероятным отвращением швырнул на пол то холодное, извивающееся, цепкое тело, которое сжимал в руках. Раздался грохот, словно упала огромная тяжесть, прозвучал возглас, похожий на стон умирающего. Эти два одновременных и одинаково страшных звука отрезвили Германа. Он в одно мгновение вскочил с кровати, чиркнул спичкой о стену и зажег свечу. Какое зрелище представилось ему! На полу лежал его Готлиб с окровавленной головой, которую он разбил, падая с кровати, откуда швырнул его отец. Он извивался и хрипел от страшной боли, но в глазах его светилась все та же отчаянная злоба, та ненависть идиота, которая сверкала в них еще в полдень, когда он пришел к отцу. Герман остановился над ним, как оглушенный. Он невольно взглянул в зеркало и, увидев себя, испугался. Его лицо посинело от страшного удушья, белки глаз были залиты кровью, — кровь капала и слица, которое Готлиб разодрал в одном месте ногтями.

— Что ты делаешь, выродок? — спросил Герман после долгого молчания, во время которого Готлиб все еще лежал на полу со стиснутыми зубами и только время от времени судорожно метался от боли. — Ты что делаешь? — продолжал спрашивать Герман глухим, дрожащим голосом. — Чего ты хочешь?

— Будь проклят! — прохрипел идиот. — Денег хочу, давай сюда!

— Денег хочешь? А за что? На что? Чем ты заработал деньги? Ты, может быть, мучился из-за них всю жизнь, как я? А теперь еще отца убить задумал, выродок?

— Да, убью тебя, убью, так и знай! — хрипел Готлиб, колотясь разбитой головой об пол. — Давай денег, тогда в живых останешься, давай!

— Собака проклятая! — крикнул Герман и бросился к нему. — Ты еще — грозить! Гадина, ты разве не видишь, что я в одну минуту могу растоптать тебя, как лягушку! Да падет проклятье Иеговы на твою руку, поднявшуюся на отца, и пусть она отсохнет, как сухая ветка!

Готлиб страшно захрипел, хотел вскочить на ноги, но у него не хватило сил, и он покатился к самым ногам Германа. Лицо его было страшно бледно, волосы слиплись от крови, он начал кричать от боли. Этот крик потряс Германа до глубины души, он бросился к сыну, чтобы перевязать его рану, но Готлиб начал биться об пол, метаться и кричать, чтобы отец не прикасался к нему.

— Оставь меня, пусть я издохну! Не хочу твоей помощи!

Прибежала служанка, разбуженная криками, и остолбенела от страха.

— Чего стоишь, — крикнул на нее Герман, — иди помоги мне связать этого бешеного, иначе вся кровь из него вытечет!

После долгой возни Готлибу связали платками руки и ноги, кое-как обмыли и перевязали ему рану и положили, измученного, охрипшего, на кровать. Он еще с минуту кричал, но, ослабев до крайности, вскоре заснул, как колода.

Служанка ушла, дрожа от страха и изумления, не зная, что все это означает, что случилось с Германом и его сыном. А Герман остался один в своем кабинете.

Все, что произошло после страшной минуты его пробуждения, длилось так мало, промелькнуло так неожиданно, было так необыкновенно, неестественно, что Герман долго стоял посреди кабинета, тяжело дыша, не двигаясь, не соображая. Он старался припомнить и уяснить себе все, что произошло с ним за эти несколько минут, но ясность мысли и воспоминания возникали так медленно, что еще долго, глядя на то, как он стоит, можно было подумать, что это каменная статуя, а не живой человек.

Постепенно Герману становилось ясно, что случилось; происшедшее вставало перед ним во всей своей страшной, обнаженной правде. «Мой сын первый жаждет моей смерти. Ненавидит меня остро, упорно, как самого злого врага! За что? Для того ли я работал всю свою жизнь, высасывал, обдирал, чтобы теперь не быть спокойным за свою жизнь даже в присутствии родного сына? А мое счастье, которым я так славился, — где оно? Разве я хоть раз в жизни испытал его? Разве только тогда, когда я еще мальчиком разъезжал на возу тряпичника?.. Боже, боже! За что ты покарал меня богатством? За что, за какие грехи отравил мою кровь горячей жаждой денег? Чем я заслужил это? Разве из меня не мог выйти хороший человек? Мог—я теперь это чувствую, но ты, ты толкнул меня на эту проклятую дорогу! Ты показывал мне на ней призраки счастья — фальшивые призраки! Ты обманул меня. Ты несправедлив! Я проклинаю тебя! Пусть на тебя падет вина за сегодняшнюю ночь, за слезы тех тысяч, которые из-за меня стали несчастными! На тебя, на тебя!.. Я только слабый человек, помимо твоей воли я ничего не мог сделать! Ты все допустил, ты виноват во всем!..»

И Герман, обезумевший от боли, грозил небу кулаками, отрекался от всего, как ребенок, отрекался от последнего зерна человеческой природы, которое еще сохранилось в нем, не сожженное убийственной золотой лихорадкой. Но чем больше отрекался, чем больше проклинал небо, тем тяжелее становилось ему. Он не мог сразу охватить глазом всю неизмеримую пропасть несчастья, унижения и одичания, в которой теперь очутился. Но, отрекаясь от всего перед самим собою, он разворошил всю мерзость, которая издавна накопилась в его жизни, и увидел ясно причину всего того, что теперь мучило его и терзало. Какими огненными, жгучими буквами возникали записанные в глубине его сердца вечные законы братской любви, честности и равенства всех людей! Каким безмерным упреком звучали в его ушах все общественные раны, все путы и тяготы человеческой жизни, которые он до сих пор так мало ощущал, о которых даже не думал никогда! «И ты способствовал увеличению этих ран и добавил свою долю к этим тяготам, давящим твоих братьев!» Общественная борьба,

о которой одни болтают от скуки, другие — ради выгоды, третьи — от ненависти ко всему, что человечно, честно, естественно, встала лицом к лицу перед Германом в первый раз теперь, в страшную минуту наивысшего духовного потрясения, наибольшей тревоги, тягчайшей сердечной муки. Лишь теперь ясно понял он все, что раньше мерещилось ему, как сонные видения. Теперь он понял, почему его сердце не раз болело в дни наибольших спекулятивных удач, почему какая-то тоска, какое-то неудовлетворение терзало его сердце каждый раз, когда он после расчетов с рабочими подсчитывал доходы, оторванные им от их нищенской платы, ради которой они нанимались к нему на работу. Лишь теперь понял Герман, какой он, страшный преступник, он, который долгие годы добивался славы твердого, холодного *Geschäftsmann*'а, который гордился ею, как наивысшей честностью, — гордился черствостью и бесчеловечностью! Но, осознав и поняв все, каким же обездоленным, слабым, несчастным почувствовал себя Герман! Разве это он сам, по своей злой воле стал извергом? Нет, он должен был стать им, вступив однажды на проклятый путь, должен был дойти до той цели, к которой шел! Должен был! Он ведь был сначала бедным лыбаком, он хотел выбиться из нужды, хотел счастья, — а счастье, как говорит весь свет, в богатстве. И этого счастья хотел он и хочет поныне, за этим счастьем он гнался неустанно, гнался кратчайшим путем. Он не мог остановиться, не мог повернуть обратно, — его подталкивали вперед другие, целая толпа таких, как он! Чем же он виноват в том, что эта дорога завела его в конце концов в пропасть? А кто же виноват? Герман не мог на это ответить, у него мутилось в голове. «Кто виноват в моей беде, в моей тоске? Кто недоброй рукой гнал меня все дальше, все быстрее вперед, кто ослепил мои глаза, чтобы я не видел ничего, пока не окажусь на дне бездонной пропасти? Кто это такой? Кто это?»

Герман боролся с мыслями, напрягался, но не мог найти ответа. Его глаза начали без цели и выражения блуждать по кабинету, перебегали с предмета на предмет. Наконец, они остановились и впились в одно место — в картину на стене, в ту самую картину, которая сегодня

утром вызвала целый ряд воспоминаний в душе Германа, а ночью ожила таким страшным образом. Герман замер на месте. Вся тревога, весь суеверный страх, потрясавший сегодня его душу, ожили теперь в одно мгновение и вызвали смертельный пот на лбу Германа. Каким свирепым взглядом смотрела на него змея! Это тот самый взгляд, который во сне заморозил всю кровь в его сердце! Как сверкала на свету разноцветная чешуя на теле змеи! Это та самая чешуя, то тело, которое прикасалось к нему во сне, страшные объятия которого сдавливали его до костей, спирали дыхание в его груди, от которых вылезали глаза из орбит! О да, это та самая змея! Его сон продолжается. При мерцающем блеске свечи Герман видит ясно, как змея растет, движется, вытягивается, вздымает голову, свивает хвост в огромные кольца, все ближе, все ближе к нему!..

А! Что за мысль мелькнула вдруг в мозгу Германа? Это не змея, это бесконечно длинная, сросшаяся воедино и оживленная волшебной силой связка денег, серебра, золота сверкающего! О да, это именно так! Разве этот блеск, бьющий в глаза от змеиной чешуи, — разве это не блеск золота и серебра? А эти разноцветные пятна на ней — разве не различные векселя, контракты, банкноты?.. О, это так, это не змея обвиняет его своими гигантскими петлями, а его собственное богатство! А как злобно, как свирепо смотрит на него волшебное чудовище! Оно уверено в своей добыче, оно знает, что от его железных объятий, от его ослепительного блеска никто не уйдет! Оно знает, что никакими путями не уйдет от него Герман, потому что он на дне пропасти, он — жертва отчаяния, и оно, оно завело его сюда!

Герман все это понял в одну минуту безмерной боли и тревоги. Он заревел, как раненый зверь, так что даже окна зазвенели от его рева. Он чувствовал, что одна эта мысль превращает в прах, в ничто его всего, с его жизнью, надеждами и планами, — его охватило такое чувство, какое должен испытывать человек, которого заживо четвертуют. Зажмурив глаза, он в бешеном беспомоществе бросился вперед, на стену, схватил проклятую картину и швырнул ее об пол что было силы. Золоченая рама разлетелась на куски с треском, но Герман не

опомнился. Он вскочил на полотно и как безумный начал топтать его, плевать на рисунок, скрести краску ногтями и потом, наступив на один конец ногою, схватился за другой и разодрал на два куска, смял их в комья и выбросил из окна. Он был словно в припадке — грудь часто вздымалась и опускалась, кровь клокотала в жилах, перед глазами все вертелось, смешивалось, исчезало. Он оделся и, словно спасаясь от погони, выбежал на улицу.

Была полночь. Прозрачные клубы облаков напозлали медленно с востока и густой пеленой заволокли уже половину неба. Сквозь редкие просветы между ними виднелся темный фон неба с блестящими звездами. Холодным ветром тянуло от Губичского леса. Немые постройки маячили в темноте своими остроконечными контурами, словно огромные, заостренные кверху стога сена. А ниже, над землей, все тонуло в глубокой тьме среди черных глиняных холмов. Только улица ширилась перед глазами Германа, словно разбушевавшийся и вдруг замерзший поток грязи. С краю улицы, вдоль канавы, шла узенькая утоптанная дорожка для пешеходов. Герман торопливо шел по ней вперед, шел, не думая — куда и зачем. Его гнало что-то прочь от дома, — ему тяжело было оставаться до утра в этом проклятом жилище, и он шел, шел вперед по Бориславу, словно убегая от кого-то, словно торопясь по какому-то важному делу.

— Gott's Fluch über mir!* — бормотал он, вспоминая окровавленное, искаженное страстью и идиотическим бешенством лицо Готлиба, и невольно ускорял шаг.

Сонный Борислав раскинулся вокруг него, словно озеро грязи, глины, неопрятных домов, складов, фабрик, горя и мучений. Он знал хорошо, что вся эта разнородная масса сейчас лежит замертво, объята глубоким сном, — однако холодный ветер, дувший ему в лицо, так сильно и так болезненно бил его по нервам, что перед ним все словно колыхалось, раскачивалось, двигалось. Тот мертвый Борислав, всемогущим господином, царем которого он был несколько часов тому назад, теперь, казалось, восставал против него. Дома преграждали ему дорогу, колодцы, как отверстые пасти, появлялись у него под

* Господне проклятье надо мною! (еврейск.)

ногами, а из этих колодцев, из страшной глубины, слышны были раздирающие душу стоны, проклятья и крики смертного отчаяния и вопли умирающих. Но прежде чем Герман мог опомниться, призраки исчезали, оставляя в его сердце только ледяной холод тревоги, подобно вонзившимся стрелам.

—Gott's Fluch über mir! Gott's Fluch über mir!—бормотал он, и перед его глазами с поразительной живостью пронеслась мертвая голова и весь скелет Ивана Пивторака, — ему показалось, что скелет стоял тут, перед ним, посреди дороги, и грозил ему своей сгнившей костлявой рукой. Тут его мысль, которая среди всех этих треволнений билась и металась, как птица в силке, остановилась на одном предмете, ухватила за него, как утопающий за соломинку.

Что случилось с его доверенным, который так внезапно побледнел и обессилел, услышав рассказ старого Матвея? Действительно ли его болезнь пришла так, сама по себе? Или, может быть, доверенный предчувствует какую-то беду? Почему Матвей расспрашивал, когда Иван прекратил работу? Почему не захотел сказать ничего больше?.. Эти мысли мелькали теперь у Германа в голове, но только гораздо настойчивее, чем во время выплаты. Он старался заняться исключительно этим делом, не касающимся непосредственно его самого, чтобы хоть немного забыть все то, что давило и жгло его мозг. Он лихорадочно начал думать о гибели Ивана Пивторака, разбирать и рассматривать все обстоятельства. Иван задумал заработать столько, чтобы купить себе в Тустановичах домик и клочок земли и ради этого не брал еженедельного заработка, а живя вместе с женой, обходился ее скудным заработком, а своего не трогал. Внезапно Иван исчез куда-то, а когда его жена пришла к Герману за деньгами, которые заработал ее муж, Герман увидел, что в книге расхода стоит отчетливая запись его собственной рукой: «Взял такого-то числа все деньги». Но Герман напрасно напрягает память, чтобы припомнить, платил ли он когда-нибудь эти деньги Ивану лично. Может быть, Иван взял их через доверенного, как это часто делают рабочие? Но что же вытекает из всего этого? Ничего, до тех пор пока мы не примем

во внимание бледность и недомогание доверенного при рассказе Матвея. Тогда это означает, что... что доверенный Германа либо сам убил Ивана, или, может быть, толкнул его, пьяного, в шахту, либо знал об этом и, возможно, поделился деньгами с убийцей?.. Во всяком случае ясно, что при трупе не было никакого следа денег. Ах, Матвей ведь говорил, что в Покров видел, что какой-то человек пил с Иваном! Кто был этот человек? Почему Матвей не хотел этого сказать? Здесь что-то есть!

Занятый такими невеселыми мыслями, Герман шел дальше, все дальше, пока не очутился на самом краю Борислава, где сгрудилось несколько нищенских, старых, крытых гнилой соломой хаток, в которых жили нефтяники. В одной из этих хаток, у самой дороги, еще горел свет. Этот огонек среди сплошной темноты привлек внимание Германа. Он тихонько подошел к ней и заглянул через маленькое оконце внутрь. Он не знал, кто живет в этой хатке, и ему вовсе не хотелось узнать. Что-то влекло его посмотреть, как живут эти рабочие дома, вне шахты, что говорят, чем занимаются. Впрочем, и это не особенно интересовало Германа, потому что он много раз бывал в таких хатках, много раз окидывал холодным, высокомерным взглядом всю нищету, которою они были полны снизу доверху! Но сегодня каким-то странным образом все, на что бы он ни посмотрел, казалось ему не таким, как обычно, — все, к чему ни прикоснись, изменялось, преображалось, словно заколдованное. Самые повседневные, обыкновенные вещи являлись ему сегодня с новых, неведомых доселе сторон, — вот что повлекло Германа под оконце нищенской рабочей лачуги. Тут ожидало его еще одно, совсем неожиданное потрясение, которому суждено было довершить моральный переворот в его душе, переворот глубокий, страшный, болезненный, который сегодня совершался в нем силой всех жизненных впечатлений, в результате всех добрых и злых сил, которые он в себе накопил.

В хате, в окно которой заглянул Герман, все свидетельствовало о страшной нужде и запустении. Тесная комната с голыми, давно не белеными, закопченными, ободранными стенами походила скорее на гроб, чем на человеческое жилье. Большую часть ее занимала глина-

ная печь с лежанкой, к которой примыкали дощатые нары, покрытые соломой и грубой дерюгой, — вот и вся постель! Ни стола, ни стула не было. На колышке над нарами висели какие-то женские лохмотья, а рядом на двух веревках дощатая, грубо сколоченная люлька. Вот и вся обстановка, какую увидел Герман внутри! На нарах сидела еще молодая, хотя страшно изможденная нуждой и непрерывным тяжким трудом женщина. На ней была грязная сорочка из дёмотканного холста и еще более грязная пестрая юбка, а на голове старый чепец и поверх него изношенный, дырявый платок неопределенного цвета, из-под которого выбивались длинные волосы. Она одной рукой слегка покачивала люльку, а другой время от времени утирала слезы, которые, как видно, помимо ее воли набегали ей на глаза. Герман хорошо знал эту женщину — это была вдова Ивана Пивторака. Перед нею, повернувшись к окну боком, сидел на лежанке старый Матвей с неразлучною трубкой в зубах.

— Эх, Марыся, Марыся, — говорил старый Матвей мягким дрожащим голосом. — Не о такой жизни мечтал я для тебя и Ивана! Да что говорить! Не знаю, бог ли не судил, лихие ли люди не дали!

Марыся вместо ответа громко зарыдала, всхлипывая, как ребенок.

— Будет тебе, — уговаривал Матвей, — не время теперь плакать, ничему не поможешь, только здоровье повредишь! Тогда надо было плакать да кричать, когда пропал он, — тогда оно, может, и помогло бы, а теперь!..

— Ох, боженька мой, — воскликнула бедная женщина, — да разве я, несчастная, знала, куда он девался? Говорил он мне, что пойдет в Дрогобыч, а оттуда в Тустановичи, чтобы покончить с покупкой того несчастного участка, потом еще куда-то хотел идти. Еще я ему, бедняге, сказала: «Может, лучше было бы тут поближе купить какой-нибудь пустырь, — и на работу близко, и все». А он мне: «Пусть, говорит, меня бог хранит от этой работы, не хочу и в глаза ее видеть! Лучше я с голоду издохну среди добрых людей, косить буду, молотить, жернова ворочать, что хочешь делать за кусок хлеба, только бы и дня не оставаться в этой западне!» Да вот как ушел — и по нынешний день!

Матвей заерзал на месте, услышав эти слова.

— А когда это было, не знаешь? — спросил он. — Когда Иван ушел?

— Да он отправился вечером, на самый Покров. Не знаю, люди говорили, что его еще видели у Кирицкого.

— А он потом еще вернулся из города?

— Да говорили что-то, будто вернулся и деньги, говорят, взял у пана.

— А ты его потом видела?

— Нет, не видела.

— А ты знаешь наверное, что он деньги взял?

— А как же! Знаю наверное, я сама ходила к пану спрашивать. Жду целую неделю — нет Ивана. Я иду к пану, чтобы хоть деньги отдал. «Что это ты, говорит, за деньгами приходишь, когда твой муж только вчера тут был и деньги забрал!» Еще раскричался на меня. Вот и все!

Матвей слушал ее рассказ с напряженным вниманием и, как видно, что-то соображал. Довольно долго оба молчали.

— Пропало! — сказал, наконец, Матвей, тяжело вздыхая. — Нечего и вспоминать! Если какой-нибудь злой человек удружил ему, пускай его бог накажет за все! Спокойной ночи, бедняжка! Не плечь, не горюй, когда-нибудь бог пошлет радости!

— Ой, нет! — ответила женщина, заливаясь слезами. — Будет у меня радость, только уже на том свете, не тут! Будьте здоровы, пусть бог вас сторицей наградит за то, что пришли утешить меня, бедную.

Матвей, не говоря больше ни слова, вышел из хаты. Герман притаился за углом и еще некоторое время видел, как старый нефтяник шел, размахивая руками и бормоча что-то себе под нос, словно советовался с самим собою. Но скоро старик исчез в темноте, а Герман, весь дрожа от холода и прилива новых мыслей и догадок, снова стал под окном. Его черствое сердце таяло при виде этой несчастной женщины, он ясно ощущал, что, когда она говорила, слезы подступали к его глазам, — тяжкие, горячие, давно не виданные слезы! Он чувствовал и видел теперь, что с нынешним днем кончится для него старая жизнь, а завтра начнется новая. Он хорошо знал, что завтрашний день застанет его уже совсем не тем челове-

ком, каким он был вчера. Переворот происходил быстро в его душе, переворот глубокий и сильный. Что должно было стать смыслом его новой жизни, каково будет ее направление — этого Герман не знал, не мог на этом сосредоточиться. Да и какое ему до этого дело? Когда старое здание обрушится до основания, дотла, когда развалины сгорят и обратятся в пепел, то новое здание построить нетрудно. Какое здание? Для чего? Из чего? — это покажет время, покажет потребность, покажет совесть!

После ухода Матвея Иваниха, заперев дверь, долго стояла посреди комнаты, словно остолбенев. Слезы не лились из опухших, покрасневших глаз, она не стонала, не голосила, не плакала. Она стояла неподвижно и молча смотрела на свое дитя, спавшее в люльке. Только лицо ее отражало боль, разрывавшую ее сердце, ее страдания. Но вот минута отчаяния прошла, бурным потоком вырвалось затаенное горе.

— Дитятко мое, дитятко мое! — рыдала она, припав к люльке. — Нет твоего тата, не придет уже никогда. А ты, бедняжка, уже так хорошо кличешь: та-та-та! Не докличешься тата никогда, ангелок мой милый, не докличешься! На кого же нам теперь надеяться? Кто нам поможет в беде, в несчастье? Кто присмотрит, защитит? Господи, зачем ты забрал его к себе, а меня оставил на такую тяжкую недолю?..

Слезы прервали ее причитания. Ребенок в люльке проснулся от ее голоса, поднял головку, протянул ручки к маме.

— Та-та-та! — пролепетал он. — Та-та-та!

Бедная вдова зарыдала еще сильнее. Невинный, милый голосок ребенка вонзался, как нож, глубоко в ее сердце. Она целовала ручки ребенка, обливая их горячими слезами.

Герман стоял под окном как громом пораженный. Эта картина нищеты, разбитых надежд, отчаяния рядом с детской беспечностью довершила то, чего не могли довершить все разнообразные и такие сильные впечатления сегодняшнего дня. Горячие слезы хлынули из его глаз. Его рука судорожно сжала в кармане целую горсть серебряных монет. Он размахнулся и изо всей силы швырнул их через окно в комнату. Задребезжало разбитое стекло.

зазвенело серебро, рассыпаясь по комнате. Этот звон и дребезг поразили Германа не меньше, чем Иваниху. В его ушах они прозвучали, как вопль скорби, жалобы и отчаяния. Какая-то стихийная, неведомая сила повлекла его, и он пустился во всю мочь бежать вверх по улице так, что земля под ним загудела.

— Господи, что это? — вскрикнула испуганная Иваниха, услышав звон выбитого стекла. Она оглянулась и изумленными глазами стала смотреть на серебро, которое катилось во все стороны по полу. Что это? Окуда этот неожиданный дар? Кто это сжалился над ее нуждой и таким странным способом посылает ей помощь?.. От удивления она долго не могла прийти в себя. Наконец, плач ребенка отрезвил ее. Она выбежала во двор, — но возле хаты не было никого. Только звук поспешных человеческих шагов на улице указывал, куда убегал Герман.

[И что же дальше?

Эх, милые читатели, дальше жизнь пошла своим обычным путем, — Герман не стал хорошим человеком. Его милосердный порыв под окном бедной вдовьей хаты был минутным; минута прошла, и он должен был снова стать тем, чем сделала его жизнь, — холодным, бессердечным дельцом, не обращающим внимания на стоны, нужды и вдовьи слезы.

И Мошко остался и дальше доверенным Германа, и хотя Иваниха и Матвей обратились в суд с просьбой произвести следствие в связи с найденным трупом, да кто докажет вину Мошка, если его собственная совесть молчит? Кого судьба обрекла на гибель, тот и погибнет, — никакой суд ему не поможет, разве только он сам добьется правды. Но это далекая-далекая история]⁶.

Борислав смеется

Повесть

1880 — 1882

Солнце уже достигало полудня. Часы на башне ратуши быстро и жалобно пробили одиннадцать. От кучки веселых, нарядных дрогобычских господ-обывателей, гулявших возле костела, в тени цветущих каштанов, отделился господин строитель и, размахивая блестящей тросточкой, пересек улицу, направляясь к рабочим, занятым на только что начатой стройке.

— Ну что, мастер, — крикнул он, подходя, — готово у вас, наконец?

— Все готово, пан строитель.

— Ну, так велите бить раст*.

— Хорошо, пан! — ответил мастер и, обращаясь к помощнику, который стоял рядом с ним, кончая обтесывать для фундамента громадную глыбу попелевского песчаника, сказал: — А ну, Бенедя, олух этакий! Не слышишь разве, что пан строитель велит раст бить?.. Живо!

Бенедя Синица бросил кирку на землю и поспешил исполнить приказание мастера. Перепрыгивая через разбросанные вокруг камни, запыхвшись и посинев от натуги, он бежал во всю мочь своих худых, словно щепки, ног к высокому забору. На заборе была подвешена на двух веревках доска, а рядом с нею на таких же веревках болтались две деревянные колотушки, котсрыми стучали

* Звонком или ударами в доску объявить конец рабочего дня (от немецкого *R a s t* — отдых, передышка).

по доске. Таким способом давались сигналы к началу и окончанию работ. Бенедя, добежав до забора, схватил колотушки в обе руки и изо всех сил загремел ими о доску.

«Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» — раздался веселый, громкий лай «деревянной суки»... Так каменщики образно называли это приспособление. «Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» — без передышки гремел Бенедя, улыбаясь доске, которую так немилосердно истязал. И все: каменщики, занятые на широкой площадке кто обтесыванием камня для фундамента, кто гашением извести в двух глубоких четырехгранных ямах, все землекопы, которые рыли котлованы под фундамент, плотники, стучавшие топорами, словно дятлы, обтесывая громадные стволы елей и дубовые балки, пильщики, пилившие тес ручными пилами, рабочие, складывавшие привезенный кирпич, — весь этот разнообразный рабочий люд, сновавший, как муравьи, по площади, двигаясь, стуча топорами, покачиваясь, кряхтя, потирая руки, перебрасываясь шутками и смеясь, — все остановились и перестали работать, подобно огромной сторукой машине, которая при одном нажмие кнопки вдруг прекращает свой бешеный ход.

«Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук», — не переставал упорно греметь Бенедя, хотя все уже давно услышали лай «деревянной суки». Каменщики, которые стояли, согнувшись над каменными глыбами и с размаху звонко ударяли в твердый песчаник, так что время от времени искры взлетали из-под кирок, теперь, бросив свои инструменты, распрямляли спины и широко разводили руки, чтобы вобрать в себя как можно больше воздуха. Те, кому удобнее было работать на коленях или на корточках, медленно поднимались на ноги. В ямах шипела и хлопотала известь, словно злилась, что ее сперва жгли на огне, а потом бросили в холодную воду. Пильщики так и оставили пилу в недопиленном бревне: она повисла, зацепившись верхней рукояткой за бревно, и ветер раскачивал ее из стороны в сторону. Землекопы повтыкали лопаты в мягкую глину, а сами выбрались наверх из глубоких рвов, вырытых под фундамент.

Между тем Бенедя перестал стучать, и весь рабочий люд, выпачканный кирпичной пылью и глиной, с опил-

ками и мелкими осколками камней на одежде, руках и лицах, начал собираться у фасада нового строения, где находились главный мастер и господин строитель.

— Как же мы, пан, спустим этот камень на место?— спросил мастер строителя, опершись широкой сильной рукой о громадную, обтесанную для фундамента глыбу, которая хотя и лежала плоской стороной на небольших деревянных катках, все же доходила мастеру почти до пояса.

— Как спустим? — медленно повторил строитель, взглянув сквозь монокль на камень. — Очень просто — на шестах.

— А может быть, оно того... немного опасно, пан?— робко заметил мастер.

— Опасно? Это для кого же?

— Ну, конечно, не для камня, а для людей, — ответил, усмехаясь, мастер.

— Э-э-э! Вот еще. Опасно! Не беспокойтесь, ни с кем ничего не случится! Спустим!..

И господин строитель важно наморщил лоб и сжал губы, как будто заранее натуживался и напрягался, опуская камень на предназначенное для него место. — Спустим безопасно! — повторил он еще раз так уверенно, будто убедился, что его сил хватит для такого дела. Мастер в ответ недоверчиво покачал головой, но ничего не сказал.

Тем временем и остальные горожане, которые до сих пор небольшими группами прогуливались возле костела, услышав голос «деревянной суки», начали медленно стекаться к новой стройке, а впереди всех шел хозяин будущего здания — Леон Гаммершляг, высокий и представительный еврей с подстриженной в кружок бородой, прямым носом и красными, как малина, губами. Он был сегодня очень весел, разговорчив и остроумен, сыпал шутками и занимал, видимо, все общество, — все толпились и жались вокруг него. Затем с другой группой пришел и Герман Гольдкремер, самый уважаемый, то есть самый богатый, из всех присутствующих горожан. Он был более сдержан, тих и даже как будто опечален чем-то, хотя и старался не показывать этого. Затем шли другие предприниматели, богачи дрогобычские и бориславские, кое-кто

из чиновников и один ближний помещик, большой приятель Гаммершляга, вероятно потому, что все его состояние было в кармане у Гаммершляга.

Все это общество — в модных черных сюртуках, в пальто из дорогой материи, в блестящих черных цилиндрах, в перчатках, с строчками в руках и перстнями на пальцах — странно выделялось среди серой массы рабочих, пестревшей разве только красным цветом кирпича или белым цветом извести. Только веселый говор тех и других смешивался вместе.

Вся площадь на углу улиц Панской и Зеленой была заполнена людьми, лесом, камнем, кирпичом, тесом, кучами глины и походила на огромную руину. Только одна дощатая беседка чуть пониже, в запущенном саду, имела живой и привлекательный вид. Она была украшена зелеными елками у входа, внутри увешена коврами, в ней и вокруг нее суетились слуги, крича и перебраниваясь... Готовили угощение, которым Гаммершляг хотел отметить закладку нового дома. И еще один необычайный гость изумленно присматривался ко всему этому скоплению людей и предметов. Это была не бог весть какая важная персона, однако все поглядывали на нее с любопытством и удивлением.

— Послушай, Бенедя, — спросил измазанный глиной рабочий, — а это в честь чего здесь щегленка вывели?

— Что-то, видно, собираются с ним делать, — ответил Бенедя.

Рабочие перешептывались и поглядывали на щегленка, прыгавшего в проволочной клетке, подвешенной на шесте у самого котлована, но никто не знал, зачем он здесь. Даже мастер не знал, хоть и делал понимающее лицо и на вопросы рабочих отвечал: — Ишь ты какой, все ему надо знать! Состаришься, если все знать будешь!

А щегол между тем, оправившись от первого испуга при появлении всей этой толпы, прыгал по перекладинам клетки, тербил клювиком конопляное семя и время от времени, вскочив на верхнюю перекладинку, встряхивал красно-желтыми полосатыми крылышками и тоненько щебетал: «Тикили-тлинь! цюринь, цюринь! куль-куль-куль!»

Над шумной, говорливой толпой вдруг показалась голова Леона Гаммершляга, раздался его голос. Он вскочил на глыбу камня и обратился к присутствующим:

— Господа, мои дорогие и высокоуважаемые соседи!..

— Тише! Тише! Тс-с! — зашумело вокруг и затихло. Леон продолжал:

— Очень, очень благодарен вам за то, что вы были так добры и почтили своим присутствием мой сегодняшний, такой важный для меня праздник...

— О, пожалуйста, пожалуйста! — раздалось несколько голосов.

— Ах, вот и наши дамы идут! Господа, прежде всего пойдемте встречать дам, — и Гаммершляг снова исчез в толпе, а несколько молодых господ направились на улицу, куда как раз в эту минуту подкатили экипажи с дамами. Они помогли им сойти и под руку повели на площадь, где для дам было приготовлено место рядом с огромной каменной плитой.

Дамы эти были большей частью старые и некрасивые еврейки, которые недостаток молодости и красоты старались возместить пышным и показным богатством. Шелка, атласы, сверкающие камни и золото так и горели на них. Они поминутно осторожно осматривали свои платья, боясь испачкать их прикосновением к кирпичу, камням либо к не менее грязным рабочим. Одна лишь Фанни, дочь Гаммершляга, выделялась из толпы дам именно тем, чего им недоставало — молодостью и красотой, — и была среди них словно расцветающий пион среди отцветающих сорных трав. Поэтому-то вокруг нее группировались наиболее молодые из гостей, и скоро тут составила компания, в которой шла оживленная, громкая беседа, в то время как другие дамы, после первых обычных восклицаний изумления, после первых более или менее пискливых и заученных пожеланий хозяину всяческого благополучия сделались неразговорчивыми и начали глазеть по сторонам, словно в ожидании представления. Этим ожиданием вскоре заразились и остальные. Веселый говор затих. Казалось, вместе с дамами слетел на общество дух скуки и какой-то тягостной для всех принужденности.

И Гаммершляг как бы растерялся. Он словно забыл, что минуту тому назад начал было произносить речь и бегал с места на место, начинал то с одним, то с другим разговор о посторонних вещах, но все это как-то не клеилось. Вдруг он увидел перед собой Германа, который стоял молча, опершись о сложенные в штабеля бревна, и осматривал всю эту площадь так, словно собирался ее купить.

— А что же нет вашей супруги, дорогой сосед? — спросил Леон, улыбаясь.

— Простите, — ответил Герман, — она, вероятно, нездорова.

— Ах, какая жалость! А я надеялся...

— Впрочем, — ответил угодливо Герман, — разве она такая важная особа? Обойдется и без нее.

— Нет, любезный сосед! Пожалуйста, не говорите «неважная особа»... Что вы? Вот моя Фанни, бедное дитя, как бы она была счастлива, если бы имела такую мать!..

Лицо и глаза Леона явно выдавали лживость этих слов, но уста, послушные воле хозяина, произносили их, а рассудок соединял фразы, как того требовала выгода.

Но вот со стороны Лана¹, где на востоке виднелась высокая белая синагога, послышался сильный крик и шум. Все гости и рабочие обернулись в ту сторону. Через минуту показалась на улице как бы черная гудящая туча — это был еврейский кагал во главе с раввином, который должен был совершить обряд освящения закладки нового дома.

Вскоре всю площадь заполнили евреи, которые говорили все сразу, громко и быстро, сновали, как муравьи в потревоженном муравейнике, все осматривали и словно оценивали глазами, а затем вздыхали и покачивали головами, как бы удивляясь богатству Леона и вместе с тем жалея, что это богатство находится в его, а не в их руках. Несколько мелких панов-христиан, также бывших здесь, вдруг притихли и отступили в сторону, чувствуя себя не в своей тарелке. Сосед помещик хмурил брови и кусал губы от злости, видя себя в этой толпе торгашей, которая не обращала на него никакого внимания. Он, повидимо-

му, искренне проклинал в душе своего «сердечного друга Леона», но, однако, не сбежал, а простоял до конца обряда, после которого ожидалось угощение.

Всеобщий говор на площади не только не утих, но еще увеличился. Щегленок, испуганный внезапным наплывом этих черных крикливых людей, начал метаться в клетке, биться о проволоку. Старого седого раввина с длинной бородой взяли под руки два служки и подвели к каменной глыбе, приготовленной для фундамента. Вокруг образовалась такая давка, словно каждый непременно хотел быть возле самого раввина, невзирая на то, что там не хватит места для такого множества людей. Среди давки и шума толпы не слышно было того, что читал раввин над ямой. И только когда служки время от времени в ответ на его молитву выкрикивали «умайн», то есть «аминь», вся толпа повторяла за ними «умайн».

Пробило двенадцать. На колокольне возле костела, против новой стройки, загудел огромный колокол, возвещающая полдень. За ним зазвонили и все другие колокола дрогобычских церквей. Казалось, весь воздух над Дрогобычем застонал какими-то заунывными голосами, среди которых еще печальнее и жалобнее раздавалось нестройное, разноголосое «умайн». Рабочие, услышав звон колоколов, снимали шапки и начали креститься, а один служка, подойдя к Леону и поклонившись ему, прошептал: — Благослови бог вас и начатое вами дело. Мы уже кончили.— А затем, наклонившись еще ближе к Леону, зашептал еще тише: — Видите, господь послал вам хорошее предзнаменование, — вам будет удача во всем, что вы ни задумаете.

— Хорошее предзнаменование? Это какое же? — спросил Леон.

— Вы разве не слышите, что христианские колокола сами, по доброй воле, служат вам и призывают на вас благословение христианского бога? Это значит, что все христиане также будут вам добровольно служить. Будут помогать вам достичь того, что вы задумаете. Этот звон — хорошее предзнаменование для вас!

Если бы Леон услышал эти слова при других, он, наверно, посмеялся бы над ними. Он любил показать себя вольнодумцем, но в глубине души, как все малораз-

витые и себялюбивые люди, был суеверен. И сейчас, зная, что никто не слышал их, он с большой радостью встретил слова о хорошем предзнаменовании и сунул десятку в подставленный служкой кулак.

— Это для вас и для синагоги, — шепнул Леон. — А за доброе знамение — благодарение господу!

Обрадованный служка снова стал на свое место возле раввина и сразу же начал перешептываться с другим служкой, который, очевидно, спрашивал его, сколько дал Леон.

А тем временем господин строитель принялся уже за свое дело и начал командовать рабочими. — А ну, к шестам! — кричал он. — Бенедя, олух этакий, где твой шест?..

Галдеж на площади усилился. Раввина отвели в сторону, толпа расступилась, чтобы дать место рабочим, которые должны были сдвинуть огромную каменную глыбу и опустить ее в глубокий котлован. Дамы с любопытством протискивались вперед: им очень хотелось посмотреть, как будут опускать такой большой камень. Только щегленок весело щебетал в клетке да широкое равнодушное лицо солнца улыбалось сверху, с темносинего безоблачного неба.

Все приказания строителя были быстро исполнены. Поперек небольшой дорожки, по которой нужно было продвинуть камень, положили четыре катка, такие же толстые, как и те, на которых он лежал. Таких же два катка положили поперек ямы, в которую нужно было опустить камень. Рабочие окружили его с шестами в руках, словно собирались палками заставить его двигаться — сломить его каменное упрямство. Кое-кто шутил и смеялся, называя камень серой коровой, которую такое множество людей загоняет в стойло.

— Ну-ка, подвинься, маленькая! — крикнул один, толкая камень рукой. Но вот раздалась команда строителя, и все утихло. На всей многолюдной площади слышно было только человеческое дыхание и щебетание щегла в клетке.

— А ну, двигайте! Раз, два, три! — крикнул строитель. Десять шестов, словно десять огромных пальцев, подхватили камень с обеих сторон, и он медленно пополз

по каткам. Послышался тяжелый хруст щебня, которым была усеяна дорожка.

— Ур-ра! Эй! Нажми на него, пускай двигается! — весело кричали рабочие.

— Еще! — раздавался голос строителя.

Рабочие снова натужились. Снова захрустел щебень, заскрипели катки, и камень, словно огромная черепаха, медленно пополз вперед. На лицах присутствующих гостей видна была радость, дамы, улыбались, а Леон шептал какому-то «соседу»:

— Да! Что ни говорите, а все-таки человек — господин природы! Нет такой силы, которую бы он не преодолел. Вот скала, тяжесть, а и та движется по его велению.

— И особенно, прошу заметить, — добавил «сосед», — какая сила в единении людей! Соединенными силами творят чудеса! Разве один человек смог бы сделать что-нибудь подобное?..

— Да, да, соединенными силами — это великие слова! — ответил Леон.

— Ур-ра! Дружно! А ну! — весело кричали рабочие. Камень уже был над ямой, неподвижно лежал на двух поперечных перекладинах, которые по обеим сторонам котлована своими концами глубоко врезались в землю под его тяжестью. Однако предстояла самая трудная часть дела — опустить камень на дно котлована.

— А ну, ребята, живо, к шестам! — скомандовал строитель. Рабочие мигом заняли свои места по обеим сторонам рва и поддели пять пар рычагов под камень.

— Под ребра его! Так, чтобы у него сердце подпрыгивало, — шутили рабочие.

— А теперь поднимайте кверху! А как только перекладины будут отброшены в сторону и я крикну: «Ну!» — все разом вытаскивайте шесты и прочь от ямы! Понимаете?

— Понимаем!

— Только все сразу! Если кто запоздает, будет беда!

— Ну, ну! — крикнули рабочие и дружно налегли на шесты, чтобы приподнять камень. И в самом деле, он медленно, словно нехотя, отделился от перекладин, на которых лежал, и поднялся на несколько дюймов

вверх. У каждого невольно замерло сердце. Рабочие, посинев от натуги, держали камень на рычагах над ямой, ожидая, пока веревками вытащат из-под него перекладины и строитель даст сигнал выхватывать шесты.

— Ну! — крикнул вдруг строитель среди всеобщего молчания, и девять рабочих вместе с шестами метнулись в противоположные стороны. А десятый? Вместе с глухим грохотом камня, падающего на приготовленное место, все услышали глухой, болезненный стон.

— Что такое? Что такое? — раздалось голоса. Все начали снова проталкиваться вперед, шуметь и спрашивать, что случилось.

Случилась простая вещь. Девять рабочих выхватили одновременно свои рычаги из-под камня, а десятый — помощник каменщика Бенедя Синица — не успел сделать это во-время. Одна секунда опоздания, но эта секунда могла его погубить. Камень всей своей тяжестью рванул рычаг и вырвал его из рук Бенеди. Рычаг ударил его — счастье, что не по голове, а только в бок. Бенедя вскрикнул и замертво упал на землю.

Густым клубом взлетел вверх песок в том месте, где упал с размаху рычаг. Рабочие в смертельной тревоге бросились к Бенедю.

— Что это? Что такое? — спрашивали гости. — Что случилось?

— Шестом убило человека.

— Убило? Боже! — послышались возгласы дам.

— Нет, не убило, жив! — раздалось голоса рабочих.

— Жив! А! — перевел дух Леон, которому крик Бенеди словно клещами сжал сердце.

— А сильно искалечен?

— Нет, не очень! — Это был голос строителя, который при этом происшествии внезапно почувствовал, как у него начали дрожать колени.

Толпа шумела и теснилась вокруг искалеченного. Дамы охали и визжали, гримасничая и выставя напоказ свою чувствительность и мягкосердечие. У Леона все еще что-то глухо шумело в голове, и он не мог собраться с мыслями. Даже щегленок в своей клетке жалобно пищал и порхал по углам, словно не в силах был смотреть на человеческое страдание. А Бенедя все еще лежал

неподвижно, посиневший, без чувств, с крепко сжатыми зубами. Рычаг задел его острым суковатым концом за бок, прорвал фартук и рубаху и врезался в бедро, из которого лилась кровь. Но рычаг угодил ему и немного выше, под ребра, отчего у него на минуту прервалось дыхание.

— Воды! Воды! — кричали рабочие, стараясь привести Бенедю в сознание и перевязать ему рану. Принесли воды, перевязали рану и остановили кровь, но привести его в чувство не могли. Удар был слишком силен и пришелся в опасное место. Над толпой снова нависла туча тревоги.

— Заберите его, вынесите на улицу! — крикнул, наконец, Леон. — А не то отнесите домой и позовите доктора!

— Живо! Живо! — подгонял строитель.

В то время, как двое рабочих взяли Бенедю за руки и за ноги и понесли сквозь толпу на улицу, к строителю подошел сзади мастер и тронул его рукой за плечо. Строитель вздрогнул и резко обернулся, словно от прикосновения жгучей крапивы.

— Вот видите, пан строитель, я правильно говорил...

— Что, что такое? Кто говорил?

— Я говорил, — шептал мастер, — не спускать камень на шестах, опасно.

— Э, дурак! Этот хам не иначе, как пьян был, не отскочил во-время. Кто в этом виноват? — ответил сердито и высокомерно строитель и отвернулся. Мастер пожал плечами и замолчал. Но строитель почувствовал шпильку в его словах и кипел от злости.

Между тем пора было кончать закладку. Служки подвели раввина к маленькой, но довольно удобной лесенке, и он спустился по ней на дно котлована, где на предназначенном месте лежал камень. На поверхности камня была выдолблена четырехугольная довольно глубокая ямка, а вокруг нее багровели свежие пятна крови, брызнувшие из раны Бенеди. Раввин пробормотал еще какую-то молитву, а потом первый бросил небольшую серебряную монетку в выдолбленную в камне ямку. Вслед за ним то же самое проделали служки, а затем и остальные гости начали спускаться по лесенке и бросать

кто мелкие, кто крупные монеты. Дамы вскрикивали, пошатывались на ступеньках, поддерживаемые мужчинами; только дочь Леона, Фанни, горделиво и смело спустилась в яму и бросила дукат. За дамами и мужчины один за другим начали спускаться в котлован. Отпрыск польской шляхты шел следом за Германом и косо посмотрел на богача, когда тот брякнул блестящим золотым дукатом; у шляхтича в кармане был лишь серебряный гульден, но, чтобы не поступиться своим шляхетским гонором, он быстро отстегнул от манжеты золотую запонку и бросил ее в ямку.

Долго тянулась вереница гостей, долго звенело золото и серебро, падая в каменную ямку и заливая ее блестящей волной. Рабочие, стоявшие возле котлована в ожидании приказа мастера, с завистью смотрели на этот обряд. Наконец, бросание денег кончилось, — ямка наполнилась почти до краев. Леон, который до сих пор стоял возле лесенки и всем выходящим из котлована дружески пожимал руки (с Германом и шляхтичем он на радостях даже поцеловался), выступил теперь вперед и приказал принести плиту и цемент, чтобы замуровать фундамент. Рабочие бросились исполнять его приказание, а он тем временем подошел к клетке с щеглом.

— Тикили-тлинь! Цюринь, цюринь! Куль-куль-куль! — щебетала птичка, не ожидая для себя ничего плохого. Тонкий, чистый голосок щегла звенел в тихом воздухе, как стекло. Вокруг все смолки, с любопытством глядя на завершение торжественного обряда закладки. Леон снял клетку с птичкой с шеста и, высоко поднимая ее, сказал:

— Мои дорогие соседи, а сегодня гости! Великий это день для меня, очень великий. Человек, который сорок лет скитался по безлюдным пустыням и бурным морям, сегодня впервые увидел себя вблизи спокойной пристани. Здесь, в счастливом городе Дрогобыче, я задумал свить себе гнездо, которое было бы красой и славой города...

— Bravo, bravo! — закричали гости, прерывая его. Леон поклонился с улыбкой и продолжал:

— Отцы наши учили нас, что для того, чтобы начать какое-нибудь дело счастливо, чтобы счастливо его за-

вершить и счастливо воспользоваться его плодами, нужно прежде всего привлечь на свою сторону местных духов. Вы верите в духов, господа? Может быть, есть среди вас такие, которые в них не верят. Я, признаюсь вам, верю в них. Здесь, в этой земле, в этих каменных глыбах, в этой извести, в руках и в головах людей — во всем этом живут духи, сильные, таинственные. Только при их помощи будет воздвигнут мой дом, моя твердыня. Только они будут ее опорой и защитой. Умилостивить этих духов жертвой, кровавой жертвой — вот цель сегодняшнего великого обряда. Чтобы довольство и благополучие — не для меня, а для всего города — процветали в этом доме, вы любовной рукой бросили в эту каменную борозду золотое семя. Чтобы здоровье, веселье и красота — не для меня, но для всего города — расцветали в этом доме, я жертвую духам города этого жизнерадостного, здорового, веселого и красивого певца!

С этими словами Леон засунул руку в клетку. — Пи-пи-пи! — запищала птичка, порхая и прячась по углам. Однако Леон быстро поймал ее и вытащил из клетки. Щегол сразу замолчал в его руке, только смотрел вокруг испуганными глазами. Его красноперая грудь казалась большим кровавым пятном на руке Леона. Леон вынул красную шелковую нитку и связал ею щегленку крылья и ноги, а затем спустился по лесенке вниз к фундаменту. Вокруг воцарилась какая-то гнетущая тишина. Рабочие принесли большую плиту и вокруг четырехугольной ямки с монетами положили цемент, чтобы сейчас же замуровать это отверстие. Тогда Леон, прошептав еще какие-то слова, снял сначала с пальца золотой перстень и бросил его к монетам в каменную ямку, а затем положил сверху щегла. Птичка спокойно лежала на своем холодном, смертном ложе из золота и серебра, только головку подняла кверху, к небу, к своей ясной, чистой отчизне, но тотчас же большая плита прикрыла сверху этот живой гроб, утверждая будущее счастье дома Гаммершлягов...

В эту минуту Леон глянул в сторону и увидел на камне следы иной жертвы — кровь человеческую, кровь каменщицкого помощника Бенеди. Эта кровь, уже застывшая, поразила его до глубины души. Ему пока-

залось, что «местные духи» смеются над ним и берут все уж не такую ничтожную жертву, как только что принесенная им. Ему показалось, что эта другая, страшная человеческая жертва вряд ли будет ему на пользу. Капли крови, запекшейся на камне в темном котловане, показались ему черными головками железных гвоздей, которые пробивают, буравят и подтачивают основание его пышного строения. Ему стало вдруг как-то холодно, тесно в яме, и он поскорее выбрался наверх.

Гости теснились вокруг него с поздравлениями. Герман пожал ему руку и громко проговорил:

— Пусть этот небольшой клад, заложенный дружескими руками в основание вашего дома, растет и множится в тысячу раз! Пусть он станет основанием славы и богатства вашего рода!

— И точно так, как ваш дом сегодня закладывается на фундаменте из камня и золота, — добавил со своей стороны так же громко шляхтич, — пусть счастье и процветание вашего рода отныне основываются на всеобщей искренней дружбе и расположении к вам!

Леон радостно пожимал руки гостям, радостно благодарил их за дружбу и внимание, радостно объявлял о своем желании работать в дальнейшем только в сотрудничестве со всем обществом и для общества, но все же на сердце у него все еще лежали холодные сумерки, сквозь которые грозно проступали большие черные капли крови, словно живые железные гвозди, незаметно пробивающие и подтачивающие основы его счастья. Он чувствовал в словах гостей какой-то холод, за которым, несомненно, скрывалась глубоко запрятанная в их сердцах зависть.

Между тем рабочие под руководством строителя замуровали со всех сторон принесенную ими плиту и быстро возводили стену на дне котлована. Пробил час.

— Ну, ребята, хватит на сегодня работы! — крикнул Леон. — Нужно и вам немного повеселиться. Таких дней, как нынешний, в моей жизни немного, пусть же и для вас он будет праздником. Сейчас вам принесут пива и закуски, а вы, мастер, присмотрите за порядком.

— Хорошо, пан!

— А вас, мои дорогие гости, прошу со мной. Фанни,

доченька, будь хозяйкой и займись дамами! Пожалуйте, пожалуйста!

Гости, весело переговариваясь, направились между штабелей кирпича, камней и леса к дощатой, украшенной венками и разноцветными флажками беседке. Только раввин, служки и еще кое-кто из правоверных евреев пошли прочь не желая сидеть за одним столом с людьми, едящими трэфное*.

Пока господа, среди веселого шума, угощались в беседке, рабочие, образовав широкий круг, сидели под открытым небом на камнях... Два помощника наливали пива, двое других разносили ломти хлеба и сушеную рыбу. Однако рабочие были как-то необычно молчаливы. После несчастья с Бенедей еще у всех щемило в груди, да и весь этот странный еврейский обряд закладки им очень не понравился. Кто придумал замуровать живую пташку? Разве это принесет счастье? А, впрочем, может быть, и так... Действительно, хорошо кто-то сказал: «Панам забава, а курице смерть». А тут еще рабочие, которые относили Бенедю домой, возвратились и стали рассказывать, как старая мать Бенеди перепугалась и горько заплакала, увидев своего единственного сына без чувств, окровавленного. Вначале бедняжка думала что уж нет у нее больше сына, но когда удалось привести Бенедю в сознание, обрадовалась, как дитя: суетится вокруг него, и целует, и плачет, и охает, так что сердце разрывается, глядя на нее.

— Знаете, ребята, — отозвался мастер, — надо устроить складчину и помочь бедным людям. Нужно же им чем-нибудь жить, пока он будет болен и не сможет работать. Ведь старуха иглой не много наковыряет!

— Правильно, правильно! — закричали рабочие со всех сторон. — Скоро получка, каждый подбросит по пять крейцеров; нам убыток небольшой, а им поддержка.

— А как же строитель, — сказал один из каменщиков, — неужто он ничего не даст? Ведь все несчастье из-за него!

— Это еще хорошо, что так обошлось, — заметил

* Пища, запрещенная к употреблению еврейскими религиозными правилами.

другой. — Ведь камень мог и пятерых этак же изуродовать!

— Надо ему сказать, пусть и он поможет.

— Ну, это уж вы сами говорите, — сказал мастер, — я не буду.

— А что ж, и скажем, — ответило несколько голосов сразу.

Как раз в эту минуту строитель вышел из беседки, чтобы взглянуть на рабочих. Его лицо уже налилось густым румянцем от выпитого вина, а блестящая тросточка очень уж быстро летала из одной руки в другую.

— Ну, как, ребята? — крикнул он, подходя к рабочим.

— Все хорошо, пан, — ответил мастер.

— Ну, в таком случае продолжайте! — И хотел идти обратно.

— У нас есть к пану одна просьба, — послышался голос из кружка рабочих. Строитель обернулся.

— Ко мне?

— Да, — загудели все сразу.

— Ну, в чем дело?

— Мы к вашей милости, просим, чтобы вы приняли участие в складчине для того рабочего, которого сегодня рычагом пришибло.

Строитель стоял, не произнося ни слова, только румянец еще сильнее начал выступать на его лице, — знак того, что просьба неприятно его задела.

— Я? — сказал он, наконец. — А вы почему ко мне с этой просьбой лезете? Разве я виноват в этом, что ли?

— И мы, пан, не виноваты, но, сдается нам, следует все-таки помочь бедному человеку. Он болен, некоторое время не сможет работать, надо же ему и старухе матери чем-нибудь жить.

— Если хотите, помогайте, а я здесь ни при чем! Первому встречному лоботрясу помогай! Еще чего не хватало!.. Разгневанный строитель быстро повернулся и хотел было уходить, как вдруг один из рабочих, возмущенный его словами, громко сказал:

— Смотри, какой! А ведь сам больше всех виноват в том, что Бенедя искалечен! Вот если бы его самого так

изукрасило, я не пожалел бы, наверно, не то что пяти, а и десяти крейцеров на такого прохвоста!..

— Что? — заревел строитель и подскочил к рабочим. — Кто это сказал?

Молчание.

— Кто посмел сказать это? А?

Ни звука.

— Мастер, вы здесь сидели, — кто это сказал? Говорите, а не то вас выгоню с работы вместо этого мерзавца!

Мастер оглянулся на рабочих и спокойно сказал: — Я не знаю.

— Не знаете? Так я вас с этой минуты не знаю здесь на работе. Вон!

— Это я сказал! — отозвался один из рабочих, вставая. — Я сказал и еще раз скажу, что ты дрянь, если не хочешь помочь бедному рабочему. А за твою работу я не держусь.

Строитель стоял взбешенный и от злости не мог слова выговорить. Рабочий тем временем взял свой угольник, кирку и меру и, простившись с товарищами, спокойным шагом направился к рынку. Остальные рабочие молчали.

— Босяки, лодыри! — кричал строитель. — О, разве он дорожит работой? Ему бы только лежать вверх животом, как свинье в болоте. Но погодите вы, я вас научу порядку! Вы у меня другими станете! Ишь вы, мерзавцы! — И, трясаясь от злости и проклиная всю эту «рвань», строитель пошел обратно в общество господ.

В беседке тем временем царило веселье. После закуски слуги собрали блюда и тарелки, а вместо них поставили бутылки с вином и рюмки. Рюмки быстро совершали свой путь. Вино постепенно развязывало языки, умножало веселье и шум. Ароматный дым дорогих сигар клубился над головами до самого потолка, тонкой струйкой тянулось в окно. Слуги Леона суетились возле гостей, подавая каждому то, чего он хотел. Одни гости сидели группами, другие стояли или ходили, болтая, шутя либо торгуясь. Леон не покидал Германа. Сегодня он впервые так близко сошелся с этим крупнейшим бориславским тузом и почувствовал к нему какое-то странное влечение. До

сих пор они противостояли друг другу как враги. Леон лишь два года тому назад появился в Бориславе с наличным и немалым капиталом. Он был более образован, чем Герман, хорошо разбирался в коммерческих делах, читал кое-какие книжки по горному делу и думал, что достаточно ему только появиться в Бориславе — все покорится ему, и он станет единовластным господином. Он заранее мечтал о том, как он дешево закупит громадные, самые удобные для разработки участки, как заведет себе машины для более быстрого и дешевого извлечения подземных сокровищ, как поднимет всю местную нефтяную промышленность и по своему желанию будет повышать и понижать цены. Между тем на деле все оказалось иначе. В Бориславе были уже свои силы, к тому же такие силы, с которыми ему нелегко было тягаться, и самой большой силой был Герман. Леон вначале злился, видя, с какой нескрываемой неохотой принимают его старые бориславские предприниматели. Особенно Герман, этот простой, необразованный еврей-тряпичник, был для него как бельмо на глазу, и он старался всегда и всюду, где только мог, уколоть его, а в обществе никогда не упускал случая вежливо показать Герману свое духовное превосходство. Герман мало обращал внимания на эти уколы, а донимал его на деловом поприще: перехватывал участки, которые хотел купить Леон, переманивал его лучших рабочих и вместе с тем при встречах с Леоном всегда делал вид, будто ничего не случилось. Это было уже слишком. Леон увидел, что таким способом не добьется ничего. Правда, до сих пор в Бориславе ему везло: он напал на несколько богатых жил горного воска, нефть также шла хорошо; но Леон справедливо боялся, что счастье не вечно будет к нему благосклонно, что оно, возможно, когда-нибудь и отвернется от него, а в таком случае — лучше иметь сильных друзей, нежели сильных врагов. К этому прибавилось еще и то, что после смерти жены у Леона появилось желание пожить спокойно, ссесть, пустить корни, воспользоваться на старости плодами своей беспокойной, хлопотливой жизни и обеспечить хорошую жизнь своей единственной дочери. Тут же, ясное дело, нужно иметь кружок друзей, а не врагов. К тому же он услышал, что у Германа есть единственный

сынок во Львове, в ученье у купца,—и у него сразу возникла мысль: сын Германа и его Фанни — вот это пара; самые крупные капиталисты, вместо того чтобы бороться и подкапываться друг под друга, соединяются, связанные тесными семейными узами, — и мысль Леона строила золотые замки на этом крепком фундаменте.

— Видите ли, дорогой сосед, — говорил он Герману, — сам не знаю, в чем дело, отчего меня так потянуло к спокойной, тихой и счастливой пристани. Ведь был же я до сих пор, словно перелетная птица: то здесь, то там. Нет, пора успокоиться!

— И я то же говорю, — сказал Герман, делая вид, будто этот разговор его очень занимает.

— Не дал мне бог сына, как вам, но у меня есть дочь, милое дитя. Видеть ее счастливой, с любимым человеком, в кругу детей — ох, это единственная цель моей жизни...

— Даст бог, и это сбудется.

— Да, я очень желаю этого!.. Ах, и еще кружок добрых друзей, таких, как вы, дорогой сосед. Больше мне ничего не нужно для того, чтобы быть счастливым.

— Ну, что касается меня, — сказал, усмехаясь, Герман, — я из Дрогобыча никуда не убегу, я всегда к вашим услугам.

— О, я знаю, — сказал Леон и крепко сжал Герману руку, — я знаю, что вы искренний, добрый человек! Не поверите, как давно хотел я с вами поближе познакомиться... А ваш сын? Правда, я не имею чести знать его лично, но и он уже заранее мил и дорог мне, как собственное дитя.

Герман слегка поморщился при воспоминании о сыне, словно вдруг в медовом прянике разгрыз зерно перца.

— Мой сын... — проговорил он неохотно. — Благодарю вас за доброе слово! Работает, как может.

— Об этом нечего и говорить! — воскликнул Леон. — Я и сам знаю, что сын такого отца, наверное, и минуты не просидит зря. Эх, дорогой сосед, как бы я был счастлив, если бы мы могли соединиться с вами, сойтись близко во всем, так, чтобы... — Он замолчал и глядел на Германа, а Герман на него, не догадываясь, куда тот метит.

— Знаете, — снова начал Леон, — в нынешний день, такой большой и счастливый для меня...—В эту минуту собеседники встали и подошли к окну: в павильоне было очень душно. Герман выглянул в окно. Едва он отошел от окна, как вдруг кусок кирпича пулей влетел в окно, как раз в том месте, где стоял Герман. И в ту самую минуту, когда Леон говорил о большом сегодняшнем счастье, кирпич врезался в кучу стаканов, стоявших на столе. Жалобно зазвенело и разлетелось стекло, а кирпич полетел дальше и, ударившись о противоположную стену, упал на землю. Все сорвались с мест, а Герман побледнел как полотно: он догадывался, что кирпич предназначался для него.

— Что это? Что? Кто это такой? — слышались встревоженные голоса. Леон, Герман и еще кое-кто из гостей выскочили во двор. Во дворе также был шум.

— А ну, хватай его, босяка! — кричал изо всех сил мастер.

— Кто здесь бросил кирпич? — крикнул Леон.

— Да вот, прошу пана, какой-то босяк, угольщик. Шлялся здесь по улице, высматривал, высматривал, а потом увидел вот этого господина в окне (он указал на Германа), схватил кирпич, да как швырнет — и наутек! Держи его, держи, да в полицию! — снова закричал мастер двум рабочим, которые гнались вниз по Зеленой улице за убегающим молодым угольщиком в черной, как деготь, рубахе и в таком же фартуке.

— Эва, как удирает, bestия! Не догнать! — говорил мастер. Рабочие, гнавшиеся за парнем, были, повидимому, такого же мнения, потому что, запыхавшись, остановились. Однако один из них наклонился, поднял камень и запустил им в убегающего, который в эту минуту готов был скрыться за поворотом. Камень угодили угольщику в самую пятку, и тот, почувствовав боль, дико вскрикнул и исчез за стеной. Крик этот странно поразил Германа.

— Что это за паренек? — спросил он. Никто не знал угольщика. Леон взглянул на Германа и даже испугался.

— Боже мой, что с вами?

— Ничего, ничего, — ответил Герман, — это от жары, видимо. Какое-то стеснение в груди. Но этот голос, этот голос... такой странный...

Леон не мог понять, чем странен этот голос. Ему он показался самым обыкновенным. И Герман не мог объяснить себе, что это за голос, — ему казалось, что он где-то слышал его, но где — не знал. Знал только, что какой-то таинственной, необъяснимой силой этот голос воскресил в нем какие-то страшные, давно забытые впечатления, какую-то бурю, следы которой еще не изгладилась в его сердце. Но что это за впечатления, как они возникли и как были связаны с этим диким, мучительным криком угольщика, — этого Герман не мог себе объяснить

Леон между тем взял его под руку и повел в сад под тенистые деревья на душистую высокую траву. Прохладный, свежий воздух быстро успокоил Германа, и Леон снова начал говорить ему о своих желаниях и надеждах.

— Ах, как горячо и давно я ждал наступления такого дня, как нынешний! Как я хотел, чтобы этот день начал новую, спокойную, счастливую полосу моей жизни! Чтобы от него во все стороны протянулись счастливые для меня нити, завязывались счастливые узлы. И вот настал этот день, надежды мои сбылись, узлы завязаны, кроме одного, самого главного... Ах, а вы, мой дорогой сосед и друг, вы сделали бы меня самым счастливым человеком в мире, если бы помогли мне завязать этот последний, самый главный узел!..

— Я? — спросил изумленный Герман. — Какой же это узел?

— Что тут долго говорить! — сказал Леон и взял Германа за руки. — Самое глубокое желание моего сердца, чтобы наши дети, моя Фанни и ваш Готлиб, составили пару!

Герман молчал. Эта мысль не была для него неожиданной, все же его несколько поразило то, что от Леона первого услышал он это предложение.

— Что же, вы согласны? — спросил Леон.

— Гм, не знаю, как бы это... — сказал нерешительно Герман.

— Вы колеблетесь? Не раздумывайте, дорогой сосед. Разве вы не видите тех выгод, которые принесет нам этот союз? Подумайте только: мы, две первые, смею

сказать, бориславские силы, мы породнимся, соединимся воедино: кто тогда сможет противостоять нам? Все будут покорны нашей воле, а кто не захочет, тот одним нашим ударом будет повержен в прах! Подумайте: мы станем хозяевами всего нефтяного рынка, мы будем определять цены, скупим окрестные села, леса, каменоломни и копи! Весь этот край в наших руках. Не только торговые и промышленные, но и политические дела края в наших руках. Все выборы проходят, как мы хотим, депутаты и представители говорят то, что мы велим, защищают наши интересы, помещики и графы добиваются нашей милости! Понимаете ли вы? Мы — сила, и, пока будем держаться вместе, до тех пор никто против нас не устоит! — И, разгоряченный собственными словами, Леон бросился обнимать Германа.

— Согласны, дорогой друг, брат мой? — воскликнул Леон.

— Согласен, — сказал Герман, — только не знаю, как моя жена.

— Разве ваша почтенная и умная жена может не желать счастья своему сыну и моей дочери? Нет, этого не может быть! Пойдем, пойдем к ней! Я сегодня же должен уладить это важное дело. Как только разойдутся гости, пойдем вместе, объясним, поговорим...

— Она очень любит сына, это верно. Но мне кажется, что и она лучшей партии, чем ваша Фанни, не найдет для него, — сказал Герман.

— Ах, дорогой друг! — воскликнул обрадованный Леон. — Какой счастливый день для меня сегодня! Боже, какой счастливый день! Пойдем, пойдем!

II

Рука об руку шли два приятеля бориславским трактом к дому Германа. Говорил больше Леон. Он был человек очень впечатлительный, и всякая новая мысль его живо захватывала. Неутомимо рисовал он перед Германом всё новые картины их будущего величия и силы. Всё, о чем он говорил, словно медом было подслащено, все затруднения так и таяли, как снег под лучами

солнца. Практичный и холодный Герман вначале не очень шел на приманку этих золотых гор, но чем дальше, тем больше Леон увлекал его за собой, и в его недоверчивой голове постепенно начал шевелиться вопрос: «Ну, и что же, разве это невозможно?»

Со своим сыном Готлибом он всегда имел столько хлопот и огорчений, что ему даже в голову не приходило ждать от него чего-нибудь путного, а тем более строить такие широкие планы. Вот и недавно купец, у которого Готлиб около двух лет был на практике, писал Герману, может быть в сотый раз, что Готлиб плохо ведет себя, за делом не смотрит, деньги, присылаемые из дому, разбрасывает как безумный, над сослуживцами издевается и бог знает каких только глупостей не делает. «С горестью должен признать, — писал далее купец, — что его двухлетнее пребывание в моем заведении не принесло ему почти никакой пользы. Его познания в торговом деле остались такими же, какими были вначале...» Все это невольно приходило Герману на ум сейчас, когда Леон такими заманчивыми красками рисовал ему будущность их «домов» после соединения Готлиба и Фанни. «Пока я жив, — думал Герман, — может быть, дело и будет как-нибудь идти, ну а потом?» Изменить, исправить Готлиба может только чудо, на которое Герман не надеялся. Но он все же слушал Леона, постепенно поддавался чарующему влиянию его слов, словно на легком челноке отплывал в тихое, нежно волнующееся, вечерним блеском позолоченное море, и у него на душе становилось легко, сладостно, словно и в самом деле исполнялись его самые смелые надежды. «А что же, разве это невозможно?» — думал он, и в нем крепла уверенность что все это не только возможно, но и действительно будет, должно быть.

Тем временем приятели спустились от рынка вниз, на мостик, откуда улица снова поднималась вверх, между двумя рядами высоких ясеней, пока не обрывалась на вершине холма, там, где блестящий позолоченный крест мерцал на солнце. Тут же за мостом, направо, начинался огромный сад, окруженный высокой каменной стеной. Дальше стена кончалась, вместо нее шла дубовая решетчатая ограда между каменными столбами

с блестящими черными глазированными маковками. За этой решеткой был уже не сад, а цветник, довольно запущенный, окружавший старинный одноэтажный, но зато просторный дом, крытый тесом. С улицы к нему вели широкие ворота и рядом маленькая калитка для пешеходов. Это была усадьба Германа. Тут он жил уже много лет, хотя имел еще несколько домов в других частях города и три каменных здания на рынке. Все это он сдавал внаем, а сам не имел охоты трогаться из этого старинного удобного гнезда. Этот дом вместе с большим садом, огородом, двором, конюшнями и прочими пристройками приобрел он у вдовы одного родовитого польского пана. Пан этот владел когда-то громадным имением, ему принадлежало несколько окрестных сел. Но большая часть этого состояния ушла на поддержку неудачной революции 1831 года², а что осталось — было истрачено на многолетний процесс из-за какого-то наследства; таким образом, после отмены панщины именитый владетель очутился словно рак на мели и не мог назвать своим ничего, кроме этого дома с садом да пары лошадей. Здесь он и дожил свой век в тиши, а после его смерти вдова продала и этот последний обломок бывшего величия и удалилась из этих мест. Вместо прежнего польского помещика появился новый хозяин в этих стенах — Герман. Он в то время только начинал оперяться, покупка этого дома была первым шагом к его будущему богатству; может быть, оттого он и свыкся с этим старым жилищем...

Впрочем, Германа мало занимало внутреннее устройство дома, еще менее интересовал его сад, в котором прежний владетель просиживал, бывало, все лето и в котором, как судачили соседи, и теперь еще не раз в лунную ночь можно было видеть его высокую фигуру с длинными усами и белыми, как молоко, волосами, бродящую по высокой траве, — можно было видеть, как он осматривает каждое дерево, словно старого знакомого, время от времени заламывает руки или тяжело вздыхает. Герман, слушая эти рассказы, смеялся над ними, но в сад его все-таки не тянуло. Он довольствовался тем, что каждую весну подсчитывал деревья и затем сдавал сад в аренду, а сам в него редко когда заглядывал.

И в самом доме Герман мало что изменил. Старинную мебель обил новым репсом, вместо старопольских больших печей поставил новые, изразцовые, между окнами повесил большие зеркала — вот и все. На стенах, рядом с кое-какими новыми гравюрами, висели почерневшие от времени портреты старых польских магнатов, с густыми бровями, грозными усами и залысыми лбами. Странно выглядела эта смесь старины и неуклюжих, казавшихся случайными новшествами, но Германа это мало трогало, он был занят другими, более важными делами: его задачей было — накапливать, а не пользоваться, и он накапливал, собирал, умножал с какой-то лихорадочной поспешностью, не беспокоясь о том, кто будет пользоваться всем этим.

— Вот и мое гнездо! — сказал Герман, открывая калитку и пропуская Леона вперед. Леон впервые сегодня переступал через его порог.

— Ах, как здесь удобно, как просторно! — с подчеркнутой любезностью поминутно восклицал Леон, оглядывая выложенный плитами двор. Посредине двора был колодец под навесом, с большим колесом на две бадьи. Дальше, в стороне, виднелась конюшня, а рядом с нею — вход в сад.

— Просторно-то просторно, — ответил Герман, — но, правду говоря, немного пустовато. Видите, человек в мои годы, когда ему недостаточно себя одного, когда он рад бы видеть себя среди целой кучи маленьких, веселеньких...

— О да, да, — перебил его Леон, — именно эта мысль и мне сейчас пришла в голову. Действительно, если жить здесь в кругу молодого потомства, это был бы рай, настоящий рай...

— А сейчас что? — продолжал Герман. — Сын наш во Львове... Ну надо же, чтобы молодой человек смолodu чему-нибудь научился...

— Конечно, конечно!

— А мы с женой — двое нас, к тому же еще она болезненная... согласитесь, что иногда человеку тошно делается.

Они вошли в дом.

— Правда? — говорил Герман. — Тихо, как в

могиле... Слуг держим немного: кучер, кухарка и горничная, больше нам не нужно. И весь день у нас так. Меня обычно редко дома видят, — всё дела.

— Да, да, — ответил Леон. — Тяжелая у нас жизнь. Говорят — чего не хватает капиталисту? Живет себе, бездельник, да деньги загребает. А вот посмотрели бы они, пожили несколько дней нашей жизнью, так, наверно, отказались бы и от этих капиталов и от такой жизни.

— О, разумеется, ручаюсь вам! — подтвердил Герман, хотя в эту минуту и промелькнула у него в голове шаловливая мысль, что при всей тяжести, при всех неудобствах их жизни еще ни один капиталист, однако, не отказался добровольно от своего богатства и не променял его на посох и нищенскую суму.

Герман прошел со своим гостем уже три комнаты. Всюду было тихо и пусто. Он искал жену, но не мог найти. Вошли в четвертую комнату, огромную, словно манеж. Герман оглянулся вокруг — и здесь не было никого.

— Что за чудо, куда она девалась? — пробормотал вполголоса Герман, как вдруг из соседней комнаты, спальни своей жены, он услышал громкое всхлипывание.

— Что это? — сказал он, прислушиваясь.

— Не плачет ли кто? — спросил, также прислушиваясь, Леон.

— Прошу вас, дорогой сосед, присядьте здесь, отдохните минутку, вот, пожалуйста, посмотрите альбом, может найдете знакомые вам лица... Простите, я выйду на минутку, посмотрю, что там такое...

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответил Леон, сядя в кресло возле круглого стола. Он взял альбом в руки, но у него не было охоты смотреть. Минуту сидел не двигаясь и ни о чем не думая. Разыгравшаяся волна его фантазии вдруг иссякла, присмирела под влиянием этой тишины, этого могильного холода, царившего в доме. Он сам не знал, отчего эта тишина ему не нравилась.

— Тьфу! Что за черт, словно какой-то разбойничий притон, человеку даже жутко становится!.. Кажется, вот-вот кто-то вылезет из-за двери и схватит тебя за горло. А тут еще эти картины, дурацкие морды! Тьфу,

я этого и минуты не потерпел бы. А ему хоть бы что: живет себе, как мышь в сапоге, да и в ус не дует!..

Он начал прислушиваться к тому, что делается в соседней комнате, куда пошел Герман, но не слышал вначале ничего, только все то же всхлипывание.

— Хорошее предзнаменование для начала... — продолжал он ворчать. — Вхожу сюда с такими надеждами, а здесь какая-то нечистая сила поддыхает, что ли. Это, вероятно, она сама. Слышал я, — злая, сварливая ведьма... Ничего не поделаешь, ради пользы дела надо водиться и с такими!

Он снова прислушался. Голоса. Это Герман говорит что-то, но что — не слышно. Шорох какой-то. Тишина. Снова голоса и всхлипывание. Вдруг треск, словно удар чем-то твердым о пол, и пронзительный женский крик:

— Разбойник! Кровопийца! Прочь с моих глаз! Прочь, чтоб тебя глаза мои не видали!

Леон даже подскочил в кресле. Что такое? Он продолжал прислушиваться, но теперь из-за визга и стука не мог разобрать слов. Догадывался только, что какие-то страшные проклятья, ругательства и обвинения градом сыплются на голову Германа, но за что, из-за чего — этого он не знал.

Не знал этого и Герман. Войдя в спальню жены, он увидел, что она, растрепанная, лежала на софе с видом умирающей и всхлипывала. Из ее глаз текли слезы и смочили уже широкий кружок на обивке софы. Герман удивился и не знал, что подумать об этом. Жена, казалось, не заметила, как он вошел, лежала не шевелясь, только грудь ее то поднималась, то опускалась порывисто, как бы с большим усилием. Герман боялся подойти к ней, зная ее крутой нрав, но затем набрался храбрости.

— Ривка! Ривка! — сказал он тихо, приближаясь к ней.

— Чего ты хочешь? — спросила она, быстро поворачивая голову.

— Что с тобой? Чего ты плачешь?

— Чего ты хочешь? — повторила она громче. — Кто здесь с тобой пришел?

— Да никто не пришел. Смотри, никого нет.

— Не ври! Я слышала, что вас двое. Кто это такой?

— Леон Гаммершляг.

— А он зачем?

— Ведь ты знаешь, у него сегодня закладка была, просил меня...

— Но зачем его сюда нелегкая принесла?

— Слушай, Ривка, — начал Герман, видя, что она как будто успокоилась немного. — Леон богатый человек, хороший человек, с головой...

— Скажешь ты, наконец, зачем он сюда пришел, или нет? — перебила его Ривка, сжимая кулаки.

— Ведь ты же слышишь, что говорю. Послушай-ка, Леон — богатый человек. А жены у него нет, только одна дочка. Слышишь, Ривка, ты знаешь его дочку Фанни? Правда ведь, девушка ничего?

— Ну?

— Знаешь, что говорит Леон? «Сосед, говорит, у меня одна дочка, а у вас один сын...»

Герман не закончил. При напоминании о сыне Ривка посинела, задрожала вся, а затем, швырнув в сторону скамеечку из-под ног, выпрямилась и закричала:

— Разбойник! Кровопийца! Прочь от меня! Прочь с моих глаз!

Герман остолбенел. Он не знал, что случилось с Ривкой, и только бормотал:

— Ривка, что с тобой? Что ты делаешь, Ривка?..

— Прочь с моих глаз, чудовище! — визжала жена. — Пусть тебя бог покарает! Пусть под тобой земля расступится! Ступай прочь от меня! Ты, ты говоришь мне о сыне! У тебя был когда-нибудь сын? У тебя было когда-нибудь сердце?

— Послушай, Ривка, что с тобой? Послушай!..

— Нечего мне слушать тебя, изверг! Пускай тебя и бог не послушает на своем суде!.. Разве ты слушал меня, когда я тебе говорила: не надо ребенка мучить школою, не надо ребенка донимать проклятой практикой... А ты все нет да нет! Теперь добился, добился того, чего хотел!

— Ну, что случилось, Ривка? Я ничего не знаю!

— Не знаешь? А не знать бы тебе, какой сегодня день, злодей! На, погляди, узнай! На! — И она швыр-

нула ему листок бумаги. Герман дрожащими руками взял измятое, смоченное слезами письмо, в то время как Ривка, словно обессиленная, тяжело дыша, снова упала на кушетку, закрыла лицо ладонями и горько заплакала.

Письмо было из Львова, от купца, у которого находился в ученье Готлиб. Герман, бормоча, читал: «Милостивый государь! Сам не знаю, с чего начать и как рассказать о том, что у нас здесь произошло. Ваш сын Готлиб уже три дня тому назад исчез, и все поиски были напрасны. Только сегодня утром удалось полиции найти его одежду, связанную в узел в кустах на Пелчинской горе. Его же самого до сих пор нет и следа. Было подозрение, не утопился ли он в пруде, но до сих пор не могли найти тело. Приезжайте как можно скорее, может быть удастся нам дознаться, что с ним случилось. Впрочем, если что-нибудь откроется еще до получения вами этого письма, сообщу телеграммой».

Герман взглянул на дату: еще позавчера! А телеграммы не было, — значит, ничего! Он долго стоял, как в столбняке, сам не зная, что с ним происходит. Громкий плач Ривки вывел его из оцепенения.

— Видишь, видишь! — кричала она, — до чего ты довел ребенка! Утопился мой сыночек, утопился мой Готлиб!.. Лучше бы ты захлебнулся своей нефтью в какой-нибудь бориславской прорве!

— Боже мой, — сказал Герман, — жена, надо же иметь рассудок, разве я в этом виноват?

— Ты не виноват? А кто же? Может быть, я? Иди, людоед, не разговаривай, не стой, поезжай во Львов, может быть еще можно спасти его или хоть тело отыскать!.. Боже, боже, за что ты меня покарал таким мужем, который свое собственное дитя в гроб вогнал! И пускай бы хоть у него их много было... А то единственное, и того не стало!.. Ой-ой-ой, голова моя, головушка!..

— Да замолчи же, Ривка, может быть еще не все так плохо, как там написано. Слышишь, только одну одежду нашли! А одежда что? Одежду мог снять...

— А-а... снял бы ты с себя свою шкуру поганую! Ты еще меня уговариваешь, добиваешь меня, изверг! О, я знаю, тебе и дела мало, что твоего сына где-то там

в воде рыбы едят! Тебе что! Но я! Мое сердце разрывается, мое сердце чувствует, что все погибло, нет моего сыночка золотого, нету, нету!

Герман видел, что с женой нечего больше разговаривать, что ни до чего путного с ней нельзя договориться. Он бросился как можно скорее отдать приказание кучеру, чтобы тот собирался в дорогу, запрягал лошадей. Железная дорога в Дрогобыч тогда еще не была проведена. Желающие ехать во Львов должны были на лошадях ехать до Стрия и лишь оттуда поездом во Львов.

Проходя через зал, Герман взглянул в сторону и увидел Леона, — тот все еще сидел в кресле, словно на иголках, слышал разговор, прерываемый внезапными взрывами рыданий, но не мог понять, что случилось с его «соседями» и что все это значит. Герман только сейчас вспомнил о Леоне, о котором, оглушенный криками жены и собственным несчастьем, совсем позабыл.

— А, дорогой сосед, — сказал он, приближаясь к Леону, — простите, но несчастье...

— Господи, что с вами? — воскликнул Леон. — Вы бледны как полотно, дрожите, ваша жена плачет. Что случилось?

— Эх, и не спрашивайте, — сказал тихо Герман. — Несчастье, словно гром с ясного неба, обрушилось на наш дом и так неожиданно, что я до сих пор еще не знаю, сон ли это, или действительность.

— Но скажите, боже мой, неужто и помочь нельзя ничем?

— Какая там помощь! Кто может воскресить мертвого!.. Погибло, погибло мое счастье, моя надежда!

— Мертвого?

— О да! Моего сына, моего Готлиба уже нет в живых!

— Готлиба! Что вы говорите! Может ли это быть?

— Пишет из Львова его хозяин, что пропал без вести. Несколько дней не могли отыскать ни малейшего следа, лишь недавно полиция нашла его одежду в кустах на Пелчинской горе.

— А тело?

— Нет, тело не найдено.

— Ах, так, может быть, он еще жив?

— Трудно поверить, любезный сосед! Я и сам так

думал вначале. Но затем, взвесив его характер и все... все... я потерял надежду! Нет, не видать мне его больше, не видать!

Только теперь, когда Герман облегчил свое сердце этим рассказом, из его глаз потекли слезы. Он знал, что его сын был испорченный и полусумасшедший, но знал также, что это был его единственный сын, наследник его богатства. Еще только сегодня Леон убаюкивал его сердце такими сладкими надеждами! Он начинал уже думать о том, что если сам Готлиб и не исправится, то, может быть, умная, хорошая жена, Фанни, сумеет по крайней мере сдерживать его дикие причуды, приучит его понемногу к степенной, разумной жизни. А теперь вдруг все лопнуло, словно пузырь на воде. Последние ниточки отцовской любви и крепкие нити себялюбия в его сердце были неожиданно и больно задеты — и он заплакал.

Леон бросился утешать его.

— Ах, дорогой сосед, не плачьте! — говорил он. — Я уверен, что ваш Готлиб жив, что он еще принесет вам утешение. Только не поддавайтесь скорби. Больше твердости, мужества! Нам, сильным людям, капиталистам, передовым людям своего времени, нужно быть всегда твердыми и непоколебимыми!

Герман только качал головой на эти слова.

— Что мне от этого? — ответил он печально. — Зачем мне теперь сила, капитал, если больше некому им пользоваться? А я... старик уже!..

— Нет, не теряйте надежды. Не теряйте надежды! — уговаривал Леон. — Поскорее поезжайте во Львов, и я вам ручаюсь, что вам удастся его отыскать.

— О, если бы дал господь, если бы дал господь! — воскликнул Герман. — Вы правы: надо ехать, я должен найти его, живого или мертвого!

— Нет, не мертвого, а живого, — подхватил Леон. — И уж теперь не оставляйте его там, у какого-то купца, а привозите сюда, всем нам на утешение, на радости! Да, дорогой сосед, да!..

В эту минуту открылась дверь из спальни, и в комнату вошла Ривка, заплаканная и красная, как огонь. Ее полное, широкое лицо запылало гневом, когда она

увидела Леона. И Леон сразу почувствовал себя не в своей тарелке, когда увидел Германиху, высокую, полную и грозную, словно само воплощенное возмездие. Однако, скрывая свою растерянность, он с преувеличенной вежливостью подбежал к ней, поклонился с выражением скорби на лице и уже открыл было рот, чтобы заговорить, когда Германиха, смерив его презрительным взглядом с ног до головы, коротко, но громко спросила:

— А ты зачем здесь, бродяга?

Леон остолбенел, услышав такое приветствие. Затем на его лице появилась холодная, деланая улыбка, и, поклонившись еще раз, он начал:

— Действительно, сударыня, я очень сожалею, что в такое неподходящее время...

— Что тебе здесь нужно, я спрашиваю? — выкрикнула Ривка и посмотрела на него с такой злостью и презрением, что Леону страшно стало и он невольно сделал шаг назад.

— Прошу прощения, — сказал он, еще не теряя мужества, — мы здесь с вашим супругом, а моим дорогим товарищем, строили планы, — ах, какие хорошие планы, — о нашем будущем, и я твердо верю, что бог нам поможет дождаться их осуществления.

— Вам? Бог поможет? Людоеды, двуличные твари, — бормотала Ривка и вдруг, словно одержимая, подняла сжатые кулаки и бросилась на перепуганного Леона.

— Уйдешь ли ты, наконец, из моего дома, душегуб? — кричала она. — Ты еще смеешь терзать мое сердце, говорить мне свои глупости, после того как мой сын из-за вас и ваших проклятых денег погиб!.. Вон из моего дома! Вон! А если еще раз осмелишься здесь появиться, я выцарапаю твои бесстыжие гадючьи глаза! Понимаешь?

Леон побледнел, съежился под градом этих слов и, не спуская глаз с грозного видения, начал пятиться к двери.

— Но послушай, Ривка, — вмешался Герман, — что с тобой? За что ты обижаешь нашего доброго соседа? А ведь, может быть, все это еще не так, может быть, наш Готлиб жив, и все то, о чем мы говорили, может сбыться?

Герман надеялся таким образом успокоить жену, но оказалось, что эти слова привели ее в еще большую ярость.

— А хотя бы и так, — крикнула она, — я скорее соглашусь десять раз увидеть его мертвым, чем видеть вот этого паршивца своим сватом! Нет, никогда, пока я жива, никогда этого не будет!

Оба мужчины стояли минуту как остолбенелые, не зная, что случилось с Ривкой и откуда у нее такая бешеная ненависть к Леону. А так как Ривка продолжала кричать, метаться и выгонять Леона из дому, тот, съездившись и надвинув цилиндр на голову, вылетел вон из негостеприимного дома и, не оглядываясь, весь дрожа от неожиданного волнения, пошел в город.

— Боже, эта женщина в самом деле взбесилась, — ворчал он. — И она должна была стать свекровью моей Фанни? Да она, змея полосатая, съела бы ее за один день! Счастье мое, что так случилось, что этот... сынок их куда-то запропастился! Тьфу, не хочу иметь с ними никакого дела!..

Так Леон ворчал и плевался всю дорогу. Ему только теперь стало понятно, почему и другие богачи избегают Германа, неохотно бывают в его доме и, кроме торговых и денежных, не имеют с ним никаких других дел. И все-таки Леону было досадно, что так случилось: ему было жаль тех блестящих надежд и планов, которыми он еще так недавно упивался. Впрочем, в голове его всегда было много планов, и, когда рушился один, он недолго горевал, а сразу же хватался за другой. И сейчас он быстро оставил недавние мечты и старался свыкнуться с мыслью, что «работать» ему в дальнейшем придется не в союзе с Германом, а одному, без Германа, и, возможно, против Германа. «Против! Да, — думал он. — К этому, наверно, вскоре принудит меня и сам Герман, будет стараться теперь еще больше вредить мне».

Леон и сам не знал, с чего это ему пришло в голову, что Герман должен теперь непременно враждовать с ним. Он и наедине с самим собой откровенно не признался бы, что приписывает свои мысли Герману, что в его сердце закипает какая-то дикая неприязнь к Герману за обиду, испытанную в его доме, за разрушение его блестящих планов. Леон и сам себе не признавался, что это именно

он рад был бы теперь навредить Герману, показать ему свою силу, «научить его уму-разуму». Он не вникал в причины, но думал только о самой борьбе, старался заранее представить себе ее способы, многочисленные случайности, неудачи, чтобы своевременно предохранить себя от них, чтобы поставить Германа в наиболее невыгодные условия, нагромоздить на его пути как можно больше препятствий и трудностей. И по мере того как шаги его замедлялись, он все глубже погружался в свои мысли, все более тяжелые несчастья и потери обрушивал на голову Германа, громил этого толстенького, спокойного, словно за каменной стеной схоронившегося богача, нагонял на него страх и, наконец, перед самым входом в дом, свалил его совсем и, вместе с его сумасшедшей женой, выгнал из последнего убежища — из дома на бориславском тракте.

— У-у, так вам и надо! — шепнул он, словно радуясь их отчаянию. — Чтобы ты знала, ведьма, как выцарапывать мне глаза!

В то время как Леон, погруженный в свои мечты, радовался полному упадку дома Гольдкремеров и заранее подсчитывал прибыль, которая придется на его долю в результате этой великой победы, Герман в карете вихрем мчался по улицам Дрогобыча на Стрийский тракт. Лицо его все еще было очень бледно, он то и дело чувствовал какой-то холод за спиной и мелкую дрожь во всем теле, а в его голове кружились и бурлили мысли, словно вода на мельничном колесе. Несчастье свалилось на него так неожиданно, к тому же несчастье такое странное и непостижимое, что он в конце концов решил не думать ни о чем и терпеливо ждать, что из всего этого выйдет. Он решил прожить несколько дней во Львове и употребить все средства на то, чтобы отыскать сына и выяснить точно, почему и куда он пропал. Через несколько дней он должен был выехать в Вену, куда компаньон по торговым делам вызвал его телеграммой для улаживания важного дела, связанного с нефтяными промыслами Борислава. Если в течение нескольких ближайших дней ему не удастся во Львове добиться своего, он решил предоставить это дело полиции, а самому все-таки съездить в Вену. Правда, жена не велела ему воз-

вращаться без сына, живого или мертвого, а о поездке в Вену по «нефтяным» делам она и слышать не хотела, — но что жена понимает! Разве она знает, что Герман хоть и будет сам руководить поисками во Львове, но Готлиба все-таки может не найти, а деньги и без него свое сделают, если вообще можно еще что-нибудь сделать. В Вене же ему, конечно, необходимо быть, там дело без него не двинется. Так размышлял Герман, быстро катясь в карете по дороге в Стрый. Волнистая предгорная местность проносилась перед ним, не оставляя в его душе никакого следа. Он ждал нетерпеливо, скоро ли вдали забелеют башни Стрия; на него нагоняли тоску бесконечные ряды берез и рябин, тянувшиеся по обеим сторонам дороги; он постепенно начал успокаиваться, покачиваясь от одной стенки кареты к другой, и, наконец, прислонившись лицом к подушке, уснул.

После отъезда Германа Ривка снова бросилась на софу, всхлипывая и вытирая глаза, и всякий раз, как она взглядывала на злополучное письмо из Львова, слезы с новой силой лились из ее глаз. Слезы смягчали ее горе, отгоняли докучные мысли, она уносилась с ними вдаль, как на тихих волнах, не думая о том, куда они несут ее. Всхлипывая и вытирая глаза, она как-то забывалась, забывала даже о Готлибе, о письме, о своем горе и чувствовала только льющиеся холодеющие слезы.

Куда девалось то время, когда Ривка была бедной молодой работницей? Куда девалась прежняя Ривка, проворная, трудолюбивая, веселая и довольная тем, что имела? То время и та Ривка сгинули бесследно, изгладились даже из затуманенной памяти теперешней Ривки!..

Двадцать лет прошло с той поры, когда она, здоровая, крепкая девушка-работница, однажды вечером встретила случайно на улице с бедным «лыбаком»* — Германом Гольдкремером. Они разговорились, познакомились. Герман в то время, неуверенными еще шагами, начинал идти к богатству; он занимался казенными подрядами и залез в долги, рискуя все потерять,

* См. примечание Ив. Франка к рассказу «Яць Зелепуга» (стр. 160).

так как у него не хватало денег, чтобы выполнить все свои обязательства. Узнав о том, что у Ривки есть немного денег, собранных в приданое, он поспешно женился на ней, спас при помощи ее приданого свое дело и добился больших прибылей. Счастье улыбнулось ему и с тех пор никогда не покидало его. Богатство текло ему в руки, и чем больше оно становилось, тем меньше были потери и тем вернее прибыли. Герман весь отдался этой погоне за богатством; Ривка стала теперь для него пятым колесом в телеге; он редко бывал дома, а если когда и заглядывал, то избегал ее чем дальше, тем больше. И недаром: Ривка сильно изменилась за эти годы и изменилась не к лучшему, хотя, повидимому, и не по своей вине. Можно сказать, что богатство Германа заело ее, подточило морально. Сильная и здоровая от рождения, она нуждалась в движении, работе, деле, которым могла бы заняться. Пока она жила в бедности, в этом у нее недостатка не было. Она служила у богачей, бралась за любую работу, лишь бы прокормить себя и свою тетку, единственную родственницу, которая осталась в живых после холеры. Выросшая в бедной семье, она не получила, разумеется, никакого, даже начального, образования. Тяжелая жизнь и однообразная, механическая работа развили ее силу, ее тело, но совершенно не затронули ум. Она выросла в полном невежестве и темноте духовной, не обладала даже теми врожденными способностями и сметкой, какие обычно встречаются у деревенских девушек. Лишь то, что касалось непосредственно ее, могла она понять, осмыслить, — вне этого ничего не понимала. Такой вышла она замуж за Германа.

Любви между ними не было. Правда, молодая, здоровая натура обоих вначале влекла их друг к другу — неразвитые мысли и чувства и не требовали ничего, кроме простого физического наслаждения. Но и тогда они целыми днями обычно не виделись, — тем приятнее была встреча вечером. У них родилась дочь, которая, однакоже, скоро умерла, кажется из-за неосторожности самой матери, ночью. В то время Гольдкремеры считались еще бедными: Герман рыскал целыми днями по городу или по окрестным деревням, Ривка хозяйничала дома, варила, стирала белье, рубила дрова, шила и мыла —

одним словом, была работницей, как и прежде. И это была наиболее счастливая пора ее замужества. Первый ребёнок — здоровая и красивая девочка — очень ее радовал и доставлял ей немало хлопот и забот. Чем больше она работала и хлопотала, тем здоровее и веселее становилась. Правда, она и сама не знала, что это именно от работы, и частенько жаловалась мужу, что не имеет никогда ни минуты отдыха, что губит здоровье, повторяя скорее обычные жалобы других женщин, нежели исходя из собственных убеждений и собственного опыта.

К несчастью, ее желания очень быстро исполнились. Герман разбогател, купил удобный и просторный дом на бориславском тракте, нанял прислугу, которой требовала жена, — и ей вначале стало как будто легче. Она ходила по тем комнатам, в которые еще недавно робко заглядывала с улицы, присматривалась к картинам, мебели, зеркалам и обоям, распорядилась на кухне, заходила в кладовую, но скоро поняла, что все это было не нужно. Герман сам выдавал слугам все по счету и за малейшую неточность грозил прогнать со службы, хотя при небольшом хозяйстве, которое они вели, нечего было бояться воровства. Нанятый повар понимал в кушаньях гораздо больше, чем сама хозяйка, и ее советы и распоряжения принимал с вежливой улыбкой; переставлять мебель и перевешивать картины ей скоро надоело. И вот началась новая, страшная пора ее жизни. Она прежде не знала, что такое скука, — теперь скука пронизывала ее до мозга костей. Она то слонялась по огромным комнатам как неприкаянная, то сидела на кухне и болтала с прислугой, то лежала целыми часами на софе, то выходила на улицу и быстро возвращалась домой, не находя себе никакого занятия, никакой работы, ничего, что могло бы привести в движение ее нервы и мозг. Слуги были с нею неразговорчивы, зная ее раздражительность, вспыльчивость. В гости она ходила редко, да и принимали ее везде очень холодно. Впрочем, всякие посещения были для нее мукой. В том новом кругу людей, в который так неожиданно ввело ее богатство мужа, она чувствовала себя совсем чужой, не умела шагу ступить, не знала, что говорить, не понимала ни их комплиментов, ни ядовитых намеков, а своими грубыми шутками и

простодушными замечаниями вызывала только смех. Скоро она спохватилась, что в самом деле становится посмешищем в глазах этих людей, и совсем перестала бывать в обществе, перестала принимать у себя посторонних, за исключением нескольких пожилых женщин. Но и они вскоре были разобижены ее раздражительностью, внезапными необузданными вспышками и перестали у нее бывать. Ривка осталась одна, мучилась и металась, как лесной зверь, запертый в клетку, и никак не могла понять, что с ней происходит. Ее неразвитый ум не мог ни доискаться причины этого положения, ни найти из него выхода, — найти хоть какую-нибудь деятельность, хоть какое-нибудь занятие для ее здоровой, крепкой натуры. Лишенная всякого дела, всякого живого интереса в жизни, она замкнулась в самой себе и, пожираемая внутренним огнем, время от времени вспыхивала неукротимым, безумным гневом из-за какой-нибудь мелочи. По мере того как Ривка отвыкала от работы, труд становился ей все более ненавистным и тяжелым: она не могла заставить себя прочитать хотя бы одну книжку, а ведь несколько лет тому назад тетка научила ее немного грамоте. Скука застилала все перед ее глазами серою, отвратительной пеленой, и она делалась все более одинокой, все глубже падала на дно той пропасти, которую вокруг нее и под нею вырыло богатство ее мужа и которую ни она, ни ее муж не умели заполнить ни сердечной любовью, ни разумным духовным трудом.

Вот в такое-то время родился у Ривки сын — Готлиб. Врачи вначале не надеялись, что он выживет. Ребенок был болезненный, непрерывно кричал, плакал, и слуги шептались между собой на кухне, что это не ребенок, что его «черт подменил». Но Готлиб не умер, хоть и не становился более здоровым. Зато для его матери хоть на некоторое время свет прояснился. Она с утра до вечера бегала, кричала, суетилась возле ребенка и сразу почувствовала себя более здоровой, менее раздражительной. Тоска пропала. И, выздоравливая, Ривка тем сильнее любила своего сына, чем слабее и беспокойнее он был. Бессонные ночи, непрерывные волнения и заботы — все это делало Готлиба более дорогим, более милым. Со временем мальчик как бы окреп немного, поздоровел,

но уже и тогда видно было, что его духовные способности будут далеко не блестящи. Он едва на втором году начал ходить и в три года лепетал, как шестимесячное дитя. Зато, к великой радости матери, начал хорошо есть, словно за первые три года сильно проголодался. Животик у него всегда был полный и вздутый, как барабан, и стоило ему лишь немного проголодаться, он сейчас же начинал визжать на весь дом. Но чем больше подрастал Готлиб, тем хуже делался его характер. Он всем надоедал, портил все, что можно было испортить, и ходил по комнатам, словно неприкаянный, высматривая, к чему бы прицепиться. Мать любила его без памяти, дрожала над ним и ни в чем не прекословила ему. Ее неразвитый ум и чувство, которое так долго подавлялось, не могли указать ей другого пути для проявления материнской любви; ей и в голову не приходило подумать о разумном воспитании ребенка, и она заботилась только о том, чтобы исполнить каждое его желание. Слуги боялись маленького Готлиба, как огня, потому что он любил ни с того ни с сего прицепиться и либо порвать платье, облить, исцарапать, укусить, либо, если он не мог этого сделать, начинал кричать изо всей силы, на крик прибегала мать, и его несчастной жертве приходилось тогда еще хуже. Хорошо, если дело ограничивалось бранью и побоями, а то случалось, что прислугу немедленно прогоняли со службы. Герман не любил сына уже хотя бы потому, что и в те редкие дни, когда бывал дома, никогда не имел из-за него покоя. Маленький Готлиб вначале боялся отца, но когда мать несколько раз яростно схватилась из-за него с отцом и отец уступил, мальчик своим детским чутьем ощутил, что и здесь ему воля, что мать защитит его, и начал выступать против отца с каждым разом все смелее. Это бесило Германа, но он не мог ничего поделать, так как жена во всем потакала сыну и готова была за него глаза выцарапать. И это увеличивало холодность Германа и к жене и к сыну. Разлад в семье усилился, когда пришлось отдать Готлиба в школу. Само собой разумеется, что несколько дней до этого Ривка плакала над своим сыном так, словно его должны были повести на убой: она разговаривала с ним, словно прощаясь навеки, рассказывала ему, какие строгие люди

эти учителя, и заранее уже грозила тем из них, которые осмелятся задеть ее золотого сыночка; она приказывала ему, чтобы он сейчас же пожаловался ей, если кто-нибудь в школе оскорбит или обидит его, а она уж покажет учителям, как нужно с ним обращаться. Одним словом, не начав еще ходить в школу, Готлиб уже питал к ней такое отвращение, словно это был сущий ад, изобретенный злыми людьми нарочно для того, чтобы мучить таких, как он, «золотых сыночков».

Зато Герман ударился в другую крайность. Он пошел к ректору отцов-базилиан, которые содержали в Дрогобыче единственную в то время школу, и просил его присматривать за Готлибом, чтобы тот учился и привыкал к порядку. Он рассказал, как мальчик избалован и испорчен матерью, и просил держать его в строгости, не жалеть угроз и даже наказаний и не обращать внимания на то, что будет говорить и делать его жена. Добавил даже, что если это будет нужно, он найдет для Готлиба отдельную квартиру вне дома, чтобы избавить его от вредного влияния матери. Отец ректор был очень удивлен, услышав это, но вскоре и сам увидел, что Герман говорил правду. Готлиб не только был мало способным к учению ребенком, но его начальное домашнее воспитание было так дурно, что отцы учителя, вероятно, ни с кем еще не имели столько хлопот, сколько с ним. Ученики, товарищи Готлиба, поминутно жаловались на него: тому он порвал книжку, другому подбил глаз, а у третьего отобрал шапку и забросил ее в монастырский огород. Если кто-нибудь в коридорах и классах больше всех шумел и кричал, то это наверняка был Готлиб. Если кто-нибудь во время урока возился или громко стучал партой, то это также был он. Если кто-нибудь в целом классе осмеливался поспорить с учителем, уйти с урока да еще и дверью хлопнуть, — это тоже он. Учителя вначале не знали, что с ним делать; они изо дня в день жаловались ректору, ректор писал отцу, а отец отвечал коротким словом: «Бейте!». Тогда посыпались на Готлиба наказания и розги, которые хоть внешне как будто усмирили немного, сокрушили его крутой нрав, но зато развили в нем скрытность и упорную злобу и, таким образом, окончательно испортили его. За семь или восемь лет

Готлиб едва окончил четырехклассную нормальную школу и, искалеченный морально, неразвитый духовно, с безграничным отвращением к учению и ненавистью к людям, а особенно к отцу, поступил в гимназию. Здесь он за три года не окончил еще и второго класса, когда скверная и темная история, происшедшая у него с отцом, навсегда прервала его школьное учение*.

Но кто знает, может быть эти несчастные школьные годы были более тяжелыми и мучительными для Ривки, нежели для самого Готлиба. Школа на большую часть дня разлучала ее с сыном и тем самым ввергала ее снова в бездонную пропасть бездействия и скуки. Вечные же слезы и жалобы Готлиба еще больше озлобляли и раздражали ее. Вначале она, словно раненая львица, ежедневно бегала к отцам базилианам, упрекала в несправедливости и неспособности учителей, кричала и проклинала до тех пор, пока ректор не пристыдил ее и не запретил приходить в школу. Потом она решила было настоять на том, чтобы отобрать Готлиба у отцов базилиан и отдать в какую-нибудь другую школу, но скоро сообразила, что другой школы в Дрогобыче не было, а отдавать Готлиба в другой город, к чужим людям — о том она и думать не могла без содрогания. Она металась в поисках выхода, словно рыба в сети, и порою целые дни просиживала на софе, плача и думая о том, что вот в школе в эту минуту, может быть, тащат ее сына, толкают, кладут на скамейку, бьют, — она громко проклинала и школу, и ученье, и мужа-злодея, который нарочно изобрел эту муку для сына и для нее. Эти вспышки становились все более частыми и довели ее в конце концов до ненависти ко всем людям, до какого-то непрерывного раздражения, готового в любую минуту взорваться дикими проклятиями. Теперь уже Ривка и не думала бывать в обществе или как-нибудь разогнать свою скуку; она слонялась по дому, не находя себе места, и никто из слуг без крайней нужды не смел показаться ей на глаза. Такое положение дошло до предела, когда Герман два года тому назад отвез Готлиба во

* Об этом рассказано в повести «Воа-constrictor», напечатанной в 1878 г. в издании «Громадський друг» [«Друг общества»], ч. II, «Дзвін» [«Колокол»] и «Молот». (Прим. Ив. Франка.)

Львов и отдал в ученье купцу. Ривка словно обезумела, рвала на себе волосы, бегала по комнатам и кричала, затем успокоилась немного и долгие месяцы сидела день изо дня молча, как зверь в клетке. Одиночество и пустота вокруг нее и в ней самой стали еще более страшными, — даже муж боялся подступиться к ней и старался по целым дням не бывать дома. И среди всего этого мрака в ее сердце горел лишь один огонь — безумная, можно сказать звериная, любовь к Готлибу. Теперь завистливая судьба намеревалась отнять у нее и эту последнюю опору, стереть в ее сердце все, что оставалось в нем человеческого. Страшный удар обрушился на нее, и если она в эти минуты не сошла с ума, то лишь потому, что не могла поверить в свое несчастье.

После отъезда Германа она так и застыла на своей софе. Ни одна мысль не шевелилась у нее в голове, только слезы лились из глаз. Весь мир исчез для нее, свет померк, люди вымерли, она ощущала лишь непрестанную ноющую боль в сердце.

Вдруг она вскочила и задрожала всем телом. Что это? Что за шум, что за стук, говор долетели до нее? Она затаила дыхание и прислушалась. Говор у входа. Голос служанки, которая как будто бранится с кем-то и не пускает в комнату. Другой голос, резкий и гневный, стук, словно от падения человеческого тела, треск двери, топот шагов по комнате, ближе, все ближе...

— Ах, это он, это мой сын, мой Готлиб! — вскрикнула Ривка и бросилась к двери. В эту минуту чья-то сильная рука толкнула дверь, и перед нею предстал весь черный; в истрепанных черных лохмотьях молодой угольщик.

Ривка невольно вскрикнула и отпрянула назад. Угольщик глядел на нее гневными большими глазами, в которых сверкали злоба и ненависть.

— Что, не узнаешь меня?—проговорил он резко, и в ту же минуту Ривка, словно безумная, бросилась к нему, начала тискать и целовать его лицо, глаза, руки, смеясь и плача.

— Ах, так это все-таки ты? Я не ошиблась! Боже, ты жив, ты здоров, а я уж чуть не умерла! Сыночек мой! Любимый мой, ты жив, жив!..

Восклицаниям не было конца. Ривка потащила угольщика на кушетку и не выпускала из объятий, пока он сам не вырвался. Прежде всего, услышав шаги приближающейся служанки, он запер дверь и, обращаясь к матери, сказал: — Прикажи этой проклятой обезьяне, пускай идет к черту, а то я разобью ее пустой череп, если она сейчас же отсюда не уберется

Ривка, послушная сыну, не открывая дверь, приказала служанке идти на кухню и не выходить, пока ее не позовут, а сама начала снова обнимать и ласкать сына, не сводя ни на минуту глаз с его гневного, измазанного сажей лица.

— Сыночек мой, — начала она, — что это с тобой? Что ты наделал?

И она начала разглядывать его с выражением бесконечной жалости, словно речь шла не о нищенской одежде, а о смертельной ране на его теле.

— Ага, а вы думали, что я так и буду до самой смерти страдать у этого проклятого купца? — крикнул Готлиб, топая от злости ногами и вырываясь из объятий матери. — Вы думали, что я не посмею поступить по своей воле? А?

— Что ты, золото мое, кто так думал? — воскликнула Ривка. — Это, может быть, изверг этот, твой отец так думал!

— А ты нет?

— Я? Господи! Сыночек, да я бы крови своей не пожалела для тебя. Сколько раз я говорила ему...

— А он куда уехал? — перебил ее Готлиб.

— Да во Львов, искать тебя.

— А-а, так, — сказал Готлиб с довольной улыбкой, — пускай поищет.

— Но как же ты добрался сюда, голубчик?

— Как? Не видишь? С угольщиками, которые возвращались из Львова.

— Бедное мое дитяtko! — воскликнула Ривка. — И ты ехал с ними всю дорогу! То-то горя натерпелся, должно быть, господи! Ну-ка, сбрось поскорей эту гадость с себя: я велю принести воды, вымойся, переоденься!.. Я уж больше не пущу тебя, не позволю, чтобы этот мучитель увез тебя назад, нет, никогда! Снимай,

голубчик, эту нечисть, снимай, я сейчас пойду принесу тебе чистое платье. Ты голоден правда? Погоди, я позову прислугу...

И она встала, чтобы позвонить. Но Готлиб силой удержал ее.

— Оставь меня в покое, не надо, — сказал он коротко.

— Но почему же, сыночек? Ведь ты же не будешь так...

— Ага, ты думала, — сказал Готлиб, вставая перед ней, — что я для того только вырвался из Львова в этих лохмотьях, для того только тащился с угольщиками пятнадцать миль, чтобы поскорее снова отдаться вам в руки, дать запереть себя в какую-нибудь клетку да еще в придачу слушать ваши крики и ваши наставления? О нет, не бывать этому!

— Но, сынок, — вскрикнула, бледнея и дрожа от страха, Ривка, — что же ты хочешь делать? Не бойся, здесь дома я защищу тебя, никто ничего тебе не сделает!

— Не нужна мне твоя защита, я сам за себя постою!

— Но что же ты будешь делать?

— Буду жить так, как сам захочу, без вашей опеки!

— Господи, да ведь я же не запрещаю тебе и дома жить, как ты хочешь!

— Ага, не запрещаешь! А стоит мне только выйти куда-нибудь, задержаться, сейчас же расспросы, слезы, черт знает что!.. Не хочу этого. А еще он приедет, о, много я тогда выиграю!

Сердце Ривки сжалось при этих словах. Она чувствовала, что сын не любит ее, терпеть не может ее ласки, и это чувство испугало ее, словно в эту минуту она теряла сына вторично и уже навсегда. Она неподвижно сидела на кушетке, не сводя с него глаз, но не могла ни слова выговорить.

— Дай мне денег, я устрою свою жизнь так, как мне нравится, — сказал Готлиб, не обращая внимания на ее волнение.

— Но куда же ты пойдешь?

— Тебя это не касается. Я знаю, что ты сразу же расскажешь ему, как только он приедет, а он прикажет жандармам привести меня.

— Но я богом клянусь, что не скажу!

— Нет, я и тебе не скажу. Зачем тебе знать? Давай деньги!..

Ривка встала и открыла конторку, но больших денег у нее никогда не было. В конторке она нашла только пятьдесят гульденов и молча подала их Готлибу.

— Что это? — сказал он, вертя в руках банкнот. — Нищему подаешь, что ли?

— Больше у меня нет, сыночек, посмотри сам.

Он заглянул в конторку, все перерыл в ней и, не найдя больше денег, проговорил: — Ну, пусть будет так. Через несколько дней раздобудь побольше.

— Ты придешь? — спросила она радостно.

— Посмотрю. Если его не будет, приду, а не то пришлю кого-нибудь. Как покажет от меня знак, дай ему деньги в запечатанном конверте. Но запомни, — здесь Готлиб грозно потряс перед нею сжатыми кулаками, — никому обо мне не говори ни слова.

— Никому?

— Никому! Я тебе приказываю! Ни ему, ни слугам, никому! Пусть никто в Дрогобыче не знает обо мне. Хочу, чтобы мне никто не надоедал. А если скажешь кому, то пеняй на себя!

— Но, сыночек, тебя же здесь видела прислуга.

— Эта обезьяна? Скажи, что посыльный от кого-нибудь или что другое! Говори, что хочешь, лишь обо мне ни слова. А если он дознается, что я жив и бываю здесь, или если кто вздумает следить за мной, то помни— такой вам натворю беды, что и не опомнитесь. Хочу жить так, как мне нравится — и все тут!

— Боже мой! — вскрикнула Ривка, заламывая руки. — И долго ты будешь жить так?

— Сколько мне захочется.

С этими словами Готлиб подошел к окну, открыл его, словно желая посмотреть в сад, и в одно мгновение выпрыгнул через окно во двор. Ривка вскочила, вскрикнула, подбежала к окну, но Готлиба уж и след простыл. Только высокие лопухи в саду шелестели, словно тихо шептались о чем-то между собой.

В эту минуту служанка, бледная и испуганная, вбежала в соседнюю комнату и начала кричать:

— Пани, пани!

Ривка быстро опомнилась и открыла дверь.

— Пани что с вами? Вы кричали, звали меня?

— Я? Тебя? Когда? — спрашивала Ривка, вспыхнув вся, как огонь.

— Сейчас. Мне показалось, что вы кричали.

— Это в твоей дурной голове кричало что-то, обезьяна! Марш на кухню! Разве я не приказывала тебе только тогда приходить, когда тебя позовут?

— Но мне казалось, что вы меня зовете, — робко пробормотала служанка.

— Марш на кухню, тебе говорят, — закричала Ривка, — и пускай в другой раз тебе не кажется ничего, понимаешь?

III

Прошло три недели со дня закладки. Строительство дома Леона быстро продвигалось вперед: фундамент был уже готов, и фасад из тесаного камня возвышался почти на метр над землей. Строитель наблюдал за работой, а в первые дни и сам Леон с утра до вечера просиживал на стройке, всюду совал свой нос и всех торопил... Но это продолжалось недолго. Какое-то срочное дело потребовало присутствия Леона в Вене, и хотя без него работа не пошла медленнее, однако рабочие вздохнули с облегчением, не слыша больше его вечных понуканий.

Однажды утром, незадолго до шести часов, несколько рабочих сидели на бревнах и камнях, ожидая сигнала к работе. Они разговаривали о том и о сем, пока собирались остальные рабочие. Вот пришел строитель, взглянул на рабочих и строго крикнул:

— Ну что, все вы здесь?

— Все, — ответил мастер.

— Начинайте работу!

Один из рабочих дал сигнал. Все пришло в движение на площадке. Каменщики плевали на ладони и брались затем за кирки, лопатки и молотки; парни и девушки, нанятые таскать кирпич, кряхтя, сгибали спины и, просовывая шею в деревянное ярмо, взваливали на себя

приспособления для ношения кирпича; плотники размахивали блестящими топорами; пильщики взбирались на козлы; большая машина человеческой рабочей силы со скрипом, стонами и вздохами начинала приходить в движение.

Вдруг на улице со стороны рынка показался еще один рабочий, сгорбившийся, жалкий, болезненный, и свернул на строительную площадку.

— Бог на помощь! — сказал он слабым голосом, останавливаясь возле мастера. Мастер оглянулся, посмотрели и другие каменщики.

— Это ты, Бенедя? Ну, что же ты, здоров уже?

— Как будто здоров, — ответил Бенедя. — Некогда хворать; видите, мать у меня старая, больная, не ей за мной ухаживать!

— Ну, а сможешь ли ты работать, парень? — спросил мастер. — Ведь ты выглядишь словно мертвец, куда тебе работать!

— А что же делать? — ответил Бенедя. — Что смогу, то и буду работать. А разойдусь немного — может, и сам окрепну, поправлюсь. Найдется ведь местечко для меня?

— Да оно бы так... как же, найдется, рабочих нужно как можно больше, хозяин торопит с постройкой. Поди заявись строителю, да и становись на работу.

Бенедя положил мешок с хлебом и инструментами в сторонку и пошел искать строителя, чтобы объявить ему, что пришел на работу.

Строитель ругал какого-то плотника за то, что тот не гладко обтесал бревно, когда Бенедя подошел к нему с шапкой в руке.

— А ты чего здесь шляешься, почему не работаешь? — гаркнул он на Бенедю, не узнав его вначале и думая, что это кто-нибудь из каменщиков, работающих на постройке, пришел к нему с какой-нибудь просьбой.

— Я пришел сказать пану строителю, что я уже поправился и вышел на работу. Прошу назначить, куда мне становиться.

— Поправился? А-а, так ты сегодня первый раз?

— Нет, сударь, я уже был здесь на работе, только во время закладки меня рычагом покалечило.

— А, это ты? — закричал строитель. — Это ты тогда наделал нам беды, а теперь снова сюда лезешь?

— Какой беды, сударь?

— Молчи, дурень, когда я говорю! Ты напился, не отскочил во-время, а мне позор! Чуть что, сейчас же все на меня: он виноват, не заботится о жизни рабочих, не умеет камень спустить! Нет, хватит с меня этого, мне такие рабочие не нужны!

— Я напился? — вскрикнул изумленный Бенедя. — Пан строитель, я отродясь еще пьян не был... Кто вам сказал?

— О, да, тебе только поверь, так ты готов присягнуть, что и не знаешь, как выглядит водка. Нет, дрянь твое дело: клянись, чем хочешь, а я тебя на работу не возьму!

— Но пан строитель, побойтесь бога! Чем я виноват? Я здесь здоровье свое потерял, едва поправился немного, а если вы меня теперь прогоните, где я тогда заработаю, кто меня примет?

— Пускай тебя принимает кто хочет, меня это не касается! Я волен принимать или не принимать на работу, кого мне захочется!

— Но ведь я здесь уже принят, а если меня не было три недели, то это не моя вина. Я уже не говорю о том, что я болезнь перенес и не требую ничего за время болезни, хотя, ясное дело, если бы мне не помогли добрые люди, то я вместе с матерью погиб бы с голоду. Но теперь ведь должна же найтись для меня здесь работа!

— Те-те-те! Должна! Вишь ты, как он рассудил! А знаешь ли ты, безмозглый хам, что ты здесь каждый день, каждый час по моей милости работаешь? Если я не захочу, то и тебя не будет, выгоню, и ступай тогда, судись со мной!

На эти слова Бенедя не нашел уже никакого ответа. Он опустил голову и молчал, но слова строителя глубоко запали ему в душу. Правда, он и прежде слышал не раз такие слова, но никогда еще они не задевали его так сильно, никогда еще не вызывали в душе такого жгучего чувства несправедливости и угнетения. «Неужто это правда? — думал он.— Неужто рабочий всегда работает по его милости? А если рабочий живет кое-как, то.

значит, это также по его милости? А по чьей же милости меня искалечил рычаг? А если он всегда так милостив к рабочим, то чья же милость меня гонит с работы на голодную смерть? Но нет, здесь, видно, что-то не так! Живу ли я на свете по милости строителя, этого я не знаю, но я знаю, что по его милости я искалечен, болен и без работы!»

— Ну, что еще, — прервал его мысли строитель, — чего ты стоишь? Убирайся отсюда!

— Да я, ваша милость, места здесь не простою, уберусь. Только мне все-таки сдается, что не так должно быть, как вы говорите.

— Что, что? Ты хочешь меня учить? Ну, хорошо, ну, говори, как должно быть?

— Вы, пан, должны знать, что вы такой же слуга, как и я. Если бы вас не нанимали на работу, то и вы померли бы с голоду, как и я!

— Ха-ха-ха! Ты, наверно, лежа в своей халупе, таким умником сделался! Ну-ну, продолжай, как еще должно быть?

Строитель стоял перед Бенедей, держась за бока, и смеялся, но его здоровое лицо, красное, как бурак, свидетельствовало, что злость кипела в нем и в любую минуту готова была прорваться сквозь деланный смех. Но Бенедя не обращал внимания ни на его смех, ни на его злость. Чувство пережитой обиды придавало ему смелости.

— А еще так должно быть, — сказал от твердо, — чтобы вы, пан строитель, не издевались над бедным рабочим и не попрекали его халупой, потому что кто знает, что вас ждет впереди.

И с этими словами, не ожидая ответа строителя, Бенедя повернулся, взял свой мешок, сказал рабочим: «Будьте здоровы, братцы», — и вышел с площадки на улицу.

А теперь куда? Бедный Бенедя все надежды возлагал на эту работу. Он знал, что такого слабого нигде не примут. А сейчас, когда и эта последняя надежда рухнула, он стоял на улице, словно пришибленный, не зная, куда направиться. Идти домой? Там старуха мать ждет заработанных им денег. Идти искать работу? Но где? Ниоткуда

не видно было никакой надежды. Как вдруг ему пришла мысль обратиться к более высокому пану, нежели строитель, к самому Леону, и просить его, чтобы принял на работу.

Пока он все это обдумывал, стоя на улице, перед площадью, на которой строился дом, прибежал рассыльный и громко позвал строителя к хозяину. Строитель удивился и спросил, разве хозяин уже приехал из Вены?

— Приехал вчера ночью и просит, чтобы пан поскорей пришел к нему.

Строитель, а за ним Бенедя пошли к Леону. Хозяин ходил по двору и, увидев их, пошел навстречу.

— У меня к вам небольшое дельце, — сказал он, поздоровавшись со строителем; затем, обернувшись к Бенедю, спросил:

— А ты зачем?

— Я, ваша милость, хотел бы стать на работу, — сказал Бенедя.

— Это меня не касается, проси господина строителя.

— Я просил уже, но пан строитель не хотят...

— Разумеется, не хочу, — вмешался строитель. — Это тот самый, — сказал он, обращаясь к Леону, — который во время закладки был искалечен благодаря своей неосторожности. Какой мне прок в таком работнике! К тому же он сейчас болен, а рабочих у меня достаточно.

— А-а, это тот самый! — вспомнил Леон. — Гм, оно бы следовало для него что-нибудь сделать. — И прибавил, обращаясь к Бенедю: — Ну-ну, что-нибудь придумаем, обожди здесь, пока я тебя не позову. Вот сядь здесь на крыльце и сиди.

Долго продолжалась беседа Леона со строителем. Бенедя тем временем сидел на крыльце и грелся на солнце.

Наконец, спустя некоторое время, появился строитель, какой-то кислый как будто, и, не обращая внимания на Бенедю, ушел. Через несколько минут вышел и Леон.

— Тебе нужна работа? — спросил он Бенедю.

— Конечно, сударь, человек живет работой, значит работа для него все равно, что жизнь.

— Да, но, видишь, господин строитель не хочет тебя держать здесь, в Дрогобыче. Но ты не горюй, я начинаю сейчас строить в Бориславе новую паровую мельницу, там тебе работы будет достаточно.

— В Бориславе?.. Паровую мельницу?.. — изумился Бенедя, но сразу же замолчал, не смея пускаться с таким важным паном в разговор.

— Ну, и что ж ты так удивился? — спросил, усмехаясь, Леон. — Мельница так мельница: тебе, каменщику, все равно.

— Да я уж и сам подумал, что панское дело приказывать, а наше дело работать. Мельница так мельница...

— Только, видишь ли, я хотел бы, чтобы постройка была немудреная, так себе, в два кирпича, одноэтажная, но пошире. Это не будет обыкновенная паровая мельница, какие все строят. Я нашел такого человека, который все это придумал, и план сделал, и сам будет вести работу. Но, видишь, строитель уж очень носом начал крутить, когда увидел этот план. Ну, а ты разбираешься в том, как нужно работать по плану?

— Почему же нет? Если человек имеет под рукой чертеж и масштаб, то это не хитрая штука...

— Да, да, разумеется, не хитрая штука, — сказал Леон. — Так вот, видишь ли, я не всегда смогу присматривать за тем, что там делается, в Бориславе, а строитель так здесь со мной спорил, что готов спутать мне все и построить не так, как в плане указано. Так я уж буду тебя просить, чтобы ты, в случае, если что не так, дал бы мне знать.

Бенедя с изумлением слушал все, что говорил ему Леон. Что за мельница такая, что строитель от нее нос воротит, а хозяин боится, как бы он не сделал иначе, чем в плане указано? И с чего это вдруг Леону пришло в голову просить его, чтобы он следил за строителем? Бенедя не мог найти в своей голове ответа на все эти вопросы и стоял перед Леоном, как бы колеблясь.

— Не бойся, будь только откровенен со мной, и ты не пожалеешь об этом. Пока будет идти строительство в Бориславе, до тех пор ты будешь там, и на жалованье не подручного, а каменщика. А потом посмотрим.

Бенедя еще пуще прежнего удивился. Откуда вдруг такая щедрость у Леона? А впрочем, кто его знает, — продолжал он раздумывать, — может быть ему и в самом деле это необходимо, вот он и платит. Разве для него это большое дело? А для бедного помощника каменщика все-таки благодеяние большое. Размышляя так, Бенедя решил согласиться на условия Леона, еще и поблагодарил его за милость.

— Ну-ну, не благодари, — ответил Леон, — я не благодарности от тебя требую, а верной службы; если будешь стараться, я тебя, конечно, не забуду. А теперь иди, собирайся как можно скорее в Борислав, чтобы завтра же ты мог быть на месте — за Бориславом, возле реки.

С этими словами Леон дал Бенедю несколько гульденов задатка и пошел к себе. Бенедя не надеялся на такой успех. Радостный, вернулся он домой и рассказал своей старой матери обо всем, что сегодня с ним приключилось.

— Что делать, мать? — закончил он свой рассказ. — Надо брать работу там, где дают. Пойду в Борислав.

— Да я тебе, сынок, и не перечу, а только помни, — всегда по правде живи и к дурному никогда рук не прикладывай. С этой мельницей, сдается мне, что-то не так. Бог его знает, что этот жидюга задумал, а ты заботься о своей душе.

— Мне и самому показалось, что здесь что-то не так, как он говорит. А то, что он просит меня присматривать за строителем, мне и вовсе не понравилось. Правда, строитель наш — плут и пройдоха, но с чего это мне, простому рабочему, присматривать за ним?.. Ну, а если бы я и в самом деле что-нибудь заметил неладное, я бы и без денег сказал ему обо всем. Посмотрим, что будет.

Но, когда Бенедя совсем уже собрался в дорогу и стал прощаться с матерью, старуха ни с того ни с сего расплакалась и, обняв сына, долго не хотела его отпускать от себя.

— Ну, довольно же, мама, довольно, скоро увидимся! — утешал ее Бенедя.

— Ой, сыночек, хорошо тебе говорить! — ответила мать плача. — Разве ты не видишь, как я стара? Мне

еще день, час пожить — да и жизнь вся. Как посмотрю, что ты уходишь от меня, так и чудится мне, что уже никогда больше тебя не увижу.

— Избави бог! Мама, что вы говорите!..

— То говорю, что мне сердце подсказывает. И еще мне сдается, что ты, сынок, идешь в этот Борислав, словно в западню какую, и что было бы лучше, если бы ты отнес назад этот задаток и остался тут.

— Но, мамочка, с чем оставаться здесь, когда работы нет? Я же вам говорю, что чуть увижу что-нибудь недоброе, так пусть меня этот человек хоть всего озолотит, я и часа не останусь работать у него.

— Хорошо, иди, если такова твоя воля, я тебе не запрещаю, и пускай тебя господь благословит!

И старая мать со слезами проводила своего сына на дорогу, ведущую в Борислав, а когда вернулась в свою лачугу и осталась одна, долго стояла с заломленными руками, а затем зарыдала:

— Сыночек мой! Да благословит тебя бог на добром пути! А я уж, видно, не увижусь с тобой!

Было воскресенье, когда Бенедя отправился в дорогу. В церкви святой Троицы, мимо которой он проходил, духовенство громогласно возглашало «хвалу божью». А рядом, на убогой дрогобычской мостовой, возле каменной ограды сидели группами рабочие в пропитанных нефтью рубахах и драных кафтанах, ожидая, скоро ли окончится «хвала божья», чтобы двинуться затем в Борислав. Одни из них крестились и шептали «отче наш», другие дремали на солнцепеке, некоторые же держали в руках хлебцы по десять крейцеров ценой и лук и ели, откусывая от целого, неразрезанного каравая. Бенедя не стал дожидаться возле церкви, когда окончится служба. Хоть от Дрогобыча до Борислава и не очень далеко, всего какая-нибудь миля, и хоть ему не нужно было искать работы, подобно большей части этих нефтяников, но он слышал, что в Бориславе очень трудно найти квартиру, а ему хотелось устроиться где-нибудь недалеко от «фабрики», на которой предстояло работать: он после несчастного случая во время закладки чувствовал сильную слабость в ногах и знал, что по бориславской непросыхающей грязи далеко ходить не

сможет. Поэтому Бенедя спешил в Борислав, чтобы отыскать себе жилище, пока не нахлынули туда толпы рабочего люда и не заняли все углы. Но ему нужно было нанять квартиру на длительное время, хотя бы на месяц; найти такое помещение было труднее, так как в Бориславе большую часть всяких углов сдают пришлому люду на одну ночь, что значительно выгоднее владельцам домов.

Каково же было удивление Бенеди, когда, выйдя за город, он увидел, что на всем протяжении дороги, куда только достигал взгляд, виднелись группы нефтяников, медленно шагавших в облаках пыли. Эти не ждали окончания «хвалы божьей», а торопились, чтобы заполучить хоть какую-нибудь работу. У каждого была грязная полотняная сумка, где лежал кусок хлеба; у некоторых торчали из сумок зеленые стебли молодого лука. Бенедя вначале молча обгонял этих людей и шел один. Но вскоре ему стало тоскливо и неприятно одному. Солнце жгло иссохшую и потрескавшуюся землю. Хотя май был уже на исходе, но по хлебам в поле это никак не было заметно. Овсы, едва взойдя, завяли без дождя и полегли на землю. Озимая рожь поднялась немного над землей, но так и осталась в трубках и не колосилась, хотя для этого было самое время. Яровые и картошка еще и не взошли: земля, засохшая и выжженная солнцем на несколько дюймов в глубину, не давала посевам никакой влаги. Уныние охватывало, лишь взглянешь на поле. Только крапива и горчица, рано проросшие и пустившие глубже в землю свои извилистые корни, шумели и буйно разрастались. А солнце все жгло и палило; тучи, словно смеясь над бедными крестьянами, к вечеру собирались в небе, а затем, не уронив и капли дождя, к ночи исчезали. В селах, через которые проходили рабочие, их встречали люди такие же печальные и черные, как сама земля. Не слышно было обычных воскресных шуток и смеха на выгонах. Пожилые крестьяне глядели то на поле, то на небо с каким-то упреком, а затем в отчаянии беспомощно опускали руки. Бенедя, весь облитый потом и покрытый пылью, с тяжелым сердцем глядел на эти бедные селенья, которые уже теперь умирали с голода и ожидали еще более тяжелых дней в будущем.

— Обрати, господи, милосердие свое на мир христианский, — долетали до Бенеди почти с каждого двора тяжкие молитвы крестьян. А желтоватое небо глядело на них, солнце жгло, словно назло, и облака, тонкие, белесые и прозрачные, лениво тянулись с запада.

Тяжело и скучно было Бенедю идти одному среди этого убожества. Он присоединился к группе нефтяников.

— Куда бог несет? — спросили они Бенедю после обычных приветствий.

— Туда же, куда и вас, — ответил Бенедя.

— Но вы не в шахты?

— Нет, я каменщик.

— Так, может, поблизости будет что-нибудь новое строиться?

— Как же, я уже нанят. Здесь вот этот... Гаммершляг будет строить новую... — Бенедя запнулся. Он не верил в паровую мельницу Лесна и прежде, но теперь, разговаривая с рабочими, невольно почувствовал, что сделал бы несусветную глупость, если бы рассказал им про паровую мельницу.

— ...новый нефтяной завод, — докончил он.

— Ну, благодарение господу, значит — хоть немного прибавится работы, — сказал один нефтяник. — Может, кто-нибудь там и пристроится.

— Разве в шахтах нет работы? — спросил Бенедя.

— Эх, почему не быть? — ответил нефтяник и махнул рукой. — Да что нам с того, если платят столько, что и прожить нельзя? Гляньте, сколько народу идет, а ведь это только какая-нибудь сотая доля! Год тяжелый, а теперь еще, смотрите, наказание божье! Май, а печет так, как во время жатвы; дождя нет, думаете — голода не будет?.. Куда же людям деваться? Кто еще чувствует в себе силы, тот сюда тащится, чтобы хоть сколько-нибудь заработать. Ну, а для хозяев это праздник. Рабочих привалило — сейчас же плату снижают. Вот и получается: работай за гроши, а не хочешь — сейчас же десять на твое место станут. Думаете, не станут? Посмотрите рано утром на улицу: людей, как травы, все работы ищут. Половину, может быть, наймут, а остальные либо домой возвращаются с пустыми руками, либо перебиваются кое-как со дня на день; где воды принесут,

дров нарубят или еще что, лишь бы кусок хлеба или ложку похлебки добыть. Вот горе-то какое в нашем Бориславе!

В разговор вмешались другие рабочие. Рассказ их товарища о бориславском горе задел всех за больное место. Каждый нашел что-нибудь добавить, и перед Бенедей вдруг встала страшная картина человеческой нужды и угнетения. Он издавна привык слышать, что в Бориславе работа опасная, но зато оплачивается очень хорошо. Правда, жалкий вид нефтяников, которые сотнями сидели каждое воскресенье возле дрогобычской церкви, наводил его на мысль, что здесь, видно, что-то не так с этим хваленым заработком, но никогда он не имел случая достоверно в том убедиться. Только теперь рассказ рабочих сразу раскрыл ему всю правду. Страшное, безотрадное положение такой огромной массы людей поразило его так сильно, что он шел, словно оглушенный, и ни о чем другом не мог думать. «Неужто это правда? Может ли это быть?» — спрашивал он себя. Конечно, и он видел горе на своем веку, и он изведал нужду и голод, гнет, произвол и безработицу. Но все-таки до такой степени падения и нищеты, о которых рассказывали рабочие, ни один ремесленник в городе не доходил. Нефтяники рассказывали о страшных случаях голодной смерти, самоубийства, грабежей. Из их рассказов Бенедя узнал и о том непривычном для него обстоятельстве, что на товарища, попавшего в беду, другие рабочие совсем не обращали внимания, не помогали ему, а оставляли его на произвол судьбы. Нефтяники рассказывали и о том, как их больные товарищи умирали, покинутые всеми, разъедаемые червями, как нередко спустя лишь несколько дней находили в каком-нибудь безлюдном закоулке труп умершего без всякого присмотра рабочего. Эти рассказы глубоко поразили Бенедю. Он родился и вырос в городе. Его отец был таким же подручным каменщика, как и он, — Бенедя с малолетства свыкся с традициями городских ремесленников, с их, хотя и плохонькой, цеховой организацией, с их, пусть слабым, стремлением к взаимной помощи, к более тесной связи между людьми одного ремесла. Правда, во времена Бенеди цеховая организация дрогобычских каменщиков была уже на-

кануне развала. Мастера давно уже разворовали цеховую кассу, в которую вносили деньги поровну и мастера и рабочие, но которой, без всякого контроля и отчетности, распоряжались одни мастера. Не на что было содержать «госпóду», то есть помещение, в котором в определенные дни собиралось цеховое совещание и где регистрировался каждый нуждающийся в работе, где был как бы рынок для найма рабочих. Мастера перестали заботиться о цеховых делах и только следили за точным соблюдением очередности, кому и когда во время торжественного шествия нести старое цеховое знамя. Но вместо этой старой и прогнившей связи начинала во времена Бенеди намечаться между дрогобычскими каменщиками новая связь, хотя еще и неясная и непостоянная. В случае болезни кого-нибудь из рабочих другие рабочие и кое-кто из беднейших мастеров собирали добровольные взносы и назначали больному или его семье еженедельное пособие на все время его болезни. Точно так же оказывали они помощь, хотя и меньшую, тому, кто иногда оставался без работы, и вместе с тем старались подыскать ему работу по специальности или хотя бы какую-нибудь. Правда, это были только слабые зачатки солидарности, но они сохранялись и крепились. Со временем дошло до того, что в случае необходимости уже все, а не отдельные рабочие, делали регулярные взносы, между тем как прежде ни о всеобщности взносов, ни об их регулярности не могло быть и речи.

В таких городских ремесленнических традициях вырос Бенедя. Отбив срок учения и став рабочим, а затем помощником каменщика, он живо проникся новыми идеями рабочей солидарности и взаимопомощи. Бедный, к тому же еще и болезненный, Бенедя остро, как никто другой чувствовал необходимость в такой солидарности и взаимопомощи и с той поры, как стал на работу, не переставал напоминать своим товарищам и уговаривать их, чтобы они в случае необходимости своевременно выплачивали то, что обязались выплачивать, чтобы обещали только то, что смогут выполнить, а однажды обещанное свято выполняли,—так, чтобы слово рабочего было самой лучшей поручкой. Все это были вещи хотя на словах и не новые для рабочих, но на деле очень редко практиковав-

шиеся, требовавшие серьезной дисциплины и выдержки. И Бенедю вместе с несколькими наиболее сознательными рабочими, которые приняли это дело близко к сердцу, пришлось в течение многих лет порядочно поработать, прежде чем они приучили людей к большей точности и выдержке.

Все это делалось дрогобычскими каменщиками, так сказать, наощупь. Они не были связаны с рабочими больших городов, если не считать каменщиков Стрыя и Самбора, таких же темных, как они сами. Они ничего не знали об огромном росте рабочей солидарности и организованности в других странах, не знали о том, как рабочие объединяются и организуются для великой борьбы с буржуазией и угнетением, для борьбы за повышение заработной платы, за обеспечение своих жен и детей, своей старости и своих вдов и сирот. Не знали дрогобычские каменщики ни о великом росте рабочих идей на западе Европы, ни о борьбе рабочих всех стран за их осуществление. Всего этого они не знали, а между тем одинаковые условия, одно и то же веяние времени сделали так, что те же самые стремления, та же борьба начали неясно зарождаться и в их среде.

Бенедю не раз в тяжелые минуты задумывался над судьбой рабочего. С детства хилый и болезненный, он был очень чувствителен ко всякой, хотя бы и чужой, боли, ко всякой обиде и неправде. Обидит несправедливо, оскорбит мастер рабочего, урвет кассир несколько центов из жалованья рабочего, прогонит строитель человека с работы без причины или за какое-нибудь резкое слово— Бенедю будто нож воткнут в живое тело. Он побледнеет, согнется в дугу; лицо, и без того худое и длинное, еще больше вытянется, и он молча делает свое дело, но видно по нему, что он готов лучше сквозь землю провалиться, нежели видеть все это. Вот в такие минуты задумывался Бенедю над судьбой рабочего. Каждый его может обидеть, думалось ему, и никто обидчику ничего не скажет, словно так и надо. Вот строитель столкнул человека со стены, обругал самыми последними словами, еще и по шее надавал и прогнал с работы. А что, если бы этот человек обернулся да хоть раз стукнул строителя по затылку? Сейчас же его и в полицию, и в суд, и в холодную! Но эти

мысли Бенеди всегда возвращались к своему первоначальному источнику: к старому вопросу об общественном неравенстве между людьми. И хотя он не раз повторял, как повторяют миллионы людей у нас: «Так не должно быть», — однако эти слова не помогали ему разгадать трудную загадку о причине этого неравенства и о возможности его уничтожения.

Вот так было и теперь. Молча шел Бенедя, слушая рассказы рабочих о тяжелой бориславской жизни. «Как же так, — думал он, — тысячи людей день за днем терпят такую муку, а в это время новые тысячи непрерывно прибывают, чтобы испытать то же самое! Сами себе вредят. Правда, тем, кто остается в селах, еще хуже: хотя над ними никто не издевается, никто их так не обдирает, но зато там голод. Господи, но как же помочь такой массе народа? Никто не в силах помочь».

— Как же вы, — спросил вдруг Бенедя рабочих, — не пробовали каким-нибудь способом облегчить себе жизнь?

— Какой же может быть тут способ? — ответил рабочий простодушно. — Тут способа нет никакого.

Бенедя опустил голову. То, к чему пришел он сам, нефтяник высказал так решительно, уверенно. Значит, так оно и должно быть, так бог дал. А может быть, способ есть, только они либо слепы и не видят, либо ленивы и не ищут, не то нашли бы и увидели.

— Ну, а пробовали вы устраивать складчину, чтобы помогать друг другу в беде, в болезни? — спросил Бенедя.

Рабочие расхохотались. Сколько нужно было бы собрать, чтобы помочь всем нуждающимся! Ведь там все бедствуют.

— Ну, все же, один больше бедствует, другой меньше. Все-таки можно было бы поддержать более нуждающегося, больного, безработного. Вот так, как у нас, каменщиков, в городе.

— Эх, у вас одно дело, а здесь — другое. Здешний народ — сборище со всего света!

— А у нас разве нет?

— Э, а все-таки то, что можно у вас сделать, у нас никто не делает.

Нефтяники не знали своей силы и не верили в нее.

Бенедя снова замолчал и задумался над их словами. «Нет, — заключил он, — должно же быть какое-нибудь средство против нужды, только одни слепы и не находят его, а другие ленивы и не ищут!»

Между тем наши путники свернули с тустановичской дороги и пошли тропинкой, которая вела через речку и холм к Бориславу. Перейдя вброд речку и поднявшись на высокий, крутой берег, густо поросший боярышником и орешником, они очутились на вершине холма. Невдалеке перед ними лежал Борислав, словно на тарелке. Невысокие, крытые тесом дома блестели на солнце, как серебристая чешуя. Над крышами кое-где виднелись красные тонкие и высокие трубы нефтяных заводов, словно кровавые ленты, взметнувшиеся к небу. Далеко, на другом конце Борислава, на холме стояла старая церковь под липами, и вокруг нее еще сохранялись остатки прежнего села.

Бенедя хотя и бывал раньше в Бориславе, но не подолгу. Он не знал этой местности. Поэтому он рассказал рабочим, где и на каком участке приказано ему становиться на работу, и просил их, чтобы они показали ему это место. Рабочие сразу догадались, о каком участке идет речь, и показали его Бенедю. Это было довольно большое ровное поле между высокими берегами речки, перед самым входом в Борислав, немного левее губичской дороги. Домов поблизости было немного, и Бенедя, простившись с нефтяниками, решил ходить из дома в дом и искать квартиру. Но в первых домах, в которые он зашел и в которых жили евреи, ему не хотели сдавать жилье на долгое время. Дома эти были низкие и очень широкие—очевидно, под их крышами помещалось много каморок для нефтяников, а выгодное положение на краю Борислава делало их пристанищем для всех вновь прибывающих.

Так обошел Бенедя понапрасну пять или шесть домов. Затем он остановился перед старым маленьким домиком, раздумывая, заходить ли сюда, или пропустить эту хибарку и идти дальше. Хатенка была, как и все другие, покрыта тесом, только старый тес подгнил и порос зеле-

ным мхом. На улицу выходили два оконца, которые едва-едва возвышались над землей; прямо против них стекала грязь с дорожной насыпи, все больше и больше затопляя стену и почти достигая прогнивших подоконников. Перед этой хаткой, так же как и перед другими, было голое место: ни садика, ни цветника, обычных в других местах. После минутного раздумья Бенедя решил зайти в эту хату.

Дверь скрипнула, и Бенедя вошел в маленькие темные сени, а оттуда в выбеленную светелку. Он удивился, застав здесь не евреев, а старого нефтяника и молодую женщину. Молодица, лет тридцати, в белой сорочке с красными тесемками, сидела на скамейке у окна, склонив голову на руку, и плакала. Старый рабочий сидел посреди комнаты на низеньком табурете, с трубкой в зубах, и, повидимому, утешал ее. Когда вошел Бенедя, молодица быстро вытерла слезы, а старик начал кашлять и ковырять в трубке. Бенедя поздоровался с ними и спросил, не примут ли они его на квартиру на долгое время. Нефтяник и молодая женщина переглянулись и минуту молчали. Затем отозвался старик:

— Разве я знаю? Вот молодица, это ее хата; как она скажет, так и будет.

— А чтоб вас! — ответила резко молодая женщина. — Как я скажу! Я здесь уже целый год не живу, и бог знает, буду ли когда жить, — и она снова вытерла слезы рукавом, — а вы меня об этом спрашиваете! Это как вы скажете, потому что вы здесь живете. Как вам угодно, так и делайте, а я что могу сказать!

Старый нефтяник немного смутился и начал еще старательнее ковырять в своей глиняной трубке, хотя в ней ничего уже не было. Бенедя все еще стоял у порога с мешком за плечами. Нефтяник молчал.

— Хатенка тесенькая, как видите, — снова начала молодица, — может быть, вам неудобно будет. Вы, как я вижу, из города, не привыкли к тому, как у нас живут...

Молодица говорила так, словно догадывалась по нахмуренным бровям старика, что он хочет отказать Бенедю.

— Э-э, что из того, что я из города, — ответил Бенедя, — не бойтесь, я привык к любой нужде, как и всякий рабочий человек. Только, видите ли, какое дело: ноги у меня побаливают, несчастье со мной было, — у нас, у каменщиков, всяко бывает, — а работать должен вот тут недалеко, возле реки, на том берегу. Там будет строиться новая... новый нефтяной завод. Так, видите ли, хотел бы я найти помещение поближе, хоть какое-нибудь, лишь бы переночевать было где, ведь я весь день на работе, таскаться издалека по вашей бориславской грязи я не могу. Ну, а здесь нигде не хотят принимать в дом на долгое время; а для меня все лучше жить у своего рабочего человека, не у чужака. Только, если для вас...

В эту минуту старый нефтяник перебил его. Он бросил вдруг трубку на землю, вскочил с табуретки, подошел к Бенедю, одной рукой схватил его мешок, а другой начал толкать Бенедю к скамейке.

— Э-э, человек, побойся бога, — закричал старик с шутливым гневом, — садись и не говори ничего! Стоишь здесь, над моей головой, а у меня дети никак не уснут. Присаживайся, и пускай с тобой все доброе войдет в нашу хату. Надо было сразу так и сказать, а то я теперь о себе готов подумать, что я хуже любого спекулянта!..

Бенедя вытаращил глаза на старого чудака, точно не сразу понял его, а затем спросил:

— Ну так как же: принимаете меня к себе?

— Ты же слышишь, что принимаю, — сказал старик. — Только, разумеется, если будешь хорош. Если плох будешь, то завтра же выгоню.

— Уж мы как-нибудь поладим, — сказал Бенедя.

— Ну, если поладим, то будешь моим сыном, хотя мне с этими сыновьями, по правде говоря, не везет!.. (Молодица снова вытерла глаза.)

— Сколько же вы с меня возьмете?

— А есть у тебя какая-нибудь родня?

— Мать есть.

— Старая?

— Старая.

— Ну, так будешь платить шистку в месяц.

Бенедя снова с изумлением поглядел на старика.

— Вы, верно, хотели сказать: «в неделю»?

— Я уж лучше знаю, что хотел сказать, — отрезал старик. — Будет так, как я сказал, и довольно об этом говорить.

Изумлению Бенеди не было конца. Старик тем временем снова сел на табуретку и, нахмурившись, начал набивать трубку.

— Так, может, по такому случаю принести водки? — заговорил Бенедя.

Старик глянул на него исподлобья.

— Ты мне, милый мой, с этим зельем не знайся и в хату с ним не показывайся, а не то вышвырну вон вас обоих! — сказал он гневно.

— Прошу прощения, — сказал Бенедя, — я сам не пью, по мне, хоть бы и вовсе ее не было. Но мне говорили, что в Бориславе каждый пьет, кто в шахте работает, вот я про это...

— Правду тебе говорили, но только, как видишь, в правде есть и брехни капля. Так всегда бывает. Ну, а теперь много не разговаривай, разденься да отдохни с дороги, если ты больной!

В эту минуту молодлица встала.

— Ну, дай вам боже счастья да заработок хороший, — сказала она Бенедю. — Бывайте здоровы, мне пора идти.

Она вышла; старик вышел следом за ней и сейчас же вернулся.

— Служит в Тустановичах, должна бежать на работу. Да и ребенок маленький... — пробормотал он, словно сам про себя, и снова начал набивать свою глиняную трубку.

— Это дочь ваша? — спросил Бенедя.

— Вроде как дочь, а не родная.

— Падчерица?

— Нет, голубок. Она здешняя, а я нездешний. Но это длинная история, будет время, — так услышишь. А теперь отдыхай!

Эта молодлица была Пивторачка, вдова Ивана Пивторака, погибшего в бориславской шахте, а нефтяник был старый Матвей.

Бенедя снял с себя кафтан, постелил его на скамейку под окном и лег отдыхать. Он и в самом деле был очень утомлен, ноги у него дрожали от долгой и непосильной ходьбы. А между тем ему не спалось. Его мысль, словно беспокойная ласточка, уносилась то в Дрогобыч, к старой матери, то в Борислав, где теперь придется ему жить. Ему вспоминались рассказы рабочих, которые он слышал дорогой; в его воображении они проносились не как слова, а как живые образы. Вот всеми забытый нефтяник, больной, беспомощный, умирает в какой-то трущобе, в скрытом от взоров углу, и напрасно просит есть, напрасно просит воды, — некому подать!.. Вот хозяин выбрасывает рабочего на улицу, обсчитывает его при расчете, обманывает и оскорбляет, — некому заступиться за рабочего, помочь ему в нужде. «Никто ни о чем не заботится, кроме как о самом себе, — думал Бенедя, — поэтому все так страдают. Но если бы взяли все сообща... то что сделали бы?..» Бенедя не знал этого. «Да и как им взяться сообща?..» И этого Бенедя не знал. «Господи боже, — вздохнул он, наконец, с обычной у наших простых людей беспомощностью, — наведи меня на какую-нибудь хорошую мысль!»

В эту минуту думы Бенеди были прерваны. В хату вошли несколько нефтяников и, поздоровавшись коротко с Матвеем, уселись на скамейке. Бенедя поднялся и начал разглядывать вошедших. Были здесь прежде всего два молодца, которые сразу привлекали к себе внимание. Высокие, рослые и крепкие, как два дуба, с широкими красными, словно налитыми лицами и небольшими серыми глазами, они казались в этой маленькой хатенке великанами. Лицом, ростом, волосами, глазами они были так похожи друг на друга, что нужно было хорошенько присмотреться и прислушаться к ним, чтобы их различить. Один из них сидел на лавке под окном, заслоняя своими широкими плечами весь свет, который от заходящего уже солнца лился через окошко в дом. Другой поместился на небольшом табурете возле двери и, не говоря никому ни слова, начал спокойно набивать трубку, словно здесь, на этом табурете у порога, было извечное его место.

Кроме этих двух великанов, внимание Бенеди привлек немолодой уже, низкорослый и, повидимому, очень разговорчивый и подвижной человек. Он, как только вошел в дом, не переставая шнырял из угла в угол, не то ища чего-то, не то выбирая, где бы присесть. Он несколько раз оглядел Бенедю, перемигнулся с Матвеем, который с усмешкой следил за его движениями, и даже шепнул что-то на ухо одному из великанов, тому, что сидел на табурете возле двери. Великан только кивнул головой, а затем встал, отодвинул печную заслонку и поднес свою трубку к углям, чтобы закурить. Подвижной человечек тем временем снова уже заглянул во все углы, то потирая свой жесткий, словно щетина, чуб, то поправляя на себе пояс, то просто размахивая руками.

Кроме этих троих, было в комнате еще трое. Бенедя разглядел на скамейке в полутьме старого деда, с длинной седой бородой, но со здоровым цветом лица и крепкого, молодежавшего на вид. Рядом с ним сидел молодой парень, круглолицый и румяный, как девушка, но сумрачный и печальный, словно приговоренный к смерти. Дальше, в углу, совсем в тени, сидели люди, лица которых Бенедя не мог разглядеть. В хату вошло еще несколько нефтяников, — поднялся говор.

— А это что, возный⁹ имущество у вас описывает за недоимки? — голосом громким, словно труба, проговорил, обращаясь к Матвею, один из великанов, тот, что сидел у окна.

— Нет, слава богу, — ответил Матвей, — это, видать, честный человек, рабочий, каменщик. Пришел сегодня из Дрогобыча на новую работу: здесь, на берегу, будут новый нефтяной завод ставить.

— Вот как? — ответил великан, растягивая слова. — Ну, мне до этого нет дела. А чей это будет завод? — прибавил он, обращаясь к Бенедю.

— Леона Гаммершляга, знаете, того еврея, что года два тому назад приехал сюда из Вены.

— Ага, того! О, этот у нас давно на заметке. Правда, побратим Деркач?

Подвижной человек, быстро семеня ножками, в мгновение ока очутился возле великана.

— Правда, правда, отмечен крепко, — засмеялся

он, — но ничего, вреда не будет, если добавим еще отметин!

— Конечно, вреда не будет, — подтвердил великан. — Ну, однако, как же, побратим Матвей, можем мы сегодня здесь говорить о своем, или, может быть, потому, что имеешь нового жильца, ты выгонишь нас из дому искать нового места?

Великан грозно взглянул на Матвея. Матвей почувствовал в его словах упрек; смутясь немного, встал с табуретки и, вынимая трубку изо рта, ответил:

— Боже сохрани, чтобы я вас прогнал! Мои дорогие побратимы, раз уже я присоединился к вам, то никогда не отступлюсь от вас, об этом не беспокойтесь. И моя хата всегда для вас открыта. А что касается нового жильца... конечно, я плохо сделал, что принял его, не посоветовавшись с вами, но посудите сами: приходит человек измученный, больной, никто его в дом не принимает, а по лицу видно, — знаете, у меня на это глаз наметан, — человек он хороший, ну, что мне было делать?.. Впрочем, как вы решите... Нельзя ему быть с нами — я его отправлю... Но мне кажется, что он был бы и для нас подходящим человеком... Говорит, водки не пьет, — значит, уже хорошо. Ну, а второе — работать будет на новом заводе и сможет нам иногда сообщить о том, что там делается.

— Водки, говоришь, не пьет? — спросил великан.

— Я это слышал от него, а впрочем, вот он здесь, спрашивай его сам.

В комнате воцарилось молчание. Бенедя сидел в углу на своей куртке и диву давался, что бы все это могло значить: зачем собрались здесь эти люди и чего хотят от него? Странно ему было, что Матвей словно бы оправдывался перед ними, хотя сам говорил, что это его дом. Но более всего удивлял его этот громкоголосый великан, который вел себя здесь как старший, как хозяин, подзывал к себе то одного, то другого и шептал им что-то на ухо, сам не двигаясь с места. Затем он обратился к Бенедю и начал расспрашивать его строгим тоном, словно судья на допросе, в то время, как все присутствовавшие не спускали с него глаз.

— Вы что, ученик каменщика?

— Нет, помощник, а на новой работе не знаю, за что такая милость — должен быть мастером.

Великан покачал головой.

— Гм, мастером? А за что такая милость? Должно быть, умеете хорошо доносить хозяевам на своих товарищей?

Бенедя вспыхнул весь, как огонь. Он минуту колебался, отвечать ли великану на его вопрос, или плюнуть ему в глаза, собраться и уйти прочь из этого дома, от этих странных людей. Затем решился.

— Чепуху мелете! — сказал он резко. — Может быть, вашего отца сын и умеет кое-кому доносить, а у нас это не водится. А хозяйская милость свалилась на меня непрощенная, должно быть за то, что во время закладки его дома меня чуть не убило рычагом, когда мы спускали в котлован камень.

— Ага, — протянул великан, и его голос слегка смягчился.

— Побратим Деркач, — обратился он к небольшому подвижному человеку, — смотри, не забудь отметить Леону и то, что этот говорит.

— Конечно, не забуду. Хотя это случилось, кажись, в Дрогобыче, а мы имеем дело только с Бориславом, но и это не помеха. Хозяину от этого легче не будет.

— Ну и что же, — продолжал великан, обращаясь к Бенедее, — когда сделаетесь мастером, вы будете так же издеваться, обижать рабочих, как другие, будете выжимать из них, сколько можно, и прогонять с работы за всякое слово?.. Еще бы! Мастера все одинаковы!

Бенедя не мог больше терпеть. Он встал и, беря свой кафтан в руки, обернулся к Матвею:

— Когда вы принимали меня к себе в хату постояльцем, — сказал он дрожащим голосом, — то вы говорили мне, что если я буду хороший, то буду вам за сына. Но скажите сами, как тут быть хорошим, когда вот какие-то люди приходят в дом и ни с того ни с сего привязываются ко мне и бесчестят, неизвестно за что? Если вы меня для этого принимали, то лучше было бы не принимать, я за это время нашел бы дом поспокойнее! А теперь придется уходить, на ночь глядя. Ну, зато по крайней мере буду знать, что за люди бориславские рабочие!.. Бывайте здоровы!..

С этими словами он надел кафтан и, вскинув на плечи свой узелок, повернулся к двери. Все молчали, только Матвей подмигнул великану, сидевшему у окна. Между тем другой великан сидел, словно скала, возле двери, закрывая собой выход, и хотя Бенедя резко сказал ему: «Пустите!» — он не двигался, словно и не слышал ничего, только медленно потягивал трубку.

— Ах ты, господи боже, — закричал вдруг с комичной горячностью Матвей, — постой, человек хороший, куда бежишь? Не понимаешь, видно, шуток! Постой, увидишь, к чему все это клонится!

— Зачем я буду стоять! — ответил гневно Бенедя. — Может быть, еще прикажете мне продолжать выслушивать, как этот человек позорит меня? И не знаю, где он слышал, что я кого-то обижаю, над кем-то издеваюсь?..

— Так вы считаете мои слова для себя обидными? — спросил великан полуласково, полустрого.

— Конечно.

— Ну, тогда извините.

— Не извиняйтесь, лучше быть повежливей и не оскорблять, чем потом прощения просить. Я простой человек, бедный рабочий, но разве поэтому всякий может невесть что на меня наговаривать? Или, может быть, вы на то рассчитываете, что вы сильный, а я слабый — так, значит, можно меня безнаказанно оскорблять? Ну, так пустите меня, не хочу слушать вас! — И он снова повернулся к двери.

— Ну-ну-ну, — говорил Матвей, — они готовы и в самом деле поссориться, сами не зная из-за чего! Но постой, человек божий, гневаешься, а сам не знаешь, за что!..

— Как так не знаю! Не бойтесь, я не такой уж дурак, — огрызнулся Бенедя.

— Вот и не знаешь. Ты считаешь оскорблением слова этого человека, а между прочим он говорил это только для того, чтобы тебя испытать.

— Испытать? В чем?

— Какое у тебя сердце, какие мысли! Понимаешь теперь?

— А зачем ему это знать?

— Это увидишь позже. А теперь раздевайся да садись на свое место. А кричать не нужно, голубок. От нас за

один день ничего не осталось бы, если бы мы по поводу каждой обиды так петушились. А моя думка такая: лучше меньшую обиду перенести, чтобы от большой уберечься. А у нас обычно наоборот делается: если малая беда, человек кричит, а если большая, — молчит.

Бенедя все еще стоял посреди хаты в кафтане и с мешком за плечами и озирался на присутствующих. Матвей тем временем зажег каганец, наполненный желтым бориславским воском, и при его свете лица рабочих казались желтыми и мрачными, словно у покойников. Старый Матвей отобрал у Бенеди мешок, снял с него кафтан и, взяв за плечо, подвел к великану, который все еще сидел у окна, угрюмый и грозный.

— Ну, помиритесь раз навсегда, — сказал Матвей великану. — Я думаю, что этот человек будет для нас новым товарищем.

Бенедя и великан подали друг другу руки.

— Как вас зовут? — спросил великан.

— Бенедя Синица.

— А я прозываюсь Андрусъ Басараб, а вот мой брат — Сень, а это наш «метчик» — Деркач, а вот этот старый дед — побратим Стасюра, а этот парень — побратим Прийдеволя, а вот эти — тоже наши побратимы, ну и ваш хозяин Матвей — тоже..

— А вы, наверно, все из одного села, что побратались? — сказал Бенедя, удивляясь, впрочем, тому, что старые люди побратались с молодыми, в то время как обычно в селах только ровесники объявляют себя названными братьями — побратимами.

— Нет, мы не из одного села, — ответил Басараб, — а побратались мы по-своему, по-иному. Впрочем, садитесь, увидите. А если захотите, можете и вы пристать к нашему братству.

Бенедю еще больше удивило это объяснение. Он сел, не говоря ни слова и ожидая, что будет дальше.

— Побратим Деркач, — сказал Андрусъ Басараб «метчику», — пора нам взяться за дело. Где твои палки?

— Сейчас будут здесь, — ответил Деркач, выбежал в сени и принес оттуда целую охапку тонких ореховых палок, связанных бечевкой. На каждой палке видны были большие или меньшие зарубки, одна рядом с дру-

гой. Такие зарубки делают ребятишки, которые пасут гусей и на палочках отмечают, сколько у кого гусей.

— Отметь Леону то, что рассказал Синица, — продолжал Басараб. В хате между тем сделалось тихо. Все сели, где кто мог, и глядели на Деркача, который уселся на лежанке, положил связку палок возле себя, достал из-за пояса нож и, вытащив одну палку, нарезал на ней еще одну метку рядом со многими прежними.

— Готово, — сказал Деркач, проделав это, и снова воткнул палку в связку.

— А теперь, милые мои побратимы, — сказал Андрусь, — рассказывайте по очереди, какую неправду-обиду каждый из вас за неделю узнал, видел или слышал. Кто ее причинил, кому и за что, рассказывайте всё, как перед богом, чтобы, когда придет наше время и наш суд, каждому было воздано по заслугам!

Минуту было тихо после этого призыва, затем заговорил старый Стасюра:

— Придет, говоришь, наше время и наш суд... Дай-то, боже, хоть вижу — не дождусь этого дня, ну, да, может, вы, помоложе которые, дождетесь... Так вот для того, чтобы отмерить каждому по правде и справедливости, послушайте, что я слышал и видел за эту неделю. Оська Бергман, надсмотрщик в той шахте, в которой я работаю, снова на этой неделе избил четверых рабочих, а одному бойчуку выбил палкой два зуба. И за что? Только за то, что бедный бойчук, голодный и больной, не мог поднять сразу полную корзину глины.

— Нарезай, Деркач! — сказал Андрусь ровным и спокойным голосом, и только глаза его заблестели каким-то странным огнем.

— Этот бойчук, — продолжал Стасюра, — очень добрая душа, и я привел бы его сюда, только он, видно, совсем заболел, не был уже вчера на работе.

— Приведи! — подхватил Андрусь. — Чем больше нас, тем мы сильнее, а ничто так не связывает людей, как общая нужда и общая обида. А чем сильнее мы будем, тем скорее настанет время нашего суда. Слышишь, старик?..

Старик кивнул головой и продолжал:

— А Мотя Крум, кассир, снова недодал за эту неде-

лю рабочим нашего промысла по пять шисток и еще грозил всем, что прогонит с работы, если кто посмеет напомнить об этом. Говорят, он покупает шахту в Мразнице и ему не хватало пятидесяти девяти гульденов, — вот он и содрал с рабочих.

Старик помолчал минуту, пока Деркач отыскал палочку Моти Крума и сделал на ней новую зарубку. Затем продолжал:

— А вот вчера иду я мимо корчмы Мошки Финка. Слышу, кричит кто-то. А это два сына корчмаря прижали в угол какого-то человека, уже пожилого, и так бьют, так дубасят кулаками под ребра, что человек тот уже едва хрипит. Наконец, отпустили его, а он уж и идти не может, а когда харкнул, — кровь... Взял я его, веду да и спрашиваю, что за несчастье, за что так изуродовали? «Вот беда моя, — ответил человек и заплакал. — Задолжал я, — говорит, — неделю тому назад этому проклятому корчмарю, думал, получу деньги и выплачу. А тут пришла получка, — бац, кассир меня забыл, что ли, — не вызывает. Я стою, жду, уже выплатил всем, а меня не вызывает. Я бросился к нему спросить, в чем дело, а он шасть — и запер дверь перед самым моим носом. Как я ни кричал, как ни стучал, — пропало. Еще выбежали прислужники да меня взашей: «Что ты здесь, пьяница, скандалишь?» Пошел я. Встречаю потом кассира на улице и к нему: «Почему вы мне не заплатили?» А тот зверем на меня посмотрел, а потом как закричит: «Ты, пьяница, будешь ко мне на улице приставать? Ты где был, когда выплата была? Я тебя здесь не знаю, там добивайся выплаты, где и другим платят!» Ну, а сегодня касса закрыта. Я проголодался, иду к Мошке съест что-нибудь в долг, пока деньги получу, а эти два медведя, побей их бог, ко мне: «Плати и плати за то, что ты набрал!» Я и прошу, и клянусь, рассказываю, в чем дело, но где там! Прижали меня в углу и вот, смотрите, чуть душу из тела не выколотили!»

— Нарезай метку, Деркач, нарежай! — сказал твердым грозным голосом Басараб, выслушав со стиснутыми зубами этот рассказ. — Наглеют все больше наши угнетатели, — знак того, что кара уже висит над ними. Отмечай, побратим, отмечай живо!..

— Это верно, — продолжал Стасюра, — распустились наши обидчики, зазнались, издеваются над рабочим людом, потому что все им сходит с рук. Смотрю я, слушаю и вижу, что чем больше на свете горя и нужды народной, тем больше у них богатства и роскоши. Вот теперь народу в Борислав валит видимо-невидимо, потому что всюду по селам голод, засуха, болезни. А здесь разве лучше? Каждый день вижу в закоулках больных, голодных, беспомощных; лежат и стонут, и ждут разве только милости божьей, потому что человеческого сострадания уже давно перестали ждать. Да еще, смотрите, плату нам уменьшили и с каждой неделей урезают все больше и больше; нет возможности прокормиться! Хлеб все дорожает, а если еще в этом году недород будет, то придется нам всем здесь погибать. Вот кривда, которую все мы терпим, которая всех нас гложет до костей, а на кого ее записать, — я и сам не знаю!..

Старик произнес все это более живым, нежели обычно, голосом и с дрожащими от волнения губами, а затем оглянул всех и остановил свой взгляд на угрюмом лице Андруса Басараба.

— Да, да, правда твоя, побратим Стасюра, — закричали все рабочие, — это наша общая кривда: бедность, беспомощность, голод!

— А кто в ней виноват? — снова спросил старик. — Или сносить ее терпеливо, эту самую большую всеобщую кривду, а отмечать только те мелкие, отдельные, из которых складывается эта большая?

Андрус Басараб смотрел на Стасюру и на остальных побратимов вначале угрюмо и, казалось, равнодушно, но затем на его лице засветилось что-то, словно скрытая на дне души радость. Он поднялся с места и выпрямился, доставая головой до самого потолка хатенки.

— Нет, не терпеть нам и этой всеобщей кривды, а если и терпеть, то не покорно и тихо, как терпит овца, когда ее стригут. Всякая кривда должна быть наказана, всякая неправда должна быть отомщена, и еще здесь, на этом свете, потому что о суде, который будет на том свете, мы ничего не знаем! И неужели ты думаешь, что, отмечая эти мелкие, отдельные обиды, мы забываем о главной, всеобщей? Нет! Ведь каждая, даже самая ма-

ленькая кривда, которую терпит рабочий человек, — это часть общей, народной кривды, которая всех нас давит и гложет до костей. И когда придет день нашего суда, нашей кары, думаешь ли ты, что не будет отомщена и общая наша кривда?

Стасюра печально покачал головой, словно в душе не совсем верил обещанию Басараба.

— Эх, побратим Андрусь, — сказал он, — отомщена будет, говоришь? Уж одно то, что неизвестно, когда это еще будет... А другое: что нам с того, что когда-нибудь, может быть, и отомстится, если нам теперь не легче от этого? А если и отомстится, то, думаешь, после легче будет?

— Что это ты, старик, — крикнул на него, грозно сверкнув глазами, Андрусь, — расплакался невесть чего! Тяжко нам страдать! Разве я этого не знаю, разве мы все этого не знаем? А кто может так сделать, чтобы мы не страдали, чтобы рабочий человек не страдал? Никто, никогда! Значит, терпеть нам вечно, до конца дней. Тяжело это или не тяжело, никому до этого нет дела. Страдай и молчи, не показывай другому, что тебе тяжело. Страдай, и если не можешь вырваться из беды, то хоть мсти за нее, это хоть немного облегчит твою боль. Так я думаю, и все признали, что я прав. Верно?

— Верно, — ответили побратимы, но так мрачно, угрюмо, словно эта правда не очень их радовала, не очень была им по сердцу.

— А если верно, — продолжал Андрусь, — то нечего и медлить и время зря тратить. Рассказывайте дальше, кто какую кривду знает.

Он сел. В хате стало тихо. Начал говорить Матвей. По соседству с ним умер рабочий в темной еврейской каморке; как долго он там лежал, когда заболел, никто не знает, и хозяева-евреи никому не хотели этого сказать. Говорят, что у рабочего было немного заработанных денег, и когда он заболел, домохозяева отняли у него все, а его после морили голодом, держали взаперти, пока он не умер. Тело было страшно худое, грязное и все посинело. Позавчера ночевала какая-то женщина у другого еврея по соседству. Ночью родила. Денег у ней не было, и сразу же на другой день хозяева выбросили ее с ребенком

из дому. Рассказывал один рабочий, знакомый той женщины, что ходила она с ребенком к попу, чтобы окрестил, но поп не хотел крестить, пока она не укажет отца ребенка. Тогда женщина бросила ребенка в шахту, а сама побежала к начальству с криком, чтобы ее сейчас же повесили, потому что больше жить не хочет. Что с ней случилось затем, Матвей не знал.

И потекли рассказы, одинаково тяжелые и ошеломляющие, о совершающихся кругом вопиющих обидах. И после каждого рассказа говоривший останавливался, ожидая, пока «метчик» Деркач не отметит на палочке, чтобы «каждому воздать полной мерой». Некоторые побратимы говорили с таким спокойным, безразличным, почти мертвым выражением лица, что уже один их голос, один их вид был своего рода тяжелым обвинением, достойным того, чтобы быть отмеченным в ряду всеобщей неправды и угнетения. Другие загорались, рассказывая, проклинали мучителей и требовали скорой для них кары. Но сильнее всего взволновал всех рассказ молодого парня Прийдеволи. Когда пришла его очередь, — а он был моложе всех, поэтому и очередь его была после всех, — долго сдерживаемые рыдания вырвались у него из груди, и, заламывая сильные руки, он вышел на середину комнаты.

— Перед богом святым и перед вами, побратимы мои, жалуюсь на свое горе! На свою страшную обиду!.. Осиротили меня на всю жизнь... отняли последнее и растоптали ногами, и все это так, для забавы!.. Ох, боже, боже, и ты смотришь на все это и еще можешь терпеть?.. Но нет, ты терпи, — я же не могу, я не буду!.. Побратимы, товарищи милые, скажите, что мне делать, как отомстить? Все сделаю, на все отважусь, только не велите ждать, побойтесь бога, не велите ждать!..

Он замолчал, всхлипывая, как малое дитя. Спустя минуту начал уже более спокойным голосом:

— Вы знаете, что я круглый сирота, знаете, в каком горе и нужде прошли мои молодые годы, пока несчастье не загнало меня сюда, в этот проклятый ад. Но вся беда и нужда, все несчастья были для меня ничто, пока был хоть один человек, который умел меня утешить, подбодрить, приголубить, который отдал бы за меня свою

жизнь... который любил меня!.. И этой единственной поддержке позавидовали мои враги! Послушайте, что они сделали. Вы знаете, что Варька ради меня оставила свой дом, мать старуху и пришла сюда, в Борислав, чтобы быть вместе со мной. Мы жили вместе вот уже полгода. Она работала на складе у этого богача Гольдкремера. На свое горе она понравилась всем тем псам, которые видели ее. А там их до черта: кассир, молодой Шмулько Блютигель, надсмотрщик, тоже молодой еврейчик, затем еще какие-то прохвосты, накажи их бог!.. Начали они к ней приставать, не давать ей покоя. Раз, другой она отстранила их вежливо, а потом, когда Блютигель застал ее как-то одну в сенях склада и, осмелев, начал уж очень к ней привязываться, она, недолго думая, размахнулась и так трахнула его по роже, что у него изо рта и из носа кровь брызнула, а сам он, как колода, покатился между бочек. Ну и посмеялись мы в тот вечер над назойливым кавалером, когда она рассказала мне обо всем этом. Однако мы прежде времени смеялись. Шмулько разозлился и сговорился с другими отомстить ей. Позавчера была получка; прихожу я вечером домой — нет моей Варьки. Сел я у окна, жду, посматриваю, а у самого под сердцем словно змея лежит. Вот и стемнело уж — нет Варьки. Набросил я кафтан на плечи, вышел на улицу, ищу Варьку — нет ее. Расспрашиваю рабстниц, которые вместе с нею получали, говорят — оставили ее там, наверно ей выплачивали последней. Екнуло мое сердце, бегу в контору — заперто все, а в окнах свет. Стучу, не достучусь, а сам думаю: «Эге, да что я здесь стучу, может быть ее здесь нет? Может быть, она уже дома давно, ждет меня?» Бегу домой — нет. Бегу снова по улицам, забежал ко всем знакомым, во все шинки, куда мы заходили иногда, возвращаясь с работы, закусить или селедку купить — нет ее. Всех расспрашиваю, не видал ли кто Варьку, — никто не видал. Пропала, словно в воду канула. Лечу снова в контору, — так меня что-то и тянет туда. Думаю дорогой: высажу дверь, а дознаюсь, что с ней случилось, где она. Но как только я пришел — куда вся моя смелость девалась! Стал, смотрю: в окнах свет, но окна занавешены, не видно ничего, только тени какие-то мелькают. Нет, думаю, она здесь должна быть.

здесь должна быть, больше ей быть негде. И снова сам себе не верю, потому что зачем ей быть здесь? Пришла мне на ум история с кассиром Блютигелем: я весь задрожал, онемел. И как ни твержу себе, что все это шутка, пустяки, — нет, что-то словно рукой держит меня под окном этой проклятой конторы. «Не пойду уж никуда отсюда, — думаю про себя, — буду здесь ждать, пока огонь не погаснет, а то прожду и до утра». Сел я на какую-то бочку возле самой стены против окна, сижу, а сам дрожу, как в лихорадке. Слушаю — прислушиваюсь. Вот слышно: где-то в шинке рабочие хрипылыми голосами поют песни, где-то псы лают. Из-под Дила, от церкви, долетает, словно стон умирающего, протяжный крик караульщика: «Осторожно с огнем». Вдруг слышу в конторе какой-то смех, затораторили все; узнал я голос Блютигеля, голос надсмотрщика. Затем застучало так, словно о стены забился кто-то, снова хохот, снова говор— и тишина. Господи, каждый звук вонзался в мое сердце, словно острый нож. Я так и замер, прижавшись ухом к стене. Как вдруг, уже на рассвете, раздался страшный крик в конторе; этот крик продолжался только мгновение, но он поразил меня, как гром, уколол, словно жало змеи. Я вскочил на ноги: это был крик Варьки. И едва я опомнился, едва подбежал к двери, чтобы, собрав все свои силы, высадить ее, как вдруг дверь распахнулась, и из нее вылетела, точно молния, Варька. Но она уже не кричала... Я узнал ее по платью, — лица не разглядел в потемках. И она меня не видела: выскочив из дверей конторы, она бросилась напрямик через кучи глины, между сараями и шахтами. Я за нею: «Варька, — кричу, — Варька, что с тобой такое? Что с тобой случилось? Ради бога, стой, отзовись!» Остановилась на минуту, оглянулась, и только теперь увидел я, что у нее вся голова черная, словно уголь, вымазана нефтью, а длинные косы ее отрезаны. «Господи боже, Варька, — кричу я, подбегая к ней ближе, — что это за несчастье с тобой?» Но она, как только увидела меня, сразу же повернулась и, словно испугавшись, помчалась дальше, ничего не видя, ударяясь о столбы воротов над шахтами. Я что есть мочи гонюсь за ней, как вдруг один страшный крик, одно мгновение — и Варька у меня на глазах исчезла,

словно призрак: прыгнула в раскрытый колодец!.. Я подбежал, остановился — только глухо загудело, когда она в глубине, разбиваясь о бревна сруба, наконец упала в воду. Вот и все. Что было со мной потом, не помню. Я очнулся только сегодня, после полудня, и, когда спросил о Варьке, мне сказали, что ее, прибежав на мой крик, вытащили из шахты и уже похоронили. Значит, все пропало. И никто не скажет, что они с нею сделали в ту страшную ночь. Сожрали, изверги, мою Варьку живьем, убили мое счастье!.. Побратимы мои дорогие, перед богом святым и вами плачусь о своем горе, посоветуйте, научите, что должен сделать, но только не велите ждать!..

Рассказ Прийдеволи глубоко поразил присутствующих, хотя все уже и раньше знали по неясным слухам, какое несчастье приключилось с их побратимом. На их лицах можно было видеть во время его рассказа все оттенки чувств: от беспокойства до самой высшей тревоги и отчаяния, по мере того как все эти чувства отражались на лице рассказчика. А когда Прийдеволя замолчал и, заламывая руки, стал посреди хаты, словно немой свидетель великого преступления, молчали и все побратимы, словно пришибленные; каждый, видимо, ставил себя в положение товарища и старался таким образом постигнуть всю глубину его печали и страдания. Но помочь — чем они могли помочь ему в этом деле, где не было уже никакого выхода, кроме смерти? Чему они могли научить его, на какой путь направить?

Первый опомнился Деркач и схватил свои палочки, чтобы сделать новую отметку.

— Стой, побратим Деркач, — сказал вдруг решительно Андрусь Басараб, — этого не отмечай!

Деркач удивленно взглянул на него.

— Не надо, — сказал коротко Андрусь, а затем, обращаясь к побратимам, спросил: — Кто еще хочет что-нибудь рассказать?

Никто не откликнулся.

— Значит, на сегодня беседе конец! Расходитесь по одному!

Но, несмотря на это обращение, никто не двинулся с места. Все как-то странно переглядывались. Андрусь

грозно поглядывал на них, не зная, что это значит. Наконец, поднялся с места Стасюра, самый старей из побратимов:

— Слушай, побратим Андрусь, — сказал он спокойным голосом, — о чем здесь у нас между побратимами на днях разговор вышел... И сейчас не от себя я тебе буду говорить, а от всех. Знаешь, когда мы соединились, чтобы собирать человеческую кривду и судить рабочим судом тех, кого не можем призвать на панский суд, ты обещал нам, что, как только наберется положенная мера зла, страданий народных, мы сделаем подсчет, чтобы знать, для кого эта мера наполнилась до края. Не так ли?

— Так, — ответил Андрусь неохотно.

— И вот мы уже без малого год ведем счет людским обидам, побратим Деркач изрезал немалую кучу палок, но когда же, спрашиваем мы тебя, будет расплата?

— Не время еще, но скоро время настанет, — ответил Андрусь.

— Ох, пока солнце взойдет, роса очи зыест! Сам видишь, что наши обидчики, обогащенные нашим трудом, становятся все наглее. Пора уже для острастки хоть предупреждение какое-нибудь сделать!

— Будет острастка, — сказал твердо и спокойно Андрусь

— Какая? Когда?—раздались со всех сторон вопросы.

— Это уж мое дело. Услышите тогда, когда дело совершится, а заранее об этом говорить не приходится, — ответил Андрусь. — А до расплаты также недалеко. Ведь дубовый росток должен вырасти до тучи, чтобы в него гром ударил. Обождите еще немного... А теперь спокойной ночи!

Все побратимы хорошо знали железный, решительный характер Андруса Басараба, знали, что на его слова можно положиться, и не расспрашивали больше, а начали расходиться.

— А ты, побратим Прийдеволя, останься здесь, я скажу тебе кое-что, — проговорил Андрусь; на лице бедного парня блеснула радость, словно надежда избавиться от страшной муки.

Разошлись побратимы. Только старей Матвей сидел в углу у стены, и давно погасшая трубка выпала у него

изо рта и лежала на подоле длинной рубахи. Андрусь и Бенедя также сидели молча, каждый на своем месте, и каждый был занят своими мыслями. Только Прийдеволя стоял возле порога с мертвенно бледным лицом, заломив руки, стоял, словно само воплощенное страдание, и не сводил глаз с Андруся Басараба, будто ждал от него невесть какого облегчения.

Матвей первый подошел к молодому парню.

— Что же ты, голубок, думаешь делать? — спросил он мягко, с состраданием. Прийдеволя посмотрел на него с выражением растерянности на лице.

— Разве я знаю, что делать, как поступить? — ответил он надломленным голосом. — Руки на себя наложу, если не смогу хотя бы отомстить своим врагам!

— Жалуйся на них в суд, пускай злодеи хоть посидят, — посоветовал Матвей.

— В суд? — мрачно отозвался Андрусь. — Ну, тоже хороший совет! В суд! А если их там и засудят, так что? Посидят месяца по два, да и выйдут и еще вдвойне выместят свою злобу на добрых людях. Да и засудят ли их? В чем будет он обвинять их на суде, если сам не знает, что они там с девкой сделали? А хотя бы и сто раз знал, где он возьмет свидетелей, как им докажет? Может, девка по собственной воле покончила с собой или, может быть, кто знает, другая на то была причина? Эх, Матвей, Матвей, что там суд!.. Здесь нужен иной суд, иная правда!..

В ответ на эти слова Матвей, как пришибленный, грустно склонил голову и тяжело вздохнул: помимо своей воли и желания, он вынужден был признать их справедливость. А Прийдеволя еще пристальней посмотрел на Андруся и еле слышно проговорил:

— Да, побратимы, и я так думаю, что свидетелей нет никаких!.. Если бы только она жива была, господи, если бы она жива была! Но ведь вы знаете, какая она была гордая и непокорная, никакого бесчестия, никакого обидного слова не могла стерпеть!.. Ну, так что же мне делать, что делать?..

Андрусь взял его за плечо и отвел в угол, мигнув Матвею, чтобы тот отошел в сторонку, — затем начал ему что-то тихо шептать на ухо. И, видно, немалую силу

имели слова Андруса, если молодой парень вдруг побледнел еще больше, затем вспыхнул румянцем и, наконец, весь дрожа, как в лихорадке, громко зарыдал и, горячо сжимая Андрусеву руку, выкрикнул:

— Да, твоя правда, братец, другого выхода нет! Так и сделаю, будь что будет!

— Только ловко, толково и смело, и нечего бояться! Все мы под божьим судом ходим, божий суд для всех одинаков и справедлив, только людской суд не таковский. А после... после увидишь, что станет легче! Ну, а теперь ступай, спокойной ночи!..

Прийдеволя молча поклонился и ушел.

Андрусь прошелся несколько раз по хате, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, хотя, видимо, и сам был взволнован до глубины души. Потом подошел к Бенедю и выпрямился перед ним во весь свой богатырский рост.

— Ну, видели вы нашу работу?

— Видел.

— И что вы об этом скажете?

Бенедю опустил голову, словно стараясь собрать воедино рассыпанные мысли.

— По всему видно, что вы задумали что-то страшное и большое, хотя и не могу в толк взять, откуда это у вас взялось.

— Откуда взялось? Э-э, длинная это история, к тому же она и не относится к делу.

— А затем, хватит ли у вас сил, чтобы сделать то, что вы задумали?

— Мы сеем, а уродит ли семя втрое или вдесятеро, этого мы не знаем!

— И потом... еще одно... — Бенедю запнулся. — Подумали ли вы...

— О чем?

— О самом главном.

— Ну?

— Кому и какая польза будет от вашей работы?..

Андрусь пристально посмотрел на Бенедю, а затем засмеялся горьким смехом:

— Ха-ха-ха, польза! Разве непременно должна быть польза?

— Ну, я так думал, — ответил спокойно Бенедя, — что уж если что-нибудь делается, и делается обдуманно, то нужно поразмыслить и над тем, будет ли и кому будет от этого польза.

— Гм, вольно вам так думать! А я нынче думаю: вот меня теснит враг со всех сторон, нет у меня никакого выхода. Я заряжаю ружье. Убью ли я врага, или самого себя, это для меня все равно.

— Нет, нет, нет, — живо подхватил Бенедя, — это говорит в вас слепое, безысходное отчаяние, а не рассудок! Разве дошло уже до того, что нет никакого другого выхода? А если бы дело обстояло и так, то разве вы думаете, что это все равно — убить себя или убить врага? Убьете себя — врагу легче и выгоднее будет.

Теперь наступила очередь Андруся опустить тяжелую голову и задуматься.

— Ты прав, — сказал он, наконец, Бенедю. — Здесь надо подумать. Хочешь быть нашим побратимом и думать вместе с нами?

— Вашим побратимом, но не слепым орудием вашей воли.

— Нет!

— И чтобы каждый мог свободно думать, что он хочет, и другим говорить, что думает.

— Это у нас и теперь свободно. Ведь ты же слышал сегодня.

— Так-то оно так, но я еще раз оговариваю себе это право. Себе и каждому.

— Хорошо.

— Ну, а если так, буду вашим побратимом, буду думать вместе с вами над тем, как найти выход из великой всенародной кривды!

Андрусь, а за ним Матвей радостно обняли Бенедю, как брата.

Наши побратимы были так заняты собой и своими мыслями, что не слышали, как кто-то постучал в наружную дверь, открыл ее с легким скрипом и вошел в сени. Лишь когда скрипнула дверь хаты и новый гость стал на пороге, только тогда они заметили его. Это был высокий рыжий еврей с недобрыми серыми глазами, с недоб-

рым выражением веснушчатого лица, на котором свети­лась в эту минуту какая-то зловещая радость.

— Дай боже! — буркнул он, приподняв слегка шапку на голове.

— Дай боже! — ответил Матвей, которому как-то не по себе стало при виде нового гостя. Этот новый гость был его злейший враг — Мортко, один из надсмотрщиков на промыслах Германа Гольдкремера*. Матвей недо­умевал, что привело Мортка теперь, в такое позднее время, в его хату, но, верный обычаю нашего народа быть почтительным с каждым входящим в дом, Матвей скрыл в глубине души свою ненависть и все ожившие при виде Мортка мучительные воспоминания. Он привет­ствовал его с холодно-вежливым видом:

— Садитесь, Мортко!

Мортко кивнул головой и сел.

— Нет ли каких новостей, что так поздно зашли к нам в гости?

— Как будто все в порядке. Новости хорошие! — от­ветил со злорадной усмешкой Мортко и, спустя ми­нуту, добавил: — Был у вас нынче рассыльный из суда?

Матвей вздрогнул при слове «суд», словно ужален­ный.

— Нет, — еле выдавил он, чувствуя что-то недоб­рое, — не был.

— Ну, тогда, вероятно, завтра будет. У меня был сегодня.

— Ну и какие новости принес вам? — спросил Мат­вей, дрожа всем телом.

— Наше дело кончено.

— Кончено?

— Да! И так кончено, как я вам говорил. Потому что зачем вам было нужно вмешиваться в то, что вас не касается?

— Не касается? — с болью в голосе воскликнул Матвей. — Мортко, не говори мне этого. Хотя ты и у меня в доме, но, сам знаешь, человек не без греха!

— Ну-ну, — ответил Мортко, — вам не на что сер-

* Смотри «Voa-constrictor», гл. IV. (Прим. Ив. Франка.)

диться. Я не то хотел сказать. Я хотел только сказать, что вы зря на меня бросили подозрение и что я в этом деле, видит бог, нисколько не виноват! Сам прокурор в Самборе это признал и сказал, что против меня нет никаких доказательств и что он не может обвинять меня по этому делу, которое вы взвалили на меня. Напился покойный Пивторак, упал в колодец: при чем же я здесь?

Услыхав это, Матвей, словно оглушенный ударом обуха, опустил голову и не мог проговорить ни слова. «Пропало, пропало! — шептало, шипело, вертелось что-то в его голове. — Погиб человек, и след его простыл, а это...»

В эту минуту Андрусь Басараб, молча слушавший весь этот рассказ, обратился к Мортку:

— Что это за дело такое, Мортко? Какое у вас дело с Матвеем?

— А зачем вам это знать? — язвительно ответил Мортко.

— Ты уж не спрашивай, зачем мне это знать, — ответил Андрусь. — Тебе жалко сказать, что ли?

— Жалко — не жалко, но...

Мортко внимательно всматривался в Андруся, словно боялся нажать себе в нем нового врага.

— Говори же, если не жалко! — сказал Андрусь и стал над Мортком, словно черт над грешной душой.

— Да что тут говорить, пустое дело, *püste Geschäft**, — и все тут! Помните, два года тому назад из шахты достали человеческие кости! По перстню узнали, что это был Иван Пивторак, муж хозяйки этой хаты. Он за год перед тем куда-то пропал. Ну, а Матвею почему-то взбрело в голову, что это я виноват в том, что Иван упал в колодец, ну, он и давай жаловаться на меня в суд. Он думал, что меня сразу же возьмут и повесят... Но в суде так не делается: если обвиняешь кого, так поди раньше докажи! А здесь как можно доказать? Ну, однако, благодарение господу, дело уже закончено! Слушайте, Матвей, я еще раз говорю, зачем вам нужно было вмешиваться в это дело и тратить

* Пустое дело (*еврейск.*)

деньги на процесс? А теперь, когда вы проиграли, забудьте обо всем и будем снова друзьями, как прежде. Ну, давай руку, старина!

Мортко протянул Матвею руку.

— Я — тебе? — вскрикнул Матвей. — Чтобы я положил свою руку в ту руку, которая моего Иванчика со свету сжила? Нет, не дождешься этого!

— Ну, видите, — сказал еврей, обращаясь к Андрию, — он все свое. Послушайте, Матвей, вы оставьте эти разговоры, потому что теперь, когда суд признал, что я не виновен, никто не смеет меня обвинять. Теперь я на вас могу подать в суд за оскорбление!

— Ну, подавай, подавай! — крикнул Матвей. — Пускай меня повесят вместо тебя! А я, хотя бы десять судов говорило что угодно, все буду стоять на своем. Не кто другой, как ты, толкнул Ивана в колодец. Вот и все! А теперь уходи отсюда, потому что, если у меня лопнет терпение, может что-нибудь неладное выйти между нами!

Мортко пожал плечами и пошел. Но в дверях он обернулся, бросил презрительный взгляд на Матвея и сказал: — Глупый мужик! Он думал, сделать мне что-нибудь этим процессом, а это еще не так просто — сделать мне что-нибудь!

И с этими словами Мортко ушел. А Матвей все еще сидел на лежанке, бледный, разбитый, дрожащий, сидел без мыслей и движения, а в голове у него, словно мельничное колесо, тархтело одно темное, пустое, холодное слово: «Пропало! пропало! пропало!»

Андрусь Басараб подошел к нему и положил свою могучую руку на его плечо.

— Побратим Матвей!

Матвей поднял глаза и взглянул на него, как утопающий.

— Что это за дело такое? Что за процесс? Почему мы до сих пор ничего об этом не знали?

— Эх, пропало, все пропало! — ответил Матвей. — Что теперь и говорить об этом!..

— Нет, ты расскажи, тебе самому легче будет!

— Ой, не будет мне легче, не будет! — сказал Матвей. — Пропало — и все тут!

— Да кто еще знает, пропало ли? — вмешался Бенедя. — Ведь можно проигранный однажды процесс начать вторично и выиграть! А здесь и вовсе, как видно из слов этого Мортка, не так плохо. Ведь ваше дело и в суде не было, только прокурор признал, что улики, необходимых для суда, нет. Значит, если будут улики, то и суд будет.

Лицо Матвея прояснилось немного при этих словах.

— Так ли это? — спросил он, выпрямляясь. Но какая-то тяжелая мысль вскоре снова навалилась на него и придавила к земле.

— Нет, нет, нет, нечего и говорить, — сказал он. — Так или иначе, а все пропало. Три года прошло. Где я теперь возьму им лучшие доказательства? Довольно, довольно и думать об этом!

И он закрыл лицо руками, а из его глаз полились горячие наболевшие слезы, потекли между пальцами и закапали на землю. Бенедя и Андрусь увидели, что сегодня с ним нельзя больше ни о чем говорить, — удар был слишком силен и неожидан и сломил всю его твердость. Андрусь молча стиснул Бенедю руку, взял шапку и тихо вышел. Бенедя также тихо разделся и лег на лавке, подостлав кафтан. А Матвей сидел на лежанке, словно омертвелый, словно из камня изваянный. Нефтяная лампочка все слабее и слабее мерцала на выступе трубы. В углах комнаты притаились глыбы мрака, словно ожидая мгновения, когда погаснет лампа, чтобы обрушиться на дом и закрыть собою все сверху донизу. Бенедя, как только улегся, так и в ту же минуту под тяжестью множества сильных впечатлений этого дня уснул мертвым сном. Уже минула полночь, погасла лампа, тьма заполнила хату, а Матвей все еще сидел на лежанке, с лицом, закрытым ладонями, без движения, без слов, без мыслей, ощущая в сердце только страшную боль, великую пустоту и еще живую рану, причиненную мыслью, что и в судах уже нет правды для бедного рабочего. Только на рассвете сон одолел усталое тело, голова его склонилась, руки бессильно упали и, улегшись на голой лежанке, Матвей задремал на часок, пока не раздастся по всему Бориславу утренний стук и звон, созывающий трудовой люд на работу.

Поутру в понедельник яркое солнце явилось из-за розовых облачков, чтобы снова весь день палить и жечь нерасцветшую землю Подгорья. В блестящей легкой рессорной бричке, запряженной парой резвых пегих лошадок, ехал Леон Гаммершляг из Дрогобыча в Борислав. Он был в прекрасном, радужном расположении духа, блестящие надежды возникали перед ним, росли, крепились, облекались в плоть и кровь. Мерное покачивание брички сладко убаюкивало Леона, а его собственные мысли и мечты украшали в его глазах весь мир. Ну и наработался, набегался он за эти три недели, изведаль немало тревог и волнений, повозился со всякими людьми, пока все-таки не добился своего, — не схватил среди этой сутолоки золотую нитку, которая, может быть, приведет его и к клубку богатства! Его пребывание в Вене так или иначе было действительно одной из самых смелых и счастливых его спекуляций! Это была настоящая ловля золотой рыбки! Ну и удалась же ему эта ловля как нельзя лучше! Леон заранее обдумал все подробности этой героической ловли, рассчитал время и деньги, чтобы все в задуманном им предприятии шло правильно, ловко и гладко, как часы. Главная суть его планов заключалась в следующем

Проживающий в Вене бельгийский химик Ван-Гехт, который несколько лет работал над анализом горного воска, после долгих опытов изобрел такой способ очистки, в результате которого очищенный воск утрачивал свойственный ему неприятный запах нефти. Небольшая примесь пчелиного воска придавала ему аромат, а еще одна химическая примесь — цвет обыкновенного чистого пчелиного воска. Этот новый фабрикат он называл церезином и выхлопотал патент на право исключительного пользования своим изобретением. Образцы своего воска Ван-Гехт послал, между прочим, и святейшему синоду в России, с запросом, может ли такой воск найти доступ в православные церкви, и с заверением, что в этом случае он мог бы поставлять его в большом количестве и по цене гораздо более низкой, нежели цена пчелиного воска. Синод ответил ему

спустя некоторое время, что предложенный воск испробован, что он оказался ничем не хуже пчелиного и что в каждой православной церкви в России свечи из этого воска могут гореть без всякого ущерба для славы божией. В случае, если он, Ван-Гехт, поставит много такого воска по дешевой цене, синод обеспечит ему большой сбыт в России. Имея это важное разрешение и патент на исключительное право пользования своим изобретением в течение семи лет, Ван-Гехт задумал добиться при их помощи миллионного состояния. До сих пор он был бедным техником, с большим трудом собрал деньги на устройство в Вене собственной небольшой химической лаборатории, в которой работал с одним лишь помощником — ассистентом, немцем Шеффелем. Поэтому и не удивительно, что теперь он решил как можно дороже продать результат своего труда. С этой целью он объявил в торговых и биржевых венских газетах о своем изобретении и открытых для него широких рынках сбыта, приглашая «господ предпринимателей, фабрикантов и капиталистов, которые при его участии хотели бы осуществить выгодную сделку, вступить в соглашение лично или через посредство агентов с изобретателем Ван-Гехтом». Это объявление вызвало немалую тревогу среди венских капиталистов, а особенно среди галицких предпринимателей, которые давно уже грели руки возле бориславской нефти и бориславского воска. Вокруг убогой лаборатории Ван-Гехта, помещавшейся в нанятой им сырой квартире в подвале, забегали втихомолку агенты; каждый старался обойти другого, и никто из них не приступал прямо к делу, а только принохивался, как собака. Ван-Гехт видел все это, и хотя им все более овладевало нетерпение в ожидании желанного миллиона, он радовался, зная, что в мире предпринимателей так уж заведено: когда речь идет о каком-нибудь важном деле, оно прежде всего обнюхивается и ощупывается со всех сторон: никто никому не доверяет, все боятся друг друга, и хотя в погоне за прибылью каждый рад опередить своих собратьев, а если возможно, то и свалить еще того или другого «собрата», каждый старается ни в чем не подать вида другим, хотя, быть может, его и сжигает внутри всепожирающая лихорадка.

Ван-Гехт хорошо знал это и старался и сам казаться незаинтересованным. Он попрежнему трудился со своим помощником в лаборатории, заходил иногда на биржу, но всегда держался в стороне, смиренно, словно бы это и не он. Однако он хорошо замечал, что его низенькая, приземистая и слегка обрюзгшая фигурка начинает обращать на себя внимание в мире властителей капитала.

В этом не было ничего удивительного. Ведь это происходило в конце шестидесятых годов, в эпоху большого промышленного подъема в Австрии, в эпоху великой спекулятивной лихорадки, великого «Aufschwintl'я»*. Ведь в то самое время, когда в газетах появилось объявление Ван-Гехта, закладывался фундамент знаменитой «ротонды», главного здания венской всемирной выставки 1873 года. О том, что одновременно с этим биржевым и спекулятивным «Aufschwintl'em» и неотделимо от него были посеяны семена венского «краха» 1873 года⁴, никто в пору горячки не думал, а Ван-Гехта это и вовсе не занимало.

Но уж, наверное, никого так не взбудоражило объявление Ван-Гехта, как знакомых нам бориславских тузов — Германа Гольдкремера и Леона Гаммершляга. Они давно уже метались во все стороны, чтобы найти для бориславского воска более верный и лучший сбыт, нежели тот, который существовал до сих пор. Да и самый характер их шахт свидетельствовал о том, что пришло время налечь главным образом на добычу воска, что воск должен стать теперь основой бориславского богатства, а нефть — только более или менее крепким подспорьем. Нужно знать, что в первый период развития бориславских промыслов было как раз наоборот: нефть составляла главный источник доходов, а воск, если наталкивались где-нибудь в первых неглубоких шахтах на его залежи, либо совсем обходили, оставляя его в земле, либо если и выбирали, то очень мало. Брали его захожие нефтяники, брали заезжие люди, которые приезжали в Борислав что-нибудь продать, и увозили его домой. нередко большими глыбами. Предприниматели

* Мошенническая игра на повышение (немецк.)

евреи мало дорожили воском, особенно мелкие владельцы, имевшие один-два колодца. Но теперь все изменилось. Нефть в значительной части колодцев была исчерпана, источники, о которых думали, что они будут течь вечно, начали иссякать. А тут еще эти проклятые американцы не только начали сбывать свою нефть в Европу, но и доказали, что их нефть лучше очищена и дешевле бориславской! Поэтому и не удивительно, что первое место в бориславском промысле должен был занять воск. Евреи бросились расхватывать заброшенные шахты, на которые раньше не обращали внимания; от главных вертикальных шахт начали проводить поперечные боковые штольни, прямые или, если это нужно было, кривые, извилистые. Начали также спускаться дальше вглубь; если прежде самые глубокие шахты были тридцати — пятидесяти сажений, то теперь глубина шахт достигала восьмидесяти — ста сажений; чем дальше забирались вглубь, тем пласты воска становились толще, жилы богаче и обильнее. Одно только допекало бориславских тузов — это дороговизна очистки воска; его дистилляция при помощи серной кислоты и другие процессы, необходимые для выработки из этой желтой глины массы белого парафинового воска, стоили очень дорого; цена парафина, хотя и достаточно высокая, не могла все-таки обеспечить предпринимателям большие и скорые прибыли. И вот в этот момент, словно ангел-хранитель с неба, появляется хитроумный бельгиец со своим изобретением! Производство церезина, пишет он в своем объявлении, будет стоить дешевле, нежели производство чистого парафина. Далее, церезину обеспечен сбыт в России. К тому же изобретатель — бельгиец! А бельгийцы, известно, люди энергичные, солидные, на которых можно положиться, — не то, что ветрогоны французы или мошенники немцы! Значит, прибыль скорая, большая и верная!

И Герман, и Леон, прочитав объявление Ван-Гехта, немедленно написали своим агентам, чтобы они постарались ознакомиться с этим делом, разузнать об условиях и обещали в случае выгодности сделки приехать в Вену завершить ее.

Агентом Германа был какой-то солидный немец

делец, который хотя и драл с Германа хорошие деньги, зато умел и похлопотать по его делам в Вене. Получив поручение Германа, он пошел с ним прямо к Ван-Гехту, спросил его об условиях, поторговался немного и, взяв с него слово, что он сохранит в тайне их предварительное соглашение, обещал ему, что не позже чем через неделю, две приедет и сам предприниматель и завершит с ним сделку. При этом агент заверил Ван-Гехта, что Герман человек солидный и основательный, и, заключая с ним договор, агент старался выбить из головы Ван-Гехта мысль о будущем миллионе, но все-таки уверил его, что на полмиллиона он может рассчитывать и что его доверитель лучше, чем кто-либо другой, может оправдать эти расчеты. Ван-Гехт, хотя и скрепя сердце, согласился на все: пускай и полмиллиона, — тоже кругленькая сумма, о которой он когда-то и мечтать не смел. Агент еще раз подчеркнул, что Ван-Гехт должен хранить их соглашение в тайне, а бельгиец, не догадываясь, почему это его беспокоит, согласился и на это. Вскоре агент протелеграфировал Герману, как обстоит дело, и просил его как можно скорее приехать в Вену для завершения сделки с Ван-Гехтом. Мы видели уже, в каком состоянии духа и при каких обстоятельствах застала Германа эта телеграмма.

Но тем временем и агент Леона Гаммершляга не дремал. Это был проворный, хитрый венский еврей, известный Леону с давних пор. Он служил ему за небольшую плату, потому что Леон, как и все так называемые либералы, хотя и любил на людях сверкать и блеснуть, но в частных делах никогда не мог избавиться от свойственной ему торгашеской скаредности и нечистоплотности. Поэтому он предпочитал держать какого-нибудь паршивенького агента, лишь бы только меньше ему платить. Правда, этот агент ухитрялся до сих пор ловко и быстро устраивать все дела Леона, «с его легкой руки» везло Леону, и он уже неоднократно посылал ему особые добавки в знак своей признательности. Вот этот-то агент и на сей раз уладил это важное дело к великой радости Леона. По своему обыкновению, он не брался за дело прямо, как немец, а колесил, вертелся, разнюхивал, узнавал из десятых рук. Но вот пронесся слух, что Ван-

Гехт ставит неслыханно тяжелые условия. Сам немец, агент Германа, рассказывал в кругу своих приятелей, что ходил к бельгийцу (умалчивая, по чьему поручению) и что тот выставил такие условия: он возьмет на себя руководство производством церезина, если предприниматель гарантирует ему семилетнюю непрерывную службу и пять тысяч гульденов в неделю, да еще в течение последних двух лет пять процентов дивиденда с чистой прибыли от проданного церезина. Такие тяжелые условия должны были испугать каждого; у агента Леона сразу отпала охота идти к Ван-Гехту. Но он пронюхал, что есть другая дорожка в огород. За несколько дней перед тем, именно после соглашения с немцем, Ван-Гехт закрыл свою лабораторию, стараясь продать ее, уволил также своего помощника Шеффеля, который теперь без работы и заработка жил на одной из тесных улочек венского Vorstadt'a*. К этому-то Шеффелю и направился агент Леона и начал выпрашивать да выведывать у него. Он убедился, что Шеффель обстоятельно знает секрет производства церезина, сумел бы наладить и вести производство. Правда, Шеффель — человек бедный, робкий и совестливый — быстро выпроводил бы каждого, кто сказал бы ему: «Иди сюда и вырабатывай церезин!» Но хитрый агент не сказал ему этого, а зато немедленно после разговора с Шеффелем написал Леону, чтобы тот приезжал, потому что хотя Ван-Гехт и предъявляет слишком большие требования, но с другой стороны, может быть, окажется возможным устроить это дело гораздо выгоднее и легче.

А пока что еврей агент принялся обрабатывать Шеффеля на свой лад. Он подружился с ним за пивом, заходил несколько раз к нему домой и присматривался к его бедному житью. Шеффель жаловался ему на свою бедность, на отсутствие заработка, а ловкий агент, как назло, рисовал ему широкие, заманчивые картины прибылей, богатства и довольства, намекая с каждым разом все яснее, что и для него вовсе не закрыты ворота в этот золотой рай. Бедный Шеффель вздыхал и снова начинал свои жалобы. Чтобы вернее опутать его, агент несколько

* Предместье (немецк.)

раз деликатно одалживал ему небольшие суммы денег, то и дело обещая похлопотать о месте для него, да еще о таком прибыльном, что он будет ему всю жизнь благодарен. Шеффель недоверчиво качал головой, но агент так упорно твердил свое, что бедняга постепенно терял рассудок и, обессиленный, отдавался потоку блестящих обещаний агента. В конце концов к приезду Леона Шеффель был почти совершенно подготовлен к тому, что задумал проделать с ним агент.

Леон приехал в Вену, не зная, как его агент думает уладить дело. А когда узнал, то вначале сделал вид, что отвергает его план. Но это не было сопротивлением; поговорив более обстоятельно, он согласился на все и велел агенту привести Шеффеля к себе в гостиницу. Здесь после недолгой борьбы, толкаемый, с одной стороны, нуждой, а с другой стороны — блестящими обещаниями Леона, Шеффель сдался. Он обещал Леону, что поедет с ним в Борислав и будет вести тайное производство церезина, да еще за сравнительно небольшую плату. А чтобы замаскировать строительство и работу нового завода и отвести людям глаза, Шеффель, не знакомый с галицкими условиями, посоветовал Леону объявить, что это строится небольшая паровая мельница. Леон, как мы видели, так и сделал, не подумав хорошенько, к чему это может привести.

Уладив дело с Шеффелем, Леон не успокоился. Он бросился выискивать для будущего церезина покупателей. С помощью своего агента ему удалось спустя некоторое время найти несколько русских капиталистов, проживавших проездом в Вене. Они охотно взяли на себя посредничество в деле поставки церезина, и действительно через три недели Леон уже заключил с только что созданным в России «Восковым обществом» контракт на поставку в течение полугода двухсот тысяч центнеров церезина на таких выгодных условиях, что заранее мог исчислить чистую прибыль от этого предприятия в сто тысяч гульденов. Вот тогда, захватив с собой золотonosного Шеффеля, он и помчался в Галицию, чтобы сразу же приняться за дело. Готового воска у него было на складах в Бориславе десять тысяч центнеров. Вдвое, а то и вчетверо больше он надеялся сейчас же на собст-

венные деньги и по дешевой цене купить на месте у мелких владельцев шахт; впоследствии его контрагенты должны были прислать в Борислав своих людей, чтобы воочию убедиться, сколько и какого воска выработано, и тогда Леон должен был получить такую часть условленной суммы, которая равнялась бы стоимости заготовленного воска; за эту сумму он надеялся поставить все обусловленное контрактом количество воска, так что остальные следуемые ему деньги были бы его чистой прибылью за вычетом разве платы Шеффелю и стоимости строительства фабрики.

И Шеффель тем временем не сидел сложа руки. Чтобы зарекомендовать себя перед своим «благодетелем», он разработал подробный план нового завода, заказал вместе с агентом котлы, трубы и прочее необходимое металлическое оборудование на венских заводах, обуславливая срочность его изготовления. Таким образом, за время своего трехнедельного пребывания в Вене Леон достаточно потрудился над укреплением своего богатства и счастья. Все это время он носился как угорелый, не развлекался, не заходил к знакомым и даже не здоровался с Германом Гольдкремером, которого несколько раз встречал на улице в толпе пешеходов. Всеобщая спекулятивная горячка захватила его, — свет померк в его глазах, и Леон уже не различал ни друга, ни брата, ни правды, ни кривды — ничего, кроме золота, богатства и блеска. Эта горячка не покидала его и по возвращении в Дрогобыч. Мы видели, что, приехав из Вены, он в тот же день договорился со строителем и Бенедей, а затем и сам помчался в Борислав, чтобы собственными глазами наблюдать за закладкой новой фабрики. Его словно толкало, подгоняло что-то как можно скорее это сделать; он даже, возвратясь из Вены, решил, хоть и не очень охотно, приостановить временно строительство своего роскошного дома, чтобы можно было таким образом больше денег и сил употребить на скорейшее завершение нового прибыльного дела. «Ведь мой дом, мое счастье, моя сила от этого не перестанет строиться, расти к небу! Нет, именно успешное завершение этого дела будет одним из главнейших камней в основании моего дома!

Вот эти воспоминания и мысли, варьируясь на бесчисленные лады, занимали Леона по дороге в Борислав. Быстрая езда и покачивание брички сладко убаюкивали его, а его собственные мысли и мечты делали весь мир в его глазах богаче и нарядней.

Вот он уже миновал Губичи и, не доезжая Борислава, приказал кучеру остановиться на большаке. Вылез из брички и напрямик через выгон направился к речке, где должен был строиться завод. Но еще прежде, чем он приблизился к намеченной им площадке, Леон услышал какой-то гомон. Вскоре он увидел, к немалому своему удивлению, толпу людей, теснившихся возле площадки и с любопытством глазевших по сторонам. Это были большей частью владельцы бориславских шахт, хотя было здесь много и безработных нефтяников, женщин с детьми и разного случайного люда. «Что за притча? — подумал про себя Леон. — Что могло здесь произойти, почему собралась эта толпа народа?»

Дело объяснялось совсем просто. Едва толпа заметила его, как тотчас же владельцы шахт направились к нему навстречу и засыпали его вопросами: «Что? Как? Правда ли, что он строит паровую мельницу? Почему так неожиданно пришла ему в голову подобная мысль? Зачем он лезет на рожон, на неминуемые убытки: ведь паровая мельница в Бориславе не будет приносить ему никакого дохода!»

Леон был очень смущен этими вопросами. Он только теперь впервые понял, что, объявляя о постройке паровой мельницы, он не только не отводит глаза людей от своего предприятия, но, наоборот, обостряет человеческое любопытство. Поэтому на вопросы своих коллег он принужденно улыбнулся, не зная вначале, на какой ответ решиться. Но вот уже и рабочие, и женщины, и весь бедный люд обступили Леона, одни — прося его о работе на постройке, на мельнице, другие — благодаря его за это великое благодеяние для бориславской бедноты, которой теперь, может быть, легче будет заработать на кусок хлеба насущного. Леон смутился еще более. Он увидел, что тут уже никак не уйти от людского любопытства.

— Но, люди добрые, — сказал он, опомнившись, — кто это сказал вам, что здесь строится паровая мельница?

— Да вот пан строитель, который приехал сегодня утром искать рабочих для новой постройки.

— Э-э, да это пан строитель пошутил над вами, — сказал Леон. — Это не паровая мельница, это строится обыкновенный нефтяной завод! Где уж мне строить паровую мельницу!

— А-а-а! — вырвался из уст присутствующих возглас удивления и разочарования. И бедняки начали расходиться, а евреи-предприниматели после их ухода стали свободнее толковать с Леоном, расспрашивая его, для чего он строит новый нефтяной завод, не потребуются ли ему нефть и воск и что он будет на своем заводе вырабатывать. Более любопытные спрашивали его даже, не заключил ли он с кем-нибудь контракта.

— Мы слышали, — говорили некоторые предприниматели, — что там, в Вене, организуется большая «Erdwachs Exploitations-Compagnie» («Общество эксплуатации горного воска»). Вы, наверно, с ним связаны?

— В Вене? «Общество эксплуатации»?.. — удивлялся Леон. — Нет, я ничего об этом обществе не слышал и не связан с ним!

— Возможно ли это? — удивлялись в свою очередь промышленники. — Вы были в Вене и даже не слышали об организации большого «Общества эксплуатации»?

— Да где там, — отмахивался Леон, — я в Вене был занят частными делами, на биржу даже не заглядывал!

Еле-еле отделался Леон от своих соотечественников. Правда, он обещал кое с кем еще сегодня потолковать о покупке горного воска, который потребуется для нового завода. Избавившись от непрошенных любопытных гостей, он пошел на площадку, где нанятые рабочие уже выравнивали землю, свозили щебень и кирпич и где строитель с Бенедей размеряли план и обозначали колышками место для рытья фундамента. Строительство необходимо было закончить как раз к тому времени, когда венские заводчики обещали прислать заказанное Шеффелем оборудование.

Строитель был очень недоволен и то и дело ворчал что-то себе под нос. Бенедя только время от времени

слышал отрывистые слова вроде «дурень», «мошенник», «хочет дурачить людей, а не умеет». Когда Леон приблизился и громко сказал рабочим: «Добрый день» и «бог на помощь», — Бенедя первый подошел к нему.

— Пан, — сказал он, — не правда ли, это вы шутили, говоря, что здесь должна быть паровая мельница?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что мы здесь с паном строителем не могли договориться относительно плана. Я, между прочим, работал уже на строительстве паровой мельницы в Перемышле и знаю, как ее надо строить. И здесь, как только я взглянул на план, я сразу увидел, что это нефтяной завод, а не мельница. Я и раньше догадывался об этом, ведь для чего бы вы стали строить здесь, в этой пустыне, мельницу? А вот пан строитель ни в коем случае не хотел начинать работу по этому плану, говоря, что здесь, вероятно, ошибка, что нужно подождать до тех пор, пока он сам не сделает такой план, который годится для паровой мельницы.

— Ну, разумеется, я говорил это в шутку! — громко сказал Леон, снова стараясь смехом прикрыть свое смущение. — Ведь я еще не сошел с ума, чтобы строить паровую мельницу в Бориславе.

Теперь и строитель, услышав эти слова, подошел к Леону, который, все еще улыбаясь, озирался вокруг.

— Господин Гаммершляг, — сказал строитель резким, жестким голосом, — кто из нас оказался лгуном?

— Лгуном? — повторил Леон и отступил на шаг назад, меряя строителя надменным взглядом. Правда, под этим высокомерием скрывалось все то же смущение, и Леон много дал бы за то, чтобы строитель замолчал. Но строитель и не думал молчать.

— Да, лгуном, — сказал он, — потому что разве вы не говорили мне, что хотите строить здесь паровую мельницу?

— Я шутил.

— Вы шутили? Ну, я еще не видал, чтобы кто-нибудь так серьезно шутил, как вы! Признаюсь, я вашей шутки не понял. Я на основании этой шутки и рабочих набрал, и шум поднял на весь Борислав...

— Это очень плохо! — сказал Леон.

— Верно, что плохо, потому что теперь я в глазах всех этих людей стал лгуном.

— Это ваше дело, не мое!

— Мое дело? Но ваше слово!

— Но ведь я вам дал план! Какой вы строитель, если не сумели отличить паровой мельницы от нефтяного завода?..

Эти слова сильно заделали строителя.

— Э, что там ваш глупый план! Я на него и не смотрел!

— Ну, это ваша вина! — отрезал Леон. — За что вы у меня деньги получаете?

Они вели этот спор громко, все более повышая голос. Леон покраснелся как рак, полное лицо строителя тоже налилось кровью. Между тем рабочие и кое-кто из посторонних, слыша, как сцепились «господа», остановились и с любопытством смотрели на это зрелище.

— Милостивый государь! — кричал разъяренный строитель. — Я не затем пришел сюда, чтобы слушать ваши грубости.

— А я не затем, чтобы слушать ваши глупости.

— Сударь, вы меня оскорбляете!

— Не очень страшное прегрешение!

— Вы вредите моему доброму имени!

— Вы навредили моим интересам!

— Ах, так! В таком случае прошу заплатить мне за мой труд, и я сегодня же возвращаюсь в Дрогобыч.

— О, тем лучше! Будьте любезны подать мне счет, и не только за эту работу, но и за постройку в Дрогобыче! Постараемся обойтись без такого гениального строителя! — И Леон с высокомерным видом отвернулся в знак того, что разговор окончен. А строитель, кипя от злости, швырнул на землю все, что было у него в руках, и, нахлобучив шапку и сплюнув, направился в Борислав, сопровождаемый громким смехом рабочих, слушавших этот разговор.

Работа продолжалась своим чередом. Леон долго ходил по площадке, оглядываясь по сторонам и тяжело дыша, пока не улеглось его раздражение. Спустя некоторое время он остановился перед Бенедей.

— Ну, что теперь будем делать? Строителя у нас нет.

— Если позволите, то я и сам поведу эту постройку по плану.

— Вы сами?

— А почему бы и нет? Штука не хитрая. Через месяц все будет готово.

— Я согласен! Я вижу, вы человек хороший и честный. Стройте! Даже залога я у вас не потребую, я уж сам буду кое за чем присматривать. А о плате не беспокойтесь, я вас обижать не хочу!

Бенедя, говоря правду, рад был, что избавился от гордого строителя. А тут еще неожиданная доброта Гаммершляга, который разрешил ему без залога вести строительство, и надежда на еще более высокую оплату — все это словно солнцем осветило его, пробудило в нем много новых дум. Он суетился и метался, с головой уйдя в работу, не обращая внимания на то, что другие рабочие косо и завистливо посматривали на него, а кое-кто, быть может, даже считал его хозяйским прихвостнем. Это мало тревожило Бенедю! Его мысли были поглощены таким делом, ради которого безусловно стоило перенести и крупницу человеческой зависти!

VI

Июнь месяц был на исходе. Наступала пора косьбы. Широкие болотистые луга Подгорья зеленели и красовались многоцветной густой травой. Словно широкие озера меж скалистых серых берегов, они волновались пахучей зеленью, дышали свежей, полной жизнью. А вокруг них все было серо, мертво, тоскливо. Вспаханые пригорки серели пересохшими, сожженными глыбами, реденькая рожь желтела на солнце, не успев и отцвести как следует. На овес и надежды не было: едва на пядь поднялся он от земли, да так и замер, зачах на корню, пожелтел и наклонился, как огнем опаленный. Картофель, не успев даже зацвести, начал желтеть. Все складывалось так, чтобы отнять последнюю каплю надежды у бедных хлеборобов. Предурожайная пора, которая началась было в этом году слишком рано, теперь тянулась слишком долго, — уже Петровки дав-

но прошли, а ни грибов в лесу, ни ягод, ни черешен не было. Один сплошной стон и плач стоял в народе. Чернее черной земли ходили люди по дорогам и полевым тропам, собирая лебеду, щавель и разную зелень, выкапывая пырей, который сушили, растирали в порошок, смешивали с отрубями и раздобытой на последние гроши мукой и пекут из этой смеси хлеб. Каждое воскресенье можно было видеть на дорогах крестные ходы; со слезами на глазах, припадая к земле, народ молил о дожде. Но небо словно окаменело, а широкое, бесстыдно сверкавшее солнце, казалось, насмеялось над слезами и молитвами бедных людей.

Начали появляться болезни: тиф и лихорадка. Опухшие от голода крестьянские дети, голые и синие, вереницей ползали по выпасам и сенокосам, отыскивая щавель; не находя щавеля, они щипали траву, как телята, срывали листья черешен и яблонь, грызли их, мучились животами и умирали целыми десятками. Села, в которых, не умолкая, звенели, бывало, в погожий летний день детские голоса, теперь стояли мрачные и безмолвные, словно чума прошла по их пыльным улицам. Эта необычайная, мертвая тишина тяжелым камнем ложилась на сердце даже постороннему человеку. Идешь вдоль села — на улице ни живой души, разве только худая, жалкая скотина бродит и пасется без присмотра возле заборов, да кое-где на дворике медленно передвигается, словно лунатик, сторбленный одинокий человек. Вечером в хатах темно; в печках не горит огонь, — нечего варить и жарить, каждый спешит забиться в свой угол, чтобы хотя бы ночью не слышать стонов, не видеть страданий других. Эта страшная мертвая тишина в селах Подгорья означала, что народ начинает опускать руки, терять надежду и впадать в такое состояние безразличия и оцепенения, в котором человек, уставший от чрезмерной боли, перестает уже чувствовать ее и гибнет тихо и безропотно, как тихо и безропотно вянет трава под знойными лучами солнца.

И пора косьбы, этой наиболее оживленной и поэтической полевой работы, не внесла ни оживления, ни поэзии в общий мертвый вид селений Подгорья. Медленно, словно на похоронах, тянулись изголодавшиеся

парни и взрослые мужчины на косьбу; косы едва держались на их исхудалых плечах. Поглядеть на их работу со стороны — жалость брала, такими истомленными, болезненными и медленными были движения этих косарей. Ни обычных песен, ни громкого смеха, ни шуток и каламбуров не было слышно. Пройдет косарь один-полтора прокоса и упадет на скошенную холодную траву, чтобы немного освежиться, отдохнуть, набраться новых сил. Жалость брала за сердце: так и видно было, что это не работа, а одно горе.

Через эти села, поля и луга неслась по большой самборской дороге легкая бричка, запряженная парой резвых лошадей. Гладкие, откормленные и сильные кони, крепкий, сытый и хорошо одетый кучер, новая, покрытая черным лаком бричка, да и сама фигура пана, статного, коренастого мужчины в расцвете сил и здоровья, румянолицего, с густой черной растительностью на лице, в красивой дорогой одежде, — все это удивительно не гармонировало с убожеством окружающей местности и людей. Но, наверное, вид едущего пана и его брички не был в столь большом противоречии с видом зачахшего, умирающего голодной смертью Подгорья, как мысли и замыслы этого пана с мыслями, господствующими вокруг, словно висевшими в воздухе над этими бедными селениями. Здесь — беспомощное отчаяние, предчувствие неизбежной гибели, полубессознательное желание как-нибудь и чем-нибудь продлить хотя бы на несколько дней эту жалкую мученическую жизнь, а там... Какие мысли и планы роились в голове едущего пана, каждый может легко догадаться, едва узнает, что этот пан — наш старый знакомый Герман Гольдкремер, который после долгого пребывания в Вене и во Львове возвращается в Дрогобыч. Вид безмерной нужды и гибели вокруг вызывал в нем чувство довольства, сытого покоя, почти радости. «Это для меня все делается, — думал он. — Солнце — мой верный приказчик. Высушивая эти поля, высасывая из земли все живые соки, оно работает на меня, оно сгоняет дешевых и покорных рабочих к моим шахтам, к моим заводам!» А эти дешевые и покорные рабочие нужны были Герману сейчас более чем когда-либо, потому что сейчас он начинал новое,

блестящее и великое предприятие, которое должно было продвинуть его еще выше по лестнице богатства.

Но, чтобы точно и правильно оценить все чувства и мысли, занимавшие Германа на обратном пути в Дрогобыч, нам следует рассказать о том, что он делал и что произошло с ним после того, как мы видели его на закладке у Гаммершляга, а затем у него дома, где неожиданно дошла до него страшная весть о том, что его сын Готлиб куда-то бесследно исчез.

Крайне расстроенный и подавленный, ехал Герман во Львов, чтобы точно узнать, что случилось с его сыном. Он терялся в мучительных догадках, то стараясь убедить себя в том, что Готлиб жив, то снова мысленно перебирая все доказательства, подтверждавшие вероятность его смерти. Эта внутренняя борьба истощала его силы и волновала кровь; скоро он до того устал, что не мог больше ни о чем думать: вместо связных мыслей в его воображении проносились и мелькали какие-то бесформенные видения, какие-то неясные обрывки мыслей и образов. Он силился уснуть под мерное покачивание брички, но сон не брал его, душевное переутомление и нервное возбуждение доводили его до какого-то почти горячечного состояния. Но постепенно долгое и нудное путешествие, однообразный, унылый пейзаж надднепровских болотистых равнин, по которым он проезжал, притупили чувствительность и немного успокоили его раздраженные нервы. Герман старался не думать о сыне. Чтобы дать мыслям другое направление, он достал полученную перед отъездом от своего венского агента телеграмму и начал внимательно, по десять раз, перечитывать краткий текст — первый и, казалось бы, незначительный узел будущей великой золотой сети. Герман вдумывался в каждое слово, строил планы, и это потушило понемногу огонь его лихорадки, освежило его.

Так он приехал во Львов и сразу же кинулся в полицию. Никаких следов, никаких известий не было. Он назначил сто гульденов тому, кто первый узнает что-нибудь определенное о его сыне, и, может быть, в пять раз больше роздал различным полицейским и затратил на угощение комиссаров, чтобы те приложили все силы и старанья и скорее узнали что-нибудь про Готлиба. Об

его обещании было напечатано в газетах, и Герман две недели просидел во Львове, ожидая каждый день, что вот-вот прибежит нарочный из полиции и пригласит его к директору. Но нарочного все не было, и Герману самому приходилось протапывать дорожку в полицию. И все напрасно. Кроме найденной возле пруда одежды, ничего не было. Через две недели полицейские комиссары в один голос заявили ему, что *здесь*, во Львове, Готлиб не погиб. Но мог ли Герман на этом успокоиться? Не погиб здесь, так куда же он мог деваться? Все это еще сильнее мучило Германа. Он просил полицию продолжать поиски, а сам поехал в Вену устраивать *дела*.

В Вене ждал уже Германа с великим нетерпением его агент и сразу же на следующий день повел его к Ван-Гехту. Два или три дня тянулись переговоры и уговоры, — Герман упорно торговался, и бельгиец, которого вначале мечты и надежды вознесли так высоко, должен был под давлением сухих, чисто деловых, коммерческих расчетов Германа, хотя туго и медленно, но все-таки уступить. Ван-Гехт снижал цену, и, наконец, оба противника остановились на еженедельной плате в пятьсот гульденов в продолжение семи лет, с тем условием, что в течение всего этого времени Ван-Гехт сам будет руководить фабрикой, и на пяти процентах дивиденда с чистой прибыли за проданный церезин, выработанный в течение двух последних лет их соглашения. Ясное дело, Герман скрепя сердце подписывал этот договор и, обещая технику такую неслыханную в Бориславе сумму, утешал себя мыслью, что, может быть, сумеет в Галиции каким-нибудь образом поприжать Ван-Гехта, вытянуть из него как можно больше, а заплатить меньше. И это ему впоследствии удалось!

Производство церезина должно было начаться лишь с будущего года. Осенью Ван-Гехт обязался приехать в Дрогобыч, чтобы наблюдать за постройкой завода. До того времени Герман обещал выдавать ему небольшое жалованье — сто гульденов в месяц, так как договорные обязательства входили в силу лишь с нового года.

Попутно Герман устроил еще одно, гораздо более крупное дело. При встречах на бирже со многими знако-

мыми спекулянтами и капиталистами ему часто приходилось беседовать с ними о бориславских промыслах, их богатстве, об очистке воска, о сбыте парафина и т. д. Он вначале удивлялся тому, что так внимательно выспрашивают его обо все деталях люди, которые еще недавно проявляли к ним так мало интереса. Он еще более удивился, когда увидел, как много некоторые из них и сами знают о Бориславе, о добыче и богатстве его подземных сокровищ и обо всем, что связано с очисткой и фальсификацией церезина. Лишь спустя некоторое время узнал он, что в венских «капиталистических кругах» зародилась и созрела мысль организовать большое «Общество эксплуатации горного воска». Вначале эта мысль мало радовала его. Он боялся, как бы «Общество эксплуатации» не стало помехой на его пути, не вступило с ним в борьбу и не подорвало его благосостояния. Но, размыслив, он даже посмеялся над своими страхами. Капиталисты — венские, а «Общество» — в Бориславе! Это смешная несуразица. Кто будет вести в Бориславе дела «Общества»? Если какой-нибудь венский или вообще европейский человек, а не галицкий еврей — то гибель «Общества» неминуема, и гибель в самый короткий срок. Не так был скроен и сшит Борислав того времени, чтобы европейский предприниматель, с недостаточным знанием дела, без общепринятых здесь грязных плутней и мошенничества, без обмана и надувательства рабочих, надсмотрщиков и всех, кого только можно обмануть, — чтобы такой человек мог удержаться в Бориславе. Правда, и европейские заводчики-предприниматели не совсем лишены всех этих прекрасных качеств, и они не очень чистыми руками обделывают свои дела, но все же до такой степени бесстыдной, грабительской (а не легальной, как на Западе) эксплуатации они не доходят. К тому же в Европе больше привыкли к порядку, к систематичности, к точной бухгалтерии, а в Бориславе в то время эти привычки были распространены еще слабо и далеко не везде. Большая часть предпринимателей вела свои дела как-то по-воровски, беспорядочно, стремясь только как можно больше выжать из рабочего, как можно больше урвать из его жалованья, а если удастся, то и выманить назад весь заработок. Ясно, что

в таких условиях европейские предприниматели, в особенности привыкшие к порядку и точности немцы, не могли удержаться в Бориславе.

Все это быстро сообразил Герман и старался ближе разузнать — как, на каких началах и кем организуется «Общество эксплуатации». То, что он узнал об этой затее, еще более успокоило его. В «Общество» вступило немало видных капиталистов, основной фонд составлял очень значительную сумму, чуть ли не целый миллион. «Значит, можно будет добрый кусок отхватить», — эта неотступная мысль все сильнее овладевала Германом. Капиталисты, прежде чем организовать «Общество», послали ловкого венского инженера в Борислав и на соседние нефтяные заводы, чтобы он обстоятельно изучил шахты и производство, стоимость шахт, стоимость сырого воска и все, что необходимо для составления будущего плана действий «Общества». Инженер только что вернулся после двухмесячного пребывания в Галиции. Сведения, которые он сообщил, были благоприятны для капиталистов и подтверждались тем, что говорил Герман, — поэтому консорциум, который организовывал «Общество», решил приступить к делу.

Герман закончил переговоры с Ван-Гехтом и сидел в Вене без дела, беспокойный и утомленный, чего-то ожидая, на что-то надеясь. Он рассчитывал получить известие от львовской полиции, ждал, что-то будет с «Обществом». И вот однажды он получил приглашение на собрание учредителей. Некоторые из них просили его вступить в члены «Общества» и взять на себя ведение дел «Общества». Герман заколебался. Он мысленно прикидывал, какая от этого будет выгода для него. Занимаясь делами «Общества», ему пришлось бы запустить свои собственные дела, а разве окупилось бы это доходами от «Общества»? Вступая в члены, нужно было бы немедленно внести значительную сумму в основной фонд. Кто знает еще, как пойдут акции «Общества», а оттого, что он будет руководить делами, выгоды большой ему также не будет, к тому же не трудно впутаться в уголовное дело, если «Общество» обанкротится (это Герман считал неизбежным), или же отвечать материально. Герман живо взвесил все это и решил не вступать

в члены и не принимать на себя управление делами, чтобы не быть связанным с «Обществом». Он ограничился тем, что сразу же после его организации заключил договор на поставку сырого воска для «Общества». Договор был выгодный. Сто тысяч центнеров должен был поставить Герман еще до ноября, — доставку принимало на себя «Общество». К тому времени, и не позже, чем к новому году, должен быть готов завод для очистки воска. После того, как будут получены эти сто тысяч, «Общество» должно было заключить с ним новый договор. Кроме того, Герман обещал посредничество между «Обществом» и остальными бориславскими предпринимателями во всем, что было связано с покупкой воска, а не то и целых шахт и промыслов.

Устроив все это, Герман помчался обратно во Львов. Вестей о Готлибе не было никаких. У Германа сердце захолонуло. С каким лицом он предстанет перед женой? Что он скажет ей? Ему уже заранее чудились ее страшные вопли и проклятья. Он подождал еще неделю — ничего не слышно. Тогда он решил ехать домой, тем более что дела призывали его в Борислав. Едучи в Дрогобыч по укатанной дороге Подгорья, он переходил от чувства сытого, самодовольного покоя к тихой радости фабриканта-дельца при виде бескрайней бедности и отчаяния народа, при виде все увеличивающегося числа «дешевых и покорных рабочих». Но по мере приближения к Дрогобычу все чаще и грознее вставала в его воображении разъяренная и заплаканная жена, все более тяжелою тучей окутывала его душу тревога.

Каково же было удивление Германа, когда, приехав домой, он застал свою жену в таком необычном для нее настроении, что и сам не знал, что с нею случилось. Вместо ожидаемых слез, проклятий и вспышек безумного гнева она встретила его с какой-то злорадной насмешливостью. Ривка, словно сорока в пустую кость, вглядывалась ему в лицо, внимательно рассматривала все изменения, все новые борозды, котреые провели по нему тревога и неуверенность. Правда, Ривка расспрашивала его о Готлибе, охала, когда Герман говорил, что, несмотря на все старания, не мог напасть на его след, но во всем этом чувствовалось скорее желание подразнить мужа, нежели

действительно узнать у него что-нибудь. К тому же ее лицо, румяное, здоровое и оживленное, ее серые глаза, горевшие ничем не прикрытой радостью, ее живые движения и жесты и даже легкая походка и звонкий голос — все это очень мало гармонировало с оханьем и причитаниями, заставляло догадываться, что время их разлуки, столь тягостное для Германа, совсем не было тяжелым и горестным для его жены. Герман даже остолбенел от удивления.

— Гм, — сказал он жене, когда они после обеда (Ривка обедала вместе с ним и ела много и с большим аппетитом, чего Герман давно не видел) уселись рядом на мягкой софе и Ривка, через силу кривя лицо, снова начала расспрашивать его о Готлибе. — Гм, — сказал Герман, — а ты, как я вижу, все это время и в ус не дула. Да и веселая стала, словно дочку замуж отдала!

— Я? Господи боже! Я все глаза свои выплакала, ну, а теперь, когда ты приехал, после такого долгого отсутствия...

— Так-то оно так, — говорил недоверчиво Герман, — но мне что-то не верится, что это я мог быть причиной такой радости и такой неожиданной перемены. Ну, говори правду, какая же здесь причина?

Он усмехнулся, глядя ей в лицо. Она тоже улыбнулась.

— Причина? Или ты одурел? Какая же может быть причина?

— Готлиб явился?

— И-и-и, что ты! Готлиб?.. Мой бедный Готлиб! — И на ее лице снова появилась плаксивая гримаса. — Если бы он появился, не такая была бы я!

— Ну, так что же с тобой? Радость светится в твоих глазах, слез и следа нет на лице. Что там ни говори, а это что-нибудь да значит.

— Иди, глупый, иди, это тебе кажется только! — Ривка ударила его веером по плечу и, усмехнувшись, пошла в свою спальню и заперла за собой дверь. Герман сидел-сидел, недоумевал, терялся в догадках и, плюнув, наконец пробормотал: «Пойми этих баб!» Затем встал, походил немного по комнате и принялся за свои бориславские дела.

Ривка, придя в спальню, также прошла несколько раз по ней взад-вперед, открыла окно и тяжело перевела дух, словно от сильной усталости. Ее сердце билось часто, на лице выступил еще более яркий румянец, когда она вытащила из-за корсета небольшое, небрежно сложенное и запечатанное письмо. Как раз сегодня, перед приходом Германа, она получила его через посланца — маленького трубочиста, который приходил будто бы спросить, не нужно ли чистить трубы, и незаметно сунул ей в руку почерневшее от сажи письмо. Она до сих пор не имела времени прочитать его, но одно то, что письмо было от Готлиба, — трубочист был его постоянным посланцем, — радовало ее, а нетерпеливое желание узнать, что пишет Готлиб, просто терзало ее, когда она сидела и разговаривала с Германом.

— Фу, хорошо, что я отделалась от него! Вот горе мое, не могу ничего скрыть на лице, такая натура поганая. Сразу, старый бес, догадался. Но погоди, черта с два ты от меня узнаешь правду!.. — Она села затем на софу, распечатала письмо и начала читать, медленно разбирая по складам неуклюжие, небрежно нацарапанные буквы.

После отъезда Германа во Львов для Ривки действительно началась новая жизнь. Неожиданное возвращение сына, да еще таким необычайным способом, действовало на нее подобно заряду электрической батареи. Прямо обезумев от радости, она бегала после ухода Готлиба по комнатам, машинально, бесцельно переставляла кресла и столы, целовала портрет Готлиба, сделанный в его школьные годы, и еле-еле утихомирилась. Но хотя наружно она и успокоилась, внутри у нее по-прежнему все кипело и клокотало, кровь текла быстрее, ее разбуженная фантазия носилась и кружилась быстролетной ласточкой, стараясь разгадать, где-то теперь ее сын, что он делает, когда и как можно увидиться с ним. День за днем тянулось напряженное ожидание. Она вслновалась, ломая голову, где бы раздобыть денег для Готлиба, радовалась, когда он порою, в своем наряде угольщика, забегал к ней, расспрашивала его, как он живет и что делает, но Готлиб от таких вопросов отделялся всегда двумя-тремя словами, угрожая и требуя,

чтобы она не говорила о нем отцу и никому другому и чтобы доставала для него деньги. И в этом непрерывном напряжении и возбуждении нашла она то, чего недоставало ей до сих пор: нашла занятие, нашла неисчерпаемую тему для размышлений — и ожила, похорошела.

Частьенко Готлиб, вместо того чтобы прийти самому, присылал письма. Эти письма, хотя короткие и бессвязные, были новым предметом занятий и размышлений для Ривки. Они тем дороже были для нее, что написанное слово оставалось на бумаге, было постоянно как бы живое перед ней, она могла читать и перечитывать письма Готлиба тысячу раз и всегда находила в них, чем любоваться. Эти письма она получала и читала с таким трепетом, с таким волнением, с каким молоденькие девушки получают и читают любовные письма. Потребность любви и сильных переживаний, неудовлетворенная в молодые годы и развитая почти до нервной горячки последующей жизнью в довольстве и праздности, хлынула теперь, словно долго сдерживаемый поток, которому, наконец, удалось прорвать плотину.

— Что-то он пишет, голубчик мой? — шептала Ривка, развернув письмо и упиваясь сладостным ожиданием. Затем она начала вполголоса читать, запинаясь и с трудом разбирая слова:

«Мамуся! Денег у меня еще достаточно, понадобятся лишь на следующей неделе. Но не об этом я хотел бы сегодня вам написать. Слышал я, что отец должен скоро приехать. Помните, не проговоритесь, потому что я готов наделать неприятностей. Но и не об этом хотел бы я вам сегодня написать. Расскажу вам что-то интересное. Времени теперь имею достаточно, хожу себе, куда хочу, улицами, полями. Знаете, недавно увидел я на прогулке девушку, — сколько живу, не видал такой. Еще не знаю, чья она. Я шел следом за ней, я весь дрожал, как в лихорадке. И вдруг на повороте она исчезла, — несколько домов больших и богатых рядом, не знаю, в который она вошла. С той поры сам не знаю, что со мною случилось. Хожу сам не свой, все она мне мерещится — и во сне и наяву. Я уж решил, как только увижу ее снова, подойти прямо к ней и спросить, чья она, но до сих пор еще не удалось мне увидеть ее во второй раз. Все хожу по улице,

на которой она пропала у меня из виду, заглядываю во все окна, но все напрасно — не показывается. Если бы я хотя знал, в каком доме она живет, я спросил бы сторожа или кого-нибудь. Но я не отступлю, я должен узнать, кто она, потому что с первого раза, когда я ее увидел, я почувствовал, что не могу жить без нее. Да, мамуся, она должна быть моей, кто бы она ни была! Как только разузнаю, сейчас же напишу вам».

Какое впечатление произвело это письмо на Ривку — ни словами рассказать, ни пером описать нельзя. Она вся задрожала, будто в лихорадке. Впервые в жизни она получила письмо, в котором речь шла о чувстве, о любви, и была ясно, хотя и в грубой форме, выражена любовь глубокая и живая, может быть не слишком платоническая, грубая, но зато сильная и слепая, а такая любовь больше всего должна была прийтись по вкусу Ривке, малообразованной, нервной и чувственной, — Ривке, которая в своей жизни *никакой* любви не знала. Как хотела бы она теперь видеть своего Готлиба, крепко-крепко прижать его к сердцу, следить за каждым его шагом, жить его мыслями, гореть его чувством. Он любит! И с нею первой поделился тайной своего сердца! С тех пор, как она узнала об этом, она вдвое сильнее полюбила Готлиба именно за то, что он любит. Правда, если бы здесь, возле нее, находилась и жила эта девушка и, со своей стороны, любила его, Ривка непременно возненавидела бы ее, отравила бы ей жизнь — за ее любовь!..

День за днем проходил в лихорадочном ожидании. Ривка с превеликим трудом сдерживалась, чтобы не выдать Герману жгучую тайну. На ее счастье через три дня Герман выехал в Борислав, где должен был пробыть два дня. Оставшись одна, Ривка почувствовала в доме какую-то тесноту, какую-то духоту, — ее кровь, словно кипяток, бурлила в жилах. Она вышла из дому. Стоял жаркий летний день. Огромный сад за домом так и манил к себе упоительной прохладой, темной зеленью, живым ароматом и легким, таинственным шепотом листвы. Она невольно направилась туда. Садовники как раз в это время обрывали вишни и крупную раннюю смородину. Два мальчугана с корзинками в руках стояли

на тонких вишневых сучьях, одной рукой придерживаясь за ветки, а другой срывая спелые вишни. А старый садовник собирал в большую корзину смородину, прикрывшись возле развесистого куста и поднимая ветку за веткой. Мальчуганы на дереве смеялись, шутили и разговаривали, а старик мурлыкал тихонько какую-то песню. Увидев хозяйку, он подошел к ней с поклоном, пожаловался, что вишни в этом году не уродились, но зато смородина хороша и к тому же в цене. Он отобрал несколько пригоршней самой спелой смородины, крупной, как чернослив, и попросил Ривку отведать. Она взяла ее в платочек. Тем временем мальчуганы слезли с дерева с полными корзинками. Спелые сочные ягоды блестели на солнце, как драгоценные камни; сквозь их тоненькую прозрачную кожицу просвечивало солнце, играло и переливалось в красноватом винном соку, словно вишни были налиты кровью. Мальчики нарвали темнозеленых вишневых листьев, выстлали ими дно небольшого ящика и осторожно начали складывать в него вишни. Ривка стояла и глядела, впитывая в себя всеми порами тела приятную прохладу, сладостную сырость и свежесть сада и упоительный аромат только что сорванных вишен. Ей было хорошо и отрадно, как никогда. Она молчала.

И вдруг тихо-тихо, словно украдкой, скрипнула калитка, ведущая в сад со двора. Ривка оглянулась. Маленький, с измазанным лицом трубочист стоял в калитке, взглядом звал ее к себе. Она скорее полетела, чем пошла к нему.

— Пани, здесь для вас письмецо! — шепнул трубочист.

Ривка с большею, нежели обычно, дрожью взяла помятый, незапечатанный конверт. Трубочист пустился было бежать прочь.

— Постой, постой, — закричала Ривка и, когда тот вернулся, высыпала ему в шапку полученную от садовника смородину. Трубочист, обрадованный, побежал, глотая смородину, а Ривка пошла в свою спальню, дрожа всем телом, с сильно бьющимся сердцем, заперлась, села на кушетку, отдышалась, чтобы успокоиться, и начала читать:

«Я видел ее! Господи, что за красота, что за лицо, что за глаза! Меня тянуло к ней, я не мог сдержать себя. Она ехала в бричке куда-то на Задворное предместье, я встретился с нею неожиданно. И я сразу словно обезумел, да, обезумел. Я бросился навстречу лошадям, зачем, для чего — и сам не знаю. Я, кажется, хотел остановить бричку, чтобы расспросить ее, кто она. Но лошади испугались меня и шарахнулись в сторону. Она вскрикнула, посмотрела на меня и побледнела. А я, уцепившись за бричку, волочился по дороге, по камням. Я не чувствовал боли в ногах, а только смотрел на нее. «Я люблю тебя! Кто ты?» — крикнул я ей. Но вдруг обернулся кучер и ударил меня кнутовищем по голове так сильно, что я от боли отпустил бричку и упал посреди дороги. Бричка прогрохотала дальше. Она снова вскрикнула, оглянулась, — больше ничего не помню. Я, правда, вскочил еще на ноги, чтобы бежать за нею, но сделал только два шага — и снова упал. Мои ноги были изранены камнями, из них текла кровь, голова болела и опухла, — я чуть было не потерял сознание. Подошла женщина, дала мне воды, перевязала ноги, и я потащился домой. Лежу и пишу тебе. Достань завтра и передай через трубочиста немного денег, десять гульденов, слышишь? Теперь возле меня чужие люди, могут догадаться...»

Ривка, не дочитав до конца, упала без сознания на кушетку.

VII

Это было вечером. Матвей и Бенедя, возвратясь с работы, сидели молча в хате при тусклом свете небольшого каганца, в котором горел, шипел и трещал неочищенный бориславский воск. Бенедя всматривался в лежавший перед ним план, а Матвей, сидя на маленьком табурете чинил свои постолы. Матвей с того вечера, когда Мортко сказал ему, что «их дело кончено», был молчалив, словно пришибленный. Бенедя хотя и не знал точно, что это за дело, все же очень жалел Матвея и рад был помочь ему, но вместе с тем боялся расспрашивать его, чтобы не разбередить наболевших ран.

Скрипнула дверь, и в хату вошел Андрусь Басараб.

— Дай боже час добрый, — сказал он.

— Дай боже здоровья! — ответил Матвей, не поднимаясь с места и затягивая дратву.

Андрусь сел на лавке у окна и молчал, озираясь вокруг. Очевидно, он не знал, с чего начать разговор. Затем обратился к Бенедю:

— А что у тебя, побратим, слышно?

— Да вот, дело идет, — ответил Бенедя.

— Везет тебе что-то в нашем Бориславе, — сказал с легким упреком Андрусь. — Слышал я, слышал. Ты теперь большие деньги берешь на своей работе!

— По три гульдена в день. Не слишком много для мастера, но для бедного помощника каменщика действительно достаточно. Надо будет кое-что послать матери, а остальное... ну, об остальном поговорим после, когда все соберутся. Я думал сегодня о нашей доле...

— Ну, и что же вы надумали? — спросил Андрусь.

— Будем говорить об этом на собрании. А теперь постараемся как-нибудь развеселить побратима Матвея. Смотрите, какой он стал нынче! Я уж и сам хотел поговорить с ним, да, как видите, еще очень мало его знаю..

— А я собственно за тем и пришел, — сказал Андрусь. — Побратим Матвей, пора бы тебе рассказать нам, что за дело у тебя было с Мортком и почему оно тебя так беспокоит?

— Э-э, да что там рассказывать? — неохотно ответил Матвей. — К чему говорить, если дело окончено? Теперь бесполезно говорить — не сможешь.

— Да кто знает, кто знает, окончено ли? — сказал Бенедя. — Говорите же, все-таки три головы скорее что-нибудь придумают, чем одна. Может быть, можно еще горю пособить. А если уж и на самом деле все пропало, то, даст бог, вам будет легче, если поделитесь с нами своим горем.

— Конечно, конечно, и я так говорю, — подтвердил Андрусь. — Ведь один человек дурень по сравнению с миром, обществом.

— Ой, верно, верно, побратим Андрусь, — ответил печально Матвей, отложив в сторону оконченную работу

и закурив трубку, — может, оттого и все зло, что человек дурень: привяжется к другому, а затем и мучается не только своим горем, но и горем ближнего! Да еще, правду тебе скажу, чужое горе сильнее терзает, чем свое. Так и у меня. Пускай будет по-вашему, расскажу вам, что за история со мной приключилась и какое у меня дело с Мортком.

Это было лет четырнадцать тому назад. Ровно пять лет спустя после моего прихода в этот проклятый Борислав. В то время здесь еще было все по-иному. Нефтяные колодцы только что появлялись, все вокруг еще похоже было на село, хотя и тогда уже напоззло сюда разных пришлых людей, словно червей на падаль. Ну, и ад здесь был, голубок, сущий ад, даже вспомнить больно. Чужаки, захожие люди увивались и гомонили возле каждой хаты, ластились, словно псы, к каждому хозяину, силком тащили в шинки, а то и прямо в хатах спаивали людей, по кусочку выдуривая землю. Чего я только не насмотрелся в ту пору, даже вспоминать больно! А как только, собачьи дети, обманут человека, высосут из него все, что можно высосать, тогда на него же и набрасываются! Тогда он и пьяница, и лодырь, и хам, тогда его и из корчмы вышвыривают, и из собственного дома выгоняют. Страшно издевались над людьми!

Вот иду я однажды утром на работу, смотрю—улица полна людей, все сбились в кучу, шумят о чем-то, в толпе крик и плач, а рядом в небольшой, крытой соломой хате еврей-спекулянты уже хозяйничают, как у себя дома, вышвыривают на улицу все: миски, горшки, полки, сундук... «Что здесь такое?» — спрашиваю. «Да вот, — отвечает один человек, — до чего довели, нехристи, бедного Максима. Обстоятельный был хозяин, что и говорить, а какой приветливый, обходительный...» «Ну, и что же с ним случилось?» — «А ты не видишь разве? — отвечает человек. — Выдурили у него землю, скот пропал, а нынче вот пришли, да и выгнали его из хаты: говорят, что она теперь ихняя, что они ее купили. Максим крик поднял, а им хоть бы что. Он бросился в драку, а они, как грачи, слетелись в одну минуту, да и давай бить бедного Максима! Поднялся крик, начали сбегаться и наши люди и едва вырвали Максима

из рук спекулянтов. А он, окровавленный, страшный, как закричит: «Люди добрые, вы видите, что тут делается! Чего стоите? Вы думаете, это они только со мной так? И с вами будет то же самое! Идите берите, что у кого есть, — топоры, цепи, косы, — берите и гоните этих мерзавцев из села. Они вас съедят живьем, как меня съели!» Люди смотрят на него, стоят, переговариваются... Вдруг один из тех, что захватили хату, — он только что выглядывал из окна, — схватил камень да как трахнет Максима по голове! Тот, с места не сойдя, запрокинулся, только захрипел: «Люди добрые, не дайте моему ребенку погибнуть! Я умираю!..».

Я не дослушал до конца и начал протискиваться в самую гущу. Посреди улицы лежал мужчина лет сорока, в изорванной рубашке, окровавленный, посиневший. Из головы его еще текла кровь. К нему припала и жалобно причитала маленькая девочка. Меня мороз подрал по коже, когда я увидел это, а люди обступили их, стоят стеной, кричат, но никто с места не трогается. А Максиму хату обступили чужаки, спекулянты, аж почернело все кругом и галдеж такой, что и слова собственного не слышно.

Я стою, как столб, смотрю туда-сюда, не знаю, что делать. Как вдруг вижу — из окна высунулся тот самый, который убил Максима, видно осмелел и кричит, поганец:

— Так ему и надо, пьянице! Так ему и надо! А вы чего здесь стоите, свиньи? Марш по домам все!

Кровь во мне закипела.

— Люди, — заревел я не своим голосом, — что вы, одеревенели или одурели? Человека убили у вас на глазах, да еще и смеются, а вы стоите, и хоть бы что. Накажи вас сила божья! Бей воров!

— Бей! — заревели в эту минуту со всех сторон так, что земля задрожала. — Бей воров, кровососов!

Словно искра в солому попала. В одну минуту весь свет, казалось, стал другим. Я еще и оглянуться не успел, а уже целая туча камней полетела в злодеев. Я увидел, как убийца Максима, тот, который торчал в окне, вдруг подпрыгнул, схватился за голову руками, скорчился, вскрикнул и шлепнулся наземь. Больше я не видел,

не слышал ничего. Крик, шум поднялся такой, словно судный день настал. Люди ревели от ярости, задние напирали на передних, хватали, что под руку попало — кольца из плетней, жерди, поленья, камни, — и громили спекулянтов. Поднялся такой крик и шум, словно вся бориславская котловина сквозь землю проваливалась. Часть воров тут же разлетелась, как пыль. Но некоторые заперлись в хате Максима. В окно видно было, что у них в руках топоры, лопаты, вилы—подхватили, что могли. Однако, видя, что народ, словно ревущий поток, окружает хату, они перестали кричать, будто окаменели от страха. Народ ринулся к двери, к окнам, к стенам. Затрещали доски, бревна, зазвенели стекла — стук, крик, визг, и вдруг страшный грохот, туча пыли... Народ на куски разметал стены, — потолок рухнул, погребая под собой всех, кто был в хате, облако пыли скрыло это страшное зрелище...

Но у меня в это время было иное на уме. Видя, как народ, словно зверь, напирает на злодеев, я схватил маленькую девочку, Максимову сироту, на руки и незаметно начал пробираться сквозь толпу. С трудом выбрался я на свободу, как раз в ту минуту, когда рухнула хата. Я бежал домой огородами, боясь, как бы разъяренные спекулянты не перехватили меня по дороге. Очутившись, наконец, в своей хате, я запер дверь и, положив обомлевшую девочку на топчан, начал приводить ее в чувство. Долго я не мог добудиться ее, уже подумал, что и ее оглушил какой-нибудь камень. Но бог миловал, девочка очнулась, и я так обрадовался, словно это мой собственный ребенок ожил предо мною.

Матвей замолк на минуту. Трубка погасла в его зубах, и на лицо, оживленное и разгоревшееся во время рассказа, начала медленно набегать прежняя мрачная и безнадежная туча. Спустя минуту он продолжал:

— Хлопоча возле ребенка, я совсем забыл о побоище и лишь после узнал, что оно окончилось ничем. Развалив Максимову хату, люди словно сами себя испугались и рассыпались каждый в свою сторону. Евреи, также перепуганные, не показывались из своих нор, и только к вечеру наиболее смелые из них повылезали, начали осматриваться. Подошли к хате Максима, а там что-то

пишит. Разрывают развалины, видят: трое спекулянтов мертвы, а пятеро искалечены. На том и кончилось. Приезжала, правда, комиссия, забрали было несколько человек, так, наугад, да и выпускали скоро на волю.

А Марта осталась у меня. У честных бориславцев, видно, хватало своих дел, и они не вмешивались в дела бедной сироты. Лишь иногда какая-нибудь женщина приносила ей поесть, стирала рваную сорочку, штопала, вот и все. Ей было тогда двенадцать лет. Нельзя сказать, чтобы красавица, но умная была девочка, а уж какая сердечная, словно родная. Вначале плакала об отце, ну, а после сама видит, — ничего не поделаешь, привыкла. И уж так привязалась ко мне, как к отцу родному. Но и я тоже, что и говорить, берег ее пуще глаза, так она мне стала дорога и мила. Иной раз, бывало, нефтяники смеются надо мной, спрашивают, когда будет свадьба или, может, крестины раньше будут, но я на это не обращал внимания. Пусть себе говорят, пусть!

Росла эта девочка у меня, сохрани бог, тихо и ладно. Хоть я и простой рабочий, бывший пастух общественный, но, знаете, немало горя узнал на своем веку. А горе — великая школа. Вот и думаю себе: авось, хоть она, даст бог, будет счастливее. Берег я ее, — ни работы тяжелой, ни слова дурного... Шить научилась, не знаю, где и когда, да так хорошо, что диво. Бывало, бабы так и несут к ней все, а она целыми днями сидит дома, работает. Да разве только в этом — во всем она мастерица, во всяком деле. И поговорить, и пошутить, и умный совет дать — во всем...

Спознался с ней один парубок, здешний, бориславский, такой же сирота несчастный, как и она. Нефтяник, рабочий, Иваном Пивтораком звался, — да ты, Андрусь, знал его хорошо.... Начал ходить. Вижу я, что дивчина льнет к нему, расспрашиваю, разведываю про Ивана; говорят — что же, бедный, а зато парень честный, работающий, умный. Как-то раз в воскресенье пришел он к нам, думал, что Марта дома, а Марты не было, куда-то вышла. Хочет он уходить, а я кричу: «Что же ты? Постой, Иван, я тебе сказать что-то хочу». Остановился он, зарумянился слегка, затем сел на лавку.

— Ну, что там такое? Говорите!

Сижу я, молчу и посматриваю на него. Не знаю, с чего бы это начать, чтобы вроде и просто с моста и чтоб чем-нибудь не обидеть хлопца.

— Как ты, — говорю, — Иван, думаешь? Марта-то наша ничего себе дивчина?

— А вам какое дело до того, как я думаю? — отрезал он, а сам еще пуще раскраснелся.

«Эге, — думаю я про себя, — с тобой надо быть поостроже, если ты так режешь».

— Ну, — говорю, — мне-то до этого мало дела, да тебя-то она, вижу, за живое задела, а? А ты, может быть, знаешь, что у нее отца нет и я для нее теперь и отец, и опекун, и сват, и брат. Понимаешь? Если бы я только заметил что-нибудь, знаешь, не того... то не забывай, что я за человек! Со мной шутки плохи!

Иван даже задрожал при этих словах.

— Прости вас бог, — говорит. — Где это видано... грозить, а не знать, за что и про что? И кто это вам набрехал, что у меня недоброе на уме? Не бойтесь, Матвей, — говорит он затем так важно, степенно, — я хоть и молодой, а тоже знаю немного, как и что должно быть. Мы сегодня с Мартой должны были уговориться, как и что делать, а потом уже и к вам, как опекуну, прийти за советом и благословением.

— Ну, смотри же у меня! — проговорил я, а сам почувствовал, как в голове моей все смешалось и слезы брызнули из глаз... Тьфу, ну и дурень же я, больше ничего.

Ну, хорошо. Обручили мы их, поженились они. У Ивана после отца каким-то чудом уцелел вот этот клочок земли. Скажу только, что в тот же год, весной, выстроил он, вроде как со мной вместе, вот эту хату, да здесь вдвоем и начали они жить. Правда, никакого хозяйства тут нельзя было завести, на пустом месте, но Марта вначале зарабатывала то шитьем, то пряжей, а после, когда и этого не стало хватать, пришлось и ей, бедняжке, идти работать на промысла. А как же иначе? Я ушел от них, жил отдельно, но когда только мог чем-нибудь помочь им, помогал, — известно, привык человек, сжился...

Как-то раз, месяца два спустя, встречает меня Иван, да и говорит.

— А знаете, — говорит, — Матвей, что мы с Мартой надумали? Мне хочется знать, что вы на это скажете.

— Ну, что надумали? — говорю. — Рассказывай, что?

— А вот что. Мы хотим с этого дня начать откладывать кое-что из заработка. Знаете, лето наступает, авось немного лучше будут платить. Вот мы и решили скопить немного денег, хоть и тяжеленько придется, хоть и придется, как говорится, ремень на великопостную пряжку подтянуть, да зато можно будет... Знаете, в Тустановичах один человек продает участок земли и хату, я уже говорил с ним. «Продам», — говорит. — Цена — двести пятьдесят гульденов. Земля хорошая, может, за двести отдаст. А я бы свою собачью конуру с этим клочком земли продал, вот уже и было бы пятьдесят гульденов. Как вы думаете?

— Ну, что же, — говорю я, — если так, пусть будет так. Дай вам боже счастья! Оно и верно, что неплохо было бы вам вырваться из этой проклятой ямы.

— Ба, — говорит Иван, — это еще не все. Мне сдается, что нам двоим до осени трудно собрать двести гульденов, на это ушло бы года два. А если втроем, как вы думаете, может быть, оно скорее будет?

Я вытаращил на него глаза.

— Ну, — говорит он, — что вы так смотрите на меня? Тут дело простое: присоединяйтесь и вы к нам. Переходите жить в нашу хату, не нужно будет платить за квартиру, да и на еду у нас меньше уйдет. Будем вместе действовать, авось соберем хоть сколько-нибудь.

Вижу я, хлопец правильно говорит, а тут еще и самого меня охота взяла вырваться из этой западни, а главное — им помочь, чем только можно. Согласился я на все.

Так мы и поступили. Все шло хорошо, радовались мы, что вот-вот заживем своим домиком. Иван вьюном вертится и туда и сюда — рад бы птицей вылететь из Борислава. Работы в тот год было много, денег у нас собралось порядочно, хватило бы и на землю, и еще кое-что осталось бы на обзаведение. «Господи! — говорит, бывало, Иван. — Скорей бы конец!.. Но неизвестно, то ли бог не судил

ему, бедному, дожидаться окончания этого дела, то ли злые люди не дали!..

Глупость одну мы сделали. Работали, а деньги у хозяина оставляли. Пускай, говорим, у него лежат, в его кассе им спокойней, чем у нас за пазухой, а раз в книжке они за нами записаны, то и сам черт их оттуда не выскребет. Так мы и сделали, — брали только иногда какую-нибудь мелочь, лишь бы кое-как перебиться.

Вот уж и лето прошло, и осень, и зима, вот уж и пасха скоро. После пасхи должны были мы выбраться из Борислава. В вербное воскресенье пошел Иван в Тустановичи, чтобы закончить сделку, дать тому человеку задаток. Остальные деньги он должен был выплатить после, когда мы переедем уже в Тустановичи. Пошел мой Иван. Смеркается, — нет Ивана. «Ну, ничего, — думаем мы, — может быть, магарыч пропивают, либо еще что...» Однако Марта весь день какая-то беспокойная ходит, тоскует, отчего — и сама не знает. Ночь прошла — нет Ивана. На работу приходим — нет его и там. Надсмотрщик Мортко спрашивает меня, где он. Я ему рассказал все, а он еще кричать начал:

— Вот бродяга, напился где-то, да и спит, а на работу не идет!

Раздумываю я и так и сяк, где Иван может быть? Вечером после работы прихожу домой — нету. Ну, думаю, пойду по шинкам, поищу, порасспрошу. Захожу в главный шинок — там полно рабочего люда; заметил я среди них и Мортка, но кто именно был там из знакомых нефтяников, того не помню. А какие-то незнакомые люди, будто бы совсем пьяные, стоят посредине хаты и поют: один святовечернюю, другой страсти, третий плясовую, а четвертый думку, — еще и меня спрашивают, хорошо ли у них получается.

— Идите вы к черту! — закричал я на них. — Там у вас как раз получится!

Они ко мне. Уцепились, один за руку, другой за полу, требуют водки. С горя хватил я чарку. Они хохочут, другую наливают. Никак от них не отвяжешься! А тут вижу, Мортко все подмигивает им: мол, не выпускайте из рук! Выпил я еще чарку. Зашумело у меня в голове, ходуном все заходило: и хата и люди. Помню только,

что вошли в шинок два знакомых нефтяника, я с ними здоровался и угощался, но как я ни мучил потом свою глупую старую голову, а до сих пор не могу вспомнить, кто же это были такие.

— А разве тебе это непременно надо знать? — прервал его рассказ Андрусь.

— Ах, еще бы! Мне, глупому, сдается, что из-за этого я все дело проиграл!

— Что? Из-за этого? Каким же это образом?

— А вот послушай! Я только теперь, когда время ушло, когда начал припоминать все до капельки, что и как тогда было, — только теперь вспомнил, что были там знакомые люди, да вот не помню, кто. Если бы дознаться, вот и были бы теперь свидетели.

— Свидетели? Зачем? Для чего?

— Слушай же! Пью я, в шинке крик, гам, и вдруг рядом, за перегородкой, в боковушке, кто-то застучал стаканом. Мой Мортко в тот же миг юркнул за перегородку. Слышу, разговаривают там. Мортко тихонько, кто-то другой громко. Что за черт! Какой-то знакомый голос, совсем как у Ивана! Видно, пьяный, язык заплетается, но голос его. Я бросился к двери боковушки и нечаянно толкнул одного из тех, что меня угощали. Тот грохнулся на землю. Остальные подскочили ко мне.

— Ого-го, сват, ого! — ревут. — Что это ты людей толкаешь да с ног валишь? А?

— Да я нечаянно!

— Эге, нечаянно! — хрипит один из них. — Знаем мы таких!

В эту минуту отворилась дверь боковушки, и в двери показался, — готов хоть сейчас присягнуть, что показался, — мой Иван, держась за дверной косяк... За ним стоял Мортко и держал его за плечи. Я снова рванулся к нему. Но в ту же минуту он исчез, дверь закрылась, а один нефтяник схватил меня за грудь.

— Берегись, сват, я тебе нечаянно между глаз заеду! — крикнул он и так хватил меня в переносицу, что у меня искры из глаз посыпались и в голове все перемешалось. Помню только, что одному из них я вцепился в волосы и что остальные налетели на меня, как разбойники, и сбили с ног. Ясное дело, что их подговорил

кто-то: ведь я их не знал, не видал никогда и ничего плохого им не сделал. Что затем было со мной, куда девался Иван, куда девались те два знакомых рабочих, — не помню. Все померкло в моей голове.

Я проснулся дома, в постели. Марта сидит возле меня и плачет.

— Ну что, где Иван? — был мой первый вопрос.

— Нету.

— Но, может быть, приходил домой?

— Нет, не приходил.

Смотрю я, она такая взволнованная, исхудалая, кожа да кости. Что за несчастье!

— Но ведь я, — говорю, — вчера вечером видел его.

Она усмехнулась сквозь слезы и покачала головой.

— Нет, — говорит, — вы вчера вечером никак не могли его видеть. Вы вчера вечером лежали тут без памяти.

— Разве нынче не вторник?

— Нет, нынче уже пятница. Вы от самого понедельника с ночи лежите вот тут, как мертвый, в горячке и в бреду.

— А Ивана не было с тех пор?

— Не было. Куда я только ни ходила, кого только ни спрашивала, никто не знает, где он и что с ним.

— Но ведь я его в понедельник видел в шинке.

Марта ничего не ответила на это, только пожала плечами и заплакала. Верно, бедняжка подумала, что это мне с перепою померещилось.

— Но ведь я его ясно видел своими глазами, чтобы мне так свет божий видеть.

— О, если бы Иван был в тот вечер в Бориславе, он пришел бы домой, — сказала Марта.

— Вот это-то мне и странно. А в Тустановичах он был, не знаешь?

— Был. Я расспрашивала тустановичских парубков. Был, говорят, сторговал поле и хату, а вечером магарычи пили, там и заночевал, а в понедельник пошел перед полуднем в Борислав, чтобы забрать у хозяина деньги. Вот и все, что я могла узнать.

Меня словно громом поразило. Как я ни был слаб и

избит, нужно было вставать, идти узнавать, искать. Только что с того?

— А ты не знаешь, — спрашиваю. Марту, — отдал он задаток за землю в Тустановичах?

— Не знаю.

— Ну, значит, надо пойти к хозяину, спросить, получил ли он оттуда деньги. К тому же сегодня выплата. Если он получил деньги, то, может быть, пошел с ними назад в Тустановичи либо в Дрогобыч.

Пошли мы вдвоем в контору Германа Гольдкремера, мы у него работали. Спрашиваем. Достал он книжку... «Получил ваш Иван Пивторак деньги». — Когда? — «В понедельник вечером». Вот тебе на! Поплелся я в Тустановичи, спрашиваю. Задатка не давал, с понедельника не был, хоть и обещал, что придет не позже как во вторник после обеда. Удивляются, в чем дело. Раздумали, или что? Я рассказываю, что деньги у хозяина забраны и что ни денег нет, ни Ивана. Никто ничего не знает.

Пошел я в Дрогобыч, спрашиваю у знакомых. Никто не видел Ивана. Пропал, бедняга. Как в воду канул. Спрашиваю Мортка, куда он исчез из шинка и что там делал. «Нет, — говорит, — неправда это, я и в глаза не видал Ивана. Ты, — говорит, — пьян был, в драке тебе собственная бабушка представилась, а тебе показалось, что это Иван». Начинаю узнавать, кто тогда был в шинке, что это были за люди, что меня били. Эге, как бы не так, словно сам черт слизнул их следы! На том дело и кончилось!

Ну, какая у нас пасха была, о том и говорить не приходится. Сколько бедная Марта слез пролила, господи! Всякая надежда пропала. Прошел месяц, другой, об Иване ни слуху ни духу. Вскоре слышим — кое-кто из нефтяников посмеивается, пошучивает: «Ловкий парень этот Пивторак, деньги забрал, женку оставил, а сам — куда глаза глядят!» Вначале говорили это в шутку, а после некоторые начали и всерьез повторять. Я расспрашиваю: кто слышал? кто видел? Неизвестно. Тот говорит: Микола видел. Микола говорит: Проць мне сказал. Проць говорит: Семен от кого-то слышал. Семен не помнит, от кого слышал, но сдается ему, что от Морт-

ка, надсмотрщика. А Мортко все отрицает и всем в глаза плюет.

Как вдруг через два года, в прошлом году весной, достали из одной старой шахты кости. Узнали мы по колечку на пальце да по кожаной сумке на поясе, что это был Иван. Сумка была пуста, как видно, ножом разрезана. Застряла у меня тогда в голове мысль и до сих пор меня не покидает. Нехорошая мысль, очень грешная, если не правильная. Прикинул я все в уме и говорю себе: это не кто, как Мортко сначала подпоил Ивана, подговорил каких-то людей, чтобы меня довели до беспамятства и избили, а затем ограбил его, бедного, и бросил в шахту. Начал я снова спрашивать повсюду, а когда спустя два дня приехала комиссия осматривать кости, пошел я и начал говорить все, как на исповеди. Господа слушали, слушали, записали все в протокол, вызвали кое-кого: Мортка, Иваниху, шинкаря, снова писали протоколы, а затем взяли да и арестовали меня. Я не знал, что со мной хотят делать, зачем меня тащат в Дрогобыч; впрочем, думаю про себя: «Что же! Может быть, так и надо». Радуюсь, дурень, своей беде. Продержали меня около месяца, вызвали два раза на допрос, а потом выпустили. Прихожу я домой. Что слышно? Ничего. Вызвали еще раз Мортка, Иваниху, из Тустановичей троих. Говорят, передали все в Самбор, в высший суд. Ну, и этот суд тянется уже больше года, а ему еще и конца нет. Эх, и натолкался я за это время по всяким господам! В Самборе был раза два, а в Дрогобыче сколько!.. Адвокату что-то около пятнадцати гульденов дал. «Что ж, говорит он, возможно, братец, что это вор Мортко упрятал Ивана, а деньги себе взял. Но в суде надо доказать точно, обстоятельно, а всего того, о чем ты здесь говоришь, еще недостаточно. Ну, а впрочем,—говорит,—надо попробовать. Если какой-нибудь умный судья возьмет это дело в свои руки, может быть и докопается до чего-нибудь». Ну, видно, не докопался. Какой-то бестолковый и непонятливый этот самборский судья! Тьфу! Спрашивает о том, о сем, пятое через десятое, — видно, не знает, с какого конца взяться за это, а впрочем, кто его знает, может быть, и знает, да не хочет!..

А здесь, в Бориславе, затихло все, словно горшком

кто прикрыл. Мортко вначале, как видно, страшно перепугался, ходил бледный как смерть, меня и не замечал. Но после осмелел, начал смеяться надо мной и досаждать мне так, что я принужден был бросить работу у Гольдкремера и перейти вот сюда, к Гаммершлягу. Хотя они, разумеется, оба волчьей породы!.. Так Мортко и вышел сухим из воды. За ним, видите, стоит сам Гольдкремер, богач всесветный, — где бедному нефтянику на него управу найти!.. А мы что!.. Иваниха, сердечная, с ребенком — в прислугах, а я здесь — в этом пекле, и уж, видно, до гроба из него не вырвусь. Да и не этого мне жаль! Что там я! Меня другое мучает: что вот погиб человек, пропал ни за понюшку табаку, а этому злодею хоть бы что, ходит себе и смеется! Меня то грызет, что для бедного рабочего нет правды на свете!

Матвей умолк и, тяжело вздохнув, опустил голову. Андрусь и Бенедя тоже молчали, подавленные этим простым, но таким безмерно тяжелым рассказом.

— А ты знаешь, побратим Матвей, что я тебе скажу? — сказал немного погодя Андрусь каким-то гневным, взволнованным голосом.

— Ну, что?

— То, что ты большой дурак, вот что.

Матвей и Бенедя удивленно взглянули на него.

— Почему ты мне раньше не рассказал об этом?

— Почему не рассказал? — повторил неохотно Матвей. — А зачем было говорить?

— Тьфу, сто чертей на такого дурня! — рассердился Андрусь. — Ведет процесс против спекулянта-еврея, этот процесс, если бы его выиграть, мог бы сильно воодушевить бедных нефтяников, мог бы показать им, что нельзя безнаказанно обижать рабочего человека; для того, чтобы выиграть такой процесс, нужны свидетели, а он молчит себе, не кричит во весь голос, а только втихомолку, в углу, в кулак себе бубнит, — ну, скажи мне, не глупо ли это?

Матвей задумался, и лицо его сделалось грустным.

— Эх-эх, двоих свидетелей! — сказал он. — Я же тебе, Андрусь, говорю, что только теперь вспомнил о тех двух свидетелях, только теперь, когда время упущено. Разве отыщет кто-нибудь теперь этих свидетелей?

— Я отыщу! — перебил его гневно Андрусь.

— Ты? — вскрикнули Матвей и Бенедя.

— Да, я! Ведь это я со стариком Стасюрою видел тебя тогда в шинке.

— Ты? Со Стасюрой? Так это были вы? — вскрикнул Матвей.

— Да, мы.

— И видели Ивана?

— Ну, как же не видеть, — видели.

— Пьяного?

— Пьяного.

— С Мортком?

— С Мортком. Когда началась драка, мы оба бросились было тебе на помощь, но старика Стасюру кто-то ударил так сильно, что он потерял сознание. Некогда мне было помогать тебе, я поднял старика и отнес в боковушку, где был Мортко с Иваном. Пока я приводил старика в чувство, Мортко все возле Ивана танцевал, все подсовывал ему то водку, то пиво, заговаривал ему зубы, чтобы он не говорил со мной, а затем потащил его куда-то за собой. С тех пор я больше не видел Ивана. А когда мы оба со Стасюрой вошли в шинок, ты лежал уже окровавленный, без памяти, на полу. Я не мог отнести тебя домой, а попросил каких-то двух рабочих, рассказал им, где ты живешь, а сам проводил Стасюру домой. Вот все, что я знаю. Но разве мог я святым духом знать, что это так важно для твоего дела?

— Господи боже, — даже вскрикнул Матвей, — ведь это значит, что теперь можно было б выиграть процесс!

— Кто знает, можно ли, — ответил Андрусь, — но все же надежды больше. Было бы хорошо, если бы мы отыскиали тех, которые дрались тогда с тобой! Ты, говоришь, видел, как Мортко их подстрекал?

— Присягнуть могу!

— Вот бы и зацепка была. От них можно было бы узнать, подговаривал их Мортко или нет. А если подговаривал, то с какой целью?

Лицо Матвея при этих словах все более и более прояснилось. Затем новая мысль снова затуманила его.

— Эх-эх, но как же найти их, этих нефтяников,

которые тогда затеяли со мной драку? Я их совсем не знаю и не мог потом никогда узнать.

— И я их не знаю, да и не обратил на них тогда внимания. Но, может быть, Стасюра знает? Мне кажется, что с одним из них он разговаривал тогда.

— Господи боже! Снова бы огонь разгорелся! Были бы новые улики. Кто знает, что еще открыли бы эти люди! Пойдем, Андрусь, идем к Стасюре!

Быстро оделся и обулся Матвей, быстрыми и живыми стали его движения под влиянием нового проблеска надежды, словно десять лет вдруг свалились с его плеч. Так глубоко в сердце этого старого, с давних лет прибитого горем человека пустила корни любовь к единственно близкому ему человеку, так горячо желал он, чтобы правда о его загадочной смерти вышла на белый свет!

После ухода обоих побратимов Бенедя один остался в хате. Он сидел и думал. Не процесс занимал его во всем этом деле, хотя, разумеется, и процессу он желал благополучного исхода. Его больше всего занимал рассказ Матвея о схватке рабочих с захожими спекулянтами и о том, как кричал покойный Максим: «Гоните мерзавцев из Борислава!» «А что, — думал он, — в самом ли деле хорошо будет, если выгоним их? Прежде всего: куда их выгнать? Они пойдут в другие села, там начнется то же самое, что здесь делается. А во-вторых, они не уйдут с голыми руками, а заберут с собой деньги, которые награбили здесь, и в другом месте употребят их на то, на что и здесь употребляли. Нет, это не спасет рабочих людей!»

Поздно ночью возвратился Матвей домой. Он очень изменился: был весел, разговорчив. Надежды на Стасюру оправдались. Одного из тех рабочих, которые затеяли в шинке драку с Матвеем, Стасюра действительно знал, остальные были из того самого села, откуда и этот один, но все они вот уже три года не работают в Бориславе, а крестьянствуют. Андрусь Басараб и Стасюра готовы были свидетельствовать в суде, и Матвей решил завтра же идти в Дрогобыч к адвокату и посоветоваться с ним, что и как нужно делать.

— Ну, авось, теперь не уйдет этот негодяй Мортко! — говорил Матвей. — Теперь мы ему и руки и ноги такими уликами скрутим, что он и не опомнится! Хотя как

будто господь бог не велит желать другому беды, но такому злодею, вижу, не грех желать не то что беды, а и всякой погибели.

С этим благочестивым желанием Матвей и уснул.

VIII

Медленно, тяжелой поступью проходили однообразные рабочие дни в Бориславе. Бенедя по целым дням трудился на своей стройке, размечал планы строений, руководил рабочими, наблюдал за своевременной подвозкой кирпича, камня, извести и всего необходимого и вместе с тем обращался с рабочими так по-братски, так сердечно и дружески, словно хотел на каждом шагу показать им, что он им равный, их брат, такой же бедный рабочий, как и все они, словно хотел, чтобы они простили его за то, что вот он не по свей воле стал над ними надсмотрщиком. А по вечерам, после работы, он не раз до поздней ночи бродил в глубокой задумчивости по грязным улицам Борислава, заглядывал в грязные шинки, в тесные хаты и каморки, в которых жили рабочие, вступал в разговор со старыми и малыми и расспрашивал их о их жизни и нужде. Тяжело становилось ему, когда он слушал их рассказы, когда видел вблизи нужду и беспросветность их жизни, но еще тяжелее становилось ему, когда он видел, как разбогатевшие за счет этой нужды и беспросветности эксплуататоры гордо разъезжают в роскошных экипажах, одеваются в дорогие платья и забрызгивают грязью темную, покорную толпу.

Медленно, тяжелой поступью проходили дни за днями, и жизнь рабочего люда в Бориславе становилась все тяжелее и тяжелее. Из дальних и близких мест, с гор и равнин, из сел и местечек изо дня в день сотни людей стекались в Борислав, словно пчелы в улей. «Работы! Работы! Какой-нибудь работы! Хотя бы самой тяжелой! Хотя бы самой дешевой! Лишь бы только с голоду не пропасть!» — таков был всеобщий вопль, всеобщий стон, который тучей носился над головами тысяч иссохших, посиневших, изголодавшихся людей. Небо и землю словно запер кто-то на железный замок, единственная надежда

мужиков-хлеборобов сгорела вместе с их рожью и овсом на порыжевших от жажды полосках. Скот погибал от бескормицы. Ничего другого не оставалось, как идти на заработки, а заработков как раз и не было в то время нигде в нашем Подгорье, кроме Борислава. Вот и повалил туда бедный люд со всех сторон, хватаясь за эту последнюю надежду, как утопающий за соломинку. Небо и землю словно запер кто-то на железный замок, а бедняки думали, что бориславские богатеи будут поэтому более милостивыми и откроют перед ними ворота своих богатств!..

А бориславские богачи только того и ждали! Они давно тешили себя надеждой, что ужасный голод будет способствовать громадному росту их «гешефтов». И они не ошиблись! Дешевые и покорные работники текли к ним, со слезами просились на работу, хотя бы за самую дешевую плату, и плата действительно пошла все более дешевая. А между тем хлеб все дорожал и дорожал, в Борислав подвозили его очень мало и очень неравномерно, и рабочие не раз, даже имея кое-какие деньги за пазухой, изнывали от голода. Было ясно, что тем, которые вновь прибывали, не становилось легче, а тем, которые постоянно жили в Бориславе, стало значительно хуже. Каждую неделю хозяева-евреи урезывали им плату, а недовольных смиряли насмешливыми словами: «Не хочешь столько получать, так иди себе и подыхай с голоду, здесь на твое место десять просятся, да еще и за меньшую плату!»

Все это передумал Бенедя не раз и не два во время своих прогулок по Бориславу. «А что, — думал он, — если бы все эти тысячи людей сговорились вдруг: не будем работать, пока нам плату не увеличат? Ведь, пожалуй, хозяева не выдержали бы долго: у одного контракт срочный, у другого векселя не будут оплачены без продажи воска и нефти, — пришлось бы им уступить!» Его мысль, возбужденная бесконечными картинами бориславской нужды, крепко ухватилась за эту соломинку и не отпускала ее. Но чем подробней разбирал он этот способ спасения, тем больше трудностей и непреодолимых препятствий он видел в нем. Как привести к такому согласию и единению всю эту огромную массу

людей, когда каждый заботится только о себе, хлопчет только о том, как бы не умереть с голоду? А если бы и удалось это сделать, ведь опять-таки несомненно и то, что богачи сразу не сдадутся, что нужно будет не только грозить, но и выполнить угрозу, — прекратить всякую работу. Но разве богачи не приведут тогда себе из других сел рабочих и таким образом не сведут все на нет? И если даже удалось бы не допустить до этого, то чем же будут жить эти тысячи людей, не имеющих хлеба и заработка, во время безработицы? Нет никакого выхода, нету! Нигде не светит им луч спасения! И Бенедя, приходя к таким безнадежным выводам, стискивал кулаки, прижимал их к вискам и бегал по улицам, словно иступленный.

Вот почему он с нетерпением ожидал ближайшей сходки побратимов, надеясь с их помощью прийти к лучшему пониманию того, что нужно делать в настоящую минуту. Он иногда во время своих прогулок по Бориславу встречался с тем либо с другим из побратимов и видел, что все они какие-то придавленные, словно прибитые к земле, что всех их грызет какое-то тяжелое и неясное ожидание, — и это вселяло в него надежду, что придет же кому-нибудь из них в голову хорошая мысль. Дома Бенедя молчал. Старый Матвей слишком занят был своим процессом, каждый вечер он втихомолку шушукался о чем-либо с Андрусем, либо со Стасюрой, либо с другими какими-то рабочими. Вскоре все они отправились в Дрогобыч и не возвращались несколько дней, и одиночество еще более тяжелым камнем придавило Бенедю. Тяжелая и непривычная для него работа мысли повергла его словно в горячку, быстро истощила его силы. Он похудел и побледнел, его длинное лицо еще больше вытянулось, только глубоко впавшие глаза, словно два пылающих уголька, беспокойно, лихорадочно горели. Но вместе с тем он не оставлял своих мыслей, не терял веры и сочувствия к этим бедным людям, которые безучастно, холодно и безнадежно смотрели из каждого угла на враждебный им мир и тихо, без сопротивления готовились к смерти. Видя их, Бенедя ни о чем не мог думать, а только глубоко, всем сердцем и всеми нервами своими чувствовал: надо их спасти! Но

как спасти? Об это «как», словно об острую неприступную скалу, разбивались его мысли, его духовные и телесные силы, но он не терял надежды на то, что эту трудность можно будет одолеть.

Однажды вечером Бенедя позже, нежели обычно, возвратился с работы домой и застал возле хаты Сеня Басараба, брата Андруся. С обычным выражением нерушимого спокойствия на красном, слегка одутловатом лице сидел он на завалинке под окном и потягивал трубку. Поздоровались.

— Ну что, нету Матвея?

— Нету. А Андрусь?

— Тоже еще не пришел. И Стасюры нет.

— Видно, что-то нешуточное затеяли там, в Дрогобыче.

— Посмотрим, — буркнул Сень и замолчал.

— Ты слышал, что случилось? — спросил он минуту спустя, входя с Бенедей в дом.

— Нет, а что такое?

— Притча.

— Какая?

— Вот какая! Не стало одного еврейчика. Знаешь, того, на которого так жаловался наш Прийдеволя, того кассира, помнишь?

— Помню, помню! Ну, и что же с ним случилось?

— А как ты думаешь, что? Несколько дней тому назад куда-то исчез, а сегодня вытащили из шахты. Уже и комиссия приехала, будут бедное тело кромсать, словно оно скажет им, каким образом в яму попало да еще ребром за крюк зацепилось!

У Бенеди мороз прошел по коже от этого рассказа.

— Как раз так, как с приятелем Матвея, Иваном Пивтораком! — прошептал он.

— Эге! Так, да не совсем, — ответил Сень. — Того шинкарь толкнул, а этого...

Он не договорил, но Бенедя не допытывался: он хорошо понял слова Сеня.

— Ну, и что же? — спросил он после минутного тяжелого молчания.

— Как это «что»? Драл волк, задрали и волка. И концы в воду.

— А что люди говорят?

— Какие люди? Комиссия? Комиссия поест, попьет, тело изрежет, искромсает, да и уедет себе.

— Нет, я не про комиссию, — что нефтяники говорят?

— Нефтяники? А что они могут сказать? Постояли, поглядели на покойника, головами покачали, кое-кто украдкой шепнул: «Вороват был покойник, накажи его бог!» — и снова за работу.

— Значит, все было напрасно, и труда жалко! — процедил сквозь зубы Бенедя.

— Как? Напрасно? Жалко? — удивленно спрашивал Сень.

— Другим от этого легче не будет.

— Но одним воругой меньше на свете.

— Ну, не бойся, на его место завтра же новый станет.

— Но зато будет хоть бояться.

— Эва, неизвестно еще! Если не дознаются, кто это сделал, то объявят, что случайно поскользнулся или еще что. А если откроют, ну, тогда возьмут человека и упекут, — кого же вора́м бояться?

Сень с изумлением слушал эти слова. Он ожидал, что Бенедя будет радоваться, а вместо этого встретил попреки.

— Так чего же ты хотел бы?

— А вот чего: если что делается, да еще такой великий грех на душу берется, так нужно, чтобы это дело годилось для чего-нибудь, чтобы принесло какую-нибудь пользу не одному, а всем. А иначе я не знаю, зачем и начинать.

— Эге-ге! — покрутил головою Сень, попрощался и ушел. Еще более тяжелые мысли овладели Бенедей после ухода побратима. «Что же, — думалось ему, — может быть, оно и так... может быть, и лучше, что одним плохим человеком меньше на свете?.. Но разве от этого лучше хорошим людям? Совсем нет. Разве от этого лучше хотя бы тем самым рабочим, которые радуются его гибели? Явится другой приказчик вместо него и будет так же, либо еще сильнее, обижать их. Вот если бы сразу всех злых людей не стало... Но нет, где уж там!.. Нечего и

мечтать об этом! Лучше о том думать, что у нас перед носом, что мы можем сделать!»

Побратимство нефтяников, в которое так неожиданно был принят Бенедя в самом начале бориславской жизни, живо захватило все его мысли и придало им определенное, хотя вначале и не очень ясно обозначенное направление. Уже на первой сходке, когда так глубоко поразили его воображение рассказы нефтяников и их требование выступить, наконец, с каким-нибудь значительным делом, в его голове промелькнула картина такого побратимства, великого и сильного, которое могло бы собрать воедино разрозненные силы рабочих и защитить каждого обиженного и страждущего рабочего гораздо лучше, нежели это может сделать одинокий человек. Среди непрерывной работы мысли, подкрепляемой все новыми, страшными и хватающими за сердце событиями, образ такого побратимства все яснее вырисовывался в голове Бенеди. Ему казалось, что только таким объединением своих собственных сил для самозащиты и самопомощи рабочие смогут добиться теперь хоть какого-нибудь облегчения своей участи. И он решил, будь что будет, выступить со своим планом на ближайшем собрании побратимов и стараться изо всех сил увести побратимство Андруся Басараба с опасной дороги ненависти и мести, которая сейчас, когда они еще очень слабы, могла только всем навредить и никому не могла помочь, обратить внимание и усилия побратимства на эту более широкую и спокойную, а вместе с тем, как казалось Бенедю, и более полезную работу.

Сход побратимов был назначен в воскресенье вечер м. В полдень возвратились из Дрогобыча Матвей, Андрусь, Стасюра и другие нефтяники. Матвей был очень весел, разговорчив и дружелюбен, но когда Бенедя спросил его, что слышно и что они делали так долго в Дрогобыче, он только причмокнул и ответил:

— Все хорошо, голубок, все хорошо!

Еще не стемнело совсем и Матвей только что зажег на шестке каганец, наполненный горным воском, когда в хату вошли гурьбой побратимы. Впереди всех юркнул, словно ящерица, Деркач, молча поздоровался с Матвеем и Бенедей и начал, как обычно, шнырять из угла в угол,

засучивая рукава и шаря глазами по сторонам. Затем вошли остальные. Братья Басарабы были угрюмы и молчаливы, как всегда; Стасюра очень сердечно пожал руку Бенеде, все прочие также обращались с ним, как с равным, как со своим человеком. Самым последним вошел Прийдеволя. Его молодое лицо казалось бледным и испитым, он поглядывал вокруг и все держался в темном углу возле порога. В кругу побратимов было меньше движения, меньше говору, чем обычно. Всех как будто давило что-то, хотя никто и не признавался в этом. Все чувствовали, что, желая того или не желая, они приближаются к какому-то важному событию, что им придется выступить открыто и грозно. Недавний случай с убийством еврея-кассира был, — все это чувствовали, — предвестником нового поворота в жизни Борислава. Но что это был за поворот, что за события надвигались и как побратимам следовало встретить их, этого они не знали, хотя каждый надеялся, что, авось, на совместном совете хоть немного все это прояснится. Не удивительно поэтому, что сегодняшнее собрание началось угрюмым, тяжелым, выжидающим молчанием, что побратимы собрались все в полном составе и даже ранее обычного часа: каждый знал, что против все более тяжелой жизни в Бориславе, против растущей с каждым днем нужды и наплыва свободных, ищущих работы рук необходимо что-то предпринять, но что именно и какими силами, этого никто не знал, и ответа на этот вопрос каждый ждал от собрания.

Один только Андрусь Басараб словно не чувствовал ничего необычайного. Он сел на свое место возле стола, у окна, и окинул взором побратимов.

— Ну, все в сборе, — сказал он, — можем начинать свое дело. А ну, Деркач, за палками!

Деркач, послушный и шустрый, уже протискивался между стоявшими посреди хаты побратимами, как вдруг старый Стасюра поднялся и попросил слова.

— Ну, что там еще, — сказал недовольно Андрусь, — говори, побратим Стасюра, хоть, я думаю, все-таки лучше было бы, чтобы у Деркача эти палочки были под руками. Не мешает отметить, если есть что-нибудь интересное.

— Нет, — сказал твердым голосом Стасюра, — я не буду говорить ничего такого, что годилось бы для отметки.

— Ну, а в чем же дело? — спросил Андрусь и снова обвел взглядом всех побратимов. Он заметил, что они сидели либо стояли, опустив головы, и не смотрели на Стасюру, но, казалось, приготовились слушать его. Андрусь заметил, что они сговорились.

— Дело в том, побратим Андрусь, — смело заговорил старый нефтяник, — что пора бы нам найти себе другую, более подходящую работу, нежели эти зарубки. Дети мы, что ли? У побратима Деркача целые вязанки палок с зарубками, а какая от них польза? Разве они кому-нибудь помогли?

Андрусь изумленными глазами смотрел на старика. Воистину, так еще никто не говорил здесь, и у него у самого в голове шевельнулся вопрос: «Да и в самом деле, для чего пригодились эти отметки?» Но так как на этот вопрос он не мог сразу найти удовлетворительный ответ, то и решил стоять на своем, чтобы вызвать других на дальнейшее объяснение.

— Кому помогло? — сказал он медленно. — Ну, а разве мы делаем это для какой-нибудь помощи? Разве ты забыл, что мы делаем это для мести?

— Для мести, так, так! Однако как же ты этими палочками будешь мстить? Если уж мстить, то, я думаю, нужно по-иному, а не тратить зря время на ребячью забаву. Для того чтобы мстить, нужна сила, а от этих палочек у тебя силы наверняка не прибавится.

— Так, — ответил Андрусь, — но ведь мы хотели с чистой совестью, когда настанет время, учинить справедливый суд над своими обидчиками.

— Впустую наша работа, — ответил на это Стасюра. — Совесть у нас и теперь чиста, потому что каждый из нас и так слишком хорошо знает все, что ему приходится терпеть. А чтобы отомстить, чтобы горю помочь, нужна, кроме чистой совести, еще и сила, а какая у нас сила?

— Верно, верно, — загудели вокруг побратимы, — какая у нас сила? Если у нас будет даже три воза палок с отметками, это нам не прибавит и на три пяди силы!

— Ну, а где же нам силу взять? — спросил Андрусь.

— Надо допустить в наше братство больше людей, надо собрать всех воедино, указать всем одну цель, — отозвался Бенедя.

Все взглянули на него как-то недоверчиво и опасливо, только один Стасюра радостно поддакнул:

— И я это говорю, и я это говорю!

— Да побойтесь вы бога, побратимы, а подумали ли вы, что из этого выйдет? Первый попавшийся чужак выдаст нас, заявит в городе, и нас всех перевяжут и засадят в острог, как разбойников, — сказал Андрусь.

Холодом пронизали эти слова побратимов, и все они с тревогой и любопытством взглянули на Бенедю, ожидая, что-то он на это ответит.

— Может быть, это и верно, — сказал Бенедя, — но если верно, то что это значит? Это значит, что с теми целями, с какими вы до сих пор носились, нельзя показываться людям. Это значит, что, желая собрать их воедино, нужно показать им не одну только месть, ведь местью никто сыт не будет, а нужно показать им какую-то пользу, какую-то помощь, какое-то облегчение!

— Эге-ге, всюду он свою помощь тычет! — отозвался возле двери грубый голос Сеня Басараба в тот момент, когда у Бенеди от сильного волнения захватило дух и он замолк на минуту. Он чувствовал, что его кровь начинает кипеть, что мысли, которые прежде так упорно не давались ему, теперь, словно каким-то чудом, возникли и развивались в его голове. Слова Сеня Басараба, полугневные, полупрезрительные, были для него, как шпоры для рысистого коня.

— Да, я все о помощи говорю и не перестану говорить. Мне кажется, что только мы сами можем помочь себе, а больше никто нас не спасет. Ведь ни наши хозяева-евреи, ни паны-помещики и не подумают о том, чтобы рабочему лучше жилось. Они, если бы могли, еще ухудшили бы его жизнь, потому что им только тогда хорошо, когда рабочий, доведенный до крайности, не знает, за что ухватиться, и вынужден положиться на их милость и немилость. Тогда они заставят его делать, что угодно, и заплатят столько, сколько сами захотят, потому что для него, голодного и голого, нет выбора. Да, мы сами

должны помочь себе, если не хотим мучиться так всю жизнь. А мстить — подумайте сами, к чему это приведет? Ни от какой мести нам лучше не будет, разве только, если бы мы захотели поднять по всей стране войну, что ли! Покараете того или другого кровопийцу, на его место новый уже давно нацелился. И даже страху на них не нагоните, потому что вы будете вынуждены делать все тайно и никто знать не будет, кто это сделал и почему. А если дознаются, — ну, это еще хуже: схватят тогда человека, бросят в яму и сгноят. Я думаю, что нужно нам, пока не поздно, остановиться и найти иной выход.

Снова замолк Бенедя, молчали и все побратимы. Слова Бенеди с неудержимой силой врываются в их сознание, но, к несчастью, они разрушали то, что жило там до сих пор: мечту о мести, а взамен не давали ничего. Один только Сень Басараб, сидя у порога с трубкой в зубах, покачивал недоверчиво головой, но не говорил уже ничего. Даже сам Андрусь — хотя, очевидно, этот новый поворот в мыслях некоторых побратимов был для него очень неприятен и нежелателен — склонил свои могучие плечи и опустил голову: слова Бенеди заставили его задуматься.

— Так было бы хорошо, это верно, — сказал, наконец, он, — но как это сделать, как добиться облегчения, если у каждого из нас нет сил даже на то, чтобы помочь самому себе?

— В том-то и дело, что у одинокого человека нет сил, а когда нас соберется много, тогда и сила будет. Один человек и центнера поднять не может, а несколько человек поднимут его легко. Большое ли дело для нефтяника, хотя его заработок невелик, вносить по шистке еженедельно, а пусть соберется сто таких, — это составит десять гульденов в неделю, и мы сможем хотя бы в случае неотложной нужды помочь нескольким несчастным! Правду ли я говорю, побратимы?

— Гм, да оно-то правда, разумеется, так, так! — послышалось со всех сторон, только в углу, возле двери, угрюмо молчал Прийдеволя и недовольно ворчал Сень Басараб.

— Хорошо ему, городскому человеку, говорить о взносах! Ну-ка, попробуйте, найдете ли во всем Бори-

славе десяток таких, которые захотят вам давать эти взносы!

— Ну, — живо ответил на это Бенедя, — это уж ты, побратим, так себе, на ветер говоришь. Вот нас здесь двенадцать человек, и я думаю, что каждый из нас с радостью на это согласится.

— Согласимся, согласимся! — загудели некоторые из побратимов.

— Только нужно хорошенько обсудить, для чего будут собираться эти деньги и что с ними делать, — медленно проговорил Андрусь.

— Ну, конечно, сейчас же и обсудим! — подхватил Стасюра.

— Вот и нет, — сказал Бенедя, — прежде всего нужно знать, будем ли мы вообще собирать складчину, или нет. Здесь, вижу, некоторые побратимы недовольны, хотели бы, чтобы все осталось так, как было...

— А ты не крути, — перебил его почти гневно Матвей, который до сих пор молча сидел возле Андруся, вначале как будто думая о каких-то посторонних вещах, но чем дальше, тем с большим интересом и вниманием прислушиваясь ко всему, о чем говорилось в хате, — ты не спрашивай, приятно ли кому, или неприятно это слышать. Знаешь что-то хорошее, разумное и для всех полезное, так выезжай с ним на площадь, да и режь просто с мѣста. Если увидим, что твой совет лучше других, то примем его, а если хуже, ну, тогда можешь просить прощения, что глупостями у нас время отнимаешь!

После такого неприятного поощрения Бенедя начал говорить «просто с мѣста».

— Ведь вы знаете, — начал он, — что если добиваться облегчения путем взаимопомощи, то нужно будет все изменить, чтобы все было не так, как до сих пор. Метки всякие, зарубки — в сторону, убийства — в сторону (при этих словах Бенедю показалось, что лихорадочно пылающие глаза Прийдеволи метнулись на него из темного угла и обжигают ему лицо своим острым, горячим взглядом, и он вспыхнул и опустил голову). Совсем с иными словами нужно идти к людям. Не месть им показывать, а спасение. Разумеется, обиды и

воровство не укрывать, но направлять людей на то, чтобы они объединялись, потому что в одиночку рабочий против богачей и силачей не устоит, а все, если соберутся вместе, скорей смогут устоять.

— Смогут устоять? — снова отозвался недоверчивый Сень. — Хотел бы я знать, как смогут устоять? Заставят хозяев, чтобы больше за работу платили, что ли?

— А что же, не могли бы заставить? — подхватил Бенедя. — А ну, если бы все сговорились и сказали: не выйдем на работу, пока нам не увеличат плату? Что тогда хозяева сделали бы?

— А! И в самом деле! Вот хорошая мысль! — воскликнули побратимы в один голос. Даже лицо Андруся немного прояснилось.

— Что сделали бы? — ответил Сень. — Собрали бы со всего света рабочих, а нас выгнали бы.

— А если бы мы стали стеной и не пустили этих новых рабочих и просили бы их, чтобы они обождали, пока наше дело не победит? Можно было бы на этот случай послать своих людей по окрестным селам, чтобы они объявили там: до такого-то и такого-то срока не ходите никто в Борислав, пока наша война не окончится!

— Ур-ра! — закричали побратимы. — Вот это совет! Война, война с хозяевами-обдиралами!

— Ну, и я думаю, что такая война лучше, нежели всякая другая, — продолжал Бенедя, — во-первых, потому, что это война спокойная, бескровная, а во-вторых, потому, что мы можем поднять ее совсем открыто и смело, и никто нам за это ничего не сможет сделать. Каждый, в случае чего, может сказать: не иду на работу, потому что мало платят. Заплатят вот столько-то, тогда пойду — и все тут!

Радость побратимов, когда они услышали этот совет, была очень велика, да и сам Бенедя радовался не меньше других, потому что эта мысль пришла ему в голову совсем неожиданно, в пылу спора с Сенем Басарабом.

— Да, хорошо ты говоришь: «война, прекратить работу». Но хотя бы и все согласились на это, скажи ты мне, сделай милость, на что они будут жить все это

время? Ведь нельзя же думать, что богачи сразу же в первый день размякнут и согласятся добровольно увеличить нам плату. Может быть, придется сидеть без работы неделю либо и того дольше — ну чем же тогда будет жить столько народу?

Возражение было действительно веское, и лица рабочих снова помрачнели. Их только что пробудившаяся надежда на эту новую войну и победу над богачами была еще очень слаба и неясна и сейчас при первом же возражении начала бледнеть.

— Вот для того и нужны взносы, чтобы обеспечить себя на такой случай. Когда наберется порядочная сумма, такая, которой хватило бы, скажем, на неделю или на две недели, тогда можно будет начинать. Разумеется, тех, которые не захотели бы присоединиться к нам и вышли бы потом на работу, тех сейчас же, волей или неволей, за шиворот да и вон из Борислава, — пускай не портят нам дело. Во время забастовки наши люди могли бы наниматься на другую работу — в лесу, по плотничьему делу либо еще где-нибудь, лишь бы только не на нефтяные работы. Таким способом мы быстро сломили бы хозяйскую спесь и добились бы наверняка лучшей оплаты.

— Правильно говорит! Так и нужно сделать! Хороший совет, — слышались голоса. В доме поднялся шум, говор, все похвалялись, что скрутят теперь грабителей по рукам и ногам, каждый давал свои советы и не слушал чужих, каждый дополнял и изменял мысль Бенеди, перекраивая ее на свой лад. Один только Сень Басараб сидел молча на своем месте и с грустью смотрел на эту шумную сходку.

— Что с ними сделаешь, — ворчал он, — если они готовы бежать за каждым, кто скажет им два-три красных словца! Ну, для меня все равно, пускай бегут за этим пряником, попробуют, каков он на вкус. Но я со своей дорожки не сойду. А ты, побратим? — обернулся он к Прийдеволе, который все еще стоял в темном углу и подозрительно посматривал то на Бенедию, то на шумных, оживленных нефтяников.

Он вздрогнул, когда Сень заговорил с ним, а затем быстро сказал:

— И я, и я с вами!

— С кем «с нами»? — горько спросил Сень. — Ведь мы теперь, как видишь, раздвоились. Или с ними вот, или со мной и с братом?

— Да, с тобой и братом! Ты слышал, что этот про убийство говорил? Словно раскаленным ножом мне в сердце пырнул.

— Э, да ты об этом не очень беспокойся, — увещевал его Сень тихим голосом. — Разве что-нибудь особенное случилось? Ведь этот пес наверняка это заслужил. Ты забыл про свою?..

— Нет, нет, нет, не забыл! — перебил его Прийдеволя. — Верно, верно, что заслужил! Сто раз заслужил!

— Ну, так чего же здесь мучиться? Или суда боишься? Не бойся! Комиссия уехала в твердой уверенности, что он сам упал в шахту, еще хозяина судить будут, почему колодец не закрыл!

— Нет, нет, нет, — снова с каким-то лихорадочно болезненным волнением перебил его Прийдеволя, — не боюсь я комиссии! Что комиссия? Мне сдается даже, что если бы комиссия... того... раскрыла бы, тогда мне легче было бы!

— Тыфу, не дай бог, что это ты плетешь?

— Послушай только, Сень, — шептал Прийдеволя, наклонившись к нему и судорожно сжимая своей сильной рукой его плечо. — Мне кажется, что тот... еврейчик, знаешь... тот, что в шахте погиб, что он был не виноват, что это кто-то другой все сделал!

— Что? Что? Вот те на! Или он не был при этом?

— Да, да, был, и смеялся даже, но разве уж и смерть за то, что смеялся? А может быть, он не делал ничего, а только те, другие?

— И откуда только тебе, парень, такие мысли в голову приходят? — спросил изумленный Сень. — Сломал черт ногу, ну и слава богу! Погиб панок, ну и ладно!

— А если он не виноват? Знаешь, когда я встретил его и схватил, и он почувствовал, к чему все это клонится, то как запищит: «Пощади, не губи, пощади!» А когда я в ту же минуту толкнул его... знаешь... он только взвизгнул: «Не виноват я, не виноват!» Потом загудело, затрещало, я бросился прочь. Но этот голос

всегда со мной, всегда во мне, так и слышу его! Господи боже, что я сделал! Что я сделал!

Бедный парень ломал руки. Сень напрасно старался утешить его. Прийдеволе все казалось, что сброшенный в шахтный колодец кассир не виновен.

— Ну, если этот не был виноват, так исправь дело, — сказал, наконец, разозленный Сень, — и виноватых пошли той же самою дорогой! Чтобы невинный не зря пострадал!

Эти слова были словно удар обуха для Прийдеволи. Оглушенный ими, он склонил голову и снова забился в свой угол, не произнося ни слова.

А между тем побратимы кончали совещание.

— Первое дело теперь, — говорил Бенедя, — вербовать людей в нашу компанию. Кто с кем на работе, либо в корчме встретится, или на улице разговорится, сейчас же пусть и толкует об этом! Обо всем говорить надо: какая оплата убогая и какое возможно спасение. И взносы собирайте. Я думаю, каждый должен собирать среди своих, а собранное каждый вечер отдавать главному кассиру, которого нужно здесь же сегодня выбрать.

— Правильно, правильно, надо выбрать кассира! — кричали все. — А ну, кого бы тут сделать кассиром?

Предлагали то одного, то другого, наконец остановились на том, что нет лучше кассира, чем Сень Басараб.

— Что? — сказал неприязненно Сень, услышав это. — Я должен стать вашим кассиром? Никогда! Я с сегодняшнего дня и вовсе не хочу быть с вами! Ни я, ни мой брат.

— Не хочешь быть с нами? Это почему? — вскрикнули все.

— Потому что вы сходите с той дороги, на которую однажды стали. Я своей дороги не оставлю!

— Но кто же дорогу меняет? — сказал Андрусь. — Здесь совсем ничего не меняется.

— Как? И ты с ними? — мрачно спросил Сень.

— Да! С ними!

— А присягу забыл?

— Нет, не забыл!

— А ногами топчешь, хоть и не забыл!

— Не топчу! Послушай только и не сердись!

И Андрусь подошел к нему и начал шептать ему на ухо что-то такое, что вначале, видно, пришлось ему не по вкусу. Но чем дальше, тем больше прояснялось лицо Сеня, и, наконец, почти радостно он воскликнул:

— А если так, то хорошо. А я, глупый, и не догадался! Ладно, побратимы, буду вашим кассиром и надеюсь, что вы не пожалуетесь на меня!

— А теперь вот еще что, — произнес сильным, радостным голосом Бенедя, который сегодня вдруг из рядового побратима стал словно главой и вожатым всех. — Побратимы-товарищи! Вы знаете, я простой рабочий, как и все вы, вырос в горе и нужде, бедный подручный каменщика — и больше ничего. Неожиданно и непрощенно свалилась на меня панская милость, и меня Гаммершляг сделал мастером, а потом и строителем нового нефтяного завода. Благодарить его мне не за что, я не просил у него милости, да и ему же от этого выгода, не нужно отдельно платить строителю. Мне же он платит по три гульдена в день, для меня, бедного рабочего, это очень большая сумма. У меня в Дрогобыче старуха мать, ей я должен посылать каждую неделю частицу своего заработка, пускай два гульдена, еще два гульдена в неделю я израсходую на себя; значит, будет оставаться в каждую неделю еще четырнадцать гульденов. Все это я обещаю отдавать в нашу кассу!

— Ур-ра! — закричали побратимы. — Да здравствует побратим Бенедя!

— Я тоже обещаю давать по гульдену в неделю.

— Я по пять шисток!

— Я по пять шисток!

— Вот мои три шистки.

— Вот мои!..

— Вот мои!

Речь Бенеди, а еще больше его пример воодушевили и разохотили всех. Сень Басараб здесь же собрал для почина немного денег, а Прийдеволя, который знал начатки грамоты и которого Сень упросил к себе в помощники, отметил плотничьим карандашом на клочке оберточной бумаги от табака, кто сколько дал.

Весело разошлись побратимы, радостные надежды вспыхивали в их головах среди мрачных сумерек настоя-

щего и озаряли их искренние, чистые сердца подобно тому, как восходящее солнце розовым блеском озаряет пустынные, каменистые и печальные вершины Бескидов.

IX

Осенью, когда цветы уже отцвели, медвяная пыльца осыпалась и пчелиная жатва окончилась, начинается на некоторое время громкая, шумная жизнь в ульях. Пчелы, так же как и крещеный народ, окончив свою нелегкую работу, любят погуторить, собраться кучками перед летками и возле затворов, поболтать и потрепать крылышками. Вначале совсем нельзя понять, что это такое и к чему. Еще в улье не произошло ничего нового. Еще несколько самых старательных тружениц упорно вылетают каждый день в поле, чтобы после целого дня поисков возвратиться вечером домой с небольшой добычей на лапках. Еще сытые трутни гордо гудят, прогуливаясь возле наполненных медом кладовых и вылезая каждый божий день в полдень на крышку улья — погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, расправить и размять нерабочие крылышки. Еще, кажется, царит полное спокойствие, примерное согласие в улье. А между тем в нем уже иным духом повеяло. Пчелы-работницы как-то таинственно шепчутся между собою, как-то подозрительно покачивают головками, как-то зловеще стригут своими щипчиками и перебирают лапками. Кто знает, к чему это все и что такое готовится в пчелином царстве? Трутни, наверное, этого не знают и попрежнему, досыта наевшись, гордо гудят, прогуливаясь возле наполненных медом кладовых и выползая каждый божий день в полдень на крышу улья погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, расправить и размять нерабочие крылышки...

Вот на такой улей начал походить Борислав спустя несколько дней после описанного совещания. Кто знает откуда и как, — достаточно того, что новым духом повеяло в Бориславе. И если обычно новая струя свежего воздуха прежде всего и сильнее всего бывает заметна в верхних слоях, то здесь произошло совсем обратное.

Нижние, густые и серые слои первые почуяли новое веяние, первые приметно всколыхнулись. И кто его знает, откуда и как оно началось! Ни с того ни с сего возле ворот и насосов, возле складов воска, в шинках за чаркой— всюду начались среди нефтяников разговоры о том, как тяжело всем жить, как тяжела работа в Бориславе и как хозяева-евреи без суда, без права, самовольно всё больше и больше урывают из жалованья, обижают и обманывают, избивают, да еще и высмеивают одураченных рабочих. И никто не смог бы сказать, от кого начались эти разговоры, потому что все, о чем говорилось, каждый слишком хорошо испытал на собственной шкуре и на собственном опыте. Раз начавшись, разговоры эти уже не утихали, а все более распространялись, становились все сильнее и громче. Все как будто только теперь увидели свое печальное, безвыходное положение, ни о чем ином и говорить не хотели, и каждый разговор оканчивался мучительным, тяжелым вопросом: «Господи, неужто нам вечно так мучиться? Неужто нет для нас выхода? Неужто нельзя нашему горю пособить?» Но помощи не было ниоткуда. А разговоры не утихали, наоборот — становились все громче и острее. Люди, которые вначале говорили о своем горе равнодушно, как о неизбежном зле, после глубокого раздумья и после долгих разговоров со знакомыми, задушевными друзьями и старшими рабочими или вообще бывальыми людьми убеждались, что здесь что-то не так, что горю можно пособить, но, не видя и не зная, как это сделать, начинали проявлять нетерпение, взбудораженные, ходили и говорили, словно в лихорадке, жадно ловили каждое слово, которое могло бы прояснить им беспросветное положение. До самых далеких хаток, до самых темных углов доходили эти разговоры, разбегались во все стороны, словно огонь по сухой соломе. Ребятишки, таскавшие глину, дивчата и молодичицы, которые выбирали в сараях воск из глины, и те говорили о своем бедственном положении, о том, что им непременно нужно как-нибудь договориться между собою и искать для себя спасения.

— И ты о том же поешь? — говорили не раз старшие рабочие, усмехаясь и слушая ропот молодых парней.

— Вот тебе на, как будто у нас не та самая беда, что и у вас! — отвечали молодые. — Да нам еще хуже, чем вам! Вас не так скоро прогонят с работы, вас не так скоро обсчитают, а если и обсчитывают, то все-таки вам больше платят, нежели нам. А есть мы хотим так же, как и вы!

— Но кто же вас надоумил, что надо себя как-нибудь спасать?

— А кто мог нас надоумить? Как будто человек и сам не знает, что если жжет, то нужно холодное прикладывать? Да еще хотя бы не так сильно жгло! А то, видите, дома голод, не уродило ничего, отец и мать где-то там пухнут и умирают с голоду, думали — авось хоть мы здесь кое-что заработаем, сами прокормимся и хоть немного им поможем, а тут вон оно что! Даже себе на жизнь не можем заработать в этой проклятой яме! Народу набилось много, работа тяжелая, платят мало, и чем дальше — все меньше, а тут еще злодеи-богачи хлеба не подвозят, вон какую дороговизну сделали: к хлебу подступиться нельзя! Ну, скажите сами, можно ли так жить? Уж лучше либо сразу погибнуть, либо как-нибудь добиться лучшего!

Так толковали обычно между собою нефтяники, и такие жалобы раздавались со всех сторон. Эти разговоры глубоко западали в сознание каждого, кто вынужден был на своих плечах тащить нелегкое бремя своей собственной нужды. Личная обида, личная нужда и боль каждого рабочего передавалась другим, становилась частью всеобщей обиды и нужды, вливалась, словно капля в бочку, в сумму общих жалоб. Все это, с одной стороны, давило и пугало людей, не привыкших к тяжелой работе мысли, но, с другой стороны, возбуждало и озлобляло их, расшевеливало неподвижных, будило надежды, а чем больше люди надеялись и ожидали, тем больше внимания обращали они на свое положение, на каждое, хоть даже маловажное, событие, тем сильнее чувствовали каждую новую несправедливость и обиду. Ссоры между рабочими и евреями-надсмотрщиками становились теперь все более частыми. Надсмотрщики издавна привыкли смотреть на рабочего, как на скотину, на вещь, которую можно приткнуть где угодно, толк-

нуть ногой, выбросить, если не понравится, по отношению к которой даже смешно говорить о каком-то человеческом обхождении. И сами рабочие, обычно наиболее бедные, с детства забитые и в нужде зачухавшие люди из окрестных сел, терпеливо сносили эти надругательства, к которым с малых лет приучала их тяжелыми ударами убогая жизнь. Правда, иногда попадались и среди них чудесным образом уцелевшие, сильные, несломленные натуры, такие, как братья Басарабы, но их было мало, и бориславские евреи крепко их не любили за их непокорность и острый язык. Но теперь вдруг все начало меняться. Самые смиренные рабочие, парни и девушки, которых до сих пор можно было несколько не стесняясь обижать и унижать, и те держались теперь независимо, без прежних жалоб и слез. И удивительнее всего было то, что на промыслах; где прежде каждый мучился, работал и горевал сам за себя, каким-то чудом появилась вдруг дружба, солидарность всех с одним и одного со всеми. Неустанный живой обмен мыслей, чувство собственного горя, усиленное и облагороженное чувством горя других, выработали эту солидарность. Стоило только хозяину-еврею прицепиться несправедливо к рабочему, начать ни с того ни с сего ругать и поносить его, как весь промысел обрушивался на него, заставляя притихнуть его то бранью, то насмешками, то угрозами. Во время недельных выплат начали раздаваться теперь все более бурные и грозные крики. За одного обиженного вступались десять товарищей, к ним тут же присоединялся еще десяток с других промыслов, и все они толпой вваливались в контору, обступали кассира, кричали, требовали полной выплаты, угрожали и обычно добивались своего. Хозяева вначале набрасывались на них, кричали, угрожали в свою очередь, но, видя, что рабочие не уступают и не пугаются, а, напротив, все больше разъяряются, уступали. Они не признавались даже самим себе в том, что положение изменилось и может стать грозным, они еще—особенно крупные предприниматели—гордо расхаживали по Бориславу, важно посматривали на рабочих и радостно потирали руки, слыша, что голод свирепствует по селам, видя, что с каждым днем в Борислав прибывает все больше и больше людей. Они

еще и не думали ни о чем другом, кроме своих спекуляций, им еще и не снилось, что рабочие могут каким-нибудь образом опрокинуть их планы и добиться среди этой погони за золотом также и своего куска. Еще они спали спокойно и не слышали все более громкого говора снизу, не чувствовали гнетущей духоты в воздухе, которая обычно бывает перед бурей.

И произошла эта важная перемена среди бориславских рабочих неожиданно быстро. Даже наши знакомые побратимы, которые дали первый толчок к этой перемене, даже сами они удивились, видя, каким громким эхом огдаются во всем Бориславе их слова. Даже самые недоверчивые из них, которые мрачно смотрели на изменения в целях и работе побратимства, даже братья Басарабы, видя, как жадно ловят рабочие их слова и как живо развивают их дальше по-своему, начали охотнее присоединяться к новому движению. Они видели, что Бенедя и Стасюра говорят правду, требуя выйти за узкие рамки прежнего побратимства и понести свое слово и свои мысли в народ, и теперь убедились, что в рабочей массе почва хорошо подготовлена для посева такого слова и что это слово, распространяясь в ней, не только не потеряет ничего, но, напротив, наполнится великой силой. Впрочем, братья Басарабы, а с ними и некоторые другие, наиболее непримиримые побратимы, не думали окончательно остановиться на том, что советовал Бенедя, а надеялись, что в случае, если не удастся затея Бенеди (а в ее удачу они и теперь еще мало верили), можно будет повернуть всю огромную силу возмущенного рабочего люда на иное дело, на то дело, ради которого они в самом начале образовали свое побратимство. Поэтому-то, поразмыслив хорошенько, они не только не сетовали на Бенедю за то, что своими речами он отклонил побратимство от его первоначальной цели и повел за собой по иному пути, а, напротив, были благодарны ему за то, что, сам того не сознавая, он начал необходимое собрание огромной силы и проложил дорогу туда, куда они до сих пор не осмеливались ступить. Они, однако, охотно взялись работать для осуществления планов Бенеди, зная, что если бы удалось эти планы полностью осуществить, то попутно свершилось бы и то, чего они

желали, а если не удадутся замыслы Бенеди, то осуществление их первоначальной цели будет тогда еще вернее. Стало быть, так или иначе Бенедя, действуя для всех рабочих, действовал и для них.

Зато какая жизнь, какое движение началось в небольшом домике на краю Борислава, где жили Матвей и Бенедя! Ежедневно по вечерам приходили побратимы, рассказывали, как идет дело, как принимают нефтяники их слова, как настойчиво просят совета, как выступают против хозяев. Соповещания не раз продолжались очень долго, и перед глазами наших знакомцев все яснее вырисовывалась дорога, по которой нужно идти. Еще в самом начале, как только наши побратимы решили вербовать в свое побратимство громаду бориславских нефтяников, они целых два вечера совещались о том, с чего начать, чтобы добиться своего и не обратить на себя раньше времени внимания. В те времена еще живы были в памяти преследования и аресты поляков — участников восстания 1863 года, кое-кто из побратимов выразил опасение, как бы в случае провала полиция не надела на них и не обвинила в бунте, — а в этом случае и вся их работа пошла бы насмарку. В конце концов Бенедя дал такой совет: на первых порах высказывать рабочим свои мысли как бы со стороны, случайно, постепенно, но упорно, в каждом разговоре будить у всех ощущение бедственного, жалкого положения и вместе с тем указывать на возможность улучшения в будущем. Таким образом, говорил Бенедя, в народе пробудится беспокойство, вслнение, желание добиться улучшения — одним словом, создастся среди массы нефтяников возбуждение, которое, будучи ловко поддержано и усилено, может быть использовано в соответствующий момент для осуществления их планов. Этот совет очень понравился всем побратимам, и они решили его принять. Не прошло и двух недель, а их цель была почти полностью достигнута. Рабочие после работы толпами ходили по Бориславу, разговаривая и совещаясь: шинки пустели все больше и больше, а возбуждение и беспокойство в народе все росло и нетерпеливые побратимы все громче требовали выступить, наконец, открыто и взять на себя руководство широким рабочим движением. Но Бенедя, а за

ним и братья Басарабы стояли на том, что надо еще немного обождать, пока выше и грознее ударят волны рабочего гнева.

А волны эти, движимые действительной нуждой и гнетом, подхлестываемые жгуче-правдивыми словами побратимов, становились все выше и грозней. Простой человек — враг долгих рассуждений и размышлений. Правда, собственным умом он нес скоро приходит к ясному, окончательному решению, долго томится засевавшей в его голове мыслью, но когда она окончательно сложится и утвердится, примет твердую и ясную форму, тогда уже ему не до забавы, не до рассуждений, тогда он всей силой своего существа рвется претворить свою мысль в дело, тогда неизбежна борьба между ним и противниками его мысли. Вот точно так было и здесь. Казалось бы, и не бог весть как трудно человеку, который ежедневно терпит нужду и неправду, прийти к сознанию этой нужды и неправды, и, однако, как поздно пришли к этому сознанию бориславские рабочие! И казалось бы, нет ничего особенного в этом сознании, таком безотрадном и печальном! А между тем какое беспокойство, какую бурю подняло оно в головах всех рабочих! И скоро из безотрадного и тоскливого чувства родилась грозная решимость, невольная спайка и непокорство своим угнетателям. От слов начали переходить к делу. Вот однажды пронеслась по Бориславу весть, что рабочие припугнули в каком-то закоулке кассира, который вместо обычных двух процентов начал удерживать с рабочих в свою пользу по четыре процента «кассирского» с каждой шахты, то есть с каждого двенадцатичасового рабочего дня. Эта весть была как бы сигналом, за которым вскоре последовало много подобных случаев. После каждой такой вести росли упорство и отвага нефтяников. Они уже прямо в глаза разным кассирам, надсмотрщикам и контролерам начали грозить, что не будут больше терпеть над собой кривды. Страх начал одолевать кровососов народных. А когда однажды пронеслась по Бориславу весть, что один надсмотрщик несправедливо записал рабочему какой-то большой штраф, а кассир во время полочки хотел вычестить у него этот штраф из жалованья, нефтяники подняли возле кассы страшный крик и шум, начали

требовать к себе надсмотрщика, чтобы дал ответ, за что такой большой штраф наложил на их товарища. Надсмотрщик спрятался где-то, кассир в шутку, чтобы избавиться от них, сказал рабочим: «Идите ищите его и, если найдете, приведите сюда за ухо». Нефтяники с оглушительным криком бросились во все стороны и через минуту нашли надсмотрщика, схватили его и силой, в самом деле за уши, притащили к кассиру, — привели, разумеется, избитого, исцарапанного и с надорванными ушами. И хотя нескольких рабочих за это арестовали и заперли в сельской управе, но все-таки эта весть надедала шума и вызвала среди нефтяников много толков, а на хозяев-евреев нагнала немало страха. Нефтяники в тот же вечер огромной толпой, под предводительством братьев Басарабов, пошли к бориславскому войту, добились от него освобождения всех арестованных — и могучим, радостным смехом встретили их рабочие. Песни и угрозы загудели по улицам Борислава, освобожденных водили от шинка к шинку, и поили, и тысячу раз расспрашивали, как это они привели надсмотрщика за уши к кассе.

Пока гудела хмельная радость на улицах Борислава, в убогой хате Матвея сидели побратимы и совещались, что делать. Все сходились на том, что теперь пора, что надо взяться за дело.

— Созвать сходку! Созвать сходку! — говорили все.

И порешили, не открывая своего побратимства, созвать собрание всех нефтяников за Бориславом, на выгоне. В воскресенье, в полдень, все должны были собраться там на совет.

Словно грозовая искра, пронеслось на другой день из уст в уста, от колодца к колодцу, от промысла к промыслу, от завода к заводу неслыханное дотоле слово:

— В воскресенье после церкви! На выгон возле Борислава! Собрание, собрание, собрание!

Никто не знал, что это будет за собрание, о чем будут совещаться, кто созывает. Да никто и не спрашивал об этом. Но все чувствовали, что это будет великая минута, что от нее многое будет зависеть, — и все возлагали большие, хотя и неясные надежды на эту минуту. Собрание! Собрание! Собрание! Это слово, будто чудом, проясняло

увядшие, испытые лица, укрепляло мозолистые руки, выпрямляло издавна согнутые плечи. «Собрание! Наше собрание!» — неслось то громко, то шепотом по всем углам, и тысячи сердец с нетерпением бились, ожидая воскресенья и собрания.

С нетерпением ожидали его и наши побратимы, а особенно Бенедя и Андрусъ Басараб.

Х

Буря собиралась над Бориславом — не с неба на землю, а с земли против неба.

На широкой луговине, на бориславском выгоне, собирались грозные тучи: это нефтяники сходились на великий рабочий совет. Все заинтересованы новым, до сих пор неслыханным явлением, все полны надежд и какого-то таинственного страха, все едины в ярости и ненависти к своим угнетателям; громко разговаривая и шепчась, большими или меньшими группами, с окраин и из центра Борислава плыли-шапливали они. Черные, пропитанные нефтью кафтаны, куртки, армяки и сермяги, такие же рубахи, подпоясанные ремнями, веревками или лыком, бледные, пожелтевшие и позеленевшие лица, рваные, засаленные шапки, шляпы, солдатские «бескозырки», войлочные шляпы бойков и соломенные подгорян — все это густой серой тучей покрывало выгон, толпилось, волновалось, шумело, словно прибывающая вешняя вода.

— Что здесь долго судить да рядить! — кричали в одной группе. — Тут суд один: богачи-евреи, хозяева весь свет захватили, они нам жить не дают, они голод навели на народ.

— Нужно соединиться всем вместе, не поддаваться им! — выкрикивали в другой группе.

— Хорошо вам говорить — не поддаваться. А как голод прижмет, заработка хозяин не даст, тогда и вы хвост подожмете и покоритесь сухой вербе, не то что хозяину.

Голод — великое слово. Словно грозный призрак стоял он у каждого за плечами, и при воспоминании о голоде затихали громкие, смелые крики.

— В колодец каждого, кто над нами издевается!— шумели в другом конце.

— Ну, а что из этого?— увещевал старик Стасюра.— Тот, кто сбросит другого в колодец, пойдет гнить в тюрьму, это раз...

— Эге, еще кто знает, пойдет ли, — угрюмо сказал Матвей. — А вот злодей Мортко столкнул моего Иванчика, еще и деньги его забрал, и поныне ходит по свету и насмехается над рабочим людом.

— Э, так ведь то нехристь!—закричали некоторые. — Нехристю все сойдет. А пускай бы наш человек сделал что-нибудь такое, ну-ка!

— А второе, — продолжал Стасюра, — сотня издевается над нами, а тысяча обдирает по «закону», так что и сказать ничего нельзя: и вежливо и чинно, мол, на тебе, что полагается, а между прочим человек чувствует, что с него шкуру дерут. В этом наша беда!

— Правда, правда! — шумели нефтяники.

— Да что из того, что правда, — говорили другие,— этому, видно, ничем помочь нельзя.

— Как нельзя помочь? — сказал Стасюра. — Против каждой болезни средство есть, надо только поискать. Неужто же против нашего горя нет лекарства? Надо поискать. Для того и собрались мы сегодня всем миром, чтобы об этом поговорить. Ведь вы же знаете: мир — великая сила; где один своим умом ничего не придумает, там мир все-таки скорее рассудит.

— Если бы мы сегодня до какого-нибудь лада дошли,— говорили рабочие. — А время уже пришло, беда до костей изгрызла!

Такие и подобные разговоры велись во всех концах и во всех кучках. Побратимы разделились и уговаривали рабочих, внушали им мысли о возможности улучшения их тяжелой жизни, укрепляли их веру в мирской разум и мирскую силу. А тем временем прибывали все новые и новые толпы. Солнце стояло уже посредине неба и жгло немилосердно, тучей поднимая над Бориславом густые, смрадные нефтяные испарения. Над синеющей вдаль высокой стеной Дила колыхались волны раскаленного воздуха. От реки веяло нежной прохладой.

— Ну, что ж, пора начинать совет... начинать совет... уже все собрались! — зашумели рабочие со всех сторон.

— Кто хочет говорить, пусть выходит на середину, вот на этот камень! — сказал своим сильным, звучным голосом Андрусъ Басараб.

— Становитесь в круг... Подходите сюда, к камню, — гудели рабочие.

На камень взобрался Бенедя. Он не привык говорить перед такой огромной толпой и был немного смущен: он вертел в руке свою шапку и озирался по сторонам.

— Это кто такой? — закричали со всех сторон нефтяники.

— Рабочий человек, каменщик, — ответил Бенедя.

— Ну так говори, что хочешь сказать.

— Я много не буду говорить, — сказал Бенедя, постепенно становясь смелее. — Я только то хотел сказать, что каждый и без меня знает. Беда нам, рабочим людям... Работать тяжело: ночей недосыпаем, а днем и передохнуть некогда, мозоли на руках набиваем: старые еще не слезли, а уж новые выросли, и что нам с того? Говорят, горько заработаешь, сладко съешь, а мы очень ли сладко едим? Горько зарабатываем, это верно, но еще более горька наша жизнь. Мы чаще изнываем от голода, нежели бываем сыты. Да еще хотя бы не издевались над нами, не обижали, не унижали нас на каждом шагу! А то сами видите, какой нам почет. Рабочий человек у них хуже скотины!

— Правду он говорит, правду! Скотину, собаку больше ценят, нежели бедного человека! Эх, неужто бог не видит этого?

— А теперь посудите сами, — продолжал Бенедя, — на кого мы трудимся, кому от нашей работы польза? Евреям-спекулянтам! Хозяевам! Бедный нефтяник сидит по шесть, по восемь, по двенадцать часов в шахте, в сырости и смраде, мучается, долбит и копает штольни под землей, другие рабочие стоят у ворота, у насоса и крутят, пока у них голова не закружится и последние силы не уйдут, а хозяева продают воск и нефть и получают тысячные суммы, и пануют, строят каменные дома, наряжаются и ездят в каретах, и забрызгивают грязью бедного человека! И слова доброго от них никогда не

услышишь. Вот на кого мы работаем и какую благодарность получаем за это!

— Покарай их бог за нашу работу и нашу нужду! — закричали рабочие со всех сторон.

— Так-то оно так, — продолжал Бенедя после короткой передышки, — пускай их бог покарает. Но это еще неизвестно, захочет ли бог покарать их, или нет, а во-вторых, кто знает, будет ли нам от этого легче, если их бог покарает. А тут по всему видно, что бог почему-то любит больше нас карать, нежели их! Вот и теперь покарал бог наши села голодом, а здесь, в Бориславе, и хозяева также принялись нас карать: плату уменьшают каждую неделю, да еще, если кто-нибудь осмелится слово сказать, смеются над ним в глаза: «Иди, — говорят, — если тебе невыгодно, а я десятерых найду на твое место за эту же плату». Вот и рассудите сами, много ли мы получим, если будем полагаться на божью кару! Я думаю, уж лучше нам действовать так, как говорят наши люди: на бога надейся, да сам не плошай. Божья кара божьей карой, а нам надо объединиться и подумать, как бы собственными силами из беды выбраться.

— В том-то и вся штука! Как выбраться, если мы бедны и помощи ниоткуда не имеем? — закричали рабочие.

— Ну, я здесь за вас решать не могу, — сказал Бенедя, — но если будет ваша воля послушать, то я скажу вам, что я думаю об этом.

— Говори, говори! Слушаем! — загудели нефтяники.

— Ну, коли так, то буду говорить. Верно вы говорите, что помощи нам ждать неоткуда. Кто же теперь захочет помочь бедному рабочему, а впрочем, если бы и захотел помочь одному, то не смог бы помочь всем, такой уйме народа. Здесь только мы сами, дружной силой можем себе помочь.

— Мы сами? Как же это? — слышались недоверчивые голоса.

— Это правда, — сказал Бенедя, — пока что мы еще не сможем по-настоящему себе помочь. Разве можно помочь по-настоящему, если человек работает не на себя, трудится, трудится, а его трудом пользуется другой?

Пока весь наш труд не будет идти на нас самих, до тех пор нам добра настоящего не будет. Но чуточку облегчить свое положение, пожалуй, сможем. Вот посмотрите, сколько раз случается человеку остаться без работы! Ходит человек, как угорелый, мечется, как в лихорадке, сюда и туда, а работы не может достать. Томит человека голод, идет он к богачу-еврею, напрашивается на какую угодно, хотя бы и на самую худшую работу, лишь бы только с голоду не пропасть. Ну, а вот если бы мы все сколько нас здесь есть, обязались еженедельно после получки складываться, пусть по центу, пусть по два, то сосчитайте сами, какая бы получилась сумма. Если бы набралось таких тысяча, то никому этот цент не был бы в тягость и никого не разорил бы, а из этих взносов собралась бы такая сумма, что можно было бы в случае неожиданной нужды помочь десяти человекам.

— Правильно, правильно! — загомонили рабочие.

— Невелика эта помощь, правда, — продолжал Бенедя, — но согласитесь, что это и не такая уж малая помощь. Потому что рабочий, который в трудную минуту получит гульден или полтора, уже не будет вынужден кланяться хозяину и напрашиваться на работу за какую угодно нищенскую плату, не будет вынужден сбивать плату другим рабочим. А то, что ему будет дано, он сможет потихоньку да полегоньку выплатить обратно, как только получит лучшую работу. Вот тогда наша рабочая касса не только бы не уменьшилась, но, наоборот, все увеличивалась бы.

Нефтяники стояли молча и раздумывали. Вначале им показалось, что это дело и вправду хорошее, и все готовы были сразу же приступить к нему. Но скоро слышались возражения.

— Эх, что из того? — говорили некоторые. — Ну, хотя бы и так: сделаем мы складчину, а кто этим будет пользоваться? Будет так, как в селах, где есть общественные кассы. Богатеи берут деньги взаймы, пользуются ими, а бедняки только вносить должны, а пользы себе никакой не видят. Или вот еще: выберем мы кассира, скажем — такого же рабочего, как и все мы, а кто нам поручится, что он не заберет денежки и не удерет?..

Бенедя слушал эти возражения спокойно.

— Думал я и об этом и вот что придумал. Прежде всего, нам нечего бояться, что пользоваться нашими деньгами будут богачи, потому что среди нас богачей нет, все мы бедные. И второе, мы не ростовщики, деньги под проценты давать не будем, а будем выдавать только в случае действительной нужды, болезни, безработицы, то есть будем помогать там, где для каждого очевидно, что помочь надо. Кто сможет, тот вернет нам ссуду и покроет расход, а кто не сможет, ну — мы его за это также не повесим. А с кассиром, я думаю, лучше всего будет вот как поступить. Если у нас много таких найдется, которые согласятся участвовать в этой кассе, то на каждом промысле или в нескольких соседних участках вы сами выберете своего кассира из числа тех рабочих, которые работают здесь, в Бориславе, постоянно и которых вы хорошо знаете. Такой кассир мог бы собирать деньги только в тех участках, которые его выбрали. А зная, сколько на этих промыслах работает человек и сколько обязалось платить, каждый очень легко может узнать, сколько денег имеется у кассира. Если один почему-либо не понравится, можно выбрать другого. Те промысла, которые будут иметь своего отдельного кассира, должны поддерживать нуждающихся рабочих из своей среды: они лучше всего будут знать, кто у них действительно нуждается.

— Ну, вот это другое дело, — загудели рабочие. — Такой кассир всегда будет у нас на глазах, а если их будет много, то у каждого сумма будет небольшая, соблазн будет меньше, и, даже если бы вся эта сумма пропала, потеря была бы все же невелика. С этим можно согласиться.

— Позвольте, это еще не все, — говорил Бенедя. — Кто знает, может иногда случиться такая нужда, что не хватит средств одного участка. Может, случится сделать что-нибудь такое, что пойдет на пользу всем бориславским рабочим, а для этого потребуется много денег, больше, нежели имеет одна касса. Поэтому, я думаю, надо сделать так: в каждой такой небольшой кассе, которая была бы при одном или при нескольких соседних промыслах, все деньги, которые будут поступать, поделить на три части. Две части надо оставлять на своем

промысле для помощи отдельным рабочим, а одну треть отдавать в главную кассу. Из этой кассы выдавать деньги уже не мог бы ни кассир, ни один какой-то промысел, а только общий сход всех бориславских рабочих, разумеется тех, которые платят в кассу. Выдавать из нее нужно как можно меньше, а копить деньги для большого общего дела.

— А какое же это может быть дело? — спрашивали нефтяники.

— Вот как я это понимаю, — сказал Бенедя. — Как видите, теперь наши хозяева-евреи убедились, что нас много, что голод сгоняет все больше рабочих в Борислав, и они не спрашивают, можно ли нам прокормиться, или нет, а все снижают и снижают нам плату. И не перестанут снижать, пока мы не напомним о себе.

— Эге, разве мы не напоминали, — чему это поможет?

— Стойте, погодите, я скажу вам, как надо напоминать! Это верно, что говорить с ними — по-хорошему или с угрозой — бесполезно, не послушают. Тут нужно не угрожать, а сделать так, чтобы они и не опомнились, откуда это на них свалилось. Вот что нужно сделать. Все, сколько нас здесь есть, и те, которых здесь нет, — одним словом, все вместе однажды утром, каждый у себя на работе, приходим и говорим: довольно, не будем работать, не можем работать за такую малую плату, лучше будем сидеть дома. Пока не будет увеличена плата, до тех пор и пальцем не шевельнем. И, сказав это, все по домам!

Нефтяники даже рты разинули от удивления, услышав такой совет:

— Вот те на, да как же это бросить работу?

— На время, на время, пока хозяева плату не увеличат.

— А не долго ли ждать придется?

— Ну, очень долго не придется. Ведь вы только подумайте: хозяева наши позаклучали с разными купцами контракты — в такой-то срок поставить столько-то воску, столько-то нефти. Ну, а если в срок не поставят, то им убыток будет в десять раз больше, чем прибавка к плате. А сами они в шахты не полезут; может быть, и продер-

жаты несколько дней, а потом все-таки вынуждены будут к нам «приидите поклонимся».

— Как бы не так! Они наберут новых рабочих!

— Ну, надо так сделать, чтобы не набрали. Разослать людей по всем окрестным селам с таким наказом, чтобы до поры до времени никто не шел в Борислав, потому что там вот то-то и то-то делается.

— А если мазуров приведут?

— Не пускать! Уговором или силой, но не пускать.

— Гм, да это, пожалуй, можно. Но на что мы будем жить во время этой забастовки?

— Вот для этого я и думал устроить такую главную кассу.

— А спекулянты сговорятся и хлеба не подвезут, заставят нас голодать.

— А мы и покупать у них не будем. Когда у нас будут свои деньги, мы сами привезем из города, да еще и подешевле.

— И ты думаешь, что это поможет, что повысят плату?

— Я думаю, что должны, если только мы будем твердо держаться.

— Но для того, чтобы прокормить такую массу народа, нужна огромная сумма денег!

— На время забастовки можно будет часть людей отправить в села или в город, куда-нибудь на другие предприятия, чтобы легче было. К тому же не следует приниматься за такое большое дело, пока у нас не будет достаточно денег, чтобы продержаться хотя бы неделю. И прежде чем начинать, нужно все наладить как следует: и своих людей по селам разослать, и хлеба расстараться, и всего. Ну, да об этом еще будет время поговорить. Теперь скажите, согласны ли вы на то, чтобы у нас были кассы — и участковые и главная касса?

— Согласны! Согласны!

— А с тем согласны, чтобы две трети оставались в участковых кассах, а одна треть чтобы шла в главную кассу?

— Нет, пускай две трети идут в главную кассу! Хотим давать по два цента, только чтобы нам всем скорей какое-нибудь полегчение пришло!

— А в управление главной кассы, я полагаю, надо выбрать трюх человек, таких, которых вы хорошо знаете и которым можете доверять. А главное, чтобы касса хранилась у такого человека, который имеет здесь свое хозяйство.

— Эге, а где же мы здесь такого найдем, если все мы пришлые, беднота?

— Я знаю такого человека — старого Матвея, у него здесь своя хата. Думается мне — лучше всего кассу у него поместить. И нужно, чтобы каждый сборщик мог в любое время прийти и пересчитать, сколько денег есть в кассе и откуда они получены, и оповестить об этом своих людей. Два других могли бы еженедельно ходить по промыслам и собирать деньги. В таком случае можно было бы надеяться, что никто никого не обманет, никто наших денег не присвоит. Согласны вы на это?

— Согласны! Согласны!

— А где он, этот Матвей? Хотим поглядеть на него! — закричали те, которые не знали Матвея.

Матвей влез на камень и поклонился миру.

— Ты кто таков есть? — закричали ему.

— Нефтяник, люди добрые.

— У тебя есть своя хата?

— Своя не своя, а так, как бы и своя. Моей невестки хата, да она в услуженье, не живет здесь.

— А согласен ты, чтобы у тебя была наша касса и чтобы ты отвечал нам за нее?

— Как перед своей совестью, так и перед вами. Если ваша воля на то, я готов послужить миру. Ну, да, впрочем, половина из вас знает меня.

— Знаем, знаем! — раздалось множество голосов. — Можно положиться на него!

— Ну, а кого же еще выбрать в кассиры? — спрашивали нефтяники.

— Выбирайте, кого сами знаете, а главное дело — таких, которые могли бы много бегать, — ответил Бенедя.

— Будь ты!

— Нет, я не могу, здоровьем слабоват, как видите, да и занят слишком на работе, не смогу бегать. А что смогу, то и без вашего избрания буду делать.

Затем Бенедя поблагодарил собравшихся за внима-

ние и слез с камня. Начался шум и говор в толпе. К Бенедике протискивались рабочие, чтобы пожать ему руку, заглянуть в лицо и громким, искренним словом поблагодарить за добрый совет.

Между тем нефтяники быстро договорились выбрать двумя другими кассирами Прийдеволю и Сеня Басараба.

— Спасибо за избрание и за доверие! — крикнул Сень собранию. — Постараемся хорошо послужить нашему общему делу! А теперь, кто сколько может, прошу подкинуть по центу, по два, чтобы наша касса с самого начала не была пуста!

— Ур-ра! По центу в кассу! — кричали рабочие.

— Давайте каждый по центу, каждый, — сказал Матвей. — Когда подсчитаем, будем знать, сколько здесь нас!

Согласились и на это, и когда собрали деньги, насчитали тридцать пять гульденов.

— Три с половиной тысячи нас собралось! — крикнул Сень Басараб. — В нашей кассе тридцать пять гульденов. А трудно ли нам было внести такую сумму?

— Вот что значит мир! — говорили меж собой нефтяники. — Верно кто-то сказал: мир плюнет по разу — так одного утопит!

Говор усилился, но это уже не был угрюмый, тревожный говор забитой, беспомощной массы, это был веселый шум пчел, для которых настала весна, и зацвели цветы, и ожила надежда на более счастливую жизнь.

ХІ

Дела шли прекрасно. Леон Гаммершляг земли под собой не чувал от гордости и радости. Все ему удавалось, и хотя это было только начало, но уже оно одно предвещало удачу всего дела. Прежде всего от «Воскового общества» из России Леон получил такое сообщение: «Доставляйте церезин, если возможно, раньше договорного срока. Общество наладило хорошее дело. При помощи известных здешних способов нам удалось заключить со святейшим синодом контракт на поставку церезина православным церквам. Сто тысяч залога вне-

сено. Ждем от вас извещения, когда будет готова первая партия».

У Леона, когда он прочитал это известие, словно крылья за плечами выросли. Значит, дело это крепкое, прочное. Он сразу же направился в Борислав — посмотреть, как идет строительство завода. По дороге он очень жалел о том, что постройка только через неделю будет готова и что нельзя завтра же начать производство воска. О том, что все это дело было по существу надувательством, обманом, Леон несколько не думал. Чувство справедливости было у него вообще развито слабо, а уж того ощущения, что существующие законы и государственные установления обязывают к чему-то всякого гражданина, этого ощущения у Леона, как и вообще у других наших предпринимателей-евреев, едва ли был хотя бы какой-нибудь след.

Занятый улаживанием различных текущих дел в Дрогобыче, в частности хлопотами по закупке сырого воска у разных мелких предпринимателей, Леон уже более недели не заглядывал в Борислав и не знал, что и как там делается. Он во всем положился на Бенедю, убежденный заранее, что свое дело тот делает добросовестно и хорошо. Каково же было удивление Леона, когда, приехав в Борислав, он увидел, что на новой постройке уже нет рабочих, кроме нескольких, которые кончали покрывать крышу, и когда Бенедя вышел к нему навстречу с заявлением, что свое дело он уже окончил, здание вполне готово и остается только Леону осмотреть все лично и отпустить его, Леон не знал, что и сказать в ответ на эту приятную и неожиданную весть, и если бы Бенедя был «пан» строитель, а не простой рабочий и недавний подручный каменщика, он обнял бы его и расцеловал от радости. Значит, счастье неизменно улыбается ему! Значит, оно подслушивает его тайные мысли и желания и, словно возлюбленная, опережает его, чтобы в тот же миг их исполнить! Радость широко разлилась по лицу Леона. Он начал благодарить Бенедю и пошел вместе с ним осматривать здание. Оно стояло перед ним во всей своей красе: длинное-длинное, низкое, с небольшими дверцами и оконцами, которые выглядели то здесь, то там, словно подслеповатые воровские глазки.

Две огромные трубы тянулись к небу. Довольно просторный двор был огорожен высоким забором с широкими воротами для въезда и узенькой калиткой сбоку для пешеходов. Двор был гладко утрамбован, ямы для выжигания извести были засыпаны, даже огромный сарай для рабочих и для хранения воска был готов. Стены, не выбеленные, не оштукатуренные, были светлокрасного цвета. У Леона сердце радовалось: все было так, как нужно. А внутрь он и не пошел смотреть: «Для этого, — говорил он, — нужно привезти моего мастера-нефтяника, ему лучше знать, все ли сделано так, как надо». Трубы, и котлы, и все приспособления, заказанные в Вене, были получены и стояли на площади в огромных ящиках. Леон не дал и отдохнуть ни себе, ни лошадям, — немедленно помчался назад в Дрогобыч, чтобы привезти Шеффеля. Бенедя тем временем должен был приготовить рабочих, которые под руководством Шеффеля еще сегодня установили бы и замуровали котлы.

Приехал и Шеффель. Осмотрел внутренность завода, разметил, что, как и где будет установлено, и весьма одобрительно отозвался о постройке. Леон ходил за ним следом и только причмокивал губами и потирал руки. Бенедя тем временем возился с нанятыми рабочими во дворе, возле машин, разбивая доски и ящики, разматывая веревки и прилаживая деревянные валы и рычаги, чтобы втащить все это куда следует — внутрь здания.

До позднего вечера слышался на новом заводе стук и лягз: это устанавливали и укрепляли машины. В одном месте нужно было проделать отверстие в каменной стене для трубы, в другом — окончательно установить и вмуровать котлы; Шеффель производил обмеры и распоряжался, а Бенедя с рабочими выполнял его распоряжения. Наконец, с наступлением сумерек, все было готово.

Леон и Шеффель остались одни внутри завода. Свет небольших восковых плашек мигал, отражаясь сотнями искр в блестящем котле из полированной меди. В углах поднимались густые клубы мрака, свисали с деревянного голого потолка, словно грозя обрушиться и придавить собою эти слабо мерцающие огоньки.

— Значит, завтра начнете? — спросил в раздумье Леон, обведя глазами это темнеющее пространство, это гнездо, в котором — он ждал — будут высижены и, наконец, вылупятся его золотые сны.

— Начнем, — ответил Шеффель. — А рабочие готовы?

— Ах да, рабочие, — сказал Леон. — Ну, конечно, будут и рабочие. Теперь этого добра в Бориславе хоть отбавляй.

— Гм... только, знаете, — проговорил Шеффель, — наше дело, того... не совсем чистое. Поэтому надо вам позаботиться о нескольких, по крайней мере троих рабочих, таких, на которых можно полностью положиться, которые не разболтают, не наплетут чего-нибудь. Их следует поместить в главном химическом отделении, там, где, знаете, окончательно вырабатывается церезин. Чтобы другие рабочие думали, что это простой парафин. Позаботьтесь об этом!

— Та-ак, — размышлял Леон, — троих рабочих, на которых можно было бы полностью положиться! Правда ваша, надо поискать. Но только это нелегкая штука — среди этого сброда найти таких рабочих!

Тем временем во дворе завода рабочие собрались вокруг Бенеди. Они ждали Леона, чтобы получить окончательный расчет и поблагодарить его за работу. Луна поднималась на погожем небе, кое-где из-за белой полупрозрачной дымки поблескивали слабым светом золотые звезды. Рабочие сидели на камнях и обрубках бревен и беседовали; глухой шум их голосов улетал в поле и смешивался с серебряным шепотом речки, которая здесь же рядом журчала по камням. Известное дело, разговор шел об одном — о недавнем сходе, о рабочей кассе и надеждах на будущее.

— Что правда, то правда, — говорил Бенедя, — чудо совершилось со здешним народом. Когда я месяц назад пришел в Борислав и начал расспрашивать людей, пробовали ли они хоть как-нибудь помочь себе, то все либо головами покачивали, либо смеялись надо мной. А теперь, сами видите, как все, старые и молодые, стараются со взносами. Ведь у нас уже сто пятьдесят гульденов в одной только главной кассе!

— Сто пятьдесят гульденов, — медленно повторил

один рабочий, — ну, и что же. Для одного это была бы поддержка, но для стольких тысяч... много ли это?

— Правда, что немного, — говорил Бенедя, — однако не забывайте, что недели не прошло с тех пор как начались наши сборы. За месяц, пожалуй, соберется пятьсот.

— Ну, с пятьюстами можно начинать то, что вы задумали?

— Гм, надо хорошенько рассчитать и силы, и деньги, — сказал Бенедя. — Если считать, что на пропитание одному человеку надо полтора гульдена в неделю, если считать далее, что безработица продлится неделю и нам придется содержать в течение этого срока только одну тысячу человек, то в кассе должно быть для этого самое меньшее полторы тысячи гульденов. Я говорю, самое меньшее, потому что, кроме затрат на пропитание, будут еще и другие расходы.

— Полторы тысячи гульденов! — вскрикнули в один голос рабочие. — Господи милосердный, когда же мы столько соберем? Да за это время половина из нас с голода помрет, а из села десять тысяч новых привалит!

— Что же делать? — сказал грустно Бенедя. — Этому уж, видно, ничем не поможешь. Увеличить взносы нельзя. Хозяева и так урезают нам плату на каждом шагу, а если дознаются про наши взносы, то еще больше начнут урезать. Нужно стоять на своем, собирать и терпеть хотя бы еще три месяца!

— Три месяца! Кто знает, что может произойти за три месяца!

Рабочие замолчали, и печаль охватила собравшихся. Бенедя низко опустил голову. Он чувствовал, что нужно ковать железо, пока горячо, что главная сила этих людей — в их порыве и кратковременном пробуждении и что не воспользоваться этим пробуждением — значит выпустить из рук основную пружину дела. Но что оставалось делать? Денег не было, чтобы сейчас же начинать стачку. Приходилось все-таки выжидать.

— А тут еще новое дело, — снова заговорил Бенедя, пробудившись от задумчивости. — Мне придется возвратиться в Дрогобыч.

— В Дрогобыч? Это почему? — раздался голоса.

— Как почему? Здесь моя работа, как видите, окончилась.

— Ищите другую!

— Разве здесь без меня не обойдется? Правда, жалко покидать такое дело, над которым трудился и думал...

— Ну так и не покидайте!

— Верно, что не следовало бы покидать, если бы только была возможность.

Рабочие хорошо чувствовали, и у самого Бенеди не раз просыпалась мысль, что без него все это дело может легко свернуть на неверный путь и оттого вовсе погибнуть. Он чувствовал, что в каждой только что возникшей для новых и непривычных целей организации многое, и очень многое, зависит от руководителя, от его личного влияния и умения. Правда, с другой стороны, он слишком хорошо чувствовал и свое собственное бессилие и был убежден, что, не повстречайся он в Бориславе с побратимами, с такими трезво мыслящими людьми, как Матвей и Стасюра, он сам не пришел бы к тому, к чему пришел теперь. Взаимодействие всех частей было здесь очень ярко выражено, но именно поэтому чувствовал Бенедя, что вырваться из этого круга взаимного сотрудничества означало бы повредить каждой части в отдельности и всем в целом. Но опять-таки, что он будет делать здесь, в Бориславе, если не найдется работы для него? Однако судьба готовила ему помощь с той стороны, с какой он ее совсем не ожидал.

Из дверей завода вышел Леон в сопровождении Шеффеля; оба они приблизились к рабочим. Те встали.

— Ну, люди, — громко сказал Леон, — работа наша окончена, и хорошо окончена. Благодарю вас за ваше старание!

— И мы благодарим хозяина за работу! — закричали рабочие. — В добрый час!

— Дай боже, дай боже, — проговорил радостно Леон. — А теперь, сколько кому полагается, чтобы мы расстались по-хорошему?

Началась выплата. Бенедя стоял рядом. Когда выплата окончилась, Леон приблизился к нему.

— А вам, пан мастер, большое, большое спасибо и за работу, и за быстрое окончание, за все. Очень бы мне

не хотелось с вами расставаться... А пока за то, что вы мне доставили такую радость, примите от меня вот это на память!

И он сунул в руку Бенедю завернутые в бумажку десять гульденов серебром.

«Вот теперь в нашей кассе будет сто шестьдесят гульденов», — подумал про себя Бенедя, благодаря Леона за подарок.

— И еще прошу вас, — обратился в заключение Леон к Бенедю, — зайдите сейчас же ко мне на квартиру, я должен с вами кое о чем поговорить.

С этими словами Леон и Шеффель ушли, за ними вышли рабочие. Бенедя остался, чтобы запереть все двери и ворота, а затем пошел вслед за Леоном, раздумывая, что бы такое тот мог ему сказать. По дороге он зашел домой, застал там Матвея и сдал для рабочей кассы десять гульденов серебром, которые подарил ему Леон.

— Видите, в чем дело, — начал Леон, когда Бенедя пришел к нему на квартиру. — Вы, я вижу, честный человек и хороший работник, и мне, как я уже говорил, не хотелось бы с вами расставаться. А мне здесь для моего нового завода как раз требуется несколько старательных и честных людей для одной не очень тяжелой работы. Так вот я и хотел вам сказать: не согласитесь ли вы остаться, если вам у меня работать не надоело?

— Но что же это будет за работа? Ведь каменщики уже закончили свое дело?

— Э, нет, дело не в каменщиках, речь идет о нефти, о воске, — ответил Леон.

— Но сумею ли я делать эту работу, если раньше никогда не занимался ею и не знаю, что и как? — спросил Бенедя.

— Э-э-э, что здесь уметь! — сказал Леон. — А простой мужик, рабочий больше умеет? А между тем работает. Здесь нечего уметь: директор покажет вам все. Я же говорю вам, здесь дело не в уменье, а в том, чтобы человек был честный, добросовестный и чтобы, понимаете, чтобы...

Леон замялся, словно в нерешительности.

— Чтобы, — кончил он спустя минуту, — не расска-

зывает нигде, что и как делается на заводе. Потому что, видите ли, здесь секрет небольшой... мой директор избрал новый способ производства воска, и я не хотел бы, чтобы это разглашалось.

— Гм, оно действительно... — проговорил Бенедя, не найдясь, что сказать.

— Видите ли, — продолжал Леон, — народ у нас такой бессовестный, чуть что — сейчас перехватят, да и все тут: им прибыль, а мне убыток. Вот я поэтому и хотел бы...

— Однако это трудно будет. Ну, положим, я не скажу ничего никому, но ведь на заводе, кроме меня, рабочих много.

— Ну, не всем обязательно знать и видеть все. На моем заводе все будет делаться так, как на других заводах, и только в одной особой камере будет несколько иначе. Там будет директор, ну, и нужно нескольких рабочих ему в помощь. Итак, могу я на вас надеяться?

— Что ж, — сказал Бенедя, едва скрывая свою радость, — пожалуй. Если только потрафлю, буду работать. Каменщику сейчас все равно нелегко работу найти. Попробую еще и ремесло нефтяника. А в том, что через меня ваш секрет не откроется, будьте уверены.

— Так, так, — сказал, улыбаясь, Леон, — я и сам это знаю, что вы не такой человек. Только, знаете, вот если бы мне еще нескольких, ну хотя бы два-три таких, как вы!.. Вот вы здесь работали, знаете кое-кого из рабочих, может быть, вы лучше смогли бы подобрать таких людей, каких мне нужно? Я в долгу не останусь. И еще! Первое дело, разумеется, плата. Знаете сами, это уже не работа каменщика, такой платы, какая до сих пор была, я не могу вам дать...

— Ну, это конечно, — сказал Бенедя. — Сапожника и пирожника нельзя одной меркой мерять.

— Вот то-то и оно. К тому же, видите, что у нас здесь сейчас делается... Рабочих набилось, плату всюду снижают. Ну, разумеется, кому интересно платить дороже, если он может такого же рабочего иметь за более дешевую плату? Вы, конечно, другое дело, — понимаете меня? Вам и тем другим, что будут вместе с вами работать

в отдельном помещении, обещаю по гульдену в день и заранее заявляю, что снижения вам не будет и никакого «кассирского» платить не будете. Ну, согласны на это?

Бенедя стоял и раздумывал.

— Я бы предпочел, — сказал он спустя минуту, — чтобы вы сами выбрали себе и остальных. А то вот выберу я, а потом случится что-нибудь такое... Знаете, человек в человеке всегда может ошибиться. Ну, а мне ответ держать придется. А что касается работы и платы, пускай будет и так, я согласен.

— Ну, нет, — настаивал Леон, — и товарищей себе подберите! На другую работу кого угодно можно, а здесь надо выбрать. Вы лучше знаете, на кого можно положиться, нежели я или директор.

— Ну что ж, согласен, — сказал Бенедя, — пускай будет и так. Постараюсь подобрать троих человек, которым можно будет доверить. А когда начинается работа?

— Завтра же. И то, имейте в виду, нужно будет торопиться. Воск уже продан. В отдельном помещении будете и прессовать и упаковывать его.

«Что это за штука такая может быть? — размышлял Бенедя, возвращаясь в сумерках по бориславской улице от Леона к себе домой. — Придумал новый способ обработки воска и боится, чтобы рабочие не выдали его. Будто рабочий понимает что-нибудь в этом! А впрочем, посмотрим, что это такое будет! А хорошо получилось! Ни с того ни с сего подвернулась работа, и заработок неплохой. Теперь можно будет остаться в Бориславе, да и в кассу все-таки от меня перепадет хотя бы четыре гульдена в неделю. А еще трое... кого бы здесь выбрать?»

Бенедя долго думал над тем, кого выбрать себе в товарищи, но так и не мог ничего придумать. Он решил поговорить об этом с Матвеем. Бенедя охотно выбрал бы всех троих из побратимов, но Матвей посоветовал не делать этого, боясь, чтобы, в случае чего, это не навлекло на них какого-нибудь подозрения.

— И без того, — говорил он, — хозяева встревожены теперь нашим собранием. Ясное дело, что среди рабочих найдутся такие, которые донесут им, что и как мы решили, Ну, а если так, то, ясное дело, хозяева начнут шпионить за нами. И если столько побратимов будут

работать вместе, как бы это не навело их на какой-нибудь след, что ли.

Бенедя ответил, что это вполне возможная вещь, что хозяева будут теперь выслеживать их, однако он не видит оснований бояться того, что их побратимство откроется, если даже несколько побратимов будут работать вместе. Ведь говорить громко про свои дела при чужих людях у них нет нужды. Впрочем, добавил Бенедя, главное не в том, кого выбрать, а в том, чтобы взять именно тех побратимов, которые сейчас не имеют работы. А таких как раз было двое: Деркач и Прийдеволя. Бенедя отправился искать их, чтобы договориться с ними о работе на заводе Гаммершляга, а третьим выбрал одного честного нефтяника, который, хотя и не принадлежал к побратимству, очень живо увлекся только что возникшей идеей рабочих касс, и которого побратимы в шутку прозвали Бегунцом за его неутомимость и подвижность, готовность бегать от шахты к шахте для того, чтобы собирать взносы или с целью вовлечения все новых людей в рабочий союз.

А Леон Гаммершляг, договорившись с Бенедей, накинул легкое пальто и вышел прогуляться и поболтать со знакомыми предпринимателями, которые обычно в это время прогуливались по улице. Скоро его окружила целая толпа, пожимая ему руки и поздравляя с только что выстроенным заводом. Затем пошли разговоры о разных текущих делах, наиболее интересовавших еврей-капиталистов. Известное дело, прежде всего они начали расспрашивать Леона о курсах различных ценных бумаг, не потребуется ли ему еще воск, сколько он предполагает вырабатывать еженедельно парафина на своем заводе, а когда Леон удовлетворил их любопытство, зашел разговор о бориславских новостях.

— Ох-ох-ох, Gott über die Welt*, — проговорил, тяжело вздыхая, низенький и толстый еврей Ицик Бавх, один из мелких предпринимателей, владелец нескольких шахт. — У нас здесь такое делается, такое делается, что и рассказывать страшно! Вы не слышали, господин Гаммершляг? Ох-ох-ох, бунт, да и только!

* Божья воля; дословно — бог над миром (немецк.)

Разве я не говорил: не давать этим паршивцам, этим разбойникам — фу-у! — не давать им такой высокой платы, а не то зазнаются и будут думать — ох-ох-ох! — что им еще больше полагается! Теперь вот видите, сами видите, что по-моему вышло!

— Да в чем дело? Что за бунт? — спросил недоверчиво Леон.

— Ох-ох-ох, Gott über die Welt! — пыхтел Ицик Бавх. — Придется скоро всем честным гешефтсманам удирать из Борислава, auf mane munes!* Бунтуют рабочие, все более дерзкими становятся, а в воскресенье, ох-ох-ох, мы уже думали, что это будет наш последний день — фу-у! — что вот-вот бросятся резать. На выгоне столько их собралось, будто воронье на падаль. Мы все со страху чуть не умерли. Никто, конечно, не решился подойти к ним, — на куски разорвали бы; еще бы, сами знаете, — дикий народ! Ох-ох, о чем они там говорили между собой, не знаем, и дознаться нельзя. Я спрашивал своих Банюсов, говорят: да мы так себе, в горелки играли! Брешут, бестии! Мы видели хорошо с крыши, как один взобрался на камень и долго что-то говорил, а они слушали-слушали, да потом как закричат: «Ура!...» Ох-ох-ох, страшные дела творятся, страшные дела!

— Однако я во всем этом не вижу ничего страшного, — сказал, улыбаясь, Леон. — Может, и правда в горелки играли.

— Ох, нет! Ох, нет! — продолжал Ицик Бавх. — Уж я знаю, что нет. И возвращались оттуда такие веселые, с песнями, а теперь у них заговор какой-то, какая-то складчина. Gott über die Welt, быть беде!

— Я все еще не вижу, — начал было снова Леон, но другие евреи перебили его, полностью подтверждая слова Ицика Бавха и добавляя еще от себя множество подробностей. Надо сказать к чести бориславских рабочих, что они с самого начала хорошо усвоили дело и до этой поры никто из них не изменил и не рассказал хозяевам о цели собрания и о том, что было решено. Впрочем, может быть, далеко не все рабочие слышали и поняли все то, о чем говорилось, что и для чего было решено;

* Клянусь! (еврейск.)

те, которые понимали, не говорили об этом хозяевам, а те, которые не понимали, мало могли рассказать интересного. Только и дознались хозяева, что среди рабочих делаются какие-то взносы, что они хотят сами помогать себе и что всему этому научил их каменщик Бенедя Саница.

— Бенедя! Тот, что у меня завод строил? — воскликнул изумленный Леон.

— Тот самый.

— Взносы? Взаимопомощь? Гм, я и не думал, чтобы у Бенеди было настолько ума. Подручный каменщика, родился и вырос в Дрогобыче, и как он до всего этого дошел?

— Э, черт его побери, как ни дошел, а дошел! — снова запыхтел Ицик Бавх.— Но как он смеет нам здесь людей бунтовать? Послать в Дрогобыч за полицией, в кандалы его, да по этапу отсюда!

— Но позвольте, господа, — сказал, останавливаясь, Леон, — не понимаю, отчего вы так беспокоитесь? Что во всем этом страшного? Я бывал в Германии, там повсюду рабочие собираются, совещаются, собирают взносы, как им захочется, и никто не запрещает им этого и никого это не пугает. Наоборот, умные капиталисты еще и сами их в том поощряют. Там у каждого капиталиста, когда он говорит с рабочим, постоянно на языке *Selbsthilfe* да *Selbsthilfe**. «Помогайте сами себе, всякая посторонняя помощь вам ни к чему!» И думаете, что-нибудь плохое из этого получается? Наоборот! Когда рабочие сами себе помогают — это значит, что предприниматель может им не помогать. Попадет ли рабочий в машину, заболит ли он, состарится — *Selbsthilfe*! Пускай себе делают сборы, пускай себе помогают сами, лишь бы только мы не должны были им помогать. А уж мы будем стараться, чтобы рога у них не очень высоко росли: чуть начнут зазнаваться, обнаглеют, а мы — бац! Плату снизим, и свищи тогда так тонко, как нам хочется!

Леон произнес все это с такой горячностью глубоко убежденного человека, что в значительной мере успокоил и утешил своих слушателей. Один только толстый,

* Самопомощь (немецк.)

красноносый Ицик Бавх недоверчиво качал головой и, когда Леон кончил, тяжело отдуваясь, сказал:

— Ох-ох-ох! Если бы все так было, как вы говорите, господин Гаммершляг! Но я боюсь, что так не будет. Разве можно нашего рабочего, дикаря-бойка, равнять с немецким! Разве может он думать о какой-нибудь разумной самопомощи? Ох-ох-ох, *Gott über die Welt!* А если они самопомощь поймут так, что надо братья за ножи и резать нас? А?..

Все слушатели, в том числе и сам Леон, вздрогнули, услышав эти зловещие слова, мороз пробежал у них по коже. К тому же, в эту минуту мимо них прошла шумная гурьба рабочих, среди которых на целую голову возвышался над всеми угрюмый Сень Басараб. Он свирепо поглядывал на евреев, особенно на Бавха, своего хозяина. Бавху от его взгляда сделалось как-то не по себе, и он замолк на минуту, пока гурьба не прошла.

— Вот посмотрите на них, — говорил он, когда рабочие исчезли в темном переулке, — дикость, и больше ничего! Вон тот, высокий, у меня работает, настоящий медведь, не правда ли? Да вы такому только скажите одно слово «самопомощь», так он сейчас же возьмет нож, да и зарежет вас!

Но Леон, а за ним и остальные предприниматели начали возражать Бавху. Они тем живее возражали ему, чем сильнее был их собственный страх, и, убеждая его, что опасности нет никакой, старались убедить в том и самих себя. — Еще не все потеряно, — говорили они. — Народ здесь, хотя, может быть, и малоспособный, и неприветливый с виду, не такой уж злой и кровожадный, как это кажется Бавху. Случаи истинного добропорядочного товарищества, — говорили они, — и у нас нередки, и людям здешним совсем не чужды. И если бы должны были произойти «беспорядки», то они произошли бы уже сейчас, после первого их собрания. Бенедя — человек болезненный и характера мягкого. Леон завтра же поговорит с ним и расспросит его обо всем, и Бенедя должен рассказать ему все начистоту, потому что некоторым образом он обязан ему, Леону, и заранее можно быть уверенным, что никакая опасность никому не грозит.

— Ох-ох-ох, где больше языков, там больше и разговоров! — твердил неумолимый Бавх. — Однако я вам советую: не верьте этим разбойникам, уничтожьте их кассу, а главное, уменьшите им плату настолько, чтобы этим собакам и прокормиться не на что было, тогда у них и взносы собирать охота пропадет!

— Эге-ге, посмотрим, пропадет или нет! — проворчал сквозь зубы Сень Басараб, который, скрываясь за сараем и забором, подполз к говорившим и, хорошо понимая по-еврейски, подслушал весь этот разговор. — Эге-ге, посмотрим, любезный, пропадет охота или нет! — ворчал он, поднимаясь на ноги из-за забора, когда предприниматели разошлись. — Смотри, чтобы у тебя к чему-нибудь другому охота не пропала!

И, широко шагая, Сень поспешил к хате Матвея, рассказать побратимам о том, что говорят хозяева об их собрании и что они о нем знают.

На другой день, рано утром, перед началом работы Леон встретился с Бенедей уже на заводе. Бенедя представил ему Деркача, Прийдеволю и Бегунца как отобранных для работы в особом помещении. Леон теперь уже слегка жалел о том, что поторопился вчера дать Бенедю это поручение, так как был убежден, что Бенедя подобрал себе в помощь своих единомышленников. Он начинал даже бояться, не догадался ли Бенедя о его нечистом деле с церезином, и потому приказал Шеффелю быть и с этими избранными рабочими как можно осторожней. Впрочем, отступить было уже поздно, и Леон, хотя и заметно встревоженный, решил: пусть будет что будет. Надо только расспросить Бенедю самого обо всем этом деле.

Сказав несколько поощрительных слов только что принятым рабочим, Леон отозвал Бенедю в сторону и прямо спросил его, что это за собрание было у них и что он там говорил рабочим. Он рассчитывал, что если у Бенеди что-нибудь недоброе на уме, то такой прямой вопрос ошеломит и смутит его. Но Бенедя уже со вчерашнего дня был готов к этому и, не проявляя ни малейшего смущения, ответил, что некоторые рабочие подняли вопрос о помощи друг другу взносами, и он посоветовал им учредить у себя особую кассу, как это делают в городах цеховые ремесленники, для взаимопомощи, и в правле-

ние этой кассы пригласить выбранных людей из нефтяников и господ предпринимателей. Леон еще более изумился, услышав эти слова от Бенеди, — он его считал до сих пор самым обыкновенным рядовым рабочим, который ни над чем не задумывается.

— Неужели вы своим умом дошли до всего этого? — спросил Леон.

— Да что же, прошу пана, — сказал Бенедя, — у нас в городе так заведено, вот я и здесь посоветовал. Это не моего ума дело, куда мне!

Леон похвалил Бенедю за этот совет и добавил, что в правление кассы, конечно, надо выбрать кого-нибудь из грамотных предпринимателей, который мог бы вести расчеты, и что нужно выработать устав кассы и подать его на утверждение в наместничество⁵. Прибавил даже, что он сам готов похлопотать для них об утверждении устава, за что Бенедя заранее его поблагодарил. На этом они и расстались. Бенедю неприятно было, что он вынужден был врать Леону, но что поделаешь, если нельзя было иначе. А Леон ушел с завода радостный, чувствуя себя невесть каким либералом, который вот, дескать, поощряет стремление рабочих к солидарности и взаимопомощи и так бесконечно выше стоит всех этих бориславских «халатников», которые в рабочей взаимопомощи видят бунт и опасность и сейчас же готовы, словно цыплята, спрятаться под крылышко уездных властей и полиции. Нет, пора и им узнать, какие дела творятся теперь на белом свете, пора и Бориславу иметь свое рабочее движение, разумеется легальное, благонамеренное и разумно направляемое рабочее движение! И затем либеральные мысли Леона быстро и легко устремились вдаль; ему чудилось, что вот уже недалеко это славное «единение капитала и труда», что оно начнется не где-нибудь, а именно, здесь, в Бориславе, и что в истории этого единения отправной, а потому первой и наиважнейшей точкой будет его разумный и либеральный разговор с Бенедей и проявленная им благосклонность к новому рабочему движению. «Так, так, — заключил он, уже качаясь в своей легкой рессорной бричке вдоль бориславской улицы, — мои дела идут очень хорошо!»

Эх, Готлиб, Готлиб! Знал ли ты, думал ли ты, какую сумятицу поднимет твое письмо и твой безумный поступок в голове твоей матери!

Ривка была больна. Это не была болезнь тела, потому что телом она была здорова и сильна, это было состояние какого-то необычайного душевного возбуждения, какого-то неимоверного напряжения, за которым следовали минуты полной безжизненности и апатии. Она ходила по комнатам, будто сонная, не видела ничего и не интересовалась ничем, кроме своего сына. Он искалечен, он болен! Может быть, опасно? Может быть, возле него никого нет? Он умирает, мучается! А она, мать, для которой он всего дороже, она не знает даже, где он и что с ним. Ведь он не сообщил ей об этом! Что он думает делать с собой? Долго ли будет скитаться так среди чужих людей, словно сирота, в таком скверном, ободранном платье? Она плакала, злилась, рвала и метала, швыряла все, что ей попадалось под руку, не будучи в силах найти ответ на все эти вопросы. Она то готова была рассказать обо всем Герману и бежать вместе с ним искать сына по всему Дрогобычу, то вновь с каким-то диким упорством воображение рисовало ей картины страшных мучений и гибели Готлиба, из глаз ее лились слезы, кулаки судорожно сжимались, она останавливалась возле двери, ведущей в кабинет мужа, и губы шептали: «Пусть гибнет, пусть умирает назло этому извергу, этому тирану. Пусть! Пусть!» Она забывала, что этот изверг и тиран не знал и не замечал всего этого и, казалось, совсем не тревожился о Готлибе. Выражение мертвого, безучастного спокойствия на его лице приводило Ривку в неслезанную ярость, и она старалась как можно реже показываться ему на глаза. Она все чаще сидела, запершись в своей комнате, перечитывала в сотый раз письма Готлиба, но и они уже не приносили ей успокоения. Все ей опротивело. Она целыми часами глядела из окна то в сад, то на дорогу — не идет ли трубочист с письмом. Но трубочиста с письмом не было, и Ривка изводила себя, сжигаемая множеством противоречивых чувств, не в силах ни на что решиться. Неделя такого

беспокойства — и она действительно сделалась больной.

— Что с тобой, Ривка? — спросил ее однажды Герман за обедом. — Ты, я вижу, больна?

— Больна! — ответила она, не глядя на него.

— Вот то-то и оно. Я вижу, что больна. Надо послать за доктором.

— Не надо!

— Как это не надо? Почему не надо?

— Не поможет мне доктор!

— Не поможет? — удивился Герман. — А кто же поможет?

— Отдай мне моего сына! — отрезала Ривка. — Только это мне поможет.

Герман пожал плечами и вышел из столовой. За доктором он, конечно, не послал. Лишь спустя десять дней дождалась, наконец, Ривка вести от сына. Маленький трубочист до тех пор ходил по улице, пока Ривка не высунулась из окна, тогда он бросил ей с улицы в комнату записку Готлиба. Вот что писал Готлиб:

«Она должна быть моей! Говорю вам раз навсегда: должна. Хочет она этого или не хочет. А впрочем, как может она не хотеть, — ведь я богат, более богатого жениха не найти во всей округе. Я же чувствую, что без нее не могу жить. Во сне и наяву все она, одна она передо мной. И я не знаю даже, как ее зовут. Но какое это имеет значение, если она мне понравилась! И куда она могла уехать? Если б я знал, сейчас бы поехал за нею. Да, я забыл вам сказать, что я уже здоров, по крайней мере настолько здоров, что могу ходить. Брожу весь день по улице возле ее дома, но не решился еще никого спросить, чей это дом и чья она дочь. Завтра рано утром придет мой посланец: дайте ему сколько-нибудь денег для меня».

Денег у Ривки было немного. На следующий день трубочист действительно пришел, и как раз в такое время, когда Германа не было дома. Она стала расспрашивать его про сына, но трубочист ничего не знал, а только сказал, что должен принести деньги — и кончено. Ривка дала ему десять гульденов, — последние десять гульденов, которые у нее были, — и осталась

одна в комнате, проклиная трубочиста, который не ответил на мучившие ее вопросы.

Весть, что Готлиб здоров и может уже ходить, обрадовала Ривку, но его чрезмерная и слепая любовь начала ее тревожить. Ей вдруг пришла мысль: а что, если девушка, о которой пишет Готлиб, христианка? Что тогда? Она не захочет выйти замуж за Готлиба, и хотя бы Готлиб бог знает что сделал, он не сможет на ней жениться. Ее разгоряченный мозг не покидала эта догадка, словно назойливая оса, и она снова начала волноваться, и мучиться, и ночей не спать, и проклинать весь мир, мужа и себя. Ей, неизвестно почему, хотелось, чтобы Готлиб женился на какой-нибудь бедной рабочей девушке из Лана, какой была она сама, когда посватал ее Герман. Ей казалось, что она возненавидела бы его вместе с его женой, если бы эта жена была из богатого дома. А между тем из писем Готлиба с очевидностью вытекало, что девушка, которую он полюбил, была богата, разъезжала в экипажах, имела много нарядных слуг, и в душе у Ривки начинала понемногу зарождаться против нее какая-то слепая и глухая ненависть.

Но больше всего огорчений было у Ривки с деньгами. Спустя несколько дней, снова в отсутствие Германа, пришел трубочист с письмом. В коротком и незамысловатом письме было написано:

«Денег мне надо, много денег. Должен одеться по-человечески. Она завтра придет. Я должен говорить с нею. Уже знаю, чья она. Передайте сейчас же хотя бы сто гульденов».

Ривка задрожала даже, прочитав эти слова. Знает чья, а не напишет, не скажет! Как он может оставлять ее в неизвестности! А еще сто гульденов просит, — откуда она возьмет? Герман вот уже несколько дней что-то очень скупился, не давал ей на руки никаких денег, не оставлял, как это прежде бывало, ни цента в ящике своего стола, а все запирает в большой железной кассе на три замка, а ключи брал с собой. Ривка до этой минуты даже и не замечала этого. Но теперь, когда сын потребовал у нее такую сумму, а она не нашла у себя даже цента, она расвирепела, металась из стороны в сторону, от одной шкатулки к другой, но нигде не могла найти

ничего. Она громко проклинала скрягу-мужа, но проклятья были бесполезны, и скрепя сердце она вынуждена была отпустить трубочиста ни с чем, говоря ему, что денег сейчас нет и что пусть он придет завтра. Трубочист покачал головой и ушел. После его ухода Ривка, как безумная, бегала по комнатам, швырялась мебелью и наполняла весь дом проклятьями и бранью. За этим занятием застал ее Герман.

— Жена, что с тобой? — вскрикнул он, стоя на пороге. — Ты с ума сошла?

— С ума сошла! — крикнула Ривка.

— Чего тебе надо? Ты что швыряешься?

— Денег надо.

— Денег? Зачем тебе деньги?

— Надо — и все тут.

— И много?

— Много. Двести гульденов.

Герман улыбнулся.

— Да ты что, собираешься волов покупать, что ли? — сказал он.

— Не спрашивай, а давай деньги!

— Те-те-те, скажите, какой грозный приказ! Нет у меня денег для раздачи!

— Нет денег! — вскрикнула Ривка и зверем глянула на него. — Кому ты это говоришь? Сейчас же давай, не то беда будет! — И она с поднятыми кулаками начала приближаться к нему. Герман пожал плечами и отступил назад.

— С ума сошла женщина! — проворчал он вполголоса. — Давай ей деньги, а неизвестно зачем. Ты думаешь, — сказал он ей спокойно и убедительно, — что у меня деньги лежат? У меня деньги в дело идут.

— Но мне нужны деньги сейчас, немедленно! — сказала Ривка.

— Зачем? Если тебе надо что-нибудь купить, — скажи мне, я возьму в кредит, потому что наличных денег у меня нет.

— Мне нужен не твой кредит, а наличные деньги. Слышишь?

— Говори вот этим стенам, — ответил Герман и, не пускаясь с нею в дальнейший разговор, торопливо за-

шагал в свой кабинет, оглядываясь, не бежит ли за ним Ривка с поднятыми кулаками. Придя в кабинет, он сначала хотел запереть дверь на ключ, но затем, зная натуру Ривки, раздумал и, тихонько посмеиваясь, уселся за письменный стол и начал писать.

— Я знал, что так будет, — говорил он сам себе, все еще с таинственной улыбкой на лице. — Но пусть! Теперь я не уступлю и прижму ее. Посмотрим, кто из нас сильнее.

Через минуту, тяжело дыша, вошла Ривка. Ее лицо то наливалось кровью, словно бурак, то снова становилось бледным, словно полотно. Глаза пылали лихорадочным огнем. Она села.

— Скажи, бога ради, чего ты хочешь от меня? — спросил ее Герман как можно спокойнее.

— Денег, — ответила Ривка с упорством сумасшедшей.

— Зачем?

— Для сына, — сказала она с ударением.

— Для какого сына?

— Для Готлиба.

— Для Готлиба? Но ведь Готлиба уже и на свете нету, — сказал Герман с притворным удивлением.

— Пускай лучше тебя не будет на свете!

— Значит, он жив? Ты знаешь, где он? Где он, скажи мне! Почему не идет домой?

— Не скажу!

— Почему же не скажешь? Ведь я все-таки отец, не съем его.

— Он боится тебя и не хочет быть с тобой.

— А денег моих хочет? — сказал задетый за живое Герман.

Ривка ничего не ответила на это.

— Так знай же, — сказал решительно Герман. — Передай ему, если знаешь, где он, пускай возвращается домой. Довольно с меня этой дурацкой комедии. Пока не воротится, ни одного цента не получит ни от меня, ни от тебя!

— Но ведь он готов с собой бог знает что сделать! — вскричала Ривка с отчаянием в голосе.

— Не бойся! Так сделает, как во Львове утопился.

Он думает, что сломает меня своими угрозами. Нет, однажды я уже поддался, теперь хватит.

— Но он готов убежать куда глаза глядят, готов беды тебе натворить.

— Хе-хе-хе, — сказал насмешливо Герман, — без денег не убежит, а впрочем... Слушай, Ривка: ты не терзай себя тем, что вот, мол, ты рассказала мне о нем. Я знаю, он запретил тебе говорить, и я не требовал у тебя признания. Но я давно уже знаю об этом, знаю, где он живет и что делает, все знаю. И счастье его, что я это знаю, а не то полиция давно бы уже засадила его в тюрьму и по этапу отправила во Львов. Понимаешь? Счастье его, что тот угольщик, с которым он приехал из Львова и у которого он живет, сразу же, как только я приехал, рассказал мне все. А теперь слушай! Я его трогать не стану, ловить его не пойду, потому что он в конце концов в моих руках. Передай ему, пускай возвращается домой — и все будет хорошо. А если не хочет, его заставят это сделать. Полиция следит за ним, ему не дадут никуда двинуться из Дрогобыча. Денег он не получит, передай ему это через того вора-трубочиста, который таскает тебе письма от него. Он у меня давно на примете, пускай и это знает. Вот и все!

Герман поднялся с кресла. Ривка сидела вначале молча, ошеломленная, оглушенная словами своего мужа. Она дрожала всем телом, ей спирало дыхание так, что она еле-еле дышала, а затем, когда Герман встал, она вдруг разразилась страшным спазматическим хохотом, который, словно грохот грома, эхом прокатился по просторным пустым комнатам. Через минуту смех вдруг оборвался: Ривка грохнулась с кресла и начала в страшных судорогах метаться по полу.

— Господи, избавь меня от нее, — проворчал Герман и побежал на кухню позвать слуг, чтобы привели в чувство барыню. Сам он не возвратился уже в комнату, а, взяв пальто и шляпу, пошел в город по своим делам. Не время ему теперь было заниматься домашними дрязгами, когда его новые большие планы приближались к своему осуществлению. Ван-Гехт писал ему из Вены, что оборудование для выработки церезина уже готово и заводчик ждет только от него извещения, когда и куда

его выслать. Герману не хотелось для производства церезина строить новый завод, он предпочитал выделить для этого часть своего старого большого завода возле Дрогобыча. Нужно было осмотреть место и постройки, которые соответствовали бы представленному Ван-Гехтом плану, нужно было освободить место, перестраивать, доделывать и расчищать, — и Герман сам внимательно следил за работой. Наконец, все было готово, и он написал Ван-Гехту, чтобы тот как можно скорее присылал машины и сам приезжал. Немало также было хлопот и с «Обществом эксплуатации горного воска», с которым Герман в Вене заключил контракт на поставку большой партии сырого горного воска. Правда, «Общество эксплуатации» не дало еще Герману в счет этого контракта ни цента и должно было уплатить за все сразу лишь после того, как будет поставлен весь воск, но все же в счет этого контракта «Общество» выпустило уже много акций и старалось при помощи рекламы поднимать их курс все выше и выше. Акции шли очень хорошо, и сейчас, в середине лета, «Общество» решило, что надо что-либо предпринять в самом Бориславе. А решило оно сделать вот что: учредить в Дрогобыче большую контору, в которой доверенные лица «Общества» следили бы за контрактами, проверяли расчеты и заботились о новых связях и новых источниках дохода для «Общества». Без сомнения, организация конторы, жалование уполномоченным и разным служащим — все это обходилось недешево и по крайней мере втрое дороже, нежели могло бы обойтись при разумном ведении дела. Но какое это могло иметь значение! «Общество эксплуатации» принялось трубить по всему свету об этом своем деле, словно это был невесть какой подвиг, и снова акции «Общества» подскочили вверх. Герман усердно крутился около «Общества», внимательно приглядывался ко всему, что делали уполномоченные, и втайне только покачивал головой, наблюдая их работу. «Нет, нет, — говорил он себе, — долго они не выдержат! Пусть себе их акции поднимаются как угодно высоко, я их покупать не стану, даже связываться с ними не хочу! Уже и то глупо сделал, что заключил с ними такой огромный контракт, а в задаток ничего не взял. Правда, если этот мыльный пузырь

и лопнет, прежде чем мой контракт реализуется, убытка для меня не будет, потому что воск все-таки у меня останется. Однако, разумеется, было бы лучше, если бы они прежде заплатили мне, а потом лопнули. Да и в этом случае нужно точно условиться, чтобы платили они наличными деньгами, а не своими акциями!» Герман, стало быть, заранее считал «Общество эксплуатации» предприятием «дутым», мошенническим, хотя нельзя сказать, чтобы именно он задумал обмануть это предприятие. Его контракт был вполне чистым и реальным, и, возвратясь из Вены, он все силы своего капитала направил к тому, чтобы доставить всю огромную массу воска как можно скорее, раньше договорного срока, боясь, как бы предприятие не лопнуло еще до этого времени из-за глупости и мошенничества своих основателей и управляющих. Он нанял почти в три раза больше рабочих, нежели нанимал до сих пор, возобновил работу в восьмидесяти шахтах, которые в течение нескольких лет не разрабатывались из-за различных недостатков почвы, — и действительно многие из этих возобновленных шахт оправдали теперь все прежние надежды. Работа шла быстрее, и труд рабочих стоил теперь гораздо дешевле, нежели в прошлые годы, потому что голод согнал больше людей на барщину в Борислав, голод же и подгонял их немилосердно, заставляя работать быстрее, а Герман упорно и планомерно снижал и снижал плату рабочим, не обращая внимания на крики, слезы и проклятия. Работа кипела, склады Германа наполнялись громадными глыбами воска, и Герман дрожал от нетерпения, скоро ли будет готово все обусловленное контрактом количество. Тогда «Общество» должно будет принять воск, сразу же выплатить ему полностью все деньги, а затем, думал Герман, пускай себе хоть шею свернет!

А между тем, пока Герман строил свои планы и хлопотал о налаживании производства церезина, пока служанки в его доме приводили в сознание Ривку, которая билась и металась по полу в страшных судорогах, — Готлиб, в грязной рубашке угольщика, весь измазанный, нетерпеливо ждал в маленькой грязной каморке прихода трубочиста с деньгами. С этим трубочистом он познакомился, живя по соседству, и уговорился с ним, чтобы

тот за хорошее вознаграждение передавал письма к матери и от нее. Вот он вошел в дом, и Готлиб торопливо обернулся к нему.

— Ну как? — спросил он.

— Никак, — ответил трубочист.

— Как это никак? Не дали?

— Не дали, сказали: завтра.

— Проклятое завтра! — пробормотал гневно Готлиб. — Мне сегодня нужно!

— Что же делать? Сказали — нету.

Трубочист ушел, Готлиб, словно бесноватый, начал метаться по каморке, размахивая руками и бормоча про себя отрывистые слова: — Я завтра должен встретиться с нею и не могу не встретиться, а тут — на тебе! Нету! Как смеет не быть? Неужто и мать пошла против меня, не хочет дать? О, в таком случае, в таком случае... — и он сжатыми кулаками погрозил в сторону двери. Его страсть, слепая и бурная, как и вся его натура, неожиданно и внезапно достигла необычайной силы, и, руководимый ею, он готов был сделать все, что ему подсказывал минутный порыв, без размышления и колебания.

— Или, может быть, — продолжал он, — может быть, он дознался? Может быть, это его рук дело... нарочно не дал маме денег, чтобы она мне не передала? О, это может быть, я знаю, какой он жадный... Но нет, нет, это невозможно! Он думает, что меня нет в живых; если бы он знал, то постарался бы поскорей, немедля загнать меня домой, как заблудившуюся скотину! Но обожди немного! Тогда вернусь, когда мне захочется, помучься немножко!

Бедный Готлиб! Он и в самом деле воображал, что Германа ужасно мучит его отсутствие!

Однако, как ни злился и ни грозил Готлиб, это не могло наполнить его карманы деньгами. Мысли его волей-неволей должны были успокоиться и перенестись на другие предметы, а именно на предмет его любви. Только вчера узнал он от слуги ее отца, которого выследил в ближайшем шинке и с которым за чаркой завязал знакомство, что отец ее очень важная птица, один из первых богачей в Бориславе и Дрогобыче, что два года

тому назад он приехал сюда из Вены, строит громадный и шикарный дом, зовут его Леон Гаммершляг, он вдов и имеет только одну дочку, Фанни. Дочка сейчас поехала зачем-то во Львов, но завтра должна вернуться. Девушка очень добрая, ласковая и красивая, и отец тоже обходительный барин. Рассказ этот очень обрадовал Готлиба. «Значит, она мне ровня, может быть моей — должна быть моей!» — это было все, что пришло ему на ум, но и этого было достаточно, чтобы сделать его счастливым. С нетерпением дожидался он этого завтра, чтобы увидеть ее. Вначале он думал купить себе платье, соответствующее его положению, чтобы показаться ей в наиболее выгодном свете. Но тут вдруг возникло неожиданное препятствие — мать не дала денег. Приходилось встречать ее в безобразных лохмотьях угольщика, которые никогда не были так ненавистны Готлибу, как в этот день.

Едва рассвело, Готлиб положил в карман кусок хлеба и побежал за город, в самый конец далекого Завоуэ, на Стрыйскую дорогу, по которой должна была проехать Фанни. Железной дороги там тогда еще не было. Усевшись здесь у обочины, в тени густой рябины, он устремил взор на пыльный большак, который прямой серой лентой протянулся перед его глазами далеко-далеко и терялся в небольшом лесу на взгорье. По большаку тащились, поднимая облака пыли, неуклюжие фургоны, покрытые рогожей и набитые пассажирами, крестьянские мажары, скот, который гнали на базар в Стрый, но не видно было блестящего экипажа, запряженного парой горячих гнедых лошадей, в котором должна была проехать Фанни. Готлиб с упорством истязающего себя факира сидел под рябиной, устремив взор на дорогу. Солнце уже поднялось высоко-высоко и начало немилосердно жечь косыми лучами его лицо и руки, — он не замечал этого. Люди шли и ехали мимо по широкой дороге, разговаривали, погоняли коней, смеялись и поглядывали на угольщика, который уставился в одну точку, словно безумный. Полицейский стражник с блестящим штыком на конце винтовки, с плащом, свернутым в баранку, на плечах, весь облитый потом и покрытый пылью, прошел также мимо него, ведя перед

собой какого-то закованного в кандалы, полуголого, окровавленного человека; он пристально посмотрел на Готлиба, пожал плечами, сплюнул и пошел дальше. Готлиб ничего этого не замечал.

Но вот вдруг из далекого леска, как черная стрела, вылетел экипаж и быстро покатился к Дрогобычу. По мере его приближения лицо Готлиба все более прояснялось. Да, он узнал ее! Это была она, Фанни! Он вскочил со своего места и прыгнул на дорогу, чтобы поспешить за экипажем в город, когда он с ним поровняется. Когда он ясно увидел Фанни в коляске, лицо его вспыхнуло румянцем и сердце начало биться так быстро, что у него дыхание сперло в груди. Фанни, заметив его, узнала в нем того молодого угольщика, который, как безумный, бросился недавно к ее экипажу и так напугал ее. Безрассудно смелая, слепая страсть иногда, а может быть, и всегда, нравится женщинам, наводит их на мысль о слепой, безграничной преданности и обожании. И если раньше Фанни не могла объяснить себе причины этого безумного поступка какого-то грязного угольщика, то теперь, увидев, что он ждал ее за городом на солнцепеке и в пыли, увидев, как он покраснел, как вежливо и робко поклонился ей, словно прося прощения за свое прежнее безумство, увидев все это, она подумала про себя: «Уж не влюбился ли этот полоумный в меня?» Она мысленно назвала его именно так: «полоумный», потому что какой же смысл какому-то оборванному угольщику влюбляться в единственную дочь такого богача, бросаться под ее экипаж, калечить себя, высматривать ее на дороге?.. Но при всем том ей не была неприятна такая безрассудная, страстная любовь, и хотя она далека была от того, чтобы полюбить его за это, но все-таки почувствовала к нему какую-то симпатию, такую, какую можно чувствовать к полоумному, к собачонке. «Ну-ка, — подумала она, — заговорю с ним, спрошу, чего он хочет. До города еще далеко, на дороге пусто, никто не увидит». И она приказала кучеру ехать медленней. Готлиб, услышав это приказание, даже задрожал весь: он почувствовал, что это сделано для него, и в ту же минуту поровнялся с экипажем. Фанни открыла оконце и высунула голову

— Что тебе нужно?—спросила она несмело, видя, что Готлиб снял шапку и с выражением немого изумления на лице приближается к ней. Она заговорила польски, думая, что он христианин.

— Хочу на тебя посмотреть! — ответил смело по-еврейски Готлиб.

— А кто тебе сказал, что я еврейка? — улыбнувшись, спросила Фанни тоже по-еврейски.

— Я знаю это.

— Так, может быть, ты знаешь, и кто я такая?

— Знаю.

— Тогда, верно, знаешь, что тебе не подобает на меня заглядываться, — сказала она гордо.

— А почему ты не спрашиваешь, кто я такой? — ответил гордо Готлиб.

— Об этом не надо и спрашивать, — одежда сама говорит!

— Нет, не говорит! Лжет одежда! А ты спроси!

— Ну, кто же ты такой?

— Я такой, что мне, пожалуй, можно и засмотреться на тебя.

— Хотела бы я верить, да как-то не могу.

— Я тебе докажу. Где можно тебя увидеть?

— Если знаешь, кто я такая, то, верно, знаешь, где я живу. Там меня увидишь.

С этими словами она снова закрыла оконце, сделала знак кучеру, лошади рванулись, экипаж застучал по мостовой предместья, и облако пыли скрыло от глаз Готлиба чудное видение.

«Забавный малый, — думала Фанни, — но сумасшедший, безусловно сумасшедший. Что он хотел сказать своим «лжет одежда»? Разве он не угольщик? Ну, а если нет, то кто же он? Сумасшедший, сумасшедший, и больше ничего!»

«Чудная девушка, — думал Готлиб, — а какая красивая, а какая вежливая! И с простым угольщиком заговорила! Но что она хотела сказать своим «дома меня увидишь»? Значит ли это: приходи? Эх, если бы мне одеться по-человечески! Ну, надо постараться!»

С такими мыслями Готлиб поплелся в свою грязную, темную нору.

Прошло несколько недель после рабочего собрания. Полная тишина неожиданно наступила в Бориславе. Евреи-предприниматели, которых недавнее грозное движение рабочих порядком напугало, теперь совсем были сбиты с толку, не знали, что делать и что обо всем этом подумать. Правда, были среди них такие, которые смеялись над этим внезапным порывом и внезапным затишьем, утверждали, что все уже окончилось, что рабочие — словно пустой ветер: пошумят, пошумят, а дождя не нагонят, и что сейчас, когда они снова стали мягкими и податливыми, пора нажать на них твердой рукой, пора выгнать из них охоту ко всякому буйству. «Гой* только жареный хорош! — говорили они. — Ты ему дай поблажку, а он подумает, что так и полагается, и начнет еще больше привередничать и зазнаваться. Только постоянный страх и постоянный нажим могут приучить его к послушанию, покорности, к усердию и точности, сделать его, как любил говорить Леон Гаммершляг, «человеком», способным к восприятию высшей культуры». И все бориславские предприниматели сошлись на том, что теперь, когда разбушевавшаяся волна рабочего движения вдруг притихла, нужно с удвоенной силой нажать на непокорных, хотя и не все предприниматели разделяли тот взгляд, что волна эта полностью и окончательно утихла, улеглась, успокоилась. Нет, некоторые из них, а особенно Ицик Бавх, упорно стояли на том, что это — обманчивое, лишь внешнее спокойствие, затишье перед страшной бурей, что именно этой тишины и этой притворной покорности нужно им больше всего бояться, так как это признак, что бунт рабочих, каков бы он ни был, налажен и сильно организован и рабочие, без сомнения, готовятся начать его, а таинственность и бесшумность их приготовлений лишь свидетельствуют о том, что делают они это систематически, обстоятельно и непрерывно и что у них что-то недоброе на уме. И всюду, где бы только ни собрались предприниматели, случайно на улице или в комнате на каком-либо совещании, —

* Иноверец (еврейск.)

всюду Ицик Бавха не переставал предостерегать товарищей от грозившей им всем опасности и уговаривал их обратиться к властям в Дрогобыче, просить о снаряжении строгого следствия или хотя бы о присылке сильного отряда стражников на постой в Борислав. И хотя никто ничего не имел против этого, хотя каждый из них, вероятно, и рад был бы иметь в любую минуту к своим услугам полицию для охраны от своих собственных рабочих и для скрепления казенной печатью всех содеянных ими несправедливостей, однако подать совместное прошение так и не собрались. То ли время жаркое да обессиливающее было тому причиной, то ли обычный у наших людей — будь они евреи или христиане — недостаток инициативы в общественных делах, в делах, выходящих за рамки единичных, частных интересов, или, может быть, убеждение, громко высказанное Леоном, что правительство само должно заботиться о безопасности предпринимателей в Бориславе, ведь для того оно и поставлено, — так или иначе, бориславские евреи на этот раз так и не решились обратиться к властям или хотя бы донести им о том, что сами знали о недавно зародившемся рабочем движении. К тому же, конечно, и наступившее неожиданное затишье отняло у них прямой повод к такому шагу. О чем доносить властям? Что должны были эти власти расследовать? То, что несколько недель тому назад появились было тревожные признаки какого-то рабочего движения, которые быстро исчезли? Почему же о них не было сообщено во-время? Так все это дело и замялось, пока неожиданный и довольно таинственный случай не пробудил предпринимателей от их беспечной спячки, словно внезапный раскат грома из небольшой темной тучки.

Нужно ли говорить, что этот внезапный переход от шума к спокойствию и покорности был делом наших побратимов и осуществлен он был именно для того, чтобы обмануть и ослабить бдительность и подозрения предпринимателей. Слова Ицика Бавха, подслушанные Басарабом, убедили побратимев в том, что евреи могут им сильно навредить, а то и вовсе погубить с помощью начальства все их дело, если оно будет вестись так, как прежде, открыто и шумно. Вот они и начали уговаривать

всех угомониться до поры до времени, смириться, подавить в себе бурные чувства гнева и радости, пока не настанет пора. Большого труда стоило побратимам искусственно утишить бурю и держать ее, словно на привязи, чтобы она от первого же толчка не разразилась вдруг раньше времени. Большого труда стоило это, и все они испытывали постоянный страх, что вот-вот может вспыхнуть что-нибудь такое, что хозяевам не повредит, а рабочим принесет поражение и гибель. Только одна возможность была сдерживать людей: побратимы обещали им, что так скорее придет «пора». Однако побратимы хорошо знали, какими опасными и обоюдоострыми были эти обещания. Ведь такими обещаниями они сами готовили неудачу своему делу, потсму что откуда же они могли взять средства, чтобы выступить так скоро, как того хотелось пострадавшим людям? Денег в главной кассе собралось свыше восьмисот гульденов, — взносы пока что поступали аккуратно, — но хозяева стали снова, и сильнее, нежели прежде, нажимать на рабочих, и следовало ожидать, что взносы скоро сократятся и что в местных кассах должна будет оставаться большая часть денег для помощи нуждающимся, больным и безработным. И тогда, кто знает, сколько еще месяцев пройдет, прежде чем наберется нужная сумма? Но если так, то и задуманная борьба не сможет скоро начаться, и рабочие начнут сомневаться в своих силах, и пыл их остынет, и все погибнет. А если нет, то возмущенный народ поднимется преждевременно, поднимется неорганизованно и без определенной цели, потратит силы зря, а задуманное дело все-таки погибнет.

Кого всех больше мучили и терзали такие мысли, так это, наверное, Бенедю. Ведь дело это — было его кровное дело, стоившее ему стольких мучений и трудов, повитое блестящими лучами надежды. Ведь в это дело — он чувствовал это ясно — было вложено все его сердце, все его силы, вся его жизнь. Он ничего не знал, не видел, кроме него, и неудача казалась ему равносильной его собственной смерти. Поэтому не удивительно, что сейчас, когда при исполнении его замыслов начали возникать все новые трудности, Бенедю дни и ночи только о том и думал, как бы их преодолеть или обойти, позеле-

нел и похудел, и не раз долго-долго по ночам, словно лунатик, бродил по Бориславу, печальный, угрюмый, молчаливый, и только время от времени тяжело вздыхал, глядя на темное, неприветливое небо. А трудности нагромождались все выше, и Бенедя чувствовал, что у него не хватает сил, что его голова словно обухом пришиблена, мозг как бы омертвел и уже не в состоянии работать с прежней силой, не может придумать ничего хорошего.

Наконец, дождался Бенедя вечера, когда в хате Матвея снова сошлись побратимы на совет. Что делать? Народу не терпится. Почему не дают сигнала, почему не начинают, почему ничего не делают? Люди опускают руки. Взносы поступают слабее, хозяева снова снизили плату. Голод по селам немного уменьшился, но жатва была такая убогая, какой не знали люди в самые худшие годы: немногим кому хватит своего хлеба до великого поста, большинство едва дотянет и до Покрова. Скоро народ еще сильнее повалит в Борислав. Если уж что-нибудь начинать, то лучше сейчас, потому что сейчас легче всего задержать людей в селах, чтобы они не шли в Борислав, и даже можно половину рабочих отправить из Борислава в село на какие-нибудь две-три недели, чтобы оставшимся легче было продержаться без работы. А тут денег не хватает, вот беда! Дойдя до этой «заковыки», побратимы замолчали и опустили головы, не зная, как быть, чем помочь горю. Только неровное, тревожное дыхание двенадцати человек нарушало мертвую тишину, заполнившую домик с низкими, покосившимися стенами. Долго длилось молчание.

— А, да будет божья воля, — воскликнул вдруг Сень Басараб, — не тужите, я этому горю пособлю!

Этот голос, эта внезапная решимость среди всеобщего молчания и бессилия поразили всех побратимов, словно неожиданный выстрел из ружья. Все вскочили и повернулись к Сению, который сидел, как обычно, на табурете возле порога, с трубкой в зубах.

— Ты пособишь? — спросили все в один голос.

— Я пособлю.

— Но как?

— Это мое дело. Не спрашивайте ни о чем, а расходи-

тес. А завтра в это время будьте здесь, сами увидите!

Больше он не сказал ни слова, и никто не спрашивал его ни о чем, хотя у всех, а у Бенеди особенно, на сердце залегла какая-то тревога, какая-то холодная боль. Но никто не сказал ничего, и побратимы разошлись.

Сень Басараб, выйдя на улицу, взял за руку Прийдеволю и шепнул ему:

— Пойдешь со мною?

— Пойду, — ответил парень, хотя его рука, неизвестно почему, дрожала.

— Будешь делать, что я скажу?

— Буду, — снова ответил парень, но как-то неуверенно и словно бы нехотя.

— Нет, ты не пугайся, — счел нужным успокоить его Сень, — страшного ничего нет в том, что я задумал. Надо только действовать смело и быстро — и все будет хорошо!

— Не болтай, а говори, что делать, — перебил его Прийдеволя. — Ведь ты знаешь, что мне все равно!

Была уже поздняя ночь. Почти во всех домах, кроме шинков, огни не горели, и бориславская улица была погружена в темноту. Оба наши побратима шли молча вверх по улице. Сень внимательно вглядывался в окна. Достигли уже середины Борислава. Здесь дома были лучше, солидней, выкрашенные то желтой, то синей, то зеленой краской, с занавесками на широких окнах и с бронзовыми ручками на дубовых дверях. Перед некоторыми из них были даже крошечные за решетчатой оградой цветники с жалкими, чахлыми цветами. Здесь жили бориславские «заправилы» и «тузы» — наиболее богатые предприниматели. В центре стоял дом Германа Гольдкремера, самый лучший и красивый из всех, крытый железом и сегодня совершенно пустой. Герман редко ночевал в Бориславе. Рядом с ним, немного поодаль от остальных, стоял другой, не такой красивый и далеко не такой солидный, дом Ицика Бавха. Одно из его окон было освещено, очевидно Ицик еще не спал, это было как раз окно его кабинета.

Сень Басараб знал этот дом. Он долгое время работал в шахтах у Ицика и не раз приходил сюда за получкой. Он знал, что, кроме старой служанки-еврейки и самого

Ищика, в этом доме не было никого и что служанка, наверно, уже спит на кухне. Этого ему только и надо было. Он дернул Прийдеволю за рукав, и возле ближайшей шахты они вымазали себе лица черной нефтью так, что их совсем невозможно было узнать.

— Иди за мной, не говори ни слова и делай, что я скажу, — шепнул Сень, и они пошли. Осторожно подползли к одним, затем к другим дверям дома, но двери были заперты. Это не обескуражило Сеня, и он начал осматривать окна. Тихий свист дал знать Прийдеволе, что Сень нашел то, чего искал. Действительно, одна форточка в кухонном окне не была защелкнута и легко открывалась. Сень просунул в нее руку, отодвинул задвижки и открыл окно. Влезли в кухню. Кругом было тихо, как в могиле, только сонное дыхание прислуги доносилось из-за печки. Побратимы на цыпочках подошли к двери. Кухонная дверь была не заперта, и они прошли в коридор. Сень нащупал дверь, ведущую в кабинет Ищика, и хотел заглянуть в замочную скважину, но в ней был ключ. Попробовал потихоньку повернуть щеколду и убедился, что дверь заперта. Но Сень и здесь недолго раздумывал. Шепнув несколько слов Прийдеволе, он громко задергал дверную ручку и закричал хриплым бабьим голосом, похожим на голос старой служанки:

— Herr, Herr, öffnen Sie!

— Wus is? — послышался грубый голос Ищика, затем тяжелый скрип башмаков и, наконец, лязг ключа в замке. Дверь тихо открылась, полоса света упала из кабинета в темные сени, и в ту же минуту двое мужчин, черных, как черти, бросились на Ищика и заткнули ему рот, прежде чем он успел крикнуть. Впрочем, кто знает, может быть, в этом и нужды не было. Неожиданное нападение так напугало Ищика, что он, как стоял с протянутыми руками и недоумевающим, глупым выражением лица, так и застыл в таком положении, и только по тому, как моргал он выпученными серыми глазами, можно было заключить, что это не бездушная глыба мяса и жира, а нечто живое.

* Господин, господин, откройте! — Что такое? (еврейск.)

— Wie geht's, Herr. wie geht's? — пищал Сень все еще бабьим голосом. — Не бойся, голубчик, мы тебе ничего плохого не хотим сделать, нет! Мы еще не настоящие черти, которые должны прийти по твою душу, мы только пришли одолжить у тебя немного денег!

Ицик не сопротивлялся, не кричал, не стонал, а все еще стоял, как и в первую минуту, одеревенелый, ничего не сознавая, с заткнутым тряпкою ртом, тяжело дыша через нос. Побратимы взяли его за плечи, подвели к креслу и усадили.

— Держи его хорошенько и не давай кричать, — прошептал Сень своему товарищу. — А чуть что, задуши! А я тем временем осмотрю его квартиру!

Впрочем, угроза Сеня была излишня. Ицик не двигался и, словно беспомощный труп, дал Прийдеволе связать себе платком руки за спиной. А Сень между тем, все время искоса поглядывая на Ицика, стал осматривать комнату. Повидимому, Ицик делал какой-то подсчет: на письменном столе перед ним лежала большая книга, а возле стола стояла открытая небольшая железная касса. Сень торопливо шагнул к ней и начал вынимать аккуратно сложенные пачки ассигнаций. В эту минуту из груди Ицика впервые за все время вырвался какой-то глухой глубокий звук, словно последний стон вола, которому перерезали горло.

— Молчи, или смерть тебе! — прошипел Сень, продолжая возиться возле кассы. Он делал это совершенно спокойно и шепотом считал перевязанные узкими бумажными ленточками пачки ассигнаций, которые вынимал из кассы и клал себе за пазуху. Ассигнации были достоинством в один гульден, а по толщине пачек Сень догадался, что в каждой из них должно быть по сто штук. Он насчитал уже тридцать пачек.

— Довольно, пора нам идти! — шепнул он Прийдеволе. Оба взглянули на Ицика. Он все еще тяжело дышал, но его толстое, обрюзгшее лицо налилось кровью, а вылезшие из орбит глаза были неподвижны и сохраняли все то же глупо-вопросительное выражения.

* Как вы себя чувствуете, сударь, как чувствуете? (*еврейск.*)

— Молчи, не то смерть тебе! — шепнул ему на ухо Сень, в то время как Прийдеволя развязывал ему руки. Руки были холодны и свесились, словно неживые. Прийдеволя поднял их и положил на стол. Затем Сень шепнул Прийдеволе:

— Я пойду вперед, а ты, когда услышишь свист на улице, вытащи у него изо рта тряпку и удирай!

Затем Сень осторожно вышел. Прийдеволя думал, что Ицик начнет вырываться и кричать, и готов был в крайнем случае задушить его. Он стоял над ним бледный, дрожащий, взволнованный до глубины души, но Ицик, как бы не видя и не сознавая ничего, сидел в своем кресле с вытаращенными глазами и дышал, посвистывая носом. Уже и веками не моргал.

Но вот послышался тихий свист под окном. Дрожащей рукой вынул Прийдеволя у Ицика тряпку изо рта, уверенный, что в ту же минуту раздастся страшный крик и разбудит весь Борислав, уверенный, что в ту же минуту прибегут толпы народа к этому тихому дому, поймают его, и свяжут, и побьют, и поведут по улицам, и бросят бог знает в какое подземелье, и что это последняя минута его свободной жизни. Но нет, Ицик и глазом не моргнул. Он начал дышать свободней, но зато и медленней — и только. Прийдеволя постоял еще минуту над ним, не понимая, что происходит, и если бы не отчетливое громкое сопенье, он подумал бы, что Ицик мертв. Но когда снова послышался свист под окном, Прийдеволя оставил Ицика и тихо вышел из комнаты. «Ах, да, — подумал он, — надо погасить свет!» Вернулся, запер кассу, из которой Сень набрал денег, поднял тряпку, которой был заткнут рот Ицика, погасил свет и, выходя, запер двери, затворил кухонное окно, через которое вылез во двор, и тихонько свистнул.

— Ну что? — спросил Сень.

— Ничего, — ответил Прийдеволя. — Сидит, не шевелится.

— Может, задохнулся?

— Нет, дышит.

— Гм, должно быть, здорово перепугался. Ну, и наплевать, пускай его завтра водой отливают. А нам пора идти спать! Тридцать пачек у нас, теперь должно хва-

тить! А лицо сейчас теплой водой и мылом — и никаких следов не будет. Ну, что скажет завтра Ицик, когда опомнится! Наверно, сам побежит за стражниками!

Но Ицику было не до полицейских стражников. Густой мрак и мертвая тишина заполнили его кабинет. Он все сидел в кресле, поддерживаемый руками, лежавшими на столе, с выпученными глазами, однако уже давно не было слышно его тяжелого дыхания. Так застало его и утреннее солнце, выглянувшее из-за черных бориславских крыш и через окно заглянувшее ему в мертвые, стеклянные глаза. Так застала его и служанка, так застал его и цирюльник, и другие знакомые, сбежавшиеся на ее крик, и никто не знал, что с ним произошло. Цирюльник заявил, что его «кондрашка хватил», потому что на теле Ицика не было ни малейших следов насилия, одежда была в порядке, и ничто не свидетельствовало о каком-нибудь нападении. Правда, служанка рассказывала о каком-то шорохе и скрипе, о том, что она слышала, как хозяин отпирал ночью дверь, но обо всем этом она говорила очень неуверенно и сбивчиво, не зная, было ли все это во сне, или наяву. Затем пришли и должностные лица, обыскали весь дом и все вокруг, но ничего подозрительного не нашли. Открыли кассу: в кассе были деньги и ценные бумаги. Правда, когда сложили вместе цифры, над которыми вчера еще сидел покойный, то оказалось, что в кассе не хватает трех тысяч гульденов. Однако и здесь нашлись объяснения. Подсчет, очевидно, был не закончен, последняя цифра была написана только до половины: возможно, что покойный еще сам кому-нибудь выдал эти деньги. И во-вторых, если бы здесь был грабеж, то грабители, наверно, забрали бы и остальные деньги, которых было более двух тысяч. К тому же часы и кошелек с мелкими деньгами в карманах покойника остались нетронутыми, так что нельзя было подумать, что тут имело место убийство с целью грабежа. Только два или три пятна нефти на лице и белой сорочке покойника будили у всех какое-то неясное подозрение. Раздавались голоса среди евреев, что, возможно, это дело рук нефтяников, которые ненавидели Ицика, и догадка эта, несомненно, не одного предпринимателя пронизывала

тайной дрожью, но вслух никто не признавался в этом, тем более что судебное вскрытие трупа и в самом деле показало, что Ицик умер от апоплексии, к которой давно имел органическую склонность.

Захолонуло сердце у Бенеди и у других побратимов, когда на следующий день услышали они о скоропостижной смерти Ицика. Они ни на минуту не сомневались в том, что эта неожиданная смерть стоит в непосредственной связи со вчерашними словами Сеня Басараба. А когда вечером снова сошлись побратимы в хате Матвея, то долгое время сидели молча, опустив головы, словно чувствуя общую вину в каком-то нехорошем деле. Первым прервал молчание Сень Басараб.

— Ну, что же вы сели и сидите так, словно воды в рот набрали? — сказал он, сердито сплюнув. — За упокой Ициковой души молитесь, что ли? Или мне клясться надо перед вами, что я ничего плохого ему не сделал и что если его кондрашка хватил, то я здесь ни при чем? А впрочем, если бы и так, то что из этого? То, что я сделал, я сделал на свой страх и риск, а вы принимайте от меня взнос и делайте свое дело. Вот вам три тысячи гульденов! Что Ицика кондрашка хватил, это даже лучше для нас, не будет рассказывать, а другие не додумаются, потому что я нарочно часть денег оставил и ничего больше не трогал! А впрочем, беда невелика, что одним кровососом на свете меньше стало! Где лес рубят, там щепки летят! Ведь не выбросите же вы эти деньги только потому, что они не слишком чистым способом вам достались! Не бойтесь, это не его труд, это наш труд, наша кровь, и бог не накажет нас, если мы ими воспользуемся. И, наконец, разве мы берем их для себя? Нет, не для себя, а для общества! Берите!

Никто не ответил на эти слова Сеня, только Бенедя, словно под тяжестью чьей-то тяжелой руки, простонал:

— Для чистого дела нужны чистые руки!

— Верно, верно, — живо подхватил Андрусь Басараб, — но попроси тут сделать что-нибудь чистыми руками, когда, кроме рук, нужен еще и рычаг, крепкий рычаг! По-моему, если хочешь бревно поднять, то бери рычаг какой ни на есть — чистый или нечистый, лишь бы крепкий!

— Навоз ведь не шелком выгребают, а навозными вилами! — добавил из угла Прийдеволя. И пришлось Бенедe — хочешь не хочешь — уступить. Впрочем, и выхода другого не было.

После этого тяжелого объяснения побратимство заметно оживилось. Всем словно легче стало, словно камень кто снял с плеч. Начали держать совет, что делать теперь. Ясное дело, общее собрание рабочих созывать не время, это снова привлекло бы внимание предпринимателей; война должна вспыхнуть внезапно, неожиданно, должна ошеломить и привести их в смятение, и только в этом случае можно надеяться на победу. Нужно, следовательно, передавать рабочей массе разные известия без шума, без крика, лучше всего через особых посланцев и кассиров участковых касс. С ними же нужно совещаться о доставке продовольствия и о том, кого из рабочих на это время нужно и можно будет отправить из Борислава. Отправка, понятно, должна быть добровольной: каждый, уходящий из Борислава, получит кое-что на дорогу, и уходить они должны не сразу, а день за днем, небольшими группами, и будто бы по разным причинам. Для хранения продовольствия решено было снять амбары в соседних селах: в Попелях, Бане, Губичах и Тустановичах, где также должны стоять рабочие посты. И еще порешили выслать немедленно двадцать уполномоченных в разные стороны, чтобы они шли по селам и призывали людей не ходить в течение двух недель в Борислав, пока бориславские рабочие не добьются для себя и для всех лучшей оплаты. Спешно, а если можно, то и немедленно, завтра же, должны отправиться Матвей и Сень Басараб в Дрогобыч для закупки хлеба. У Матвея был там знакомый пекарь, и он надеялся, что через него удастся, без шума и не навлекая на себя подозрений, закупить необходимое количество муки и хлеба, а перевезти добрую половину заготовленных запасов муки и хлеба можно будет еще до выступления, в течение недели, в бочках и ящиках, в каких обычно возят большие партии воска и нефти. Таким образом, все приготовления можно сделать быстро и незаметно, а это именно и явилось бы лучшим залогом успеха рабочих, потому что предприниматели убедились бы в их

силе и в хорошей организации всего дела, да и сами рабочие, видя, что им не грозит голод и нужда, чувствовали бы себя смелее и увереннее. Андрию Басарабу и Деркачу назначено было пойти по соседним селам и у знакомых селян (братья Басарабы были родом из Бани, в самом близком соседстве с Бориславом, и знали многих людей в окрестных селлах) подыскать соответствующие помещения для своих складов. Остальные побратимы должны были остаться в Бориславе и следить за тем, чтобы все шло как следует и чтобы предприниматели раньше времени не проведали о том, что задумали рабочие.

А так как в этот день было воскресенье и совещание окончилось довольно рано, то побратимы быстро разошлись, чтобы сразу же созвать участковых кассиров и рассказать им, как обстоит дело. До поздней ночи кипела жизнь в хате Матвея: старые и молодые, пожелтевшие и румяные лица мелькали в слабо освещенных окнах, пока, наконец, уже далеко за полночь не разошлись все по домам. Борислав под покровом темноты давно уже спал глубоким сном, только где-то далеко на Новом свете из одного шинка доносилось хриплое пение какой-то подвыпившей рабочей компании:

Ой, не жалуй, моя мила, що я п'ю,
Тогди будеш жалувати, як я вмру!*

XIV

Еще неделю царил тишина в Бориславе. Еще неделю беззаботно шныряли по улицам еврей-предприниматели, устраивали свои дела, торговали, обманывали, получали и выдавали деньги, поглощенные только текущими планами и текущими расчетами. Рабочие также попрежнему ходили измученные, согбенные, вымазанные нефтью; они попрежнему спускались в шахты, вертели ворота, ели сухой хлеб и лук, редко пробуя горячую пищу, зато больше потребляя водки. Правда, шумного, разгульного, бесшабашного пьянства теперь не видно было,

* Ой, не жалеј, моя милая, что я пью, Тогда пожалеешь, как я умру! (украинск.)

в шинках не засиживались сборища людей, однако шинкари, которые одновременно были и владельцами шахт, не очень об этом горевали: время было горячее, работа спешная, со всех сторон поступали требования на воск, а с трезвым рабочим все-таки больше можно было сделать, нежели с пьяным. Жизнь текла, словно речка, тинистая и спокойная, и казалось, что так она будет течь вечно. А между тем это была последняя неделя!

И в хате Матвея, которая в последнее время сделалась настоящим центром рабочего движения, куда каждую ночь, и в дождь, и в ведро, то улицей, то тайными тропинками пробирались рабочие со всего Борислава на совет, для проверки кассы, для сдачи взносов, либо просто для того, чтобы побеседовать и подбодрить себя, — и здесь было тихо. Бенедя попрежнему работал на новом заводе церезина у Леона, а Матвей, после двухдневной отлучки возвратясь с Сенем Басарабом из Дрогобыча и рассказав побратимам, что и как они сделали, ходил на работу в одну из шахт, которая также принадлежала Леону. Старик в эти дни словно возродился. Таким живым, веселым и шутливым еще не видел его Бенедя. Он обо всем заботился, всем интересовался, не ходил, а бегал и, казалось, все силы прилагал к тому, чтобы и самому чем-нибудь способствовать наиболее полному успеху начатого дела. Бенедя, хотя и был занят другим, не мог не заметить этой перемены и в душе порадовался ей. А когда он разговорился как-то с Матвеем и спросил его в шутку о причине, лицо Матвея вдруг сделалось очень важным, серьезным.

— Имею известие, верное известие, — сказал он таинственно.

— Какое, о чем? — спросил Бенедя.

— О моем процессе.

— Ну, и что же?

— Все хорошо. Скоро самборский суд отдаст приказ арестовать Мортка.

— И то неплохо, — сказал Бенедя, но в душе он ощутил какое-то странное, неясное чувство, — он словно жалел Матвея, которого в такие важные для всех рабочих минуты может радовать такое мелкое в конечном счете событие. Но скоро его мысль, во всем и всюду искав-

шая пользы для общества, для задуманного дела, уцепилась за этот ничтожный факт. «А что, — подумал он, — если придать этому делу как можно большую огласку, если заинтересовать всю рабочую массу этой тяжбой бедного нефтяника с богатым предпринимателем (то, что за плечами Мортка стоял Герман, казалось ему совершенно естественным и очевидным для всякого) и если потом, в самый разгар борьбы рабочих, придут стражники, закуют Мортка, посадят на телегу и торжественно повезут по Бориславу, — это должно подбодрить нефтяников, придать им силы и уверенности, укрепить в них убеждение: «И мы на что-то способны! И мы хоть иногда можем кое-что сделать, если правда на нашей стороне!» Он высказал свою мысль Матвею, и Матвей тотчас же согласился с ним. И действительно, в течение нескольких дней, от Деркача и Бегунца, от братьев Басарабов и от самого Бенеди почти все рабочие Борислава узнали о процессе Матвея, на всех промыслах говорили о нем, высказывали самые разнообразные догадки, как и чем он окончится. Все удивлялись смелости Матвея, который отважился снова поднять это дело на свой страх и риск, после того как прокурор от него отказался, и это в значительной мере обостряло интерес к нему. Правда, скоро новые и гораздо более важные события привлекли к себе внимание рабочих, но все же и от этого посева какое-то зерно упало и должно было со временем дать всходы.

Между тем приготовления к рабочей войне быстро окончились. Братья Басарабы наблюдали за перевозкой закупленного в Дрогобыче хлеба, пшена и других продуктов в свои потайные склады в Губичах, в Бане и Тустановичах, где также уж были наняты крестьяне, которые должны были ежедневно подвозить определенное, условленное количество провизии в Борислав. Были куплены три огромных котла, в которых должны были варить кашу для рабочих; даже о полотне для палаток не забыли побратимы, чтобы было где поместить бесприютных, если хозяева, сговорившись, повыбрасывают их из жилищ. К субботе все было готово, и по всем промыслам пронесся радостный и вместе с тем тревожный шепот: «Настает пора! Пора! Пора!» Так, когда над полем спелой ржи пронесется легкий летний ветерок, кроткие, скло-

ненные стебли еще сильнее наклонятся, потом поднимутся кверху, снова наклонятся, мерно покачиваясь, а полные ожидания колоски шепчут вначале тихо, а затем все смелее: «Пора! Пора! Пора!» А ветер мчится дальше и дальше, поднимая все новые волны, все шире разбегаясь, а с ним вместе, все дальше, все шире, все громче несется благодатный шепот: «Пора! Пора! Пора!» Двадцатью дорогами из Борислава спешили рабочие посланцы по селам и местечкам, разнося весть о новой войне. Их видели в Урвовом и в Подбужье, в Гаях и Добровлянах, в Стрые и в Медыничках, в Самборе и Турке, в Старой Соли и Дзвинячем, в Доброгостове и Корчине. Их весть бедняки встречали с радостью, богачи с насмешкой и недоверием; кое-где угощали их водкой и хлебом, кое-где спрашивали паспорта и грозили арестовать, но они без страха шли все дальше, не пропуская ни одного поселка, просили и наказывали не идти на работу в Борислав в продолжение нескольких недель, пока рабочие не окончат своей войны с хозяевами. Бесчисленные слухи поползли по селам об этой войне, путанные, страшные, какие обычно порождает великая нужда и безвыходное положение. То говорили, будто бы бориславские рабочие задумали вырезать всех евреев, то, что они хотят выгнать их из Борислава. Проведали об этом и полицейские стражники, и они начали рыскать по селам, грозя и заставляя молчать и разузнавая, откуда взялись эти слухи. Двадцать одинаковых донесений поступило в управление начальника уезда в Дрогобыче о каких-то таинственных людях, которые разносят по селам коммунистические идеи. Управление забеспокоилось и велело ловить их, но пока эта казенная переписка дошла по назначению, все наши нефтяники были уже в Бориславе, взбудоражив три или четыре уезда своими вестями. Долго еще рыскали стражники по селам, ловили отпущенных на каникулы студентов и захожих городских рабочих,—им и в голову не приходило, что «коммунистическими эмиссарами» могут быть вот эти люди, в грязных, пропитанных нефтью кафтанах, и что «эмиссары», которых они ловили, не раз, ссутулившись и сгорбившись, спокойно проходили мимо них.

Наконец, все приготовления были закончены, и в

воскресенье началась война. Первым важным военным мероприятием было то, что более половины рабочих, в том числе все менее смелые, много женщин и малолетних в это воскресенье толпой выступили из Борислава. Некоторые из побратимов хотели, чтобы этот уход, необходимый для полного успеха дела и для полного поражения хозяев, происходил постепенно, без шума, небольшими группами, чтобы предприниматели не сразу догадались, в чем тут дело. И сам Бенедя был вначале того же мнения, но затем, непрерывно размышляя, он пришел к мысли, что если уж воевать, то в открытую и что первый их шаг, резкий и решительный, может сразу нагнать на предпринимателей страх и ослабить их упорство. И он настоял на том, чтобы «исход из плена египетского» совершился среди бела дня, огромной, шумной толпой. Ведь недаром завтра утром должно начаться «празднество», — почему же не дать хозяевам почувствовать, откуда дует ветер?

В воскресенье, в полдень, улицы Борислава заполнились рабочими и работницами. Гомон стоял, словно на ярмарке, — рабочие все прибывали и прибывали. Половина из них пришла с сумками за плечами, со свертками в руках, надев на себя всю свою одежду.

— Что такое? Куда вы собрались? — спрашивали евреи то одного, то другого рабочего.

— Домой, в село, — был обычный ответ.

— Зачем домой?

— А чего же? Надо идти, пока еще в поле работа есть, а здесь все равно ничего не заработаем.

— Как не заработаете? Ведь зарабатываете же!

— Э, да разве это заработок! И на прожитие не хватает, не то чтобы какая подмога для хозяйства была. Довольно с нас! Пускай другие зарабатывают.

Рекой поплыл народ вниз по улице, спокойно, печально. За Бориславом на выгоне уже стояли новые толпы. Начали прощаться.

— Будьте здоровы, товарищи! Дай вам боже счастливо закончить то, что задумали! Давайте знать, что здесь слышно будет!

— Будьте здоровы! Авось скоро, в более счастливое время, встретимся!

Медленно во все стороны, в горы и долины, по лесам и полям, расходились толпы рабочих, время от времени оглядываясь на покинутый ими Борислав, который спокойно грелся на солнце. Так беспечный кот греется, и вытягивается, и мурлычет вблизи железного зубастого капкана, который вот-вот щелкнет и схватит его своей железной пастью и раздробит ему ребра и лапки.

Правда, бориславские хозяева-евреи не совсем были похожи на этого кота. Уход такой массы рабочих встревожил их не на шутку. Они не могли понять, что произошло с рабочими и чего они хотят. И все же хоть отчасти успокоились, рассуждая про себя: что же, половина ушла, а половина все-таки осталась, а если этих будет недостаточно, то скоро придут новые, даже больше, нежели нужно. С этой надеждой владельцы шахт спокойно проспали ночь. Но их расчеты, хотя и казались вполне правдоподобными, на этот раз не оправдались.

На следующий день бо́льшая часть сараев пустовала. То есть, собственно, не совсем: надсмотрщики пришли, отперли двери и удивились тому, что рабочие не приходят. Некоторые неистовствовали и проклинали «гоев»; другие, более спокойные, сели возле дверей на свои скамеечки, обещая как следует набить морды мерзким бездельникам за такое неслыханное опоздание. Но и то и другое было напрасно. Уже солнце высоко-высоко поднялось в небе, а рабочих все не было. Надсмотрщики, быть может, еще долго ждали бы и сторали от нетерпения, если бы говор, а затем крики и брань в соседних сараях не дали им знать, что и там, хотя рабочие и сновали взад и вперед, словно осы, произошло что-то неладное, необычное и неслыханное. А попросту произошло следующее. К некоторым сараям пришли рабочие и, выстроившись в ряд перед дверью, молча поджидали надсмотрщика. Приходит надсмотрщик, отпирает дверь, рабочие молчат — и ни с места: не идут в сарай.

— Ну, за работу! — кричит надсмотрщик.

— Э, еще время есть у нас, — отвечает холодно тот или иной нефтяник.

— Как это есть время? — кричит надсмотрщик. — Но у меня нет времени!

— Ну, так полезай и работай сам, если тебе так спешно надо! — кричат рабочие и хохочут.

Надсмотрщик синееет от злости, сжимает кулаки, готов первому попавшемуся заехать в зубы.

— Не злись, Шлёма! — успокаивают его рабочие. — Мы пришли сюда только затем, чтобы сказать тебе, что больше работать не будем.

— Не будете работать? — лепечет ошеломленный надсмотрщик. — Это почему?

— Потому что не хотим иметь такого пса, как ты, надсмотрщиком — это раз, и потому, что нам мало платят — два. Будь здоров! Передай своему хозяину, что если даст нам лучшего надсмотрщика и по двенадцати шисток в день, то вернемся назад на работу.

И это произошло сразу, одновременно на всех промыслах, во всем Бориславе. Один огромный вопль удивления, гнева и беспомощности вырвался из уст предпринимателей и эхом прокатился по городу, от края до края.

Одни надсмотрщики стояли, остолбенев, с разинутыми ртами, услышав эти неслыханные, безбожные слова. Другие вспыхивали безмерным гневом, приходили в ярость, бросались на рабочих с кулаками, угрожая, что они палками и кулаками заставят их работать. Некоторые же недоверчиво усмехались, принимали это за шутку, а когда рабочие и в самом деле расходились по домам, они махали рукой, ворча: «Тьфу, что за народ! Важничает невесть как. Словно, кроме них, никого нет в Бориславе. Найдем, братец мой, найдем, кроме вас, рабочих, и получше, и помирнее, да и подешевле!» Снова и снова некоторые надсмотрщики, будто белены объевшись, бежали по улицам к своим хозяевам, рассказывали им о происшедшем и просили дальнейших распоряжений, что делать, как быть. Но и на хозяев этот удар свалился так же неожиданно-негаданно, как и на их верных приказчиков. До самого полудня в тот понедельник они не знали даже толком, действительно ли все это произошло, действительно ли во всех шахтах, промыслах и складах и на нефтяных заводах рабочие не вышли на работу. Они долго бегали по улицам, как гончие псы, хватали дрожащими руками первого встречного рабочего за плечо, и хотя пальцы их готовы были, как железные

крючья, крепко впиться в рабочее тело, они, пересиливая себя, спрашивали с притворной кротостью:

— Ну, Гриць, почему не идешь на работу?

— Нет работы.

— Как нет? У меня есть.

— А много заплатишь?

— Ну, не спрашивай, а иди работать. Сколько люди, столько и я.

— Не пойду. Мало.

— Не пойдешь? Как это не пойдешь? А что же будешь делать?

— Это мое дело. Не спрашивай!

Словно бешеные, бегали еврей-предприниматели по улицам, охотясь за рабочими, но скоро убедились, что напрасны их старания и что рабочие, повидимому, сговорились. Правда, многим не хотелось верить в возможность рабского сговора в Бориславе, а иные, хотя и верили, были так поражены этим событием, что и сами не знали, что делать и как помочь беде. Чувствуя свое бессилие, они бегали, твердили о грозящих им убытках, о неслыханной наглости рабочих, об упадке дел в Бориславе, но никому и в голову не пришло подумать о какой-нибудь помщи, кроме разве полиции. Евреи даже не старались узнать, чего собственно хотят рабочие. Первый день войны прошел довольно спокойно. Обе воюющие стороны, взволнованные и встревоженные новизной и необычностью событий, старались передохнуть, успокоиться, собраться с мыслями, присмотреться к новой обстановке. Бастующие рабочие держались как-то робко, неуверенно, на улицах не видно было больших толп, маленькими группами собирались нсфтяники где-нибудь на задворках и толковали, что делать дальше. Только за Бориславом, на выгоне, было много народу: там варили кашу и, соблюдая полнейший порядок, распределяли ее между нуждающимися, по промыслам. Там же находился центр рабочего совета, были все побратимы, был Бенедя.

Бенедя с виду был спокоен, говорил ровным, звучным голосом. Только глаза, необычно горевшие, лицо, необычайно бледное, и новые глубокие морщины на лбу свидетельствовали о том, что его мысль работала с

огромным напряжением. Совещались о том, какие выставить требования хозяевам на случай соглашения. Почти все советовали требовать немного, чтобы тем вернее получить требуемое. Бенедя возразил на это:

— Правда ваша. Кто меньше требует, тот скорее получит. Однако в нашем деле хуже всего было бы требовать мало. Ведь если мы подняли войну, то уже надо добиться, чтобы нам была от нее польза. А главное, как я думаю, надо выставить такие требования, которые не только бы облегчили нашу повседневную жизнь, но вместе с тем помогли бы нам усилиться, еще крепче стать на ноги. Потому что, видите ли, может случиться и такое, что предприниматели теперь, под нашим натиском, согласятся на все, особенно когда увидят, что мы не только сами не работаем, но и других не допускаем к работе. Но потом, как только мы согласимся на их обещания и прекратим войну, они—трах!—и снова прижмут нас еще пуще прежнего. Вот я и говорю: надо нам такие требования выставить, чтобы обеспечить себя на тот случай, если хозяева не сдержат обещаний, чтобы мы имели возможность в любую минуту снова начать точно такую же войну, если это понадобится.

Все признали справедливость этих слов. Бенедя продолжал:

— Теперь, думаю, мы все уже убедились, что наша сила в единении, в том, чтобы всем держаться заодно. Пока мы жили каждый для себя, не заботясь о других, до тех пор не могло у нас и речи быть о каком-нибудь облегчении, а теперь, как сами видите, общими силами мы дошли до того, что смогли начать такое большое дело, войну с богачами. И мне кажется, что пока мы будем держаться дружно, до тех пор богачам не удастся взять верх над нами. Поэтому нужно прежде всего поставить им такие требования, чтобы впоследствии наше общество не только не распалось и не было разбито, но, наоборот, все более укреплялось, чтобы наша рабочая касса не опорожнялась, а все увеличивалась. Верно кто-то сказал: где хорошо всем, хорошо и одному; если наша общая сила будет расти и крепнуть, то и каждому рабочему в отдельности будет лучше, община сможет поддержать его в любой беде, и хозяева вынуждены будут

бояться нас и не посмеют нарушить свое слово, не посмеют обращаться с рабочим, как со скотиной, а то и того хуже.

— Верно, верно! — зашумели рабочие. — Ну, а что же для этого нужно требовать?

— Я так думаю: во-первых, разумеется, чтобы плату нам повысили; тем, которые в шахтах работают, — не менее двенадцати шисток; тем, что на-горà, — гульден, а самое меньшее — восемь шисток; во-вторых, чтобы никто не смел делать никаких кассирских поборов; в-третьих, чтобы в рабочую кассу, кроме рабочих, делали взносы также и предприниматели, каждый не менее гульдена в месяц; затем, чтобы в случае несчастья какого — смерти, увечья — они обязаны были платить за больницу и лекарства, а также оказывать помощь осиротевшей рабочей семье хотя бы в продолжение полугода. Я думаю, что эти требования не слишком велики, а нам от них получилось бы заметное облегчение.

— Верно, верно! — закричали в один голос рабочие. — На том и стоять будем! А если у нас и дальше будет своя касса, то и потом мы сможем добиться уступок.

Хозяева-евреи ничего не знали об этом совещании. Чем ближе к ночи, тем сильнее охватывал их страх перед рабочими. Дома были заперты. На улицах редко кто показывался. Только глухой говор, и шепот, и тревожная дрожь пронеслись по Бориславу, словно поражающая тысячи людей зараза, словно осенний стонущий ветер по роще.

XV

Фанни, единственная дочь Леона, сидела одинокая, задумчивая на мягкой софе в роскошной комнате. Время от времени она посматривала на часы, которые тикали возле нее под хрустальным колпаком на мраморном столике.

— Третий час! — сказала она тоскливо. — Как медленно тянется время! Отец вернется только в пять, а ты, Фанни, сиди одна!

Как много часов, как много дней просидела она вот так, одна, на этой мягкой софе, возле мраморного столика с часами под стеклянным колпаком! Как много раз сетовала она на это ленивое движение времени! Была ли у нее в руках какая-нибудь работа, которая — она это знала — никому не нужна и никому ни на что не пригодится, или книжка, которая ее никогда не могла занять, — все та же нестерпимая скука и одиночество давили ее, проникали во все поры ее тела, словно едкая липкая грязь. Ее живая, полнокровная натура изнывала и сохла в этом холодном, праздном одиночестве. В жилах кипела молодая кровь, фантазия еще сильнее распалаяла ее, а между тем вокруг — одиночество, холод, однообразие. Ей хотелось любви с чудесными романтическими приключениями, горячих объятий какого-нибудь героя, верности до гроба, безграничного обожания. А между тем дрогобычское общество, в особенности общество дрогобычских «эмансипированных кавалеров», глупых, бестолковых и надменных, было для нее словно ледяная вода для огня. Она ненавидела их с их вечными, заимствованными из книжек, комплиментами, с их обезьяньим прислуживанием, в котором — это явственно чувствовалось — преобладало почтение к богатству отца, нежели к ее качествам.

— Как медленно идет время! — повторила она задумчиво, тише, нежнее как-то, и робко поглядела из окна на улицу. Ждала ли она кого? Да, ждала, ждала его, своего героя, этого удивительного юношу, который несколько недель тому назад, как яркий метеор, неожиданно, таинственно появился на ее горизонте. И появился в полном соответствии с ее романтическими мечтами: сказочный принц в нищенском платье! Бедный угольщик, большие черные глаза которого так и пожирали ее, который так напугал ее, уцепившись когда-то за экипаж и упав на мостовую, который так быстро, так страстно открыл ей свою любовь, который потом немало удивил ее, действительно появившись в ее доме элегантно одетый, неузнаваемый, блестящий. Как он прям в своих речах, как пылок и энергичен, — не знающий ни преград, ни препятствий, словно и в самом деле какой-то всемогущий принц! До чего он не похож на этих бледных, жал-

ких, трусливых и смешных кавалеров, которых она видела до сих пор! Сколько силы в его мускулах, сколько огня в его взоре, сколько пылкой страсти в его сердце! И как он любит ее! Но кто он такой? Что за человек? Назвался Готлибом, но какого он роду? Может ли он быть моим?

Эти мысли, словно золотисто-розовые нити, мелькали и переплетались в голове одинокой Фанни, и она все нетерпеливее поглядывала на часы. — Он обещал прийти после трех, — прошептала она, — почему же не приходит? Сегодня должна открыться тайна. Почему же его нет? Или, может быть, все это сон, видение моей разгоряченной фантазии? Но нет, он держал мою руку в своей, он целовал мои губы, ох, как горячо, как страстно!.. Он должен прийти!

— И он пришел уже, — сказал Готлиб, бесшумно входя и кланяясь.

— Ах, это... ты! — проговорила, зарумянившись, Фанни. Это было первое «ты», которое она ему сказала.— Я как раз думала о тебе.

— А я о тебе и не переставал думать, с тех пор как увидел тебя.

— Правда?

Дальше беседа продолжалась без слов, но для обоих она была очень хорошо понятна. Наконец, Фанни прошептала:

— Но ты обещал мне сегодня открыть свою тайну: кто ты?

— И ты до сих пор не догадалась? Не узнала о том, о чем мог тебе сказать любой из твоих слуг?

— Нет. Я ни с кем о тебе не говорила.

— Я сын Германа Гольдкремера, знаешь его?

— Что? Ты сын Германа, тот самый, за которого отец сватал меня?

— Что? Твой отец сватал тебя за меня? Когда?

— Недавно, два месяца тому назад. Как я боялась тебя тогда!

— Но что же сказали мои родители?

— Я не знаю. Кажется, отец твой был согласен, но мать была против, и я догадываюсь, что она чем-то очень оскорбила моего отца, потому что он пришел от

вас сильно взволнованный и разгневанный и бранил твою мать.

— Что ты говоришь! — вскрикнул Готлиб. — Моя мать! И она могла быть против!.. Но нет, — добавил он спустя минуту, — это возможно, таков уж ее характер. Но она сама должна исправить зло, сама должна упротить твоего отца еще сегодня!

Лицо Готлиба горело дикой решимостью.

— Когда вернется твой отец?

— В пять.

— Ну, тогда прощай. Я пойду и пришлю сюда свою мать, чтобы она уладила это дело. Она должна сделать это для нашего счастья. Прощай, сердце мое!

И он ушел.

— Какая сила, какая решимость, какое горячее чувство! — шептала пьяная от счастья Фанни. — Нет, нет, он не такой, как другие, бледные, ничтожные кавалеры. Как я люблю его, как бесконечно я люблю его!

Между тем Готлиб поспешно направился домой. Он уже был осведомлен о том, что отец знает о его жизни в Дрогобыче. Мать рассказала ему все, когда, заложив тайком от мужа кое-что из своих нарядов, вручила ему желанные деньги. Готлиб ничего не сказал, услышав эту весть: новая горячая любовь к Фанни прогнала его гнев на отца, он теперь гораздо охотнее послушался бы его приказа и вернулся жить домой, если бы только Герман отдал такой приказ. Но нет, Герман ничего не приказывал, словно совсем не заботился о сыне, — очевидно, ждал, пока тот сам раскается и возвратится к нему. Готлиб же не хотел этого. Сколько раз они встречались на улице, но Герман все делал вид, будто не знает этого молодого нарядного барчука, а Готлиб не хотел первый уступить. Домой к матери Готлиб забегал редко, да и то все в такое время, когда отца не было. Но теперь дело было спешное, и он пошел, хотя служанка сказала ему, что барыня в спальне, а барин в своем кабинете. Пускай, ему до этого барина нет никакого дела.

Ривка сидела в комнате, уставившись глазами в потолок. Болезненное саморазрушение ее духа подходило к концу, было теперь в той стадии, когда после огромного возбуждения наступает омертвление, тяжелое без-

думье, одурманивающая меланхолия. Она по целым дням сидела на одном месте, говорила мало и каким-то вялым, разбитым голосом. Казалось, ее недавняя неукротимо дикая энергия теперь совсем исчезла, рассыпалась на куски.

В таком состоянии оцепенения каждый мог сделать с нею все, что хотел. Только одно продолжало жить в ней: любовь к сыну и ненависть к мужу. Германа очень беспокоила эта перемена, в которой он видел признак какой-то тяжелой болезни, но доктора уверили его, что это следствие чрезмерного нервного возбуждения и переутомления и что нужен только покой. Целый день никто к ней не обращался, за исключением разве только слуг, которые сопровождали ее к столу или в спальную. Но было несомненно, что и этот покой, мертвящий, пустой, убийственный, также не был для нее хорошим лекарством.

Готлиб, поглощенный своей любовью, совершенно не обратил внимания на ее состояние и, лишь только вошел в комнату, сейчас же приступил к делу.

— Мама! — сказал он, подходя и садясь рядом с нею.

В ее мутных, потухших глазах загорелась живая искорка:

— Что, сынок?

— Правда, что Леон Гаммершляг хотел сватать за меня свою дочь?

— Леон? Ага, правда, этот паршивец хотел.

— И что вы сказали ему?

— Я? Скорее умру, нежели соглашусь принять ее к себе!

Готлиб гневно, почти свирепо взглянул на мать.

— Глупая вы, мама!

— Почему, сынок?

— Потому, что я именно Леонову дочку люблю и скорее умру, чем соглашусь, чтобы она не была моей.

Ривка вскочила с места. Слова Готлиба были для нее словно могучий, пробуждающий удар.

— Эго невозможно! — сказала она с силой.

— Эго должно быть! — сказал Готлиб, повышая голос.

— Но как ты можешь ее любить?

— Но как вы можете ее ненавидеть?

— О, как я их всех ненавижу, смертельно ненавижу, и этого Леона, и твоего отца, и ее, всех, всех тех, кто ради денег отрекается от жизни и совести, да еще и других топит вместе с собой в этом проклятом золотом болоте!

— Но в чем же она виновата перед вами? А скажите, мама, вы любите меня, своего единственного сына?

— Ты еще можешь спрашивать?

— И желаете мне счастья?

— Больше, чем самой себе.

— Ну, так сделайте то, о чем я вас буду просить.

— Что сделать, сынок?

Минутная вспышка былой энергии быстро погасла в душе Ривки, и она снова села, безвольная и подавленная, какой была минуту назад.

— Пойдите сами к Леону, поговорите с ним, уладьте, условьтесь, чтобы мы как можно скорее обручились. Устройте мое счастье!

— Твое счастье, сынок? Хорошо, хорошо! — сказала Ривка, мало что поняв из его слов.

— Да, мама, мое счастье! Вставайте, расшевеливайтесь, идите!

— Куда, сынок?

— Ведь я же говорю — к Леону.

— К Леону? Нет, никогда!

Готлиб, не понимая болезненного состояния матери, начал злиться, грозить, что руки на себя наложит, — и Ривка еще больше перепугалась.

— Ну, хорошо, сынок, хорошо! Пойду с тобой, куда хочешь, только не делай с собой ничего! Прошу тебя, будь спокоен! Все сделаю для тебя, только будь спокоен!

И дрожащими руками она начала одеваться, но так неловко и нескладно, так долго примеряла, снимала и снова прилаживала платье, что Готлиб, который сгорал от нетерпения, вынужден был позвать служанку, чтобы та помогла ей одеться. Наконец, они вышли.

Леон Гаммершляг в отличном расположении духа сидел в своем кабинете за письменным столом. Работа на новом заводе шла очень хорошо, и первая партия церезина не позднее чем через неделю будет готова к отправке за границу. Тогда будут деньги, можно будет продол-

жать производство церезина и закончить постройку дома, заброшенную в это горячее время. Счастье улыбалось Леону, — он чувствовал себя сильным и гордым, как никогда. В эту минуту послышался стук в дверь, и вошла Ривка, бледная, с погасшими, неподвижными глазами, медленной, почти сонной походкой. Леон никогда еще не видел ее такую. Необычайное это посещение и странный вид Ривки сильно удивили и немного смутили его.

— Прощу садиться, — сказал он в ответ на ее приветствие, произнесенное каким-то глухим, беззвучным голосом. Ривка села и долгое время молчала. Молчал и Леон.

— Я к вам по одному делу, — сказала медленно Ривка, — хотя и не по своему, но все-таки...

— Очень рад буду служить, — ответил Леон.

— Вы сердитесь на меня, господин Леон? — спросила она вдруг.

— Но... Но, сударыня... Как вы можете...

— Нет, нет, я только спросила, чтобы вы случайно, в гневе, не захотели бы отказать мне в этом деле, смею сказать очень важном, хотя и не для меня...

— Пожалуйста, пожалуйста... — буркнул Леон.

— Дело вот в чем. Вы, господин Леон, еще не оставили свою давнюю мысль соединить наших детей?

— Ну, что же делать, должен был оставить, хотя мне очень жаль, но как же иначе, если ваш сын где-то пропал?

— А если бы мой сын не пропал?

Леон пристально взглянул на нее и увидел нескрываемую тревогу ожидания на ее лице.

«Ага, — подумал он про себя, — вот оно как дело обернулось! У них, должно быть, что-то плохое случилось, и они теперь добиваются моей милости. Но погоди, я тебе отплачу за прежнее!» — и добавил вслух:

— Мне очень жаль, что и в этом случае я не мог бы... У меня теперь другие виды на мою дочь.

— Ну, если так, то, конечно... Я только думала... Разумеется, не для своей выгоды.

Ривка путалась. Очевидно, отказ Леона глубоко уколол ее.

— Но если бы... ваша дочь любила моего сына?

— Моя дочь—вашего сына? Это невозможно!

— Ну, ну, я не говорю, что это так, но, к примеру если бы так было?

— Э, сказки, фантазия! Я имею другие виды и прошу не отнимать у меня времени подобными предположениями!

Леон отвернулся. Он рад был, что может отплатить Ризке за сбиду, и совсем не думал о возможности того, о чем она сказала.

В эту минуту послышался тяжелый стук шагов в коридоре, и в кабинет влетел запыхавшийся, разгоряченный, распаренный надсмотрщик Леона из Борислава. Леон, увидя его, вскочил:

— Эго еще что? Вы зачем?

— Хозяин, несчастье!

— Какое?

— Рабочие сговорились и не хотят работать.

— Не хотят работать? Эго почему?

— Говорят, мало им платим.

— Этого не может быть! Ты пьян, что ли?

— Нет, хозяин, это так! Я пришел к вам за советом, что делать?

— В шахтах только не работают или и на заводе?

— И на заводе.

— Gott über die Welt! Вот несчастье! Что делать? Работа на заводе должна продолжаться во что бы то ни стало! Слушай, Шлёма, беги на базар, созови там рабочих и веди в Борислав, я сам тоже иду.

И они выбежали, не обращая внимания на Ривку. Она слышала их разговор и усмехнулась после их ухода.

— Вот это хорошо, вот это хорошо!—шептала она.— Так вам и надо! Кабы не дураки были да взбунтовались и побросали бы вас всех до одного в эти колодцы! Смотрите, какой! Не хочет теперь, отказывает! Мой бедный Готлиб! Что он на это скажет? Он готов наделать себе беды. Впрочем, так ему и надо: пускай бы не водился с такою, пускай бы искал себе бедную, добрую... Но что я ему скажу? Он такой быстрый, как искра! Нет, я не скажу ему правды, пускай будет что будет!

И она вышла на улицу, где Готлиб нетерпеливо поджидал ее.

— Ну, что? — спросил он, глядя ей в глаза.

— Хорошо, сынок, хорошо, все хорошо.

— Согласен, обещал?

— А как же, а как же! Через месяц обручение.

— Через месяц! Почему так поздно?

— Нельзя, сынок, скорее. Да и зачем торопиться? Успеет она отравить твой век молодой.

И Ривка начала всхлипывать, словно ребенок.

— Мама, не говорите так, вы ее не знаете! — гневно воскликнул Готлиб.

— Не буду, сынок, не буду!..

Однако эта весть не очень как-то обрадовала Готлиба. То ли потому, что еще долго нужно было ждать этой счастливой минуты, то ли потому, что мать сообщила ему эту весть как-то холодно, зловеще, нерадостно, — так или иначе, Готлиб не почувствовал той радости, какую он ожидал. Он дошел молча с матерью до самого дома. Здесь они разошлись. Ривка — в свои комнаты, а Готлиб — в гостиницу, где он жил, покинув убогую лачугу угольщика.

Дома Ривка уже не застала Германа. Та же самая весть и в то же время, что и к Леону, пришла и к нему, и он, вскочив, велел немедленно запрягать и вместе с Мортком, который принес ему печальную весть о стачке рабочих, помчался в Борислав. После пережитых волнений Ривка как была, одетая, бросилась в кресло и потонула в своей бездумной меланхолии. Готлиб в гостинице ходил по своей комнате взад и вперед, размышляя о своем счастье и силясь внушить себе, что он счастлив. Только бедная Фанни, которая за дверью в соседней комнате слышала разговор Ривки и Леона, бросившись на свою софу и закрыв лицо платком, горько-горько плакала.

XVI

Герман Гольдкремер впервые в жизни не знал, как ему поступить. Новое, неслыханное доселе в Бориславе событие — стачка рабочих — задало ему загадку. Приехав накануне вечером в Борислав, он долго ночью не мог уснуть, раздумывая над тем, что слышал и видел.

Как изменился Борислав с того времени, когда он последний раз выехал отсюда! словно какая-то волшебная сила перевернула в нем все вверх дном. Если раньше, бывало, хозяева-евреи гордо расхаживали по улицам и сверху вниз поглядывали на рабочих, то теперь владельца шахты на улице не увидишь, но зато толпы рабочих, словно рои шершней, ходят, шумят, хохочут, грозят и поют. Если раньше, куда ни глянешь, всюду вóроты вертятся, сотни рук двигаются, работа кипит, — теперь у шахт и надшахтных строений мертво, пусто, вóроты торчат, словно грязные кости, с которых опало тело, а воздушные насосы заглядывают в шахты, как бы спрашивая, не хочет ли там кто свежего воздуха. Зато на выгоне, в конце Борислава, — там теперь жизнь, там движение! Из окна кабинета Германа виден дым от костра, разложенного под огромным котлом, в котором рабочие варят себе кашу. Из окна слышен шум сходок, слышны окрики дозорных, расставленных на всех дорогах, на всех тропах, которые ведут в Борислав. «Черт бы их побрал! Что они себе думают?» — вертелось в голове у Германа, и он нетерпеливо ждал восьми часов — в этот час должны были собраться у него на совещание предприниматели.

— Нег, так продолжаться не может! — говорил он сам себе, шагая по комнате. — Мы должны сломить их сопротивление. Я должен во что бы то ни стало иметь рабочих, много рабочих, еще на этой неделе. Я непременно должен еще на этой неделе сдать пятьдесят тысяч центнеров воска «Обществу эксплуатации» и получить от него деньги. Пускай потом черт с ним знает. И «Общество» вот-вот в трубу вылетит, и эти проклятые разбойники готовы сделать какую-нибудь гадость. Но я не дурак, чтобы рисковать! Если бы еще две тысячи центнеров добыть, сейчас же сдал бы этим господам из «Общества», а они пускай себе делают, что знают, только пускай мне деньги платят. А хорошо я сделал, что поделил контрактрованную массу воска на две части, теперь еще два дня — и первая партия будет готова. Нужно ли будет еще и вторую поставлять, это один бог знает, — впрочем, если нужно будет, тем лучше для меня.

Так рассуждал Герман, шагая по комнате, и все его рассуждения приводили к одному выводу, что все было бы очень хорошо, если бы только рабочие не бунтовали, а принялись за работу, — все было бы хорошо!

— Но они должны! Так продолжаться не может!.. — шептал он. — Хотя бы и пришлось переплатить, все-таки я столько им не переплачу, сколько потом получу прибыли.

Но тут он вспомнил, что вчера послал Мортка, чтобы тот собирал в Дрогобыче всякую гольтьбу, всех незанятых евреев и христиан, работников и лодырей, водоносов, мусорщиков, старьевщиков, чтобы побешал им хорошую плату и направил всех их в Борислав. Герман хорошо знал, что проку от этой гольтьбы не будет, он хотел только при помощи такой уловки сломить сопротивление бориславских рабочих. «Эго лучшее лекарство от их болезни, — думал он, потирая руки от радости. — Как увидят, что я могу без них обойтись, что у меня есть свои рабочие, так сами придут, еще и напрашиваться будут. Ну-ка, посмотрим, чья возьмет!»

Какой-то странный шум, который шел от выгона и становился все сильнее, привлек Германа к окну. Но увидеть он не смог ничего, кроме вереницы испуганных евреев-предпринимателей, которые спешили по улице к его дому

— Что это там такое? — спросил их Герман через окно

— Драка какая-то! Дерутся! — ответили хором евреи.

— Кто с кем дерется?

— Здешние рабочие дерутся, но неизвестно с кем. Какая-то толпа подошла со стороны Губичей, они не хотят их пустить в Борислав — ну, и началась драка.

Шум длился еще минуту, а потом начал стихать. — Ур-ра! Ур-ра! — раздалось потом в воздухе.

Все предприниматели, в том числе и сам Герман, побледнели и вздрогнули, но никто не произнес ни слова. Молчаливо и тревожно слушали дальше.

— Ур-ра! Ур-ра! — продолжали раздаваться радостные крики, но кроме этого «ур-ра», ничего больше нельзя было разобрать

— Прошу, господа, войдите в дом, посоветуемся, — сказал после долгого молчания Герман.

Едва евреи вошли, едва улегся гул приветствий, как вдруг открылась дверь и вбежал бледный и испуганный Леон Гаммершляг. Одежда его была запылена, а местами и порвана, он тяжело дышал и, влетев в комнату, бросился в кресло и долгое время сопел и пыхтел, ничего не говоря. Все окружили его и глядели на него с выражением такой тревоги, словно это был вестник их неизбежной гибели.

— Что случилось, господи боже, что случилось? — спрашивали они, но Леон не скоро обрел дар речи.

— Gott soll sie strafen!* — крикнул он, наконец, вскакивая с кресла. — Они нас всех вырезать хотят, вот что! Разбойники, сговорились на нашу голову!

— Как? Что? Неужели? Откуда вы знаете? — восклицали владельцы шахт, дрожа от страха.

— И говорить никому не нужно было! — ответил Леон. — Сам вижу, своими глазами. Видите, на кого я похож! Слышали крик? Эго все они! Ох, что это будет с нами, что с нами будет!

— Я давно говорил: послать за стражниками, пускай прикладами гонят их на работу! — крикнул один предприниматель.

— Что стражники! — возразил другой. — Разве тут помогут стражники? Тут целое войско надо, чтобы перестрелять половину их.

— Но что случилось? — допытывались собравшиеся у Леона. — Рассказывайте все как было!

— Скверное дело, да и все тут. Рано утром вышел я на выгон, жду тех рабочих, которых велел нанять в Дрогбыче. На выгоне уж полно их, словно воронья. Завтрак! И откуда они столько муки и каши достают? Две тысячи человек, и весь день варят да варят, едят да едят! Видно, уж не без того, что им кто-то помогает!

Леон помолчал минуту, чтобы придать тем самым больше веса своим последним словам, а взгляд его, скользя по комнате, остановился на Германе, который задумчиво стоял у окна и пальцами барабанил по стеклу. Кое-кто тоже взглянул в эту сторону, а некоторые

* Покарай их бог! (немцк.)

даже вскрикнули, словно осененные неожиданной догадкой:

— Неужели? Не может быть!

— Разве я знаю, — ответил будто бы безразлично Леон, пожимая плечами. — Знать не знаю, но говорю то, что думаю! Его нечистая совесть велела ему видеть в Германе своего заклятого врага, и он доволен был сейчас тем, что в сердца своих слушателей бросил искру подозрения, будто бы весь этот рабочий бунт — дело Германа, затеянное им для того, чтобы всех более мелких предпринимателей, и даже самого Леона, припереть к стене.

— Но слушайте же, что было дальше. Иду я своей дорогой, а навстречу мне целая гурьба этих голодранцев. «Куда?» — спрашивают. Я набрался храбрости. «А вам какое дело?» — говорю. «Нам такое дело, — отвечают, — что мы здесь сторожа, следить должны, чтобы никто из Борислава не выходил!» — «Что вы вздор мелете? — вскрикнул я. — Не задевайте людей посреди дороги. Я вас не трогаю, оставьте меня в покое». — «Ну, так оставьте же и вы нас в покое, — отвечают, — возвращайтесь себе подобру-поздорову в Борислав, а туда ходить нельзя!» И, не вдаваясь со мной в дальнейший разговор, взяли меня за плечи да назад. Я начал вырываться, кричать, а они смеются. Сжали меня, словно клещами, проводили до самого Борислава и пустили. «Вот беда!» — подумал я, а сам, измученный, еле дышу. Остановился я, оглядываюсь, ан вижу, идут мои рабочие из Дрогобыча. «Ну, — думаю, — слава тебе, господи, идет подмога! Из Борислава не пускают, но в Борислав, может быть, пустят». Да и шагаю навстречу им, радуюсь что их так много, больше ста человек. Однако не много я успел пройти, как эта проклятая стража к ним: «Эй! Кто идет?» — крикнули. «Добрые люди, рабочие», — отвечают те. «А куда идете?» — «Вот идем на работу, сюда, в Борислав». — «Нельзя!» — «Как это нельзя?» — «А вот так, нельзя. Вы разве не знаете, что мы посылали повсюду своих людей и просили, чтобы несколько дней никто не шел сюда на работу, пока мы для всех лучшей платы не добьемся?» — «Нет, не знаем», —

говорят дрогобычские. «Ну, так знайте теперь, и просим вас по-хорошему, поворачивайте назад, откуда пришли!» Рабочие начали колебаться, некоторые, очевидно, хотели вернуться назад и начали перешептываться с забастовщиками, другие же, хотя, возможно, и не верили этим словам, но боялись забастовщиков, видя, какое множество их собралось. Словом, пришедшие из Дрогобыча стояли, не зная, что делать и с чего начать. Это вывело меня из терпения. Я бросился в середину толпы и крикнул: «Не слушайте их, люди! Это разбойники, лодыри! Тюрьма им будет, а не лучшая плата! Идите на работу, не обращайтесь на них внимания! Восемь шисток в день каждому, что вам еще нужно?» Эти слова как бы ошеломили всех. Пришлые начали двигаться, чтобы податься вперед. Но эти стали стеной. «Стойте! Не пустим никого!» Я снова кричу: «Вперед, за мной!» Шум, гам поднялся, тумачи посыпались, пинки, а потом и камни... На крик сбежалось их много, началась драка такая, что и света не видно стало. Я и сам не помню, что со мной было. Несколько кулаков угодили мне и в лицо, и в ухо, и в затылок, и между плеч, так что я и опомниться не успел, как попал в самую сильную давку, а оттуда вытолкнули меня снова на бориславскую улицу. Я оглянулся, — борьба уже окончилась, пришлые бросились врассыпную и побежали в Губичи. Рев, крики: «Ура! Ура!» Даже оглушило меня, и я, видя, что ничем помочь не могу, вернулся сюда. Вот так-то!

И Леон, окончив свой рассказ, сплюнул и послал еще одно проклятье «этим разбойникам», которые ни с того ни с сего наделали им столько хлопот и готовы еще большую беду натворить. Все евреи умолкли на минуту, все они раздумывали над тем, что услышали, но никто не мог ничего придумать, кроме одного: «Полиция и войско!» Только один Герман до сих пор не вмешивался в их разговор, а все еще стоял у окна и думал. По его наморщенному лбу и устремленным в одну точку глазам видно было, что его мысль работает с необычайным напряжением. И действительно, дело стоило того, чтобы о нем хорошенько подумать, наступал решительный момент, когда нельзя было ручаться за завтрашний день, когда нужно было как следует напрячь внимание, чтобы

пройти целым и невредимым через все лабиринты враждебной судьбы.

— И еще, проклятые, смеялись надо мной, — выкрикивал раскрасневшийся от возбуждения Леон, — когда увидели, какой я изодранный и запыленный. Но погодите, посмотрим еще, кто будет смеяться последним — мы или вы!

«Мы или вы, — думалось и Герману, — а лучше сказать: я или вы! Э, что за мысль? — и он взмахнул рукой, словно желая поймать счастливую мысль, мелькнувшую в эту минуту у него в голове. — Так, так, вот она, настоящая дорога, по ней нужно идти. Удаться может очень легко, а если удастся, ну, тогда и спрашивать нечего, кто из нас будет смеяться, — я или вы!»

План военных действий быстро сложился в голове Германа, он вышел на середину комнаты и попросил у собравшихся минуты внимания.

— Слушаю вас и удивляюсь, — начал он своим обычным резким тоном. — Полиция! Разве полиция заставит рабочих лезть в шахты? Нет, арестуют одних, а остальных разгонят, но нам не станет от этого легче, потому что нам не порядок нужен, а рабочие, дешевые рабочие! Так или не так?

— Разумеется, так! — заговорили предприниматели.

— Войско! — продолжал Герман. — Это то же, что и полиция, только нам вдобавок ко всему пришлось бы кормить его, а пользы от него никакой. Я думаю, что оба эти способа ни к чему не приведут.

— Но что же делать, что делать?

— Вот в этом-то и весь вопрос, что делать! Я думаю, что рабочий бунт—это такая заразная болезнь, от которой всеобщих рецептов еще не придумали, а возможно, их и придумать нельзя. Один раз поможет это, другой раз то, в зависимости от обстоятельств. Нужно учитывать, с чего болезнь началась, как проявляется, ну и после действовать. В данном случае несомненно одно: платили мы им до сих пор, по нынешним голодным временам, маловато.

—Что? Как? Маловато? — зашумели все.

— Тише, молчите, — крикнул насмешливо Леон, — господин Гольдкремер желает поиграть в адвоката этих

разбойников. Он, верно, предложит нам согласиться на все их требования и отдать им все, что имеем!

— Я ни в какого адвоката играть не хочу, — ответил резко, но спокойно Герман, — я даже не хочу играть в либерала, как это делал до вчерашнего дня господин Гаммершляг, и не буду этим разбойникам рекомендовать никакой «самопомощи»: я буду говорить только как гешефтман, als ein praktischer Geschäftsmann*, — и больше ничего.

Леон прикусил губу при этих словах, — резкая отповедь Германа сильно уколола его, но он почувствовал, что не может на нее ничего ответить, и молчал.

— Я еще раз говорю, — продолжал, повышая голос, Герман, — платили им мало! Мы здесь все свои, значит, можем в этом признаться, если речь идет о том, чтобы узнать причину этого бунта. Волы не ревут, когда ясли полны! Разумеется, одно дело признаться в этом здесь, среди своих, а другое дело говорить что-нибудь подобное перед ними! Это бы нас зарезало!

— О, верно, верно! — вскричали предприниматели, радуясь такому обороту речи Германа.

— Я это для того говорю, — продолжал Герман, — чтобы убедить вас, что здесь нет никаких посторонних бунтарей и что дело это очень серьезное и важное и его необходимо как можно скорее уладить, чтобы из него не выросло еще большее несчастье.

— Куда уж больше, чем то, которое теперь вот на нас свалилось!

— Э, это еще пустяки, — ответил Герман, — не то еще может быть, если мы не сумеем во-время справиться с бурей...

— Но как, как с нею справиться?

— Для этого, как я вижу, есть два средства. Очевидно, они к этому заговору заранее подготовились и подготовились хорошо. Многие из них — взвесьте это! — покинули Борислав, по селам их посланцы уговаривали народ не идти сюда на работу, провизию заготовили. Одним словом, обеспечили себя. Но будьте любезны, учтите и то, что для всего этого нужны деньги,

* Как практичный делец (немецк.)

много денег. А откуда они у них возьмутся? Правда, мы слышали о том, что они собирают взносы, но сколько они могли собрать? Ясно, что немного. Значит, первый мой совет был бы такой: сидеть нам спокойно, не обращать на них внимания, не хныкать, а ждать, пока все их запасы будут исчерпаны. Тогда они наверняка придут сами к нам и станут на работу за такую плату, какую мы им предложим.

Говоря это, Герман внимательно следил за лицами окружающих, чтобы прочитать на них, какое впечатление произведут его слова. Впечатление, повидимому, было не очень хорошее, потому что многие лица так перекошились, словно от горькой редьки.

— Да, оно хорошо было бы, — сказал, наконец, Леон, — ждать! Если бы мы знали, что у них не сегодня-завтра припасов не станет. Но что, если они обеспечили себя на неделю либо на две?

— А откуда бы у них могло столько денег взяться? — спросил Герман.

— Кто знает? — ответили некоторые из евреев, переглянувшись с Леоном.

— А долго ждать мы не можем, — продолжал Леон. — Сами знаете, у нас контракты. Сроки близятся к концу, работа должна быть окончена как можно скорее, ждать нам нельзя!

— Ну, если так, то остается только одно средство: удовлетворить их требования.

— Их требования! — вскрикнули предприниматели почти все в один голос. — Нет, никогда! Лучше войско и полиция!

— Но, господа, — успокаивал их Герман, — вы пугаетесь этих требований, будто они невесть чего требуют!

Шахтовладельцы застыли в недоумении, словно теленок перед новыми воротами. И в самом деле — им и в голову не приходило задать себе такой вопрос. Рабочие представлялись им до сих пор только врагами, которых во что бы то ни стало нужно одолеть, но вот постараться узнать их требования, вступить с ними в какой-то торг, — об этом они до сих пор и не думали. Первым пришел в себя Леон.

— Как это не знаем? Одного хотят: большей платы.

— Ну, еще никто не знает, что это за большая плата, — ответил Герман. — Хотят ли они, чтобы им увеличили плату на пять центов, или вдвое против прежнего. Если только так, вообще «повышения», то в этом еще ничего страшного нет, можно и поторговаться. Но, я говорю, нужно прежде всего узнать точно, чего они хотят. Может быть, они вовсе этого не хотят или, может быть, кроме этого, еще чего-нибудь хотят? Ведь никто их об этом не спрашивал.

— Вы правы, надо спросить их самих, узнать, чего им надо! — заговорили предприниматели.

— Но кого же мы пошлем к ним? — спросил Герман.

— Пускай идет кто хочет, я не пойду, — сказал Леон. — Эти разбойники готовы разорвать человека.

— Если будет ваша воля поручить это дело мне, — сказал Герман, — то я с радостью приму на себя труд.

— Хорошо, хорошо! — раздался голоса.

— А если так, то прошу выслушать еще вот что. Пришла мне на ум одна вещь, которая может сделать их более податливыми. Как мы видим, ко всему они подготовились, продуктов накупили, сторожей расставили, но о жилищах, верно, не позаботились. Ведь все они живут в ваших домах! А что, если бы вы немедленно, сегодня же, всем отказали в жилье? Время уже довольно холодное, — как нарочно, этой ночью поднялся восточный, холодный ветер; если они вынуждены будут мерзнуть под открытым небом, то сразу почувствуют, что плохо с нами вести войну.

— Оно-то правда, — несмело отозвались некоторые, — но кто знает, захотят ли они уступить? Не разозлит ли их это еще больше?

— Посмотрим, — сказал Герман, — но попробовать, я думаю, можно! Ведь в этом нет ничего особенного! Каждый имеет право отказать постояльцу в жилье, когда ему заблагорассудится.

— Ну, попробуем, — ответили предприниматели.

— А если так, то идемте! Пойду к ним, узнаю, чего они хотят. А после полудня, этак около трех, прошу вас всех снова ко мне, узнаете, в чем дело, и мы сможем окончательно решить, что нам делать.

На этом предприниматели разошлись.

Надев шляпу и взяв в руки легонькую тросточку, пошел Герман по улицам Борислава к самому выгону, где было становище рабочих. Он шел так, словно ничего не замечал и ни на что не обращал внимания, пока не дошел до рабочего патруля, который стоял на дороге.

— Эй, — крикнули ему караульные, — куда идете?

— Я?.. К вам иду, — ответил Герман.

— К кому — к нам?

— Хотел бы поговорить с вами по-хорошему.

— О чем?

— О том, что пора вам за работу приниматься, времени жалко, а здесь, стоя да карауля, ничего хорошего не выстоите...

— Мы сами знаем, что не выстоим, — ответили некоторые из рабочих, — но что делать, если с вами иначе нельзя.

— Ну-ну, еще неизвестно, можно или нельзя. Вы нас не знаете. Вы думаете, если еврей, так уж не человек. А мы тоже люди и знаем, что кому полагается. Ну, что с вами долго говорить, скажу вам попросту — вы, конечно, знаете, кто я такой?

— Как не знать, знаем!

— Ну, так скажу вам прямо — здешние хозяева-евреи, видя, что силой с вами не справиться, послали меня к вам, чтобы заключить мир, велели прежде всего спросить, чего вы хотите, чего требуете?

— Ну, это другое дело, коли так... мы это понимаем! — обрадовались рабочие. — Ступайте вон в тот дом, там сейчас соберется наш совет, вот вы и сможете поговорить.

Один из рабочих тотчас провел Германа в хату Матвея, а другой побежал созывать побратимов и других нефтяников, чтобы шли заключать соглашение. Недолго пришлось ждать Герману. Пришли побратимы, а следом за ними целая гурьба бастующих рабочих, которые не только наполнили тесную хату Матвея, но густо обступили ее кругом, любопытствуя, каково-то будет это соглашение.

В хате посадили Германа на скамейку, а побратимы и еще кое-кто из старых рабочих уселись вокруг стола, на топчане и на лежанке. Стасюра, самый старший из присутствующих, сел на почетное место, в конце стола, а Сень Басараб, как обычно, сидел на пороге, у дверей.

— Скажите же, пан Гольдкремер, всему обществу, зачем вы пришли, — сказал с достоинством Стасюра.

— Зачем я пришел? — повторил Герман, вставая со скамейки и оглядывая рабочих. — Меня прислали хозеява узнать, что вы думаете. Почему не хотите сами работать и другим не даете?

— Нельзя работать за такую плату, пан Гольдкремер, — ответил Стасюра. — Мало нам платите. Люди с голоду мрут.

— Платим, сколько можем! — ответил Герман. — Как бы мы стали платить вам больше, если больше нельзя? Дела идут плохо, откуда взять денег? Мы сами скоро нищими станем, по миру пойдем.

— Ну, этого уже вы нам не говорите! А впрочем, пан Гольдкремер, скажите откровенно: может ли нас касаться то, что у вас плохо идут дела, как вы говорите? Разве потому, что вы за центнер воска берете не пятьдесят, а только сорок девять гульденов, я должен умереть с голоду? Если у вас концы с концами не сходятся и ваше предприятие терпит крах, то вы бросьте его; может быть, на ваше место придет кто-нибудь другой, такой, у которого концы с концами сойдутся. А если нет, то это будет означать, что все это дело совсем не окупает себя и его надо оставить, а взяться за что-нибудь другое. Но это уж ваше дело! Рабочего это несколько не касается. Вы ему велите хоть лед пахать, воля ваша, а только платите ему так, чтобы он мог жить по-человечески!

— Дельно вы говорите, и умно вы говорите, — ответил Герман, — ну и пускай будет по-вашему. Не будем об этом спорить. Предприниматели и сами видят, что так дальше продолжаться не может, что всем нужно как-то жить, мы ведь тоже люди! Скажите, чего вы требуете, чтобы снова начать работу?

— И мы люди, пан Гольдкремер, — ответил Стасюра, — а не какие-нибудь разбойники, как вам, может быть, кажется. Мы не потому взбунтовались, что хотим вас

ограбить, что ли, а потому, что нам так уж туго пришлось, что больше нельзя было терпеть. Поэтому и требования наши невелики. Так вот послушайте, пан Гольдкремер, чего мы хотим. Прежде всего, чтобы рабочим больше платили: тем, кто в шахтах работает, — по двенадцать шисток в день, тем, кто на-гора, — по гульдону, а детям — по восемь шисток.

— Ну, — сказал Герман, — на это можно было бы согласиться. Что еще?

— Во-вторых, чтобы кассирного у рабочих никто никакого не брал.

— И это небольшое дело: кассирам будет запрещено, вот и не будут брать.

— В-третьих, в случае, если с кем-либо из рабочих на работе произойдет несчастье: смерть, увечье или еще что-нибудь, так чтобы хозяин обязан был платить за больницу и лекарства, а также помогать семье пострадавшего, хотя бы в продолжение полугода.

— Гм, и это еще, может быть, удастся как-нибудь сделать. Ну, и все?

— Да словно бы и все, а словно бы и нет, — сказал Стасюра. — Собственно, еще самое главное осталось: нам нужна от вас порука, что после того, как мы заключим соглашение, вы на другой день не нарушите его.

— Порука? — повторил удивленный Герман. — Что же должно быть нашей порукой?

— И это тоже не такая страшная вещь, как может на первый взгляд показаться. Мы хотим основать у себя кассу, чтобы иметь поддержку в случае какой-нибудь нужды. Так вот мы требуем, чтобы сейчас, прежде чем мы станем на работу, каждый хозяин от каждого промысла внес в эту кассу десять гульденов и обязался в дальнейшем точно так же от каждого промысла вносить еженедельно по гульдону. На этом и конец.

Герман стоял, вытаращив глаза, и не видел ничего. Это последнее требование было для него, словно удар обуха по голове. До сих пор, выслушивая скромные и мелкие требования, он в душе начинал уже смеяться над рабочими, которые ради таких пустяков подняли целый бунт. Но теперь для него все стало ясно. Он сразу увидел, к чему ведет это требование.

— Но какая же это вам порука? — спросил он, делая вид, что не понимает смысла требования рабочих.

— Это уже наше дело, — ответил Стасюра. — Впрочем, как сами видите, порука небольшая, но что же делать: такая уж, видно, наша несчастная доля, что и поруки лучшей иметь не можем.

«Еще и насмехается, бестия!» — думал про себя Герман, не зная, как быть с этим требованием: торговаться или прямо отказать наотрез. Однако и то и другое казалось ему одинаково опасным.

— Нет, это невозможно, — сказал он решительно, — такого требования и не выставляйте, все равно ничего не выйдет! Придумайте для себя какую-нибудь другую поруку!

— Какую же еще придумывать? Довольно нам этой одной. Если вы думаете, что это невозможно, то придумайте сами что-нибудь другое, но такое, что нам действительно было бы порукой.

— Я полагал бы, что для вас должно быть достаточной порукой наше честное слово.

— Эге-ге, честное слово! Знаем мы эти честные слова! Нет, пусть уж честное слово в другой раз, а теперь сделайте так, как мы требуем. Честное слово разве только в придачу, так будет лучше всего.

— Но, добрые люди, — начал уговаривать Герман, — на что вы надеетесь, выставляя эти требования? Вы думаете, что вы здесь какие-то цари или самодержцы? Не выставляйте себя насмех! Требуете много, но ничего не получите, и весь Борислав будет смеяться над вами!

— Весь Борислав над нами будет смеяться? А кто же это, пан, весь Борислав? Борислав, пан, — это мы! И для нас пришло теперь время посмеяться над вами! Получим ли мы что, или не получим, это уж потом видно будет, но теперь от своих требований не отступим, будь что будет!

— Если такова ваша воля, — сказал Герман, — я скажу хозяевам о ваших требованиях и принесу вам ответ. До свидания!

И, гордо кивнув им головою, он вышел.

— Ну, теперь небось сами видите, — сказал после его ухода Бенедя, — что мы в точку попали, требуя от

хозяев взносов в нашу кассу. Всё они дадут нам сейчас, когда им туго пришлось, но это для них самое тяжелое. Отсюда для нас урок: именно на этом мы должны тверже всего стоять. Будь что будет, долго они не могут сопротивляться; нужно только нам крепко стоять на своем! Они хорошо знают, что если дадут нам с каждого промысла по десятке, то мы немедленно на следующей неделе сможем снова такую же забастовку у них под носом начать!

Между тем Герман в тяжелой задумчивости шел бориславской улицей. «И что случилось такое, — дьявол, что ли, надоумил этих людей? Ведь если им сразу столько денег отвалить, то это составит несколько тысяч и они на эту сумму в любую минуту смогут нам выкинуть штучку еще почище. А забить им голову, чтобы они отказались от этого требования, тоже не удастся. Черт бы побрал все это!»

Придя домой, долго еще раздумывал Герман над этим делом и никак не мог додуматься до чего-нибудь путного. Уже и полдень минул, наступил третий час. Гурьбой валят предприниматели к дому Германа, чтобы узнать от него требования рабочих. Но, узнав их, и свету не взвидели.

— Нет, невозможно, невозможно! — закричали все в один голос. — Это нас разорит, это нас с сумой по миру пустит!

— Ну, тогда нам остается одно: ждать, пока их средства иссякнут.

— И этого нельзя делать!

— Да вы будто дети! — вскрикнул гневно Герман. — Ни дома меня не оставляй, ни в поле не бери! Так что же делать? Думайте сами, есть ли какой лучший выход. Предприниматели притихли.

— Может быть, можно кое-что выторговать?

— Нет, нельзя. Я уже пробовал, и слушать ничего не хотят.

— Ну, так пускай их черти заберут, если так! — кричали владельцы шахт.

— И я это говорю, — добавил Герман, — однако нам от этого не легче.

В эту минуту Леон, который молчал во время всей

этой перепалки, придвинулся к Герману и шепнул ему что-то на ухо. Герман встрепенулся и отчасти радостно, отчасти насмешливо взглянул на него.

— Только вы снова не проезжайтесь насчет моего вчерашнего либерализма,—прошептал тот усмехаясь.— Что делать! Not bricht Eisen*, а либерализм — не железо!

«Такие-то вы все либералы, пока дело до кармана не дошло!» — подумал про себя Герман, но вслух сказал:

— Что же, ваш совет неплох! У нас теперь одна забота: сломить их сопротивление, а это, верно, их немного охладит. Если бы только вышло!

— Как не выйдет? Должно выйти! Нужно только взяться как следует.

— Да что такое, что такое? — допытывались собравшиеся.

Леон начал шептать некоторым из них на ухо свой проект, который мгновенно шепотком разнесся по комнате; никто не решался высказать его громко, хотя все знали, что они здесь «все свои».

— Ур-ра, вот это проект! — воскликнули радостно предприниматели. — Теперь мы им покажем, кто над кем будет смеяться. Ха-ха-ха! Проведем! Как маленьких проведем!

— Так, значит, согласны? — спросил Герман, когда улегся веселый говор.

— Согласны, согласны, разумеется, с таким крючком.

— Если так, собирайтесь, и все вместе пойдем к ним. Все требуемые деньги надо выложить им сейчас же, и пускай они завтра приступают к работе!

С шумом двинулись предприниматели из дома Германа. Только Герман задержался на минутку, подозвал к себе Мортка и долго с ним о чем-то говорил. Лицо Мортка, рябое и некрасивое, осветилось какой-то воровской усмешкой.

— Ладно, хозяин, сделаю это для вас, но прошу вас помочь мне в том деле. Нехорошие вести доходят до меня.

* Нужда железо ломает (немецк.)

— Не бойся, я за все отвечаю: все, что могу, сделаю для тебя.

И затем они вышли к толпе предпринимателей, которые, шумно разговаривая, стояли на улице. Но этот гомон не был уже таким беспечным и веселым, каким он был минуту назад. Холодный ветер улицы остудил немного радость шахтовладельцев.

— Кто знает, удастся ли это? Риск, риск! — слышалось в толпе, словно шелест увядшей листвы.

— Ну, что же делать? — сказал Герман. — Риск есть, но у нашего брата каждый шаг — риск, так уж рискнем, делая и этот шаг. Удастся — хорошо, а не удастся, то на этом еще свет не кончится, и они из наших рук не уйдут.

Толпа шла по улице медленно, словно это было торжественное шествие. Герман первым вошел в хату Матвея, чтобы раньше всех принести рабочим радостную для них весть. Слух о процессии евреев-предпринимателей прошел уже по Бориславу. Гурьба рабочих валила следом за ними, а другая гурьба ждала перед Матвеевой хатой. Но никто еще не знал, что это все значит.

— Ну что, — спросил Герман, — когда рабочие уселись попрежнему, — надумались вы?

— А что нам думать? — ответил Стасюра. — У нас одна мысль. Вот, может быть, вам бог послал иные мысли на душу.

— Это плохо, что вы такие упрямые, — сказал Герман. — Но, видно, ничего не поделаешь. Такова наша злая доля! Если кто с нами правдой не может совладать, тот прибегает к силе, зная, что мы против силы не устоим. Так и у нас с вами. Уперлись вы на своем слове, и нам приходится уступить. Не пришла гора к пророку, — пришел пророк к горе.

— Значит, вы согласны? — спросил Стасюра.

— Ну, конечно, что же делать? Согласны! И за это вы должны меня благодарить, слышите, люди? Были среди нас такие, что советовали напустить на вас полицию, войско, но я сказал: «Успокойтесь!» — и в конце концов все увидели, что я прав, и согласились на ваши условия.

— На все?

— Ну, конечно, на все. Лошадь без хвоста не покупают. Вон они идут сюда все, чтобы вам из рук в руки, здесь же на месте, передать деньги для вашей кассы. Только вот наше условие: если мы должны платить в эту кассу, то мы должны и присматривать за нею.

— А это зачем?

— Как зачем? Ведь мы платим. А вдруг кто-нибудь раскрадет деньги?

— Ну, это мы еще должны обсудить на совете, это еще мы посмотрим.

— Пусть будет так,— сказал добродушно Герман,— мы должны на вас положиться, потому что... Ну, потому что должны! Однако сейчас по крайней мере мы хотим знать: сколько денег сегодня поступит в кассу и где эта касса будет находиться?

Стасюра не мог на это ничего ответить. Он вылез из-за стола и начал шептаться с Сенем Басарабом, с Матвеем и Бенедей. Все они не знали, что и подумать об этой неожиданной податливости предпринимателей, а Сень Басараб сразу же заявил, что боится, не кроется ли за этим какая-нибудь хитрость. Но Бенедя, искренний и простодушный, рассеял их подозрения. В конце концов все это не было похоже на подвох. Если бы хозяева хотели отделаться от них обещаниями, то придумали бы что-нибудь другое, но они, однако, хотят дать деньги, а деньги — дело верное: возьми деньги в руки, запири в сундук — и кончено. Побратимы поддались на эти уговоры и решили, что справедливость требует, чтобы и хозяева знали, сколько от них поступило денег в кассу и где эта касса находится.

— Пусть будет по-вашему,— сказал Стасюра.— Выберите двух среди своих, которые присутствовали бы при сборе денег: у них на глазах деньги будут положены в сундук, вместе со списком, кто сколько дал, на их глазах сундук и запрем, и так будет продолжаться каждую неделю, пока что-нибудь получше не придумаем, как нам быть с нашей кассой.

Нескрываемая радость лучом промелькнула на лице у Германа при этих словах. Громкий говор возле дома дал знать о приходе предпринимателей. Вот они уже начали

входить в хату, дотрагиваясь рукой до шляпы, приветствуя рабочих отрывистыми «дай бог». Герман в нескольких словах по-еврейски рассказал им об условиях, и они быстро договорились, чтобы при сборе денег присутствовали Герман и Леон. Начался сбор. Прийдеволя записывал, кто сколько дает. Сначала подходили мелкие хозяева; они платили с кислым выражением лица, с оханьем, некоторые торговались, другие пспросту недодавали по гульдену или по два. Более крупные предприниматели платили с шутками, с ехидными колкостями; некоторые давали по одиннадцать и по двенадцать гульденов, наконец, Леон дал двадцать, а Герман целых пятьдесят гульденов. Рабочие только поглядывали друг на друга, за окном то и дело раздавались радостные крики, это рабочие приветствовали свою первую победу в трудной борьбе за лучшую долю. Первую — и последнюю на этот раз!

Сбор денег окончился. Пересчитали деньги: их оказалось более трех тысяч. Сень Басараб с порога прокричал эту сумму всем собравшимся рабочим. Радости не было конца. Германа и Леона чуть не на руках несли, они только усмехались, красные и потные от духоты, которая стояла в тесной, набитой людьми хате. Деньги положили в окованный железом ящик, который должен был стоять в хате у Матвея. Среди всеобщей шумной радости евреи удалились.

— Ура! Наша взяла! Ура! — долго еще кричали рабочие, расхаживая толпами по Бориславу. Веселые песни неслись из конца в конец.

— А завтра — на работу, — говорили некоторые вздыхая.

— Ну, и что ж! Не вечно же нам праздновать! И так праздновали три дня, словно на пасху, разве недостаточно? Это было наше настоящее светлое воскресение!

— А вы, — говорили некоторые на радостях Матвеем и Сеню, — берегите нашу кассу, как зеницу ока. Три тысячи серебром, да ведь это же сумма!

— А ну, паны нефтяники, чьей милости угодно, становись на работу! — кричали на улицах надсмотрщики. — До вечера полсмены! А ну, а ну!

Толпа рабочих валила за ними.

На заводе Леона через несколько минут после того, как было заключено соглашение, работа кипела. Леону не терпелось. Он хотел завтра окончить всю партию церезина, чтобы до конца недели упаковать и выслать в Россию. Он сгорал от нетерпения в эти дни вынужденного праздника, да и Шеффелю было как-то не по себе. Едва дождавшись соглашения, он немедленно, здесь же, позвал Бенедю и других рабочих, которые раньше работали на заводе, и послал их на работу.

Поздно ночью возвратился Бенедя домой. В доме не было никого. Матвей также был на работе, — сам Герман просил его, чтобы он работал непременно у него в шахте, по пятнадцать шисток обещал, и старый Матвей на радостях поддался. Шахта была глубокая, однако большая ее часть была забита — нефти не было. Зато на глубине двадцати сажень шел первый ряд штолен, пятью саженьями ниже — другой ярус, затем третий, в котором сейчас шла работа. Шахта была богатая, штольни давали ежедневно около десяти центнеров воска, а таких богатых шахт было у Германа более семидесяти. И Матвей пришел с работы поздно ночью, измученный, еле живой и, лишь только вошел в дом, бросился на постель и уснул как колода. Он не видел, как вдалеке за ним на цыпочках крался улицами Мортко, как он, когда Матвей вошел в хату, не заперев дверь, прошмыгнул в сени и притаился в уголке, как, наконец, когда Матвей, заперев дверь, разделся и уснул, тихонько вполз в хату, вытащил из-под печки ящик с деньгами, взял его подмышку и пополз из хаты. Никто не видел этого, разве только бледнолицый месяц, который время от времени боязливо выглядывал из-за тучи. И никто не слышал, как стукнул деревянный запор в сенях, как скрипнула дверь, как пробирался Мортко улицей, — никто не слышал этого, разве только холодный резкий ветер, который налетал с востока на Борислав и стонал, и завывал между крутых берегов близкой реки.

На другой день крик и шум поднялся в хате Матвея: деньги, рабочая касса, исчезли бесследно.

На другой день все рабочие узнали, что они рано смеялись! Хозяева встретили их насмешками, а то и

бранью, угрозами. Плату сразу же назначили еще ниже прежней, а на бессильные проклятья и угрозы обманутых рабочих отвечали только смехом.

— Это чтобы вы знали, дурни, как с нами воевать! А где ваша касса, ну? Вы думали, что мы ни с того ни с сего в вашу кассу будем деньги класть? Погодите немного, успокойтесь! Борислав — это мы! И мы теперь смеемся над вами!

XVIII

С каким-то странным предчувствием собирался Ван-Гехт в дорогу из Вены в Галицию. Что-то словно подсказывало ему, что в этом новом, незнакомом ему мире ждут его немалые бури и беды, ждет его немало тревог и огорчений. Однако рассудок и официальный письменный контракт говорили ему, что в этом новом мире ждет его довольство и богатство, и у него не было причин не верить этому второму, отчетливому и ясному голосу.

Собираясь в далекий и неведомый путь, он подумал, что ему пригодился бы помощник, и мысль его сразу же остановилась на Шеффеле. Где он и что с ним? Он побегал в полицию — там указали ему квартиру его бывшего ассистента. Но на квартире Ван-Гехт ассистента своего не застал: несколько месяцев тому назад он выехал. Куда выехал? Этого не знали наверное, знали только, что выехал куда-то nach Polen*. Хотя Ван-Гехт и не очень был склонен к подозрениям, все же это его заставило насторожиться: куда это nach Polen мог выехать Шеффель? «А жалко, что его нет, — думал он, — мог бы хорошие деньги заработать!»

Как вдруг перед самым отъездом из Вены Ван-Гехт получил письмо из России от одного высокопоставленного духовного лица, чуть ли не члена святейшего синода. Духовное лицо спрашивало его, что случилось с его проектом поставки церезина и почему планы его расстроились, или, быть может, он продал свой патент

* Буквально: в Польшу (немецк.). Подразумевается Галиция, которую в немецкой части Австро-Венгрии, по старому обычаю, называли «Польшей»,

«Обществу горного воска», которое давно уже заключило со святейшим синодом контракт на эту поставку, внесло сто тысяч рублей залога и скоро должно поставить первую партию — пятьдесят тысяч центнеров. Гром с ясного неба не напугал бы так бедного Ван-Гехта, как это дружеское письмо. «Что это?—вскрикнул он.— Откуда эта кара господня на меня? Кто смел, кто мог это сделать?» Словно ошпаренный, бросался он туда и сюда, не зная, что делать. Телеграфно запросил своего знакомого священнослужителя, чтобы тот оказал любезность сообщить, с кем имеет контракты это «Общество горного воска» и откуда ждет присылки церезина, но священнослужитель не отвечал, — возможно, он не знал и сам. Тогда Ван-Гехт побежал с его первым письмом и со своим патентом в государственную прокуратуру сообщить там о мошенничестве, могущем причинить ему огромный убыток. В прокуратуре сказали ему: «Хорошо, разыщите мошенника, и можете быть уверены, что он будет наказан». Вот те на, разыщите мошенника! Если бы он знал его, если бы знал, где он! Словно сжигаемый лихорадкой, побежал Ван-Гехт в таможенное управление и добился распоряжения о том, чтобы в связи с заподозренным мошенничеством все грузы горного воска, которые отправляются из Галиции в Россию и Румынию, подлежали обстоятельной ревизии и, если бы среди них оказался церезин, то чтобы он был задержан и как *corpus delicti** отправлен в государственную прокуратуру. Сам, за свой счет, не полагаясь на бюрократическую машину, Ван-Гехт разослал по телеграфу это распоряжение во все пограничные таможни, добавляя от себя обещание щедрого вознаграждения тому чиновнику, который обнаружит мошеннический груз. Сделав это, Ван-Гехт облегченно вздохнул и, быстро собравшись, двинулся в путь.

Однако мысль его, глубоко взволнованная, не переставала вертеться вокруг одного вопроса: кто мог это сделать? Дело ясное, только две возможности представлялись ему: либо кто-нибудь случайно, не зная о его патенте, открыл церезин независимо от него, либо Шеффель,

* Вещественное доказательство (*лат.*)

которому известен был его секрет, выдал его. И если первая возможность, по мере того как он вдумывался в нее, казалась ему все более далекой, то подозрение относительно Шеффеля с каждой минутой крепло и казалось все более правдоподобным. Неожиданным и сильным подтверждением этого подозрения послужило и то, что он услышал об отъезде Шеффеля nach Polen.

И Ван-Гехт решил, как только приедет в Дрогобыч, начать разведывать стороной — не узнает ли что-нибудь о Шеффеле.

Счастье благоприятствовало Ван-Гехту. Приехав в Дрогобыч, он не застал Германа дома, а получил лишь записку от него, с просьбой съездить на завод и осмотреть церезиновый отдел, устроенный по его плану. Он поехал на завод. Там застал строителя, который наблюдал за установкой котла. Осмотрев церезиновый отдел, Ван-Гехт высказал строителю свое полное удовлетворение, а так как строитель, окончив работу, должен был также возвращаться в Дрогобыч, Ван-Гехт пригласил его в экипаж, в котором он сам приехал. Сели. Разговорились. Строитель рассказывал Ван-Гехту о Бориславе и о том, что там вчера вспыхнули какие-то беспорядки, о которых до сих пор еще никто ничего определенного не знает. — Вероятно, обычная мужицкая непокорность, ничего серьезного! — добавил он презрительно. Затем разговор перешел на другие бориславские темы, на положение восковой промышленности и воскового рынка. Из разговора видно было, что о новом церезине строитель ничего еще не знает, и Ван-Гехт начал думать, что вряд ли от него можно будет что-нибудь узнать о том, что его интересует. Но строитель разговорился и говорил уже обо всем, что только подвернется на язык.

— Я вам говорю, что вся эта штука недолго продлится, — болтал он, — чуть что, все прахом пойдет, вылетит в трубу. Мелкие хозяева только каким-то чудом держатся, и достаточно какой-нибудь случайности, чтобы все они пошли с сумой. Но и среди более крупных предпринимателей, разумеется за исключением одного только Германа Гольдкремера, нет ни одного солидного дельца.

Всё шаромыжники, всё обманщики. Вот, пожалуйста, один из богачеев здешних начал строить новый завод, какой-то новомодный завод, и, желая замаскироваться, говорит мне, что это будет паровая мельница. Дает мне план, я уж и забыл, чьей работы был этот план. Ну, ничего, глянул я, вижу, что это нефтеочистительный завод, а не мельница, но, думаю про себя, если тебе хочется, чтобы это была мельница, пускай будет мельница. А он, дурень, еще во время закладки взял да и проговорился, да еще и меня скомпрометировал. Ну, скажите же, разве можно с такими людьми солидное дело иметь?

Ван-Гехта не очень заинтересовал этот рассказ. Но, чтобы не показаться невежливым и хоть как-нибудь поддержать разговор, он спросил строителя:

— Говорите, новомодный какой-то завод? А не можете мне сказать, что в нем новомодного?

— Не могу вам этого сказать, потому что, видите ли, строительство это я не вел. Но если вы с этим делом ближе знакомы, то я вам скажу, какой системы этот завод. Позвольте, позвольте, теперь припоминаю—завод строился по плану какого-то Шеффеля; вероятно, вы знакомы с его системой производства?

Ван-Гехт даже привскочил с сиденья, словно пораженный внезапным ударом электрического тока.

— Шеффеля, говорите? Ну, и что же, завод этот уже готов?

— О, давно готов! Говорят, работает день и ночь.

— А имя владельца этого завода?

— Леон Гаммершляг.

Ван-Гехт записал это имя в свою записную книжку.

— Не можете ли вы мне сказать, — простите, что так докучаю вам, — где находится этот завод?

— В конце Борислава. Вот этой дорогой вниз, вдоль реки, через вон то село, — называется Губичи, — и, не доезжая Борислава, налево над речкою.

— Благодарю вас. Меня очень интересуют эта новая система производства. Я должен сегодня же поехать и осмотреть этот завод. Досвидания!

Коляска остановилась как раз перед домом строителя, — тот с ловкостью элегантного человека старого

склада пожал Ван-Гехту руку, выпрыгнул из коляски и пошел к себе в дом.

Ван-Гехт добрую минуту раздумывал, что ему делать, а затем велел везти себя к Герману обедать.

«Пускай будет и так, — думал он дорогой, — теперь я держу его в руках, теперь он не уйдет от меня!»

XIX

Счастливым, радостным и разодетым, как на праздник, вошел Готлиб в комнату, в которой сидела Фанни. Он впервые должен был встретиться с нею после того, как их дело было счастливо улажено между его матерью и ее отцом. Он шел, земли под собой не чуя: голова его полна была картин будущей счастливой жизни, сердце полно было несказанной страсти, неугасимого огня. Какой-то он застанет ее? Как она радостно улыбнется ему навстречу, как, чудесно зарумянившись, упадет в его объятия, склонит прекрасную головку на его плечо, как он будет целовать, ласкать, голубить ее! Все это, подобно розовым зарницам, вспыхивало в его воображении, и он не шел, а летел, земли под собой не чуя, чтобы как можно скорее увидеться с нею.

Но что это? Вот она стоит у окна, спиной к двери, прислонившись головой к стеклу, и либо не слышит, что он пришел, либо не хочет обернуться. Ее платье из какого-то серого шелка хоть и дорогое, но все же как-то буднично выглядит: ни одной ленточки, ни одной блестящей металлической безделушки, которые она так любит, — ничто не свидетельствует о том, что она ждет чего-то хорошего, радостного, праздничного. Тихонько он приблизился к ней, взял ее за плечо и наклонился, чтобы поцеловать в лицо, как вдруг отскочил, словно ошпаренный, увидя обильные слезы на ее глазах и услышав одновременно заглушенные, прерываемые рыданиями слова:

— Уйди от меня!

— Что это? Фанни, что с тобой? Фанни, сердце мое, отчего ты плачешь?

— Уйди, не говори мне ничего!

— Как это не говорить? Что же это такое? Или я уж тебе так ненавистен, так противен стал, что и взглянуть на меня не хочешь, Фанни?

И он снова положил свои руки на ее плечи, слегка сжимая их. Фанни еще сильнее заплакала, но не обращалась.

— Уйди прочь! Разве ты не знаешь, что нам нужно расстаться, что нам вместе не быть?

— Нам? Расстаться? Что ты говоришь, Фанни? Ты, верно, нездорова? Нам не быть вместе? Кто смеет это говорить?

— Мой отец.

— Твой отец? Это когда же? Ведь недавно, третьего дня, он дал слово моей матери, разве мог он взять назад свое слово?

Фанни невольно обернулась, услышав эти слова,— она и сама не знала, что это значит.

— Наоборот, Готлиб, мой отец сказал твоей матери, что не отдаст меня за тебя, что имеет в отношении меня какие-то другие виды.

— Но мать совсем иное говорила мне!

— А я тебе говорю правду, я все слышала!

— Так, значит, моя мать обманула меня?

— Она, может быть, так только... Чтобы ты не волновался...

— Господи, так это правда! Нет, не может быть! Чем я виноват перед твоим отцом, чем ты перед ним виновата, Фанни, что он хочет нас живыми зарыть в могилу?

— Я не знаю, Готлиб!

— Но нет, нет, нет, — он при этом от ярости топнул ногой, — этого не может быть! Я не дам играть с собой, как с котенком! Я не котенок, Фанни, я волк, я умею кусаться!

Он покраснел, как свекла, его глаза начали наливаться кровью, ярость перехватила дыхание. Фанни смотрела на него, словно на святого. Никогда он не казался ей таким привлекательным, как в эту минуту дикой ярости. Передохнув немного, Готлиб продолжал уже несколько спокойней:

— Но скажи ты мне, бога ради, Фанни, почему твой отец не хочет выдать тебя за меня замуж?

— Не знаю, — ответила Фанни. — Мне кажется, что он зол за что-то на твоих родителей.

— А ты, Фанни, ты, — и он с диким жаром всматривался в ее глаза, — ты вышла бы за другого, если бы твой отец приказал тебе?

— Готлиб, как ты можешь спрашивать об этом? Ты же знаешь, я выплакала бы свои глаза с тоски по тебе, я умерла бы с горя, но против воли отца не пошла бы.

— Значит, ты меня не любишь?

— Готлиб! — и она упала в его объятия. Печаль и грозящая разлука придавали силы их ласкам, слезы делали более горячими их поцелуи.

— Но какие виды может иметь твой отец в отношении тебя, Фанни?

— Разве я знаю? Ведь ты же знаешь, мой отец богат, имеет связи с разными купцами и банкирами, может быть, захочет выдать меня за кого-нибудь из них.

— Проклятое богатство! — буркнул сквозь зубы Готлиб.

— Я бы хотела, чтобы мой отец был беден, — сказала печально Фанни, — тогда он нуждался бы в милости твоего отца и с радостью выдал бы меня за тебя.

Глаза Готлиба загорелись при этих словах девушки. Он крепко сжал ее руку, так что она даже вскрикнула.

— Хорошо говоришь, Фанни, — сказал он решительно, — и я так говорю. Прощай!

— Куда ты?

— Не спрашивай! Я постараюсь устранить все препятствия, которые стоят на пути к нашему счастью. Ты должна быть моей, хотя бы для этого...

Она не слыхала конца его слов. Словно грозовая туча, выбежал он из дома Леона, и у бедной Фанни тревожно сжалось сердце.

— Что он хочет сделать? — прошептала она. — Он такой быстрый и пылкий, он так горячо и безрассудно любит меня, что готов наделать беды. Господи, храни его!

А Готлиб, выйдя на улицу, остановился на минуту, словно раздумывая, куда идти. Затем очнулся и помчался домой.

— Мама! — вскричал он, вбегая в комнату матери. — Зачем вы обманули меня?

— Как? Когда?

— Зачем вы сказали, что Леон обещал выдать свою дочь за меня?

— А что, разве не хочет?

— Ведь он и вам сказал, что не хочет! Разве нет?

— Да, сказал. Паршивец он, сынок, я тебе давно говорила, чтобы ты с ними не знался. — Все это Ривка говорила словно сквозь сон, словно это были какие-то смутные, столетней давности воспоминания. Но Готлиба эта сонливость вывела из терпения. Он топнул ногой так, что окна зазвенели.

— Мама! Я вам раз и навсегда сказал, чтобы вы говорили со мной толком! Я вам раз навсегда сказал, что люблю дочку Леона и что она должна быть моей, поэтому не смейте дурно говорить о ней! Понимаете или нет?

Ривка дрожала всем телом от этих грозных слов, значение которых она понимала лишь наполовину, и, словно зачарованная, не сводила глаз с его лица.

— Хорошо, сынок, хорошо! Но чего же ты хочешь от меня?

— Я хочу, чтобы Фанни была моей.

— Но что же делать, если этот паршивец не хочет выдать ее за тебя?

— Должен, мама!

— Должен? Но как же ты его заставишь?

— Вот об этом я и хотел с вами посоветоваться, мама.

— Со мной? Что же я тебе могу посоветовать? У тебя, сынок, ума больше, нежели у меня, делай, как сам знаешь.

— А, так вот вы как! Рассердили Леона, оттолкнули его, а теперь «делай как знаешь!» Вижу, как вы меня любите!

Ривка начала всхлипывать, как малое дитя:

— Сынок мой, сыночек, только этого мне не говори! Все, что хочешь, только не говори мне, что я тебя не люблю.

— А как же мне не говорить, если вы всему моему

горю виной, а теперь и посоветовать не хотите, как этому горю пособить.

Бедная Ривка билась, словно рыба в сетях. Она так рада была бы подумать и придумать что-нибудь очень-очень хорошее, умное для своего сына, но ее больные, непослушные и нескладные мысли путались и расплывались в беспорядке, — она перебирала тысячи советов, один за другим, и, не сказав ни слова, отбрасывала их, видя, что они совсем не ведут к цели.

— Ты, ты, сыночек, пойди к нему и попроси его... или нет, лучше подговори кого-нибудь из нефтяников, чтобы хорошенько его поколотили... или вот еще лучше всего было бы столкнуть этого мерзавца где-нибудь с моста в воду... или нет... ох, что это я хотела сказать...

— Глупая вы, мама!

Ривку обрадовало это слово, оно сняло с нее страшное бремя: необходимость думать.

— Вот видишь, сынок, я тебе говорила, что я ничего путного не придумаю, потому что я глупая, сынок, очень глупая, как пень, как бревно дубовое! Ох, моя голова, моя бедная, глупая, бестолковая голова! — И Ривка горько зарыдала, сама не зная отчего.

Вдруг она встрепенулась, взгляд ее оживился.

— Слушай, сынок, что я придумала!

— Что такое?

— Он говорил, что у него есть другие виды на дочь: верно, за богача какого-нибудь хочет ее выдать.

— Ну, верно.

— Если бы он был беден, то отдал бы дочь за тебя.

— Ну, верно.

— Ну, а разве же это большое дело — из богача сделать бедного?

— Небольшое.

— И я так думаю. Поди ночью, подложи огонь под его проклятый завод — все его богатство за один час с дымом улетит, и дочка будет твоей!

Глаза Готлиба загорелись:

— Хорошо говорите, мама! И я тоже так думаю! Спасибо вам!

И он выбежал из комнаты, оставив Ривку наедине с ее мыслями. Она вначале сидела обессиленная, утом-

ленная необычной работой мысли, и улыбалась тому, что вот, мол, какой мудрый совет дала она сыну. Ее лицо в эту минуту напоминало лицо идиота, который хохочет, отрубив голову своей любимой кошке. Но недолго продолжалось это идиотское спокойствие. Внезапно налетела минута просветления. Ривке вдруг ясно стало, в какую бездонную пропасть толкнула она своего сына: ей вдруг представилось, как ее сын подкрадывается с горящей паклей к высокому темному зданию, как поджигает его, убегает, его ловят, бьют, заковывают в кандалы, бросают в какое-то глубокое-глубокое сырое подземелье, — и она в страшном отчаянии схватилась руками за голову и, начав рвать на себе волосы, вскрикнула:

— Сын мой! Сын мой! Вернись!

Но Готлиб был уже далеко и не вернулся.

XX

И снова побратимы собрались на совет в доме Матвея. Будто с креста снятые, сходились они, словно разбитые, сидели они на скамейках с опущенными глазами, не смея взглянуть друг на друга, будто это они были виновны в несчастье, постигшем рабочую массу. А всех больше поддался горю Бенедя. По его впалым, помутившимся глазам, по его пожелтевшему, почти зеленому лицу, по согбенной, надломленной фигуре, по бессильно повисшим рукам видно было, что вся его жизненная сила подорвана, что улыбка больше не появится на этих увядших устах, что он живет уже чужой, кем-то одолженной ему жизнью, что рабочее горе убило, раздавило его. Сколько он пережил за эти два дня! С какой болью вырывал он из своего сердца одну за другой золотые надежды! Первая минута, когда они с Матвеем увидели, что дверь не заперта, и затем, словно втянутые сюда какой-то зловещей рукой, убедились, что ящика нет, — эта первая минута была самой тяжелой, самой страшной минутой в его жизни. Все силы разом покинули его, тело застыло, память погасла, он стоял скрючившись и не мог пошевелиться. Лишь понемногу вернулось к

нему сознание, чтобы принести еще более тяжелые мучения. Что скажут рабочие? Что скажут побратимы? Не возникнет ли у них мысль, что они, подкупленные хозяевами-евреями, отдали им кассу? Эта страшная мысль словно огонь жгла его сердце. «И это совсем просто, — шептал ему какой-то злорадный, упрямый голос, — ведь нас двое в доме, взлома нет никакого, следов никаких — дело ясное, что сундук взяли при нас и с нашего ведома! И я — предатель! Я, который всю свою жизнь, всю свою душу вложил в это дело, разве я мог бы стать причастным к его гибели!..» И хотя в тот же день Мортко громко и со смехом признался в присутствии Матвея и других рабочих, что это он выкрал кассу, что она находится сейчас в гораздо большей безопасности у Германа и что «кто хочет, пусть на меня жалуется, еще и сам попадет в каталажку за недозволенные сборы», — от этого признания Бенедю не стало легче. Мысль его находила все новые и новые тернии, которыми снова и снова терзала свои собственные кровавые раны. Кто видел Бенедю во время рабочей забастовки — энергичного, неутомимого, радостного, всегда сосредоточенного и всегда готового помогать другим, вдохновлять и ободрять, и кто видел его теперь — жалкого, сгорбившегося, дрожащего, — тот подумал бы, что это другой человек или что он перенес какую-то тяжелую болезнь. И Бенедю действительно переживал тяжелый недуг, от которого, он сам это видел, исцеленья для него не было.

Не меньше поддались горю и другие побратимы, особенно Матвей и Стасюра. Только братья Басарабы не изменились и, казалось, не очень горевали. Даже больше того: на их лицах светилось нечто вроде тайной радости, словно вот, наконец, исполнилось то, чего они давно ожидали.

— Что ж, побратимы, — сказал Андрусь после минуты тяжелого молчания, — наш прекрасный сон окончился, разбудили нас!

Никто не отозвался на эти слова...

— Что печалиться, братья, — заговорил снова Андрусь, и голос его становился все более мягким, — печаль не поможет. Что с возу упало, то пропало, и оно, верьте мне, должно было так случиться! От наших хозяев

таким путем ничего не добьешься, я это с самого начала говорил. Не такой они народ, чтобы с ними можно было что-нибудь сделать по-хорошему. Так или иначе, то, что произошло несколько дней тому назад, — великое дело! А пакость эту они не теперь, так в четверг все равно сделали бы. Нечего нам теперь и думать о том, чтобы поступать с ними так, как мы поступали до сих пор!

— Так что же делать? — не то проговорил, не то простонал Бенедя. — Неужто опустить совсем руки и сдаться на их милость?

— Нет и еще раз нет! — живо подхватил Андрусь. — Нет, побратимы, наша война с богачами только начинается. То, что было до сих пор, — это забава, шутка, теперь нас ждет настоящий, великий, горячий бой!

В словах Андруся было столько силы, столько огня и энергии, что все невольно взглянули на него.

— Да, теперь мы должны показать, что и хозяева рано смеются над нами, что Борислав — это все-таки мы, рабочий народ! Теперь мы увидели, что по-хорошему с ними воевать нельзя, так попробуем по-иному.

— Мы и до сих пор, Андрусь, не... не совсем по-хорошему воевали. Они лишь отплатили нам зуб за зуб.

В этих словах, полных муки, звучал такой острый и глубокий укор, что Сень Басараб, который, потягивая трубку, сидел у порога, вскочил с места и шагнул к Бенедю.

— Не попрекай, не попрекай прошлым, Бенедя! — сказал он с силой. — Ведь сам ты знаешь, что без этих нечистых денег и твоя чистая война не могла бы начаться.

— Я никого ничем не попрекаю, — кротко ответил Бенедя, — я знаю сам, что так должно быть, что такая уж наша несчастная доля, что только неправдой вынуждены мы из неправды выбираться, но, побратимы мои, верьте моему слову, — чем меньше неправды будет на руках наших, тем вернее будет наш путь, тем скорее победим мы своих врагов!

— Эге, если б наши враги тоже так думали и тоже честно с нами поступали, тогда, верно, и мы должны были бы равняться по ним, а не то и опередить их! —

сказал Андрусь. — Но теперь, когда правда связана, а у неправды нож в руках, я боюсь, что пока правда правдой же развяжет себя, неправда и вовсе зарежет ее. Но не об этом мы должны сегодня говорить, а о том, что нам делать теперь. Я думаю, что у нас только одна дорога осталась, но прежде, чем я скажу свое слово, — кто знает, может быть, кто-либо из вас придумает что-нибудь иное, получше... поделикатнее, потому что мое слово будет страшное, братья... Так вот прошу вас, у кого есть что сказать, пускай говорит. Ты, Бенедя?

— Я... ничего не скажу. Я не знаю, что нам теперь делать. Разве только начать сызнова то, что потеряно?

— Эге-ге, далекая дорога, да и на ней мосты взорваны. Нет, ты уж лучше что-нибудь другое придумай!

Бенедя молчал. Что он мог теперь придумать?

— А вы знаете какой-нибудь способ? — спросил Андрусь остальных. — Говорите.

Никто не откликнулся. Все сидели, угрюмо понуриив головы, все чувствовали, что приближается что-то страшное, какое-то великое уничтожение, и в то же время чувствовали, что они не в силах его предотвратить.

— Ну, коли никто не говорит, так я буду говорить. Одна нам теперь дорога осталась: подпалить это проклятое гнездо со всех четырех сторон. Вот мое слово.

Бенедя вздрогнул.

— Не бойтесь, невинные не пострадают вместе с виновными. Все они виновны!

Молчание воцарилось в доме. Никто не перечил Андрусью, но и поддакивать ему никто не решался.

— Ну, что же вы сидите, как неживые? Неужто вы такие вояки, что войны боитесь? Вспомните же, с какими мыслями все вы вступали в побратимство. Ведь у нас еще хранятся палки с отметинами, и нет ни одного владельца шахты в Бориславе, на которого бы отметки не было. Вы недавно напоминали мне о расплате. Сегодня день расплаты, только к прежним отметкам прибавилась еще одна новая, самая большая, — это то, что они обманули и обокрали все рабочее общество, ясно показав таким образом, что хотят нас вечно держать в безысходной неволе. Неужели вам мало этого? Я думаю, одна эта отметина стоит всех!

— Но что же это будет за расплата: подожжете несколько домов, несколько складов, вас похватают и посадят в тюрьму, а если нет, то хозяева снова скажут: «Случайность!»

— О нет, не так оно будет. Если приступить к такой войне, то уж всем миром, — сказал спокойно Андрусь.

— Но разве же это возможно? Пускай один найдется из всех, который выдаст, и все вы пропадете.

— И так не будет. Каждый из нас, кто согласится на это дело и обещает руки к нему приложить, подберет себе десять, двадцать человек, которым можно довериться и, не говоря ничего, велит им в назначенное время собраться в назначенном месте. Тогда даст сигнал. А если бы что открылось, я беру все на себя.

— Но ведь рабочие сейчас разъярены, обозлены на хозяев, может произойти ее большее несчастье, — продолжал Бенедя, защищаясь всякими, хотя бы и самыми слабыми, доводами против страшной уверенности Андруся.

— Тем лучше, тем лучше! — даже вскрикнул Андрусь. — Теперь скорее удастся моя война, после того как твоя разъярила людей. Ты оказал мне самую большую помощь, и за это я сердечно благодарю тебя.

— Ты страшен, Андрей! — простонал Бенедя, закрывая глаза руками.

— Я такой, каким сделала меня жизнь, и они, заклятые враги мои! Слушай, Бенедя, слушайте и вы, побратимы, мой рассказ, — будете знать, что навело меня на мысль основать такое побратимство для мести хозяевам-евреям. Отец наш был самый зажиточный селянин на всю Баню. Это было после отмены панщины; отец наш арендовал у помещика корчму, чтобы не допустить захожего корчмаря-еврея в село. Прибыли большой от этой аренды он не имел, только то нажил, что соседние еврей-корчмари страшно на него взъелись. Отец торговал честно, водку водой не разбавлял, и отовсюду народ шел к нему. Другие корчмари готовы были растерзать его за это. Сперва начали перед паном вертеться, чтобы под отца подкопаться. но пан знал отца и не верил доносчикам. Видя, что таким способом ничего

не добьются, корчмари взялись за другие средства. Они подговорили воров, а их тогда много было по селам, и начали вредить отцу. Раз пару коней из конюшни вывели, потом, опять же, бочку водки выпустили, потом еще в амбар забрались. Но и этим способом не могли они отца свалить. Покража отыскалась, а те, что бочку выпустили, сами выдали себя и должны были оплатить убыток. Тогда враги, видя, что делать нечего, подожгли нас. Едва живые мы повыскакивали, все сгорело. Отец наш был сильный, твердый человек, все эти несчастья не сломили его. Бросился он туда-сюда, — к помещику, к соседям, помогли ему, начал он снова становиться на ноги. Тогда корчмари подговорили нескольких пьяниц, бывших панских лакеев, убить отца. Те напали на отца ночью посреди дороги, но отец справился с ними и одного, оглушенного, приволок домой. Тот во всем признался, кто его подговорил и сколько заплатил. Отец — в суд: два корчмаря-еврея угодили в тюрьму. Тогда остальные взяли и отравили отца. Зазвали его якобы на пирушку по случаю примирения и дали что-то; как пришел домой, так сейчас же и свалился как подкошенный, недели не прошло — умер. Помещик, который очень любил отца, прислал комиссию, комиссия обнаружила яд, но некому было добиться правды, и дело заглохло. Еще и матери злодеи пригрозили, чтоб пикнуть не смела, иначе, мол, плохо будет. Мать испугалась и оставила их в покое. Но нас злодеи ненадолго оставили в покое. Они, видно, решили совсем уничтожить нас. Мать наша умерла от холеры, остались мы с Сенем — сироты-подростки. Вместо нашего отца корчму держал уже какой-то чужак, — вот он-то теперь и привязался к нам. Сюда-туда, втерся он в опекуны к нам и взял нашу землю в свое пользование, а нас на воспитание. В нашем селении и тогда уже пришлых людей было достаточно, и не диво было, что захожий еврей стал опекуном христианских сирот. Ох, и узнали же мы эту его опеку! Вначале было нам хорошо, словно у Христа за пазухой: опекун угождал нам, работать не принуждал, еще и водочкой угощал. Однако чем дальше, тем хуже, и, наконец, он превратил нас в своих батраков. Мы начали домогаться своей земли, но опекун тем временем сумел уже так снюхаться

с панами и с начальством, что у нас вовсе отсудили эту землю. Все же корчмарь еще не чувствовал себя спокойным и старался окончательно от нас избавиться. Начал подстрекать отпускников-солдат, чтобы те били нас; потом подкупили войта, чтобы тот настоял в приемной комиссии и нас забрали бы в солдаты. Но мы все пережили и, отбыв военную службу, вернулись назад в село. Еврей задрожал; он знал, что мы не простим ему свою обиду, и старался опередить нас. Пригласил нас к себе будто бы в гости и хотел отравить, как отца. Но на этот раз хитрость не удалась ему. Мы узнали об этом и силком накормили его самого тем кушаньем, которое он нам приготовил. Через неделю его не стало. Тогда мы покинули свое село и ушли сюда, а дорогой поклялись до самой своей смерти мстить этим кровопийцам. Мы решили поступать с ними так, как они с нами: поднимать против них как можно больше людей, вредить им, где можно, и делать это так ловко, чтобы они и сами не знали, откуда на них обрушится беда. С того времени прошло уже десять лет. Как мы до сих пор выполняли свою клятву, об этом не буду рассказывать. Но самая большая наша месть приближается теперь, и кто хочет быть нашим братом, нашим истинным другом, кто хочет мстить за свои и за общие обиды, тот пойдет вместе с нами в этой борьбе!

Последние слова Андрусь произнес приподнятым, почти торжественным голосом. Его рассказ, сухой, отрывистый, словно нехотя рассказанный и вместе с тем такой тяжелый и соответствующий мрачному настроению всех побратимов, произвел на них огромное впечатление. Придеволя первый вскочил и подал руку братьям Басарабам.

— Вот вам моя рука, — сказал он, — я с вами, хоть и в могилу! Что будет, о том не беспокоюсь, а что скажете, то сделаю. Лишь бы только отомстить, ни о чем больше я не думаю!

— И старого Деркача, авось, также не отвергнете, — послышался голос из угла, и лицо Андруся осветилось улыбкой.

— Никого не отвергнем, браток, никого, — сказал он. Вслед за Деркачом один за другим заявили о своем

согласии все побратимы, кроме старого Матвея, Стасюры и Бенеди. Андрусь радовался, шутил.

— Ну, эти два староваты, от них нам все равно пользы большой не было бы. А ты, Бенедя? Все о своих «чистых руках» мечтаешь?

— О чем я мечтаю, это дело десятое, это только меня касается. Но одно вижу, что наши дороги нынче расходятся. Побратимы, дозвоьте мне сказать вам еще слово, прежде чем совсем разойдемся.

— Что там его слушать! — буркнул, сплевывая, Сень Басараб.

— Нет, говори! — сказал Андрусь, который теперь чувствовал себя попрежнему главой и руководителем этих людей, преданных ему душой и телом, и в этом чувстве обрел снова ту уверенность и силу в обращении с людьми, которые отличали его прежде и которые едва не покинули его во время недолгого предводительства Бенеди. — Говори, Бенедя, ты был хорошим побратимом и искренне хотел для всех добра, мы верим, что ты и теперь того же хочешь. А если дороги наши расходятся, то это не потому, что мы по своей воле отрекаемся от твоих советов, но потому, что судьба толкает нас туда, куда ты или не можешь, или не хочешь идти с нами.

— Спасибо тебе, Андрусь, за твою добрую веру! Но в то, что ты говоришь про судьбу, которая будто бы толкает нас на злое дело — вот в это я никак не могу поверить. Какая тут судьба? Если хозяева-евреи обманули и обокрали нас, если они связали нам руки и закрыли нам временно дорогу к спасению, то разве из этого вытекает, что мы должны отказаться от своей чистой совести, стать поджигателями? Нет, побратимы мои, и еще раз говорю — нет. Перетерпим эту несчастную годину. Время залечит все раны, успокоит наш гнев, мы постепенно найдем в себе силы начать погубленное дело сначала, и когда-нибудь мы снова поставим его на ту ступень, на которой оно было недавно. Только уж тогда, наученные однажды, будем более осторожными. А своим поджогом что вы сделаете, кому поможете?

— Им навредим, и этого нам достаточно! — крикнул Сень.

— Ох, недостаточно, побратим Сень, недостаточно! Может быть, тебе, вам несколько и достаточно, потому что вы в том поклялись. Но другим? Всем рабочим? Разве они будут сыты оттого, что владельцы шахт разорятся? Нет, они будут вынуждены работать попрежнему и довольствоваться еще меньшей платой, потому что богатый все-таки, хоть по принуждению, может заплатить больше, а бедный не может. А если, не дай боже, откроется ваш заговор, многие из вас пойдут тогда гнить в тюрьму, или, кто знает, что еще может случиться. Нет, побратимы, прошу вас еще раз, послушайте моего слова: оставьте свои страшные замыслы, будем и дальше трудиться сообща так, как начали, а месть оставим тому, кто взвешивает правду-кривду и каждому отмеряет по делам его.

— Те-те-те, ты уж что-то поповское запеваешь,— ответил насмешливо Сень. — Не время нам ждать этой промерки, о которой до сих пор что-то мы ничего не знаем. По-моему, так: у кого крепкие кулаки, тот сам себе отмеряет правду. И нам так же надо поступать. Кто сам себе помогает, тому бог поможет!

— Да, побратим Бенедя, — сказал уже мягче, ласковее Андрусъ, — нельзя нам назад возвращаться. Размахнулись топором, так уж надо рубить, хотя бы этот топор и нам в зубы угодил. Если ты не хочешь с нами компанию держать, мы тебя не насилуем. Конечно, мы надеемся на тебя, что не выдашь нас.

— Что ж, если иначе нельзя, если так должно быть,— сказал Бенедя, — то пускай будет так, останусь с вами до конца. Поджигать с вами не пойду, этого от меня не требуйте, но останусь здесь на месте. Может быть, еще смогу вам в чем-нибудь другом помочь или посоветовать, так грех был бы, кабы я в такую горячую пору убежал от вас ради собственной безопасности.

— И я также! И я также! — сказали Стасюра и Матвей. — Все мы стояли до сих пор дружно, в более счастливые времена, надо нам держаться вместе и в те трудные минуты, которые для нас настанут.

— Так, побратимы! Спасибо вам за это, — сказал Андрусъ, пожимая им поочередно руки, — теперь я спокоен и силен, теперь пусть трепещут наши враги,

потому что время мести приближается. Какое семя дает нам судьба в руки, такое и сеет. А какие оно даст всходы и кто соберет плоды — это дело не наше, мы, может, и не доживем до этого. А теперь остается нам подробно обсудить, когда и как должно это произойти.

Все побратимы, кроме Бенеди, Матвея и Стасюры, столпились вокруг Андруся и вполголоса начали о чем-то оживленно совещаться. Матвей сидел на лежанке, машинально держа в зубах давно погасшую трубку, Стасюра чертил палкой по земле, а Бенедя долго сидел на скамейке, свесив голову, затем встал, вытер рукавом две горючие слезинки, которые вот-вот готовы были упасть из его глаз, и вышел на улицу. Это он прощался со своими золотыми надеждами...⁶

1880—1882

Примечания

Второй том Сочинений Ивана Франка содержит так называемый «бориславский цикл» писателя, создававшийся им в течение ряда лет. В этот цикл, который является одним из наиболее известных и значительных разделов прозы Франка, входят семь рассказов, объединенных общим заголовком «Бориславские рассказы», а также две повести: «*Voas constrictor*» и «Борислав смеется». В целом они дают потрясающую картину невыносимо тяжелых условий жизни и труда рабочих-нефтяников в первые десятилетия по возникновении нефтяной промышленности в Галиции.

В настоящее время Борислав — город Дрогобычской области УССР, один из крупнейших промышленных центров Западной Украины. Здесь имеется ряд больших, оснащенных современной передовой техникой предприятий и промыслов по добыче нефти и особенно горного воска—озокерита. Имеются научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, школы рабочей молодежи, клубы, больницы. Вблизи Борислава расположены многочисленные санатории и дома отдыха. Во времена, описываемые Иваном Франком, это было незначительное село среди других таких же сел по северному склону Карпат. Неожиданный, стихийный рост Борислава был вызван открытием в его окрестностях ценнейших залежей полезных ископаемых. В 1846 году здесь были обнаружены богатые месторождения озокерита (горного воска), нефти и горючих газов. Весть об этом немедленно разнеслась по всей Галиции и за ее пределами. Весь край был охвачен спекулятивной лихорадкой. Сотни мелких предпринимателей, дельцов и авантюристов слетелись в Борислав и хищнически эксплуатировали богатства его недр, стремясь к скорому и легкому обогащению. Предметом эксплуатации заезжих хищни-

ков стали не только богатства земных недр, а также и труд окрестного населения. Западноукраинские крестьяне, гонимые безземельем и нуждой, шли на промысла Борислава в поисках заработка и во множестве погибали из-за варварских условий труда.

В своем очерке «Кое-что о Бориславе», опубликованном в 1882 году в журнале «Світ», Франко так описывал этот первоначальный период возникновения бориславских промыслов:

«Борислав вместе с обширным приселком Мразницею еще в начале пятидесятих годов был не очень большим подгорянским селом, принадлежавшим польским помещикам Карницким. По церковным спискам 1850 года, было в этом году в Бориславе жителей украинцев 520, а в Мразнице — 239, значит, всего вместе 759.

Но как раз в пятидесятих годах началась в Бориславе на широкую ногу добыча «кипячки», то есть нефти, очень засоренной, черного цвета и при добывании из источника бурлящей пузырьками газа, как бы кипящей — отсюда и ее название. Первый, как мне рассказывали, начал добывать и дистиллировать нефть пруссак Домс, за ним кинулись евреи и быстро перегнали его. Евреи вели работу беспорядочно, хищническим способом: выманивали за бесценок участки земли у бориславских мужиков, нанимали за бесценок рабочих, рыли колодцы кое-как, без крепления, без насосов для накачивания воздуха, так что на первых порах было много несчастных случаев. Местная полиция была в руках войта, а войт — в руках евреев-предпринимателей — отсюда и порядки. Большинство бориславских крестьян спустило тогда если не все свои земли, то большую их часть в руки захожих спекулянтов».

Далее Франко описывал условия труда на нефтяных промыслах: «...Колодцы начали крепить, вместо бревен, «корзинами» из хвороста, а они, разумеется, держались только до той поры, пока не было слишком сильного напора или со стороны осыпающихся стен колодца, или от напора из недр земли нефтяных газов, которые очень часто разрушали колодцы, погребая рабочих под обвалившейся землей. Сколько их там погибло с начала работ — этого в точности я не знаю и сомневаюсь, чтобы это было когда-нибудь в точности установлено; кое-кто из чиновников дрогобычского суда, в ведении которого находятся все следственные дела о таких жертвах нашего «мест-

ного промысла», говорили мне еще несколько лет тому назад что официально установленных случаев насильственной смерти рабочих в бориславских шахтах было наверняка не менее десяти тысяч! А сколько было не установленных официально! Припоминаю, когда еще я был малышом, отец, бывало, возвратясь в понедельник с базара в Дрогобыче, рассказывает: «Вот на той неделе опять в колодце завалило пятерых, нынче снова десятерых», — и так, бывало, каждую неделю! Тогда еще все это лишь начиналось, и всем в диковинку была такая безумная трата человеческих жизней, поэтому вести о каждом новом несчастье быстро распространялись по селам, перебегали из дома в дом. То колодец обрушился, то канат оборвался, то угарным дымом задушило насмерть!.. Но со временем люди привыкли, — вести начали распространяться реже, хотя несчастья, наверное, случались не реже...» Отметив некоторые незначительные улучшения в организации работ на промыслах Борислава, Франко продолжал: «...зато шахты начали рыть глубже, и это еще опаснее. Если прежде шахтный колодец на 12—15 саженей назывался глубоким, а колодец на 20—25 саженей был редкостью, — теперь колодцы пошли на 50, 80, 100 саженей и глубже. Не удивительно, что даже для таких закаленных в бедствии людей, как бориславские рабочие, проработать на дне подобного колодца по шесть—двенадцать часов далеко не просто».

Далее в этом же очерке Франко писал о добыче горного воска: «Уже в конце шестидесятых годов источники кипячки начали иссякать, к тому же конкуренция нефти американской, русской и румынской подрывала доходы бориславских предпринимателей от добычи нефти. Но с горным воском пришла новая мощная поддержка. Прежде его мало ценили, а мелкие предприниматели даже брезговали им. Но в начале семидесятых годов изобретение дешевой очистки воска, а затем изобретение фабрикация церезина высоко подняло бориславское производство воска, тем более что ему не угрожало и до сих пор не угрожает никакой значительной конкуренции со стороны».

Добыча воска снова изменила характер бориславских работ. От основных, прямо вниз прорытых, шахт начали брать на разных глубинах горизонтальные боковые ходы (штольни), что требует еще более сложных работ и мер предосторожности, и что на первых порах опять проявилось значительно большим процентом несчастий и «непредвиденных случаев». Обнаружилось

далее, что, если сугубо хищническое хозяйствование еврейских предпринимателей и могло еще оправдывать себя при добыче нефти, то его недостаточно при добыче воска, требующей уже более рационального ведения дел. Промысла, поставленные на широкую ногу, со всеми средствами и усовершенствованиями современной техники, со всеми преимуществами крупного фабричного предприятия [...] оказались опасными соперниками мелких предпринимателей, которые все больше начали «тощать» и «сходить на нет», по народному выражению». (Иван Франко, «Дещо про Борислав» [«Кое-что о Бориславе»]. Твори в двадцяти томах, Держлітвидав України, том V, стр. 475—478.)

В 1885 году Борислав занимал первое место в мире по добыче озокерита, значительна также была добыча нефти. В период первой мировой войны, а особенно после захвата Западной Украины панской Польшей промысла Борислава пришли в упадок, добыча нефти и горного воска резко сократилась. Только после воссоединения в 1939 году западных областей Украины с УССР начался подлинный расцвет всех отраслей хозяйства Западной Украины, а вместе с тем и интенсивный рост промышленности Борислава, этого в прошлом «галицкого ада», как называл Борислав его исследователь и бытописатель — Иван Франко.

БОРИСЛАВСКИЕ РАССКАЗЫ

1876—1899

С бытом Борислава Франко познакомился еще в дни своих юношеских скитаний по Галичине. С конца 1876 года тема Борислава надолго входит в его творчество. В 1877 году Франко публикует рассказы «Нефтяник», «На работе», «Обращенный грешник». В том же году эти рассказы вышли отдельным изданием, под заглавием: «Иван Франко. Сочинения. II. Борислав. Картины из жизни народа Подгорья», — и произвели огромное впечатление на читателей. «В 1877 году начались картинки под названием Борислав, имевшие полный *succès de scandal* [скандальный успех] среди галицкой публики», — писал Франко Драгоманову 26 апреля 1890 г. В последующие годы Франко публикует две своих больших повести о Бориславе: «*Voia constrictor*» и «Борислав смеется» (историю текста см. ниже). Наряду с художественными произведениями Франко помещает в 1881—1882 годах в журнале «Світ» большое статистическое

исследование «Промышленные рабочие Галиции и их заработная плата в 1870 году», а также вышеупомянутый очерк о быте и фольклоре бориславских нефтяников: «Кое-что о Бориславе». В дальнейшем писатель возвратился к художественной форме изображения жизни галицких нефтяников в рассказах «Яць Зелепуга», «Ради праздника», «Полуйка». Последним в бориславском цикле Франка был рассказ «Чабан», опубликованный в 1899 году. Таким образом, работа писателя над темой Борислава продолжалась в общей сложности почти тринадцать лет. Эту тему Франко разрабатывал и в своем поэтическом творчестве, в ряде стихов цикла «Галицкие картинки» («Максим Цюник», «Рассказ арестанта» и другие).

«*На работе*» («На роботі»). — Впервые напечатан в 1877 году в львовском литературном журнале «Друг»; в том же году вышел отдельным оттиском, вместе с рассказом «Нефтяник», под общим заглавием: «Борислав. Картины из жизни народа Подгорья».

«*Нефтяник*» («Ріпник»). — Опубликован впервые в 1877 году, одновременно с рассказом «На работе», в львовском литературном журнале «Друг». В 1899 году Франко опубликовал в сборнике своих рассказов «Полуйка и другие бориславские рассказы» новую, вторую редакцию «Нефтяника», коренным образом переработав рассказ и значительно усложнив сюжет его. В нашем издании печатается перевод именно этой, *второй редакции* рассказа.

«*Обращенный грешник*» («Навернений грішник»). — Впервые напечатан в 1877 году в львовском литературном журнале «Друг».

«*Яць Зелепуга*» («Яць Зелепуга»). — Впервые напечатан в 1887 году в львовском журнале «Зоря». В том же году опубликован по-польски в газете «Kurier Lwowski».

«*Ради праздника*». («Задля празника»). — Впервые напечатан в 1891 году на польском языке, под названием «Uroczystość» [«Празднество»] в львовском издании «Kalendarz robotniczy na rok 1892» [«Рабочий календарь на 1892 год»]. На украинском языке опубликован в 1911 году в сборнике рассказов Франка «Батьківщина і інші оповідання».

«*Полуйка*» («Полуйка»). — Точная дата написания неизвестна. Впервые напечатан в 1899 году в журнале «Киевская старина», под псевдонимом «Мирон». В том же году опубликован в сбор-

нике рассказов Франко «Полуйка и другие бориславские рассказы», изданном во Львове.

«Чабан» («Вівчар»). — Впервые напечатан в 1899 год в вышеупомянутом сборнике «Полуйка и другие бориславские рассказы».

П о я с н е н и я

¹ *На окно, что ли, глянул, вставая?*.. — Иван Франко дал такое примечание к рассказу «Угольщик»: «По народному поверью, если, проснувшись, глянуть на окно, — забудешь все, что тебе снилось». (См. Сочинения, том первый, стр. 337).

² *Адъюнкт* — помощник какого-либо должностного лица, например адъюнкт полицейский, судебный и т. д. (от польского *adjunkt policyjini, sądowy*).

³ *Цессия* — документ, подтверждающий передачу прав на владение каким-нибудь имуществом другому лицу.

⁴ *Император* — Франц Иосиф австрийский (1848—1916).

⁵ *Озокерит* — горный воск, минерал из группы углеводов, встречается в виде более или менее значительных скоплений, гнезд, напоминает по внешнему виду нечистый пчелиный воск темных, зеленоватых и бурых цветов. Перерабатывается в *церезин* (искусственный воск), парафин и тяжелые минеральные масла.

В О А С О Н С Т Р І С Т О Р

1878

Повесть написана, повидимому, в 1877 году. Печаталась в 1878 году в львовских журналах «Громадський друг» [«Друг общества»], «Дзвін» [«Колокол»] и «Молот» (это, по сути, было одно и то же издание, последовательно менявшее названия вследствие конфискации). В 1884 году повесть вышла отдельной книгой, в издании львовского журнала «Зоря».

В 1907 году Франко переработал повесть для нового издания («Українсько-руської видавничої спілки»), внося во вторую редакцию значительные изменения.

В то время как первая редакция повести являлась своего рода вступлением к написанной после нее повести «Борислав смеется», составляя с нею одно целое, — вторая редакция «Воа constrictor'a» заканчивается гибелью одного из основных персонажей повести — Германа Гольдкремера. Для читателя было бы непонятно, почему этот персонаж снова возникает

на страницах повести «Борислав смеется». По этим соображениям в нашем издании публикуется перевод *первой редакции* повести «*Voia constrictor*», по тексту издания 1878 года, как печатавшегося под непосредственным наблюдением автора.

П о я с н е н и я

¹ *Лан* — предместье Дрогобыча, во времена, описываемые в повести, было населено преимущественно евреями.

² *Базилиане*, василиане — греко-униатский монашеский орден св. Василия, возник в пределах старой Польши в начале XVII столетия. Ко времени, описываемому в повести, сохранился только на территории Западной Украины, где у базилиан были свои училища.

³ *Кобольд* — в немецкой мифологии — домовый.

⁴ ...как древнее божество пожирало собственных детей... — подразумевается Кронос, один из титанов в древнегреческой мифологии. Получив предсказание, что он будет низвергнут кем-то из своих детей, проглатывал их после рождения.

⁵ *Новый Свет* — название улицы.

⁶ Три заключительных абзаца, начиная со слов «И что же дальше...» до слов «...это далекая-далекая история», в тексте 1878 года отсутствуют. Они были добавлены в отдельном издании 1884 года, осуществленном редакцией львовского журнала «Зоря». Текст этого отдельного издания повести значительно отличается от первоначального текста 1878 года. Поскольку, однако, эти три абзаца представляют большой интерес, являясь как бы автокомментарием Франка, освещающим его отношение к основным персонажам повести, — в нашем издании эти абзацы введены в основной текст, но заключены в квадратные скобки.

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ

1880—1882

В основе повести лежат подлинные события: стихийная стачка рабочих-нефтяников, закончившаяся осенью 1873 года большим пожаром на промыслах Борислава. Повесть в некоторых своих главах связана с предшествовавшей ей по времени написания первой редакцией повести «*Voia constrictor*» 1878 года и является до известной степени ее продолжением. К работе над повестью «Борислав смеется» Иван Франко приступил во вто-

рой половине 1880 года и печатал ее по частям, по мере написания, в течение 1881—1882 годов в ежемесячном журнале «Світ», который он издавал во Львове совместно с Иваном Белеем. Повесть была близка к завершению, о чем можно судить по пометке в конце журнального текста XX главы: «К[інець] б[уде]». Но по напечатании XX главы, на двадцать первом номере, издание журнала прекратилось, и повесть осталась незаконченной. Писатель, видимо, собирался закончить повесть, но намерения своего не осуществил. В бумагах Франка сохранилось начало главы XXI, публикуемое ниже (примеч. 7). Отдельным изданием при жизни писателя повесть не выходила.

П о я с н е н и я

¹ *Лан* — предместье Дрогобыча (см. «*Voas constrictor*», примечание 1).

² *Революция 1831 года* — польское восстание 1830—1831 гг.

³ *Вбзний* — здесь: судебный пристав.

⁴ *...семена венского «краха» 1873 года...* — Подразумеваются крупные биржевые спекуляции, которыми сопровождалась предпринятая в 1870 году перестройка центральной части Вены. Эти спекуляции закончились в мае 1873 года жестоким кризисом, надолго подорвавшим финансы Австро-Венгрии. «Период бешеной спекуляции завершился грандиозным венским «крахом». В течение месяца банкротства без перерыва следовали одно за другим; все классы общества были ими затронуты» (Л а в и с и Р а м б о, История XIX века, том VII, 171).

С этими событиями совпало открытие в Вене Пятой всемирной выставки. «*Ротонда*», о которой упоминает Франко, — круглое железное здание диаметром в 100 м, сооруженное в центре выставки в целях рекламы.

⁵ *Наместничество*. — Галиция управлялась наместником, с резиденцией во Львове.

⁶ На этом заканчивается глава XX повести. В архивах писателя сохранился еще небольшой отрывок — несколько начальных абзацев XXI главы*:

«Мортко, подручный Германа, провел весьма беспокойную ночь. Дурные сны мучили его и сжимали его сердце смертельной тревогой. То ему снилось, будто он падает стремглав с какой-то

* Перевод Б. Турганова.

высокой скалы и видит под собой острые гребни утесов; то ему казалось, что дом горит, а он, среди удушливого дыма и ослепительных языков пламени, лежит, прикованный к постели, с огромным камнем на груди, не может ни пошевелиться, ни крикнуть, ни даже вздохнуть свободно. А когда посреди такого сна, охваченный ужасом, дрожа всем телом и обливаясь жарким потом, он очнулся, то и наяву у него мысли мешались, всякая дрянь лезла в голову, и он никак не мог избавиться от преследовавшего его кошмара. Ему все мерещился Иван Пивторак, которого он подпоил, обобрал и столкнул в глубокий колодец; при воспоминании об этом у него дух захватывало, точно кто-то холодной рукой сжимал ему горло, коленом давил на грудь. Напрасно Мортко плевался и щипал себя за икры, шепча какие-то еврейские заклинания, — ничто не могло рассеять его дурное настроение. Не дождавись утра, он вскочил с постели, оделся и побежал к шахтам. С тех пор как добыча воска стала основным делом на бориславских промыслах и дальнейшее расширение этой отрасли обещало все больший барыш, — была заведена, кроме дневной, и ночная работа в шахтах. Рабочие чередовались: часть их работала дневную «шахту», то есть двенадцать часов, а другая часть — ночную. Для дневной смены был особый, дневной кассир, а для ночной смены — ночной. Мортко был дневным кассиром, и ему вменялся в обязанность также общий надзор за колодцами. Поэтому он, услужливый и верный своему хозяину, от которого получал хорошую плату, приходил на промысел до начала дневной смены, чтобы, по возможности, присмотреть и за ночной работой.

А теперь его присмотр был особенно необходим. Большое количество горного воска, которое Герман обязался поставить «Обществу эксплуатации», нужно было нынче утром пополнить, так как в полдень Герман неукоснительно должен был сдать весь воск уполномоченным «Общества» и тут же получить от них деньги за этот воск: доставлять воск на место переработки, где бы она ни производилась, Герман по контракту не был обязан. Из-за этого Мортку пришлось немало бегать, кричать и ругаться: то рабочие делали не так, как нужно, то работали с прохладцей там, где надо было спешить, то насос портился, то ключ от склада терялся, — словом, все как будто сговорились сегодня досаждать бедняге Мортку, и он даже охрип и взмок от пота, кидаясь во все стороны и всюду наводя порядок.

И вот уже, казалось, все было закончено: последняя, недостающая до договорного количества, глыба воска была перетоплена, спрессована, взвешена и промаркирована. Три обширных склада, самых больших в Бориславе, были полны воска. Вот загрели две пышных кареты, прибывшие из Дрогобыча: в одной Герман с Ван-Гехтом, в другой два уполномоченных «Общества эксплуатации». Герман, как на иголках, сидел на мягких подушках своего экипажа: так его что-то подталкивало и торопило передать в чужие руки эти накопленные сокровища, в которых заключалась теперь большая часть его состояния. С тех пор как началась добыча и эксплуатация озокерита, Борислав еще никогда не видел такого огромного количества воска сразу. Бориславские евреи то и дело наведывались в эти обширные склады и завистливым взглядом озирали нагроможденные в них сокровища. Одного Германа почему-то не радовали гигантские пирамиды из глыб воска; и только теперь он впервые радостно оглядел их, уверенный, что через несколько минут вся эта масса воска превратится в пачку банкнот, которая надежно уляжется в его железной вертгеймовской кассе.

•

С Л О В А Р Ъ

географических названий и некоторых трудно понимаемых слов, наиболее часто встречающихся в томе

Бескіды — срединная часть Карпатского хребта.

Бойки, бойчуки — западноукраинские горцы, населяющие северный склон Карпат, так называемое *Подгорье* (см.). Сами бойки называют себя верховинцами.

Войт — сельский староста.

Гульден — серебряная австрийская монета, около 92 копеек. В зависимости от времени и места выпуска, гульден равнялся 60 или 100 *крейцерам* (см.).

Дил — горная вершина неподалеку от Борислава.

Кипячка — неочищенная нефть.

Кошара — загон для скота (преимущественно для овец).

Крейцер — мелкая австрийская монета.

Мазуры — польские крестьяне в Западной Галиции.

Морг, морген — мера земли, от четверти до половины десятины.

Подгорье — часть Западной Украины по северному склону Карпат (Стрыйский и другие южные районы Дрогобычской области УССР).

Подблье — часть Западной Украины по левому берегу Днестра.

Полотнянка — крестьянская одежда из сурового полотна.

Постолы́ — род лаптей из сыромятной кожи.

Прийма́к — муж, перешедший в семью жены.

Цент — здесь: сотка, сотая часть какой-нибудь более крупной монеты, например, гульдена.

Черногора — горная вершина в юго-восточной части Карпат.

Шистка — шесть крейцеров, примерно 5—6 копеек (от польск. szóstka).

СО Д Е Р Ж А Н И Е

БОРИСЛАВСКИЕ РАССКАЗЫ. 1876—1899.

Перевод Н. Ушакова

На работе	7
Нефтяник	25
Обращенный грешник	69
Яць Зелепуга. <i>Картинка бориславской жизни</i>	139
Ради праздника	185
Полуйка. <i>Рассказ старого нефтяника</i>	197
Чабан	218

ВОА CONSTRICTOR *Повесть. 1878*

Перевод А. Дейча 227

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ. *Повесть. 1880—1882*

Перевод Е. Мозолькова 313

Примечания. Составил Б. Турганов 571

Словарь географических названий и некоторых трудно понимаемых слов, наиболее часто встречающихся в томе 581

ИВАН ФРАНКО
Сочинения в десяти томах, т. 2.

Редактор *А. Деев*

Оформление

художника *В. Селенгинского*

Худож. редактор *Г. Кудрявцев*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректор *Н. Мялик*

*

Сдано в набор 2/II 1956 г.

Подписано к печ. 9/V 1956 г. А-06719

Бумага 84×108^{1/2}—36,5 печ. л. 29,93 усл. п. л.
27,91 уч.-изд. л. Тираж 85 000 экз. Зак. 156

Цена 12 руб.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

1-я типография Грансжелдориздата МПС
Москва, Б. Переяславская, 46

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует
55	5 св.	понемному	понемногу
99	19 св.	со воим	со своим
106	13 сн.	ме ее	менее
151	17—18 св.	схатил	схватил
168	12 сн.	нет ем	нет, ем
186	15 сн.	со клада	со склада
221	21 св.	чобы	чтобы
400	4 сн.	провославные	православные
417	5 св.	обо все	обо всех
436	16 св.	Раздумали,	Раздумал,
447	17 св.	побтратимам	побратимам

Зак. 156. *И. Франко, Сочинения, том 2.*